И. С. ТУРГЕНЕВ



СОЧИНЕНИЯ

4

Ив. Тургенев



И. С. ТУРГЕНЕВ
Гравюра по рисунку Людвига Пича
с дагерротипа конца 1840-х — начала 1850-х годов.
„Illustrierte Zeitung", Лейпциг, 1855, 18 августа.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

◆

Издание второе, исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1980

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Том четвертый

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

1844—1854

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1980

Т $\frac{70302\text{-}045}{042\ (02)\text{-}80}$ Подписное 3702000000

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1844—1854

АНДРЕЙ КОЛОСОВ

В небольшой порядочно убранной комнате, перед камином, сидело несколько молодых людей. Зимний вечер только что начинался; самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей. Каждый излагал свое мнение как умел; голоса возвысились и зашумели. Один небольшой, бледный человечек, который долго слушал, попивая чай и покуривая сигарку, разглагольствования своих товарищей, внезапно встал и обратился ко всем нам (я тоже был в числе споривших) с следующими словами:

— Господа! все ваши глубокомысленные речи в своем роде хороши, но бесполезны. Каждый, как водится, узнаёт мнение своего противника и каждый остается при своем убеждении. Но мы не в первый раз сходимся, не в первый раз мы спорим и потому, вероятно, уже успели и высказаться и узнать мнения других. Так из чего же вы хлопочете?

Сказав эти слова, небольшой человечек небрежно стряхнул в камин пепел с сигарки, прищурил глаза и спокойно улыбнулся. Мы все замолчали.

— Так что ж нам, по-твоему, делать? — сказал один из нас,— играть в карты, что ли? лечь спать? разойтись по домам?

— Приятно играть в карты и полезно спать,— возразил небольшой человечек,— а разойтись по домам теперь еще рано. Но вы меня не поняли. Послушайте: я предлагаю каждому из вас, уж если на то пошло, описать нам какую-нибудь необыкновенную личность, рассказать нам свою встречу с каким-нибудь замечательным человеком. Поверьте мне, самый плохой рассказ гораздо дельнее самого отличного рассуждения.

Мы задумались.

— Странное дело,— заметил один из нас, большой шутник,— кроме самого себя, я не знаю ни одного не-

обыкновенного человека, а моя жизнь вам всем, кажется, известна. Впрочем, если прикажете...

— Нет,— воскликнул другой,— не нужно! Да что,— прибавил он, обращаясь к небольшому человечку,— начни ты. Ты нас всех сбил с толку, тебе и книги в руки. Только смотри, если твой рассказ нам не понравится, мы тебя освищем.

— Пожалуй,— отвечал тот.

Он стал у камина; мы уселись вокруг него и притихли. Небольшой человечек посмотрел на всех нас, взглянул в потолок и начал следующим образом:

— Десять лет тому назад, милостивые государи мои, я был студентом в Москве. Отец мой, добродетельный степной помещик, отдал меня на руки отставному немецкому профессору, который за сто рублей в месяц взялся меня поить, кормить и наблюдать за моею нравственностью. Этот немец был одарен весьма важной и степенной осанкой; я его сначала порядком побаивался. Но в один прекрасный вечер, возвратившись домой, я с невыразимым умилением увидел своего наставника, восседающего с тремя или четырьмя товарищами за круглым столом, на котором находилось довольное количество пустых бутылок и недопитых стаканов. Увидев меня, мой почтенный наставник встал и, размахивая руками и заикаясь, представил меня честной компании, которая вся тотчас же предложила мне стакан пунша. Это приятное зрелище освежительно подействовало на мою душу; будущность моя предстала мне в самых привлекательных образах. И действительно: с того достопамятного дня я пользовался неограниченной свободой и только что не колотил своего наставника. У него была жена, от которой вечно несло дымом и огуречным рассолом; она была еще довольно молода, но уже не имела ни одного переднего зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого украшения человеческого тела. Я о ней упоминаю единственно потому, что она в меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закормила меня насмерть.

— К делу, к делу,— закричали мы.— Уж не свои ли похождения ты хочешь нам рассказывать?

— Нет, господа! — возразил спокойно небольшой человечек,— я обыкновенный смертный. Итак, я жил у моего немца, как говорится, припеваючи. В университет

я ходил не слишком прилежно, а дома решительно ничего не делал. В весьма короткое время сошелся я со всеми моими товарищами и со всеми был на «ты». В числе моих новых друзей находился один довольно порядочный и добрый малый, сын отставного городничего. Его звали Бобовым. Этот Бобов повадился ко мне ходить и, как кажется, полюбил меня. И я его... знаете ли, не то чтоб любил, не то чтоб не любил, так как-то... Надобно вам сказать, что у меня в целой Москве не было ни одного родственника, исключая старого дяди, который у меня же иногда просил денег. Я никуда не ходил и в особенности боялся женщин; я также избегал знакомства с родителями моих университетских товарищей, с тех пор как один из этих родителей отодрал своего сына при мне за вихор — за то, что у него пуговица на мундире отпоролась, а у меня в тот день на всем сюртуке не находилось более шести пуговиц. В сравнении со многими из моих товарищей я слыл человеком богатым; отец мой изредка присылал мне небольшие пачки синих полинялых ассигнаций, а потому я не только наслаждался независимостью, но у меня постоянно были льстецы и прислужники... что я говорю — у меня! даже у моей куцей собаки Армишки, которая, несмотря на свою легавую породу, до того боялась выстрела, что один вид ружья повергал ее в тоску неописанную. Впрочем, я, как всякий молодой человек, не был лишен того глухого, внутреннего брожения, которое обыкновенно, разрешившись дюжиной более или менее шершавых стихотворений, оканчивается весьма мирно и благополучно. Я чего-то хотел, к чему-то стремился и мечтал о чем-то; признаюсь, я и тогда не знал хорошенько, о чем именно я мечтал. Теперь я понимаю, чего мне недоставало: я чувствовал свое одиночество, *жаждал* сообщения с так называемыми живыми людьми; слово: жизнь (выговаривай: *жызнь*) звучало в моей душе, и я с неопределенной тоской прислушивался к этому звуку... Валерьян Никитич, пожалуйте мне пахитос.

Закурив пахитос, небольшой человечек продолжал:

— В одно прекрасное утро Бобов, запыхавшись, прибежал ко мне: «Знаешь, брат, великую новость? Ко́лосов приехал».— «Колосов? что за птица господин Колосов?» — «Ты его не знаешь? Андрюшу Колосова? Пойдем, братец, к нему поскорее. Он вчера вечером

вернулся с *кондиции*».— «Да кто он такой?» — «Необыкновенный, братец, человек, помилуй!» — «Необыкновенный человек,— промолвил я, — ступай же ты один. Я останусь дома. Знаем мы ваших необыкновенных людей! Какой-нибудь полупьяный виршеплет с вечно восторженной улыбкой!..» — «Э, нет! Колосов не такой». Я было хотел заметить Бобову, что господину Колосову следовало самому явиться ко мне; но, не знаю почему, послушался Бобова и пошел. Бобов привел меня в один из самых грязных, кривых и узких переулков Москвы... Дом, в котором жил Колосов, был выстроен на старинный образец, хитро и неудобно. Мы вошли на двор; толстая баба развешивала белье на веревочки, протянутые от дома к забору... дети перекрикивались на деревянной лестнице...

— К делу! к делу! — возопили мы.

— Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного. Пожалуй! Через темный и узкий проход добрались мы до комнаты Колосова; вошли. Вы, вероятно, имеете приблизительное понятие о том, что такое комната бедного студента. Прямо перед дверью на комоде сидел Колосов и курил трубку. Он дружески протянул Бобову руку и вежливо мне поклонился. Я взглянул на Колосова и тотчас же почувствовал неотразимое влечение к нему. Господа! Бобов не ошибался: Колосов был действительно необыкновенный человек. Позвольте мне описать вам его несколько подробнее... Он был роста довольно высокого, строен, ловок и весьма недурен собою. Его лицо... Я нахожу, господа, что весьма трудно описать чье-нибудь лицо. Легко перебрать поодиночке все отдельные черты; но каким образом передать другому то, что составляет отличительную принадлежность, сущность именно *этого* лица?

— То, что Байрон называет: «the music of the face»[1],— заметил один перетянутый и бледный господин.

— Так-с... А потому я ограничусь одним замечанием: то особенное «нечто», о котором я сейчас упомянул, состояло у Колосова в беззаботно веселом и смелом выражении лица да еще в улыбке, чрезвычайно пленительной. Родителей своих он не помнил, воспитан был на

[1] «музыка лица» (*англ.*).

медные гроши в доме какого-то отдаленного родственника, который за взятки был выключен из службы. До пятнадцатилетнего возраста жил он в деревне; потом попал в Москву к старой, глухой попадье, пробыл у ней года два, вступил в университет и начал жить уроками. Он преподавал историю, географию и российскую грамматику, хотя об этих науках имел понятие слабое; но, во-первых, у нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников; а во-вторых, требования почтенных купцов, поручавших Колосову образование своих детищ, были слишком ограничены. Колосов не был ни остряком, ни юмористом; но вы, господа, не можете себе представить, как охотно все мы покорялись этому человеку. Мы как-то невольно любовались им; его слова, его взгляды, его движения дышали такой юношеской прелестью, что все его товарищи были влюблены в него по уши. Профессора считали его малым неглупым, но «без больших способностей» и ленивым. Присутствие Колосова придавало особенную стройность нашим вечерним сходкам: веселость наша при нем никогда не переходила в безобразное буянство; становилось ли всем нам грустно — эта полудетская грусть при нем разрешалась тихим, иногда довольно дельным разговором и никогда не превращалась в хандру. Вы улыбаетесь, господа,— я понимаю вашу улыбку; точно, многие из нас впоследствии оказались порядочными пошлецами! Но молодость... молодость...

Oh talk not to me of a name great in story!
The days of our youth are the days of our glory...* —

промолвил тот же бледный господин...

— Фу ты, чёрт, какая у вас память! и всё из Байрона! — заметил рассказчик.— Словом, господа, Колосов был душою нашего общества. Я к нему привязался так сильно, как после того не привязывался ни к одной женщине. И между тем мне и теперь не совестно вспомнить эту странную любовь — именно любовь, потому что я, помнится, испытал тогда все терзания этой страсти, например, ревность. Колосов одинаково любил всех нас, но в особенности жаловал одного молчаливого, белокурого и смирного малого по имени Гаврилова. С этим

* О, не говорите мне о славном имени!
Дни нашей молодости — дни нашей славы...

Гавриловым он почти никогда не расставался, часто с ним перешёптывался и вместе с ним исчезал из Москвы, бог весть куда, дня на два, на три... Колосов не любил расспросов, и я терялся в догадках. Не простое любопытство меня волновало; мне хотелось пойти в товарищи, в оруженосцы к Колосову; я ревновал к Гаврилову; я завидовал ему; я никак не мог объяснить себе причину странных отлучек Колосова. Между тем в нем не было ни той таинственности, которою щеголяют юноши, одаренные самолюбием, бледностью, черными волосами и «выразительным» взглядом, ни того поддельного равнодушия, под которым будто бы скрываются громадные силы; нет: он весь был, как говорится, нараспашку; но когда им овладевала страсть, во всем существе его внезапно проявлялась порывистая, стремительная деятельность; только он не тратил своей силы попустому и никогда, ни в каком случае не становился на ходули. Кстати, господа... скажите правду: не случалось ли вам сидеть и курить трубку с таким уныло-величественным видом, как будто вы только что решились на великий подвиг, а вы просто размышляете о том, какого цвета сшить себе панталоны?.. Но дело в том, что я первый заметил в веселом и ласковом Колосове эти невольные, страстные порывы. . Недаром говорят, что любовь проницательна. Я решился — во что бы то ни стало — втереться в его доверенность. Мне не для чего было волочиться за Колосовым; я так детски благоговел перед ним, что он не мог сомневаться в моей преданности... но, к неописанной моей досаде, я должен был, наконец, убедиться, что Колосов избегал более тесного сближения со мною, что он как будто тяготился моей непрошенной привязанностью. Раз как-то он с явным неудовольствием попросил у меня денег взаймы — и на другой день с насмешливой благодарностью возвратил мне их снова. В течение целой зимы мои отношения к Колосову не изменились ни на волос; я часто сравнивал себя с Гавриловым — и не мог понять, чем он лучше меня... Но вдруг всё переменилось. В половине апреля Гаврилов захворал и умер на руках Колосова, который не отлучался ни на миг из его комнаты и целую неделю после его смерти не выходил никуда. Все мы сожалели о бедном Гаврилове; этот бледный, молчаливый человек как будто предчувствовал свою кончину. Я тоже искрен-

но сожалел о нем, но сердце во мне замирало, ждало чего-то...

В один незабвенный вечер... я лежал один на диване и бессмысленно глядел в потолок... кто-то быстро растворил дверь моей комнаты и остановился на пороге; я приподнял голову: передо мной стоял Колосов. Он медленно вошел и сел подле меня. «Я пришел к тебе,— начал он довольно глухим голосом,— потому что ты более всех других меня любишь... Я потерял своего лучшего друга,— голос его слегка задрожал,— и чувствую себя одиноким... Вы все не знали Гаврилова... вы не знали...» Он встал, походил по комнате и быстро подошел ко мне... «Хочешь ли ты заменить мне его?» — сказал он и подал мне руку. Я вскочил и бросился к нему на грудь. Моя искренняя радость его тронула... Я не знал, что сказать, я задыхался... Колосов глядел на меня и тихонько посмеивался. Подали чай. За чаем он разговорился о Гаврилове; я узнал, что этот робкий и кроткий мальчик спас Колосову жизнь — и я должен был самому себе сознаться, что на месте Гаврилова я бы не мог не проболтаться — не похвастаться своим счастием. Пробило восемь часов. Колосов встал, подошел к окну, побарабанил по стеклам, быстро повернулся ко мне, хотел что-то сказать... и молча сел на стул. Я взял его за руку. «Колосов! право, право, я заслуживаю твою доверенность!» Он взглянул мне прямо в глаза. «Ну, если так,— промолвил он, наконец,— бери шапку, пойдем».— «Куда?» — «Гаврилов меня не спрашивал». Я тотчас же замолчал. «Ты умеешь играть в карты?» — «Умею».

Мы вышли, взяли извозчика к ...ой заставе. У заставы мы слезли. Колосов пошел вперед очень скоро; я за ним. Мы шли по большой дороге. Пройдя с версту, Колосов свернул в сторону. Между тем настала ночь. Направо — в тумане мелькали огни, высились бесчисленные церкви громадного города; налево, подле леса, паслись на лугу две белые лошади; перед нами тянулись поля, покрытые сероватыми пара́ми. Я шел молча за Колосовым. Он вдруг остановился, протянул руку вперед и промолвил: «Вот куда мы идем». Я увидел темный небольшой домик; два окошка слабо светились в тумане. «В этом доме,— продолжал Колосов,— живет некто Сидоренко, отставной поручик, с своей сестрой, старой

девой — и дочерью. Я тебя выдам за своего родственника — ты сядешь с ним играть в карты». Я молча кивнул головой. Я хотел доказать Колосову, что я умел молчать не хуже Гаврилова... Но, признаюсь, любопытство сильно меня мучило. Подходя к крыльцу домика, я увидел в освещенном окне стройный образ девушки... Она, казалось, нас ждала и тотчас исчезла. Мы вошли в темную и тесную переднюю. Кривая, горбатая старушка вышла к нам навстречу и с недоумением посмотрела на меня. «Иван Семеныч дома?» — спросил Колосов. «Дома-с». «Дома!» — раздался густой мужской голос из-за двери. Мы перешли в залу, если можно назвать залой длинную, довольно грязную комнату; старое небольшое фортепьяно смиренно прижалось к уголку подле печки; несколько стульев торчало вдоль стен, некогда желтых. Посреди комнаты стоял мужчина лет пятидесяти, высокого роста, сутуловатый, в замасленном шлафроке. Я взглянул на него попристальнее: угрюмое лицо, волосы щетиной, низкий лоб, серые глаза, огромные усы, толстые губы... «Хорош гусь!» — подумал я. «Давненько не видали мы вас, Андрей Николаич,— промолвил он, протягивая к нему свою безобразную красную руку,— давненько! А где Севастьян Севастьянович?» — «Гаврилов умер»,— печально проговорил Колосов. «Умер? вот те на! А это кто?» — «Мой родственник — честь имею представить: Николай Алекс...» — «Хорошо, хорошо,— перебил его Иван Семеныч,— рад, очень рад. А в карты играет?» — «Играет, как же!» — «Ну и прекрасно; мы вот сейчас и засядем. Эй! Матрена Семеновна, где ты? карточный стол — поскорей!.. Да чаю!» С этими словами г-н Сидоренко пошел в другую комнату. Колосов посмотрел на меня. «Послушай,— сказал он,— мне бог знает как совестно!..» Я зажал ему рот. «Что ж вы, батюшка, как вас зовут,— пожалуйте сюда»,— воскликнул Иван Семеныч. Я вошел в гостиную. Гостиная была еще меньше столовой. На стенах висели какие-то уродливые портреты; перед диваном, из которого в нескольких местах высовывалась мочалка, стоял зеленый стол; на диване восседал Иван Семеныч и тасовал уже карты; подле него, на самом кончике кресел, сидела сухощавая женщина в белом чепце и черном платье, желтая, сморщенная, с подслеповатыми глазками и тонкими кошачьими губами. «Вот,— сказал Иван Семеныч,— рекомендую;

прежний-то умер; Андрей Николаевич привел другого; посмотрим, как он играет!» Старуха неловко поклонилась и раскашлялась. Я оглянулся; Колосова уже не было в комнате. «Полно тебе кашлять, Матрена Семеновна, овцы кашляют»,— проворчал Сидоренко. Я сел; игра началась. Господин Сидоренко ужасно горячился и бесился при малейшей моей ошибке; осыпа́л сестру упреками; но она, по-видимому, успела привыкнуть к любезностям своего братца и только помаргивала глазами. Однако ж, когда он объявил Матрене Семеновне, что она «антихрист», бедная старуха вспыхнула. «Вы, Иван Семеныч,— проговорила она с сердцем,— супругу свою Анфису Карповну уморили, а меня не уморите!» — «Будто?» — «Нет, не уморите».— «Будто?» — «Нет! не уморите!» Таким образом они довольно долго перебранивались. Мое положение было, как изволите видеть, не только незавидно, но даже просто глупо; я не понимал, зачем Колосову вздумалось привести меня... Я никогда не был хорошим игроком; но тут я сам чувствовал, что играю из рук вон плохо. «Нет! — повторял беспрестанно отставной поручик,— далеко вам до Севастьяныча! Нет! вы рассеянно играете!» Я, разумеется, внутренно посылал его ко всем чертям. Эта пытка продолжалась часа два; меня обыграли в пух. Перед концом последнего роббера услышал я за своим стулом легкий шум — оглянулся и увидел Колосова; подле него стояла девушка лет семнадцати и с едва заметной улыбкой посматривала на меня. «Набей-ка мне трубку, Варя»,— проворчал Иван Семеныч. Девушка тотчас порхнула в другую комнату. Она была не очень хороша собой, довольно бледна, довольно худа; но я и прежде и после не видывал ни таких глаз, ни таких волос. Мы кое-как доиграли роббер; я расплатился. Сидоренко закурил трубку и возопил: «Ну, теперь пора ужинать!» Колосов представил меня Варе, то есть Варваре Ивановне, дочери Ивана Семеныча. Варя сконфузилась; и я сконфузился. Но Колосов, по своему обыкновению, в несколько мгновений привел всё и всех в порядок: усадил Варю за фортепьяно, попросил ее сыграть плясовую и пустился отхватывать казачка взапуски с Иваном Семенычем. Поручик вскрикивал, топал и выкидывал ногами такие непостижимые штуки, что сама Матрена Семеновна расхохоталась, раскашлялась и

ушла к себе наверх. Горбатая старушонка накрыла стол; мы сели ужинать. За ужином Колосов рассказывал разные вздоры; поручик смеялся оглушительно; я исподлобья поглядывал на Варю. Она глаз не сводила с Колосова... и я по одному выражению ее лица мог догадаться, что она и любит его — и любима им. Губы ее были слегка раскрыты, голова немножко нагнулась вперед, по всему лицу играла легкая краска; она изредка глубоко вздыхала, вдруг опускала глаза и тихонько смеялась... Я радовался за Колосова... А между тем мне было, чёрт возьми, завидно...

После ужина мы с Колосовым тотчас взялись за шапки, что, однако ж, не помешало поручику, позевывая, сказать нам: «Вы, господа, засиделись; пора вам и честь знать». Варя проводила Колосова до передней. «Когда же вы придете, Андрей Николаевич? — шепнула она ему. «На днях, непременно».— «Приведите ж и его»,— прибавила она с весьма коварной улыбкой. «Как же, как же...» «Покорнейший слуга!» — подумал я...

На возвратном пути узнал я следующее. Месяцев шесть тому назад Колосов довольно странным образом познакомился с господином Сидоренко. В один дождливый вечер Колосов возвращался домой с охоты — и подходил уже к ...ой заставе, как вдруг в недальнем расстоянии от дороги он услышал стоны, прерываемые проклятиями. С ним было ружье; не думая долго, отправился он прямо на крик и нашел на земле человека с вывихнутой ногой. Этот человек был господин Сидоренко. С большим трудом проводил он его до дому, поручил его попечениям испуганной сестры и дочери, сбегал за доктором... Между тем настало утро; Колосов едва мог стоять на ногах от усталости. С позволения Матрены Семеновны он бросился на диван в гостиной и проспал часов до восьми. Проснувшись, он тотчас хотел было уйти домой; но его удержали и напоили чаем. Ночью ему удалось увидать раза два мельком бледное личико Варвары Ивановны; он не обратил на нее особенного внимания, но утром она ему решительно понравилась. Матрена Семеновна болтливо восхваляла и благодарила Колосова; Варя сидела молча, разливая чай, изредка поглядывала на него и с робкой, стыдливой услужливостью подавала ему то чашку, то сливки, то сахарницу. В это время поручик проснулся, громким голосом потребовал

трубку и, помолчав немного, закричал: «Сестра! а сестра!» Матрена Семеновна отправилась к нему в спальню. «Что, этот... как его зовут, чёрт знает! ушел, что ли?»— «Нет, я еще здесь,— отвечал Колосов, подойдя к дверям.— Вам лучше теперь?» — «Лучше,— отвечал поручик,— войдите-ка сюда, батюшка». Колосов вошел. Сидоренко посмотрел на него и неохотно проговорил: «Ну, спасибо; заходите ж когда-нибудь ко мне — как вас зовут, чёрт вас знает?» — «Колосов»,— возразил Андрей. «Ну, хорошо, хорошо, заходите; а теперь вам нечего здесь киснуть; чай, вас дома ждут». Колосов вышел, простился с Матреной Семеновной, поклонился Варваре Ивановне и вернулся домой. С этого дня он начал ходить к Ивану Семенычу сперва изредка, потом всё чаще и чаще. Наступило лето; он возьмет, бывало, ружье, наденет ягдташ и отправится будто на охоту; зайдет к отставному поручику — да и засидится у него до вечера. Отец Варвары Ивановны прослужил лет двадцать пять в армии, нажил небольшие деньжишки и купил себе несколько десятин земли в двух верстах от Москвы. Он едва умел читать и писать; но, несмотря на свою наружную неповоротливость и грубость, был смышлен и хитер, и даже плутоват подчас, как многие малороссы. Он был эгоист страшный, упрям, как вол, и вообще весьма нелюбезен, особенно с незнакомыми; мне даже случалось подмечать в нем что-то похожее на презрение ко всему роду человеческому. Он ни в чем себе не отказывал, как избалованное дитя, никого знать не хотел и жил «в свое удовольствие». Мы как-то раз разговорились с ним о свадьбах вообще. «Свадьба... свадьба,— проговорил он.— Ну, на какой дьявол выдам я свою девку замуж? Ну, для чего? Чтоб ее муженек тузил ее, как я тузил свою покойницу? А я-то с кем останусь?» Вот каков был отставной поручик Иван Семеныч. Колосов ходил к нему,— разумеется, не на его счет, а на счет его дочки. В один прекрасный вечер Андрей сидел с ней в саду и болтал о чем-то. Иван Семеныч подошел к ним, угрюмо посмотрел на Варю и отозвал Андрея в сторону. «Послушай, братец,— сказал он ему,— тебе, я вижу, весело болтать с моей единородной, а мне, старику, скучно; приведи-ка кого-нибудь с собой, а то мне не с кем в карты перекинуть; слышишь? Одного тебя я пускать не стану». На следую-

щий день Колосов явился с Гавриловым, и бедный Севастьян Севастьяныч в течение целой осени и зимы играл по вечерам в карты с отставным поручиком; этот достойный муж обходился с ним, как говорится, без чинов, то есть ужасно грубо. Теперь вы, господа, вероятно, поняли, зачем Колосов, после смерти Гаврилова, привел меня с собой к Ивану Семенычу. Сообщив мне все эти подробности, Колосов прибавил: «Я люблю Варю, она премилая девушка; ты ей понравился».

Я, кажется, забыл довести до сведения вашего, милостивые государи мои, что до того времени я боялся женщин и избегал их, хотя, бывало, наедине по целым часам мечтал о свиданьях, о любви, о взаимной любви и т. д. Варвара Ивановна была первая девушка, с которой необходимость заставила меня поговорить — именно необходимость. Варя была девушка очень обыкновенная,— а между тем таких девушек весьма немного на святой Руси. Вы меня спросите: отчего? Оттого, что я никогда не замечал в ней ничего натянутого, неестественного, жеманного: оттого, что она была простое, откровенное, несколько грустное создание; оттого, что ее нельзя было назвать «барышней». Мне нравилась ее тихая улыбка; я любил ее простодушно-звонкий голосок, ее легкий и веселый смех, ее внимательные, хотя совсем не «глубокие» взоры. Этот ребенок не обещал ничего; но вы невольно любовались им, как любуетесь внезапным мягким криком иволги вечером, в высокой и темной березовой роще. Я должен сознаться, что в иное время я довольно равнодушно прошел бы мимо такого созданья: мне теперь не до вечерних одиноких прогулок, не до иволг; но тогда...

Господа, я думаю, вы, как все порядочные люди, были влюблены хоть раз в течение своей жизни и на собственном опыте узнали, каким образом зарождается и развивается любовь в человеческом сердце; а потому я не стану слишком распространяться о том, что происходило во мне тогда. Мы с Колосовым довольно часто ходили к Ивану Семенычу; и хотя проклятые карты меня не раз приводили в совершенное отчаяние, но в одной близости любимой женщины (я полюбил Варю) есть какая-то странная, сладкая, мучительная отрада. Я не старался подавлять это возникающее чувство; притом, когда я, наконец, решился назвать это чувство по

имени, оно уже было слишком сильно... Я молча лелеял и ревниво и робко таил свою любовь. Мне самому нравилось это томительное брожение молчаливой страсти. Страдания мои не лишали меня ни сна, ни пищи; но я по целым дням ощущал в груди то особенное физическое чувство, которое служит признаком присутствия любви. Я не в состоянии изобразить вам ту борьбу разнороднейших ощущений, которая происходила во мне, когда, например, Колосов возвращался с Варей из саду и всё лицо ее дышало восторженной преданностью, усталостью от избытка блаженства... Она до того жила его жизнью, до того была проникнута им, что незаметно перенимала его привычки, так же взглядывала, так же смеялась, как он... Я воображаю, какие мгновенья провела она с Андреем, каким блаженством обязана ему... А он ... Колосов не утратил своей свободы; в ее отсутствии он, я думаю, и не вспоминал о ней; он был всё тем же беспечным, веселым и счастливым человеком, каким мы его всегда знавали.

Итак, мы, как я вам уже сказал, ходили с Колосовым к Ивану Семенычу довольно часто. Иногда (когда он не был в духе) отставной поручик не засаживал меня за карты; в таком случае он молча забивался в угол, хмурил брови и поглядывал на всех волком. В первый раз я обрадовался его снисхожденью; но потом, бывало, сам начну упрашивать его сесть за «вистик»: роль третьего лица так невыносима! я так неприятно стеснял и Колосова и Варю, хотя они сами уверяли друг друга, что при мне нечего церемониться!..

Между тем время шло да шло... Они были счастливы... Я не охотник описывать счастье других. Но вот я стал замечать, что детская восторженность Вари постепенно заменялась более женским, более тревожным чувством. Я начал догадываться, что новая погудка загудела на старый лад, то есть что Колосов... понемногу... холодеет. Это открытие меня, признаюсь, обрадовало; признаюсь, я не почувствовал ни малейшего негодованья против Андрея.

Промежутки между нашими посещениями становились всё больше и больше... Варя начинала встречать нас с заплаканными глазками. Послышались упреки... Бывало, я спрошу Колосова с притворным равнодушием: «Что ж? пойдем мы сегодня к Ивану Семенычу?..»

Он холодно посмотрит на меня и спокойно проговорит: «Нет, не пойдем». Мне иногда казалось, что он лукаво улыбается, говоря со мной о Варе.. Вообще я не заменил ему Гаврилова... Гаврилов был в тысячу раз добрей и глупей меня.

Теперь позвольте мне небольшое отступление. Говоря вам о своих университетских товарищах, я не упомянул о некоем господине Щитове. Этому Щитову минул тридцать пятый год; он уже лет десять числился в студентах. Я и теперь живо вижу перед собой его довольно длинное бледное лицо, маленькие карие глазки, длинный, орлиный, к концу скривленный нос, тонкие, насмешливые губы, торжественный хохол, подбородок, самодовольно утопавший в широком полинялом галстухе цвета воронова крыла, манишку с бронзовыми пуговицами, синий фрак нараспашку, пестрый жилет; мне слышится его неприятно дребезжащий смех... Он таскался всюду, отличался на всех возможных «танцклассах». . Помнится, я не мог без особенного содроганья слушать его цинические рассказы... Колосов его как-то сравнил однажды с неподметенной комнатой русского трактира... страшное сравнение! И между тем в этом человеке было пропасть ума, здравого смысла, наблюдательности, остроты... Он иногда поражал нас каким-нибудь до того дельным, до того верным и резким словом, что мы все невольно притихали и с изумленьем глядели на него. Да ведь русскому человеку в сущности всё равно: глупость ли он сказал или умную вещь. В особенности боялись Щитова те самолюбивые, мечтательные и бездарные мальчики, которые по целым дням мучительно высиживают дюжину паскуднейших стишков, нараспев читают их своим «друзьям» и пренебрегают всяким положительным знаньем Одного из них он просто выжил из Москвы, беспрестанно повторяя ему его же два стишка:

Человек —
Сей неободранный скелет...

«Скелет» рифмовал с «человеком». Между тем сам Щитов тоже ведь ничего не делал и ничему не учился. Но это всё в порядке вещей. Вот этот-то Щитов, бог весть с чего, начал трунить над моей романтической привязанностью к Колосову. В первый раз я с благородным

негодованием прогнал его к чёрту; во второй раз я с холодным презреньем объявил ему, что он не в состоянии судить о нашей дружбе — однако ж я его не прогнал; и когда он, прощаясь со мной, заметил, что я без позволения Колосова не смею даже хвалить его, мне стало досадно; последние слова Щитова запали мне в душу. Более двух недель я не видал Вари... Гордость, любовь, смутное ожидание — множество разных чувств расшевелилось во мне... Я махнул рукой и с страшным замиранием сердца отправился один к Ивану Семенычу.

Не знаю, как я добрался до знакомого домика; помню, что несколько раз садился отдыхать на дороге — не от усталости, от волнения. Я вошел в переднюю и не успел еще произнести одно слово, как дверь из залы растворилась и Варя выбежала ко мне навстречу. «Наконец,— сказала она трепещущим голосом,— где ж Андрей Николаевич?» — «Колосов не пришел...» — пробормотал я с усилием. «Не пришел?» — повторила она. «Да... он велел вам сказать, что... его задержали...» Я решительно не знал сам, что говорил, и не смел поднять глаза. Варя неподвижно и безмолвно стояла передо мною. Я взглянул на нее: она повернула голову в сторону; две крупные слезы медленно покатились по ее щекам. В выражении ее лица было столько внезапной, горькой скорби; борьба стыдливости, горя, доверенности ко мне так добродушно, так трогательно высказалась в невольном движении ее бедной головки, что сердце во мне перевернулось. Я подался немного вперед... она быстро вздрогнула и убежала. В зале меня встретил Иван Семеныч. «Что это, батюшка, вы одни-с?» — спросил он меня, странно прищурив левый глаз. «Один-с»,— отвечал я с замешательством. Сидоренко вдруг расхохотался и ушел в другую комнату. Я никогда еще не находился в таком глупейшем положении,— чёрт знает что за гадость! Но делать было нечего. Я стал ходить взад и вперед по зале. «Чему,— думал я,— засмеялся этот толстый кабан?» Матрена Семеновна с чулком в руках вышла в залу и уселась у окошка. Я начал с ней разговаривать. Между тем подали чай. Варя сошла сверху, бледная и печальная. Отставной поручик острил насчет Колосова. «Я,— говорил он,— знаю, что он за гусь; теперь, я думаю, чай, его сюда калачом не заманишь!» Варя поспешно встала и ушла. Иван Семеныч

посмотрел ей вслед и плутовски присвистнул. Я с недоумением взглянул на него. «Неужели ж,— думал я,— он всё знает?» И поручик, как будто угадывая мои мысли, утвердительно покачал головой. Тотчас после чая я встал и раскланялся. «Вас-то, батюшка, мы еще увидим»,— заметил мне поручик. Я ни слова не отвечал... я просто начинал бояться этого человека. На крыльце чья-то холодная, дрожащая рука схватила мою руку; я оглянулся: Варя. «Мне нужно поговорить с вами,— шепнула она.— Приходите завтра пораньше, прямо в сад. После обеда папаша спит; нам никто не помешает». Я молча пожал ей руку — и мы расстались.

На другой день, в три часа пополудни, я уже был в саду Ивана Семеныча. Утром я не видал Колосова, хоть он и заходил ко мне. День был осенний, серый, но тихий и теплый. Желтые тонкие былинки грустно качались над побледневшей травой; по темно-бурым, обнаженным сучьям орешника попрыгивали проворные синицы; запоздалые жаворонки торопливо бегали по дорожкам; кой-где по зеленям осторожно пробирался заяц; стадо лениво бродило по жнивью. Я нашел Варю в саду, под яблоней, на скамейке; на ней было темное, немного измятое платье; в ее усталом взгляде, в небрежной прическе волос высказывалась неподдельная горесть.

Я сел подле нее. Мы оба молчали. Она долго вертела в руках какую-то ветку, наклонила голову, проговорила: «Андрей Николаевич...» Я тотчас заметил по движениям ее губ, что она собиралась заплакать, и начал утешать ее, с жаром уверять ее в привязанности Андрея... Она слушала меня, печально покачивала головой, произносила невнятные слова и тотчас же умолкала, но не плакала. Первые мгновения, которых я более всего боялся, прошли довольно благополучно. Она понемногу разговорилась об Андрее. «Я знаю, что он меня теперь уж не любит,— повторяла она,— бог с ним! Я не могу придумать, как мне жить без него... Я по ночам не сплю, все плачу... Что ж мне делать?.. Что ж мне делать?..» Глаза ее наполнились слезами. «Он мне казался таким добрым... и вот...» Варя утерла слезы, кашлянула и выпрямилась. «Давно ли, кажется,— продолжала она,— он мне читал *из* Пушкина, сидел со мной на этой скамье...» Наивная болтливость

Вари меня трогала; я молча слушал ее признанья: душа моя медлительно проникалась горьким, мучительным блаженством; я не отводил глаз от этого бледного лица, от этих длинных мокрых ресниц, от полураскрытых, слегка засохших губ... И между тем я чувствовал... Угодно вам выслушать небольшой психологический разбор моих тогдашних чувств? Во-первых, меня мучила мысль, что не я любим, не я заставляю страдать Варю; во-вторых, меня радовала ее доверенность; я знал: она будет благодарна за то, что я доставил ей возможность высказать свое горе; в-третьих, я внутренно давал себе слово сблизить опять Колосова с Варей, и меня утешало сознанье моего великодушия... в-четвертых, я надеялся своим самоотвержением тронуть сердце Вари — а там... Вы видите, я не щажу себя; слава богу, пора! Но вот на колокольне ...го монастыря пробило пять часов; вечер быстро приближался. Варя торопливо встала, всунула мне в руку записочку и пошла домой. Я догнал ее, обещал ей привести Андрея и тихонько, будто счастливый любовник, выскочил из калитки в поле. На записке неровным почерком были написаны слова: «Милостивому государю, Андрею Николаевичу».

На другой же день, рано поутру, я отправился к Колосову. Признаюсь, хоть я и уверял себя, что мои намерения не только благородны, но даже вообще исполнены великодушного самоотвержения, я все-таки чувствовал какую-то неловкость, даже робость. Пришел я к Колосову. У него сидел некто Пузырицын, недоучившийся студент, один из сочинителей романов, известных под именем «московских», или «серых». Пузырицын был весьма добрый и робкий человек и всё собирался поступить в гусары, несмотря на свои тридцать три года. Он принадлежал к числу тех людей, которым непременно надобно раз в сутки сказать фразу вроде: «Прекрасное всё гибнет в пышном цвете, таков удел прекрасного на свете», для того чтобы всё остальное время дня с удвоенной приятностью покуривать трубочку в кружку «добрых товарищей». Зато его и прозвали идеалистом. Итак, этот Пузырицын сидел у Колосова и читал ему какой-то «отрывок». Я стал слушать: дело шло о юноше, который любил деву, убивает ее и т. д. Наконец, Пузырицын кончил и удалился. Его нелепое сочинение, восторженно

крикливый голос, вообще его присутствие возбудило в Колосове насмешливую раздражительность. Я чувствовал, что пришел не в пору, но делать было нечего; без всяких предисловий вручил я Андрею записку Вари.

Колосов с изумлением посмотрел на меня, распечатал записку, пробежал ее глазами, помолчал и спокойно улыбнулся. «Вот как! — проговорил он, наконец.— Так ты был у Ивана Семеныча?» — «Был, вчера, один»,— отвечал я отрывисто и решительно. «А!..» — насмешливо заметил Колосов и закурил трубку. «Андрей,— сказал я ему,— тебе не жаль ее?.. Если б ты видел ее слезы...» И я пустился красноречиво описывать свое вчерашнее посещение. Я действительно был тронут. Колосов молчал и курил трубку. «Ты сидел с ней под яблоней в саду? — проговорил он, наконец.— Помнится, в мае и я сидел с ней на этой скамейке... Яблонь была в цвету, изредка падали на нас свежие белые цветочки, я держал обе руки Вари... мы были счастливы тогда... Теперь яблонь отцвела, да и яблоки на ней кислые». Я запылал благородным негодованьем, начал упрекать Андрея в холодности, в жестокости; толковал ему, что он не имеет права так внезапно покинуть девушку, в которой он возбудил множество новых впечатлений; просил его по крайней мере пойти проститься с Варей. Колосов выслушал меня до конца. «Положим,— сказал он мне, когда, взволнованный и усталый, я бросился в кресла,— положим, что тебе, как другу моему, позволено осуждать меня... Но выслушай же мое оправдание, хотя...» Тут он помолчал немного и странно улыбнулся. «Варя прекрасная девушка,— продолжал он,— и ни в чем передо мной не виновата... Напротив, я ей многим обязан, очень многим. Я перестал ходить к ней по весьма простой причине — я разлюбил ее...» — «Да отчего же? отчего же?» — перебил я его. «А бог знает отчего. Пока я любил ее, я весь принадлежал ей; я не думал о будущем и всем, всей жизнью своей делился с нею... Теперь эта страсть во мне погасла... Что ж? Ты мне прикажешь притворяться, прикидываться влюбленным, что ли? Да из чего? из жалости к ней? Если она порядочная девушка, так она сама не захочет такой милостыни, а если она рада тешиться моим... участием, так чёрт ли в ней?..» Беспечно-резкие выражения Колосова меня оскорбляли, может быть, более потому, что дело шло о женщине,

которую я втайне любил... Я вспыхнул. «Полно! — сказал я ему,— полно! Я знаю, почему ты перестал ходить к Варе».— «Почему?» — «Танюша тебе запретила». Сказав эти слова, я вообразил, что сильно уязвил Андрея. Эта Танюша была весьма «легкая» барышня, черноволосая, смуглая, лет двадцати пяти, развязная и умная как бес, Щитов в женском платье. Колосов ссорился и мирился с ней раз пять в месяц. Она страстно его любила, хоть иногда, во время размолвки, божилась и клялась, что жаждет его крови... Да и Андрей не мог бы обойтись без нее. Колосов посмотрел на меня и спокойно проговорил: «Может быть».— «Не может быть,— закричал я,— а наверное!» Упреки мои, наконец, надоели Колосову... Он встал и надел фуражку. «Куда?» — «Гулять; у меня от вас с Пузырицыным голова разболелась».— «Ты на меня сердишься?» — «Нет»,— отвечал он, улыбнувшись своей милой улыбкой, и протянул мне руку. «По крайней мере, что ты велишь сказать Варе?» — «Что?..— Он немного призадумался.— Она тебе сказывала,— промолвил он,— что мы вместе с ней читали Пушкина... Напомни ей один пушкинский стих».— «Какой, какой?» — спросил я с нетерпеньем. «А вот какой:

Что было, то не будет вновь».

С этими словами он вышел из комнаты. Я пошел вслед за ним; на лестнице он остановился. «И очень она огорчена?» — спросил он меня, надвинув шапку на глаза. «Очень, очень...» — «Бедная! Утешь ее, Николай; ведь ты ее любишь».— «Да, я привязался к ней, разумеется...» — «Ты ее любишь»,— повторил Колосов и взглянул мне прямо в глаза. Я молча отвернулся; мы разошлись.

Придя домой, я был как в лихорадке.

«Я исполнил свой долг,— думал я,— победил собственное самолюбие; я советовал Андрею сойтись вновь с Варей!!. Теперь я прав: честь предложена, от убытков бог избавил». Между тем равнодушие Андрея оскорбляло меня. Он не ревновал ко мне, он велел мне *утешать* ее... Да разве Варя уж такая обыкновенная девушка?.. разве она не стоит даже сожаленья?.. «Найдутся люди, которые сумеют оценить то, чем вы пренебрегаете, Андрей Николаич!.. Но что пользы?.. Ведь она меня не любит... Да, она меня не любит теперь, пока она еще

не совсем потеряла надежду на возвращение Колосова... Но потом... кто знает? моя преданность ее тронет, я откажусь от всяких притязаний... я отдам ей всего себя, безвозвратно... Варя! неужели ж ты меня не полюбишь... никогда?.. никогда?..»

Вот какие речи произносил ваш покорнейший слуга в столичном граде Москве, лета тысяща восемьсот тридцать третьего, в доме своего почтенного наставника. Я плакал... я замирал... Погода была скверная... мелкий дождь с упорным, тонким скрипом струился по стеклам; влажные, темно-серые тучи недвижно висели над городом. Я наскоро пообедал, не отвечал на заботливые расспросы доброй немки, которая сама расхныкалась при виде моих красных, опухших глаз (немки — известное дело — всегда рады поплакать); обошелся весьма немилостиво с наставником... и тотчас после обеда отправился к Ивану Семенычу... Согнувшись в три погибели на тряских «калиберных» дрожках, я сам себя спрашивал: что? рассказать ли Варе всё как есть, или продолжать лукавить и понемногу отучать ее от Андрея?.. Я доехал до Ивана Семеныча и не знал, на что решиться... Я застал всё семейство в зале. Увидев меня, Варя страшно побледнела, но не тронулась с места; Сидоренко заговорил со мной как-то особенно насмешливо... Я отвечал ему как мог, изредка поглядывая на Варю... и почти бессознательно придал своему лицу уныло-задумчивое выражение. Поручик опять составил «вистик». Варя села подле окошка и не шевелилась. «Чай, тебе теперь скучно?» — раз двадцать спросил ее Иван Семеныч. Наконец, мне удалось улучить удобное мгновенье. «Вы опять одни»,— шепнула мне Варя. «Один,— отвечал я мрачно,— и, вероятно, надолго». Она быстро понурила голову. «Отдали вы ему мое письмо?» — проговорила она едва слышным голосом. «Отдал».— «Ну?..» Она задыхалась. Я взглянул на нее... Злая радость внезапно вспыхнула во мне. «Он велел вам сказать,— произнес я с расстановкою,— что было, то не будет вновь...» Варя схватилась левой рукой за сердце, протянула правую вперед, покачнулась вся и проворно вышла из комнаты. Я хотел догнать ее... Иван Семеныч остановил меня. Я остался еще часа два у него, но Варя не появлялась. На возвратном пути мне стало совестно... совестно перед Варей, перед Андреем,

перед самим собою; хотя, говорят, лучше разом отсечь страдающий член, чем долго томить больного, но кто ж мне дал право так безжалостно поразить сердце бедной девушки?.. Я долго не мог заснуть... но заснул же, наконец. Вообще я должен повторить, что «любовь» ни разу не лишала меня сна.

Я начал ездить к Ивану Семенычу довольно часто; мы виделись по-прежнему с Колосовым, но ни я, ни он не упоминали о Варе. Мои отношения к ней были довольно странного рода. Она привязалась ко мне тою привязанностью, которая исключает всякую возможность любви; она не могла не заметить моего горячего участия и охотно со мной говорила... о чем бы вы думали? — о Колосове, об одном Колосове! Этот человек до того завладел ею, что она как будто не принадлежала самой себе. Я тщетно старался возбудить ее гордость... она или молчала, или говорила, и как! болтала о Колосове. Я тогда и не подозревал, что горе такого рода, болтливое горе, в сущности гораздо истиннее всех молчаливых страданий. Признаюсь, я пережил много горьких мгновений в то время. Я чувствовал, что не в состоянии заменить Колосова; я чувствовал, что прошедшее Вари так полно, так прекрасно... а настоящее так бедно... Я дошел до того, что невольно вздрагивал при словах: «Помните ли...», которыми почти каждая речь ее начиналась. Она немного похудела в первые дни нашего знакомства... но потом опять поправилась и даже повеселела; ее тогда можно было сравнить с раненой, не совсем еще выздоровевшей птичкой. Между тем мое положение становилось невыносимым; самые низкие страсти понемногу завладели душой моей; мне случалось клеветать на Колосова в присутствии Вари. Я решился прекратить такие неестественные отношения. Но как? Расстаться с Варей — я не мог... Объявить ей свою любовь — я не смел: я чувствовал, что не могу пока надеяться на взаимность. Жениться на ней... Эта мысль меня испугала; мне было всего восьмнадцать лет; мне стало страшно так рано «закабалить» всю свою будущность; я вспомнил отца, мне послышались насмешки товарищей, Колосова... Но, говорят, всякая мысль подобна тесту: стоит помять ее хорошенько — всё из нее сделаешь. Я начал по целым дням думать о женитьбе... Я вообра-

жал себе, какой благодарностью преисполнится сердце Вари, когда я, товарищ и поверенный Колосова, предложу ей свою руку, зная, что она безнадежно любит другого. Люди опытные, помнится, говаривали мне, что брак по любви — совершенная нелепость; я начал фантазировать: воображал себе наше тихое житье вдвоем, где-нибудь в теплом уголке южной России; мысленно следил за постепенным переходом сердца Вари от благодарности к дружбе, от дружбы к любви... Я давал себе слово тотчас же оставить Москву, университет, забыть всё и всех. Я начал избегать свиданий с Колосовым. Наконец, в одно зимнее ясное утро (накануне Варя как-то особенно меня очаровала) я оделся получше, медленно и торжественно вышел из комнаты, нанял отличного извозчика и поехал к Ивану Семенычу. Варя сидела в зале одна и читала Карамзина. Увидев меня, она тихонько положила книгу на колени и с тревожным любопытством посмотрела мне в лицо: я никогда к ним по утрам не ездил... Я подсел к ней; мучительно билось мое сердце. «Что вы это читаете?» — спросил я, наконец. «Карамзина».— «Что ж? Вас занимает русская...» Она вдруг перебила меня. «Послушайте, вы не от Андрея ли?» Это имя, этот трепетный, вопрошающий голос, полурадостное, полуробкое выражение ее лица, все эти несомненные признаки живучей любви — стрелами впились в мою душу. Я решился или расстаться с Варей, или получить от нее же самой право навсегда согнать с ее губ ненавистное имя Андрея. Я не помню, что я сказал ей тогда; сперва я, должно быть, выражался довольно неясно, потому что она долго меня не понимала; наконец, я не вытерпел и почти закричал: «Я вас люблю, я хочу на вас жениться».— «Вы меня любите?» — с изумлением проговорила Варя. Мне показалось, что она хочет встать, уйти, отказать мне. «Ради бога,— прошептал я задыхаясь,— не отвечайте мне, не говорите мне ни да, ни нет: подумайте; завтра я вернусь за решительным ответом... Я давно вас люблю. Я не требую от вас любви, я хочу быть вашим защитником, вашим другом, не отвечайте мне теперь, не отвечайте... До завтра». С этими словами я бросился вон из комнаты. В передней встретил меня Иван Семеныч и не только не удивился моему посещению, но даже с приятной улыбкой предложил мне

яблоко. Такая неожиданная любезность до того поразила меня, что я просто остолбенел. «Возьмите ж яблочко, хорошее яблочко, право!» — твердил Иван Семеныч. Я машинально взял, наконец, яблоко и доехал с ним до дома.

Вы легко себе можете представить, как я провел весь этот день и следующее утро. Эту ночь я спал довольно плохо. «Боже мой! боже мой! — думал я,— если она мне откажет!.. Я погибну... я погибну!..— повторял я уныло.— Да, она непременно мне откажет... И к чему я так торопился!!.» Желая чем-нибудь развлечь себя, я начал писать письмо к отцу — отчаянное, решительное. Говоря о себе, я употреблял слова: «ваш сын». Бобов ко мне зашел. Я стал плакать на его груди, чему бедный Бобов, вероятно, удивился немало... Я потом узнал, что он приходил ко мне занять денег (хозяин грозился выгнать его из дому); он принужден был — говоря студентским языком — удалиться вспять и обратно... Наконец, настал великий миг. Выходя из комнаты, я остановился в дверях. «С какими чувствами,— подумал я,— перешагну я сегодня этот порог!..» Волнение мое при виде домика Ивана Семеныча было до того сильно, что я слез, достал пригоршню снега и жадно приник к нему лицом. «О господи! — думал я,— если я застану Варю одну,— я пропал!» Ноги мои подкашивались; я едва взобрался на крыльцо. Желанья мои сбылись. Я нашел Варю в гостиной с Матреной Семеновной. Я неловко раскланялся и присел к старухе. Лицо Вари было несколько бледнее обыкновенного... мне показалось, что она старалась избегать моих взоров... Но что сталось со мной, когда Матрена Семеновна вдруг поднялась и пошла в другую комнату!.. Я начал глядеть в окно — я весь внутренно трепетал, как осиновый лист. Варя молчала... Наконец, я преодолел свою робость, подошел к ней, нагнул голову... «Что ж вы мне скажете?» — произнес я замирающим голосом. Варя отвернулась — слезы сверкнули у ней на ресницах. «Я вижу,— продолжал я,— мне нечего надеяться...» Варя стыдливо взглянула кругом и молча подала мне руку. «Варя!» — невольно проговорил я. . и остановился, как будто испугавшись собственных надежд. «Поговорите с папенькой»,— промолвила она, наконец. «Вы мне позволяете поговорить с Иваном Се-

меньчем?..» — «Да-с». Я осыпал ее руки поцелуями. «Полноте-с, полноте-с»,— шептала Варя — и вдруг залилась слезами. Я подсел к ней, уговаривал ее, утирал ее слезы... К счастью, Ивана Семеныча не было дома, а Матрена Семеновна ушла в свою светелку. Я клялся Варе в любви, в верности... «Да,— сказала она, удерживая последние рыдания и беспрестанно утирая слезы,— я знаю, вы хороший человек; вы честный человек; вы не то, что Колосов...» — «Опять это имя!..» — подумал я. Но с каким наслажденьем целовал я эти теплые, сырые ручки! с какой тихой радостью глядел я в это милое лицо!.. Я говорил ей о будущем, ходил по комнате, садился перед ней на полу, закрывал глаза рукой и вздрагивал... Тяжелая походка Ивана Семеныча прервала наш разговор. Варя торопливо встала и ушла к себе — не пожав, однако ж, мне руки, не взглянув на меня. Г-н Сидоренко был еще любезнее вчерашнего: смеялся, потирал себе живот, острил насчет Матрены Семеновны и т. д. Я было хотел тотчас попросить его «благословения», но подумал и отложил до завтра. Его тяжелые шутки мне надоели; притом я чувствовал усталость... Я простился с ним и уехал.

Я принадлежу к числу людей, которые любят размышлять о собственных ощущениях, хотя сам терпеть не могу таких людей. И потому, после первого взрыва сердечной радости, я тотчас начал предаваться различным соображениям. Отъехав с полверсты от дома отставного поручика, я в избытке восторга кинул шляпу на воздух и закричал: «Ура!» Но пока я тащился по длинным и кривым улицам Москвы, мысли мои понемногу приняли другой оборот. Разные довольно грязные сомнения завозились в моей душе. Я вспомнил свой разговор с Иваном Семенычем о свадьбах вообще... и невольно проговорил вполголоса: «Вишь, как прикидывался, старый плут!..» Правда, я беспрестанно твердил: «Но зато Варя моя! моя!..» Но, во-первых, это «но» — ох, это *но!*.. а во-вторых, слова: «Варя моя!» возбуждали во мне не глубокую, сокрушающую радость, а какой-то дюжинный, самолюбивый восторг... Если б Варя отказала мне наотрез, я бы запылал неистовою страстью; но, получив ее согласие, я походил на человека, который сказал гостю: «Будьте как дома»,— и гость действительно начинает распоряжаться в его

комнате, как у себя. «Если она любила Колосова,— думал я,— как же это она так скоро согласилась? Видно, она рада за кого-нибудь выйти замуж... Ну, что ж? тем лучше для меня...» Вот с какими смутными и странными чувствами я перешагнул порог своего дома. Вы, может быть, господа, находите мой рассказ неправдоподобным? Не знаю, похож ли он на истину, но знаю, что всё, что я вам сказал, совершенная и сущая правда. Впрочем, я весь этот день предавался лихорадочной веселости, говорил самому себе, что я просто не заслуживаю такого счастья; но на другое утро...

Удивительное дело — сон! Он не только возобновляет тело, он некоторым образом возобновляет душу, приводит ее к первобытной простоте и естественности. В течение дня вам удалось *настроить* себя, проникнуться ложью, ложными мыслями... Сон своей холодной волной смывает все эти мизерные дрязги, и, проснувшись, вы, по крайней мере на несколько мгновений, способны понимать и любить истину. Я пробудился и, размышляя о вчерашнем дне, чувствовал какую-то неловкость... мне как будто стало стыдно всех своих проделок. Я с невольным беспокойством думал о сегодняшнем посещении, об объяснении с Иваном Семенычем... Это беспокойство было мучительно и тоскливо; оно походило на беспокойство зайца, который слышит лай гончих и должен выйти, наконец, из родимого леса в поле... а в поле ждут его зубастые борзые... «К чему я торопился!» — повторил я так же, как и вчера, но уже совсем в другом смысле. Помню — эта страшная разница между вчерашним и сегодняшним днем меня самого поразила; в первый раз пришло мне в голову тогда, что в жизни человеческой скрываются тайны — странные тайны... С детским недоумением глядел я в этот новый, не фантастический, действительный мир. Под словом «действительность» многие понимают слово «пошлость» Может быть, оно иногда и так; но я должен сознаться, что первое появление *действительности* передо мною потрясло меня глубоко, испугало, поразило меня...

Какие громкие речи по поводу *невытанцевавшейся* любви, говоря словами Гоголя!.. Возвращаюсь к своему рассказу. В течение того же утра я опять уверил себя, что я блаженнейший из смертных. Я поехал за город, к Ивану Семенычу. Он меня принял весьма радостно;

хотел было пойти к соседу, но я сам его остановил. Я боялся остаться наедине с Варей. Этот вечер прошел весело, но не отрадно. Варя была ни то ни се, ни любезна, ни грустна... ни хороша собой, ни дурна. Я взирал на нее, как говорят философы, объективным оком, то есть как сытый человек смотрит на кушанья. Я нашел, что у ней руки немного красны. Впрочем, кровь иногда во мне разгоралась, и я, глядя на нее, предавался другим мечтам и замыслам. Давно ли я сделал так называемое предложение, и вот уже я чувствовал, что мы с ней живем супружеской жизнью... что наши души уже составляют одно *прекрасное целое*, принадлежат друг другу и, следовательно, стараются каждая сыскать для себя особую дорожку...

«Что ж? вы говорили с папенькой?» — сказала мне Варя, когда мы с ней остались наедине. Этот вопрос мне ужасно не понравился... я подумал про себя: «Больно изволите торопиться, Варвара Ивановна». «Нет еще-с,— отвечал я довольно сухо,— но поговорю». Вообще я обходился с ней несколько небрежно. Несмотря на свое обещание, я Ивану Семенычу ничего не сказал положительного. Уезжая, я значительно пожал его руку и объявил ему, что мне нужно с ним поговорить... вот и все... «Прощайте!» — сказал я Варе. «До свидания»,— сказала она.

Я вас не стану долго томить, господа; боюсь истощить ваше терпение... Этого свидания не было. Я не вернулся более к Ивану Семенычу. Правда, первые дни моей добровольной разлуки с Варей не прошли без слез, упреков и волнений; я сам был испуган быстрым увяданием моей любви; я двадцать раз собирался ехать к ней, живо представлял себе ее изумление, горе, оскорбление, но — не вернулся к Ивану Семенычу. Я заочно просил у ней прощения, заочно становился перед ней на колени, уверял ее в своем глубоком раскаянии — и как-то раз, встретив на улице девушку, слегка похожую на нее, пустился бежать без оглядки и отдохнул только в кондитерской, за пятым слоеным пирожком. Слово «завтра» придумано для людей нерешительных и для детей; я, как ребенок, успокоивал себя этим волшебным словом. «Завтра я пойду к ней непременно»,— говорил я самому себе — и отлично ел и спал сегодня. Я начал гораздо более думать о Колосове, чем о Варе... везде и беспре-

станно видел я перед собой его открытое, смелое, беспечное лицо. Я стал снова ходить к нему. Он меня принял по-прежнему. Но как глубоко я чувствовал его превосходство надо мною! Как смешны показались мне все мои затеи: моя грустная задумчивость во время связи Колосова с Варей, моя великодушная решимость сблизить их снова, мои ожидания, мои восторги, мое раскаяние!.. Я разыграл плохую, крикливую и растянутую комедию, а он так просто, так хорошо прожил это время... Вы мне скажете: «Что ж тут удивительного? ваш Колосов полюбил девушку, потом разлюбил и бросил ее... Да это случалось со всеми...» Согласен; но кто из нас умел вовремя расстаться с своим прошедшим? Кто, скажите, кто не боится упреков, не говорю упреков женщины... упреков первого глупца? Кто из нас не поддавался желанию то щегольнуть великодушием, то себялюбиво поиграть с другим, преданным сердцем? Наконец, кто из нас в силах противиться мелкому самолюбию — *мелким хорошим чувствам*: сожалению и раскаянию?.. О, господа! человек, который расстается с женщиною, некогда любимой, в тот горький и великий миг, когда он невольно сознает, что его сердце не всё, не вполне проникнуто ею, этот человек, поверьте мне, лучше и глубже понимает святость любви, чем те малодушные люди, которые от скуки, от слабости продолжают играть на полупорванных струнах своих вялых и чувствительных сердец! В начале рассказа я вам сказывал, что мы все прозвали Андрея Колосова человеком необыкновенным. И если ясный, простой взгляд на жизнь, если отсутствие всякой фразы в молодом человеке может назваться вещью необыкновенной, Колосов заслужил данное ему имя. В известные лета быть естественным — значит быть необыкновенным... Однако пора кончить. Благодарю вас за внимание... Да! я забыл вам сказать, что месяца три после моего последнего посещения встретился я со старым плутом, Иваном Семенычем. Я, разумеется, постарался незаметно и скоро проскользнуть мимо его, но все-таки не мог не услышать следующих, с досадой произнесенных слов: «Ведь вот бывают же такие широмыжники!»

— А что сталось с Варей? — спросил кто-то.

— Не знаю,— отвечал рассказчик.

Мы все встали и разошлись.

БРЕТЁР

I

...ий кирасирский полк квартировал в 1829 году в селе Кириллове, К...ской губернии. Это село с своими избушками и скирдами, зелеными конопляниками и тощими ракитами издали казалось островом среди необозримого моря распаханных черноземных полей. Посреди села находился небольшой пруд, вечно покрытый гусиным пухом, с грязными, изрытыми берегами; во ста шагах от пруда, на другой стороне дороги, высился господский деревянный дом, давно пустой и печально подавшийся набок; за домом тянулся заброшенный сад; в саду росли старые, бесплодные яблони, высокие березы, усеянные вороньими гнездами; на конце главной аллеи, в маленьком домишке (бывшей господской бане) жил дряхлый дворецкий и, покрёхтывая да покашливая, каждое утро, по старой привычке, тащился через сад в барские покои, хотя в них нечего было стеречь, кроме дюжины белых кресел, обитых полинялым штофом, двух пузатых комодов на кривых ножках, с медными ручками, четырех дырявых картин и одного черного арапа из алебастра с отбитым носом. Владелец этого дома, молодой и беспечный человек, жил то в Петербурге, то за границей — и совершенно позабыл о своем поместье. Оно досталось ему лет восемь тому назад от престарелого дяди, известного некогда всему околотку своими отличными наливками. Пустые темно-зеленые бутыли до сих пор еще валялись в кладовой вместе с разным хламом, скупо исписанными тетрадями в пестрых переплетах, старинными стеклянными люстрами, дворянским мундиром времен Екатерины, заржавевшей шпагой с стальной рукояткой и т. д. В одном из флигелей помещался сам полковник, человек женатый, высокого роста, скупой на слова, угрюмый и сонливый. В другом флигеле жил полковой адъютант, чувствительный и раздушенный человек, охотник до

цветов и до бабочек. Общество гг. офицеров ...го полка не отличалось от всякого другого общества. В числе их были хорошие и дурные, умные и пустые люди... Между ними некто Авдей Иванович Лучков, штабс-ротмистр, слыл бретёром. Лучков был роста небольшого, неказист; лицо имел малое, желтоватое, сухое, волосы жиденькие, черные, черты лица обыкновенные и темные глазки. Он рано остался сиротой, вырос в нужде и загоне. По целым неделям вел он себя тихо... и вдруг — словно бес какой им овладеет — ко всем пристает, всем надоедает, всем нагло смотрит в глаза; ну так и напрашивается на ссору. Впрочем, Авдей Иванович не чуждался своих сослуживцев, но в дружбе состоял с одним только раздушенным адъютантом; в карты не играл и не пил вина.

В мае 1829 года, незадолго до начатия учений, прибыл в полк молодой корнет Федор Федорович Кистер, русский дворянин немецкого происхождения, очень белокурый и очень скромный, образованный и начитанный. Он до двадцатилетнего возраста жил в родительском доме под крылышками матушки, бабушки и двух тетушек; поступил же в военную службу единственно по желанию бабушки, которая даже под старость не могла без волнения видеть белый султан... Он служил без особенной охоты, но с усердием, точно и добросовестно исполнял долг свой; одевался не щеголевато, но чисто и по форме. В первый же день своего приезда Федор Федорович явился к начальникам; потом начал устраивать свою квартиру. Он привез с собою дешевенькие обои, коврики, полочки и т. д., оклеил все стены, двери, наделал разных перегородок, велел вычистить двор, перестроил конюшню, кухню, отвел даже место для ванны... Целую неделю хлопотал он; зато любо было потом войти в его комнату. Перед окнами стоял опрятный стол, покрытый разными вещицами; в углу находилась полочка для книг с бюстами Шиллера и Гёте; на стенах висели ландкарты, четыре гредоновские головки и охотничье ружье; возле стола стройно возвышался ряд трубок с исправными мундштуками; в сенях на полу лежал коврик; все двери запирались на замок; окна завешивались гардинами. Всё в комнате Федора Федоровича дышало порядком и чистотой. То ли дело у других товарищей! К иному

едва проберешься через грязный двор; в сенях, за облупившимися парусинными ширмами, храпит денщик; на полу — гнилая солома; на плите — сапоги и донышко банкн, залитое ваксой; в самой комнате — покоробленный ломберный стол, исписанный мелом; на столе — стаканы, до половины наполненные холодным темно-бурым чаем; у стены — широкий, проломленный, замасленный диван; на окнах — трубочный пепел... На неуклюжем и пухлом кресле восседает сам хозяин в шлафроке травяного цвета с малиновыми плисовыми отворотами и вышитой ермолке азиатского происхождения, а возле хозяина храпит безобразно толстый и негодный пес в вонючем медном ошейнике... Все двери всегда настежь...

Федор Федорович понравился своим новым товарищам. Они его полюбили за добродушие, скромность, сердечную теплоту и природную наклонность ко «всему прекрасному» — словом, за всё то, что в другом офицере нашли бы, может быть, неуместным. Кистера прозвали красной девушкой и обращались с ним нежно и кротко. Один Авдей Иванович поглядывал на него косо. Однажды, после ученья, Лучков подошел к нему, слегка сжимая губы и расширяя ноздри.

— Здравствуйте, господин Кнастер.

Кистер взглянул на него с недоумением.

— Мое почтение, господин Кнастер,— повторил Лучков.

— Меня зовут Кистер, милостивый государь.

— Вот как-с, господин Кнастер.

Федор Федорович обернулся к нему спиной и пошел домой. Лучков с усмешкой посмотрел ему вслед.

На другой день он, тотчас после ученья, опять подошел к Кистеру.

— Ну, как вы поживаете, господин Киндербальзам?

Кистер вспыхнул и посмотрел ему прямо в лицо. Маленькие, желчные глазки Авдея Ивановича засветились злобной радостью.

— Я с вами говорю, господин Киндербальзам!

— Милостивый государь,— отвечал ему Федор Федорович,— я нахожу вашу шутку глупою и неприличною — слышите ли? глупою и неприличною.

— Когда мы деремся? — спокойно возразил Лучков.

— Когда вы хотите... хоть завтра.

На другое утро они дрались. Лучков легко ранил Кистера и, к крайнему удивлению секундантов, подошел к раненому, взял его за руку и попросил у него извиненья. Кистер просидел дома две недели; Авдей Иванович несколько раз заходил навестить больного, а по выздоровлении Федора Федоровича подружился с ним. Понравилась ли ему решительность молодого офицера, пробудилось ли в его душе чувство, похожее на раскаянье,— решить мудрено... но со времени поединка с Кистером Авдей Иванович почти не расставался с ним и называл его сперва Федором, потом и Федей. В его присутствии он делался иным человеком, и — странное дело! — не в свою выгоду. Ему не шло быть кротким и мягким. Сочувствия он все-таки возбуждать ни в ком не мог: уж такова была его судьба! Он принадлежал к числу людей, которым как будто дано право власти над другими; но природа отказала ему в дарованиях — необходимом оправдании подобного права. Не получив образования, не отличаясь умом, он не должен бы был разоблачаться; может быть, ожесточение в нем происходило именно от сознания недостатков своего воспитания, от желанья скрыть себя всего под одну неизменную личину. Авдей Иванович сперва заставлял себя презирать людей; потом заметил, что их пугнуть нетрудно, и действительно стал их презирать. Лучкову было весело прекращать одним появлением своим всякий не совсем пошлый разговор. «Я ничего не знаю и ничему не учился, да и способностей у меня нет,— думал он про себя,— так и вы ничего не знайте и не выказывайте своих способностей при мне...» Кистер, быть может, потому заставил Лучкова выйти, наконец, из своей роли, что до знакомства с ним бретёр не встретил ни одного человека действительно «идеального», то есть бескорыстно и добродушно занятого мечтами, а потому снисходительного и не самолюбивого.

Бывало, Авдей Иванович придет поутру к Кистеру, закурит трубку и тихонько присядет на кресла. Лучков при Кистере не стыдился своего невежества; он надеялся — и недаром — на его немецкую скромность.

— Ну, что? — начинал он.— Что вчера поделывал? Читал небось, а?

— Да, читал...

— А что ж такое читал? Расскажи-ка, братец, расскажи-ка.— Авдей Иванович до конца придерживался насмешливого тона.

— Читал, брат, «Идиллию» Клейста. Ах, как хорошо! Позволь, я переведу тебе несколько строк.— И Кистер с жаром переводил, а Лучков, наморщив лоб и стиснув губы, слушал внимательно...

— Да, да,— твердил он поспешно, с неприятной улыбкой,— хорошо... очень хорошо... Я, помнится, это читал... хорошо.

— Скажи мне, пожалуйста,— прибавлял он протяжно и как будто нехотя,— какого ты мнения о Людовике Четырнадцатом?

И Кистер пускался толковать о Людовике XIV. А Лучков слушал, многого не понимал вовсе, иное понимал криво... и, наконец, решался сделать замечание... Его бросало в пот: «Ну, если я совру?» — думал он. И действительно, врал он часто, но Кистер никогда резко не возражал ему: добрый юноша душевно радовался тому, что вот, дескать, в человеке пробуждается охота к просвещению. Увы! Авдей Иванович расспрашивал Кистера не из охоты к просвещению, а так, бог знает отчего. Может быть, он желал сам удостовериться на деле, какая у него, Лучкова, голова: тупая, что ли, или только необделанная? «А я ведь в сущности глуп»,— говорил он самому себе не раз с горькой усмешкой и вдруг выпрямлялся весь, нахально и дерзко глядел кругом и злобно улыбался, если замечал, что какой-нибудь товарищ опускал свой взгляд перед его взглядом. «То-то, брат, ученый, воспитанный...— шептал он сквозь зубы,— не хочешь ли... того?»

Господа офицеры недолго толковали о внезапной дружбе Кистера с Лучковым: они привыкли к странностям бретёра. «Связался же чёрт с младенцем!» — говорили они... Кистер повсюду с жаром выхвалял своего нового приятеля: с ним не спорили, потому что боялись Лучкова; сам же Лучков никогда при других не упоминал имени Кистера, но перестал знаться с раздушенным адъютантом.

II

Помещики южной России большие охотники давать балы, приглашать к себе на дом гг. офицеров и выдавать своих дочерей замуж. В десяти верстах от села Кириллова жил именно такой помещик, некто господин Перекатов, владелец четырехсот душ и довольно просторного дома. У него была дочь лет восьмнадцати, Машенька, и жена, Ненила Макарьевна. Господин Перекатов служил некогда в кавалерии, но по любви к деревенской жизни, по лени вышел в отставку и начал жить себе потихоньку, как живут помещики средней руки. Ненила Макарьевна происходила не совершенно законным образом от знатного московского барина.

Покровитель ее воспитывал свою Ненилушку весьма, как говорится, тщательно, в собственном доме, но сбыл ее с рук довольно поспешно, по первому востребованию, как ненадежный товар. Ненила Макарьевна была нехороша собой: знатный барин давал за ней всего тысяч десять приданого; она ухватилась за господина Перекатова. Господину Перекатову показалось весьма лестным жениться на барышне воспитанной, умной... ну, да, наконец, всё же состоявшей в родстве с знатным сановником. Сановник этот и после брака оказывал супругам свое покровительство, то есть принимал от них в подарок соленых перепелок и говорил Перекатову: «ты, братец», а иногда просто: «ты». Ненила Макарьевна совершенно завладела мужем, хозяйничала и распоряжалась всем именьем — весьма, впрочем, умно; во всяком случае гораздо лучше самого господина Перекатова. Она не слишком притесняла своего сожителя, но держала его в руках, сама заказывала ему платье и наряжала его по-английски, как оно и прилично помещику; по ее приказанию господин Перекатов завел у себя на подбородке эспаньолку для прикрытия большой бородавки, похожей на переспелую малину; Ненила Макарьевна, с своей стороны, объявила гостям, что муж ее играет на флейте и что все флейтисты под нижней губой отпускают себе волосы: ловчее держать инструмент. Господин Перекатов с утра ходил в высоком чистом галстухе, причесанный и вымытый. Впрочем, он был своей судьбой весьма доволен: обедал всегда очень вкусно, делал что хотел и спал сколько мог.

Ненила Макарьевна завела, как говорили соседи, у себя в доме «иностранный порядок»: держала мало людей, одевала их опрятно. Честолюбие ее мучило; она хотела попасть хоть в уездные предводительши, но дворяне ...го уезда хоть и наедались у ней всласть, однако ж все-таки выбирали не ее мужа, а то отставного премьер-майора Буркольца, то отставного секунд-майора Бурундюкова. Господин Перекатов казался им чересчур столичной штучкой.

Дочь господина Перекатова, Машенька, с лица походила на отца. Ненила Макарьевна много хлопотала над ее воспитанием. Она хорошо говорила по-французски, играла порядочно на фортепьянах. Она была среднего роста, довольно полна и бела; ее несколько пухлое лицо оживлялось доброй, веселой улыбкой; русые, не слишком густые волосы, карие глазки, приятный голосок — всё в ней тихо нравилось, и только. Зато отсутствие жеманства, предрассудков, начитанность, необыкновенная в степной девице, свобода выражений, спокойная простота речей и взглядов невольно в ней поражали. Она развилась на воле; Ненила Макарьевна не стесняла ее.

Однажды поутру, часов в двенадцать, всё семейство Перекатовых собралось в гостиную. Муж, в зеленом круглом фраке, высоком клетчатом галстухе и гороховых панталонах с штиблетами, стоял перед окном и с большим вниманием ловил мух. Дочь сидела за пяльцами; ее небольшая, полненькая ручка в черной митенке грациозно и медленно подымалась и опускалась над канвой. Ненила Макарьевна сидела на диване и молча посматривала на пол.

— Вы послали в ...ий полк приглашение, Сергей Сергеич? — спросила она мужа.

— На сегодняшний вечер? Как же, ма шер, послал. (Ему запрещено было называть ее матушкой.) Как же!

— Совсем нет кавалеров,— продолжала Ненила Макарьевна.— Не с кем танцевать барышням.

Муж вздохнул, как будто отсутствие кавалеров его сокрушало.

— Маменька,— заговорила вдруг Маша,— мсьё Лучков приглашен?

— Какой Лучков?

— Он тоже офицер. Он, говорят, очень интересен.

— Как так?

— Да; он собой нехорош и немолод, но его все боятся. Он ужасный дуэлист. (Маменька слегка нахмурила брови.) Я бы очень желала его видеть...

Сергей Сергеевич перебил свою дочку.

— Что тут видеть, душа моя? Ты думаешь, он так и смотрит лордом Байроном? (В то время только что начинали у нас толковать о лорде Байроне.) Пустяки! Ведь и я, душа моя, в кои-то веки слыл забиякой.

Маша посмотрела с изумлением на родителя, засмеялась, потом вскочила и поцеловала его в щеку. Супруга слегка улыбнулась... а Сергей Сергеич не солгал.

— Не знаю, приедет ли этот господин,— промолвила Ненила Макарьевна.— Может быть, и он пожалует.

Дочка вздохнула.

— Смотри, не влюбись в него,— заметил Сергей Сергеич.— Я знаю, вы все такие теперь... того, восторженные...

— Нет,— простодушно возразила Маша.

Ненила Макарьевна холодно посмотрела на своего мужа. Сергей Сергеич с некоторым замешательством поиграл часовой цепочкой, взял со стола свою английскую, с широкими полями шляпу и отправился на хозяйство. Его собака робко и смиренно побежала вслед за ним. Как животное умное, она чувствовала, что и сам хозяин ее не слишком властный человек в доме, и вела себя скромно и осторожно.

Ненила Макарьевна подошла к дочери, тихонько подняла ей голову и ласково посмотрела ей в глаза. «Ты мне скажешь, когда ты влюбишься?» — спросила она.

Маша с улыбкой поцеловала руку матери и несколько раз утвердительно покачала головой.

— Смотри же,— заметила Ненила Макарьевна, погладила ее по щеке и вышла вслед за мужем. Маша прислонилась к спинке кресел, опустила голову на грудь, скрестила пальцы и долго глядела в окно, прищурив глазки... Легкая краска заиграла на свежих ее щеках; со вздохом выпрямилась она, принялась было шить, уронила иголку, оперла лицо на руку и, легонько покусывая кончики ногтей, задумалась... потом взглянула на свое плечо, на свою протянутую руку, встала,

подошла к зеркалу, усмехнулась, надела шляпу и пошла в сад.

В тот же вечер, часов в восемь, начали съезжаться гости. Г-жа Перекатова весьма любезно принимала и «занимала» дам, Машенька — девиц; Сергей Сергеич толковал с помещиками о хозяйстве и то и дело взглядывал на жену. Начали появляться молодые франты, нарочно приехавшие попозже офицеры; наконец, вошел сам г-н полковник, в сопровождении своего адъютанта, Кистера и Лучкова. Он представил их хозяйке. Лучков молча поклонился; Кистер пробормотал обычное: «Весьма рад...» Г-н Перекатов подошел к полковнику, крепко пожал ему руку и с чувством посмотрел ему в глаза. Полковник немедленно насупился. Начались танцы. Кистер пригласил Машеньку. В то время процветал еще экосез.

— Скажите мне, пожалуйста,— сказала ему Маша, когда, проскакав раз двадцать до конца залы, они стали, наконец, в первые пары,— отчего ваш приятель не танцует?

— Какой приятель?

Маша концом веера указала на Лучкова.

— Он никогда не танцует,— возразил Кистер.

— Зачем же он приехал?

Кистер немного смешался.

— Он желал иметь удовольствие...

Машенька его перебила.

— Вы, кажется, недавно переведены в наш полк?

— В *ваш* полк,— заметил с улыбкой Кистер,— нет, недавно.

— Вы здесь не скучаете?

— Помилуйте... Я здесь нашел такое приятное общество... а природа!..— Кистер пустился в описание природы. Маша слушала его, не поднимая головы. Авдей Иванович стоял в углу и равнодушно посматривал на танцующих.

— Сколько лет господину Лучкову? — спросила она вдруг.

— Лет... лет тридцать пять, я думаю,— возразил Кистер.

— Он, говорят, человек опасный... сердитый,— поспешно прибавила Маша.

— Он немного вспыльчив... но, впрочем, он очень хороший человек.

— Говорят, все его боятся?

Кистер засмеялся.

— А вы?

— Мы с ним приятели.

— В самом деле?

— Вам, вам, вам,— кричали им со всех сторон. Они встрепенулись и пустились опять скакать боком черезо всю залу.

— Ну, поздравляю тебя,— сказал Лучкову Кистер, подходя к нему после танца,— хозяйская дочь то и дело расспрашивала меня о тебе.

— Неужели? — презрительно возразил Лучков.

— Честный человек! А ведь она очень собой хороша; посмотри-ка.

— А какая из них она?

Кистер указал ему Машу.

— А! недурна! — И Лучков зевнул.

— Холодный человек! — воскликнул Кистер и побежал приглашать другую девицу.

Авдею Ивановичу очень понравилось известие, сообщенное Кистером, хоть он и зевнул, и даже громко зевнул. Возбуждать любопытство — сильно льстило его самолюбию; любовь он презирал — на словах... а внутренно чувствовал сам, что трудно и хлопотно заставить полюбить себя. Трудно и хлопотно заставить полюбить себя; но весьма легко и просто прикидываться равнодушным, молчаливым гордецом. Авдей Иванович был дурен собою и немолод; но зато пользовался страшной славой — и, следовательно, имел право рисоваться. Он привык к горьким и безмолвным наслаждениям угрюмого одиночества; не в первый раз обращал он на себя внимание женщин; иные даже старались сблизиться с ним, но он их отталкивал с ожесточенным упрямством; он знал, что не к лицу ему нежность (в часы свиданий, откровений он становился сперва неловким и пошлым, а потом, с досады, грубым до плоскости, до оскорбления); он помнил, что две-три женщины, с которыми он некогда знался, охладели к нему тотчас после первых мгновений ближайшего знакомства и сами с поспешностью удалились от него... а потому он и решился, наконец, оставаться загадкой и презирать то,

в чем судьба отказала ему... Другого презрения люди вообще, кажется, не знают. Всякое откровенное, непроизвольное, то есть доброе, проявление страсти не шло к Лучкову; он должен был постоянно сдерживать себя, даже когда злился. Одному Кистеру не становилось гадко, когда Лучков заливался хохотом; глаза доброго немца сверкали благородной радостью сочувствия, когда он читал Авдею любимые страницы из Шиллера, а бретёр сидел перед ним, понурив голову, как волк...

Кистер танцевал до упаду. Лучков не покидал своего уголка, хмурил брови, изредка украдкой взглядывал на Машу — и, встретив ее взоры, тотчас придавал глазам своим равнодушное выражение. Маша раза три танцевала с Кистером. Восторженный юноша возбудил ее доверенность. Она довольно весело болтала с ним, но на сердце ей было неловко. Лучков занимал ее.

Загремела мазурка. Офицеры пустились подпрыгивать, топать каблуками и подбрасывать плечами эполеты; статские тоже топали каблуками. Лучков всё не двигался с своего места и медленно следил глазами за мелькающими парами. Кто-то тронул его рукав... он оглянулся; его сосед указывал ему на Машу. Она стояла перед ним, не поднимая глаз, и протягивала ему руку. Лучков сперва посмотрел на нее с недоумением, потом равнодушно снял палаш, бросил шляпу на пол, неловко пробрался между кресел, взял Машу за руку — и пошел вдоль круга, без припрыжек и топаний, как бы нехотя исполняя неприятный долг... У Маши сильно билось сердце.

— Отчего вы не танцуете? — спросила она его, наконец.

— Я не охотник,— отвечал Лучков.— Где ваше место?

— Вон там-с.

Лучков довел Машу до ее стула, спокойно поклонился ей, спокойно вернулся в свой угол... но весело в нем шевельнулась желчь.

Кистер пригласил Машу.

— Какой ваш приятель странный!

— А он вас очень занимает...— сказал Федор Федорович, плутовски прищурив свои голубые и добрые глаза.

— Да... он, должно быть, очень несчастлив.

— Он несчастлив? С чего вы это взяли? — И Федор Федорович засмеялся.

— Вы не знаете... Вы не знаете...— Маша важно покачала головой.

— Да как же мне не знать?..

Маша опять покачала головой и взглянула на Лучкова. Авдей Иванович заметил этот взгляд, пожал незаметно плечами и вышел в другую комнату.

III

Прошло несколько месяцев с того вечера. Лучков ни разу не был у Перекатовых. Зато Кистер посещал их довольно часто. Ненила Макарьевна его полюбила, но не она привлекала Федора Федоровича. Маша ему нравилась. Как человек неопытный и невыболтавшийся, он находил большое удовольствие в обмене чувств и мыслей и добродушно верил в возможность возвышенной и спокойной дружбы между молодым человеком и молодой девушкой.

Однажды тройка сытых и резвых лошадок примчала его к дому г-на Перекатова. День был летний, душный и знойный. Нигде ни облака. Синева неба по краям сгущалась до того, что глаз принимал ее за грозовую тучу. Дом, построенный г-м Перекатовым на летнее жительство с обыкновенной степной предусмотрительностию, был обращен окнами прямо на солнце. Ненила Макарьевна с утра велела затворить все ставни. Кистер вошел в гостиную, прохладную и полумрачную. Свет ложился длинными чертами по полу, короткими и частыми полосками по стенам. Семейство Перекатовых ласково встретило Федора Федоровича. После обеда Ненила Макарьевна отправилась на отдых к себе в спальню; г. Перекатов уместился в гостиной на диване; Маша села подле окна за пяльцы; Кистер против нее. Маша, не раскрывая пялец, слегка приложилась к ним грудью и подперла голову руками. Кистер начал ей что-то рассказывать; она слушала его без внимания, как будто ждала чего-то, изредка взглядывала на отца и вдруг протянула руку.

— Послушайте, Федор Федорович... да только говорите потише... папенька заснул.

Действительно, г-н Перекатов, по обыкновению, заснул, сидя на диване, закинув голову и раскрыв немного рот.

— Что вам угодно? — с любопытством спросил Кистер.

— Вы будете надо мной смеяться.

— Помилуйте!..

Маша опустила голову, так что только верхняя часть ее лица осталась не закрытой руками, и вполголоса, не без замешательства, спросила Кистера: отчего он никогда не привезет с собой г-на Лучкова? Маша не в первый раз упоминала о нем после бала... Кистер молчал. Маша боязливо выглянула из-за переплетенных пальцев.

— Могу ли я откровенно сказать вам мое мнение? — спросил ее Кистер.

— Отчего же нет? разумеется.

— Мне кажется, Лучков произвел на вас большое впечатление!

— Нет! — отвечала Маша и нагнулась, как бы желая рассмотреть поближе узор; узкая золотая полоска света легла ей на волосы,— нет... но...

— Что но? — проговорил Кистер с улыбкой.

— Вот видите ли,— сказала Маша и приподняла вдруг голову, так что полоска пришлась ей прямо на глаза,— вот видите ли... он...

— Он вас занимает...

— Ну... да...— сказала Маша с расстановкой, покраснела, отвернула немного голову в сторону и в таком положении продолжала говорить,— в нем есть что-то такое... Ведь вот вы смеетесь надо мной,— прибавила она вдруг, быстро взглянув на Федора Федоровича.

Федор Федорович улыбался самой кроткой улыбкой.

— Я вам всё говорю, что только мне вздумается,— продолжала Маша,— я знаю, что вы мой... (она хотела было сказать «друг») хороший приятель.

Кистер наклонился. Маша помолчала и робко протянула ему руку; Федор Федорович почтительно пожал кончики ее пальцев.

— Он, должно быть, большой чудак,— заметила Маша и опять облокотилась на пяльцы.

— Чудак?

— Конечно; он меня и занимает как чудак! — хитро прибавила Маша.

— Лучков — благородный, замечательный человек,— с важностью возразил Кистер.— Его не знают у нас в полку, не ценят, видят в нем только наружную сторону Конечно, он ожесточен, странен, нетерпелив, но сердце у него доброе.

Маша жадно слушала Федора Федоровича.

— Я его привезу к вам. Я скажу ему, что вас бояться нечего, что смешно ему дичиться... Я ему скажу... О! да я уже знаю, что сказать... То есть вы, однако ж, не думайте, чтоб я...— Кистер смешался; Маша тоже смешалась...— Да и, наконец, ведь он только вам так... нравится...

— Ну, конечно, как многие мне нравятся.

Кистер плутовски посмотрел на нее.

— Хорошо, хорошо,— промолвил он с довольным видом,— я вам его привезу...

— Да нет...

— Хорошо, я ж вам говорю, всё будет хорошо... Уж я устрою.

— Какой вы...— с улыбкой заметила Маша и погрозилась на него. Г-н Перекатов зевнул и открыл глаза.

— А я, кажется, заснул,— пробормотал он с удивленьем. Этот вопрос и это удивление повторялись каждый день. Маша с Кистером заговорили о Шиллере. Однако ж Федору Федоровичу было не совсем ловко; в нем как будто шевельнулась зависть... и он благородно негодовал на себя. Ненила Макарьевна сошла в гостиную. Подали чай. Г-н Перекатов заставил свою собаку прыгнуть несколько раз через палку и объявил потом, что он сам ее всему выучил, причем собака учтиво вертела хвостом, облизывалась и моргала. Когда же, наконец, зной уменьшился и повеял вечерний ветерок, всё семейство Перекатовых отправилось гулять в березовую рощу. Федор Федорович беспрестанно взглядывал на Машу, как бы желая дать ей знать, что он исполнит ее поручение; Маше было и на себя досадно, и весело, и жутко. Кистер вдруг, ни с того ни с сего, заговорил довольно высокопарно о любви вообще, о дружбе... но, заметпв наблюдательный и ясный взгляд Ненилы Макарьевны, так же внезапно переменил разговор.

Ярко и пышно зарделась заря. Перед березовой рощей расстилался ровный и широкий луг. Маше вздумалось играть в горелки. Явились горничные, лакеи; г-н Перекатов стал с своей супругой, Кистер с Машей. Горничные бегали с подобострастными и легкими криками; камердинер г-на Перекатова осмелился разлучить Ненилу Макарьевну с ее супругом; одна горничная почтительно поддалась барину; Федор Федорович не расставался с Машей. Всякий раз, становясь на свое место, он ей говорил два-три слова; Маша, вся раскрасневшаяся от бега, с улыбкой слушала его, проводила рукой по волосам. После ужина Кистер уехал.

Ночь была тихая, звездная. Кистер снял фуражку. Он волновался; ему слегка щемило горло. «Да,— сказал он, наконец, почти вслух,— она его любит; я сближу их; я оправдаю ее доверенность». Хотя еще ничто не доказывало явного расположения Маши к Лучкову, хотя, по собственным ее словам, он только возбуждал ее любопытство, но Кистер успел уже сочинить себе целую повесть, предписать себе свою обязанность. Он решился пожертвовать своим чувством — тем более, что «пока, кроме искренней привязанности, я ничего ведь не ощущаю»,— думал он. Кистер действительно был в состоянии принести себя в жертву дружеству, признанному долгу. Он много читал и потому воображал себя опытным и даже проницательным; он не сомневался в истине своих предположений; он не подозревал, что жизнь бесконечно разнообразна и не повторяется никогда. Понемногу Федор Федорович пришел в восторг. Он с умилением начал думать о своем призвании. Быть посредником между любящей робкой девушкой и человеком, может быть, только потому ожесточенным, что ему ни разу в жизни не пришлось любить и быть любимым; сблизить их, растолковать им их же собственные чувства и потом удалиться, не дав никому заметить величия своей жертвы,— какое прекрасное дело! Несмотря на прохладу ночи, лицо доброго мечтателя пылало...

На другой день он рано поутру отправился к Лучкову.

Авдей Иванович, по обыкновению, лежал на диване и курил трубку. Кистер поздоровался с ним.

— Я был вчера у Перекатовых,— сказал он с некотороою торжественностью.

— А! — равнодушно возразил Лучков и зевнул.

— Да. Они прекрасные люди.

— В самом деле?

— Мы говорили о тебе.

— Много чести; с кем это?

— С стариками... и с дочерью.

— А! с этой... толстенькой?

— Она прекрасная девушка, Лучков.

— Ну да, все они прекрасны.

— Нет, Лучков, ты ее не знаешь. Я еще не встречал такой умной, доброй и чувствительной девицы.

Лучков запел в нос: «В гамбургской газете не ты ли читал, как в запрошлом лете Миних побеждал...»

— Да я ж тебе говорю...

— Ты в нее влюблен, Федя,— насмешливо заметил Лучков.

— Совсем нет. И не думал.

— Федя, ты в нее влюблен!

— Что за вздор! Будто уж нельзя...

— Ты в нее влюблен, друг ты мой сердечный, таракан запечный, — протяжно запел Авдей Иванович.

— Эх, Авдей, как тебе не стыдно! — с досадой проговорил Кистер.

Со всяким другим Лучков тут-то и запел бы пуще прежнего: Кистера он не дразнил.

— Ну, ну, шпрехен зи дейч, Иван Андреич,— проворчал он вполголоса,— не сердись.

— Послушай, Авдей,— с жаром заговорил Кистер и сел подле него.— Ты знаешь, я тебя люблю. (У Лучкова покривилось лицо.) Но одно мне в тебе, признаюсь, не нравится... именно то, что ты ни с кем знаться не хочешь, всё дома сидишь, всякого сближения с хорошими людьми избегаешь. Ведь, наконец, есть же хорошие люди! Ну, положим, ты был обманут в жизни, ожесточился, что ли; не бросайся на шею каждому, но почему же тебе всех отвергать? Ведь этак ты и меня, пожалуй, когда-нибудь прогонишь.

Лучков хладнокровно продолжал курить.

— Оттого-то тебя никто и не знает... кроме меня; иной, пожалуй, бог весть что о тебе думает... Авдей! —

прибавил Кистер после небольшого молчания,— ты в добродетель не веришь, Авдей?

— Как не верить... верю...— проворчал Лучков.

Кистер с чувством пожал ему руку.

— Мне хочется,— продолжал он тронутым голосом,— примирить тебя с жизнию. Ты у меня повеселеешь, расцветешь... именно расцветешь. Как я-то буду рад тогда! Только ты мне позволь распоряжаться иногда тобою, твоим временем. У нас сегодня — что? понедельник... завтра вторник... в среду, да, в среду мы с тобой поедем к Перекатовым. Они тебе так рады будут... и мы там весело время проведем... А теперь дай мне трубочку выкурить.

Авдей Иванович недвижно лежал на диване и глядел в потолок. Кистер закурил трубку, подошел к окну и стал барабанить пальцами по стеклам.

— Так говорили обо мне? — спросил вдруг Авдей.

— Говорили,— значительно возразил Кистер.

— Что ж такое говорили?

— Ну, уж говорили. Весьма желают с тобой познакомиться.

— Кто же именно?

— Вишь, какой любопытный!

Авдей кликнул слугу и приказал седлать себе лошадь.

— Куда ты?

— В манеж.

— Ну, прощай. Так едем, что ли, к Перекатовым?

— Едем, пожалуй,— лениво проговорил Лучков и потянулся.

— Молодец! — воскликнул Кистер, вышел на улицу, задумался и глубоко вздохнул.

IV

Маша подходила к дверям гостиной, когда доложили о приезде гг. Кистера и Лучкова. Она тотчас вернулась в свою комнату, подошла было к зеркалу... Ее сердце сильно билось. Девушка пришла позвать ее в гостиную. Маша выпила немного воды, остановилась раза два на лестнице и, наконец, сошла вниз. Г-на Перекатова дома не было. Неонила Макарьевна сидела на диване; Лучков сидел на креслах, в мундире, с шля-

пой на коленях; Кистер возле него. Оба они приподнялись при входе Маши — Кистер с обычной дружелюбной улыбкой, Лучков с торжественным и натянутым видом. Она с смущением поклонилась им и подошла к матери. Первые десять минут прошли благополучно. Маша отдохнула и начала понемногу наблюдать за Лучковым. Он отвечал на расспросы хозяйки коротко, но неспокойно; он робел, как все самолюбивые люди. Ненила Макарьевна предложила гостям погулять по саду, а сама вышла только на балкон. Она не почитала необходимостью не спускать глаз с дочки и ковылять за нею всюду с толстым ридикюлем в руках по примеру многих степных матерей. Прогулка продолжалась довольно долго. Маша говорила больше с Кистером, но не смела взглянуть ни на него, ни на Лучкова. Авдей Иванович с ней не заговаривал; в голосе Кистера заметно было волнение. Он что-то много смеялся и болтал... Они подошли к речке. В сажени от берега росла водяная лилия и словно покоилась на гладкой поверхности воды, устланной широкими и круглыми листьями.

— Какой красивый цветок! — заметила Маша.

Не успела она выговорить этих слов, как уже Лучков вынул палаш, ухватился одной рукой за тонкие ветки ракиты и, нагнувшись всем телом над водой, сшиб головку цветка. «Здесь глубоко, берегитесь!» — с испугом вскрикнула Маша. Лучков концом палаша пригнал цветок к берегу, к самым ее ногам. Она наклонилась, подняла цветок и с нежным, радостным удивлением поглядела на Авдея. «Браво!» — закричал Кистер. «А я не умею плавать...» — отрывисто проговорил Лучков. Это замечание не понравилось Маше. «Зачем он это сказал?» — подумала она.

Лучков с Кистером остались у г-на Перекатова до вечера. Что-то новое, небывалое происходило в душе Маши; задумчивое недоумение изображалось не раз на лице ее. Она как-то двигалась медленнее, не вспыхивала от взглядов матери,— напротив, сама как будто их искала, как будто сама вопрошала ее. В продолжение всего вечера Лучков оказывал ей какое-то неловкое внимание; но даже эта неловкость нравилась ее невинному тщеславию. Когда ж они оба уехали с обещанием побывать опять на днях, она тихонько пошла в свою комнату и долго, как бы с изумлением, глядела кругом.

Ненила Макарьевна пришла к ней, поцеловала и обняла ее, по обыкновению. Маша раскрыла губы, хотела было заговорить с матерью — и не сказала ни слова. Она и хотела признаться, да не знала в чем. В ней тихо бродила душа На ночном столике, в чистом стакане, лежал на воде цветок, сорванный Лучковым Уж в постели Маша приподнялась осторожно, оперлась на локоть, и ее девственные губы тихо прикоснулись белых и свежих лепестков ..

— Ну, что? – спросил на другой день Кистер своего товарища,— нравятся тебе Перекатовы? Прав я был? а? скажи!

Лучков не отвечал.

— Нет, скажи, скажи.

— А право, не знаю.

— Ну полно!

— Эта... как бишь ее зовут... Машенька — ничего, недурна.

— Ну, вот видишь...— сказал Кистер — и замолчал.

Дней через пять Лучков сам предложил Кистеру съездить к Перекатовым. Один он бы к ним не поехал; в отсутствие Федора Федоровича ему бы пришлось вести разговор, а этого он не умел и избегал по возможности.

Во второй приезд обоих друзей Маша была гораздо развязнее. Она теперь втайне радовалась тому, что не обеспокоила маменьки непрошенным признанием. Авдей перед обедом вызвался сесть на молодую, необъезженную лошадь и, несмотря на ее бешеные скачки, укротил ее совершенно. Вечером он было расходился, пустился шутить и хохотать — и хотя скоро опомнился, однако ж успел произвести мгновенное неприятное впечатление на Машу. Она сама еще не знала, какое именно чувство в ней возбуждал Лучков, но всё, что в нем ей не нравилось, приписывала она влиянию несчастий, одиночества.

V

Приятели начали часто посещать Перекатовых. Положение Кистера становилось более и более тягостным. Он не раскаивался... нет, но желал по крайней мере со-

кратить время своего искуса. Привязанность его к Маше увеличивалась с каждым днем; она сама к нему благоволила; но быть всё только посредником, наперсником, даже другом — такое тяжелое, неблагодарное ремесло! Холодно-восторженные люди много толкуют о святости страданий, о блаженстве страданий... но теплому, простому сердцу Кистера они не доставляли никакого блаженства. Наконец, однажды, когда Лучков, уже совсем одетый, зашел за ним и коляска подъехала к крыльцу,— Федор Федорович, к изумлению приятеля, объявил ему напрямик, что остается дома. Лучков просил, досадовал, сердился... Кистер отговорился головной болью. Лучков отправился один.

Бретёр во многом изменился в последнее время. Товарищей он оставлял в покое, к новичкам не приставал и хотя не расцвел душою, как предсказал ему Кистер, однако действительно поуспокоился. Его и прежде нельзя было назвать разочарованным человеком — он почти ничего не видал и не испытал — и потому не диво, что Маша занимала его мысли. Впрочем, сердце его не смягчилось; только желчь в нем угомонилась. Чувства Маши к нему были странного рода. Она почти никогда не глядела ему прямо в лицо; не умела разговаривать с ним... Когда ж им случалось оставаться вдвоем, Маше становилось страх неловко. Она принимала его за человека необыкновенного и робела перед ним, волновалась, воображала, что не понимает его, не заслуживает его доверенности; безотрадно, тяжело — но беспрестанно думала о нем. Напротив, присутствие Кистера облегчало ее и располагало к веселости, хотя не радовало ее и не волновало; с ним она могла болтать по часам, опираясь на руку его, как на руку брата, дружелюбно глядела ему в глаза, смеялась от его смеха — и редко вспоминала о нем. В Лучкове было что-то загадочное для молодой девушки; она чувствовала, что душа его темна, «как лес», и силилась проникнуть в этот таинственный мрак... Так точно дети долго смотрят в глубокий колодезь, пока разглядят, наконец, на самом дне неподвижную, черную воду.

При входе Лучкова, одного, в гостиную Маша сперва испугалась... но потом обрадовалась. Ей уже не раз казалось, что между Лучковым и ею существует какое-то недоразумение, что он до сих пор не имел случая

высказаться. Лучков сообщил причину отсутствия Кистера; старики изъявили свое сожаление: но Маша с недоверчивостию глядела на Авдея и томилась ожиданием. После обеда они остались одни; Маша не знала, что сказать, села за фортепьяно; пальцы ее торопливо и трепетно забегали по клавишам; она беспрестанно останавливалась и ждала первого слова... Лучков не понимал и не любил музыки. Маша заговорила с ним о Россини (Россини только что входил тогда в моду), о Моцарте... Авдей Иванович отвечал: «да-с, нет-с, как же-с, прекрасно», — и только. Маша заиграла блестящие вариации на россиниевскую тему. Лучков слушал, слушал... и когда, наконец, она обратилась к нему, лицо его выражало такую нелицемерную скуку, что Маша тотчас же вскочила и захлопнула фортепьяно. Она подошла к окну и долго глядела в сад; Лучков не трогался с места и всё молчал. Нетерпение начинало сменять робость в душе Маши. «Что ж? — думала она,— не хочешь... или не можешь?» Очередь робеть была за Лучковым. Он ощущал опять обычную томительную неуверенность: он уже злился!.. «Чёрт же меня дернул связаться с девчонкой»,— бормотал он про себя... А между тем как легко было в это мгновение тронуть сердце Маши! Что бы ни сказал такой необыкновенный, хотя и странный человек, каким она воображала Лучкова,— она бы всё поняла, всё извинила, всему бы поверила... Но это тяжелое, глупое молчание! Слезы досады навертывались у ней на глаза. «Если он не хочет объясниться, если я точно не стою его доверенности, зачем же ездит он к нам? Или, может быть, я не умею заставить его высказаться?..» И она быстро обернулась и так вопросительно, так настойчиво взглянула на него, что он не мог не понять ее взгляда, не мог долее молчать...

— Марья Сергеевна,— произнес он запинаясь, —я... у меня... я вам должен что-то сказать...

— Говорите,— быстро возразила Маша.

Лучков нерешительно посмотрел кругом.

— Я теперь не могу...

— Отчего же?

— Я бы желал поговорить с вами... наедине...

— Мы и теперь одни.

— Да... но... здесь в доме...

Маша смутилась... «Если я откажу ему,— подумала она,— всё кончено...» Любопытство погубило Еву...

— Я согласна,— сказала она, наконец.

— Когда же? Где?

Маша дышала быстро и неровно...

— Завтра... вечером. Вы знаете рощицу над Долгим лугом?..

— За мельницей?

Маша кивнула головой.

— В котором часу?

— Ждите...

Больше она не могла ничего выговорить; голос ее перервался... она побледнела и проворно вышла из комнаты.

Через четверть часа г-н Перекатов, с свойственной ему любезностью, провожал Лучкова до передней, с чувством жал ему руку и просил «не забывать»; потом, отпустив гостя, с важностью заметил человеку, что не худо бы ему остричься,— и, не дождавшись ответа, с озабоченным видом вернулся к себе в комнату, с тем же озабоченным видом присел на диван и тотчас же невинно заснул.

— Ты что-то бледна сегодня,— говорила Ненила Макарьевна своей дочери вечером того же дня.— Здорова ли ты?

— Я здорова, маменька.

Ненила Макарьевна поправила у ней на шее косынку.

— Ты очень бледна; посмотри на меня,— продолжала она с той материнской заботливостью, в которой все-таки слышится родительская власть,— ну, вот и глаза твои невеселы. Ты нездорова, Маша.

— У меня голова немного болит,— сказала Маша, чтоб как-нибудь отделаться.

— Ну вот, я знала,— Ненила Макарьевна положила ладонь ко лбу Маши,— однако жару в тебе нет.

Маша нагнулась и подняла с полу какую-то нитку.

Руки Ненилы Макарьевны тихо легли вокруг тонкого стана Маши.

— Ты что-то как будто бы мне сказать хочешь,— ласково проговорила она, не распуская рук.

Маша внутренно вздрогнула.

— Я? нет, маменька.

Мгновенное смущение Маши не ускользнуло от родительского внимания.

— Право, хочешь... Подумай-ка.

Но Маша успела оправиться и, вместо ответа, со смехом поцеловала руку матери.

— И будто нечего тебе сказать мне?

— Ну право же, нечего.

— Я тебе верю,— возразила Ненила Макарьевна после непродолжительного молчания.— Я знаю, у тебя нет ничего от меня скрытного... Не правда ли?

— Конечно, маменька.

Маша, однако ж, не могла не покраснеть немного.

— И хорошо делаешь. Грешно было бы тебе скрываться от меня. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю, Маша.

— О да, маменька!

И Маша прижалась к ней.

— Ну, полно, довольно. (Ненила Макарьевна прошлась по комнате.) Ну, скажи же мне,— продолжала она голосом человека, который чувствует, что вопрос его не имеет никакого особенного значения,— о чем ты сегодня разговаривала с Авдеем Иванычем?

— С Авдеем Иванычем? — спокойно повторила Маша.— Да так, обо всем...

—Что, он тебе нравится?

— Как же, нравится.

— А помнишь, как ты желала с ним познакомиться, как волновалась?

Маша отвернулась и засмеялась.

— Какой он странный! — добродушно заметила Ненила Макарьевна.

Маша хотела было заступиться за Лучкова, да прикусила язычок.

— Да, конечно,— проговорила она довольно небрежно,— он чудак, но всё же он хороший человек!

— О да!.. Что Федор Федорыч не приехал?

— Видно, нездоров. Ах да! кстати: Федор Федорыч хотел мне подарить собачку... Ты мне позволишь?

— Что? принять его подарок?

— Да.

— Разумеется.

— Ну, благодарствуй,— сказала Маша,— вот благодарствуй!

Ненила Макарьевна дошла до двери и вдруг вернулась назад.

— А помнишь ты свое обещание, Маша?

— Какое?

— Ты хотела мне сказать, когда влюбишься.

— Помню.

— Ну, что ж?.. Еще не время? (Маша звонко рассмеялась.) Посмотри-ка мне в глаза.

Маша ясно и смело взглянула на свою мать.

«Не может быть! — подумала Ненила Макарьевна и успокоилась.— Где ей меня обмануть!.. И с чего я взяла?.. Она еще совершенный ребенок...»

Она ушла...

«А ведь это грех»,— подумала Маша.

VI

Кистер лег уже спать, когда Лучков вошел к нему в комнату. Лицо бретёра никогда не выражало *одного* чувства; так и теперь: притворное равнодушие, грубая радость, сознание своего превосходства... множество различных чувств разыгрывалось в его чертах.

— Ну, что? ну, что? — торопливо спросил его Кистер.

— Ну, что! Был. Тебе кланяются.

— Что? они все здоровы?

— Что им делается!

— Спрашивали, отчего я не приехал?

— Спрашивали, кажется.

Лучков поглядел в потолок и запел фальшиво. Кистер опустил глаза и задумался.

— А ведь вот,— хриплым и резким голосом промолвил Лучков,— вот ты умный человек, ты ученый человек, а ведь тоже иногда, с позволения сказать, дичь порешь.

— А что?

— А вот что. Например, насчет женщин. Ведь уж как ты их превозносишь! Стихи о них читаешь! Все они у тебя ангелы... Хороши ангелы!

— Я женщин люблю и уважаю, но...

— Ну, конечно, конечно,— перебил его Авдей.— Я ведь с тобой не спорю. Где мне! Я, разумеется, человек простой.

— Я хотел сказать, что... Однако почему ты именно сегодня... именно теперь... заговорил о женщинах?

— Так! — Авдей значительно улыбнулся.— Так!

Кистер пронзительно поглядел на своего приятеля. Он подумал (чистая душа!), что Маша дурно с ним обошлась; пожалуй, помучила его, как одни женщины умеют мучить...

— Ты огорчен, мой бедный Авдей; признайся...

Лучков расхохотался.

— Ну, огорчаться мне, кажется, нечем,— промолвил он с расстановкой, самодовольно разглаживая усы.— Нет, вот видишь ли что, Федя,— продолжал он тоном наставника,— я хотел тебе только заметить, что ты насчет женщин ошибаешься, друг мой. Поверь мне, Федя, они все на одну стать. Стоит похлопотать немного, повертеться около них — и дело в шляпе. Вот хоть бы Маша Перекатова...

— Ну!

Лучков постучал ногой об пол и покачал головой.

— Кажется, что во мне такого особенного и привлекательного, а? Кажется, ничего. Ведь ничего? А вот завтра мне назначено свиданье.

Кистер приподнялся, оперся на локоть и с изумлением посмотрел на Лучкова.

— Вечером, в роще...— спокойно продолжал Авдей Иванович.— Но ты не думай чего-нибудь такого. Я только так. Знаешь — скучно. Девочка хорошенькая... ну, думаю, что за беда? Жениться-то я не женюсь... а так, тряхну стариной. Бабиться не люблю — а девчонку потешить можно. Вместе послушаем соловьев. Это — по-настоящему твое дело; да вишь, у этого бабья глаз нету. Что́ я, кажись, перед тобой?

Лучков говорил долго. Но Кистер его не слушал. У него голова пошла кругом. Он бледнел и проводил рукою по лицу. Лучков покачивался в креслах, жмурился, потягивался — и, приписывая ревности волнение Кистера, чуть не задыхался от удовольствия. Но Кистера мучила не ревность: он был оскорблен не самим признанием, но грубой небрежностью Авдея, его равнодушным и презрительным отзывом о Маше. Он продолжал пристально глядеть на бретёра — и, казалось, в первый раз хорошенько рассмотрел его черты. Так вот из

чего хлопотал он! Вот для чего жертвовал собственной наклонностью! Вот оно, благодатное действие любви!

— Авдей... разве ты ее не любишь? — пробормотал он, наконец.

— О невинность! о Аркадия! — с злобным хохотом возразил Авдей.

Добрый Кистер и тут не поддался: «Может быть,— думал он,— Авдей злится и „ломается" по привычке... он не нашел еще новых слов для выражения новых ощущений. Да и в нем самом — в Кистере — не скрывается ли другое чувство под негодованием? Не оттого ли так неприятно поразило его признание Лучкова, что дело касалось Маши? Почему знать, может быть, Лучков действительно в нее влюблен?.. Но нет! нет! тысячу раз нет! Этот человек влюблен?.. Гадок этот человек с своим желчным и желтым лицом, с своими судорожными и кошачьими движениями, с приподнятым от радости горлом... гадок! Нет, не такими словами высказал бы Кистер преданному другу тайну любви своей... В избытке счастия, с немым восторгом, с светлыми, обильными слезами на глазах прижался бы он к его груди...»

— Что, брат? — говорил Авдей,— не ожидал, признайся? и теперь самому досадно? а? завидно? признайся, Федя! а? а? Ведь из-под носу подтибрил у тебя девчонку!

Кистер хотел было высказаться, но отвернулся лицом к стене. «Объясняться... перед ним? Ни за что! — шептал он про себя.— Он меня не понимает... пусть! Он предполагает во мне одни дурные чувства — пусть!..»

Авдей встал.

— Я вижу, ты спать хочешь,— проговорил он с притворным участием,— я тебе не хочу мешать. Спи спокойно, друг мой... спи!

И Лучков вышел, весьма довольный собою.

Кистер не мог заснуть до зари. Он с лихорадочным упрямством перевертывал и передумывал одну и ту же мысль — занятие, слишком известное несчастным любовникам; оно действует на душу, как мехи на тлеющий уголь.

«Если даже,— думал он,— Лучков к ней равнодушен, если она сама бросилась ему на шею, все-таки не должен он был даже со мной, с своим другом, так непоч-

тительно, так обидно говорить о ней! Чем она виновата? Как не пожалеть бедной, неопытной девушки?

Но неужели она ему назначила свидание? Назначила — точно назначила. Авдей не лжет; он никогда не лжет. Но, может быть, это в ней так, одна фантазия...

Но она его не знает... Он в состоянии, пожалуй, оскорбить ее. После сегодняшнего дня я ни за что не отвечаю... А не сами ли вы, господин Кистер, его расхваливали и превозносили? Не сами ли вы возбудили ее любопытство?.. Но кто ж это знал? Кто это мог предвидеть?..

Что предвидеть? Давно ли он перестал быть моим другом?.. Да полно, был ли он когда моим другом? Какое разочарование! Какой урок!»

Всё прошедшее вихрем крутилось перед глазами Кистера. «Да, я его любил,— прошептал он, наконец.— Отчего же я разлюбил его? Так скоро?. Да разлюбил ли я его? Нет, отчего полюбил я его? Я один?»

Любящее сердце Кистера оттого именно и привязалось к Авдею, что все другие его чуждались. Но добрый молодой человек не знал сам, как велика его доброта.

«Мой долг,— продолжал он,— предупредить Марью Сергеевну. Но как? Какое право имею я вмешиваться в чужие дела, в чужую любовь? Почему я знаю, какого рода эта любовь? Может быть, и в самом Лучкове...» — Нет! нет! — говорил он вслух, с досадой, почти со слезами, поправляя подушки,— этот человек камень...

Я сам виноват... я потерял друга... Хорош друг! Хороша и она!.. Какой я гадкий эгоист! Нет, нет!! от глубины души желаю им счастья... Счастья! Да он смеется над ней!.. И зачем он себе усы красит? Уж, право, кажется... Ах, как я смешон! — твердил он засыпая.

VII

На другой день, утром, Кистер поехал к Перекатовым. При свидании — и Кистер заметил большую перемену в Маше, и Маша нашла в нем перемену; но промолчали оба. Всё утро им было, против обыкновения, неловко. Дома Кистер приготовил было множество двусмысленных речей и намеков, дружеских советов... но все эти приготовления оказались совершенно бесполез-

ными. Маша смутно чувствовала, что Кистер за ней наблюдает; ей казалось, что он с намерением значительно произносит иные слова; но она также чувствовала в себе волнение и не верила своим наблюдениям. «Как бы он не вздумал остаться до вечера!» — беспрестанно думала она и старалась дать ему понять, что он лишний. С своей стороны, Кистер принимал ее неловкость, ее тревогу за очевидные признаки любви, и чем более он за нее боялся, тем менее решался говорить о Лучкове; а Маша упорно молчала о нем. Тяжело было бедному Федору Федоровичу. Он начинал, наконец, понимать собственные чувства. Никогда Маша ему не казалась милей. Она, видимо, не спала во всю ночь. Легкий румянец пятнами выступал на ее бледном лице; стан слегка сгибался, невольная томная улыбка не сходила с губ; изредка пробегала дрожь по ее побледневшим плечам; взгляды тихо разгорались и быстро погасали... Ненила Макарьевна подсела к ним и, может быть, с намерением упомянула об Авдее Ивановиче. Но Маша в присутствии матери вооружилась jusqu'aux dents[1], как говорят французы, и не выдала себя нисколько. Так прошло всё утро.

— Вы обедаете у нас? — спросила Ненила Макарьевна Кистера.

Маша отвернулась.

— Нет,— поспешно произнес Кистер и взглянул на Машу.— Вы меня извините... обязанности службы...

Ненила Макарьевна изъявила свое сожаление, как водится; вслед за ней изъявил что-то г. Перекатов. «Я никому не хочу мешать,— хотел сказать Кистер Маше, проходя мимо, но вместо того наклонился, шепнул: — Будьте счастливы... прощайте... берегитесь...» — и скрылся.

Маша вздохнула от глубины души, а потом испугалась его отъезда. Что ж ее мучило? любовь или любопытство? Бог знает; но, повторяем, одного любопытства достаточно было, чтобы погубить Еву.

---

[1] до зубов *(франц.)*.

VIII

Долгим лугом называлась широкая и ровная поляна на правой стороне речки Снежинки, в версте от имения гг. Перекатовых. Левый берег, весь покрытый молодым густым дубняком, круто возвышался над речкой, почти заросшей лозниками, исключая небольших «заводей», пристанища диких уток. В полуверсте от речки, по правую же сторону Долгого луга, начинались покатые, волнистые холмы, редко усеянные старыми березами, кустами орешника и калины.

Солнце садилось. Мельница шумела и стучала вдали, то громче, то тише, смотря по ветру. Господский табун лениво бродил по лугу; пастух шел, напевая, за стадом жадных и пугливых овец; сторожевые собаки со скуки гнались за воронами. По роще ходил, скрестя руки, Лучков. Его привязанная лошадь уже не раз отозвалась нетерпеливо на звонкое ржание жеребят и кобыл. Авдей злился и робел, по обыкновению. Еще не уверенный в любви Маши, он уже сердился на нее, досадовал на себя... но волнение в нем заглушало досаду. Он остановился, наконец, перед широким кустом орешника и начал хлыстиком сбивать крайние листья...

Ему послышался легкий шум... он поднял голову... В десяти шагах от него стояла Маша, вся раскрасневшаяся от быстрой ходьбы, в шляпке, но без перчаток, в белом платье, с наскоро завязанным платочком на шее. Она проворно опустила глаза и тихо покачнулась...

Авдей неловко и с натянутой улыбкой подошел к ней.

— Как я счастлив...— начал было он едва внятно.

— Я очень рада... вас встретить...— задыхаясь перебила его Маша.— Я обыкновенно гуляю здесь по вечерам... и вы...

Но Лучков не умел даже пощадить ее стыдливость, поддержать ее невинную ложь.

— Кажется, Марья Сергеевна,— промолвил он с достоинством,— вам самим угодно было...

— Да... да...— торопливо возразила Маша.— Вы желали меня видеть, вы хотели...— Голос ее замер.

Лучков молчал. Маша робко подняла глаза.

— Извините меня,— начал он, не глядя на нее,— я человек простой и не привык объясняться... с дамами...

Я... я желал вам сказать... но, кажется, вы не расположены меня слушать...

— Говорите...

— Вы приказываете... Ну, так скажу вам откровенно, что уже давно, с тех пор как я имел честь с вами познакомиться...

Авдей остановился. Маша ждала конца речи.

— Впрочем, я не знаю, для чего это всё вам говорю... Своей судьбы не переменишь...

— Почему знать...

— Я знаю! — мрачно возразил Авдей.— Я привык встречать ее удары!

Маше показалось, что теперь по крайней мере не следовало Лучкову жаловаться на судьбу.

— Есть добрые люди на свете,— с улыбкой заметила она,— даже слишком добрые...

— Я понимаю вас, Марья Сергеевна, и, поверьте, умею ценить ваше расположение... Я... я... Вы не рассердитесь?

— Нет... Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать... что вы мне нравитесь, Марья Сергеевна, чрезвычайно нравитесь...

— Я очень вам благодарна,— с смущением перебила его Маша; сердце ее сжалось от ожидания и страха.— Ах, посмотрите, господин Лучков,— продолжала она,— посмотрите, какой вид!

Она указала ему на луг, весь испещренный длинными, вечерними тенями, весь алеющий на солнце.

Внутренно обрадованный внезапной переменой разговора, Лучков начал «любоваться» видом. Он стал подле Маши...

— Вы любите природу? — спросила она вдруг, быстро повернув головку и взглянув на него тем дружелюбным, любопытным и мягким взглядом, который, как звенящий голосок, дается только молодым девушкам.

— Да... природа... конечно...— пробормотал Авдей.— Конечно... вечером приятно гулять, хотя, признаться, я солдат, и нежности не по моей части.

Лучков часто повторял, что он «солдат». Настало небольшое молчание. Маша продолжала глядеть на луг.

«Не уйти ли? — подумал Авдей.— Вот вздор! Смелей!..» — Марья Сергеевна...— заговорил он довольно твердым голосом.

Маша обернулась к нему.

— Извините меня,— начал он как бы шутя,— но позвольте, с моей стороны, узнать, что вы думаете обо мне, чувствуете ли какое-нибудь... этакое... расположение к моей особе?

«Боже мой, как он неловок!» — сказала про себя Маша.— Знаете ли вы, господин Лучков,— отвечала она ему с улыбкой,— что не всегда легко дать решительный ответ на решительный вопрос?

— Однако...

— Да на что вам?

— Да я, помилуйте, желаю знать...

— Но... Правда ли, что вы большой дуэлист? Скажите, правда ли? — промолвила Маша с робким любопытством.— Говорят, вы уже не одного человека убили?

— Случалось,— равнодушно возразил Авдей и погладил усы.

Маша пристально посмотрела на него.

— Вот этой рукой...— прошептала она.

Между тем кровь разгорелась в Лучкове. Уже более четверти часа молодая, хорошенькая девушка вертелась перед ним...

— Марья Сергеевна,— заговорил он опять резким и странным голосом,— вы теперь знаете мои чувства, знаете, зачем я желал вас видеть... Вы были столько добры... Скажите же и вы мне, наконец, чего я могу надеяться...

Маша вертела в руках полевую гвоздику... Она взглянула сбоку на Лучкова, покраснела, улыбнулась, сказала: «Какие вы пустяки говорите»,— и подала ему цветок.

Авдей схватил ее за руку.

— Итак, вы меня любите! — воскликнул он.

Маша вся похолодела от испуга. Она не думала признаваться Авдею в любви; она сама еще наверное не знала, любит ли она его, и вот уж он ее предупреждает, насильно заставляет высказаться — стало быть, он ее не понимает... Эта мысль быстрее молнии сверкнула в голове Маши. Она никак не ожидала такой скорой развязки... Маша, как любопытный ребенок, целый день себя спрашивала: «Неужели Лучков меня любит?», мечтала о приятной вечерней прогулке, почтительных и нежных речах, мысленно кокетничала, при-

учала к себе дикаря, позволяла при прощанье поцеловать свою руку... и вместо того...

Вместо того она вдруг почувствовала у себя на щеке жесткие усы Авдея...

— Будемте счастливы,— шептал он,— ведь только есть одно счастье на земле!..

Маша вздрогнула, с ужасом отбежала в сторону и, вся бледная, остановилась, опираясь рукой о березу. Авдей смешался страшно.

— Извините меня,— бормотал он, подвигаясь к ней,— я, право, не думал...

Маша молча, во все глаза, глядела на него... Неприятная улыбка кривила его губы... красные пятна выступили на его лице...

— Чего же вы боитесь? — продолжал он,— велика важность! Ведь между нами уже всё... того...

Маша молчала.

— Ну, полноте!.. что за глупости? это только так...

Лучков протянул к ней руку...

Маша вспомнила Кистера, его «берегитесь», замерла от страха и довольно визгливым голосом закричала:

— Танюша!

Из-за орехового куста вынырнуло круглое лицо горничной... Авдей потерялся совершенно. Успокоенная присутствием своей прислужницы, Маша не тронулась с места. Но бретёр весь затрепетал от прилива злости, глаза его съежились; он стиснул кулаки и судорожно захохотал.

— Браво! браво! Умно — нечего сказать! — закричал он.

Маша остолбенела.

— Вы, я вижу, приняли все меры предосторожности, Марья Сергеевна? Осторожность никогда не мешает. Каково! В наше время барышни дальновиднее стариков. Вот тебе и любовь!

— Я не знаю, господин Лучков, кто вам дал право говорить о любви... о какой любви?

— Как кто? Да вы сами! — перебил ее Лучков,— вот еще! — Он чувствовал, что портит всё дело, но не мог удержаться.

— Я поступила необдуманно,— проговорила Маша.— Я снизошла на вашу просьбу в надежде на вашу

délicatesse... да вы не понимаете по-французски — на вашу вежливость...

Авдей побледнел. Маша поразила его в самое сердце.

— Я не понимаю по-французски... может быть; но я понимаю... я понимаю, что вам угодно было смеяться надо мной...

— Совсем нет, Авдей Иваныч... я даже очень сожалею...

— Уж, пожалуйста, не толкуйте о вашем сожалении,— с запальчивостью перебил ее Авдей,— уж от этого-то вы меня избавьте!

— Господин Лучков...

— Да не извольте смотреть герцогиней... Напрасный труд! меня вы не запугаете.

Маша отступила шаг назад, быстро повернулась и пошла прочь.

— Прикажете вам прислать вашего друга, вашего пастушка, чувствительного Сердечкина, Кистера? — закричал ей вслед Авдей. Он терял голову.— Уж не этот ли приятель?..

Маша не отвечала ему и поспешно, радостно удалялась. Ей было легко, несмотря на испуг и волненье. Она как будто пробудилась от тяжелого сна, из темной комнаты вышла на воздух и солнце... Авдей, как исступленный, посмотрел кругом, с молчаливым бешенством сломал молодое деревцо, вскочил на лошадь и так яростно вонзал в нее шпоры, так безжалостно дергал и крутил поводья, что несчастное животное, проскакав восемь верст в четверть часа, едва не издохло в ту же ночь...

Кистер напрасно до полуночи прождал Лучкова и на другой день утром сам отправился к нему. Денщик доложил Федору Федоровичу, что барин-де почивает и не велел никого принимать. «И меня не велел?» — «И ваше благородие не велел». Кистер с мучительным беспокойством прошелся раза два по улице, вернулся домой. Человек ему подал записку.

— От кого?

— От Перекатовых-с. Артемка-фалетор привез.

У Кистера задрожали руки.

— Приказали кланяться. Приказали ответа просить-с. Артемке прикажете дать водки-с?

Кистер медленно развернул записочку и прочел следующее:

«Любезный, добрый Федор Федорович!

Мне очень, *очень* нужно вас видеть. Приезжайте, если можете, сегодня. Не откажите мне в моей просьбе, прошу вас именем нашей старинной дружбы. Если б вы знали... да вы всё узнаете. До свидания — не правда ли?

Marie.

P. S. Непременно приезжайте сегодня».

— Так прикажете-с Артемке-фалетору поднести водки?

Кистер долго, с изумлением посмотрел в лицо своему человеку и вышел, не сказав ни слова.

— Барин приказал тебе водки поднести и мне приказал с тобой выпить,— говорил Кистеров человек Артемке-фалетору.

IX

Маша с таким ясным и благодарным лицом пошла навстречу Кистеру, когда он вошел в гостиную, так дружелюбно и крепко стиснула ему руку, что у него сердце забилось от радости и камень свалился с груди. Впрочем, Маша не сказала ему ни слова и тотчас вышла из комнаты. Сергей Сергеевич сидел на диване и раскладывал пасьянс. Начался разговор. Не успел еще Сергей Сергеевич с обычным искусством навести стороною речь на свою собаку, как уже Маша возвратилась с шелковым клетчатым поясом на платье, любимым поясом Кистера. Явилась Ненила Макарьевна и дружелюбно приветствовала Федора Федоровича. За обедом все смеялись и шутили; сам Сергей Сергеевич одушевился и рассказал одну из самых веселых проказ своей молодости,— причем он, как страус, прятал голову от жены.

— Пойдемте гулять, Федор Федорович,— сказала Кистеру Маша после обеда с тою ласковою властью в голосе, которая как будто знает, что вам весело ей покориться.— Мне нужно переговорить с вами о важном, важном деле,— прибавила она с грациозною торжественностью, надевая шведские перчатки.— Пойдешь ты с нами, maman?

— Нет,— возразила Ненила Макарьевна.

— Да мы не в сад идем.

— А куда же?

— В Долгий луг, в рощу.

— Возьми с собой Танюшу.

— Танюша, Танюша! — звонко крикнула Маша, легче птицы выпорхнув из комнаты.

Через четверть часа Маша шла с Кистером к Долгому лугу. Проходя мимо стада, она покормила хлебом свою любимую корову, погладила ее по голове и Кистера заставила приласкать ее. Маша была весела и болтала много. Кистер охотно вторил ей, хотя с нетерпением ждал объяснений... Танюша шла сзади в почтительном отдалении и лишь изредка лукаво взглядывала на барышню.

— Вы на меня не сердитесь, Федор Федорович? — спросила Маша.

— На вас, Марья Сергеевна? Помилуйте, за что?

— А третьего дня... помните?

— Вы были не в духе... вот и всё.

— Зачем мы идем розно? Давайте мне вашу руку. Вот так... И вы были не в духе.

— И я.

— Но сегодня я в духе, не правда ли?

— Да, кажется, сегодня...

— И знаете, отчего? Оттого, что...— Маша важно покачала головой.— Ну, уж я знаю отчего... Оттого, что я с вами,— прибавила она, не глядя на Кистера.

Кистер тихонько пожал ее руку.

— А что ж вы меня не спрашиваете?..— вполголоса проговорила Маша.

— О чем?

— Ну, не притворяйтесь... о моем письме.

— Я ждал...

— Вот оттого мне и весело с вами,— с живостию перебила его Маша,— оттого, что вы добрый, нежный человек, оттого, что вы не в состоянии... parce que vous avez de la délicatesse[1]. Вам это можно сказать: вы понимаете по-французски.

Кистер понимал по-французски, но решительно не понимал Маши.

— Сорвите мне этот цветок, вот этот... какой хоро-

---

[1] Оттого, что вам свойственна вежливость *(франц.)*.

шенький! — Маша полюбовалась им и вдруг, быстро высвободив свою руку, с заботливой улыбкой начала осторожно вдевать гибкий стебелек в петлю Кистерова сюртука. Ее тонкие пальцы почти касались его губ. Он посмотрел на эти пальцы, потом на нее. Она кивнула головой, как бы говоря: можно... Кистер нагнулся и поцеловал кончики ее перчаток.

Между тем они приблизились к знакомой роще. Маша вдруг стала задумчивее и наконец замолчала совершенно. Они пришли на то самое место, где ожидал ее Лучков. Измятая трава еще не успела приподняться; сломанное деревцо уже успело завянуть, листочки уже начинали свертываться в трубочки и сохнуть. Маша посмотрела кругом и вдруг обратилась к Кистеру:

— Знаете ли вы, зачем я вас привела сюда?

— Нет, не знаю.

— Не знаете?.. Отчего вы мне ничего не сказали сегодня о вашем приятеле, господине Лучкове? Вы всегда его так хвалите...

Кистер опустил глаза и замолчал.

— Знаете ли,— не без усилья произнесла Маша,— что я ему назначила вчера... здесь... свиданье?

— Я это знал,— глухо возразил Кистер.

— Знали?.. А! теперь я понимаю, почему третьего дня... Господин Лучков, видно, поспешил похвастаться своей *победой*.

Кистер хотел было ответить...

— Не говорите, не возражайте мне ничего... Я знаю — он ваш друг; вы в состоянии его защищать. Вы знали, Кистер, знали... Как же вы не помешали мне сделать такую глупость? Как вы не выдрали меня за уши, как ребенка? Вы знали... и вам было всё равно?

— Но какое право имел я...

— Какое право!.. Право друга. Но и он ваш друг... Мне совестно, Кистер... Он ваш друг... Этот человек обошелся со мной вчера так...

Маша отвернулась. Глаза Кистера вспыхнули; он побледнел.

— Ну, полноте, не сердитесь... Слышите, Федор Федорыч, не сердитесь. Всё к лучшему. Я очень рада вчерашнему объяснению... именно объяснению,— прибавила Маша.— Для чего, вы думаете, я заговорила с вами об этом? Для того, чтоб пожаловаться на господина Луч-

кова? Полноте! Я забыла о нем. Но я виновата перед вами, мой добрый друг... Я хочу объясниться, попросить вашего прощенья... вашего совета. Вы приучили меня к откровенности; мне легко с вами... Вы не какой-нибудь господин Лучков!

— Лучков неловок и груб,— с трудом выговорил Кистер,— но...

— Что *но*? Как вам не стыдно говорить *но*? Он груб, *и* неловок, *и* зол, *и* самолюбив... Слышите: *и*, а не *но*.

— Вы говорите под влиянием гнева, Марья Сергеевна,— грустно промолвил Кистер.

— Гнева? Какого гнева? Посмотрите на меня: разве так гневаются? Послушайте,— продолжала Маша,— думайте обо мне что вам угодно... но если вы воображаете, что я сегодня кокетничаю с вами из мести, то... то...— слезы навернулись у ней на глазах,— я рассержусь не шутя.

— Будьте со мной откровенны, Марья Сергеевна...

— О глупый человек! О недогадливый! Да взгляните на меня, разве я не откровенна с вами, разве вы не видите меня насквозь?

— Ну, хорошо... да; я верю вам,— с улыбкой продолжал Кистер, видя, с какой заботливой настойчивостью она ловила его взгляд.— Ну, скажите же мне, что вас побудило назначить свидание Лучкову?

— Что? сама не знаю. Он хотел говорить со мной наедине. Мне казалось, что он всё еще не имел время, случая высказаться. Теперь он высказался! Послушайте: он, может быть, необыкновенный человек, но он — глуп, право... Он двух слов сказать не умеет. Он — просто невежлив. Впрочем, я даже не очень его виню... он мог подумать, что я ветреная, сумасшедшая девчонка. Я с ним почти никогда не говорила... Он, точно, возбуждал мое любопытство, но я воображала, что человек, который заслуживает быть вашим другом...

— Не говорите, пожалуйста, о нем как о моем друге,— перебил ее Кистер.

— Нет! нет, я не хочу вас рассорить.

— О боже мой, я для вас готов пожертвовать не только другом, но и... Между мной и господином Лучковым всё кончено! — поспешно прибавил Кистер.

Маша пристально взглянула ему в лицо.

— Ну, бог с ним! — сказала она.— Не станемте го-

ворить о нем. Мне вперед урок. Я сама виновата. В течение нескольких месяцев я почти каждый день видела человека доброго, умного, веселого ласкового, который...— Маша смешалась и замешкалась,— который, кажется, меня тоже... немного... жаловал... и я, глупая,— быстро продолжала она,— предпочла ему... нет, нет, не предпочла, а...

Она потупила голову и с смущением замолчала.

Кистеру становилось страшно. «Быть не может!» — твердил он про себя.

— Марья Сергеевна! — заговорил он наконец.

Маша подняла голову и остановила на нем глаза, отягченные непролитыми слезами.

— Вы не угадываете, о ком я говорю? — спросила она.

Едва дыша, Кистер протянул руку. Маша тотчас с жаром схватилась за нее.

— Вы мой друг по-прежнему, не правда ли?.. Что ж вы не отвечаете?

— Я ваш друг, вы это знаете,— пробормотал он.

— И вы не осуждаете меня? Вы простили мне?.. Вы понимаете меня? Вы не смеетесь над девушкой, которая накануне назначила свидание одному, а сегодня говорит уже с другим, как я говорю с вами... Не правда ли, вы не смеетесь надо мною?..— Лицо Маши рдело; она обеими руками держалась за руку Кистера...

— Смеяться над вами,— отвечал Кистер,— я... я... да я вас люблю... я вас люблю,— воскликнул он.

Маша закрыла себе лицо.

— Неужели ж вы давно не знаете, Марья Сергеевна, что я люблю вас?

X

Три недели после этого свиданья Кистер сидел один в своей комнате и писал следующее письмо к своей матери:

«Любезная матушка!

Спешу поделиться с вами большой радостью: я женюсь. Это известие вас, вероятно, только потому удивит, что в прежних моих письмах я даже не намекал на такую важную перемену в моей жизни,— а вы знаете, что

я привык делиться с вами всеми моими чувствами, моими радостями и печалями. Причины моего молчания объяснить вам легко. Во-первых, я только недавно сам узнал, что я любим; а во-вторых, с моей стороны, я тоже недавно почувствовал всю силу собственной привязанности. В одном из первых моих писем отсюда я вам говорил о Перекатовых, наших соседях; я женюсь на их единственной дочери Марии. Я твердо уверен, что мы оба будем счастливы; она возбудила во мне не мгновенную страсть, но глубокое, искреннее чувство, в котором дружба слилась с любовью. Ее веселый, кроткий нрав вполне соответствует моим наклонностям. Она образованна, умна, прекрасно играет на фортепьяно... Если б вы могли ее видеть!! Посылаю вам ее портрет, мною нарисованный. Нечего, кажется, и говорить, что она во сто раз лучше своего портрета. Маша вас уже любит, как дочь, и не дождется дня свидания с вами. Я намерен выйти в отставку, поселиться в деревне и заняться хозяйством. У старика Перекатова четыреста душ в отличном состоянии. Вы видите, что и с этой, материальной, стороны нельзя не похвалить моего решения. Я беру отпуск и еду в Москву и к вам. Ждите меня недели через две, не более. Милая, добрая маменька — как я счастлив!.. Обнимите меня...» и т. д.

Кистер сложил и запечатал письмо, встал, подошел к окну, выкурил трубку, подумал немного и вернулся к столу. Он достал небольшой листок почтовой бумаги, тщательно обмакнул перо в чернила, но долго не начинал писать, хмурил брови, поднимал глаза к потолку, кусал конец пера... Наконец, он решился — и в течение четверти часа сочинил следующее послание:

«Милостивый государь
Авдей Иванович!

Со дня вашего последнего посещения (то есть в течение трех недель) вы мне не кланяетесь, не говорите со мной и как бы избегаете моей встречи. Всякий человек, бесспорно, в своих поступках волен; вам угодно было прекратить наше знакомство — и я, поверьте, не обращаюсь к вам с жалобой на вас же самих; я не намерен и не привык навязываться кому бы то ни было; мне довольно сознания моей правоты. Я пишу к вам теперь — по чувству долга. Я сделал предложение Марье Сергеев-

не Перекатовой и получил ее согласие, а также и согласие ее родителей. Сообщаю это известие — прямо и непосредственно *вам*, для избежания всяких недоразумений и подозрений. Откровенно признаюсь вам, м. г., что я не могу слишком заботиться о мнении человека, который сам не обращает малейшего внимания на мнения и чувства других людей, и пишу к вам единственно потому, что в этом случае я не хочу даже подать вида, как будто поступал или поступаю украдкой. Смею сказать: вы меня знаете — и не припишете моего теперешнего поступка какому-нибудь другому, дурному чувству. В последний раз говоря с вами, не могу не пожелать вам, в память нашей прежней дружбы, всех возможных земных благ.

С истинным уважением остаюсь, м. г.,

ваш покорный слуга

Федор Кистер».

Федор Федорович отправил эту записку по адресу, оделся и велел заложить себе коляску. Веселый и беззаботный, ходил он, напевая, по своей комнатке, подпрыгнул даже раза два, свернул тетрадь романсов в трубочку и перевязал ее голубой ленточкой... Дверь отворилась — и в сюртуке, без эполет, с фуражкой на голове, вошел Лучков. Изумленный Кистер остановился среди комнаты, не доделав розетки.

— Вы женитесь на Перекатовой? — спросил спокойным голосом Авдей.

Кистер вспыхнул.

— Милостивый государь, — начал он, — входя в комнату, порядочные люди снимают шапку и здороваются.

— Извините-с, — отрывисто возразил бретёр и снял фуражку. — Здравствуйте.

— Здравствуйте, господин Лучков. Вы меня спрашиваете, женюсь ли я на девице Перекатовой? Разве вы не прочли моего письма?

— Я ваше письмо прочел. Вы женитесь. Поздравляю.

— Принимаю ваше поздравление и благодарю вас. Но я должен ехать.

— Я желал бы объясниться с вами, Федор Федорыч.

— Извольте, с удовольствием,— отвечал добряк.— Я, признаться, ждал этого объяснения. Ваше поведение со мной так странно, и я, с своей стороны, кажется, не заслуживал.... по крайней мере не мог ожидать... Но не угодно ли вам сесть? Не хотите ли трубки?

Лучков сел. В его движениях замечалась усталость. Он повел усами и поднял брови.

— Скажите, Федор Федорыч,— начал он наконец,— зачем вы так долго со мной притворялись?

— Как это?

— Зачем вы прикидывались таким... безукоризненным созданием, когда вы такой же человек, как и все мы, грешные?

— Я вас не понимаю... Уж не оскорбил ли я вас чем-нибудь?..

— Вы меня не понимаете... положим. Я постараюсь говорить яснее. Скажите мне, например, откровенно: давно вы чувствовали расположение к девице Перекатовой или воспылали страстью внезапной?

— Я бы не желал говорить с вами, Авдей Иваныч, о моих отношениях к Марье Сергеевне,— холодно отвечал Кистер.

— Так-с. Как угодно. Только вы уж сделайте одолжение, позвольте мне думать, что вы меня дурачили.

Авдей говорил очень медленно и с расстановкой.

— Вы не можете этого думать, Авдей Иваныч; вы меня знаете.

— Я вас знаю?.. кто вас знает? Чужая душа — темный лес, а товар лицом показывается. Я знаю, что вы читаете немецкие стихи с большим чувством и даже со слезами на глазах; я знаю, что на стенах своей квартиры вы развесили разные географические карты; я знаю, что вы содержите свою персону в опрятности; это я знаю... а больше я ничего не знаю...

Кистер начал сердиться.

— Позвольте узнать,— спросил он, наконец,— какая цель вашего посещения? Вы три недели со мной не кланялись, а теперь пришли ко мне, кажется, с намерением трунить надо мной. Я не мальчик, милостивый государь, и не позволю никому...

— Помилуйте,— перебил его Лучков,— помилуйте, Федор Федорович, кто осмелится трунить над вами? Я, напротив, пришел к вам с покорнейшей просьбой;

а именно: сделайте милость, растолкуйте мне *ваше* поведение со мной. Позвольте спросить: не вы ли насильно меня познакомили с семейством Перекатовых? Не вы ли уверяли вашего покорного слугу, что он расцветет душой? Не вы ли, наконец, свели меня с добродетельной Марьей Сергеевной? Почему же мне не предполагать, что *вам* я обязан тем последним, приятным объяснением, о котором вас уже, вероятно, надлежащим образом известили? Жениху ведь невеста всё рассказывает, особенно свои *невинные* проделки. Почему же мне не думать, что по вашей милости мне наклеили такой великолепный нос? Вы ведь такое принимали участие в моем «расцветанье»!

Кистер прошелся по комнате.

— Послушайте, Лучков,— сказал он, наконец,— если вы действительно, не шутя, убеждены в том, что вы говорите,— чему я, признаюсь, не верю,— то позвольте вам сказать: стыдно и грешно вам так оскорбительно толковать мои поступки и мои намерения. Я не хочу оправдываться... Я обращаюсь к вашей собственной совести, к вашей памяти.

— Да; я помню, что вы беспрестанно перешептывались с Марьей Сергеевной. Сверх того, позвольте мне опять-таки спросить у вас: не были ли вы у Перекатовых после известного разговора со мной? После этого вечера, когда я, как дурак, разболтался с вами, с моим лучшим другом, о назначенном свиданье?

— Как! вы подозреваете меня в...

— Я ни в чем не подозреваю другого,— с убийственной холодностью прервал его Авдей,— в чем я самого себя не подозреваю; но я также имею слабость думать, что другие люди не лучше меня.

— Вы ошибаетесь,— с запальчивостью возразил Кистер,— другие люди лучше вас.

— С чем честь имею их поздравить,— спокойно заметил Лучков,— но...

— Но,— прервал его в свою очередь раздосадованный Кистер,— вспомните, в каких выражениях вы мне говорили об... этом свиданье, о... Впрочем, эти объяснения ни к чему не поведут, я вижу... Думайте обо мне, что вам угодно, и поступайте, как знаете.

— Вот этак-то лучше,— заметил Авдей.— Насилу-то заговорили откровенно.

— Как знаете! — повторил Кистер.

— Я понимаю ваше положенье, Федор Федорыч,— с притворным участием продолжал Авдей.— Оно неприятно, действительно неприятно. Человек играл, играл роль, и никто не замечал в нем актера; вдруг...

— Если б я мог думать,— перебил его, стиснув зубы, Кистер,— что в вас говорит теперь оскорбленная любовь, я бы почувствовал к вам сожаленье; я бы извинил вас... Но в ваших упреках, в ваших клеветах слышится один крик уязвленного самолюбия... и я не чувствую к вам никакой жалости... Вы сами заслужили вашу участь.

— Фу ты, боже мой, как говорит человек! — заметил вполголоса Авдей.— Самолюбие,— продолжал он,— может быть; да, да, самолюбие во мне, как вы говорите, уязвлено глубоко, нестерпимо. Но кто же не самолюбив? Не вы ли? Да; я самолюбив и, например, никому не позволю сожалеть обо мне...

— Не позволите? — гордо возразил Кистер.— Что за выражение, милостивый государь! Не забудьте: связь между нами разорвана вами самими. Прошу вас обращаться со мной, как с посторонним человеком.

— Разорвана! Связь разорвана! — повторил Авдей.— Поймите меня: я с вами не кланялся и не был у вас из сожаления к вам; ведь вы позволите мне сожалеть о вас, коли вы обо мне сожалеете!.. Я не хотел поставить вас в ложное положение, возбудить в вас угрызение совести... Вы толкуете о нашей связи... как будто бы вы могли остаться моим приятелем по-прежнему после вашей свадьбы! Полноте! Вы и прежде-то со мной знались только для того, чтоб тешиться вашим мнимым превосходством...

Недобросовестность Авдея утомляла, возмущала Кистера.

— Прекратимте такой неприятный разговор! — воскликнул он наконец.— Я, признаюсь, не понимаю, зачем вам угодно было ко мне пожаловать.

— Вы не понимаете, зачем я к вам пришел? — с любопытством спросил Авдей.

— Решительно не понимаю.

— Не...ет?

— Да говорят вам...

— Удивительно!.. Это удивительно! Кто бы этого ожидал от человека с вашим умом!

— Ну, так извольте ж объясниться, наконец...

— Я пришел, господин Кистер,— проговорил Авдей, медленно поднимаясь с места,— я пришел вас вызвать на дуэль, понимаете ли вы? Я хочу драться с вами. А! Вы думали так-таки от меня отделаться! Да разве вы не знали, с каким человеком имеете дело? Позволил ли бы я...

— Очень хорошо-с,— холодно и отрывисто перебил его Кистер.— Я принимаю ваш вызов. Извольте прислать ко мне вашего секунданта.

— Да, да,— продолжал Авдей, которому, как кошке, жаль было так скоро расстаться с своей жертвой,— я, признаться, с большим удовольствием наведу завтра дуло моего пистолета на ваше идеальное и белокурое лицо.

— Вы, кажется, ругаетесь после вызова,— с презрением возразил Кистер.— Извольте идти. Мне за вас совестно.

— Известное дело: деликатесс!.. А, Марья Сергеевна! я не понимаю по-французски! — проворчал Авдей, надевая фуражку.— До приятного свидания, Федор Федорыч!

Он поклонился и вышел.

Кистер несколько раз прошелся по комнате. Лицо его горело, грудь высоко поднималась. Он не робел и не сердился; но ему гадко было подумать, какого человека он считал некогда своим другом. Мысль о поединке с Лучковым его почти радовала. Разом отделаться от своего прошедшего, перескочить через этот камень и поплыть потом по безмятежной реке... «Прекрасно,— думал он,— я завоюю свое счастье.— Образ Маши, казалось, улыбался ему и сулил победу.— Я не погибну! нет, я не погибну!» — твердил он с спокойной улыбкой. На столе лежало письмо его к матери... Сердце в нем сжалось на мгновение. Он решился на всякий случай подождать отсылкой. В Кистере происходило то возвышение жизненной силы, которое человек замечает в себе перед опасностью. Он спокойно обдумывал все возможные последствия поединка, мысленно подвергал себя и Машу испытаниям несчастия и разлуки — и глядел на будущее с надеждой. Он давал себе слово не убить Луч-

кова... Неотразимо влекло его к Маше. Он сыскал секунданта, наскоро устроил свои дела и тотчас после обеда уехал к Перекатовым. Весь вечер Кистер был весел, может быть, слишком весел.

Маша много играла на фортепьянах, ничего не предчувствовала и мило с ним кокетничала. Сперва ее беспечность огорчала его, потом он эту самую беспечность Маши принял за счастливое предсказание — и обрадовался и успокоился. Она с каждым днем более и более к нему привязывалась; потребность счастия в ней была сильнее потребности страсти. Притом Авдей отучил ее от всех преувеличенных желаний, и она с радостью и навсегда отказалась от них. Ненила Макарьевна любила Кистера, как сына. Сергей Сергеевич, по привычке, подражал своей жене.

— До свидания,— сказала Кистеру Маша, проводив его до передней и с тихой улыбкой глядя, как он нежно и долго целовал ее руки.

— До свидания,— с уверенностью возразил Федор Федорович,— до свидания.

Но отъехав с полверсты от дома Перекатовых, он приподнялся в коляске и с смутным беспокойством стал искать глазами освещенные окна... В доме всё было уже темно, как в могиле.

XI

На другой день, в одиннадцатом часу утра, секундант Кистера, старый, заслуженный майор, заехал за ним. Добрый старик ворчал и кусал свои седые усы, сулил всякую пакость Авдею Ивановичу... Подали коляску. Кистер вручил майору два письма: одно к матери, другое к Маше.

— Это зачем?

— Да нельзя знать...

— Вот вздор! мы его подстрелим, как куропатку.

— Всё же лучше...

Майор с досадой сунул оба письма в боковой карман своего сюртука.

— Едем.

Они отправились. В небольшом лесу, в двух верстах от села Кириллова, их дожидался Лучков с своим секундантом, прежним своим приятелем, раздушенным

полковым адъютантом. Погода была прекрасная; птицы мирно чирикали; невдалеке от леса мужик пахал землю. Пока секунданты отмеривали расстояние, устанавливали барьер, осматривали и заряжали пистолеты, противники даже не взглянули друг на друга. Кистер с беззаботным видом прохаживался взад и вперед, помахивая сорванною веткой. Авдей стоял неподвижно, скрестя руки и нахмуря брови. Наступило решительное мгновение. «Начинайте, господа!» Кистер быстро подошел к барьеру, но не успел ступить еще пяти шагов, как Авдей выстрелил. Кистер дрогнул, ступил еще раз, зашатался, опустил голову... Его колени подогнулись... он, как мешок, упал на траву. Майор бросился к нему... «Неужели?» — шептал умирающий...

Авдей подошел к убитому. На его сумрачном и похудевшем лице выразилось свирепое, ожесточенное сожаление... Он поглядел на адъютанта и на майора, наклонил голову, как виноватый, молча сел на лошадь и поехал шагом прямо на квартиру полковника.

Маша... жива до сих пор.

ТРИ ПОРТРЕТА

«Соседство» составляет одну из важнейших неприятностей деревенской жизни. Я знал одного вологодского помещика, который, при всяком удобном случае, повторял следующие слова: «Слава богу, у меня нет соседей»,— и, признаюсь, не мог не завидовать этому счастливому смертному. Моя деревенька находится в одной из многолюднейших губерний России. Я окружен великим множеством соседушек, начиная с благонамеренных и почтенных помещиков, облеченных в просторные фраки и просторнейшие жилеты, и кончая записными гуляками, носящими венгерки с длинными рукавами и так называемым «фимским» узлом на спине. В числе всех этих дворян случайным образом открыл я, однако ж, одного весьма любезного малого: он прежде служил в военной службе, потом вышел в отставку и поселился на веки веков в деревне. По его рассказам, он служил два года в П—м полку; но я решительно не понимаю, как мог этот человек нести какую-нибудь обязанность не только в течение двух лет, но даже в продолжение двух дней. Он был рожден «для жизни мирной, для деревенской тишины», то есть для ленивого, беспечного прозябания, которое, замечу в скобках, не лишено великих и неистощимых прелестей. Он пользовался весьма порядочным состоянием: не заботясь слишком о хозяйстве, проживал около десяти тысяч рублей в год, достал себе прекрасного повара (мой приятель любил хорошо покушать); также выписывал себе из Москвы новейшие французские книги и журналы. По-русски же читал он одни лишь донесения своего приказчика и то с большим трудом. Он с утра (если не уезжал на охоту) до обеда и за обедом не покидал халата; перебирал какие-нибудь хозяйственные рисунки, не то отправлялся на конюшню или в молотильный сарай и пересмеивался с бабами, которые при нем взмахивали цепами, как гово-

рится, спрохвала̀. После обеда мой друг одевался перед зеркалом весьма тщательно и ехал к какому-нибудь соседу, одаренному двумя или тремя хорошенькими дочками; беспечно и миролюбиво волочился за одной из них, играл с ними в жмурки, возвращался домой довольно поздно и тотчас же засыпал богатырским сном. Он скучать не мог, потому что никогда не предавался полному бездействию; а на выбор занятий не был прихотлив и, как ребенок, тешился малейшей безделицей. С другой стороны — особенной привязанности к жизни он не чувствовал и, бывало, когда приходилось *перескакивать* волка или лисицу,— пускал свою лошадь во всю прыть по таким рытвинам, что я до сих пор понять не могу, как он себе сто раз не сломал шеи. Он принадлежал к числу тех людей, которые возбуждают в вас мысль, что они сами себе не знают цены, что под их наружным равнодушием скрываются сильные и великие страсти; но он бы рассмеялся вам в нос, если б мог догадаться, что вы питаете о нем подобное мнение; да и, признаться сказать, я сам думаю, что если и водилось за моим приятелем в молодости какое-нибудь хотя неясное, но сильное стремление к тому, что весьма мило названо «чем-то высшим», то это стремление давным-давно в нем угомонилось и *зачичкало*. Он был довольно толст и наслаждался превосходным здоровьем. В наш век нельзя не любить людей, мало помышляющих о самих себе, потому что они чрезвычайно редки... а мой приятель едва ли не забыл о своей особе. Впрочем, я, кажется, уже слишком много говорю о нем — и моя болтовня тем более неуместна, что не он служит предметом моего рассказа. Его звали Петром Федоровичем Лучиновым.

В один осенний день съехалось нас человек пять записных охотников у Петра Федоровича. Целое утро мы провели в поле, затравили двух волков и множество зайцев и вернулись домой в том восхитительно приятном расположении духа, которое овладевает всяким порядочным человеком после удачной охоты. Смеркалось. Ветер разыгрывался в темных полях и шумно колебал обнаженные вершины берез и лип, окружавших дом Лучинова. Мы приехали, слезли с коней... на крыльце я остановился и оглянулся: по серому небу тяжко ползли длинные тучи; темно-бурый кустарник крутился на ветре и жалобно шумел; желтая трава бессильно и печаль-

но пригибалась к земле; стаи дроздов перелетывали по рябинам, осыпанным ярко-пунцовыми гроздьями; в тонких и ломких сучьях берез с свистом попрыгивали синицы; на деревне сипло лаяли собаки. Мне стало грустно... зато я с истинной отрадой вошел в столовую. Ставни были заперты; на круглом столе, покрытом скатертью ослепительной белизны, среди хрустальных графинов, наполненных красным вином, горело восемь свечей в серебряных подсвечниках; в камине весело пылал огонь,— и старый, весьма благообразный дворецкий, с огромной лысиной, одетый по-английски, стоял в почтительной неподвижности перед другим столом, на котором уже красовалась большая суповая чаша, обвитая легким и пахучим паром. В сенцах мы прошли мимо другого почтенного человека, занятого морожением шампанского — «по строгим правилам искусства». Обед был, как водится в подобных случаях, чрезвычайно приятный; мы хохотали, рассказывали происшествия, случившиеся на охоте, и с восторгом упоминали о двух знаменитых «угонках». Покушавши довольно плотно, расположились мы в широких креслах около камина; на столе появилась объемистая серебряная чаша, и через несколько мгновений беглое пламя запылавшего рома возвестило нам о приятном намерении хозяина «сотворить жженку». Петр Федорович был человек не без вкуса; он, например, знал, что ничего не действует так убийственно на фантазию, как ровный, холодный и педантический свет ламп — потому велел оставить в комнате всего две свечи. Странные полутени трепетали по стенам, произведенные прихотливою игрою огня в камине и пламенем жженки.... Тихая, чрезвычайно приятная отрада заменила в наших сердцах несколько буйную веселость, господствовавшую за обедом.

Разговоры имеют свои судьбы — как книги (по латинской пословице), как всё на свете. Наш разговор в этот вечер был как-то особенно разнообразен и жив. От частностей восходил он к довольно важным общим вопросам, легко и непринужденно возвращался к ежедневностям жизни... Поболтавши довольно много, мы вдруг все замолчали. В это время, говорят, пролетает тихий ангел.

Не знаю, отчего мои товарищи затихли, но я замолчал оттого, что мои глаза остановились внезапно на трех

запыленных портретах в черных деревянных рамках. Краски истерлись и кое-где покоробились, но лица можно было еще разобрать. На середнем портрете изображена была женщина молодых лет, в белом платье с кружевными каемками, в высокой прическе восьмидесятых годов. Направо от нее, на совершенно черном фоне виднелось круглое и толстое лицо доброго русского помещика лет двадцати пяти, с низким и широким лбом, тупым носом и простодушной улыбкой. Французская напудренная прическа весьма не согласовалась с выражением его славянского лица. Живописец изобразил его в кафтане алого цвета с большими стразовыми пуговицами; в руке держал он какой-то небывалый цветок. На третьем портрете, писанном другою, более искусною рукою, был представлен человек лет тридцати, в зеленом мундире екатерининского времени, с красными отворотами, в белом камзоле, в тонком батистовом галстухе. Одной рукой опирался он на трость с золотым набалдашником, другую заложил за камзол. Его смуглое худощавое лицо дышало дерзкой надменностью. Тонкие длинные брови почти срастались над черными как смоль глазами; на бледных, едва заметных губах играла недобрая улыбка.

— Что вы это загляделись на эти лица? — спросил меня Петр Федорович.

— Так! — отвечал я, посмотрев на него.

— Хотите ли выслушать целый рассказ об этих трех особах?

— Сделайте одолжение,— отвечали мы в один голос.

Петр Федорович встал, взял свечку, поднес ее к портретам и голосом человека, показывающего диких зверей, «Господа! — провозгласил он,— эта дама — приемыш моего родного прадедушки, Ольга Ивановна NN., прозванная Лучиновой, умершая лет сорок тому назад, в девицах. Этот господин,— показывая на портрет мужчины в мундире,— гвардии сержант, Василий Иванович Лучинов же, скончавшийся волею божиею в тысяща семьсот девяностом году; а этот господин, с которым я не имею чести состоять в родстве, некто Павел Афанасьевич Рогачев, нигде, сколько мне известно, не служивший. Извольте обратить внимание на дыру, находящуюся у него на груди, на самом месте сердца. Эта дыра, как вы видите, правильная, трехгранная,

вероятно, не могла произойти случайно... Теперь,— продолжал он обыкновенным своим голосом,— извольте усесться, вооружитесь терпением и слушайте».

— Господа! — начал он,— я происхожу от довольно старинного рода. Я моим происхождением не горжусь, потому что мои предки были все страшные мотыги. Впрочем, этот упрек не относится к моему прадеду, Ивану Андреевичу Лучинову,— напротив: он слыл за человека чрезвычайно бережливого и даже скупого — по крайней мере в последние годы своей жизни. Он провел свою молодость в Петербурге и был свидетелем царствования Елизаветы. В Петербурге он женился и прижил с своей женой, а моей прабабушкой, четырех человек детей — трех сыновей, Василия, Ивана и Павла (моего родного деда), и одну дочь, Наталью. Сверх того, Иван Андреевич принял к себе в семейство дочь одного отдаленного родственника, круглую безымянную сироту — Ольгу Ивановну, о которой я уже вам говорил. Подданные моего дедушки, вероятно, знали о его существовании, потому что высылали к нему (когда не случалось особого несчастия) весьма незначительный оброк — но никогда в лицо его не видали. Сельцо Лучиновка, лишенное лицезрения своего господина, процветало,— как вдруг, в одно прекрасное утро, тяжелая колымага въехала в деревню и остановилась перед избой старосты. Мужики, встревоженные таким небывалым происшествием, сбежались и увидали своего барина, барыню и всех их чад, исключая старшего, Василия, оставшегося в Петербурге. С того достопамятного дня и до самой своей кончины Иван Андреевич не выезжал из Лучиновки. Он выстроил себе дом, тот самый, в котором я теперь имею удовольствие беседовать с вами; построил также церковь и начал жить помещиком. Иван Андреевич был человек огромного роста, худой, молчаливый и весьма медлительный во всех своих движениях; никогда не носил халата, и никто, исключая его камердинера, не видал его ненапудренным. Иван Андреевич обыкновенно ходил, заложа руки за спину, медленно поворачивая голову при каждом шаге. Всякий день прогуливался он по длинной липовой аллее, которую сам собственноручно насадил,— и перед смертью имел удовольствие пользоваться тенью этих лип. Иван Андреевич был чрезвычайно скуп на слова;

доказательством его молчаливости служит то замечательное обстоятельство, что он в течение двадцати лет не сказал ни одного слова своей супруге, Анне Павловне. Вообще его отношения к Анне Павловне были весьма странного рода. Она заведовала всем домашним хозяйством, за обедом сидела всегда возле своего мужа — он нещадно наказал бы человека, который осмелился бы сказать ей одно непочтительное слово,— а между тем сам с ней никогда не говорил, не прикасался к ее руке. Анна Павловна была робкая, бледная, убитая женщина; каждый день молилась в церкви на коленях и никогда не улыбалась. Толковали, что они прежде, то есть до приезда в деревню, жили в большом ладу; поговаривали также, что Анна Павловна нарушила свои супружеские обязанности, что муж узнал о ее проступке... Как бы то ни было, но Иван Андреевич, даже умирая, не примирился с ней. Во время последней его болезни она не отлучалась от него; но он, казалось, ее не замечал. В одну ночь Анна Павловна сидела в спальне Ивана Андреевича; его мучила бессонница — лампада горела перед образом; слуга моего дедушки, Юдич, о котором я вам впоследствии скажу два слова, вышел. Анна Павловна встала, перешла через комнату и, рыдая, бросилась на колени перед постелью мужа, хотела что-то сказать — протянула руки... Иван Андреевич посмотрел на нее — и слабым голосом, но твердо закричал: «Человек!» Слуга вошел, Анна Павловна поспешно встала и, шатаясь, возвратилась на свое место.

Дети Ивана Андреевича чрезвычайно его боялись. Они выросли в деревне и были свидетелями странного обхождения Ивана Андреевича с своею женою. Они все страстно любили Анну Павловну, но не смели высказать свою любовь. Она сама как будто их чуждалась... Вы помните, господа, моего деда: он до самой смерти всегда ходил на цыпочках и говорил шёпотом... что значит привычка! Мой дед и брат его, Иван Иванович, были люди простые, добрые, смирные и грустные; моя grand'-tante[1] Наталья вышла, как вам известно, замуж за грубого и глупого человека и до смерти питала к нему безмолвную, подобострастную, овечью любовь. Но не таков был брат их Василий. Я вам, кажется, сказы-

---

[1] двоюродная бабушка *(франц.)*.

вал, что Иван Андреевич оставил его в Петербурге. Ему было тогда лет двенадцать. Отец поручил его попечениям одного отдаленного родственника, человека уже не молодого, холостого, страшного вольтерьянца.

Василий вырос, поступил на службу. Он был не велик ростом, но хорошо сложен и чрезвычайно ловок; прекрасно говорил по-французски и славился своим уменьем драться на шпагах. Его считали одним из блистательных молодых людей начала царствования Екатерины. Отец мой мне часто говаривал, что он знавал не одну старушку, которая без сердечного умиления вспомнить не могла о Василье Ивановиче Лучинове. Вообразите себе человека, одаренного необыкновенной силой воли, страстного и расчетливого, терпеливого и смелого, скрытного до чрезвычайности и — по словам всех его современников — очаровательно, обаятельно любезного. В нем не было ни совести, ни доброты, ни честности, хотя никто же не мог назвать его положительно злым человеком. Он был самолюбив — но умел таить свое самолюбие и страстно любил независимость. Когда, бывало, Василий Иванович, улыбаясь, ласково прищурит черные глаза, когда захочет пленить кого-нибудь, говорят, невозможно ему было противиться — и даже люди, уверенные в сухости и холодности его души, не раз поддавались чарующему могуществу его влияния. Он усердно служил самому себе и других заставлял трудиться для своих же выгод, и всегда во всем успевал, потому что никогда не терял головы, не гнушался лести как средства и умел льстить.

Лет десять спустя после поселения Ивана Андреевича в деревне приехал он на четыре месяца в Лучиновку блестящим гвардейским офицером — и в течение этого времени успел вскружить голову даже угрюмому старику, отцу своему. Странно! Иван Андреевич с наслаждением слушал рассказы своего сына о некоторых его *победах*. Братья его немели перед ним и удивлялись ему, как существу высшему. Да и сама Анна Павловна едва ли не полюбила его более всех других детей, так искренно ей преданных...

Василий Иванович приехал в деревню, во-первых, для того, чтобы повидаться с родными, но, во-вторых, и для того, чтобы достать как можно более денег от отца. Он жил пышно и открыто в Петербурге и наделал

множество долгов. Нелегко ему было сладить со скупостью родителя, и хоть Иван Андреевич дал ему в один его приезд, вероятно, гораздо более денег, чем всем другим своим сыновьям в продолжение двадцати лет, прожитых ими в родительском доме, но Василий держался известного русского правила: «Брать так брать!» У Ивана Андреевича был слуга, по прозванию Юдич, такой же высокий, худой и молчаливый человек, как сам его барин. Говорят, этот Юдич был отчасти причиной странного обращения Ивана Андреевича с Анной Павловной: говорят, он открыл преступную связь моей прабабушки с одним из лучших приятелей моего прадеда. Вероятно, Юдич глубоко раскаялся в своей неуместной ревности, потому что трудно вообразить себе более доброго человека. Память его до сих пор священна всем моим дворовым людям. Юдич пользовался неограниченною доверенностью моего прадеда. В то время помещики имели деньги, но не отдавали их на сбережение в заемные учреждения, а сами хранили их в сундуках, в подполицах и т. д. Иван Андреевич держал все свои деньги в большом кованом сундуке, находившемся у него под изголовьем. Ключ от этого сундука был отдан Юдичу. Каждый вечер, ложась спать, Иван Андреевич при себе приказывал отпирать этот сундук, постукивал палкой поочередно по всем туго набитым мешкам, а по субботам сам с Юдичем развязывал мешки и тщательно пересчитывал деньги. Василий проведал о всех этих проделках и возгорел желанием потревожить заветный сундучок. В течение пяти-шести дней он *умягчил* Юдича, то есть довел бедного старика до того, что тот в молодом барине, как говорится, души не чаял. Подготовив его надлежащим образом, Василий прикинулся озабоченным и мрачным, долго не хотел отвечать на расспросы Юдича и, наконец, сказал ему, что он проигрался и что наложит на себя руки, если не достанет где-нибудь денег. Юдич зарыдал, бросился перед ним на колени, просил вспомнить бога, не губить себя. Василий, не говоря ни слова, заперся в своей комнате. Через несколько времени услышал он, что кто-то осторожно к нему стучится; он отпер дверь и увидел на пороге Юдича, бледного, трепещущего, с ключом в руке. Василий тотчас всё понял. Сперва он долго отказывался. Юдич со слезами твердил: «Извольте, барин! возьмите...» Василий,

наконец, согласился. Дело было в понедельник. Василью пришла в голову мысль заменить вынутые деньги битыми черепками. Он рассчитывал на то, что Иван Андреевич, постукивая по мешкам палкой, не обратит особенного внимания на едва заметное различие звука — а до субботы он надеялся достать и вложить обратно деньги в сундук. Придумано — сделано. Отец действительно ничего не заметил. Но к субботе Василий денег не достал; он надеялся на взятые деньги обыграть одного богатого соседа — и, напротив, сам всё проиграл. Между тем настала суббота; дошла очередь и до мешков, набитых черепками. Представьте себе, господа, удивление и негодование Ивана Андреевича!

— Это что значит? — загремел он.

Юдич молчал.

— Ты украл эти деньги?

— Никак нет-с.

— Так кто-нибудь ключ у тебя брал?

— Я никому не отдавал ключа.

— Никому? А когда никому — так ты вор. Сознавайся!

— Я не вор, Иван Андреевич.

— Откуда ж взялись эти черепки, чёрт возьми! Так-то ты меня обманываешь? В последний раз говорю тебе — сознавайся!

Юдич потупил голову и сложил руки за спиной.

— Эй, люди! — закричал Иван Андреевич исступленным голосом.— Палок!

— Как? меня... наказывать? — прошептал Юдич.

— Вот тебе на! да чем ты лучше других? Ты вор! Ну, Юдич! не ожидал я от тебя такого мошенничества!

— Я поседел на вашей службе, Иван Андреевич,— проговорил с усилием Юдич.

— А мне что за дело до твоих седых волос? Чёрт бы тебя побрал с твоей службой!

Люди вошли.

— Возьмите-ка его, да хорошенько!

У Ивана Андреевича побледнели и затряслись губы. Он ходил по комнате, как дикий зверь в тесной клетке.

Люди не смели исполнить его приказания.

— Что же вы стоите, хамовы дети? Иль мне самому за него приняться, что ли?

Юдич пошел было к двери...

— Стойте! — закричал Иван Андреевич.— Юдич, в последний раз говорю тебе, прошу тебя, Юдич, сознайся.

— Не могу! — простонал Юдич.

— Так берите же его, старого подлипалу!.. Насмерть его! В мою голову! — загремел бешеный старик.

Истязание началось...

Дверь вдруг растворилась, и вошел Василий. Он был едва ли еще не бледнее отца, руки его дрожали, верхняя губа приподнялась и обнажила ряд белых и ровных зубов.

— Я виноват,— сказал он глухим, но твердым голосом.— Я взял эти деньги.

Люди остановились.

— Ты! как? ты, Васька! без согласия Юдича?

— Нет! — сказал Юдич,— с моего согласия. Я сам отдал ключ Василью Ивановичу. Батюшка, Василий Иванович! зачем вы изволили беспокоиться?

— Так вот кто вор! — закричал Иван Андреевич.— Спасибо, Василий, спасибо! А тебя, Юдич, я все-таки не помилую. Зачем ты мне тотчас же во всем не сознался? Эй, вы! что вы стали? Или уже и вы моей власти не признаете? А с тобой я справлюсь, голубчик! — прибавил он, обращаясь к Василью.

Люди опять было взялись за Юдича.

— Не трогайте его! — прошептал Василий сквозь зубы. Слуги его не послушались.— Назад! — закричал он и бросился на них... Они отшатнулись.

— А! бунтовать! — простонал Иван Андреевич и, подняв палку, пошел на сына.

Василий отскочил, схватился за рукоять шпаги и обнажил ее до половины. Все затрепетали. Анна Павловна, привлеченная шумом, испуганная, бледная, показалась в дверях.

Страшно изменилось лицо Ивана Андреевича. Он зашатался, уронил палку и тяжко опустился на кресло, закрыв лицо обеими руками. Никто не шевелился, все стояли как вкопанные, не исключая и Василья. Судорожно стискивал он стальную рукоять шпаги, глаза его сверкали унылым, злобным блеском...

— Подите все... все вон,— проговорил тихим голосом Иван Андреевич, не отнимая рук от лица.

Вся толпа вышла. Василий остановился на пороге, потом вдруг тряхнул головой, обнял Юдича, поцеловал руку матери... и через два часа его уже не было в деревне. Он уехал в Петербург.

Вечером того же дня Юдич сидел на крылечке дворовой избы. Люди окружали его, сожалели о нем и горько упрекали барина.

— Полноте, дети,— сказал он им наконец,— полноте... что вы его браните? Он и сам, чай, батюшка наш, своей удали не рад...

Вследствие этого происшествия Василий уже более не видался с своим родителем. Иван Андреевич умер без него, и умер, вероятно, с такой тоской на сердце, какую не дай бог испытать кому-либо из нас. Василий Иванович между тем выезжал, веселился по-своему и сорил деньгами. Как он добывал эти деньги, не могу наверное сказать. Достал он себе слугу француза, ловкого и смышленого малого, некоего Бурсье. Этот человек страстно к нему привязался и помогал ему во всех его многочисленных проделках. Я не намерен рассказывать вам в подробности все проказы моего grand'oncle [1]; он отличался такой неограниченной смелостью, такой змеиной изворотливостью, таким непостижимым хладнокровием, таким ловким и тонким умом, что, признаюсь, я понимаю неограниченную власть этого безнравственного человека над самыми благородными душами...

Вскоре после смерти отца Василий Иванович, несмотря на свою изворотливость, был вызван на дуэль одним оскорбленным мужем. Он дрался, тяжело ранил своего соперника и принужден был выехать из столицы; ему приказали безвыездно жить в своем поместье. Василию Ивановичу было тридцать лет. Вы легко можете себе представить, господа, с какими чувствами этот человек, привыкший к столичной, блестящей жизни, ехал на родину. Говорят, он на дороге часто выходил из кибитки, бросался лицом в снег и плакал. Никто в Лучиновке не узнавал прежнего веселого, любезного Василия Ивановича. Он ни с кем не говорил, с утра до вечера ездил на охоту, с видимым нетерпением сносил робкие ласки своей матери и безжалостно насмехался над

[1] двоюродного дедушки *(франц.)*.

братьями, над их женами (они уже оба успели жениться)...

Я вам до сих пор, кажется, ничего не сказал об Ольге Ивановне. Грудным ребенком привезли ее в Лучиновку; она чуть-чуть не умерла на дороге. Ольга Ивановна была воспитана, как говорится, в страхе божием и родительском... надобно сознаться, что Иван Андреевич и Анна Павловна — оба обращались с ней, как с дочерью. Но в ней таилась слабая искра того огня, который так ярко пылал в душе Василья Ивановича. Между тем как настоящие дети Ивана Андреевича не дерзали помышлять о причинах странного, безмолвного раздора между их родителями,— Ольгу с ранних лет тревожило и мучило положение Анны Павловны. Подобно Василью, она любила независимость; всякое притеснение ее возмущало. Она всеми силами души привязалась к своей благодетельнице; старика Лучинова она ненавидела и не раз, сидя за столом, устремляла на него такие мрачные взгляды, что даже человеку, подававшему кушанье, становилось жутко. Иван Андреевич не замечал всех этих взглядов, потому что вообще не обращал никакого внимания на свое семейство.

Сперва Анна Павловна старалась истребить в ней эту ненависть, но некоторые смелые вопросы Ольги заставили ее замолчать совершенно. Дети Ивана Андреевича обожали Ольгу, и старуха ее любила тоже, хотя довольно холодной любовью.

Продолжительное горе подавило в этой бедной женщине всякую веселость, всякое сильное чувство; ничего так ясно не доказывает очаровательной любезности Василья, как то, что он даже мать свою заставил горячо полюбить себя. Излияния детской нежности не были в духе того времени, а потому не удивительно, что Ольга не смела обнаруживать свою приверженность, хотя всегда с особенной почтительностью целовала руку Анны Павловны вечером, при прощании. Читать и писать она едва умела. Двадцать лет спустя русские девицы начали почитывать романы вроде Похождений маркиза Глаголя, Фанфана и Лолоты, Алексея, или Хижины в лесу; начали учиться на клавикордах и петь песни вроде следующей, некогда весьма известной:

> Мужчины на свете
> Как мухи к нам льнут — и т. д.,

но в семидесятых годах (Ольга Ивановна родилась в 1757 году) наши деревенские красавицы не имели понятия обо всех этих усовершенствованиях. Трудно нам теперь себе представить русскую барышню того века; правда, мы можем по нашим бабушкам судить о степени образованности дворянок времен Екатерины; но как прикажете отличить то, что постепенно к ним привилось в течение их долгой жизни, от того, чем они были во дни молодости?

Ольга Ивановна несколько говорила по-французски — но с сильным русским произношением: в ее время об эмигрантах не было еще и помина. Словом, при всех ее хороших качествах, она все-таки была порядочным *дичком* — и, пожалуй, в простоте сердца своего из собственных рук не раз наказывала какую-нибудь злополучную горничную...

За несколько времени до приезда Василия Ивановича Ольгу Ивановну сговорили за соседа — Павла Афанасьевича Рогачева, добрейшего и честнейшего человека. Природа позабыла наделить его желчью. Собственные люди не слушались его, уходили иногда все, от первого до последнего, и оставляли бедного Рогачева без обеда... но ничто не могло возмутить тишину его души. Он с детских лет отличался толстотою и неповоротливостию, нигде не служил, любил ходить в церковь и петь на клиросе. Посмотрите, господа, на это доброе, круглое лицо; вглядитесь в эту тихую, светлую улыбку... не правда ли, вам самим становится отрадно? Отец его в кои-то веки езжал в Лучиновку и по праздникам привозил с собой Павлушу, которого маленькие Лучиновы всячески терзали. Павлуша вырос, начал сам ездить к Ивану Андреевичу, влюбился в Ольгу Ивановну и предложил ей руку и сердце — не лично ей, а ее благодетелям. Благодетели согласились. У Ольги Ивановны даже не подумали спросить: нравится ли ей Рогачев? В то время, по словам моей бабушки, «таких роскошей не водилось». Впрочем, Ольга скоро привыкла к своему жениху; нельзя было не привязаться к этому кроткому, снисходительному созданию. Воспитания Рогачев не получил никакого; по-французски умел только сказать: «бонжур» — и втайне почитал даже это слово неприличным. Да еще какой-то шутник выучил его следующей, будто бы французской песне: «Сонечка, Сонечка!

Ке вуле ву де муа — я вас обожаю — ме же не пё па...». Эту песенку он всегда напевал вполголоса, когда чувствовал себя в духе. Отец его был тоже человек доброты неописанной; вечно ходил в длинном нанковом сюртуке и, что бы ему ни говорили,— на всё с улыбкой поддакивал. Со времени помолвки Павла Афанасьевича оба Рогачевы — отец и сын — хлопотали страшно; переделывали свой дом, пристроивали разные «галдареи», дружелюбно разговаривали с работниками, потчевали их водкою. К зиме не успели окончить все постройки — отложили свадьбу до лета; летом умер Иван Андреевич — отложили свадьбу до будущей весны; зимой приехал Василий Иванович. Ему представили Рогачева; он принял его холодно и небрежно и в последствии времени до того запугал его своим надменным обхождением, что бедный Рогачев трепетал как лист при одном его появлении, молчал и принужденно улыбался. Василий раз чуть-чуть не уходил его совершенно, предложив ему пари, что он, Рогачев, не в состоянии перестать улыбаться. Бедный Павел Афанасьевич едва не заплакал от замешательства, но — действительно! — улыбка, глупейшая, напряженная улыбка не хотела сойти с его вспотевшего лица! А Василий медленно поигрывал концами своего шейного платка и поглядывал на него уж чересчур презрительно. Отец Павла Афанасьевича узнал также о прибытии Василия и спустя несколько дней — для «большей важности» — отправился в Лучиновку с намерением «поздравить любезного гостя с прибытием в родные палестины». Афанасий Лукич славился во всем околотке своим красноречием, то есть уменьем не запинаясь произнести довольно длинную и хитро сплетенную речь, с легкой примесью книжных словечек. Увы! на этот раз он не поддержал своей славы; смутился гораздо более сына своего, Павла Афанасьевича; пробормотал что-то весьма невнятное и хотя отроду не пивал водки, но тут «для контенансу»[1], выпив рюмочку (он застал Василия за завтраком), хотел было по крайней мере крякнуть с некоторою самостоятельностью, и не произвел ни малейшего звука. Уезжая домой, Павел Афанасьевич шепнул своему родителю: «Что-с, батюшка?» Афанасий Лу-

[1] для приличия *(франц.:* contenance*)*.

кич с досадой ответил ему, также шёпотом: «И не говори!»

Рогачевы начали реже ездить в Лучиновку. Впрочем, Василий застращал не их одних; в братьях своих, в их женах, даже в самой Анне Павловне возбуждал он тоскливую, невольную неловкость... они стали всячески избегать его; Василий не мог этого не заметить, но, по-видимому, не имел намеренья переменить свое обращение с ними, как вдруг в начале весны он явился опять тем любезным, милым человеком, каким его прежде знали...

Первым проявлением этой внезапной перемены был неожиданный приезд Василия к Рогачевым. Афанасий Лукич в особенности порядком струсил при виде коляски Лучинова, но испуг его исчез весьма скоро. Никогда Василий не был любезнее и веселее. Он взял молодого Рогачева под руку, пошел с ним осматривать постройки, толковал с плотниками, давал им советы, делал сам нарубки топором, велел себе показать заводских лошадей Афанасья Лукича, сам гонял их на корде — и вообще своей радушной любезностью довел добрых степняков до того, что они оба неоднократно его обняли. Дома Василий тоже в несколько дней по-прежнему вскружил всем головы: затеял разные смешные игры, достал музыкантов, на́звал соседей и соседок, рассказывал старушкам самым потешным образом городские сплетни, слегка волочился за молодыми, придумывал небывалые увеселения, фейерверки и т. д., словом, оживил всё и всех. Печальный, мрачный дом Лучиновых превратился вдруг в какое-то шумное, блестящее, очарованное жилище, о котором заговорил весь околоток. Эта внезапная перемена удивила многих, всех обрадовала; начали носиться разные слухи; знающие люди говорили, что Василья Ивановича до тех пор сокрушала какая-то скрытая забота, что ему представилась возможность возвратиться в столицу... но до истинной причины перерождения Василья Ивановича не добрался никто.

Ольга Ивановна, господа, была очень недурна собой. Впрочем, ее красота состояла более в необыкновенной нежности и свежести тела, в спокойной прелести движений, чем в строгой правильности очертаний. Природа одарила ее некоторой самобытностью; ее воспитанье —

она выросла сиротой — развило в ней осторожность и твердость. Ольга не принадлежала к числу тихих и вялых барышень; но одно лишь чувство в ней созрело вполне: ненависть к благодетелю. Впрочем, и другие, более женские страсти могли вспыхнуть в душе Ольги Ивановны с необычайной, болезненной силой... но в ней не было ни того гордого холода, ни той сжатой крепости души, ни той самолюбивой сосредоточенности, без которых всякая страсть исчезает весьма быстро. Первые порывы таких полудеятельных, полустрадательных душ бывают иногда необыкновенно стремительны; но они изменяют самим себе весьма скоро, особенно, когда дело дойдет до безжалостного применения принятых правил; они боятся последовательности... И между тем, господа, признаюсь вам откровенно: на меня женщины такого рода производят сильнейшее впечатление... (При этих словах рассказчик опорожнил стакан воды. «Пустяки, пустяки! — подумал я, глядя на его круглый подбородок,— на тебя, любезный друг, ничто в свете не производит „сильнейшего впечатления“...»)

Петр Федорович продолжал:

— Господа, я верю в кровь, в породу. В Ольге Ивановне было более крови, чем, например, в нареченной ее сестрице — Наталье. В чем же проявлялась эта «кровь», спросите вы меня? Да во всем: в очерках рук, губ, в звуке голоса, во взгляде, в походке, в прическе,— в складках платья наконец. Во всех этих безделках таилось что-то особенное, хотя я должен признаться, что та... как бы выразиться?.. та distinction[1], которая доставалась на долю Ольге Ивановне, не привлекла бы внимания Василья, если б он встретился с нею в Петербурге. В деревне же, в глуши, она не только возбудила его вниманье, но и даже вообще была единственной причиной той перемены, о которой я говорил выше.

Судите сами: Василий Иванович любил наслаждаться жизнью; он не мог не скучать в деревне; братья его были добрые ребята, но весьма ограниченные люди: он ничего не имел с ними общего; сестра его Наталья в течение трех лет прижила с своим супругом четырех человек детей: между ней и Васильем была целая бездна... Анна Павловна ходила в церковь, молилась, постилась

[1] тонкость обращения *(франц.)*.

и готовилась к смерти. Оставалась одна Ольга, свежая, робкая, миленькая девочка... Василий ее сперва не заметил... да и кто обращает вниманье на воспитанницу, на сироту, на приемыша?.. Однажды, в самом начале весны, шел он по саду и тросточкой сбивал головки цикорий, этих глупеньких желтых цветков, которые в таком множестве первые появляются на едва зеленеющих лугах. Он гулял по саду, перед домом, поднял голову — и увидал Ольгу Ивановну. Она сидела боком у окна и задумчиво гладила полосатого котенка, который, мурлыча и жмурясь, угнездился на ее коленях и с большим удовольствием подставлял свой носик весеннему, уже довольно яркому солнцу. На Ольге Ивановне было белое утреннее платье с короткими рукавами; ее голые, бледно-розовые, не вполне развитые плечи и руки дышали свежестью и здоровьем; небольшой чепчик осторожно сжимал ее густые, мягкие, шелковистые локоны; лицо слегка пылало: она недавно проснулась. Ее тонкая и гибкая шея так мило подавалась вперед; так пленительно небрежно, так стыдливо отдыхал ее незатянутый стан, что Василий Иванович (большой знаток!) невольно остановился и загляделся. Ему вдруг пришло в голову, что не следует оставлять Ольгу Ивановну в ее первобытном невежестве; что из нее может со временем выйти премилая и прелюбезная женщина. Он подкрался к окну, поднялся на цыпочки и на белой и гладкой руке Ольги Ивановны, немного пониже локтя, напечатлел безмолвный поцелуй. Ольга вскрикнула и вскочила, котенок поднял хвост и прыгнул в сад, Василий Иванович с улыбкой удержал ее за руку... Ольга покраснела вся до ушей; он начал шутить над ее испугом... звал ее гулять с собой; но вдруг Ольга Ивановна заметила небрежность своего наряда — и «быстрее быстрой лани» улизнула в другую комнату.

В тот же самый день Василий отправился к Рогачевым. Он вдруг повеселел и просветлел духом. Василий не полюбил Ольгу, нет! — словом «любовь» шутить не надобно... Он нашел себе занятие, поставил себе задачу и радовался радостью деятельного человека. Он и не вспомнил о том, что она — воспитанница его матери, невеста другого; он ни на один миг не обманывал себя; он очень хорошо знал, что ей не быть его женой... Может быть, его извиняла страсть — правда, не возвы-

шенная, не благородная, но все-таки довольно сильная и мучительная страсть. Разумеется, он влюбился не как ребенок; он не предавался неопределенным восторгам; он очень знал, чего он хотел и к чему он стремился.

Василий Иванович вполне владел способностью в самое короткое время приучить к себе другого, даже предубежденного или робкого, человека. Ольга скоро перестала его дичиться. Василий Иванович ввел ее в новый мир. Он выписал для нее клавикорды, давал ей музыкальные уроки (он сам порядочно играл на флейте), читал ей книги, долго разговаривал с ней... Голова закружилась у бедной степнячки. Василий совершенно покорил ее. Он умел говорить с ней о том, что до того времени ей было чуждым, и говорить языком, ей понятным. Ольга понемногу решалась высказывать ему свои чувства; он помогал ей, подсказывал ей слова, которых она не находила, не запугивал ее; то удерживал, то поощрял ее порывы... Василий занимался ее воспитанием не из бескорыстного желания разбудить и развить ее способности; он просто хотел ее несколько к себе приблизить и знал притом, что неопытную, робкую, но самолюбивую девушку легче завлечь умом, чем сердцем. Если б Ольга была даже существом необыкновенным, Василий никак бы не мог этого заметить, потому что он обращался с ней, как с ребенком; но вы уже знаете, господа, что в Ольге особенно замечательного ничего не было. Василий старался по возможности действовать на ее воображение, и часто вечером она уходила от него с таким вихрем новых образов, слов и мыслей в голове, что не в состоянии была заснуть до зари и, тоскливо вздыхая, беспрестанно прикладывала горящие щеки к холодным подушкам или вставала, подходила к окну и пугливо и жадно глядела в темную даль. Василий наполнял каждое мгновенье ее жизни, ни о ком другом она думать не могла. Рогачева она скоро даже перестала замечать. Василий, как человек ловкий и хитрый, в его присутствии не говорил с Ольгой; но либо смешил его самого до слез, либо затевал какую-нибудь шумную игру, прогулку верхом, катанье ночью по реке с факелами и музыкой — словом, не давал опомниться Павлу Афанасьевичу. Однако, несмотря на всю ловкость Василья Ивановича, Рогачев смутно почувствовал, что он, жених и буду-

щий муж Ольги, как будто стал для нее чужим человеком... но, по бесконечной своей доброте, боялся огорчить ее упреком, хотя действительно любил ее и дорожил ее привязанностью. Наедине с ней он не знал, что заговорить, и только старался всячески прислуживаться. Прошло два месяца. В Ольге исчезла, наконец, всякая самостоятельность, всякая воля; слабый и молчаливый Рогачев не мог служить ей опорой; она даже не хотела противиться обаянью и с замирающим сердцем безусловно отдалась Василью...

Ольга Ивановна, вероятно, узнала тогда радости любви; но ненадолго. Хотя Василий — за неимением другого занятия — не только не бросил ее, но даже привязался к ней и заботливо ее лелеял, но сама Ольга до того потерялась, что даже в любви не находила блаженства,— и все-таки не могла оторваться от Василья. Она стала всего бояться, не смела думать; не разговаривала ни о чем, перестала читать; тоска ее грызла. Иногда удавалось Василью увлечь ее за собою и заставить позабыть всех и всё; но на другой же день он находил ее бледной, безмолвной, с похолодевшими руками, с бессмысленной улыбкой на губах... Настало довольно трудное время для Василия; но никакие трудности запугать его не могли. Он весь сосредоточился, как опытный игрок. Он нисколько не мог полагаться на Ольгу Ивановну; она беспрестанно себе изменяла, бледнела, краснела и плакала... ее новая роль не пришлась ей по силам. Василий работал за двух; в его буйном и шумном веселье только опытный наблюдатель мог бы заметить лихорадочную напряженность; он играл братьями, сестрами, Рогачевыми, соседами, соседками — как пешками; вечно был настороже, не терял ни одного взгляда, ни одного движенья, хотя казался беззаботнейшим человеком; каждое утро вступал в сражение и каждый вечер торжествовал победу. Он нисколько не тяготился такой страшной деятельностью; спал четыре часа в сутки, ел очень мало и был здоров, свеж и весел. Между тем день свадьбы приближался; Василий успел убедить самого Павла Афанасьевича в необходимости отсрочки; потом услал его в Москву за покупками, а сам переписывался с петербургскими приятелями. Он хлопотал не столько из сожаленья к Ольге Ивановне, сколько из охоты и любви к хлопотам

и тревогам... Притом — Ольга Ивановна начала ему надоедать, и он уже не раз, после неистового взрыва страсти, поглядывал на нее, как, бывало, на Рогачева. Лучинов всегда оставался загадкой для всех; в самой холодности его неумолимой души вы чувствовали присутствие странного, почти южного пламени; и в самом бешеном разгаре страсти от этого человека веяло холодом. При других он по-прежнему поддерживал Ольгу Ивановну; но наедине он играл с ней, как кошка с мышью, или пугал ее софизмами, или тяжело и ядовито скучал, или, наконец, опять бросался к ее ногам, увлекал ее, как вихрь щепку... и не притворялся тогда влюбленным... но действительно сам замирал...

Однажды, довольно поздно вечером, Василий сидел один у себя в комнате и внимательно перечитывал последние, полученные им из Петербурга письма — как вдруг дверь тихонько заскрипела и вошла Палашка, горничная Ольги Ивановны.

— Что тебе надобно? — спросил ее Василий довольно сурово.

— Барышня изволит вас просить к себе.

— Теперь не могу. Ступай... Ну, что ж ты стоишь?— продолжал он, увидя, что Палашка не выходила.

— Барышня приказала сказать, что очень, дескать, нужно-с.

— Да что там такое?

— Сами изволите увидеть-с...

Василий встал, с досадой бросил письма в ящик и отправился к Ольге Ивановне. Она сидела одна, в углу — бледная и неподвижная.

— Что вам угодно? — спросил он ее не совсем приветно.

Ольга посмотрела на него и, содрогаясь, закрыла глаза.

— Что с вами? что с тобой, Ольга?

Он взял ее за руку... Рука Ольги Ивановны была холодна как лед... Она хотела заговорить... и голос ее замер. Бедной женщине не оставалось никакого сомнения насчет своего положения.

Василий несколько смутился. Комната Ольги Ивановны находилась в двух шагах от спальни Анны Павловны. Василий осторожно подсел к Ольге, целовал и грел ее руки, шёпотом ее уговаривал. Она слушала его

и молча слегка вздрагивала. В дверях стояла Палашка и тихонько утирала слезы. В соседней комнате тяжко и мерно стучал маятник и слышалось дыхание спящего. Оцепенение Ольги Ивановны разрешилось, наконец, слезами и глухими рыданиями. Слезы — что гроза: после них человек всегда тише. Когда Ольга Ивановна успокоилась несколько и лишь изредка судорожно всхлипывала, как ребенок, Василий стал перед ней на колени и ласками, нежными обещаниями успокоил ее совершенно, дал ей напиться, уложил ее и ушел. Всю ночь он не раздевался, написал два-три письма, сжег две-три бумаги, достал золотой медальон с портретом женщины чернобровой и черноглазой, с лицом сладострастным и смелым, долго рассматривал ее черты и в раздумье ходил по комнате. На другое утро, за чаем, он с необыкновенным неудовольствием увидел покрасневшие, распухшие глаза и бледное, встревоженное лицо бедной Ольги. После завтрака предложил он ей прогуляться с ним по саду. Ольга пошла за Васильем, как послушная овечка. Когда же, часа через два, она вернулась из сада — на ней лица не было; она сказала Анне Павловне, что ей нездоровится, и слегла в постель. Во время прогулки Василий, с достодолжным раскаянием, объявил ей, что он тайно обвенчан,— он был такой же холостяк, как я. Ольга Ивановна не упала в обморок — падают в обморок только на сцене; но вдруг окаменела, хотя сама не только не надеялась выйти за Василья Ивановича, но даже как-то боялась об этом думать. Василий начал ей доказывать необходимость разлуки с ним и бракосочетания с Рогачевым. Ольга Ивановна глядела на него с немым ужасом. Василий говорил холодно, дельно, основательно; винил себя, каялся — но кончил все свои рассуждения следующими словами: «Прошедшего не вернешь; надобно действовать». Ольга потерялась совершенно; ей было страшно, стыдно; унылое, тяжкое отчаяние овладело ею; она желала смерти — и с тоской ожидала решения Василья.

— Надобно во всем сознаться матушке,— сказал он ей наконец.

Ольга помертвела; ноги у ней подкосились.

— Не бойся, не бойся,— твердил Василий,— положись на меня, я тебя не оставлю... я всё улажу... надейся на меня.

Бедная женщина посмотрела на него с любовью... да, с любовью и глубокой, хотя уже безнадежной преданностью.

— Я всё, всё устрою,— сказал ей на прощанье Василий... и в последний раз поцеловал ее похолодевшие руки...

На другое же утро Ольга Ивановна только что встала с постели — дверь ее растворилась... и Анна Павловна появилась на пороге. Ее поддерживал Василий. Молча добралась она до кресел и села молча. Василий стал возле нее. Он казался спокойным; брови его сдвинулись и губы слегка раскрылись. Анна Павловна, бледная, негодующая, разгневанная, собиралась говорить — но голос изменял ей. Ольга Ивановна с ужасом окинула взором свою благодетельницу, своего любовника: страшно замерло в ней сердце... она с криком упала посреди комнаты на колени и закрыла себе лицо руками... «Так правда... правда? — прошептала Анна Павловна и наклонилась к ней...— Отвечайте же!» — продолжала она, с жестокостью схватив Ольгу за руку.

— Матушка! — раздался медный голос Василия.— Вы обещали мне не оскорблять ее.

— Я хочу... признавайся же... признавайся... правда ли? правда?

— Матушка... вспомните...— проговорил медленно Василий.

Это одно слово сильно потрясло Анну Павловну. Она прислонилась к спинке кресел и зарыдала.

Ольга Ивановна тихонько подняла голову и хотела было броситься к ногам старухи, но Василий удержал ее, поднял и посадил на другие кресла. Анна Павловна продолжала плакать и шептать несвязные слова...

— Послушайте, матушка,— заговорил Василий,— не убивайте себя! Беде помочь еще можно... Если Рогачев...

Ольга Ивановна вздрогнула и выпрямилась.

— Если Рогачев,— продолжал Василий, значительно взглянув на Ольгу Ивановну,— вообразил, что может безнаказанно опозорить честное семейство...

Ольге Ивановне стало страшно.

— В моем доме,— простонала Анна Павловна.

— Успокойтесь, матушка. Он воспользовался ее неопытностью, ее молодостью, он... Вы что-то хотите ска-

зать? — прибавил он, увидя, что Ольга порывается к нему...

Ольга Ивановна упала в кресла.

— Я сейчас еду к Рогачеву. Я заставлю его жениться сегодня же. Будьте уверены, я не позволю ему насмехаться над нами...

— Но... Василий Иванович... вы...— прошептала Ольга.

Он долго и холодно посмотрел на нее. Она замолчала снова.

— Матушка, дайте мне слово не беспокоить ее до моего приезда. Посмотрите — она едва жива. Да и вам надобно отдохнуть. Надейтесь на меня; я отвечаю за всё; во всяком случае подождите моего возвращения. Повторяю вам — не убивайте ни ее, ни себя — и положитесь на меня.

Он приблизился к дверям и остановился.

— Матушка,— сказал он,— пойдемте со мной, оставьте ее одну, прошу вас.

Анна Павловна встала, подошла к иконе, положила земной поклон и тихо последовала за сыном. Ольга Ивановна молча и неподвижно проводила ее глазами. Василий проворно вернулся, схватил ее за руку, шепнул ей на ухо: «Надейтесь на меня и не выдайте нас,— и тотчас удалился...— Бурсье,— закричал он, спускаясь быстро вниз по лестнице,— Бурсье!..»

Через четверть часа он уже сидел в коляске с своим слугой.

В этот день старика Рогачева не было дома. Он поехал в уездный город закупать мухояру на кафтаны своим челядинцам. Павел Афанасьевич сидел у себя в кабинете и рассматривал коллекцию полинявших бабочек. Приподняв брови и вытянув губы, он осторожно переворачивал булавкой хрупкие крылышки «ночного сфинкса», как вдруг почувствовал у себя на плече небольшую, но тяжелую руку. Он оглянулся — перед ним стоял Василий.

— Здравствуйте, Василий Иванович,— проговорил он не без некоторого изумления.

Василий посмотрел на него и сел перед ним на стул.

Павел Афанасьевич улыбнулся было... да взглянул на Василья, опустился, раскрыл рот и сложил руки.

— А скажите-ка, Павел Афанасьевич,— заговорил

вдруг Василий,— скоро ли вы намерены сыграть свадебку?

— Я?.. скоро... конечно... я, с моей стороны... впрочем, как вы и ваша сестрица... я, с моей стороны, готов хоть завтра.

— Прекрасно, прекрасно. Вы человек весьма нетерпеливый, Павел Афанасьевич.

— Как это-с?

— Слушайте,-- прибавил Василий Иванович, вставая,— я всё знаю; вы меня понимаете, и я вам приказываю, без отлагательства, завтра же жениться на Ольге.

— Позвольте, позвольте, однако ж,— возразил Рогачев, не поднимаясь с места,— вы мне приказываете? Я сам искал руки Ольги Ивановны, и мне нечего приказывать... Признаюсь, Василий Иванович, я вас что-то не понимаю.

— Не понимаешь?

— Нет, право, не понимаю-с.

— Даешь ты мне слово жениться на ней завтра же?

— Да помилуйте, Василий Иванович... не сами ли вы неоднократно откладывали нашу свадьбу? Без вас она бы уже давно состоялась. И теперь я и не думаю отказываться. Что же значат ваши угрозы, ваши настоятельные требования?

Павел Афанасьевич отер пот с лица.

— Даешь ли ты мне слово? говори: да или нет? — повторил с расстановкой Василий.

— Извольте... даю-с, но...

— Хорошо. Помни же... А она во всем призналась.

— Кто призналась?

— Ольга Ивановна.

— Да в чем призналась?

— Да что вы передо мной-то притворяетесь, Павел Афанасьевич? Я ведь вам не чужой.

— В чем я притворяюсь? Я вас не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю. В чем могла Ольга Ивановна признаться?

— В чем? Вы мне надоели! Известно в чем.

— Убей меня бог...

— Нет, я тебя убью — если ты на ней не женишься... понимаешь?

— Как!..— Павел Афанасьевич вскочил и остано-

вился перед Васильем.— Ольга Ивановна... вы говорите...

— Ловок, братец, ты, ловок, признаюсь,— Василий с улыбкой потрепал его по плечу,— даром что на вид смирен...

— Боже мой, боже!.. Вы меня с ума сводите... Что вы хотите сказать, объяснитесь, ради бога!

Василий нагнулся к нему и шепнул ему что-то на ухо.

Рогачев вскрикнул:

— Как?.. я?

Василий топнул ногой.

— Ольга Ивановна? Ольга?..

— Да... ваша невеста...

— Моя невеста... Василий Иванович... она... она... Да я ж ее и знать не хочу! — закричал Павел Афанасьевич.— Бог с ней совсем! За кого вы меня принимаете? Обмануть меня — меня обмануть... Ольга Ивановна, не грешно вам, не совестно вам... (Слезы брызнули у него из глаз.) Спасибо вам, Василий Иванович, спасибо... А я ее и знать теперь не хочу! не хочу! не хочу! и не говорите... Ах, мои батюшки — вот до чего я дожил! Хорошо же, хорошо!

— Полно вам ребячиться,— заметил хладнокровно Василий Иванович.— Помните, вы мне дали слово: завтра свадьба.

— Нет, этому не бывать! Полноте, Василий Иванович, опять-таки скажу вам — за кого вы меня принимаете? Много чести: покорно благодарим-с. Извините-с.

— Как угодно! — возразил Василий.— Доставайте шпагу.

— Как шпагу... зачем шпагу?

— Зачем? А вот зачем.

Василий вынул свою французскую тонкую, гибкую шпагу и слегка согнул ее об пол.

— Вы хотите... со мной... драться?..

— Именно.

— Но, Василий Иванович, помилуйте, войдите в мое положение. Как же я могу, посудите сами, после того, что вы мне сказали... Я честный человек, Василий Иванович, я дворянин.

— Вы дворянин, вы честный человек — так извольте же со мной драться.

— Василий Иванович!

— Вы, кажется, робеете, господин Рогачев?

— Я вовсе не робею, Василий Иванович. Вы думали запугать меня, Василий Иванович. Вот, дескать, я его пугну, он и струсит, он на всё тотчас и согласится... Нет, Василий Иванович, я такой же дворянин, как и вы, хотя воспитания столичного не получил действительно, и запугать вам меня не удастся, извините.

— Очень хорошо,— возразил Василий,— где же ваша шпага?

— Ерошка! — закричал Павел Афанасьевич.

Вошел человек.

— Достань мне шпагу — там, ты знаешь, на чердаке... поскорей...

Ерошка вышел. Павел Афанасьевич вдруг чрезвычайно побледнел, торопливо снял шлафрок, надел кафтан рыжего цвета с стразовыми большими пуговицами... намотал на шею галстух... Василий глядел на него и перебирал пальцами правой руки.

— Так что ж? драться нам, Павел Афанасьевич?

— Драться так драться,— возразил Рогачев и торопливо застегнул камзол.

— Эй, Павел Афанасьевич, послушайтесь моего совета: женись... что тебе... А я, поверь мне...

— Нет, Василий Иванович,— перебил его Рогачев.— Вы меня, я знаю, либо убьете, либо изувечите; но чести своей я терять не намерен, умирать так умирать.

Ерошка вошел и трепетно подал Рогачеву старенькую шпажонку в кожаных, истресканных ножнах. В то время все дворяне носили шпаги при пудре; но степные помещики пудрились раза два в год. Ерошка отошел к дверям и заплакал. Павел Афанасьевич вытолкал его вон из комнаты.

— Однако, Василий Иванович,— заметил он с некоторым смущением,— я не могу сейчас с вами драться: позвольте отложить нашу дуэль до завтра; батюшки нет дома; да и дела мои, на всякий случай, не худо привести в порядок.

— Вы, я вижу, опять начинаете робеть, милостивый государь.

— Нет, нет, Василий Иванович; но посудите сами...

— Послушайте,— закричал Лучинов,— вы меня вы-

водите из терпенья... Или дайте мне слово тотчас жениться, или деритесь... или я вас прибью палкой, как труса, понимаете?

— Пойдемте в сад,— отвечал сквозь зубы Рогачев.

Но вдруг дверь растворилась, и старая няня Ефимовна, вся растрепанная, ворвалась в комнату, упала перед Рогачевым на колени, схватила его за ноги...

— Батюшка ты мой! — завопила она,— дитятко ты мое... что ты такое затеял? Не погуби нас, горемычных, батюшка! Ведь он тебя убьет, голубчик ты мой! Да прикажи нам только, прикажи, мы его, озорника этакого, шапками закидаем... Павел Афанасьевич, дитятко ты мое, побойся бога!

В дверях показалось множество бледных и встревоженных лиц... показалась даже рыжая борода старосты.

— Пусти меня, Ефимовна, пусти! — пробормотал Рогачев.

— Не пущу, родимый, не пущу. Что ты это, батюшка, что ты? Да что скажет Афанасий-то Лукич-то? Да он нас всех с бела света сгонит... А вы что стоите? Возьмите-ка незваного гостя под ручки да и выпроводите его вон из дому, чтобы духа его не было...

— Рогачев! — грозно вскрикнул Василий Иванович.

— Ты с ума сошла, Ефимовна, ты меня позоришь, помилуй...— проговорил Павел Афанасьевич.— Ступай, ступай себе с богом, и вы пошли вон, слышите?..

Василий Иванович быстро подошел к растворенному окошку, достал небольшой серебряный свисток — слегка свистнул... Бурсье отозвался невдалеке. Лучинов тотчас обратился к Павлу Афанасьевичу:

— Чем же эта комедия кончится?

— Василий Иванович, я приеду к вам завтра — что мне делать с этой сумасшедшей бабой...

— Э! да я вижу, с вами нечего долго толковать,— сказал Василий и поднял было трость...

Павел Афанасьевич рванулся, оттолкнул Ефимовну, схватил шпагу и бросился через другие двери в сад.

Василий ринулся вслед за ним. Они вбежали оба в деревянную беседку, хитро раскрашенную на китайский манер, заперлись и обнажили шпаги. Рогачев когда-то брал уроки в фехтовании, но теперь едва су-

мел выпасть как следует. Лезвия скрестились. Василий видимо играл шпагой Рогачева. Павел Афанасьевич задыхался, бледнел и с смятеньем глядел в лицо Лучинову. Между тем в саду раздавались крики; толпа народа бежала к беседке. Вдруг Рогачеву послышался раздирающий старческий вопль... он узнал голос отца. Афанасий Лукич, без шапки, с растрепанными волосами, бежал впереди всех, отчаянно махая руками...

Сильным и неожиданным поворотом клинка вышиб Василий шпагу из руки Павла Афанасьевича.

— Женись, брат,— сказал он ему,— полно тебе дурачиться.

— Не женюсь,— прошептал Рогачев, закрыл глаза и весь затрясся.

Афанасий Лукич начал ломиться в дверь беседки.

— Не хочешь? — закричал Василий.

Рогачев покачал отрицательно головой.

— Ну, так чёрт же с тобой!

Бедный Павел Афанасьевич упал мертвый: шпага Лучинова воткнулась ему в сердце... Дверь затрещала, старик Рогачев ворвался в беседку, но Василий уже успел выскочить в окно...

Два часа спустя вошел он в комнату Ольги Ивановны... Она с ужасом бросилась к нему навстречу... Он молча поклонился ей, вынул шпагу и проколол, на месте сердца, портрет Павла Афанасьевича. Ольга вскрикнула и в беспамятстве упала на пол... Василий отправился к Анне Павловне. Он застал ее в образной. «Матушка,— проговорил он,— мы отомщены».— Бедная старуха вздрогнула и продолжала молиться.

Через неделю Василий уехал в Петербург — и через два года вернулся в деревню, разбитый параличом, без языка. Он уже не застал в живых ни Анны Павловны, ни Ольги — и умер скоро сам на руках у Юдича, который кормил его, как ребенка, и один умел понимать его несвязный лепет.

ЖИД

...Расскажите-ка вы нам что-нибудь, полковник,— сказали мы наконец Николаю Ильичу.

Полковник улыбнулся, пропустил струю табачного дыма сквозь усы, провел рукою по седым волосам, посмотрел на нас и задумался. Мы все чрезвычайно любили и уважали Николая Ильича за его доброту, здравый смысл и снисходительность к нашей братье молодежи. Он был высокого роста, плечист и дороден; его смуглое лицо, «одно из славных русских лиц» *, прямодушный, умный взгляд, кроткая улыбка, мужественный и звучный голос— всё в нем нравилось и привлекало.

— Ну, слушайте ж,— начал он.— Дело было в тринадцатом году, под Данцигом. Я служил тогда в Е—м кирасирском полку и, помнится, только что был произведен в корнеты. Веселое занятие — сраженья, и походы — хорошая вещь, но в осадном корпусе очень скучно было. Сидишь себе, бывало, целый божий день в каком-нибудь ложементе, под палаткой, на грязи или соломе, да играешь в карты с утра до вечера. Разве от скуки пойдешь посмотреть, как летают бомбы или каленые ядра. Сначала французы нас тешили вылазками, да скоро притихли. Ездить на фуражировку тоже надоело; словом, тоска напала на нас такая, что хоть вой. Мне всего тогда пошел девятнадцатый год; малый был я здоровый, кровь с молоком, думал потешиться и насчет француза и насчет того... ну, понимаете... а вышло-то вот что. От нечего делать пустился я играть. Как-то раз, после страшного проигрыша, мне повезло, и к утру (мы играли ночью) я был в сильном выигрыше. Измученный, сонный, вышел я на свежий воздух и присел на гласис. Утро было прекрасное, тихое; длинные линии наших укреплений терялись в тумане; я загляделся,

* Лермонтов в «Казначейше».

а потом и задремал сидя. Осторожный кашель разбудил меня; я открыл глаза и увидел перед собою жида лет сорока, в долгополом сером кафтане, башмаках и черной ермолке. Этот жид, по прозвищу Гиршель, то и дело таскался в наш лагерь, напрашивался в факторы, доставал нам вина, съестных припасов и прочих безделок; росту был он небольшого, худенький, рябой, рыжий,— беспрестанно моргал крошечными, тоже рыжими глазками, нос имел кривой и длинный и всё покашливал.

Он начал вертеться передо мной и униженно кланяться.

— Ну, что тебе надобно? — спросил я его, наконец.

— А так-с, пришел узнать-с, что не могу ли их благородию чем-нибудь-с...

— Не нужен ты мне; ступай.

— Как прикажете-с, как угодно-с... Я думал, что, может быть-с, чем-нибудь-с...

— Ты мне надоел; ступай, говорят тебе.

— Извольте, извольте-с. А позвольте их благородие поздравить с выигрышем...

— А ты почему знаешь?

— Уж как мне не знать-с... Большой выигрыш... большой...! У! какой большой...

Гиршель растопырил пальцы и покачал головой.

— Да что толку,— сказал я с досадой,— на какой дьявол здесь и деньги?

— О! не говорите, ваше благородие; ай, ай, не говорите такое. Деньги — хорошая вещь; всегда нужны, всё можно за деньги достать, ваше благородие, всё! всё! Прикажите только фактору, он вам всё достанет, ваше благородие, всё! всё!

— Полно врать, жид.

— Ай! ай! — повторил Гиршель, встряхивая пейсиками.— Их благородие мне не верит... ай... ай... ай...— Жид закрыл глаза и медленно покачал головою направо и налево...— А я знаю, что́ господину офицеру угодно... знаю... уж я знаю!

Жид принял весьма плутовской вид...

— В самом деле?

Жид взглянул боязливо, потом нагнулся ко мне.

— Такая красавица, ваше благородие, такая!..— Гиршель опять закрыл глаза и вытянул губы.— Ваше благородие, прикажите... увидите сами... что теперь я

буду говорить, вы будете слушать... вы не будете верить... а лучше прикажите показать... вот как, вот что!

Я молчал и глядел на жида.

— Ну, так хорошо; ну, вот хорошо; ну, вот я вам покажу...— Тут Гиршель засмеялся и слегка потрепал меня по плечу, но тотчас же отскочил, как обожженный.

— А что ж, ваше благородие, задаточек?

— Да ты обманешь меня или покажешь мне какое-нибудь чучело.

— Ай, вай, что вы такое говорите? — проговорил жид с необыкновенным жаром и размахивая руками.— Как можно? Да вы... ваше благородие, прикажите тогда дать мне пятьсот... четыреста пятьдесят палок,— прибавил он поспешно...— Да вы прикажите...

В это время один из моих товарищей приподнял край палатки и назвал меня по имени. Я поспешно встал и бросил жиду червонец.

— Вецером, вецером,— пробормотал он мне вслед.

Признаюсь вам, господа, я дожидался вечера с некоторым нетерпением. В этот самый день французы сделали вылазку; наш полк ходил в атаку. Наступил вечер; мы все уселись вокруг огней... солдаты заварили кашу. Пошли толки. Я лежал на бурке, пил чай и слушал рассказы товарищей. Мне предложили играть в карты,— я отказался. Я был в волнении. Понемногу офицеры разошлись по палаткам; огни стали гаснуть; солдаты также разбрелись или заснули тут же; всё затихло. Я не вставал. Денщик мой сидел на корточках перед огнем и, как говорится, «удил рыбу». Я прогнал его. Скоро весь лагерь утих. Прошла рунда. Сменили часовых. Я всё лежал и ждал чего-то. Звезды выступили. Настала ночь. Долго глядел я на замиравшее пламя... последний огонек потух наконец. «Обманул меня проклятый жид»,— подумал я с досадой и хотел было приподняться...

— Ваше благородие...— пролепетал над самым моим ухом трепетный голос.

Я оглянулся: Гиршель. Он был очень бледен, заикался и пришепётывал.

— Пожалуйте-с в вашу палатку-с.

Я встал и пошел за ним. Жид весь съежился и осторожно выступал по короткой сырой траве. Я заметил в стороне неподвижную, закутанную фигуру.

Жид махнул ей рукой — она подошла к нему. Он с ней пошептался, обратился ко мне, несколько раз кивнул головой, и мы все трое вошли в палатку. Смешно сказать: я задыхался.

— Вот, ваше благородие,— прошептал с усилием жид,— вот. Она немножко боится теперь, она боится; но я ей сказал, что господин офицер хороший человек, прекрасный... А ты не бойся, не бойся,— продолжал он,— не бойся...

Закутанная фигура не шевелилась. Я сам был в страшном смущении и не знал, что сказать. Гиршель тоже семенил на месте, как-то странно разводил руками...

— Однако,— сказал я ему,— выдь-ка ты вон...

Гиршель как будто нехотя повиновался.

Я подошел к закутанной фигуре и тихо снял с ее головы темный капюшон. В Данциге горело: при красноватом, порывистом и слабом отблеске далекого пожара увидел я бледное лицо молодой жидовки. Ее красота меня поразила. Я стоял перед ней и смотрел на нее молча. Она не поднимала глаз. Легкий шорох заставил меня оглянуться. Гиршель осторожно высовывал голову из-под края палатки. Я с досадой махнул ему рукой... он скрылся.

— Как тебя зовут? — промолвил я наконец.

— Сара,— отвечала она, и в одно мгновенье сверкнули во мраке белки ее больших и длинных глаз и маленькие, ровные, блестящие зубки.

Я схватил две кожаные подушки, бросил их на землю и попросил ее сесть. Она скинула свой плащ и села. На ней был короткий, спереди раскрытый казакин с серебряными круглыми резными пуговицами и широкими рукавами. Густая черная коса два раза обвивала ее небольшую головку; я сел подле нее и взял ее смуглую, тонкую руку. Она немного противилась, но как будто боялась глядеть на меня и неровно дышала. Я любовался ее восточным профилем — и робко пожимал ее дрожащие, холодные пальцы.

— Ты умеешь по-русски?

— Умею... немного.

— И любишь русских?

— Да, люблю.

— Стало быть, ты меня тоже любишь?

— И вас люблю.

Я хотел было обнять ее, но она проворно отодвинулась.

— Нет, нет, пожалуйста, господин, пожалуйста.

— Ну, так посмотри на меня по крайней мере.

Она остановила на мне свои черные, пронзительные глаза и тотчас же с улыбкой отвернулась и покраснела.

Я с жаром поцеловал ее руку. Она посмотрела на меня исподлобья и тихонько засмеялась.

— Чему ты?

Она закрыла лицо рукавом и засмеялась пуще прежнего.

Гиршель появился у входа палатки и погрозил ей. Она замолчала.

— Пошел вон! — прошептал я ему сквозь зубы.— Ты мне надоел.

Гиршель не выходил.

Я достал из чемодана горсть червонцев, сунул их ему в руку и вытолкал его вон.

— Господин, дай и мне...— проговорила она.

Я ей кинул несколько червонцев на колени; она подхватила их проворно, как кошка.

— Ну, теперь я тебя поцелую.

— Нет, пожалуйста, пожалуйста,— пролепетала она испуганным и умоляющим голосом.

— Чего ж ты боишься?

— Боюсь.

— Да полно...

— Нет, пожалуйста.

Она робко посмотрела на меня, нагнула голову немножко набок и сложила руки. Я оставил ее в покое.

— Если хочешь... вот,— сказала она после некоторого молчанья и поднесла свою руку к моим губам.

Я не совсем охотно поцеловал ее. Сара опять рассмеялась.

Кровь меня душила. Я досадовал на себя и не знал, что делать. Однако, подумал я наконец, что я за дурак? Я опять оборотился к ней.

— Сара, послушай, я влюблен в тебя.

— Я знаю.

— Знаешь? И не сердишься? И сама меня любишь?

Сара покачала головой.

— Нет, отвечай мне как следует.

— А покажите-ка себя,— сказала она.

Я нагнулся к ней. Сара положила руки ко мне на плечи, начала разглядывать мое лицо, хмурилась, улыбалась... Я не выдержал и проворно поцеловал ее в щеку. Она вскочила и в один прыжок очутилась у входа палатки.

— Ну, какая же ты дикарка!

Она молчала и не трогалась с места.

— Подойди же ко мне...

— Нет, господин, прощайте. До другого разу.

Гиршель опять выставил свою курчавую головку, сказал ей два слова; она нагнулась и ускользнула, как змея.

Я выбежал из палатки вслед за нею, но не увидел ни ее, ни Гиршеля.

Целую ночь я не мог заснуть.

На другое утро мы сидели в палатке нашего ротмистра; я играл, но без охоты. Вошел мой денщик.

— Спрашивают вас, ваше благородие.

— Кто меня спрашивает?

— Жид спрашивает.

«Неужели Гиршель!» — подумал я. Я дождался конца талии, встал и вышел. Действительно, я увидел Гиршеля.

— Что,— спросил он меня с приятной улыбкой,— ваше благородие, довольны вы?

— Ах ты!.. (Тут полковник оглянулся.) Кажется, нет дам... впрочем, всё равно. Ах ты, мой любезный,— отвечал я ему,— да ты смеешься надо мной, что ли?

— А что-с?

— Как что-с? Еще ты спрашиваешь?

— Ай, ай, господин офицер, какой же вы,— проговорил Гиршель с укоризной, но не переставая улыбаться.— Девица молодая, скромная... Вы ее испугали, право испугали.

— Хороша скромность! а деньги-то она зачем взяла?

— А как же-с? Деньги дают-с, так как же не брать-с?

— Послушай, Гиршель, пусть она придет опять, я тебя не обижу... Только ты, пожалуйста, своей глупой рожи не показывай у меня в палатке и оставь нас в покое; слышишь?

У Гиршеля засверкали глазки.

— А что? нравится вам?

— Ну, да.

— Красавица! такой нет красавицы нигде. А денег мне теперь пожалуете?

— Возьми, только слушай: уговор лучше денег. Приведи ее да убирайся к чёрту. Я ее сам провожу домой.

— А нельзя, нельзя, никак нельзя-с,— торопливо возразил жид.— Ай, ай, никак нельзя-с. Я, пожалуй, буду ходить около палатки, ваше благородие; я, я, ваше благородие, отойду, пожалуй, немножко... я, ваше благородие, готов вам служить, я, пожалуй, отойду... что ж? я отойду.

— Ну, смотри же... Да приведи ее, слышишь?

— А ведь красавица? господин офицер, а? ваше благородие? красавица? а?

Гиршель нагибался и заглядывал мне в глаза.

— Хороша.

— Ну, так дайте же мне еще червончик...

Я бросил ему червонец; мы разошлись.

День минул наконец. Настала ночь. Я долго сидел один в своей палатке. На дворе было неясно. В городе пробило два часа. Я начинал уже ругать жида... Вдруг вошла Сара, одна. Я вскочил, обнял ее.. прикоснулся губами до ее лица... Оно было холодно как лед. Я едва мог различить ее черты... Я усадил ее, стал перед ней на колени, брал ее руки, касался ее стана... Она молчала, не шевелилась и вдруг громко, судорожно зарыдала. Я напрасно старался успокоить, уговорить ее... Она плакала навзрыд... Я ласкал ее, утирал ее слезы; она по-прежнему не противилась, не отвечала на мои расспросы и плакала,— плакала в три ручья. Сердце во мне перевернулось; я встал и вышел из палатки.

Гиршель точно из земли передо мною вынырнул.

— Гиршель,— сказал я ему,— вот тебе обещанные деньги. Уведи Сару.

Жид тотчас бросился к ней. Она перестала плакать и ухватилась за него.

— Прощай, Сара,— сказал я ей.— Бог с тобой, прощай. Когда-нибудь увидимся, в другое время.

Гиршель молчал и кланялся. Сара нагнулась, взяла мою руку, прижала ее к губам; я отвернулся...

Дней пять или шесть, господа, я всё думал о моей жидовке. Гиршель не являлся, и никто не видал его в лагере. По ночам спал я довольно плохо: мне всё ме-

рещились черные влажные глаза, длинные ресницы; мои губы не могли забыть прикосновенья щеки, гладкой и свежей, как кожица сливы. Послали меня со взводом на фуражировку в отдаленную деревеньку. Пока мои солдаты шарили по домам, я остался на улице и не слезал с коня. Вдруг кто-то схватил меня за ногу...

— Боже мой, Сара!

Она была бледна и взволнована.

— Господин офицер, господин... помогите, спасите: солдаты нас обижают... Господин офицер...

Она узнала меня и вспыхнула.

— А разве ты здесь живешь?

— Здесь.

— Где?

Сара указала мне на маленький, старенький домик. Я дал лошади шпоры и поскакал. На дворе домика безобразная, растрепанная жидовка старалась вырвать из рук моего длинного вахмистра Силявки три курицы и утку. Он поднимал свою добычу выше головы и смеялся; курицы кудахтали, утка крякала... Другие два кирасира вьючили лошадей своих сеном, соломой, мучными кулями. В самом доме слышались малороссийские восклицания и ругательства... Я крикнул на своих и приказал им оставить жидов в покое, ничего не брать у них. Солдаты повиновались; вахмистр сел на свою гнедую кобылу Прозерпину, или, как он называл ее, «Прожерпылу», и выехал за мной на улицу.

— Ну что,— сказал я Саре,— довольна ты мной?

Она с улыбкой посмотрела на меня.

— Где ты пропадала всё это время?

Она опустила глаза.

— Я к вам завтра приду.

— Вечером?

— Нет, господин, утром.

— Смотри же, не обмани меня.

— Нет... нет, не обману.

Я жадно глядел на нее. Днем она показалась мне еще прекраснее. Я помню, меня в особенности поразили янтарный, матовый цвет ее лица и синеватый отлив ее черных волос... Я нагнулся с лошади и крепко стиснул ее маленькую руку.

— Прощай, Сара... смотри, приходи же.

— Приду.

Она пошла домой; я приказал вахмистру догнать меня с командой — и поскакал.

На другой день я встал очень рано, оделся и вышел из палатки. Утро было чудесное; солнце только что подымалось, и на каждой былинке сверкал влажный багрянец. Я взошел на высокий бруствер и сел на краю амбразуры. Подо мной толстая чугунная пушка выставила в поле свое черное жерло. Я рассеянно смотрел во все стороны... и вдруг увидал шагах во ста скорченную фигуру в сером кафтане. Я узнал Гиршеля. Он долго стоял неподвижно на одном месте, потом вдруг отбежал немного в сторону, торопливо и боязливо оглянулся... крикнул, присел, осторожно вытянул шею и опять начал оглядываться и прислушиваться. Я очень ясно видел все его движенья. Он запустил руку за пазуху, достал клочок бумажки, карандаш и начал писать или чертить что-то. Гиршель беспрестанно останавливался, вздрагивал, как заяц, внимательно рассматривал окрестность и как будто срисовывал наш лагерь. Он не раз прятал свою бумажку, щурил глаза, нюхал воздух и снова принимался за работу. Наконец, жид присел на траву, снял башмак, запихал туда бумажку; но не успел он еще выпрямиться, как вдруг, шагах в десяти от него, из-за ската гласиса показалась усастая голова вахмистра Силявки и понемногу приподнялось от земли всё длинное и неуклюжее его тело. Жид стоял к нему спиной. Силявка проворно подошел к нему и положил ему на плечо свою тяжелую лапу. Гиршеля скорчило. Он затрясся, как лист, и испустил болезненный, заячий крик. Силявка грозно заговорил с ним и схватил его за́ ворот. Я не мог слышать их разговора, но, по отчаянным телодвижениям жида, по его умоляющему виду начал догадываться, в чем дело. Жид раза два бросался к ногам вахмистра, запустил руку в карман, вытащил разорванный клетчатый платок, развязал узел, достал червонец... Силявка с важностью принял подарок, но не переставал тащить жида за́ ворот. Гиршель рванулся и бросился в сторону; вахмистр пустился за ним в погоню. Жид бежал чрезвычайно проворно; его ноги, обутые в синие чулки, мелькали действительно весьма быстро; но Силявка после двух или трех «угонок» поймал присевшего жида, поднял и понес его на руках — прямо в лагерь. Я встал и пошел к нему навстречу.

— А! ваше благородие! — закричал Силявка,— лазутчика несу вам, лазутчика!..— Пот градом катился с дюжего малоросса.— Да перестань же вертеться, чёртов жид! да ну же... экой ты! Не то придавлю, смотри!

Несчастный Гиршель слабо упирался локтями в грудь Силявки, слабо болтал ногами... Глаза его судорожно закатывались...

— Что такое?— спросил я Силявку.

— А вот что, ваше благородие: извольте-ка снять с его правой ноги башмак,— мне неловко.— Он всё еще держал жида на руках.

Я снял башмак, достал тщательно сложенную бумажку, развернул ее и увидел подробный рисунок нашего лагеря. На полях стояло множество заметок, писанных мелким почерком на жидовском языке.

Между тем Силявка поставил Гиршеля на ноги. Жид раскрыл глаза, увидел меня и бросился передо мной на колени.

Я молча показал ему бумажку.

— Это что?

— Это — так, господин офицер. Это я так. Так...— Голос его перервался.

— Ты лазутчик?

Он не понимал меня, бормотал несвязные слова, трепетно прикасался моих колен...

— Ты шпион?

— Ай! — крикнул он слабо и потряс головой.— Как можно? Я — никогда; я совсем нет. Не можно; не есть возможно. Я готов. Я — сейчас. Я дам денег... я заплачу,— прошептал он и закрыл глаза.

Ермолка сдвинулась у него на затылок; рыжие, мокрые от холодного поту волосы повисли клочьями, губы посинели и судорожно кривились, брови болезненно сжались, щеки ввалились...

Солдаты нас обступили. Я сперва хотел было пугнуть порядком Гиршеля да приказать Силявке молчать, но теперь дело стало гласно и не могло миновать «сведения начальства».

— Веди его к генералу,— сказал я вахмистру.

— Господин офицер, ваше благородие! — закричал отчаянным голосом жид,— я не виноват; не виноват... Прикажите выпустить меня, прикажите...

— А вот его превосходительство разберет,— проговорил Силявка.— Пойдем.

— Ваше благородие! — закричал мне жид вслед,— прикажите! помилуйте!

Крик его терзал меня. Я удвоил шаги.

Генерал наш был человек немецкого происхождения, честный и добрый, но строгий исполнитель правил службы. Я вошел в небольшой, наскоро выстроенный его домик и в немногих словах объяснил ему причину моего посещения. Я знал всю строгость военных постановлений и потому не произнес даже слова «лазутчик», а постарался представить всё дело ничтожным и не стоящим внимания. Но, к несчастию Гиршеля, генерал исполнение долга ставил выше сострадания.

— Вы, молодой человек,— сказал он мне,— суть неопытный. Вы в воинском деле еще неопытны суть. Дело, о котором (генерал весьма любил слово: который) вы мне рапортовали, есть важное, весьма важное... А где же этот человек, который взят был? тот еврей? где же тот?

Я вышел из палатки и приказал ввести жида.

Ввели жида. Несчастный едва стоял на ногах.

— Да,— промолвил генерал, обратясь ко мне,— а где же план, который найден на сем человеке?

Я вручил ему бумажку. Генерал развернул ее, отодвинулся назад, прищурил глаза, нахмурил брови.

— Это уд-див-вит-тельно...— проговорил он с расстановкой.— Кто его арестовал?

— Я, ваше превосходительство! — резко брякнул Силявка.

— А! хорошо! хорошо!.. Ну, любезный мой, что ты скажешь в своем оправданье?

— Ва... ва... ваше превосходительство,— пролепетал Гиршель,— я... помилуйте... ваше превосходительство... не виноват... Спросите, ваше превосходительство, господина офицера... Я фактор, ваше превосходительство, честный фактор.

— Его следует допросить,— проговорил генерал вполголоса, важно качнув головой.— Ну, как же ты это, братец?

— Не виноват, ваше превосходительство, не виноват.

— Однако же это есть невероятно. Ты, как по-русски говорится, поделом взят, то есть на самих делах!

— Позвольте сказать, ваше превосходительство: я не виноват.

— Ты рисовал план? ты есть шпион неприятельский?

— Не я! — крикнул внезапно Гиршель,— не я, ваше превосходительство!

Генерал посмотрел на Силявку.

— Да врет же он, ваше превосходительство. Господин офицер сам из его башмака грамоту достал.

Генерал посмотрел на меня. Я принужден был кивнуть головой.

— Ты, любезный мой, есть неприятельский лазутчик... любезный мой...

— Не я... не я...— шептал растерявшийся жид.

— Ты уже доставлял сему подобные сведения и прежде неприятелю? Признавайся...

— Как можно!

— Ты, любезный мой, меня не будешь обманывать. Ты лазутчик?

Жид закрыл глаза, тряхнул головой и поднял полы своего кафтана.

— Повесить его,— проговорил выразительно генерал после некоторого молчания,— сообразно законов. Где господин Феодор Шликельман?

Побежали за Шликельманом, генеральским адъютантом. Гиршель позеленел, раскрыл рот, выпучил глаза. Явился адъютант. Генерал отдал ему надлежащие приказания. Писарь показал на миг свое тощее, рябое лицо. Два-три офицера с любопытством заглянули в комнату.

— Сжальтесь, ваше превосходительство,— сказал я генералу по-немецки, как умел,— отпустите его...

— Вы, молодой человек,— отвечал он мне по-русски,— я вам сказывал, неопытны, и посему прошу вас молчать и меня более не утруждать.

Гиршель с криком повалился в ноги генералу.

— Ваше превосходительство, помилуйте, не буду вперед, не буду, ваше превосходительство, жена у меня есть... ваше превосходительство, дочь есть... помилуйте...

— Что сделать!

— Винóват, ваше превосходительство, точно *естем* виноват... в первый раз, ваше превосходительство, в первый раз, поверьте!

— Других бумаг не доставлял?

— В первый раз, ваше превосходительство... Жена... дети... помилуйте...

— Но ты есть шпион.

— Жена... ваше превосходительство... дети...

Генерала покоробило, но делать было нечего.

— Сообразно законов повесить еврея,— проговорил он протяжно и с видом человека, принужденного скрепя сердце принести свои лучшие чувства в жертву неумолимому долгу,— повесить! Феодор Карлыч, прошу вас о сем происшествии написать рапорт, который...

В Гиршеле вдруг произошла страшная перемена. Вместо обыкновенного, жидовской натуре свойственного, тревожного испуга на лице его изобразилась страшная, предсмертная тоска. Он заметался, как пойманный зверок, разинул рот, глухо захрипел, даже запрыгал на месте, судорожно размахивая локтями. Он был в одном башмаке; другой позабыли надеть ему на ногу... кафтан его распахнулся... ермолка свалилась.

Все мы вздрогнули; генерал замолчал.

— Ваше превосходительство,— начал я опять,— простите этого несчастного.

— Нельзя. Закон повелевает,— возразил генерал отрывисто и не без волненья,— другим в пример.

— Ради бога...

— Господин корнет, извольте отправиться на свой пост,— сказал генерал и повелительно указал мне рукою на дверь.

Я поклонился и вышел. Но так как у меня собственно поста не было нигде, то я и остановился в недалеком расстоянии от генеральского домика.

Минуты через две явился Гиршель в сопровождении Силявки и трех солдат. Бедный жид был в оцепенении и едва переступал ногами. Силявка прошел мимо меня в лагерь и скоро вернулся с веревкой в руках. На грубом, но не злом его лице изображалось странное, ожесточенное сострадание. При виде веревки жид замахал руками, присел и зарыдал. Солдаты молча стояли около него и угрюмо смотрели в землю. Я приблизился к Гиршелю, заговорил с ним; он рыдал, как ребенок, и

даже не посмотрел на меня. Я махнул рукой, ушел к себе, бросился на ковер — и закрыл глаза...

Вдруг кто-то торопливо и шумно вбежал в мою палатку. Я поднял голову — и увидел Сару; на ней лица не было. Она бросилась ко мне и схватила меня за руки.

— Пойдем, пойдем, пойдем,— твердила она задыхающимся голосом.

— Куда? зачем? останемся здесь.

— К отцу, к отцу, скорее... спаси его... спаси!

— К какому отцу?..

— К моему отцу; его хотят вешать...

— Как! разве Гиршель...

— Мой отец... Я тебе всё растолкую потом,— прибавила она, отчаянно ломая руки,— только пойдем... пойдем...

Мы выбежали вон из палатки. В поле, на дороге к одинокой березе, виднелась группа солдат... Сара молча указала на нее пальцем...

— Стой,— сказал я вдруг,— куда же мы бежим? Солдаты меня не послушаются.

Сара продолжала тащить меня за собой... Признаюсь, у меня голова закружилась.

— Да послушай, Сара,— сказал я ей,— что толку туда бежать? Лучше я пойду опять к генералу; пойдем вместе; авось, мы упросим его.

Сара вдруг остановилась и как безумная посмотрела на меня.

— Пойми меня, Сара, ради бога. Я твоего отца помиловать не могу, а генерал может. Пойдем к нему.

— Да его пока повесят,— простонала она...

Я оглянулся. Писарь стоял невдалеке.

— Иванов,— крикнул я ему,— сбегай, пожалуйста, туда к ним: прикажи им подождать, скажи, что я пошел просить генерала.

— Слушаю-с...

Иванов побежал.

Нас к генералу не пустили. Напрасно я просил, убеждал, наконец даже бранился... напрасно бедная Сара рвала волосы и бросалась на часовых: нас не пустили.

Сара дико посмотрела кругом, схватила обеими руками себя за голову и побежала стремглав в поле, к отцу. Я за ней. На нас глядели с недоумением...

Мы подбежали к солдатам. Они стали в кружок и, представьте, господа! смеялись, смеялись над бедным Гиршелем! Я вспыхнул и крикнул на них. Жид увидел нас и кинулся на шею дочери. Сара судорожно схватилась за него.

Бедняк вообразил, что его простили... Он начинал уже благодарить меня... Я отвернулся.

— Ваше благородие,— закричал он и стиснул руки.— Я не прощен?

Я молчал.

— Нет?

— Нет.

— Ваше благородие,— забормотал он,— посмотрите, ваше благородие, посмотрите... ведь вот она, эта девица — знаете, она дочь моя.

— Знаю,— отвечал я и опять отвернулся.

— Ваше благородие,— закричал он,— я не отходил от палатки! Я ни за что...— Он остановился и закрыл на мгновенье глаза...— Я хотел ваших денежек, ваше благородие, нужно сознаться, денежек... но я ни за что...

Я молчал. Гиршель был мне гадок, да и она, его сообщница...

— Но теперь, если вы меня спасете,— проговорил жид шёпотом,— я прикажу — я... понимаете?.. всё... я уж на всё пойду...

Он дрожал, как лист, и торопливо оглядывался. Сара молча и страстно обнимала его.

К нам подошел адъютант.

— Господин корнет,— сказал он мне,— его превосходительство приказал арестовать вас. А вы...— Он молча указал солдатам на жида...— сейчас его...

Силявка подошел к жиду.

— Федор Карлыч,— сказал я адъютанту (с ним пришло человек пять солдат),— прикажите по крайней мере унести эту бедную девушку...

— Разумеется. Согласен-с.

Несчастная едва дышала. Гиршель бормотал ей на ухо по-жидовски...

Солдаты с трудом высвободили Сару из отцовских объятий и бережно отнесли ее шагов на двадцать. Но вдруг она вырвалась у них из рук и бросилась к Гиршелю... Силявка остановил ее. Сара оттолкнула его,

лицо ее покрылось легкой краской, глаза засверкали, она протянула руки.

— Так будьте же вы прокляты,— закричала она по-немецки,— прокляты, трижды прокляты, вы и весь ненавистный род ваш, проклятием Дафана и Авирона, проклятием бедности, бесплодия и насильственной, позорной смерти! Пускай же земля раскроется под вашими ногами, безбожники, безжалостные, кровожадные псы...

Голова ее закинулась назад... она упала на землю... Ее подняли и унесли.

Солдаты взяли Гиршеля под руки. Я тогда понял, почему смеялись они над жидом, когда я с Сарой прибежал из лагеря. Он был действительно смешон, несмотря на весь ужас его положения. Мучительная тоска разлуки с жизнью, дочерью, семейством выражалась у несчастного жида такими странными, уродливыми телодвижениями, криками, прыжками, что мы все улыбались невольно, хотя и жутко, страшно жутко было нам. Бедняк замирал от страху...

— Ой, ой, ой! — кричал он,— ой... стойте! я расскажу, много расскажу. Господин унтер-вахмистр, вы меня знаете. Я фактор, честный фактор. Не хватайте меня; постойте еще минутку, минуточку, маленькую минуточку постойте! Пустите меня: я бедный еврей. Сара... где Сара? О, я знаю! она у господина квартир-поручика (бог знает, почему он меня пожаловал в такой небывалый чин). Господин квартир-поручик! Я не отхожу от палатки. (Солдаты взялись было за Гиршеля... он оглушительно взвизгнул и выскользнул у них из рук.) Ваше превосходительство, помилуйте несчастного отца семейства! Я дам десять червонцев, пятнадцать дам, ваше превосходительство!.. (Его потащили к березе.) Пощадите! змилуйтесь! господин квартир-поручик! сиятельство ваше! господин обер-генерал и главный шеф!

На жида надели петлю... Я закрыл глаза и бросился бежать.

Я просидел две недели под арестом. Мне говорили, что вдова несчастного Гиршеля приходила за платьем покойного. Генерал велел ей выдать сто рублей. Сару я более не видал. Я был ранен; меня отправили в госпиталь, и когда я выздоровел, Данциг уже сдался,— и я догнал свой полк на берегах Рейна.

ПЕТУШКОВ

I

В 182... году в городе О... проживал поручик Иван Афанасьевич Петушков. Он происходил от бедных родителей, пяти лет остался круглым сиротой и попал на руки к опекуну. Имущества у него, по милости опекуна, не оказалось никакого; он перебивался пополам с грехом. Роста был он среднего, несколько сутуловат; лицо имел худое и покрытое веснушками, впрочем довольно приятное, волосы темно-русые, глаза серые, взгляд робкий; частые морщины покрывали его низкий лоб. Вся жизнь Петушкова прошла чрезвычайно однообразно; под сорок лет он был еще молод и неопытен, как ребенок. Знакомых он дичился, а с теми, на участь которых мог иметь влияние, обходился весьма кротко...

За людьми, осужденными судьбою на жизнь однообразную и невеселую, часто водятся разные привычки и потребности. Петушков по утрам, за чаем, любил кушать свежую белую булку. Без этого лакомства он жить не мог. Вот, в одно утро, слуга его, Онисим, подал ему на тарелке с синими цветочками вместо булки три темно-рыжих сухаря. Петушков тотчас же, с некоторым негодованьем, спросил слугу своего, что бы это такое значило?

— Булки все поразобравшись,— ответил ему Онисим, природный петербуржец, странной игрою случая занесенный в самую глушь южной России.

— Быть не может! — воскликнул Иван Афанасьевич.

— Поразобравшись,— повторил Онисим,— сегодня у предводителя завтрак, так оно всё туда, знаете, пошло.

Онисим провел рукой по воздуху и выставил правую ногу вперед.

Иван Афанасьевич прошелся по комнате, оделся и сам отправился в булочную. Это единственное в го-

роде О... заведение было учреждено лет десять тому назад заезжим немцем, в скором времени процвело и теперь еще процветало под начальством его вдовы, толстой бабы.

Петушков постучался у окошка. Толстая баба выставила в форточку свое болезненно пухлое и заспанное лицо.

— Булку пожалуйста,— с приятностью сказал Петушков.

— Вышли булки,— пропищала толстая баба.

— У вас нет булок?

— Нетути.

— Как же это? помилуйте. Я у вас каждый день беру булки и плачу аккуратно.

Баба молча посмотрела на него.

— Возьмите крендель,— сказала она, наконец, зевая,— или паплюху.

— Не хочу,— сказал Петушков и даже обиделся.

— Как угодно,— пробормотала баба и захлопнула форточку.

Ивана Афанасьевича разобрала сильная досада. В недоуменье отошел он на другую сторону улицы и предался весь, как дитя, своему неудовольствию.

— Господин!..— раздался довольно приятный женский голос,— господин!

Иван Афанасьевич поднял глаза. Из форточки булочной выглядывала девушка лет семнадцати и держала в руке булку. Лицо она имела полное, круглое, щеки румяные, глаза карие, небольшие, нос несколько вздернутый, русые волосы и великолепные плечи. Ее черты выражали доброту, лень и беспечность.

— Вот вам, сударь, булка,— сказала она, посмеиваясь,— я было взяла ее себе, да уж извольте, уступлю вам.

— Покорнейше благодарю. Позвольте-с...

Петушков начал шарить у себя в кармане.

— Не надо, не надо-с. Кушайте себе на здоровье.

Она затворила форточку.

Петушков пришел домой в совершенно приятном расположении духа.

— Вот, ты не достал булки,— сказал он своему Онисиму,— а я вот достал, видишь?..

Онисим горько усмехнулся.

В тот же день, вечером, Иван Афанасьевич, раздеваясь, спросил слугу своего:

— Скажи мне, братец, пожалуйста, что там у булочницы за девка, а?

Онисим посмотрел в сторону довольно мрачно и возразил: — А на что вам?

— Так,— сказал Петушков, собственноручно снимая сапоги.

— А ведь хороша! — снисходительно заметил Онисим.

— Да... недурна...— промолвил Иван Афанасьич, глядя тоже в сторону.— А как ее зовут, знаешь?

— Василисой.

— И ты ее знаешь?

Онисим помолчал несколько.

— Знаем-с.

Петушков разинул было рот, но повернулся на другой бок и заснул. Онисим вышел в переднюю, понюхал табаку и покрутил головой.

На другой день, рано поутру, Петушков велел подать себе одеться. Онисим принес ежедневный сюртук Ивана Афанасьича, сюртук старый, травяного цвета, с огромными полинявшими эполетами. Петушков долго, молча, поглядел на Онисима, потом приказал ему достать новый сюртук. Онисим не без удивленья повиновался. Петушков оделся, тщательно натянул на руки замшевые перчатки.

— Ты, братец,— проговорил он с некоторым замешательством,— не ходи сегодня в булочную. Я сам зайду... мне по дороге.

— Слушаю-с,— ответил Онисим так отрывисто, как будто кто-то толкнул его сзади.

Петушков отправился, дошел до булочной, постучался в окошко. Толстая баба отворила форточку.

— Пожалуйте булку,— медленно проговорил Иван Афанасьич.

Толстая баба выставила руку, обнаженную до самого плеча, более похожую на ляжку, чем на руку, и сунула ему горячий хлеб прямо под нос.

Иван Афанасьич постоял некоторое время под окошком, прошел по улице раза два, заглянул на двор и, наконец, устыдясь своего ребячества, вернулся домой с булкой в руке. Целый день ему было неловко, и даже

вечером он, против обыкновения, не пустился в разговор с Онисимом.

На другое утро уже Онисим отправился за булкой.

II

Прошло несколько недель. Иван Афанасьич совершенно позабыл о Василисе и по-прежнему дружелюбно беседовал с своим слугою. В одно прекрасное утро зашел к нему господин Бублицын, развязный и очень любезный молодой человек. Правда, он иногда сам не знал, что такое говорил, и весь был, как говорится, набекрень, но все-таки слыл за весьма приятного собеседника. Он курил много, с лихорадочной жадностью, поднимая брови, втягивая грудь, курил с озабоченным видом, или, лучше сказать, с таким видом, что вот дайте ему только в последний раз затянуться, он вам тотчас и скажет неожиданную новость; даже иногда мычал и махал рукой, торопливо досасывая чубук, как будто внезапно вспомнил что-то необыкновенно забавное или важное, раскрывал рот, кольцеобразно выпускал дым и произносил слова самые обыкновенные, а иногда даже вовсе безмолвствовал. Поболтавши немного с Иваном Афанасьичем о соседях, лошадях, помещичьих дочках и прочих поучительных предметах, г-н Бублицын вдруг заморгал глазами, взбил себе хохол и с лукавой улыбкой подошел к необыкновенно тусклому зеркалу, единственному украшению комнаты Ивана Афанасьича.

— А ведь надо правду сказать,— промолвил он, поглаживая свои бурые бакенбарды,— у нас здесь есть мещаночки такие, что куда твоя Венера мединцейнская... Например, видали вы Василису булочницу?..— Г-н Бублицын затянулся.

Петушков вздрогнул.

— Впрочем,— продолжал Бублицын, исчезая в облаке дыма,— что́ я у вас спрашиваю! Ведь вы такой человек, Иван Афанасьич! — Бог знает, чем вы занимаетесь, Иван Афанасьич.

— Тем же, чем и вы,— не без досады и нараспев проговорил Петушков.

— Ну, нет, Иван Афанасьич, нет... Что вы это?

— Однако?

— Ну, да уж что, Иван Афанасьич!

— Однако? однако?

Бублицын поставил трубку в угол и начал рассматривать свои не совсем красивые сапоги. Петушков почувствовал смущение.

— Так-то, Иван Афанасьич, так-то,— продолжал Бублицын, как бы щадя его.— А про Василису булочницу вам доложу: очень, о-чень хороша... о-чень.

Г-н Бублицын расширил ноздри и медленно погрузил руки в карманы.

Странное дело! Иван Афанасьич почувствовал нечто вроде ревности. Он начал двигаться на стуле, некстати расхохотался, покраснел вдруг, зевнул и, зевая, скривил немного нижнюю челюсть. Бублицын выкурил еще три трубки и удалился. Иван Афанасьич подошел к окну, вздохнул и велел подать себе напиться.

Онисим поставил стакан квасу на стол, угрюмо взглянул на барина, прислонился к двери и потупил голову.

— Что ты так задумался? — спросил его барин ласково и не без страха.

— Что задумался? — возразил Онисим,— что задумался... Всё об вас.

— Обо мне!

— Разумеется, о вас.

— А что ж ты такое думаешь?

— А я вот что думаю. (Тут Онисим понюхал табаку.) Стыдно вам, сударь, стыдно.

— Что такое стыдно?

— Что такое стыдно... Да вы посмотрите на господина Бублицына, Иван Афанасьич... Чем не молодец? помилуйте.

— Я тебя, братец, не понимаю.

— Не понимаете... Нет, вы меня понимаете.

Онисим помолчал.

— Господин Бублицын — господин настоящий, как следует быть господин. А вы-то что, Иван Афанасьич, вы-то что? помилуйте.

— Ну, и я господин.

— Господин, господин...— возразил Онисим, приходя в азарт.— Какой вы господин? Вы, сударь, просто мокрая курица, Иван Афанасьич, помилуйте. Сидите себе сиднем целый божий день... много этак высидите.

В карты вы не играете, с господами не водитесь, а что уж насчет того...

Онисим махнул рукой.

— Ну, однако ж... ты уж, кажется, слишком...— проговорил Иван Афанасьич, с замешательством хватаясь за чубук.

— Какое слишком, Иван Афанасьич, какое слишком! Вы сами посудите. Ведь вот опять насчет Василисы... Ну, почему бы вам...

— Да ты что думаешь, Онисим? — тоскливо перебил его Петушков.

— Я знаю, что я думаю.Что ж? и с богом! Да где вам? Иван Афанасьич, помилуйте, судите сами... Ведь вы...

Иван Афанасьич встал.

— Ну, ну, пожалуйста, там уж ты молчи,— сказал он проворно и как бы ища глазами Онисима.— Я ведь тоже, знаешь... я... что уж ты в самом деле? Дай-ка мне лучше одеться.

Онисим медленно стащил с Ивана Афанасьича замасленный татарский шлафрок, с отеческой грустью поглядел на барина, покачал головой, напялил на него сюртук и принялся бить его по спине веником.

Петушков вышел и, после непродолжительного странствования по кривым улицам города, очутился перед булочной. Странная улыбочка играла на его губах.

Не успел он взглянуть раза два на слишком известное «заведение», как вдруг калитка отворилась и выбежала Василиса, с желтым платочком на голове и в душегрейке, накинутой, по русскому обычаю, на плечи. Иван Афанасьич тотчас же нагнал ее.

— Куда изволите идти, голубушка?

Василиса быстро взглянула на него, засмеялась, отвернулась и закрыла себе губы рукой.

— Чай, за покупочкой? — спросил Иван Афанасьич, семеня ножками.

— Какие любопытные,— возразила Василиса.

— Отчего же любопытный? — сказал Петушков, торопливо размахивая руками.— Я совсем напротив... Так, знаете ли,— прибавил он поспешно, как будто эти три слова совершенно объяснили его мысль.

— А булочку мою скушали?

— Непременно-с,— возразил Петушков,— с особенным удовольствием.

Василиса продолжала идти да посмеиваться.

— Приятная сегодня погода,— продолжал Иван Афанасьич,— изволите часто гулять?

— Гуляем-с.

— Ах, как бы мне было желательно...

— Чего-с?

Девушки у нас выговаривают слово «чего-с» очень странно, как-то особенно резко и быстро... Куропатки так кричат по зарям.

— Погулять-с, знаете ли, с вами... за городом, что ли...

— Как можно!

— Отчего же не можно?

— Ах, какой вы, право!

— Но, позвольте...

Тут поравнялся с ними купчик-попрыгунчик с козлиной бородкой и пальцами, растопыренными в виде рогульки, чтобы рукава не сползали, в долгополом синеватом кафтане и теплом картузе, похожем на распухший арбуз. Петушков, ради приличия, отстал немного от Василисы, но тотчас же нагнал ее снова.

— Так как же? насчет прогулки-с?

Василиса лукаво посмотрела на него и опять засмеялась.

— Вы здешний?

— Здешний-с.

Василиса провела рукой по волосам и пошла потише. Иван Афанасьич улыбнулся и, внутренно замирая от робости, нагнулся немного набок и трепетной рукой обвил стан красавицы.

Василиса вскрикнула.

— Полноте, бесстыдники, на улицы.

— Ну, ну, ну, чего,— забормотал Иван Афанасьич.

— Полноте, говорят вам, на улицы... Не обиждайте.

— А... а... ах, какие же вы,— проговорил Петушков с укоризной, а сам покраснел до ушей.

Василиса остановилась.

— Ступайте себе, господин, ступайте...

Петушков повиновался. Он пришел домой, целый час сидел неподвижно на стуле и даже трубки не курил. Наконец, он достал листок сероватой бумаги, очинил

перо и после долгих соображений написал следующее письмо:

«Милостивая государыня
Василиса Тимофеевна!

Будучи от природы человек необидчивый, как же бы мог я вам причинить неприятность. Если же я и действительно перед вами виноват, то именно скажу вам: намеки г-на Бублицына меня к тому способствовали, чего я никак не ожидал. А впрочем, покорнейше прошу вас на меня не гневаться. Я человек чювствительный и всякую ласку весьма чювствую и благодарен. Не гневайтесь на меня, Василиса Тимофеевна, прошу вас покорнейше. Впрочем, с моим почтением пребываю

Ваш покорнейший слуга

Иван Петушков».

Онисим отнес это письмо по адресу.

III

Прошло две недели... Онисим каждое утро, по обыкновению, ходил в булочную. Вот однажды Василиса выбежала к нему навстречу.

— Здравствуйте, Онисим Сергеич.

Онисим принял мрачный вид и сердито проговорил:

— Здорово.

— Что ж это вы никогда к нам не зайдете, Онисим Сергеич?

Онисим угрюмо взглянул на нее.

— Что я зайду? Чаем небось не напоишь.

— Напою, Онисим Сергеич, напою. Только вы приходите. И с ромом.

Онисим медленно улыбнулся.

— Что ж, пожалуй, коли так.

— Когда же, батюшка, когда?

— Когда... Эх, ты...

— Сегодня, вечерком, угодно? заверните.

— Пожалуй, заверну,— возразил Онисим и поплелся домой ленивым и развалистым шагом.

В тот же день, вечером, в маленькой комнатке, подле постели, покрытой полосатым пуховиком, за неуклю-

жим столиком сидел Онисим напротив Василисы. Тускло-желтый, огромный самовар шипел и сипел на столе; горшок ерани торчал перед окошком; в другом углу, подле двери, боком стоял безобразный сундук с крошечным висячим замком; на сундуке лежала рыхлая груда разного старого тряпья; на стенах чернели замасленные картинки. Онисим и Василиса кушали чай молча, глядя в лицо друг другу, долго вертели в руках кусочки сахару, как бы нехотя прикусывали, жмурились, щурились и с свистом втягивали сквозь зубы желтоватую горячую водицу. Наконец, они опорожнили весь самовар, опрокинули кверху дном круглые чашечки с надписями — на одной: «за удоблетворение», а на другой: «невинно пронзила», крякнули, отерли пот и начали помаленьку разговаривать.

— Что, Онисим Сергеич, ваш барин...— спросила Василиса и не договорила.

— Что барин...— возразил Онисим и подперся рукой.— Известно что. А вам на что?

— Так-с,— отвечала Василиса.

— А ведь он (тут Онисим осклабился), ведь он вам, кажись, письмо писал?

— Писали-с.

Онисим покачал головой с необыкновенно самодовольным видом.

— Вишь, вишь,— проговорил он хрипло и не без улыбки,— ну, а что такое он писал вам?

— А разное написал. Что, дескать, я, сударыня Василиса Тимофеевна, так; что вы не думайте; что вы, сударыня, не обиждайтесь; и много такого написал... А что,— прибавила она, помолчав немного,— он у вас каков?

— Живет,— равнодушно отвечал Онисим.

— Серчает?

— Куда ему! Нет, не серчает. А что, он вам ндравится?

Василиса потупилась и засмеялась в рукав.

— Ну,— проворчал Онисим.

— Да на что вам, Онисим Сергеич?

— Да ну же, говорят.

— Что ж,— проговорила наконец Василиса,— они... барин. Разумеется... я... да и они уж... вы сами знаете...

— Как не знать?— важно заметил Онисим.

— Вам ведь, наконец, известно, Онисим Сергеич...

Василиса видимо приходила в волнение.

— Вы скажите ему-то, вашему-то барину, что я, дескать, на него не сержусь, а что вот, мол...

Она заикнулась.

— Понимаем-с,— возразил Онисим и медленно поднялся со стула.— Понимаем-с. Спасибо за угощенье.

— Вперед милости просим.

— Ну, хорошо, хорошо.

Онисим приблизился к двери. Толстая баба вошла в комнату.

— Здравствуйте, Онисим Сергеич,— сказала она нараспев.

— Здравствуйте, Прасковья Ивановна,— отвечал он также нараспев.

Оба постояли немного друг перед другом.

— Ну, прощайте, Прасковья Ивановна,— проговорил Онисим нараспев.

— Ну, прощайте, Онисим Сергеич,— отвечала она также нараспев.

Онисим пришел домой. Барин его лежал на постели и глядел в потолок.

— Где ты был?

— Где был?.. (За Онисимом водилась привычка с укоризной повторять последние слова всякого вопроса.) По вашему же делу ходил.

— По какому делу?

— А вы не знаете?.. К Василисе ходил.

Петушков замигал глазами и завертелся на постели.

— То-то вот и есть,— заметил Онисим и хладнокровно понюхал табаку,— то-то вот и есть. Вы всегда так. Василиса вам кланяется.

— Неужто?

— Неужто? То-то же вот и есть. Неужто!.. Велела сказать, что, дескать, отчего его не видать? отчего, дескать, не ходит?

— Ну, а ты что?

— Что я? Я ей сказал: глупа же ты, я ей сказал,— станут к тебе такие люди ходить! Нет, ты приди сама, я ей сказал.

— Ну, а она что?

— Она что?.. Она... ничего.
— То есть, однако, как же ничего?
— Известно, ничего.
Петушков помолчал немного.
— Ну, и придет?
Онисим покачал головой.
— Придет!.. Больно, сударь, прытки. Придет!.. Нет, это уж вы того.
— Да ведь ты сам говорил, что того...
— Мало ли чего!
Петушков замолчал опять.
— Так как же, однако ж, братец?
— Как же?.. Вам лучше знать: вы барин.
— Ну нет, что уж тут...
Онисим самодовольно покачался взад и вперед.
— Вы Прасковью Ивановну знаете? — спросил он, наконец.
— Нет. Какую Прасковью Ивановну?
— А булочницу?
— А, да, булочницу. Видал; толстая такая.
— Важная женщина. Она той-то, вашей-то, родная тетка.
— Тетка?
— А вы не знали?
— Нет, не знал.
— Эх...
Онисим из уважения к барину не досказал своей мысли.
— Вот бы вам с кем познакомиться.
— Что ж, я, пожалуй, не прочь.
Онисим одобрительно поглядел на Ивана Афанасьича.
— Но для чего собственно мне с ней знакомиться? — спросил Петушков.
— Эвона! — спокойно возразил Онисим.
Иван Афанасьич встал, походил по комнате, остановился перед окном и, не оборачивая головы, с некоторым замешательством произнес:
— Онисим!
— Чего-с?
— А не будет ли мне несколько, знаешь, неловко этак с бабой, а?
— Что ж, как знаете.

— Впрочем, я это только так. Товарищи могут заметить; всё оно как-то... Впрочем, я подумаю. Дай-ка мне трубку... Так что ж она,— прибавил он после небольшого молчания,— Василиса-то, говорит, что, дескать...

Но Онисим не желал продолжать разговор и принял обычный угрюмый вид.

IV

Знакомство Ивана Афанасьича с Прасковьей Ивановной началось следующим образом. Дней через пять после разговора с Онисимом Петушков отправился вечером в булочную. «Ну,— думал он, отпирая скрипучую калитку,— не знаю, что-то будет...»

Он взошел на крыльцо, отворил дверь. Пребольшая хохлатая курица с оглушительным криком бросилась ему прямо под ноги и долго потом в волнении бегала по двору. Из соседней комнаты выглянуло изумленное лицо толстой бабы. Иван Афанасьич улыбнулся и закивал головой. Баба ему поклонилась. Крепко стиснув шляпу, Петушков подошел к ней. Прасковья Ивановна, по-видимому, ожидала почетного посещенья: платье ее было застегнуто на все крючки. Петушков сел на стул; Прасковья Ивановна села против него.

— Я к вам, Прасковья Ивановна, более насчет...— проговорил, наконец, Иван Афанасьич — и замолк. Судороги подергивали его губы.

— Милости просим, батюшка,— отвечала Прасковья Ивановна нараспев и с поклоном.— Всякому гостю рады.

Петушков немного приободрился.

— Я давно, знаете, желал иметь удовольствие с вами познакомиться, Прасковья Ивановна.

— Много благодарны, Иван Афанасьич.

Настало молчанье. Прасковья Ивановна утирала себе лицо пестрым платком; Иван Афанасьич с большим вниманием глядел куда-то вбок. Обоим было довольно неловко. Впрочем, в купеческом и мещанском быту, где даже старинные приятели не сходятся без особенных угловатых ужимок, некоторая напряженность в обращении гостей и хозяина не только не кажется никому странной, но, напротив, почитается совершенно при-

личной и необходимой, в особенности при первом свиданье. Прасковье Ивановне понравился Петушков. Он держал себя чинно и добропорядочно, и притом всё же был человек не бесчиновный!

— Я, матушка Прасковья Ивановна, очень люблю ваши булки,— сказал он ей.

— Тэк-с, тэк-с.

— Очень хороши, знаете, очень даже.

— Кушайте, батюшка, на здоровье, кушайте. С нашим удовольствием.

— Я и в Москве не едал таких.

— Тэк-с, тэк-с.

Опять настало молчанье.

— А скажите, Прасковья Ивановна,— начал Иван Афанасьич,— это у вас ведь, кажется, племянница живет?

— Родная племянница, батюшка.

— Что ж она, как... у вас?..

— Сирота, так и держим-с.

— И что ж она, работница?

— Ра-аботница, батюшка, ра-аботница. Такая работница, что и... и... и!.. Как же-с, как же-с.

Иван Афанасьич почел за приличное не распространяться более насчет племянницы.

— Это у вас в клетке какая птица, Прасковья Ивановна?

— А бог ее знает. Птица.

— Гм! Ну, а впрочем, прощайте, Прасковья Ивановна.

— Просим прощения вашему благородию. В другой раз милости просим. Чайку откушать.

— С особенным удовольствием, Прасковья Ивановна.

Петушков вышел. На крыльце ему попалась Василиса. Она засмеялась.

— Куда вы это ходить изволили, голубчик мой? — сказал Петушков не без удальства.

— Ну, полноте, полноте, балагур, шутник вы этакой.

— Хе, хе. А письмецо мое изволили получить?

Василиса спрятала нижнюю часть лица в рукав и ничего не отвечала.

— И на меня уже не гневаетесь?

— Василиса! — задребезжал голос тетки,— а, Василиса!

Василиса вбежала в дом. Петушков отправился восвояси. Но с того дня он часто стал ходить к булочнице, и недаром. Иван Афанасьич, говоря слогом возвышенным, достиг своей цели. Обыкновенно достижение цели охлаждает людей, но Петушков, напротив, с каждым днем более и более разгорался. Любовь — дело случайное, существует сама по себе, как искусство, и не нуждается в оправданьях, как природа, сказал какой-то умный человек, который сам никогда не любил, но отлично рассуждал о любви. Петушков страстно привязался к Василисе. Он был счастлив вполне. Его душа согрелась. Понемногу перетащил он весь свой скарб, по крайней мере все чубуки свои, к Прасковье Ивановне и по целым дням сидел у ней в задней комнате. Прасковья Ивановна брала с него за обед деньги и пила его чай, следовательно, не жаловалась на его присутствие. Василиса привыкла к нему, работала, пела, пряла при нем, иногда молвила с ним слова два; Петушков поглядывал на нее, покуривал трубочку, покачивался на стуле, посмеивался и в свободные часы играл с нею и с Прасковьей Ивановной в дурачки. Иван Афанасьич был счастлив... Но на земле нет ничего совершенного, и как ни малы требованья человека, судьба никогда вполне не удовлетворит его, даже испортит дело, если можно... Ложка дегтю попадет-таки в бочку меду! Иван Афанасьич испытал это на себе. Во-первых, со времени своего переселения к Василисе Петушков еще более раззнакомился с своими товарищами. Он видал их только в необходимых случаях и тут, для избежания намеков и насмешек (что, впрочем, не всегда ему удавалось), принимал отчаянно суровый и сосредоточенно запуганный вид зайца, который барабанит посреди фейерверка. Во-вторых, Онисим не давал ему покою, потерял всякое к нему уважение, ожесточенно преследовал, стыдил его. В-третьих, наконец... Увы! Читайте далее, благосклонный читатель.

V

Однажды Петушков (которому, по вышеозначенным причинам, вне дома Прасковьи Ивановны приходилось плохо) сидел в задней, Василисиной, комнате и хлопо-

тал над каким-то доморощенным снадобьем, не то вареньем, не то настойкой. Хозяйки не было дома. Василиса сидела в булочной и попевала песенку.

Постучались в форточку. Василиса встала, подошла к окошку, слегка вскрикнула, засмеялась и начала с кем-то перешёптываться. Вернувшись на место, она вздохнула и принялась петь громче прежнего.

— С кем ты это разговаривала?— спросил ее Петушков.

Василиса продолжала «ломать калину».

— Василиса! слышишь? а, Василиса?

— Что вам?

— С кем ты разговаривала?

— А вам на что?

— Да так.

Петушков вышел из задней комнаты в пестром архалуке, с засученными рукавами и с ливером в руках.

— А с хорошим приятелем,— отвечала Василиса.

— С каким хорошим приятелем?

— А с Петром Петровичем.

— С Петром Петровичем?.. С каким Петром Петровичем?

— А он тоже ваш брат. Прозвище такое мудреное.

— Бублицын?

— Ну да, да, Петр Петрович.

— И ты его знаешь?

— Еще бы! — возразила Василиса, качнув головой.

Петушков молча прошелся раз десять по комнате.

— Послушай, Василиса,— сказал он, наконец,— то есть ты как его знаешь?

— Как знаю?.. Знаю... Он барин такой хороший.

— Как, однако ж, хороший? как хороший? как хороший?

Василиса посмотрела на Ивана Афанасьевича.

— Хороший,— проговорила она медленно и с недоумением.— Известно какой.

Петушков закусил губы и начал опять ходить по комнате.

— О чем же ты с ним разговаривала? а?

Василиса улыбнулась и потупилась.

— Говори же, говори, говори, говорят тебе, говори!

— Какой вы сегодня сердитый,— заметила Василиса.

Петушков молчал.

— Ну, нет, Василиса,— начал он, наконец,— нет, я сердиться не буду... Ну, скажи же мне, о чем же вы говорили?

Василиса засмеялась.

— Такой, право, шутник этот Петр Петрович!

— А что?

— Уж такой!

Петушков опять помолчал.

— Василиса, ты ведь любишь меня? — спросил он ее.

— Ну, и вы туда же!

У бедного Петушкова защемило на сердце. Вошла Прасковья Ивановна. Сели обедать. После обеда Прасковья Ивановна отправилась на полати. Сам Иван Афанасьич прилег на печи, повертелся и заснул. Осторожный скрип разбудил его. Иван Афанасьич приподнялся, оперся на локоть, смотрит: дверь отворена. Он вскочил — Василисы нет. Он на двор — и на дворе ее нету; на улицу — глядь туда, сюда: Василисы не видать. Без шапки пробежал он до самого рынка: нет, не видать Василисы. Медленно вернулся он в булочную, взлез на печь, повернулся лицом к стене. Тяжело ему стало. Бублицын... Бублицын... это имя так и звучало у него в ушах.

— Что с тобой, батюшка? — спросила его сонливым голосом Прасковья Ивановна.— Чего охаешь?

— Ничего, матушка, так. Ничего. Давит что-то.

— Грибы,— пролепетала Прасковья Ивановна,— всё грибы. О господи, помилуй нас, грешных!

Час прошел, другой — Василисы всё нет. Петушков двадцать раз порывался встать и двадцать раз с тоской забивался под тулуп... Наконец, однако ж, он слез с печи и хотел было домой пойти и на двор уже вышел, да вернулся. Прасковья Ивановна встала. Работник Лука, черный, как жук, хотя и булочник, заложил хлебы в печь. Петушков опять вышел на крыльцо и задумался. Проживающий на дворе козел подобрался к нему и слегка, дружелюбно толкнул его рогами. Петушков посмотрел на него и, бог знает почему, сказал: «Кысь, кысь». Вдруг низенькая калитка тихо распахнулась и появилась Василиса. Иван Афанасьич отпра-

вился к ней прямо навстречу, взял ее за руку и довольно хладнокровно, но решительно сказал ей:

— Ступай за мной.

— Да позвольте, Иван Афанасьич... я...

— Ступай за мной,— повторил он.

Она повиновалась.

Петушков привел ее к себе на квартиру. Онисим, по обыкновению, спал врастяжку. Иван Афанасьич разбудил его, велел зажечь свечку. Василиса подошла к окошку и молча села. Пока Онисим возился с огнем в передней, Петушков неподвижно стоял у другого окна и глядел на улицу. Вошел Онисим, с свечкой в руках, начал было ворчать... Иван Афанасьич быстро обернулся.

— Ступай вон,— сказал он ему.

Онисим остановился посреди комнаты...

— Ступай вон сейчас, — повторил Петушков грозно.

Онисим посмотрел на барина и вышел.

Иван Афанасьич закричал ему вслед:

— Вон, совсем вон. Из дому. Придешь через два часа.

Онисим убрался.

Петушков дождался, пока стукнула калитка, и тотчас же подошел к Василисе.

— Где ты была?

Василиса смешалась.

— Где ты была? говорят тебе,— повторил он.

Василиса посмотрела кругом...

— Тебе я говорю... Где ты была?

И Петушков поднял было руку...

— Не бейте меня, Иван Афанасьич, не бейте...— с испугом пролепетала Василиса.

Петушков отвернулся.

— Бить тебя... Нет! я тебя бить не стану. Бить тебя? Извини, извини, голубушка. Бог с тобой. Когда я думал, что ты меня любишь, когда я... когда...

Иван Афанасьич умолк. Он задыхался.

— Слушай, Василиса,— сказал он наконец,—я, ты знаешь, человек добрый; ведь ты знаешь, Василиса, знаешь?

— Знаю,— проговорила она, запинаясь.

— Я никому зла не делаю, никому, никому на свете.

И никого не обманываю. Зачем же ты меня обманываешь?

— Да я вас не обманываю, Иван Афанасьич.

— Не обманываешь? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, говори же, где ты была?

— Я ходила к Матрене.

— Врешь!

— Ей-богу, к Матрене. Вы спросите у ней, коли мне не верите.

— А Буб... ну, как его... чёрта этого видела?

— Видела.

— Видела? Видела? а! видела?

Петушков побледнел.

— Так ты с ним, поутру-то, у окошка сговаривалась... а? а?

— Они меня просили прийти.

— А ты и пошла... Спасибо, матушка, спасибо, родная! — Петушков поклонился Василисе в пояс.

— Да, Иван Афанасьич, вы, может, думаете...

— Уж ты бы лучше не говорила! Да и я, дурак, хорош. Чего раскричался? Да ты, пожалуй, с кем там хочешь знайся. Мне до тебя дела нет. Вот еще! Я тебя и знать-то не хочу.

Василиса встала.

— Воля ваша, Иван Афанасьич.

— Куда ты идешь?

— Да ведь вы сами...

— Я тебя не прогоняю,— перебил ее Петушков.

— Нет уж, Иван Афанасьич... Что ж уж мне у вас оставаться?..

Петушков дал ей дойти до двери.

— Так ты уходишь, Василиса?

— Вы меня всё обижаете...

— Я тебя обижаю! Бога ты не боишься, Василиса! Когда же я тебя обижал? Ну, нет, нет, скажи, когда?

— Да как же? Вот и теперь чуть меня не побили.

— Василиса, грешно тебе. Право, грешно!

— И еще попрекали, что я, дескать, с тобой знаться не хочу. Я, дескать, барин.

Иван Афанасьич начал молча ломать себе руки. Василиса дошла до середины комнаты.

— Что ж? Бог с вами, Иван Афанасьич. Я сама по себе, а вы сами по себе...

— Полно, Василиса, полно,— перебил ее Петушков.— Ты лучше рассуди, посмотри на меня. Ведь я на себя не похож. Ведь я сам не знаю, что говорю... Хотя бы ты меня пожалела.

— Вы меня всё обижаете, Иван Афанасьич...

— Эх, Василиса! кто прошлое помянет, тому глаз вон. Не правда ли? Ведь ты на меня не сердишься, не правда ли?

— Вы меня всё обижаете,— повторяла Василиса.

— Не буду, душа, не буду. Прости меня, старого человека. Я вперед уже не буду никогда. Ну, простила меня, что ли?

— Бог с вами, Иван Афанасьич.

— Ну, засмейся, засмейся...

Василиса отвернулась.

— Засмеялась, душа, засмеялась! — закричал Петушков и запрыгал на месте, как ребенок...

VI

На другой день Петушков, по обыкновению, отправился в булочную. Всё пошло по-прежнему. Но в сердце у него засела заноза. Он уже не так часто посмеивался и иногда задумывался. Настало воскресенье. У Прасковьи Ивановны болела поясница; она не слезала с полатей; через силу сходила к обедне. После обедни Петушков позвал Василису в заднюю комнатку. Она всё утро жаловалась на скуку. Судя по выражению лица Ивана Афанасьича, в его голове вертелась мысль необыкновенная и для него самого неожиданная.

— Сядь-ка ты вот здесь, Василиса,— сказал он ей,— а я тут сяду. Мне нужно с тобой поговорить маленько.

Василиса села.

— Скажи мне, Василиса, ты писать умеешь?

— Писать?

— Да, писать.

— Нет, не умею.

— А читать?

— И читать не умею.

— А кто ж тебе письмо-то мое прочитал?

— Дьячок.

Петушков помолчал.

— А хотела бы ты знать грамоте?
— Да на что нам грамоте знать, Иван Афанасьич?
— Как на что? Книги можно читать.
— А в книгах-то что стоит?
— Всё хорошее... Послушай, хочешь, я тебе принесу книжку?
— Да ведь я читать не умею, Иван Афанасьич.
— Я буду тебе читать.
— Да ведь, чай, скучно?
— Как можно! скучно! Напротив, оно против скуки хорошо.
— Разве сказки читать будете?
— А вот увидишь завтра.

Петушков к вечеру возвратился домой и начал рыться у себя в ящиках. Нашел он несколько разрозненных томов «Библиотеки для чтения», штук пять серых московских романов, арифметику Назарова, детскую географию с глобусом на заглавном листе, вторую часть истории Кайданова, два сонника, месяцеслов за 1819-й год, два нумера «Галатеи», «Наталью Долгорукую» Козлова и первую часть «Рославлева». Долго думал он, что бы выбрать? и, наконец, решился взять поэму Козлова и «Рославлева».

На другой день Петушков поспешно оделся, сунул обе книжонки под лацкан сюртука, пришел в булочную и, как только улучил свободное время, усадил Василису и начал читать ей роман Загоскина. Василиса сидела неподвижно, сперва улыбалась, потом как будто призадумалась... потом нагнулась немного вперед; глаза ее съежились, рот слегка раскрылся, руки упали на колени: она задремала. Петушков читал скоро, невнятно и глухим голосом,— поднял глаза...

— Василиса, ты спишь?

Она встрепенулась, потерла себе лицо и потянулась. Петушкову досадно стало на нее и на себя...

— Скучно,— лениво проговорила Василиса.
— Послушай, хочешь, я тебе стихи почитаю?
— Как?
— Стихи... хорошие стихи.
— Нет, уж будет, право.

Петушков проворно достал поэму Козлова, вскочил, прошелся по комнате, стремительно подбежал к Василисе и принялся читать. Василиса закинула голову на-

зад, растопырила руки, вгляделась в лицо Петушкова — и вдруг залилась звонким и резким хохотом... так и покатилась.

Иван Афанасьич с досадой швырнул книгу на пол. Василиса продолжала хохотать.

— Ну, чему ты смеешься, глупая?

Василиса заливалась пуще прежнего.

— Смейся, смейся,— ворчал Петушков сквозь зубы.

Василиса взялась за бока, заохала.

— Да чему ты, сумасшедшая?

Но Василиса только руками махала. Иван Афанасьич схватил фуражку и выбежал из дому. Быстро, неровными шагами шел он по городу, шел, шел и очутился у заставы. Вдоль улицы вдруг застучали колеса, затопали лошади... Кто-то кликнул его по имени. Он поднял голову и увидал просторную старинную линейку. В линейке, лицом к нему, сидел г. Бублицын между двумя девицами, дочерями господина Тютюрёва. Обе девицы были одеты совершенно одинаково, как бы в ознаменование их неразрывной дружбы; обе улыбались задумчиво, но приятно, и томно наклоняли головки набок. На другой стороне линейки виднелась широкая соломенная шляпа почтенного господина Тютюрёва и отчасти представлялся взорам его полный и круглый затылок; рядом с его соломенной шляпой возвышался чепец его супруги. Самое положение обоих родителей служило явным доказательством их искреннего благоволения и доверенности к молодому Бублицыну. И молодой Бублицын, видимо, чувствовал и ценил их лестную доверенность. Конечно, он сидел непринужденно, непринужденно разговаривал и смеялся; но в самой развязности его обращения замечалась нежная, трогательная почтительность. А девицы Тютюрёвы? Трудно выразить словами всё, что внимательный взор наблюдателя открывал в чертах обеих сестриц. Благонравие и кротость, и скромная веселость, грустное понимание жизни и непоколебимая вера в самих себя, в высокое и прекрасное призвание человека на земле, приличное внимание к юному собеседнику, по дарованиям умственным, может быть, не вполне им равному, но по сердечным свойствам совершенно достойному снисхожденья... вот какие качества и чувства изображались в это время на лицах девиц Тютюрёвых. Бублицын клик-

нул Ивана Афанасьича по имени так, без всякой причины, от избытка внутреннего довольства; поклонился ему чрезвычайно дружелюбно и приветливо; сами девицы Тютюрёвы поглядели на него ласково и кротко, как на человека, с которым они бы не прочь даже познакомиться... Маленькой рысцой пробежали добрые, сытые, смирные лошадки мимо Ивана Афанасьича; плавно покатилась линейка по широкой дороге, разнося добродушный девический смех; в последний раз мелькнула шляпа г-на Тютюрёва; пристяжные закинули головы набок, щепотко запрыгали по короткой зеленой травке... кучер засвистал одобрительно и бережно; линейка исчезла за ракитами.

Долго простоял на месте бедный Петушков.

— Сирота я, сирота казанская,— прошептал он наконец...

Оборванный мальчишка остановился перед ним, робко посмотрел на него, протянул руку...

— Христа ради, барин хороший.

Петушков достал грош.

— На тебе на твое сиротство,— проговорил он через силу и пошел опять в булочную. На пороге Василисиной комнатки остановился Иван Афанасьич.

«Вот,— подумал он,— вот с кем я знаюсь! Вот оно, мое семейство! вот оно!.. И тут Бублицын и там Бублицын».

Василиса сидела к нему спиной и, беззаботно попевая, разматывала нитки; платье на ней было ситцевое, полинялое; волосы она заплела кое-как... В комнате, невыносимо жаркой, пахло периной, старыми тряпками; кой-где по стенам проворно мчались рыжие, щеголеватые прусаки; на дряхлом комоде, с дырочками вместо замков, лежал, подле разбитой банки, стоптанный женский башмак... На полу еще валялась поэма Козлова... Петушков покачал головой, скрестил руки и вышел. Он был обижен.

Дома он приказал подать себе одеться. Онисим поплелся за сюртуком. Петушкову весьма хотелось вызвать Онисима на разговор, но Онисим молчал угрюмо. Наконец Иван Афанасьич не вытерпел:

— Что ж ты меня не спрашиваешь, куда я иду?

— А на что мне знать, куда вы идете?

— Как на что? Ну, придет кто-нибудь за нужным

делом, спросит: где, мол, дескать, Иван Афанасьич? А ты ему и скажешь: Иван Афанасьич туда-то пошел.

— За нужным делом... Да кто к вам за нужным делом-то ходит?

— Вот ты опять начинаешь грубить? Ведь вот опять?

Онисим отвернулся и принялся чистить сюртук.

— Право, Онисим, ты человек пренеприятный.

Онисим исподлобья поглядел на барина.

— И всегда ты так. Вот уж именно всегда.

Онисим улыбнулся.

— Да на что мне у вас спрашивать, Иван Афанасьич, куда вы идете? Как будто я не знаю? К булочнице!

— А вот и вздор! вот и соврал! Совсем не к ней. Я к булочнице больше ходить не намерен.

Онисим прищурился и тряхнул веником. Петушков ожидал одобренья; но слуга его безмолвствовал.

— Не годится,— продолжал строгим голосом Петушков,— неприлично... Ну, говори же ты, что ты думаешь?

— Что мне думать? Ваша воля. Что мне думать?

Петушков надел сюртук. «Не верит мне, бестия»,— подумал он про себя.

Он вышел из дому, но ни к кому не зашел. Походил по улицам. Обратил внимание на заходящее солнце. Наконец, часу в девятом воротился домой. Он улыбался; он беспрестанно пожимал плечами, как бы дивясь своей глупости. «Ведь вот,— думал он,— что значит твердая воля...»

На другой день Петушков встал довольно поздно. Ночь он провел не совсем хорошо, до самого вечера не выходил никуда и скучал страшно. Перечел Петушков все свои книжонки, вслух похвалил одну повесть в «Библиотеке для чтения». Ложась спать, велел Онисиму подать себе трубку. Онисим вручил ему предрянной чубучок. Петушков начал курить; чубучок захрипел, как запаленная лошадь.

— Что за гадость!— воскликнул Иван Афанасьич,— где же моя черешневая трубка?

— А в булочной,— спокойно возразил Онисим. Петушков судорожно моргнул глазами.

— Что ж, прикажете сходить?

— Ну, не нужно; ты не ходи... не нужно; не ходи, слышишь?

— Слушаю-с.

Ночь прошла кое-как. Утром Онисим, по обыкновению, подал Петушкову на тарелке с синими цветочками белую, свежую булку. Иван Афанасьич посмотрел в окно и спросил Онисима:

— Ты ходил в булочную?

— Кому ж ходить, коли не мне?

— А!

Петушков углубился в размышление.

— Скажи, пожалуйста, ты там видел кого-нибудь?

— Известно, видел.

— Кого же ты там видел, например?

— Да известно кого: Василису.

Иван Афанасьич умолк. Онисим убрал со стола и уже вышел было из комнаты...

— Онисим,— слабо воскликнул Петушков.

— Чего изволите?

— А... обо мне она не спрашивала?

— Известно, не спрашивала.

Петушков стиснул зубы. «Вот,— подумал он,— вот она, любовь-то...— Он опустил голову.— А ведь смешон же я был,— подумал он опять,— вздумал ей стихотворенья читать! Эка! Да ведь она дура! Да ведь ей, дуре, только бы на печи лежать да блины есть! Да ведь она деревяшка, совершенная деревяшка, необразованная мещанка!»

— Не пришла...— шептал он два часа спустя, сидя на том же месте,— не пришла! Каково? Ведь она могла видеть, что я ушел от нее рассерженный, ведь она могла же знать, что я обиделся! Вот тебе и любовь! И не спросила даже, здоров ли я? Здоров ли, дескать, Иван Афанасьич? Вторые сутки меня не видит — и ничего!.. Даже, может быть, опять изволила видеться с этим Буб... Счастливчик! Тьфу, чёрт возьми, какой я дурак!

Петушков встал, молча прошелся по комнате, остановился, слегка наморщил брови и почесал у себя в затылке.

— Однако,— сказал он вслух,— пойду-ка я к ней. Надобно же посмотреть, что она там-таки делает? Пристыдить ее надобно. Решительно пойду. Онька! одеваться!

«Ну,— думал он, одеваясь,— посмотрим, что-то будет? Она, пожалуй, чего доброго, на меня сердится.

И в самом деле, человек ходил-ходил, ходил-ходил да вдруг, ни с того ни с сего, взял да перестал ходить! А вот посмотрим».

Иван Афанасьич вышел из дому и добрался до булочной. Он остановился у калитки: надобно ж оправиться и обтянуться... Петушков взялся обеими руками за фалды да чуть не оторвал их прочь совсем... Судорожно покрутил он затянутой шеей, расстегнул верхний крючок воротника, вздохнул...

— Что ж вы стоите,— закричала ему Прасковья Ивановна из окошка.— Войдите.

Петушков вздрогнул и вошел. Прасковья Ивановна встретила его на пороге.

— Что это вы, батюшка, к нам вчера не пожаловали? Аль нездоровьице какое помешало?

— Да, у меня что-то вчера голова болела...

— А вы бы к височкам по огурчику приложили, мой батюшка. Как рукой бы сняло. А теперь не болит головка?

— Нет, не болит.

— Ну, и слава тебе, господи!

Иван Афанасьич отправился в заднюю комнату. Василиса увидала его.

— А! здравствуйте, Иван Афанасьич.

— Здравствуйте, Василиса Тимофеевна.

— Куда вы ливер девали, Иван Афанасьич?

— Ливер? какой ливер?

— Ливер... наш ливер. Вы его, должно быть, к себе занесли. Вы ведь такой... прости, господи!..

Петушков принял важный и холодный вид.

— Я прикажу своему человеку посмотреть. Так как я вчера здесь не был,— значительно проговорил он...

— Ах, да ведь точно, вас вчера здесь не было.— Василиса присела на корточки и начала рыться в сундуке...— Тетка! А, тетка!

— Че-а-во?

— Ты, что ль, взяла мою косынку?

— Какую косынку?

— А желтую.

— Желтую?

— Да, желтую, с разводами.

— Нет, не брала.

Петушков нагнулся к Василисе.

— Послушай, Василиса, меня; послушай-ка, что я тебе скажу. Теперь дело идет не о ливерах да о косынках; этим вздором можно и в другое время заняться.

Василиса не тронулась с места и только подняла голову.

— Ты скажи мне, по чистой совести, любишь ли ты меня, или нет. Вот что я желаю знать, наконец!

— Ах, какой же вы, Иван Афанасьич... Ну, да, разумеется.

— А коли любишь, как же это ты ко мне вчера не зашла? Некогда было? Ну, прислала бы узнать, что, дескать, не болен ли я, что меня нету! А тебе и горюшка мало. Я хоть там, пожалуй, умирай себе, ты и не пожалеешь.

— Эх, Иван Афанасьич, не всё ж про одно думать; работать надобно.

— Оно, конечно,— возразил Петушков,— а все-таки... И над старшими смеяться не следует... Нехорошо. Притом не мешает в известных случаях... А где же моя трубка?

— Вот ваша трубка.

Петушков начал курить.

VII

Несколько дней протекло снова, по-видимому, довольно мирно. Но гроза приближалась. Петушков мучился, ревновал, не спускал глаз с Василисы, тревожно наблюдал за ней, надоедал ей страшно. Вот, однажды вечером, Василиса оделась тщательнее обыкновенного и, улучив удобное мгновенье, отправилась куда-то в гости. Наступила ночь: она не возвращалась. Петушков на заре пришел к себе на квартиру и в восьмом часу утра побежал в булочную... Василиса не приходила. С невыразимым замираньем сердца ожидал он ее до самого обеда... За стол сели без нее...

— Куда это она запропастилась? — равнодушно проговорила Прасковья Ивановна...

— Вы ее балуете, вы ее просто совершенно избалуете! — с отчаяньем повторял Петушков.

— И! батюшка! за девкой не усмотришь! — отвечала Прасковья Ивановна.— Бог с ней! Лишь бы свое дело делала... Отчего же человеку и не погулять...

Мороз подирал по коже Ивана Афанасьича. Наконец, к вечеру, явилась Василиса. Он только этого и ожидал. Торжественно поднялся Петушков с своего места, сложил руки, грозно нахмурил брови... Но Василиса смело взглянула ему в глаза, нагло засмеялась и, не давши ему выговорить слова, проворно вошла в свою комнату и заперлась. Иван Афанасьич раскрыл рот, с изумлением посмотрел на Прасковью Ивановну... Прасковья Ивановна опустила глаза. Иван Афанасьич постоял немного, ощупью сыскал фуражку, надел ее криво на голову и вышел, не закрывши рта.

Он пришел домой, взял кожаную подушку и вместе с нею бросился на диван, лицом к стене. Онисим выглянул из передней, вошел в комнату, прислонился к двери, понюхал табаку, скрестил ноги.

— Аль нездоровы, Иван Афанасьич? — спросил он Петушкова.

Петушков не отвечал.

— За дохтуром сходить прикажете? — продолжал, погодя немного, Онисим.

— Я здоров... Ступай,— глухо проговорил Иван Афанасьич.

— Здоровы?... нет, вы нездоровы, Иван Афанасьич... Какое это здоровье?

Петушков помолчал.

— Вы посмотрите лучше на себя. Ведь вы так исхудали, что просто на себя не стали похожи. А всё из-за чего? Как подумаешь, так, ей-богу, ум за разум заходит. А еще благородные!

Онисим помолчал... Петушков не шевелился.

— Разве так благородные поступают? — Ну, пошалили бы... почему ж бы и не так... пошалили бы, да и за щеку. А то что? Вот уж точно можно сказать: полюбится сатана пуще ясного сокола.

Ивана Афанасьича только покоробило.

— Ну, право же так, Иван Афанасьич. Другой бы мне сказал про вас: вот что, вот что, вот какие дела... Я бы ему сказал: дурак ты, поди прочь, за кого ты меня принимаешь? Чтобы я этому поверил? Я и теперь сам вижу, да не верю. Ведь уж хуже этого быть ничего не может. Зелья, что ли, она какого дала вам? Ведь что в ней? Коли так рассудить, совершенные пустяки, просто

плюнуть стоит. И говорить-то она порядочно не умеет... Ну, просто девка как девка! Еще хуже!

— Ступай,— простонал Иван Афанасьич в подушку.

— Нет, я не пойду, Иван Афанасьич. Кому ж говорить, коли не мне? Что в самом деле? Вот вы теперь сокрушаетесь... а из чего? Ну, из чего? помилуйте, скажите.

— Да ступай же, Онисим,— опять простонал Петушков.

Онисим, для приличия, помолчал немного.

— И ведь то сказать,— начал он опять,— она благодарности никакой не чувствует. Другая бы не знала, как вам угодить; а она!... она и не думает о вас. Ведь это просто срам. Ведь что о вас говорят, и пересказать нельзя. Меня даже стыдят. Ну, кабы я это прежде мог знать, уж я ж бы ее...

— Да ступай же, наконец, чёрт! — закричал Петушков, не трогаясь, впрочем, с места и не поднимая головы.

— Иван Афанасьич, помилуйте,— продолжал неумолимый Онисим.— Я для вашего же добра. Плюньте, Иван Афанасьич, просто плюньте, послушайтесь меня. А не то, я бабку приведу: отговорит как раз. Сами потом смеяться будете; скажете мне: Онисим, а ведь удивительно, как это бывает иногда! Ну, сами посудите: ведь таких, как она, у нас, как собак... только свистни...

Как бешеный вскочил Петушков с дивана... но, к изумлению Онисима, уже поднявшего обе руки в уровень своих ланит, сел опять, словно кто ноги ему подкосил... По бледному его лицу катились слезы, косичка волос торчала на темени, глаза глядели мутно... искривленные губы дрожали... голова упала на грудь.

Онисим посмотрел на Петушкова и тяжко бросился на колени.

— Батюшка, Иван Афанасьич,— воскликнул он,— ваше благородие! Извольте наказать меня, дурака! Я вас обеспокоил, Иван Афанасьич... Да как я смел! Извольте наказать меня, ваше благородие... Стоит вам плакать от моих глупых речей... батюшка, Иван Афанасьич...

Но Петушков даже не поглядел на своего слугу, отвернулся и забился опять в угол дивана.

Онисим поднялся, подошел к барину, постоял над ним, раза два хватил себя за волосы.

— Не хотите ли, батюшка, раздеться... в постель бы легли... малины бы покушали... Не извольте печалиться... Это только с полугоря, это всё ничего... всё пойдет на лад,— говорил он ему через каждые две минуты...

Но Петушков не поднимался с дивана и только изредка пожимал плечами, подводил колени к животу...

Онисим всю ночь не отходил от него. К утру Петушков заснул, но спал недолго. Часов в семь встал он с дивана, бледный, взъерошенный, усталый,— потребовал чаю.

Онисим подобострастно и проворно поставил самовар.

— Иван Афанасьич,— заговорил он, наконец, робким голосом,— вы на меня не изволите гневаться?

— За что ж я буду гневаться на тебя, Онисим? — отвечал бедный Петушков.— Ты вчера был совершенно прав, и я совершенно с тобой во всем согласен.

— Я только из усердия, Иван Афанасьич...

— Я знаю, что из усердия.

Петушков замолчал и опустил голову.

Онисим видел, что дело неладно.

— Иван Афанасьич,— заговорил он вдруг.

— Что?

— Хотите, я Василису позову сюда?

Петушков покраснел.

— Нет, Онисим, не хочу. («Да! как бы не так! придет она!» — подумал он про себя.) Надобно показать твердость. Это всё вздор. Вчера я того... Это срам. Ты прав. Надобно всё это прекратить, как говорится, разом. Не правда ли?

— Сущую правду изволите говорить, Иван Афанасьич.

Петушков опять погрузился в думу. Он сам себе дивился, словно не узнавал себя. Он сидел неподвижно и глядел на пол. Мысли в нем волновались, словно дым или туман, а в груди было пусто и тяжело в одно время.

«Да что ж это такое, наконец?» — думал он иногда и опять затихал.— Пустяки, баловство,— говорил он вслух и поводил рукой по лицу, отряхался, и рука его

снова падала на колени, глаза опять останавливались на полу.

Онисим внимательно и печально глядел на своего господина.

Петушков поднял голову.

— А скажи-ка мне, Онисим,— заговорил он,— правда ли, точно бывают такие приворотные зелья?

— Бывают-с, как же-с,— возразил Онисим и выставил ногу вперед.— Вот хоть бы изволите знать унтера Круповатого?.. У него брат от приворота пропал. И приворотили-то его к бабе старой, к поварихе, вот что извольте рассудить! Дали съесть простой кусок ржаного хлеба, с наговором разумеется. Вот и врезался круповатовский брат по уши в повариху, так и бегал всюду за поварихой, души в ней не чаял, наглядеться не мог. Бывало, что она ему ни скомандуй, он тотчас и повинуется. Даже при других, при чужих людях она им щеголяла. Ну и вогнала его, наконец, в чахотку. Так и умер круповатовский брат. А ведь повариха была, да еще и старая-престарая. (Онисим понюхал табаку.) Чтоб им пусто было, всем этим девкам и бабам!

— Она меня вовсе не любит, это, наконец, ясно, это, наконец, никакому сомнению не подвержено,— бормотал вполголоса Петушков, делая притом такие движения головой и руками, как будто объяснял совершенно постороннему человеку совершенно постороннее дело.

— Да,— продолжал Онисим,— бывают такие бабы.

— Бывают? — уныло повторил Петушков, не то спрашивая, не то недоумевая.

Онисим внимательно посмотрел на своего господина.

— Иван Афанасьич,— начал он,— вы бы перекусили чего?

— Перекусил бы? — повторил Петушков.

— А то, может, трубки не угодно ли?

— Трубки? — повторил Петушков.

— Вот оно куда пошло,— проворчал Онисим,— зацепило, значит.

VIII

Стук сапогов раздался в передней — а там послышался обычный сдержанный кашель, уведомляющий о прибытии подчиненного лица. Онисим вышел и тотчас же вернулся в сопровождении крошечного гарнизонного солдата с старушечьим лицом, в изношенной до желтизны и заплатанной шинели, без брюк и без галстуха. Петушков встрепенулся — а солдат вытянулся, пожелал ему «здравья» и вручил ему большой конверт, запечатанный казенной печатью. В этом конверте находилась записка от майора, командовавшего гарнизоном: он требовал к себе Петушкова немедленно и безотлагательно.

Петушков повертел записку в руках — и не мог удержаться, чтобы не спросить посланца: «Не известно ли ему, зачем майор его к себе требует?» —хотя очень хорошо понимал всю бесполезность своего вопроса.

— Не могим знать! — усиленно, но чуть слышно, словно спросонья, крикнул солдат.

— А других господ офицеров к себе он не требует? — продолжал Петушков.

— Не могим знать! — вторично, тем же голосом, крикнул солдат.

— Ну, хорошо, ступай,— промолвил Петушков.

Солдат сделал налево кругом, причем топнул ногой и хлопнул себя ладонью пониже спины (в двадцатых годах это было в моде) — и удалился.

Петушков молча переглянулся с Онисимом, который вдруг принял озабоченный вид,— и отправился к майору.

Майор этот был человек лет шестидесяти, тучный и неуклюжий, с отекшим и красным лицом, с короткой шеей, с постоянной дрожью в пальцах, происходившей от излишнего употребления водки. Он принадлежал к числу так называемых «бурбонов», то есть выслужившихся солдат, на тридцатом году выучился грамоте и говорил с трудом, частью вследствие одышки, частью от неспособности уразуметь собственную мысль. Темперамент его являл все известные в науке видоизменения: утром, до водки, он был меланхоликом, в середине дня — холериком, а к вечеру — флегматиком, то есть он тогда только сопел и мычал, пока его не клали в

постель. Иван Афанасьич явился к нему во время холерического периода. Он застал его сидящим на диване, в шлафроке нараспашку и с трубкою в зубах. Толстый корноухий кот поместился с ним рядом.

— Ага! пожаловал! — проворчал майор, искоса вскинув на Петушкова свои оловянные глазки и не трогаясь с места.— Ну-ка, садитесь; ну-ка, я вас хорошенько. Я уж давно до вашего брата добирался... да.

Петушков опустился на стул.

— Потому,— заговорил майор с неожиданным порывом всего тела,— ведь вы офицер; так уж и вести себя надо, как приказано. Коли бы вы были солдат — я бы просто выпорол вас, да и шабаш; а то вы офицер. На что это похоже? Срамиться— разве это хорошо?

— Позвольте узнать, к чему ведут сии намеки,— начал было Петушков...

— А у меня не рассуждать! Я это смерть не люблю. Сказано: не люблю; ну, и всё тут! Вон у вас и крючки не по форме; что это за срам! Сидит день-деньской в булочной; а еще благородный! Юбка там завелась — вот он и сидит. Ну, пусть бы ее, юбку, к чёрту! А то, говорят, сам хлебы в печь сажает. Мундир марает... да.

— Позвольте доложить,— промолвил Петушков, у которого на сердце захолонуло,— что это всё, сколько я могу сообразить, относится к частной, так сказать, жизни...

— Не рассуждать у меня, говорят! Частная жизнь — еще толкует! Коли бы по службе что вышло, я бы вас прямо на *губ*вахту! Алё маршир! Потому — присяга. На меня самого, может, целую березовую рощу извели: так уж я службу-то знаю; все эти порядки мне очинно известны. А то надо понять: это я собственно насчет мундира. Мараешь мундир — да. Это я, как отец... да. Потому, мне это всё поручено. Я отвечать должо́н. А вы еще тут рассуждаете! — крикнул со внезапной неистовостью майор, и лицо его побагровело, и пена показалась на губах, а кот поднял хвост и соскочил на пол.— Да знаете ли вы... Да знаете ли, что я могу... всё могу? всё, всё! Да понимаете ли вы, с кем вы говорите? Начальство приказывает — а вы рассуждать! Начальство... начальство!..

Тут майор даже закашлялся и захрипел — а бедный Петушков только выпрямливался и бледнел, сидя на краешке стула.

— Чтоб у меня...— продолжал майор, повелительно взмахивая дрожащей рукою,— чтобы всё... по струнке у меня! Поведенц первый сорт! Беспорядков не потерплю! Знаться можешь с кем угодно — я на это наплевать! Но коли ты благородный — ну, так уж и того... действуй! Хлеба в печку у меня не сажать! Бабу мокроподолую теткой не называть! Мундир не марать! Молчать! Не рассуждать!

Голос майора прервался. Он перевел дух и, обернувшись к двери передней, закричал: «Фролка, подлец! Селедки!»

Петушков проворно поднялся и выскочил вон, чуть не сбивши с ног бежавшего ему навстречу казачка с резаной селедкой и крупным графином водки на железном подносе.

«Молчать! не рассуждать!» — раздавались вслед Петушкову отрывистые восклицанья раздраженного начальника.

IX

Странное чувство овладело Иваном Афанасьичем, когда он вдруг очутился на улице.

— Да что это я словно во сне хожу? — думал он про себя,— с ума я сошел, что ли? Ведь это, наконец, невероятно. Ну, чёрт возьми, разлюбила меня, ну и я ее разлюбил, ну и... Что ж тут необыкновенного?

Петушков нахмурил брови.

— Надобно это кончить, наконец,— сказал он почти вслух,— пойду и объяснюсь решительно, в последний раз, чтоб уж и помину потом не было.

Петушков скорыми шагами отправился в булочную. Племянник работника Луки, маленький мальчишка, друг и наперсник проживавшего на дворе козла, проворно вскочил в калитку, лишь только завидел издали Ивана Афанасьича.

Прасковья Ивановна вышла навстречу Петушкову.

— Племянницы вашей нету дома? — спросил Петушков.

— Никак нет-с.

Петушков внутренно обрадовался отсутствию Василисы.

— Я пришел с вами объясниться, Прасковья Ивановна.

— О чем это, батюшка?

— А вот о чем. Вы понимаете, что после всего... происшедшего... после подобного, так сказать, поступка (Петушков немного смешался)... словом сказать... Но, однако, вы на меня, пожалуйста, не сердитесь.

— Так-с.

— Напротив, войдите в мое положение, Прасковья Ивановна.

— Так-с.

— Вы женщина рассудительная, вы сами поймете, что... что мне уже больше нельзя к вам ходить.

— Так-с,— протяжно повторила Прасковья Ивановна.

— Поверьте, я очень сожалею; признаюсь, мне даже больно, истинно больно...

— Вам лучше знать-с,— спокойно возразила Прасковья Ивановна.— В вашей воле-с. А вот, позвольте, я счетец вам подам-с.

Петушков никак не ожидал такого скорого согласия. Он вообще и не желал «согласия»; он хотел было только напугать Прасковью Ивановну и в особенности Василису. Ему становилось жутко.

— Я знаю,— заговорил он,— Василисе это нисколько не будет неприятно; напротив, я думаю, она будет рада.

Прасковья Ивановна достала счеты и начала стучать костяшками.

— С другой стороны,— продолжал всё более и более взволнованный Петушков,— если б, например, Василиса объяснила мне свое поведение... может быть... я... хотя, конечно... я не знаю, может быть, я бы увидал, что тут собственно нет никакой вины.

— За вами, батюшка, тридцать семь рублей сорок копеек ассигнациею,— заговорила Прасковья Ивановна.— Вот, не угодно ли поверить?

Иван Афанасьич не отвечал ни слова.

— Восемнадцать обедов, по семи гривен за каждый: двенадцать рублей шесть гривен.

— Итак, мы расстаемся с вами, Прасковья Ивановна?

— Что ж, батюшка, делать? Такие ли бывают случаи? Двенадцать самоваров, по гривенничку...

— Но скажите хоть вы мне, Прасковья Ивановна, куда это ходила Василиса, и зачем это она...

— А я, батюшка, ее не расспрашивала... Рубль двадцать копеек серебряною монетой.

Иван Афанасьич задумался.

— Квасу и кислых щей,— продолжала Прасковья Ивановна, отделяя костяшки на счетах не указательным, а третьим пальцем,— на полтину серебром. К чаю сахару и булок на полтину серебром. Четыре картуза табаку куплено по вашему приказанию: восемь гривен серебром. Портному Куприяну Аполлонову...

Иван Афанасьич вдруг поднял голову, протянул руку и смешал кости.

— Что ж это вы, батюшка, делаете! — заговорила Прасковья Ивановна.— Али мне не верите?

— Прасковья Ивановна,— возразил Петушков, торопливо улыбаясь,— я раздумал. Я так, знаете, пошутил. Останемся-ка лучше приятелями, по-старому! Что за пустяки! Как можно нам с вами расстаться, скажите пожалуйста?

Прасковья Ивановна опустила голову и не отвечала ему.

— Ну, повздорили — и кончено,— продолжал Иван Афанасьич, похаживая по комнате, потирая руки и как бы снова вступая в прежние права.— Аминь! а вот я лучше трубочку выкурю.

Прасковья Ивановна всё не трогалась с места...

— Я вижу, вы на меня сердитесь,— сказал Петушков.— Я, может быть, вас обидел. Ну, что ж? простите великодушно.

— Какое, батюшка, обидел! Какая тут обида?.. Только уж вы, батюшка, пожалуйста,— прибавила Прасковья Ивановна, кланяясь,— не извольте больше к нам ходить.

— Как?!

— Не след нам, батюшка, с вами знаться, ваше благородие. Уж, пожалуйста, сделайте милость...

Прасковья Ивановна продолжала кланяться.

— Отчего же? — пробормотал изумленный Петушков.

— Да уж так, батюшка. Окажите божескую милость.

— Да нет, Прасковья Ивановна, надобно объясниться...

— Василиса, батюшка, вас просит. Говорит: «Благодарна, очинно благодарна и чувствую»; только уж вперед, ваше благородие, увольте.

Прасковья Ивановна чуть не в ноги поклонилась Петушкову.

— Василиса, вы говорите, меня просит не ходить?

— Именно так, батюшка, ваше благородие. Как вы сегодня изволили пожаловать, да как заговорили, что, дескать, не желаете больше посещать, то есть, нас, я так, батюшка, и обрадовалась, думаю: вот и слава богу, вот как оно ладно пришлось. А то у меня у самой язык бы не повернулся... Окажите милость, батюшка.

Петушков покраснел и побледнел почти в одно мгновенье. Прасковья Ивановна всё продолжала кланяться...

— Очень хорошо,— резко воскликнул Иван Афанасьич.— Прощайте.

Он круто повернулся и надел фуражку.

— А счетец-то, батюшка...

— Пришлите ко мне... Мой человек вам заплатит.

Петушков вышел твердой поступью из булочной и даже не оглянулся.

X

Прошли две недели. Сначала Петушков храбрился чрезвычайно, выходил, посещал своих товарищей, исключая, разумеется, Бублицына, но, несмотря на преувеличенные похвалы Онисима, чуть не сошел, наконец, с ума от тоски, ревности и скуки. Одни разговоры с Онисимом о Василисе доставляли ему некоторую отраду. Начинал разговор, «задирал» всегда Петушков; Онисим неохотно отвечал ему.

— А ведь странное дело,— говорил, например, Иван Афанасьич, лежа на диване, меж тем как Онисим, по обыкновению, стоял, прислонившись к двери, скрестив руки за спину,— как подумаешь: ну что я нашел в

этой девушке? Кажется, ничего необыкновенного в ней нет. Правда, она добра. Этого нельзя у ней отнять.

— Какое добра! — с неудовольствием отвечал Онисим.

— Ну, нет, Онисим,— продолжал Петушков,— надо правду говорить. Теперь оно дело прошлое; мне теперь всё равно, но что справедливо, то справедливо. Ты ее не знаешь. Она предобрейшая. Ни одного нищего не пропустит так: хоть корку хлеба, а даст. Ну, и нрава она веселого — это тоже надобно сказать.

— Вот еще что выдумали! Где нашли веселый нрав!

— Я тебе говорю... ты ее не знаешь. И бессребренница тоже она... это тоже. Не интересанка, нечего сказать. Ну, хоть бы я ей — ничего ведь не давал, ты сам знаешь.

— Оттого-то она вас и бросила.

— Нет, не оттого! — со вздохом отвечал Петушков.

— Да вы в нее до сих пор влюби*мши*,— ядовито возражал Онисим.— Вы бы рады опять за прежнее.

— Вот уж это ты пустяки сказал. Нет, брат, ты меня тоже, видно, не знаешь. Меня же прогнали, да я же пойду кланяться. Нет, извини. Нет, я тебе говорю, поверь мне, это всё теперь дело прошлое.

— Дай бог! дай бог!

— Но почему ж мне теперь и не отдать ей справедливости, наконец? Ну, что ж, я скажу, что она собой нехороша,— ну кто ж мне поверит?

— Вот нашли красавицу!

— Ну, найди мне,— ну, назови кого-нибудь лучше ее...

— Ну, так пойдите к ней опять!..

— Эка! Да я разве для того это говорю, что ли? Ты меня пойми...

— Ох! понимаю я вас,— с тяжелым вздохом отвечал Онисим.

Прошла еще неделя. Петушков перестал даже разговаривать с своим Онисимом, перестал выходить. С утра до вечера лежал он на диване, закинув руки за голову. Стал он худеть и бледнеть, ел неохотно и торопливо, трубки вовсе не курил. Онисим только головой покачивал, глядя на него.

— А ведь вам нехорошо, Иван Афанасьич,— говорил он ему не раз.

— Нет, ничего,— возражал Петушков.

Наконец, в один прекрасный день (Онисима не было дома), Петушков встал, пошарил у себя в комоде, надел шинель, хотя солнце пекло порядком, украдкой вышел на улицу и через четверть часа опять вернулся... Он что-то нес под шинелью...

Онисима не было дома. Целое утро он всё сидел у себя в каморке, рассуждал сам с собой, ворчал и ругался сквозь зубы и, наконец, отправился к Василисе.

Он застал ее в булочной. Прасковья Ивановна спала на печи, мерно и томно похрапывая.

— Ах, здравствуйте, Онисим Сергеич,— с улыбкой проговорила Василиса,— что давно не видать?

— Здорово.

— Что вы такие невеселые? Чайку не хотите ли?

— Не обо мне теперь речь,— с досадой возразил Онисим.

— А что?

— Что! Не понимаешь меня, что ли? Что! Что ты наделала с моим барином, вот что мне скажи.

— Что такое я наделала?

— Что такое ты наделала... Поди-ка посмотри на него. Ведь он того и гляди, что занеможет аль и совсем умрет.

— Чем же я виновата, Онисим Сергеич?

— Чем! Бог тебя знает. Вишь, он в тебе души не чает. А ты с ним, как с своим братом, прости господи, обошлась. Не ходи, дескать: надоел. Ведь он хоть и неважный, а всё же господин. Ведь он благородный... Понимаешь ты это?

— Да он такой скучный, Онисим Сергеич...

— Скучный! А тебе всё веселых нужно.

— Да и не то что скучный: такой сердитый, ревнивый такой.

— Ах ты, астраханская царевна Миликитриса! Вишь, он обеспокоил тебя!

— Да вы сами, Онисим Сергеич, помнится, на него сердились, зачем, дескать, знается, зачем всё ходит?

— А что ж, хвалить его надо было за это, что ли?

— Ну, так за что же вы теперь на меня осерчали? Вот и ходить перестал.

Онисим даже ногою топнул.

— Да что ж мне с ним делать, коли он такой сумасшедший,— прибавил он, понизив голос.

— Так чем же я виновата? Чем же я помочь-то могу?

— А вот чем: пойдем-ка со мной к нему.

— Сохрани господи!

— Отчего ж ты не пойдешь?

— Да зачем же я пойду к нему? помилуйте.

— Зачем? А затем, что вот он говорит, что ты добрая; посмотрю я, какая ты добрая.

— Да какое же добро я могу ему сделать?

— Ну, уж про это я знаю. Стало быть, плохо, коли я к тебе пришел. Видно, уж другого средст*вия* не придумал.

Онисим помолчал немного.

— Ну, пойдем, Василиса, пожалуйста, пойдем.

— Да, Онисим Сергеич, я не желаю с ними опять знаться...

— Да и не нужно — кто тебе говорит? Так, слова два скажи: дескать, что изволите печалиться... полноте... Вот и всё.

— Право, Онисим Сергеич...

— Да что ж, мне кланяться тебе, что ли? Ну, изволь — вот тебе и поклон... на́ тебе поклон.

— Да право же...

— Ведь экая! И честь-то ее не берет!..

Василиса, наконец, согласилась, накинула платок на голову и ушла вместе с Онисимом.

— Постой-ка немного здесь, в передней,— сказал он ей, когда они пришли на квартиру Петушкова.— А я пойду барину доложу...

Он вошел к Ивану Афанасьичу.

Петушков стоял посреди комнаты, заложив обе руки в карманы, преувеличенно растопырив ноги и слегка покачиваясь взад и вперед. Лицо его пылало, глаза сияли.

— Здравствуй, Онисим,— дружелюбно залепетал он, очень плохо и вяло выговаривая согласные буквы,— здравствуй, братец. А я, брат, без тебя... хе-хе-хе...— Петушков засмеялся и клюнул носом вперед.— Вот уж подлинно, хе-хе-хе... Впрочем,— прибавил он, стараясь принять важный вид,— я ничего.— Он поднял было ногу, но чуть не упал и для контенансу проговорил басом: — Человек, дай трубку!

Онисим с изумлением посмотрел на своего барина,

взглянул кругом... На окне стояла пустая темно-зеленая бутылка с надписью: «Ром ямайский самый лучший».

— Хватил, брат, да и только,— продолжал Петушков.— Взял да хватил. Хватил, да и всё тут. А ты где был? Расскажи... не стыдись... расскажи. Ты хорошо рассказываешь.

— Иван Афанасьич, помилуйте! — завопил Онисим.

— Изволь. И это изволь. Милую, милую и прощаю,— возразил Петушков, неопределенно помахивая рукой.— Всем прощаю, и тебе прощаю, и Василисе прощаю, и всем, всем прощаю. А я, брат, хватил... Хваатил, брат...— Кто это? — внезапно вскрикнул он, указывая на дверь передней,— кто там?

— Никого там нет,— торопливо ответил Онисим.— Кому там быть... куда вы?

— Нет, нет,— повторял Петушков, порываясь из рук Онисима,— пусти, я видел — ты не говори — я там видел, пусти... Василиса! — закричал он вдруг.

Петушков побледнел.

— Ну... ну, что ж ты не входишь? — заговорил он, наконец.— Войди, Василиса, войди. Я очень тебе рад, Василиса.

Василиса взглянула на Онисима — и вошла в комнату. Петушков приблизился к ней... Он дышал глубоко и редко. Онисим наблюдал за ним. Василиса боязливо косилась на обоих.

— Садись, Василиса,— заговорил опять Иван Афанасьич,— спасибо тебе, что пришла. Извини, что я... как бы это сказать?.. этак в неприличном виде. Я не мог предвидеть, никак не мог, согласись сама. Ну, садись же, вот хоть здесь, на диване... Так, кажется, я выражаюсь?

Василиса села.

— Ну, здравствуй,— продолжал Петушков.— Ну, как поживаешь? что делала хорошего?

— Я слава богу, Иван Афанасьич. Как вы?

— Я? Как видишь! Убит. И кем убит? Тобой убит, Василиса. Но я на тебя не сержусь. Только я убит. Вот, спроси хоть у этого. (Он указал на Онисима.) Ты не гляди, что я пьян. Я точно пьян; только я убит. Оттого и пьян, что убит.

— Помилуй бог, Иван Афанасьич!

— Убит, Василиса, уж я тебе говорю. Ты мне верь. Я тебя никогда не обманывал. Ну, что твоя тетка, здорова?

— Здорова, Иван Афанасьич. Много благодарны.

Петушков начинал сильно покачиваться.

— Да вы-то нездоровы сегодня, Иван Афанасьич. Вы бы легли.

— Нет, я здоров, Василиса. Нет, ты не говори, что я нездоров, а ты лучше скажи, что в разврат я вдался, нравственность потерял. Вот это будет справедливо. Против этого я спорить не буду.

Ивана Афанасьича качнуло назад. Онисим подскочил и поддержал своего барина.

— А кто виноват? Хочешь, я скажу тебе, кто виноват? Я виноват, я первый. Мне бы что следовало сделать? Мне бы следовало тебе сказать: Василиса, я тебя люблю. Ну, хорошо. Ну, хочешь за меня замуж? Хочешь? Правда, ты мещанка, положим; ну, да это ничего. Это бывает. Вот и у меня там был знакомый: тоже этак женился. Чухонку взял. Взял да и женился. А со мной тебе было бы хорошо. Я человек добрый, ей-богу! Ты не гляди на то, что я пьян, а взгляни лучше на мое сердце. Вот, спроси хоть у этого... человека. Стало быть, виноват-то выхожу я. А теперь я, разумеется, убит.

Иван Афанасьич более и более нуждался в подпоре Онисима.

— А все-таки тебе грех, большой грех. Я тебя любил, я тебя уважал, я... да уж что! Я и теперь готов хоть сейчас под венец. Хочешь? Ты только скажи, а уж там мы сейчас. А только ты меня обидела кровно... кровно. Хоть бы сама отказала, а то через тетку, через толстую эту бабищу. Ведь только у меня и было радости, что ты. Ведь я бездомный человек, ведь я сирота! Кому теперь приласкать меня? кто мне доброе слово молвит? Ведь я кругом сирота. Гол, как сокол. Спроси хоть у эт...— Иван Афанасьич заплакал.— Василиса, послушай-ка, что я тебе скажу,— продолжал он,— позволь мне, этак, по-прежнему ходить к тебе. Не бойся... я буду, того, смирнехонько. Ты ходи, к кому там знаешь, я — ничего: этак, без возражений, знаешь. Ну, соглашаешься? Хочешь, я на коленки стану? (И Иван Афанасьич согнул было колени, но Онисим подхватил его под мышки.)

Пусти меня! Не твое дело! Тут идет речь о счастье целой, понимаешь, жизни, а ты мешаешь...

Василиса не знала, что сказать...

— Не хочешь... Ну, как хочешь! Бог с тобой. В таком случае прощай! Прощай, Василиса. Желаю тебе всякого счастия и благополучия... а я... а я...

И Петушков зарыдал в три ручья. Онисим изо всех сил поддерживал его сзади... сперва перекосил лицо, потом сам заплакал... И Василиса тоже заплакала...

XI

Лет через десять можно было встретить на улицах городка О... человека худенького, с красненьким носиком, одетого в старый зеленый сюртучок с плисовым засаленным воротником. Он занимал небольшой чуланчик в известной нам булочной. Прасковьи Ивановны уже не было на свете. Хозяйством заведовала ее племянница Василиса вместе с мужем своим, рыжеватым и подслеповатым мещанином Демофонтом. За человеком в зеленом сюртучке водилась одна слабость: любил выпить, впрочем вел себя смирно. Читатели, вероятно, узнали в нем Ивана Афанасьича.

ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Сельцо Овечьи Воды. 20 марта 18... года.

Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться, наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я, с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? бог весть! Тоже в море. Ну, что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, всё пустяки — да; но в таком случае и сама вечность — пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение: это плохой знак — уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено,— выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит; повесть, что ли, сочинить — не мое дело; рассуждения о предметах возвышенных — мне не под силу; описания окружающего меня быта — даже меня занять не могут; а ничего не делать — скучно; читать — лень. Э! расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль! Перед смертью оно и прилично и никому не обидно. Начинаю.

Родился я лет тридцать тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок; мать моя была дама с характером... очень добродетельная дама. Только я не знавал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей,— и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее со-

«ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА».
ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ, ЛИСТ 1.

Карандашом подчеркнуты места, исключенные цензурой из журнального текста повести.

Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград.

вершенно спокойной, а именно: в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление; с полураскрытых губ, с опавших щек и кротко-неподвижных глаз словно веяло словами: «Как хорошо не шевелиться!» Да, хорошо, хорошо отделаться, наконец, от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования! Но дело не в том.

Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили; но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку; он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался по крайней мере своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Маменька моя действительно переносила свое несчастие с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги; он превозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли, без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, с лишком двадцать лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые рыдания подступают мне под горло и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться и есть о чем сожалеть!

Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила; но я ее не любил. Да! я чуж-

дался моей добродетельной матери и страстно любил моего порочного отца.

Но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни.

21 марта.

Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно; солнце весело играет на талом снеге; всё блестит, дымится, каплет; воробьи, как сумасшедшие, кричат около отпотевших темных заборов; влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь. Весна, весна идет! Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О природа! природа! Я так тебя люблю, а из твоих недр вышел неспособным даже к жизни. Вон прыгает самец-воробей с растопыренными крыльями; он кричит — и каждый звук его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой...

Что ж из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться; а я болен и должен умереть — вот и всё. Больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу.

Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учителя, как водится; особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец, Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибенное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало, возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Василий, по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казакине из синей дерюги,— сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившим белый, как кипень, овчинный тулуп и несокрушимые смазные сапоги,— а Рикман за перегородкой поет:

Herz, mein Herz, warum so traurig?
Was bekümmert dich so sehr?

S'ist ja schön im fremden Lande.
Herz, mein Herz, was willst du mehr? [1]

После смерти отца мы окончательно перебрались на житье в Москву. Мне было тогда двенадцать лет. Отец мой умер ночью, от удара. Не забуду я этой ночи. Я спал крепко, как обыкновенно спят все дети; но, помню, мне даже сквозь сон чудилось тяжелое и мерное храпенье. Вдруг я чувствую: кто-то меня берет за плечо и толкает. Открываю глаза: передо мной дядька. «Что такое?..» — «Ступайте, ступайте, Алексей Михайлыч кончается...» Я, как сумасшедший, из постели вон — в спальню. Гляжу: отец лежит с закинутой назад головой, весь красный, и мучительно хрипит. В дверях толпятся люди с перепуганными лицами; в передней кто-то сиплым голосом спрашивает: «Послали за доктором?» На дворе лошадь выводят из конюшни, ворота скрипят, сальная свечка горит в комнате на полу; маменька тут же убивается, не теряя, впрочем, ни приличия, ни сознания собственного достоинства. Я бросился на грудь отцу, обнял его, залепетал: «Папаша, папаша...» Он лежал неподвижно и как-то странно щурился. Я взглянул ему в лицо — невыносимый ужас захватил мне дыхание; я запищал от страха, как грубо схваченная птичка,— меня стащили и отвели. Еще накануне он, словно предчувствуя свою близкую смерть, так горячо и так уныло ласкал меня. Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора, с крепким запахом зорной водки. Отец мой умер у него под ланцетом, и на другой же день я, совершенно поглупевший от горя, стоял со свечкою в руках перед столом, на котором лежал покойник, и бессмысленно слушал густой напев дьячка, изредка прерываемый слабым голосом священника; слезы то и дело струились у меня по щекам, по губам, по воротничку, по манишке; я исходил слезами, я глядел неотступно, я внимательно глядел на неподвижное лицо отца, словно ждал от него чего-то; а матушка моя между тем медленно клала земные поклоны, медленно подымалась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, к пле-

[1] Сердце, сердце мое, почему ты так печально? Что тебя так огорчает? Ведь в чужой стране прекрасно. Сердце, сердце мое, чего же ты еще хочешь? *(Нем.)*

чам и животу. Ни одной мысли у меня не было в голове; я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное... Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня.

Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине: всё наше имение было продано с молотка за долги — так-таки решительно всё, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великолепное существование. Я, признаюсь, даром что был тогда молод, а погрустил о продаже нашего гнезда; то есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде. С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания; там я в один тихий весенний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с куцым хвостом и кривыми лапками — Триксу; там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные, сладкие новогородчины; там, наконец, я в первый раз увидал между кустами спелой малины горничную Клавдию, которая, несмотря на свой курносый нос и привычку смеяться в платок, возбудила во мне такую нежную страсть, что я в присутствии ее едва дышал, замирал и безмолвствовал, а однажды, в светлое воскресение, когда дошла до нее очередь приложиться к моей барской ручке, чуть не бросился целовать ее стоптанные козловые башмаки. Боже мой! Неужели ж этому всему двадцать лет? Кажется, давно ли еду я на моей рыженькой косматой лошадке вдоль старого плетня нашего сада и, приподнявшись на стременах, срываю двухцветные листья тополей? Пока человек живет, он не чувствует своей собственной жизни; она, как звук, становится ему внятною спустя несколько времени.

О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! о песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! и вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги,— я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное тяканье надтреснутого

колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга...

Эх, к чему всё это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра.

22 марта.

Сегодня опять холодно и пасмурно. Такая погода гораздо приличнее. Она под лад моей работе. Вчерашний день совершенно некстати возбудил во мне множество ненужных чувств и воспоминаний. Это более не повторится. Чувствительные излияния — словно солодковый корень: сперва пососешь — как будто недурно, а потом очень скверно станет во рту. Стану просто и спокойно рассказывать мою жизнь.

Итак, мы переехали в Москву...

Но мне приходит в голову: точно ли стоит рассказывать мою жизнь?

Нет, решительно не стоит... Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия, умеренные желания — скажите на милость, кому не известно всё это? И потому я не стану рассказывать свою жизнь, тем более что пишу для собственного удовольствия; а коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер.

Что я за человек?.. Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает,— согласен. Но ведь я умираю, ей-богу умираю, а перед смертью, право, кажется, простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица?

Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним человеком на сем свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это

я намерен доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, как старая овца, и моя нянюшка, Терентьевна, не дает мне покоя: «Лягте, дескать, батюшка вы мой, да напейтесь чайку...» Я знаю, зачем она ко мне пристает: ей самой хочется чаю. Что ж! пожалуй! Отчего не позволить бедной старухе извлечь напоследях всю возможную пользу из своего барина?.. Пока еще время не ушло.

23 марта.

Опять зима. Снег валит хлопьями.

Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний — именно. К другим людям это слово не применяется... Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; по лишние... нет. То есть поймите меня: и без этих людей могла бы вселенная обойтись... конечно; но бесполезность — не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово «лишний» не первое приходит на язык. А я... про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний — да и только. Сверхштатный человек — вот и всё. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с нежданным и незваным гостем. Недаром про меня сказал один шутник, большой охотник до преферанса, что моя матушка мною обремизилась. Я говорю теперь о самом себе спокойно, без всякой желчи... Дело прошлое! Во всё продолжение жизни я постоянно находил свое место занятым, может быть, оттого, что искал это место не там, где бы следовало. Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные; притом, вероятно, по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями — и выражением этих чувств и мыслей — находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреоборимое препятствие; и когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду — мои движения, выражение моего лица, всё мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался — я действительно становился не-

естественным и натянутым. Я сам это чувствовал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал всё в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть, как все»,— и вдруг, среди смеха, печально опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее,— словом, вертелся, как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе. Ну, теперь скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило, какая причина этой кропотливой возни с самим собою — кто знает? кто скажет?

Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четверке рядом припрег еще пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой, короткой веревкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трет хвост, заставляет ее бежать самым неестественным образом и придает всему ее телу вид запятой, всегда возбуждает мое глубокое сожаление. Я заметил ямщику, что, кажется, можно было на сей раз обойтись без пятой лошади... Он помолчал, тряхнул затылком, стегнул ее взатяжку раз десяток кнутом через худую спину под раздутый живот — и не без усмешки промолвил: «Ведь вишь, в самом деле, приплелась! На кой чёрт?»

И я вот так же приплелся... Да, благо, станция недалеко.

Лишний... Я обещался доказать справедливость моего мнения и исполню свое обещание. Не считаю нужным упоминать о тысяче мелочей, ежедневных происшествий и случаев, которые, впрочем, в глазах всякого мыслящего человека могли бы послужить неопровержимыми доказательствами в мою пользу, то есть в пользу моего воззрения; лучше начну прямо с одного довольно важного случая, после которого, вероятно, уже не останется никакого сомнения насчет точности слова: лишний. Повторяю: я не намерен вдаваться в подробности, но не могу пройти молчанием одно довольно любопытное и

замечательное обстоятельство, а именно: странное обращение со мной моих приятелей (у меня тоже были приятели) всякий раз, когда я им попадался навстречу или даже к ним заходил. Им становилось словно неловко; они, идя мне навстречу, как-то не совсем естественно улыбались, глядели мне не в глаза, не на ноги, как иные это делают, а больше в щеки, торопливо пожимали мне руку, торопливо произносили: «А! здравствуй, Чулкатурин!» (меня судьба одолжила таким прозванием) или: «А, вот и Чулкатурин», тотчас отходили в сторону и даже некоторое время оставались потом неподвижными, словно силились что-то припомнить. Я всё это замечал, потому что не лишен проницательности и дара наблюдения; я вообще неглуп; мне даже иногда в голову приходят мысли довольно забавные, не совсем обыкновенные; но так как я человек лишний и с замочком внутри, то мне и жутко высказать свою мысль, тем более что я наперед знаю, что я ее прескверно выскажу. Мне даже иногда странным кажется, как это люди говорят, и так просто, свободно... Экая прыть, подумаешь. То есть, признаться сказать, и у меня, несмотря на мой замочек, частенько чесался язык; но действительно произносил слова я только в молодости, а в более зрелые лета почти всякий раз мне удавалось переломить себя. Скажу, бывало, вполголоса: «А вот мы лучше немножко помолчим», и успокоюсь. На молчание-то мы все горазды; особенно наши женщины этим взяли: иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот. Но дело не в том, и не мне критиковать других. Приступаю к обещанному рассказу.

Несколько лет тому назад, благодаря стечению весьма ничтожных, но для меня очень важных обстоятельств, пришлось мне провести месяцев шесть в уездном городе О... Город этот весь выстроен на косогоре, и очень неудобно выстроен. Жителей в нем считается около восьмисот, бедности необыкновенной, домишки совершенно ни на что не похожи; на главной улице, под предлогом мостовой, изредка белеют грозные плиты неотесанного известняка, вследствие чего ее объезжают даже телеги; по самой середине изумительно неопрятной площади возвышается крошечное желтоватое строение

с темными дирами, а в дирах сидят люди в больших картузах и притворяются, будто торгуют; тут же торчит необыкновенно высокий пестрый шест, а возле шеста, для порядка, по приказу начальства, держится воз желтого сена и ходит одна казенная курица. Словом, в городе О... житье хоть куда. В первые дни моего пребывания в этом городе я чуть с ума не сошел от скуки. Я должен сказать о себе, что я хотя, конечно, и лишний человек, но не по собственной охоте; я сам болен, а всё больное терпеть не могу... Я и от счастья бы не прочь, я даже старался подойти к нему и справа и слева... И потому не удивительно, что и я могу скучать, как всякий другой смертный. Я находился в городе О... по служебным делам...

Терентьевна решительно поклялась уморить меня. Вот образчик нашего разговора:

Терентьевна. О-ох, батюшка! что вы это всё пишете? Вам нездорово писать-то.

Я. Да скучно, Терентьевна!

Она. А вы напейтесь чайку да лягте. Бог даст, вспотеете, соснете маненько.

Я. Да я не хочу спать.

Она. Ах, батюшка! что вы это? Господь с вами! Лягте-ка, лягте: оно лучше.

Я. Я и без того умру, Терентьевна!

Она. Сохрани господь и помилуй... Что ж, прикажете чайку?

Я. Я недели не проживу, Терентьевна!

Она. И-и, батюшка! что вы это?.. Так я пойду самоварчик поставлю.

О дряхлое, желтое, беззубое существо! Неужели и для тебя я не человек!

24 марта. Трескучий мороз.

В самый день моего прибытия в город О... вышеупомянутые служебные дела заставили меня сходить к некоему Ожогину, Кирилле Матвеевичу, одному из главных чиновников уезда; но познакомился я с ним, или, как говорится, сблизился, спустя две недели. Дом его находился на главной улице и отличался от всех других величиной, крашеной крышей и двумя львами на воротах, из той породы львов, необыкновенно похожих на неудавшихся собак, родина которым Москва.

По одним уже этим львам можно было заключить, что Ожогин человек с достатком. И действительно: у него было душ четыреста крестьян; он принимал у себя всё лучшее общество города О... и слыл хлебосолом. К нему ездил и городничий на широких рыжих дрожках парой, необыкновенно крупный, словно из залежалого материала скроенный человек; ездили прочие чиновники: стряпчий, желтенькое и злобненькое существо; остряк землемер — немецкого происхождения, с татарским лицом; офицер путей сообщения — нежная душа, певец, но сплетник; бывший уездный предводитель — господин с крашеными волосами, взбитой манишкой, панталонами в обтяжку и тем благороднейшим выражением лица, которое так свойственно людям, побывавшим под судом; ездили также два помещика, друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потертые, из которых младший постоянно уничтожал старшего и зажимал ему рот одним и тем же упреком: «Да полноте, Сергей Сергеич: куда вам? Ведь вы слово: пробка — пишете с буки. Да, господа,— продолжал он со всем жаром убеждения, обращаясь к присутствующим,— Сергей Сергеич пишет не пробка, а бробка». И все присутствующие смеялись, хотя, вероятно, ни один из них не отличался особенным искусством в правописании; а несчастный Сергей Сергеич умолкал и с замирающей улыбкой преклонял голову. Но я забываю, что мое время рассчитано, и вдаюсь в слишком подробные описания. Итак, без дальних околичностей: Ожогин был женат, у него была дочь, Елизавета Кирилловна, и я в эту дочь влюбился.

Сам Ожогин был человек дюжинный, не дурной и не хороший; жена его сбивалась на застарелого цыпленка; но дочь их вышла не в своих родителей. Она была очень недурна собой, живого и кроткого нрава. Ее серые, светлые глаза глядели добродушно и прямо из-под ребячески приподнятых бровей; она почти постоянно улыбалась и смеялась тоже довольно часто. Свежий голос ее звучал очень приятно; двигалась она вольно, быстро — и весело краснела. Одевалась она не слишком изящно; к ней шли одни простые платья. Я вообще не скоро знакомился, и если мне с кем-нибудь было с первого раза легко — что, впрочем, почти никогда не случалось,— это, признаюсь, сильно гово-

рило в пользу нового знакомого. С женщинами же я вовсе не умел обращаться и в присутствии их либо хмурился и принимал свирепый вид, либо глупейшим образом скалил зубы и от замешательства вертел языком во рту. С Елизаветой Кирилловной, напротив, я с первого же раза почувствовал себя дома. Вот каким образом это случилось. Прихожу я однажды перед обедом к Ожогину, спрашиваю: «Дома?» Говорят: «Дома, одеваются; пожалуйте в залу». Я в залу; смотрю, у окна стоит, ко мне спиной, девица в белом платье и держит в руках клетку. Меня, по обыкновению, слегка покоробило; однако я ничего, только кашлянул для приличия. Девица быстро обернулась, так быстро, что локоны ее ударили ей в лицо, увидела меня, поклонилась и с улыбкой показала мне ящичек, до половины наполненный зернами. «Вы позволите?» Я, разумеется, как водится в таких случаях, сперва наклонил голову и в то же время быстро согнул и выпрямил колени (словно кто ударил меня сзади в поджилки), что, как известно, служит признаком отличного воспитания и приятной развязности в обхождении, а потом улыбнулся, поднял руку и раза два осторожно и мягко провел ею по воздуху. Девица тотчас отвернулась от меня, вынула из клетки дощечку, начала сильно скрести по ней ножом и вдруг, не переменяя положения, произнесла следующие слова: «Это папенькин снегирь... Вы любите снегирей?» — «Я предпочитаю чижей»,— отвечал я не без некоторого усилия. «А! Я тоже люблю чижей; но посмотрите на него, какой он хорошенький. Посмотрите, он не боится. (Меня удивляло то, что я не боялся.) Подойдите. Его зовут Попка». Я подошел, нагнулся. «Не правда ли, какой он милый?» Она обернулась ко мне лицом; но мы так близко стояли друг к другу, что ей пришлось немного откинуть голову, чтобы взглянуть на меня своими светлыми глазками. Я посмотрел на нее: всё ее молодое, розовое лицо так дружелюбно улыбалось, что и я улыбнулся и чуть не засмеялся от удовольствия. Дверь растворилась: вошел господин Ожогин. Я тотчас подошел к нему, заговорил с ним очень непринужденно, сам не знаю как остался обедать, высидел весь вечер; а на другой день лакей Ожогина, длинноватый и подслеповатый человек, уже улыбался мне, как другу дома, стаскивая с меня шинель.

Найти приют, свить себе хотя временное гнездо, знать отраду ежедневных отношений и привычек — этого счастия я, лишний, без семейных воспоминаний человек, до тех пор не испытал. Если б во мне хоть что-нибудь напоминало цветок и если б это сравнение не было так избито, я бы решился сказать, что я с того дня расцвел душою. Всё во мне и вокруг меня так мгновенно переменилось! Вся жизнь моя озарилась любовью, именно вся, до самых мелочей, словно темная, заброшенная комната, в которую внесли свечку. Я ложился спать и вставал, одевался, завтракал, трубку курил — иначе, чем прежде; я даже на ходу подпрыгивал — право, словно крылья вдруг выросли у меня за плечами. Я, помнится, ни минуты не находился в неизвестности насчет чувства, внушенного мне Елизаветой Кирилловной: я с первого дня влюбился в нее страстно и с первого же дня знал, что влюбился. В течение трех недель я каждый день ее видел. Эти три недели были счастливейшим временем в моей жизни; но воспоминание о них мне тягостно. Я не могу думать о них одних: мне невольно представляется то, что последовало за ними, и ядовитая горечь медлительно охватит только что разнежившееся сердце.

Когда человеку очень хорошо, мозг его, как известно, весьма мало действует. Спокойное и радостное чувство, чувство удовлетворения, проникает всё его существо; он поглощен им; сознание личности в нем исчезает — он блаженствует, как говорят дурно воспитанные поэты. Но когда, наконец, минует это «очарование», человеку иногда становится досадно и жаль, что он посреди счастия так мало наблюдал за самим собою, что он размышлением, воспоминанием не удвоивал, не продолжал своих наслаждений... как будто «блаженствующему» человеку есть когда, да и стоит размышлять о своих чувствах! Счастливый человек — что муха на солнце. Оттого-то и мне, когда я вспоминаю об этих трех неделях, почти невозможно удержать в уме точное, определенное впечатление, тем более что в течение всего этого времени ничего особенно замечательного не произошло между нами... Эти двадцать дней являются мне чем-то теплым, молодым и пахучим, какой-то светлой полосою в моей тусклой и серенькой жизни. Память моя становится вдруг неумолимо верна

и ясна только с того мгновения, когда на меня, говоря словами тех же дурно воспитанных сочинителей, обрушились удары судьбы.

Да, эти три недели... Впрочем, они не то чтоб не оставили во мне никаких образов. Иногда, когда мне случается долго думать о том времени, иные воспоминания внезапно выплывают из мрака прошедшего — вот как звезды неожиданно выступают на вечернем небе навстречу внимательно устремленным глазам. Особенно памятной осталась мне одна прогулка в роще за городом. Нас было четверо: старуха Ожогина, Лиза, я и некто Бизьмёнков, мелкий чиновник города О..., белокуренький, добренький и смирненький человек. Мне еще о нем придется поговорить. Сам г. Ожогин остался дома: у него от слишком продолжительного сна голова разболелась. День был чудесный, теплый и тихий. Должно заметить, что увеселительные сады и общественные гулянья не в духе русского человека. В губернских городах, в так называемых публичных садах, вы ни в какое время года не встретите живой души; разве какая-нибудь старуха, кряхтя, присядет на пропеченную солнцем зеленую скамейку, в соседстве больного деревца, да и то коли поблизости нет засаленной лавочки у подворотни. Но если в соседстве города находится жиденькая березовая рощица, купцы, а иногда и чиновники, по воскресным и праздничным дням, охотно туда ездят с самоварами, пирогами, арбузами, становят всю эту благодать на пыльную траву возле самой дороги, садятся кругом и кушают и чайничают в поте лица до самого вечера. Именно такого рода рощица существовала тогда в двух верстах от города О... Мы приехали туда после обеда, напились как следует чаю и потом все четверо отправились походить по роще. Бизьмёнков взял под руку старуху Ожогину, я — Лизу. День уже склонялся к вечеру. Я находился тогда в самом разгаре первой любви (не более двух недель прошло со времени нашего знакомства), в том состоянии страстного и внимательного обожания, когда вся ваша душа невинно и невольно следит за каждым движением любимого существа, когда вы не можете насытиться его присутствием, наслушаться его голоса, когда вы улыбаетесь и смотрите выздоровевшим ребенком, и несколько опытный человек на сто шагов с первого взгляда должен

узнать, что с вами происходит. Мне до того дня еще ни разу не случалось держать Лизу под руку. Мы шли с ней рядом, тихо выступая по зеленой траве. Легкий ветерок словно порхал вокруг нас, между белыми стволами берез, изредка бросая мне в лицо ленту ее шляпки. Я неотступно следил за ее взором, пока она, наконец, весело не обращалась ко мне, и мы оба улыбались друг другу. Птицы одобрительно чирикали над нами, голубое небо ласково сквозило сквозь мелкую листву. Голова моя кружилась от избытка удовольствия. Спешу заметить: Лиза нисколько не была в меня влюблена. Я ей нравился; она вообще никого не дичилась, но не мне было суждено возмутить ее детское спокойствие. Она шла под руку со мной, как бы с братом. Ей было тогда семнадцать лет... И, между тем, в тот самый вечер, при мне, началось в ней то внутреннее, тихое брожение, которое предшествует превращению ребенка в женщину... Я был свидетелем этой перемены всего существа, этого невинного недоумения, этой тревожной задумчивости; я первый подметил эту внезапную мягкость взора, эту звенящую неверность голоса — и, о глупец! о лишний человек! в течение целой недели я не устыдился предполагать, что я, *я* был причиной этой перемены.

Вот каким образом это случилось.

Мы гуляли довольно долго, до самого вечера, и мало разговаривали. Я молчал, как все неопытные любовники, а ей, вероятно, нечего было мне сказать; но она словно о чем-то размышляла и как-то особенно покачивала головой, задумчиво кусая сорванный лист. Иногда она принималась идти вперед, так решительно... а потом вдруг останавливалась, ждала меня и оглядывалась кругом с приподнятыми бровями и рассеянной усмешкой. Накануне мы с ней вместе прочли «Кавказского пленника». С какой жадностью она меня слушала, опершись лицом на обе руки и прислонясь грудью к столу! Я было заговорил о вчерашнем чтении; она покраснела, спросила меня, дал ли я перед отъездом снегирю конопляного семени, громко запела какую-то песенку и вдруг замолчала. Роща с одной стороны кончалась довольно высоким и крутым обрывом; внизу текла извилистая речка, а за ней на необозримое пространство тянулись, то слегка вздымаясь как волны, то широко расстилаясь скатертью, бесконечные луга, кой-

где перерезанные оврагами. Мы с Лизой первые вышли на край рощи; Бизьмёнков остался позади с старухой. Мы вышли, остановились, и оба невольно прищурили глаза: прямо против нас, среди раскаленного тумана, садилось багровое, огромное солнце. Полнеба разгоралось и рдело; красные лучи били вскользь по лугам, бросая алый отблеск даже на тенистую сторону оврагов, ложились огнистым свинцом по речке, там, где она не пряталась под нависшие кусты, и словно упирались в грудь обрыву и роще. Мы стояли, облитые горячим сиянием. Я не в состоянии передать всю страстную торжественность этой картины. Говорят, одному слепому красный цвет представлялся трубным звуком; не знаю, насколько это сравнение справедливо, но действительно было что-то призывное в этом пылающем золоте вечернего воздуха, в багряном блеске неба и земли. Я вскрикнул от восторга и тотчас обратился к Лизе. Она глядела прямо на солнце. Помнится, пожар зари отражался маленькими огненными пятнышками в ее глазах. Она была поражена, глубоко тронута. Она ничего не отвечала на мое восклицание, долго не шевелилась, потупила голову... Я протянул к ней руку; она отвернулась от меня и вдруг залилась слезами. Я глядел на нее с тайным, почти радостным недоумением... Голос Бизьмёнкова раздался в двух шагах от нас. Лиза быстро отерла слезы и с нерешительной улыбкой посмотрела на меня. Старуха вышла из рощи, опираясь на руку своего белокурого вожатая; оба в свою очередь полюбовались видом. Старуха спросила что-то у Лизы, и я, помню, невольно вздрогнул, когда ей в ответ прозвучал, как надтреснувшее стекло, разбитый голосок ее дочери. Между тем солнце закатилось, заря начала гаснуть. Мы пошли назад. Я опять взял Лизу под руку. В роще было еще светло, и я ясно мог различить ее черты. Она была смущена и не поднимала глаз. Румянец, разлитый по всему ее лицу, не исчезал: словно она всё еще стояла в лучах заходящего солнца... Рука ее чуть касалась моей. Я долго не мог начать речи: так сильно билось во мне сердце. Сквозь деревья вдали замелькала карета; кучер шагом ехал к нам навстречу по рыхлому песку дороги.

— Лизавета Кирилловна,— промолвил я, наконец,— отчего вы плакали?

— Не знаю,— возразила она после небольшого молчания, посмотрела на меня своими кроткими, еще влажными от слез глазами — взгляд их показался мне измененным — и опять умолкла.

— Вы, я вижу, любите природу...— продолжал я.

Я совсем не то хотел сказать, да и эту последнюю фразу язык мой едва пролепетал до конца. Она покачала головой. Я более не мог произнести слова... я ждал чего-то... не признанья — где! я ждал доверчивого взгляда, вопроса... Но Лиза глядела на землю и молчала. Я повторил еще раз вполголоса: «Отчего?» — и не получил ответа. Ей, я это видел, становилось неловко, почти стыдно.

Спустя четверть часа мы уже сидели в карете и подъезжали к городу. Дружной рысью бежали лошади; мы быстро мчались сквозь темнеющий, влажный воздух. Я вдруг разговорился, беспрестанно обращался то к Бизьмёнкову, то к Ожогиной, не глядел на Лизу, но мог заметить, что из угла кареты взор ее не раз останавливался на мне. Дома она встрепенулась, однако не захотела читать со мной и скоро отправилась спать. Перелом, тот перелом, о котором я говорил, в ней совершился. Она перестала быть девочкой, она тоже начала ждать... как я... чего-то. Она недолго ждала.

Но я в ту же ночь вернулся к себе на квартиру в совершенном очаровании. Смутное — не то предчувствие, не то подозрение, которое возникло было во мне, исчезло: внезапную принужденность в обхождении Лизы со мною я приписывал девической стыдливости, робости... Разве я не читал тысячу раз во многих сочинениях, что первое появление любви всегда волнует и пугает девицу? Я чувствовал себя весьма счастливым и уже строил в уме различные планы...

Если б кто-нибудь сказал мне тогда на ухо: «Врешь, любезный! Тебе совсем не то предстоит, братец: тебе предстоит умереть одиноко, в дрянном домишке, под несносное ворчанье старой бабы, которая ждет не дождется твоей смерти, чтобы продать за бесценок твои сапоги...»

Да, поневоле скажешь с одним русским философом: «Как знать, чего не знаешь?» До завтра.

25 марта. Белый зимний день.

Я перечел то, что вчера написал, и чуть-чуть не изорвал всей тетради. Мне кажется, я слишком пространно и слишком сладко рассказываю. Впрочем, так как остальные мои воспоминания о том времени не представляют ничего отрадного, кроме той отрады особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран, то почему же и не побаловать себя? Но надобно и честь знать. И потому продолжаю без всякой сладости.

В течение целой недели, после прогулки за городом, положение мое в сущности нисколько не улучшилось, хотя перемена в Лизе становилась заметнее с каждым днем. Я, как уже сказано, толковал эту перемену в самую для меня выгодную сторону... Несчастие людей одиноких и робких — от самолюбия робких — состоит именно в том, что они, имея глаза и даже растаращив их, ничего не видят или видят всё в ложном свете, словно сквозь окрашенные очки. Их же собственные мысли и наблюдения мешают им на каждом шагу. В начале нашего знакомства Лиза обращалась со мной доверчиво и вольно, как ребенок; может быть, даже в ее расположении ко мне было нечто более простой, детской привязанности... Но когда совершился в ней тот странный, почти внезапный перелом, она, после небольшого недоумения, почувствовала себя стесненной в моем присутствии; она невольно отворачивалась от меня и в то же время грустила и задумывалась... Она ждала... чего? сама не знала... а я... я, как уже сказано, радовался этой перемене... Я, ей-богу, чуть-чуть не замирал, как говорится, от восторга. Впрочем, я готов согласиться, что и другой на моем месте мог бы обмануться... У кого нет самолюбия? Нечего и говорить, что это всё мне стало ясным только в последствии времени, когда мне пришлось опустить свои ошибенные, и без того несильные, крылья.

Недоразумение, возникшее между мной и Лизой, продолжалось целую неделю, — и в этом нет ничего удивительного: мне случалось быть свидетелем недоразумений, продолжавшихся годы за годами. Да и кто сказал, что одна истина действительна? Ложь так же живуча, как и истина, если не более. Точно, помнится,

во мне даже в течение этой недели изредка шевелился червь... но наш брат, одинокий человек, опять-таки скажу, так же не способен понять то, что в нем происходит, как и то, что совершается перед его глазами. Да и притом: разве любовь — естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь — болезнь; а для болезни закон не писан. Положим, у меня сердце иногда неприятно сжималось; да ведь всё во мне было перевернуто кверху дном. Как тут прикажете узнать, что ладно и что неладно, какая причина, какое значение каждого отдельного ощущения?

Но как бы то ни было, все эти недоразумения, предчувствия и надежды разрешились следующим образом.

Однажды — дело было утром, часу в двенадцатом — не успел я войти в переднюю г. Ожогина, как незнакомый, звонкий голос раздался в зале, дверь распахнулась и, в сопровождении хозяина, показался на пороге стройный и высокий мужчина лет двадцати пяти, быстро накинул на себя военную шинель, лежавшую на прилавке, ласково простился с Кириллом Матвеичем, проходя мимо меня, небрежно коснулся своей фуражки — и исчез, звеня шпорами.

— Кто это? — спросил я Ожогина.

— Князь Н *,— отвечал мне тот с озабоченным лицом,— из Петербурга прислан: рекрутов принимать. Да где ж это люди? — продолжал он с досадой,— шинели ему никто не подал.

Мы вошли в залу.

— Давно он приехал? — спросил я.

— Говорит, вчера вечером. Я ему предложил комнату у себя, да он отказался. Впрочем, он, кажется, очень милый малый.

— Долго он у вас пробыл?

— С час. Он попросил меня представить его Олимпиаде Никитичне.

— И вы представили его?

— Как же.

— А с Лизаветой Кирилловной он...

— Он и с ней познакомился — как же.

Я помолчал.

— Надолго он сюда приехал, вы не знаете?

— Да я думаю, ему здесь недели две придется пробыть с лишком.

И Кирилла Матвеич побежал одеваться.

Я прошелся несколько раз по зале. Не помню, чтобы приезд князя Н * произвел во мне тогда же какое-нибудь особенное впечатление, кроме того неприязненного чувства, которое обыкновенно овладевает нами при появлении нового лица в нашем домашнем кружку. Может быть, к этому чувству примешивалось еще нечто вроде зависти робкого и темного москвича к блестящему петербургскому офицеру. «Князь,— думал я,— столичная штучка: на нас свысока смотреть будет...» Не более минуты видел я его, но успел заметить, что он был хорош собой, ловок и развязен. Походив некоторое время по зале, я наконец остановился перед зеркалом, достал из кармана гребешок, придал моим волосам живописную небрежность и, как это иногда случается, внезапно углубился в созерцание моего собственного лица. Помнится, мое внимание было заботливо сосредоточено на моем носе; мягковатые и неопределенные очертания этого члена не доставляли мне особенного удовольствия — как вдруг, в темной глубине наклоненного стекла, отражавшего почти всю комнату, отворилась дверь и показалась стройная фигура Лизы. Не знаю, почему я не шевельнулся и удержал на лице прежнее выражение. Лиза протянула голову, внимательно посмотрела на меня и, подняв брови, закусив губы и притаив дыхание, как человек, который рад, что его не заметили, осторожно подалась назад и тихонько потянула за собою дверь. Дверь слабо скрипнула. Лиза вздрогнула и замерла на месте... Я всё не шевелился... Она потянула за ручку опять и скрылась. Не было возможности сомневаться: выражение Лизина лица при виде моей особы, это выражение, в котором не замечалось ничего, кроме желания благополучно убраться назад, избегнуть неприятного свидания, быстрый отблеск удовольствия, который я успел уловить в ее глазах, когда ей показалось, что ей точно удалось ускользнуть незамеченной,— всё это говорило слишком ясно: эта девушка меня не любит. Я долго, долго не мог отвести взора от неподвижной, немой двери, снова белым пятном появившейся в глубине зеркала; хотел было улыбнуться своей собственной вытянутой фигуре — опустил голову, вернулся домой и бросился на диван. Мне было необыкновенно тяжело, так тяжело, что я не

мог плакать… да и о чем было плакать?.. «Неужели? — твердил я беспрестанно, лежа, как убитый, на спине и сложив руки на груди,— неужели?..» Как вам нравится это «неужели»?

26 марта. Оттепель.

Когда я на другой день, после долгих колебаний и внутренно замирая, вошел в знакомую гостиную Ожогиных, я уже был не тем человеком, каким они меня знали в течение трех недель. Все мои прежние замашки, от которых я было начал отвыкать под влиянием нового для меня чувства, внезапно появились опять и завладели мною, как хозяева, вернувшиеся в свой дом. Люди, подобные мне, вообще руководствуются нестолько положительными фактами, сколько собственными впечатлениями: я, не далее как вчера мечтавший о «восторгах взаимной любви», сегодня уже нимало не сомневался в своем «несчастии», и совершенно отчаивался, ходя я сам не был в состоянии сыскать какой-нибудь разумный предлог своему отчаянию. Не мог же я ревновать к князю Н *, и какие бы за ним ни водились достоинства, одного его появления не было достаточно, чтобы разом искоренить то расположение Лизы ко мне… Да полно, существовало ли это расположение? Я припоминал прошедшее. «А прогулка в лесу? — спрашивал я самого себя.— А выражение ее лица в зеркале? Но,— продолжал я,— прогулка в лесу, кажется… Фу ты, боже мой! что я за ничтожное существо!» — восклицал я вслух, наконец. Вот какого рода недосказанные, недодуманные мысли, тысячу раз возвращаясь, однообразным вихрем кружились в голове моей. Повторяю, я вернулся к Ожогиным тем же мнительным, подозрительным, натянутым человеком, каким был с детства…

Я застал всё семейство в гостиной; Бизьмёнков тут же сидел, в уголку. Все казались в духе; особенно Ожогин так и сиял и с первого же слова сообщил мне, что князь Н * пробыл у них вчера целый вечер. Лиза спокойно приветствовала меня. «Ну,— сказал я сам себе,— теперь я понимаю, отчего вы в духе». Признаюсь, вторичное посещение князя меня озадачило. Я этого не ожидал. Вообще наш брат ожидает всего на свете, кроме того, что в естественном порядке вещей должно слу-

читься. Я надулся и принял вид оскорбленного, но великодушного человека; хотел наказать Лизу своею немилостью, из чего, впрочем, должно заключить, что я все-таки еще не совершенно отчаивался. Говорят, в иных случаях, когда вас действительно любят, даже полезно помучить обожаемое существо; но в моем положении это было невыразимо глупо: Лиза самым невинным образом не обратила на меня внимания. Одна старуха Ожогина заметила мою торжественную молчаливость и заботливо осведомилась о моем здоровье. Я, разумеется, с горькою улыбкой отвечал ей, что я, слава богу, совершенно здоров. Ожогин продолжал распространяться насчет своего гостя; но, заметив, что я неохотно отвечал ему, он обращался более к Бизьмёнкову, который слушал его с большим вниманием, как вдруг вошел человек и доложил о князе Н *. Хозяин вскочил и побежал ему навстречу; Лиза, на которую я тотчас устремил орлиный взор, покраснела от удовольствия и зашевелилась на стуле. Князь вошел, раздушенный, веселый, ласковый...

Так как я не сочиняю повести для благосклонного читателя, а просто пишу для собственного удовольствия, то мне, стало быть, не для чего прибегать к обычным уловкам господ литераторов. Скажу сейчас же, без дальнего отлагательства, что Лиза с первого же дня страстно влюбилась в князя, и князь ее полюбил -- отчасти от нечего делать, отчасти от привычки кружить женщинам голову, но также и оттого, что Лиза точно была очень милое существо. В том, что они полюбили друг друга, не было ничего удивительного. Он, вероятно, никак не ожидал найти подобную жемчужину в такой скверной раковине (я говорю о богомерзком городе О...), а она до тех пор и во сне не видала ничего хотя несколько похожего на этого блестящего, умного, пленительного аристократа.

После первых приветствий Ожогин представил меня князю, который обошелся со мной очень вежливо. Он вообще был очень вежлив со всеми и, несмотря на несоразмерное расстояние, находящееся между ним и нашим темным уездным кружком, умел не только никого не стеснять, но даже показать вид, как будто он был нам равный и только случайным образом жил в С.-Петербурге.

Этот первый вечер... О, этот первый вечер! В счастливые дни нашего детства учители рассказывали нам и поставляли в пример черту мужественного терпения того молодого лакедемонца, который, украв лисицу и спрятав ее под свою хламиду, ни разу не пикнув, позволил ей съесть все свои потроха и таким образом предпочел самую смерть позору... Я не могу найти лучшего сравнения для выражения моих несказанных страданий в течение того вечера, когда я в первый раз увидел князя подле Лизы. Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчание, тоскливое и напрасное желание уйти — всё это, вероятно, было весьма замечательно в своем роде. Не одна лисица рылась в моих внутренностях: ревность, зависть, чувство своего ничтожества, бессильная злость меня терзали. Я не мог не сознаться, что князь был действительно весьма любезный молодой человек... Я пожирал его глазами; я, право, кажется, забывал мигать, глядя на него. Он разговаривал не с одной Лизой, но, конечно, говорил только для нее одной. Я, должно быть, сильно надоедал ему... Он, вероятно, скоро догадался, что имел дело с устраненным любовником, но из сожаления ко мне, а также из глубокого сознания моей совершенной безопасности обращался со мной необыкновенно мягко. Можете себе представить, как это меня оскорбляло! В течение вечера я, помнится, попытался загладить свою вину; я (не смейтесь надо мной, кто бы вы ни были, кому попадутся эти строки на глаза, тем более что это было моей последней мечтой)... я, ей-богу, посреди моих разнообразных терзаний вдруг вообразил, что Лиза хочет наказать меня за мою надменную холодность в начале моего посещения, что она сердится на меня и только с досады кокетничает с князем... Я улучил время и, с смиренной, но ласковой улыбкой подойдя к ней, пробормотал: «Довольно, простите меня... впрочем, я это не оттого, чтобы я боялся»,— и вдруг, не дожидаясь ее ответа, придал лицу своему необыкновенно живое и развязное выражение, криво усмехнулся, протянул руку над головой в направлении потолка (я, помнится, желал поправить шейный платок) и даже собирался повернуться на одной ножке, как бы желая сказать: «Всё кончено, я в духе, будемте все в духе», однако не повер-

нулся, боясь упасть по причине какой-то неестественной окоченелости в коленях... Лиза решительно не поняла меня, с удивлением посмотрела мне в лицо, торопливо улыбнулась, как бы желая поскорее отделаться, и снова подошла к князю. Как я ни был слеп и глух, но не мог внутренно не сознаться, что она вовсе не сердилась и не досадовала на меня в эту минуту: она просто и не думала обо мне. Удар был решительный: последние мои надежды с треском рухнули, как ледяная глыба, прохваченная весенним солнцем, внезапно рассыпается на мелкие куски. Я был разбит наголову с первого же натиска и, как пруссаки под Иеной, в один день, разом всё потерял. Нет, она не сердилась на меня!..

Увы, напротив! Ее самое — я это видел — подмывало, как волной. Словно молодое деревцо, уже до половины отставшее от берега, она с жадностью наклонялась над потоком, готовая отдать ему навсегда и первый расцвет своей весны и всю жизнь свою. Кому довелось быть свидетелем подобного увлечения, тот пережил горькие минуты, если он сам любил и не был любимым. Я вечно буду помнить это пожирающее внимание, эту нежную веселость, это невинное самозабвение, этот взгляд, еще детский и уже женский, эту счастливую, словно расцветающую улыбку, не покидавшую полураскрытых губ и зардевшихся щек... Всё, что Лиза смутно предчувствовала во время нашей прогулки в роще, сбылось теперь — и она, отдаваясь вся любви, в то же время вся утихала и светлела, как молодое вино, которое перестает бродить, потому что его время настало...

Я имел терпение высидеть этот первый вечер и последующие вечера... все до конца! Я ни на что не мог надеяться. Лиза и князь с каждым днем более и более привязывались друг к другу... Но я решительно потерял чувство собственного достоинства и не мог оторваться от зрелища своего несчастия. Помнится, однажды я попытался было не пойти, с утра дал себе честное слово остаться дома — и в восемь часов вечера (я обыкновенно выходил в семь), как сумасшедший, вскочил, надел шапку и, задыхаясь, прибежал в гостиную Кирилла Матвеича. Положение мое было необыкновенно нелепо: я упорно молчал, иногда по це-

лым дням не произносил звука. Я, как уже сказано, никогда не отличался красноречием; но теперь всё, что было во мне ума, словно улетучивалось в присутствии князя, и я оставался гол как сокол. Притом я наедине до того заставлял работать мой несчастный мозг, медленно передумывая всё замеченное или подмеченное мною в течение вчерашнего дня, что, когда я возвращался к Ожогиным, у меня едва доставало силы опять наблюдать. Меня щадили, как больного: я это видел. Я каждое утро принимал новое, окончательное решение, большею частью мучительно высиженное в течение бессонной ночи: я то собирался объясниться с Лизой, дать ей дружеский совет... но когда мне случалось быть с ней наедине, язык мой вдруг переставал действовать, словно застывал, и мы оба с тоской ожидали прибытия третьего лица; то хотел бежать, разумеется навсегда, оставив моему предмету письмо, исполненное упреков, и уже однажды начал было это письмо, но чувство справедливости во мне еще не совсем исчезло: я понял, что не вправе никого ни в чем упрекать, и бросил в огонь свою цидулу; то я вдруг великодушно приносил всего себя в жертву, благословлял Лизу на счастливую любовь и из угла кротко и дружелюбно улыбался князю. Но жестокосердые любовники не только не благодарили меня за мою жертву, даже не замечали ее и, по-видимому, не нуждались ни в моих благословениях, ни в моих улыбках... Тогда я, с досады, внезапно переходил в совершенно противоположное настроение духа. Я давал себе слово, закутавшись плащом наподобие испанца, из-за угла зарезать счастливого соперника и с зверской радостью воображал себе отчаяние Лизы... Но, во-первых, в городе О... подобных углов было очень немного, а во-вторых — бревенчатый забор, фонарь, будочник в отдалении... нет! у такого угла как-то приличнее торговать бубликами, чем проливать кровь человеческую. Я должен признаться, что между прочими средствами к избавлению, как я весьма неопределенно выражался, беседуя с самим собою,— я вздумал было обратиться к самому Ожогину... направить внимание этого дворянина на опасное положение его дочери, на печальные последствия ее легкомыслия... Я даже однажды заговорил с ним об этом щекотливом предмете, но так хитро и туманно повел

речь, что он слушал, слушал меня — и вдруг, словно спросонья, сильно и быстро потер ладонью по всему лицу, не щадя носа, фыркнул и отошел от меня в сторону. Нечего и говорить, что я, приняв это решение, уверял себя, что действую из самых бескорыстных видов, желаю общего блага, исполняю долг друга дома... Но смею думать, что если б даже Кирилла Матвеич не пресек моих излияний, у меня все-таки недостало бы храбрости докончить свой монолог. Я иногда принимался с важностью древнего мудреца взвешивать достоинства князя; иногда утешал себя надеждою, что это только так, что Лиза опомнится, что ее любовь — ненастоящая любовь... о нет! Словом, я не знаю мысли, над которой не повозился бы я тогда. Одно только средство, признаюсь откровенно, никогда мне не приходило в голову, а именно: я ни разу не подумал лишить себя жизни. Отчего это мне не пришло в голову, не знаю... Может быть, я уже тогда предчувствовал, что мне и без того жить недолго.

Понятно, что при таких невыгодных данных поведение мое, обхождение с людьми более чем когда-нибудь отличалось неестественностию и напряжением. Даже старуха Ожогина — это тупорожденное существо — начинала дичиться меня и, бывало, не знала, с какой стороны ко мне подойти. Бизьмёнков, всегда вежливый и готовый к услугам, избегал меня. Мне уже тогда казалось, что я в нем имел собрата, что и он любил Лизу. Но он никогда не отвечал на мои намеки и вообще неохотно со мной разговаривал. Князь обращался с ним весьма дружелюбно; князь, можно сказать, уважал его. Ни Бизьмёнков, ни я — мы не мешали князю и Лизе; но он не чуждался их, как я, не глядел ни волком, ни жертвой — и охотно присоединялся к ним, когда они этого желали. Правда, он в этих случаях не отличался особенно шутливостью; но в его веселости и прежде было что-то тихое.

Таким образом прошло около двух недель. Князь не только был собой хорош и умен: он играл на фортепьяно, пел, довольно порядочно рисовал, умел рассказывать. Его анекдоты, почерпнутые из высших кругов столичной жизни, всегда производили сильное впечатление на слушателей, тем более сильное, что он как будто не придавал им особенного значения...

Следствием этой, если хотите, простой уловки князя было то, что он в течение своего непродолжительного пребывания в городе О... решительно очаровал все тамошнее общество. Очаровать нашего брата-степняка всегда очень легко человеку из высшего круга. Частые посещения князя у Ожогиных (он проводил у них все вечера), конечно, возбуждали зависть других господ дворян и чиновников; но князь, как человек светский и умный, не обошел ни одного из них, побывал у всех, всем барыням и барышням сказал хотя по одному ласковому слову, позволял кормить себя вычурно тяжелыми кушаньями и поить дрянными винами с великолепными названиями — словом, вел себя отлично, осторожно и ловко. Князь Н * вообще был человек веселого нрава, общежительный, любезный по наклонности, да тут еще, кстати, по расчету: как же ему было не успеть совершенно и во всем?

Со времени его приезда все в доме находили, что время летело с быстротой необыкновенной; всё шло прекрасно; старик Ожогин хотя и притворялся, что ничего не замечает, но, вероятно, тайком потирал себе руки при мысли иметь такого зятя; сам князь вел всё дело очень тихо и пристойно, как вдруг одно неожиданное происшествие...

До завтра. Сегодня я устал. Эти воспоминания раздражают меня даже на краю гроба. Терентьевна сегодня нашла, что мой носик уже завострился; а это, говорят, плохой знак.

27 марта. Оттепель продолжается.

Дела находились в вышеизложенном положении; князь и Лиза любили друг друга, старики Ожогины ждали, что-то будет; Бизьмёнков тут же присутствовал — о нем нечего было сказать другого; я бился, как рыба о лед, и наблюдал что было мочи,— помнится, я в то время поставил себе задачей по крайней мере не дать Лизе погибнуть в сетях обольстителя и вследствие этого начал обращать особенное внимание на горничных и на роковое «заднее» крыльцо — хотя я, с другой стороны, иногда по целым ночам мечтал о том, с каким трогательным великодушием я со временем протяну руку обманутой жертве и скажу ей: «Коварный изменил тебе; но я твой верный друг... Забудем прошедшее и будем счаст-

ливы!» — как вдруг по всему городу распространилась радостная весть: уездный предводитель намерен был дать большой бал, в честь почетного посетителя, в собственном своем имении Горностаевке, Губнякове тож. Все чины и власти города О... получили приглашение, начиная с городничего и кончая аптекарем, необыкновенно чпрым немцем с жестокими притязаниями на уменье говорить чисто по-русски, вследствие чего он беспрестанно и вовсе некстати употреблял сильные выражения, как, например: «Я чёрт меня завзем побери, сиводнэ маладец завзем...» Поднялись, как водится, страшные приготовления. Один косметик-лавочник продал шестнадцать темно-синих банок помады с надписью «à la jesminъ», с ером на конце. Барышни сооружали себе тугие платья с мучительным перехватом и мысом на желудке; матушки воздвигали на своих собственных головах какие-то грозные украшения, под предлогом чепцов; захлопотавшиеся отцы лежали, как говорится, без задних ног... Желанный день настал, наконец. Я был в числе приглашенных. От города до Горностаевки считалось девять верст. Кирилла Матвеич предложил мне место в своей карете; но я отказался... Так наказанные дети, желая хорошенько отомстить своим родителям, за столом отказываются от любимых кушаний. Притом я чувствовал, что мое присутствие стеснило бы Лизу. Бизьмёнков заменил меня. Князь поехал в своей коляске, я — на дрянных дрожках, нанятых мною за большие деньги для этого торжественного случая. Я не стану описывать этот бал. Всё в нем было как водится: музыканты с необыкновенно фальшивыми трубами на хорах, ошеломленные помещики с застарелыми семействами, лиловое мороженое, слизистый оршад, люди в стоптанных сапогах и вязаных бумажных перчатках, провинциальные львы с судорожно искаженными лицами и т. д., и т. д. ...И весь этот маленький мир вертелся вокруг своего солнца — вокруг князя. Потерянный в толпе, не замеченный даже сорокавосьмилетними девицами с красными прыщами на лбу и голубыми цветами на темени, я беспрестанно глядел то на князя, то на Лизу. Она была очень мило одета и очень хороша собой в тот вечер. Они только два раза танцевали друг с другом (правда, он с ней танцевал мазурку!), но по крайней мере *мне* казалось, что

между ними существовало какое-то тайное, непрерывное сообщение. Он, и не глядя на нее, не говоря с ней, всё как будто обращался к ней, и к ней одной; он был хорош и блестящ и мил с другими — для ней одной. Она, видимо, сознавала себя царицей бала — и любимой: ее лицо в одно и то же время сияло детской радостью, невинной гордостью и внезапно озарялось другим, более глубоким чувством. От ней веяло счастием. Я всё это замечал... Не в первый раз мне приходилось наблюдать за ними... Сперва это меня сильно огорчило, потом как будто тронуло, а наконец взбесило. Я внезапно почувствовал себя необыкновенно злым и, помнится, необыкновенно обрадовался этому новому ощущению и даже возымел некоторое к себе уважение. «Покажем им, что мы еще не погибли»,— сказал я самому себе. Когда загремели первые призывные звуки мазурки, я спокойно оглянулся, холодно и развязно подошел к одной длиннолицей барышне с красным и глянцевитым носом, неловко раскрытым, словно расстегнутым ртом и жилистой шеей, напоминавшей ручку контрабаса,— подошел к ней и, сухо щелкнув каблуками, пригласил ее. На ней было розовое, словно недавно и еще не совсем выздоровевшее платье; над головой у ней дрожала какая-то полинявшая, унылая муха на претолстой медной пружине, и вообще эта девица была, если можно так выразиться, вся насквозь наспиртована какой-то кислой скукой и застарелой неудачей. С самого начала вечера она не тронулась с места: никто и не думал пригласить ее. Один шестнадцатилетний белокурый юноша хотел было, за неимением другой дамы, обратиться к этой девице и уже сделал шаг в направлении к ней, да подумал, поглядел и проворно спрятался в толпу. Можете себе представить, с каким радостным изумлением она согласилась на мое предложение! Я торжественно повел ее через всю залу, отыскал два стула и сел с ней в кругу мазурки, в десятых парах, почти напротив князя, которому, разумеется, предоставили первое место. Князь, как уже сказано, танцевал с Лизой. Ни меня, ни моей дамы не беспокоили приглашениями; стало быть, времени для разговора у нас было достаточно. Правду сказать, моя дама не отличалась способностью произносить слова в связной речи: она употребляла свой рот более для исполнения какой-то

странной и дотоле мною невиданной улыбки вниз; причем глаза она поднимала вверх, словно невидимая сила растягивала ей лицо; но я и не нуждался в ее красноречии. Благо, я чувствовал себя злым и моя дама не внушала мне робости. Я пустился критиковать всё и всех на свете, особенно напирая на столичных молодчиков и петербургских мирлифлеров, и до того, наконец, расходился, что моя дама понемногу перестала улыбаться и вместо того, чтоб поднимать глаза кверху, начала вдруг — от изумления, должно быть,— коситься, и притом так странно, словно она в первый раз заметила, что у ней есть нос на лице; а мой сосед, один из тех львов, о которых говорено было выше, не раз окинул меня взором, даже оборотился ко мне с выражением актера на сцене, просыпающегося в незнакомой стороне, как бы желая сказать: «И ты туда же?» Впрочем, распевая, как говорится, соловьем, я всё продолжал наблюдать за князем и Лизой. Их беспрестанно приглашали; но я менее страдал, когда они оба танцевали, и даже тогда, когда они сидели рядом и, разговаривая друг с другом, улыбались той кроткой улыбкой, которая не хочет сойти с лица счастливых любовников,— даже тогда я не столько томился; но когда Лиза порхала по зале с каким-нибудь ухарским фертом, а князь, с ее голубым газовым шарфом на коленях, словно любуясь своей победой, задумчиво следил за ней глазами,— тогда, о, тогда я испытывал невыносимые мучения и с досады отпускал такие злостные замечания, что зрачки моей дамы с обеих сторон совершенно упирались в нос! Между тем мазурка склонялась к концу... Начали делать фигуру, называемую la confidente[1]. В этой фигуре дама садится на середине круга, выбирает другую даму в доверенные и шепчет ей на ухо имя господина, с которым она желает танцевать; кавалер подводит ей поодиночке танцоров, а доверенная дама им отказывает, пока, наконец, появится заранее назначенный счастливчик. Лиза села в середину круга и выбрала хозяйскую дочь, девицу из числа тех, о которых говорят, что они «бог с ними». Князь пустился отыскивать избранника. Напрасно представив около десяти молодых людей (хозяйская дочь отказала им

[1] доверенная *(франц.)*.

всем с приятнейшей улыбкой), он, наконец, обратился ко мне. Нечто необыкновенное произошло во мне в это мгновение: я словно мигнул всем телом и хотел было отказаться, однако встал и пошел. Князь подвел меня к Лизе... Она даже не посмотрела на меня; хозяйская дочь отрицательно покачала головой, князь обернулся ко мне и, вероятно, возбужденный гусиным выражением моего лица, глубоко мне поклонился. Этот насмешливый поклон, этот отказ, переданный мне торжествующим соперником, его небрежная улыбка, равнодушное невнимание Лизы — всё это меня взорвало... Я пододвинулся к князю и с бешенством прошептал: «Вы, кажется, изволите смеяться надо мной?»

Князь поглядел на меня с презрительным удивлением, снова взял меня за руку и, показывая вид, что провожает меня до моего места, холодно ответил мне: «Я?»

— Да, вы! — продолжал я шёпотом, повинуясь, однако, ему, то есть идя за ним к своему месту,— вы; но я не намерен позволять какому-нибудь пустому петурбургскому выскочке...

Князь усмехнулся спокойно, почти снисходительно, стиснул мне руку, прошептал: «Я вас понимаю; но здесь не место: мы поговорим», отвернулся от меня, подошел к Бизьмёнкову и подвел его к Лизе. Бледненький чиновничек оказался избранником. Лиза встала ему навстречу.

Садясь возле своей дамы с унылой мухой на голове, я чувствовал себя почти героем. Сердце во мне билось сильно, грудь благородно поднималась под накрахмаленной манишкой, я дышал глубоко и скоро — и вдруг так великолепно посмотрел на соседнего льва, что тот невольно дрыгнул обращенной ко мне ножкой. Отделав этого человека, я обвел глазами весь круг танцующих... Мне показалось, что два-три господина не без недоумения глядели на меня; но вообще наш разговор с князем не был замечен... Соперник мой уже сидел на своем стуле, совершенно спокойный и с прежней улыбкой на лице. Бизьмёнков довел Лизу до ее места. Она дружелюбно ему поклонилась и тотчас обратилась к князю, как мне показалось, с некоторой тревогой; но он засмеялся ей в ответ, грациозно махнул рукой и, должно быть, сказал ей что-то очень приятное, потому что

она вся зарделась от удовольствия, опустила глаза и потом с ласковым упреком устремила их опять на него.

Геройское расположение, внезапно развившееся во мне, не исчезло до конца мазурки; но я более уже не острил и не «критиканствовал», а только изредка мрачно и строго взглядывал на свою даму, которая, видимо, начинала бояться меня и уже совершенно заикалась и беспрерывно моргала, когда я ее отвел под природное укрепление ее матери, очень толстой женщины с рыжим током на голове... Вручив запуганную девицу по принадлежности, я отошел к окну, скрестил руки и начал ждать, что-то будет. Я ждал довольно долго. Князь всё время был окружен хозяином, именно окружен, как Англия окружена морем, не говоря уже о прочих членах семейства уездного предводителя и остальных гостях; да и притом он не мог, не возбудив всеобщего изумления, подойти к такому незначительному человеку, как я, заговорить с ним. Эта моя незначительность, помнится, даже радовала меня тогда. «Шалишь! — думал я, глядя, как он вежливо обращался то к одному, то к другому почетному лицу, добивавшемуся чести быть им замеченным хотя на «миг», как говорят поэты, — шалишь, голубчик... подойдешь ко мне ужо — ведь я тебя оскорбил». Наконец, князь, как-то ловко отделавшись от толпы своих обожателей, прошел мимо меня, взглянул — не то на окно, не то на мои волосы, отвернулся было и вдруг остановился, словно что-то вспомнил.

— Ах да! — сказал он, обращаясь ко мне с улыбкой,— кстати, у меня есть до вас дельце.

Два помещика, из самых неотвязчивых, упорно следившие за князем, вероятно, подумали, что «дельце» служебное, и почтительно отступили назад. Князь взял меня под руку и отвел в сторону. Сердце у меня стучало в груди.

— Вы, кажется,— начал он, растянув слово *вы* и глядя мне в подбородок с презрительным выражением, которое, странным образом, как нельзя лучше шло к его свежему и красивому лицу,— вы мне сказали дерзость?

— Я сказал, что думал,— возразил я, возвысив голос.

— Тсс... тише,— заметил он,— порядочные люди не кричат. Вам, может быть, угодно драться со мной?

— Это ваше дело,— отвечал я выпрямившись.

— Я буду принужден вызвать вас,— заговорил он небрежно,— если вы не откажетесь от ваших выражений...

— Я ни от чего не намерен отказываться,— возразил я с гордостью.

— В самом деле? — заметил он не без насмешливой улыбки.— В таком случае,— продолжал он, помолчав,— я буду иметь честь прислать к вам завтра своего секунданта.

— Очень хорошо-с,— проговорил я голосом как можно более равнодушным.

Князь слегка поклонился.

— Я не могу запретить вам находить меня пустым человеком,— прибавил он, надменно прищурив глаза,— но князья Н * не могут быть выскочками. До свидания, господин... господин Штукатурин.

Он быстро обернулся ко мне спиной и снова подошел к хозяину, уже начинавшему волноваться.

Господин Штукатурин!.. Меня зовут Чулкатуриным... Я ничего не нашелся сказать ему в ответ на это последнее оскорбление и только с бешенством посмотрел ему вслед. «До завтра»,— прошептал я, стиснув зубы, и тотчас отыскал одного мне знакомого офицера, уланского ротмистра Колобердяева, отчаянного гуляку и славного малого, рассказал ему в немногих словах мою ссору с князем и попросил его быть моим секундантом. Он, разумеется, немедленно согласился, и я отправился домой.

Я не мог заснуть всю ночь — от волнения, не от трусости. Я не трус. Я даже весьма мало думал о предстоящей мне возможности лишиться жизни, этого, как уверяют немцы, высшего блага на земле. Я думал об одной Лизе, о моих погибших надеждах, о том, что мне следовало сделать. «Должен ли я постараться убить князя? — спрашивал я самого себя и, разумеется, хотел убить его, не из мести, а из желания добра Лизе.— Но она не перенесет этого удара,— продолжал я.— Нет, уж пусть лучше он меня убьет!» Признаюсь, мне тоже приятно было думать, что я, темный уездный человек, принудил такую важную особу драться со мной.

Утро застало меня в этих размышленьях; а вслед за утром появился Колобердяев.

— Ну,— спросил он меня, со стуком входя в мою спальню,— где же княжеский секундант?

— Да помилуйте,— отвечал я с досадой,— теперь всего семь часов утра; князь еще, чай, спит теперь.

— В таком случае,— возразил неугомонный ротмистр,— прикажите мне дать чаю. У меня со вчерашнего вечера голова болит... Я и не раздевался. Впрочем,— прибавил он, зевнув,— я вообще редко раздеваюсь.

Ему дали чаю. Он выпил шесть стаканов с ромом, выкурил четыре трубки, рассказал мне, что он накануне за бесценок купил лошадь, от которой кучера отказались, и что намерен ее выездить, подвязав ей переднюю ногу,— и заснул, не раздеваясь, на диване, с трубкой во рту. Я встал и привел в порядок свои бумаги. Одну пригласительную записку Лизы, единственную записку, полученную мною от нее, я положил было себе на грудь, но подумал и бросил ее в ящик. Колобердяев слабо похрапывал, свесив голову с кожаной подушки... Я, помнится, долго рассматривал его взъерошенное, удалое, беззаботное и доброе лицо. В десять часов мой слуга доложил о приезде Бизьмёнкова. Князь его выбрал в секунданты!

Мы вдвоем разбудили разоспавшегося ротмистра. Он приподнялся, поглядел на нас осоловелыми глазами, хриплым голосом попросил водки, оправился и, раскланявшись с Бизьмёнковым, вышел с ним в другую комнату для совещания. Совещание господ секундантов продолжалось недолго. Четверть часа спустя они оба вошли ко мне в спальню; Колобердяев объявил мне, что «мы будем драться сегодня же, в три часа, на пистолетах». Я молча наклонил голову в знак согласия. Бизьмёнков тотчас же простился с нами и уехал. Он был несколько бледен и внутренно взволнован, как человек, не привыкший к подобного рода проделкам, но, впрочем, очень вежлив и холоден. Мне было как будто совестно перед ним, и я не смел взглянуть ему в глаза. Колобердяев начал опять рассказывать о своей лошади. Этот разговор был мне очень по нутру. Я боялся, как бы он не упомянул о Лизе. Но мой добрый ротмистр не был сплетником, да и, сверх того, презирал всех женщин, называя

их, бог знает почему, салатом. В два часа мы закусили, а в три уже находились на месте действия — в той самой березовой роще, где я некогда гулял с Лизой, в двух шагах от того обрыва.

Мы приехали первые. Но князь с Бизьмёнковым недолго заставили ждать себя. Князь был, без преувеличения, свеж, как розан: карие глаза его чрезвычайно приветно глядели из-под козырька его фуражки. Он курил соломенную сигарку и, увидев Колобердяева, ласково пожал ему руку. Даже мне он очень мило поклонился. Я, напротив, сам чувствовал себя бледным, и руки мои, к страшной моей досаде, слегка дрожали... горло сохло... Я никогда еще до тех пор не дрался на дуэли. «О боже! — думал я — лишь бы этот насмешливый господин не принял моего волнения за робость!» Я внутренно посылал свои нервы ко всем чертям; но, взглянув, наконец, прямо в лицо князю и уловив на губах его почти незаметную усмешку, вдруг опять разозлился и тотчас успокоился. Между тем секунданты наши устроили барьер, отмерили шаги, зарядили пистолеты. Колобердяев больше действовал; Бизьмёнков больше наблюдал за ним. День был великолепный — не хуже дня незабвенной прогулки. Густая синева неба попрежнему сквозила сквозь раззолоченную зелень листьев. Их лепет, казалось, дразнил меня. Князь продолжал курить свою сигарку, прислонясь плечом к стволу молодой липы...

— Извольте стать, господа: готово,— произнес, наконец, Колобердяев, вручая нам пистолеты.

Князь отошел несколько шагов, остановился и, повернув голову назад, через плечо спросил меня: «А вы всё не отказываетесь от своих слов?» Я хотел отвечать ему; но голос изменил мне, и я удовольствовался презрительным движением руки. Князь усмехнулся опять и стал на свое место. Мы начали сходиться. Я поднял пистолет, прицелился было в грудь моего врага — в это мгновение он точно был моим врагом,— но вдруг поднял дуло, словно кто толкнул меня под локоть, и выстрелил. Князь пошатнулся, поднес левую руку к левому виску — струйка крови потекла по его щеке из-под белой замшевой перчатки. Бизьмёнков бросился к нему.

— Ничего,— сказал он, снимая простреленную фуражку,— коли в голову и не упал, значит царапина.

Он спокойно достал из кармана батистовый платок и приложил его к смоченным кровью кудрям. Я глядел на него, словно остолбенелый, и не двигался с места.

— Извольте идти к барьеру! — строго заметил мне Колобердяев.

Я повиновался.

— Поединок продолжается? — прибавил он, обращаясь к Бизьмёнкову.

Бизьмёнков ничего не отвечал ему; но князь, не отнимая платка от раны и не давая себе даже удовольствия помучить меня у барьера, с улыбкой возразил: «Поединок кончен» — и выстрелил на воздух. Я чуть было не заплакал от досады и бешенства. Этот человек своим великодушием окончательно втоптал меня в грязь, зарезал меня. Я хотел было противиться, хотел было потребовать, чтобы он выстрелил в меня; но он подошел ко мне и протянул мне руку.

— Ведь всё позабыто меж нами, не правда ли? — промолвил он ласковым голосом.

Я взглянул на его побледневшее лицо, на этот окровавленный платок и, совершенно потерявшись, пристыженный и уничтоженный, стиснул ему руку...

— Господа! — прибавил он, обращаясь к секундантам,— я надеюсь, что всё останется в тайне?

— Разумеется! — воскликнул Колобердяев,— но, князь, позвольте...

И он сам повязал ему голову.

Князь, уходя, еще раз поклонился мне; но Бизьмёнков даже не взглянул на меня. Убитый,— нравственно убитый,— возвратился я с Колобердяевым домой.

— Да что с вами? — спрашивал меня ротмистр.— Успокойтесь: рана неопасная. Он завтра же может танцевать, коли хочет. Или вам жаль, что вы его не убили? В таком случае напрасно: он славный малый.

— Зачем он пощадил меня? — пробормотал я наконец.

— Вот тебе на! — спокойно возразил ротмистр...— Ох, уж эти мне сочинители!

Я не знаю, почему ему вздумалось назвать меня сочинителем.

Я решительно отказываюсь от описания моих терзаний в течение вечера, последовавшего за этим несчастным поединком. Мое самолюбие страдало неизъяснимо.

Не совесть меня мучила: сознание моей глупости меня уничтожало. «Я, я сам нанес себе последний, окончательный удар!— твердил я, ходя большими шагами по комнате.— Князь, раненный мною и простивший меня... да, Лиза теперь его. Теперь уже ничего ее не может спасти, удержать на краю пропасти». Я очень хорошо знал, что наш поединок не мог остаться в тайне, несмотря на слова князя; во всяком случае для Лизы он не мог остаться тайной. «Князь не так глуп,— шептал я с бешенством,— чтобы не воспользоваться...» А между тем я ошибался: о поединке и о настоящей его причине узнал весь город,— на другой же день, конечно; но проболтался не князь,— напротив; когда он, с повязанной головой и с наперед сочиненным предлогом, явился перед Лизой, она уже всё знала... Бизьмёнков ли выдал меня, другими ли путями дошло до ней это известие, не могу сказать. Да и, наконец, разве в небольшом городе возможно что-нибудь скрыть? Можете себе представить, как Лиза его приняла, как всё семейство Ожогиных его приняло! Что же до меня касается, то я внезапно стал предметом общего негодования, омерзения, извергом, сумасбродным ревнивцем и людоедом. Мои немногие знакомые от меня отказались, как от прокаженного. Городские власти немедленно обратились к князю с предложением примерно и строго наказать меня; одни настоятельные и неотступные просьбы самого князя отвратили бедствие, грозившее моей голове. Этому человеку суждено было всячески меня уничтожить. Он своим великодушием прихлопнул меня, как гробовою крышей. Нечего и говорить, что дом Ожогиных тотчас же закрылся для меня. Кирилла Матвеич возвратил мне даже простой карандаш, позабытый у него мною. По-настоящему, ему-то именно и не следовало на меня сердиться. Моя, как выражались в городе, «сумасбродная» ревность определила, уяснила, так сказать, отношения князя к Лизе. На него и сами старики Ожогины и прочие обыватели стали глядеть почти как на жениха. В сущности это ему не совсем должно было быть приятно; но Лиза ему очень нравилась; притом он еще тогда не достиг своих целей... Со всею ловкостью умного и светского человека приспособился он к новому своему положению, тотчас вошел, как говорится, в дух своей новой роли.

Но я!.. Я на свой счет, на счет своей будущности, махнул тогда рукой. Когда страдания доходят до того, что заставляют всю нашу внутренность трещать и кряхтеть, как перегруженную телегу, им бы следовало перестать быть смешными... Но нет! смех не только сопровождает слезы до конца, до истощения, до невозможности проливать их более — где! он еще звенит и раздается там, где язык немеет и замирает сама жалоба... И потому, во-первых, так как я не намерен даже самому себе казаться смешным, а во-вторых, так как я устал ужасно, то и откладываю продолжение и, если бог даст, окончание своего рассказа до следующего дня...

29 марта. Легкий мороз; вчера была оттепель.

Вчера я не был в силах продолжать мой дневник: я, как Поприщин, большею частью лежал на постели и беседовал с Терентьевной. Вот еще женщина! Шестьдесят лет тому назад она потеряла своего первого жениха от чумы, всех детей своих пережила, сама непростительно стара, пьет чай сколько душе угодно, сыта, одета тепло; а о чем, вы думаете, она вчера целый день мне говорила? Другой, уже вовсе ощипанной старухе я велел дать на жилет (она носит нагрудники в виде жилета) воротник ветхой ливреи, до половины съеденный молью... так вот отчего не ей? «А кажется, я няня ваша... О-ох, батюшка вы мой, грешно вам... А уж я-то вас, кажись, на что холила!..» и т. д. Безжалостная старуха совершенно заездила меня своими упреками...Но возвратимся к рассказу.

Итак, я страдал, как собака, которой заднюю часть тела переехали колесом. Я только тогда, только после изгнания моего из дома Ожогиных, окончательно узнал, сколько удовольствия может человек почерпнуть из созерцания своего собственного несчастия. О люди! точно, жалкий род!.. Ну, однако, в сторону философические замечания... Я проводил дни в совершенном одиночестве и только самыми окольными и даже низменными путями мог узнавать, что происходило в семействе Ожогиных, что делал князь: мой слуга познакомился с двоюродной теткой жены его кучера. Это знакомство доставило мне некоторое облегчение, и мой слуга скоро, по моим намекам и подарочкам, мог догадаться, о чем следовало ему разговаривать с своим барином, когда

он стаскивал с него сапоги по вечерам. Иногда мне случалось встретить на улице кого-нибудь из семейства Ожогиных, Бизьмёнкова, князя... С князем и Бизьмёнковым я раскланивался, но не вступал в разговор. Лизу я видел всего три раза: раз — с ее маменькой, в модном магазине, раз — в открытой коляске, с отцом, матерью и князем, раз — в церкви. Разумеется, я не дерзал подойти к ней и глядел на нее только издали. В магазине она была очень озабочена, но весела... Она заказывала себе что-то и хлопотливо примеряла ленты. Матушка глядела на нее, скрестив на желудке руки, приподняв нос и улыбаясь той глупой и преданной улыбкой, которая позволительна одним любящим матерям. В коляске с князем Лиза была... Я никогда не забуду этой встречи! Старики Ожогины сидели на задних местах коляски, князь с Лизой впереди. Она была бледнее обыкновенного; на щеках ее чуть виднелись две розовые полоски. Она была до половины обращена к князю; опираясь на свою выпрямленную правую руку (в левой она держала зонтик) и томно склонив головку, она глядела прямо ему в лицо своими выразительными глазами. В это мгновение она отдавалась ему вся, безвозвратно доверялась ему. Я не успел хорошенько заметить его лица — коляска слишком быстро промчалась мимо,— но мне показалось, что и он был глубоко тронут.

В третий раз я ее видел в церкви. Не более десяти дней прошло с того дня, когда я встретил ее в коляске с князем, не более трех недель со дня моей дуэли. Дело, по которому князь прибыл в О..., уже было окончено; но он всё еще медлил своим отъездом: он отозвался в Петербург больным. В городе каждый день ожидали формального предложения с его стороны Кирилле Матвеичу. Я сам ждал только этого последнего удара, чтобы удалиться навсегда. Мне город О... опротивел. Я не мог сидеть дома и с утра до вечера таскался по окрестностям. В один серый, ненастный день, возвращаясь с прогулки, прерванной дождем, зашел я в церковь. Вечернее служение только что начиналось, народу было очень немного; я оглянулся и вдруг возле одного окна увидел знакомый профиль. Я его сперва не узнал: это бледное лицо, этот погасший взор, эти впалые щеки — неужели это та же Лиза, которую я видел две недели тому назад? Завернутая в плащ, без шляпы на голове, освещенная

сбоку холодным лучом, падавшим из широкого белого окна, она неподвижно глядела на иконостас и, казалось, силилась молиться, силилась выйти из какого-то унылого оцепенения. Краснощекий, толстый казачок, с желтыми патронами на груди, стоял за нею, сложа руки на спину, и с сонливым недоумением посматривал на свою барышню. Я вздрогнул весь, хотел было подойти к ней, но остановился. Мучительное предчувствие стеснило мне грудь. До самого конца вечерни Лиза не шевельнулась. Народ весь вышел, дьячок стал подметать церковь, она всё не трогалась с места. Казачок подошел к ней, сказал ей что-то, коснулся ее платья; она оглянулась, провела рукой по лицу и ушла. Я издали проводил ее до дому и вернулся к себе.

«Она погибла!» — воскликнул я, входя в свою комнату.

Как честный человек, я до сих пор не знаю, какого рода были мои ощущения тогда; я, помнится, скрестив руки, бросился на диван и уставил глаза на пол; но, я не знаю, я посреди своей тоски как будто был чем-то доволен... Я бы ни за что в этом не сознался, если б я не писал для самого себя... Меня, точно, терзали мучительные, страшные предчувствия... и кто знает, я, может быть, был бы весьма озадачен, если б они не сбылись. «Таково сердце человеческое!» — воскликнул бы теперь выразительным голосом какой-нибудь русский учитель средних лет, подняв кверху жирный указательный палец, украшенный перстнем из корналинки; но что нам за дело до мнения русского учителя с выразительным голосом и корналинкой на пальце?

Как бы то ни было, мои предчувствия оказались справедливыми. Внезапно по городу разнеслась весть, что князь уехал будто вследствие полученного приказа из Петербурга; что он уехал, не сделавши никакого предложения ни Кирилле Матвеичу, ни супруге его, и что Лизе остается до конца дней своих оплакивать его вероломство. Отъезд князя был совершенно неожиданный, потому что еще накануне кучер его, по уверениям моего слуги, нисколько не подозревал намерения своего барина. Новость эта меня бросила в жар; я тотчас оделся и побежал было к Ожогиным, но, обдумавши дело, почел приличным подождать до следующего дня. Впрочем, я ничего не потерял, оставшись дома. В тот же

вечер забежал ко мне некто Пандопипопуло, проезжий грек, случайным образом застрявший в городе О..., сплетник первой величины, больше всех других закипевший негодованием против меня за мою дуэль с князем. Он не дал даже времени слуге моему доложить о себе, так и ворвался в мою комнату, крепко стиснул мою руку, тысячу раз извинялся передо мной, назвал меня образцом великодушия и смелости, расписал князя самыми черными красками, не пощадил стариков Ожогиных, которых, по его мнению, судьба наказала поделом; мимоходом задел и Лизу и убежал, поцеловавши меня в плечо. Между прочим, я узнал от него, что князь, en vrai grand seigneur [1], накануне отъезда, на деликатный намек Кириллы Матвеевича холодно отвечал, что не намерен никого обманывать и не думает жениться, встал, раскланялся и был таков...

На другой день я отправился к Ожогиным. Подслеповатый лакей при моем появлении вскочил с прилавка с быстротою молнии, я велел доложить о себе; лакей побежал и тотчас вернулся: пожалуйте, дескать, приказали просить. Я вошел в кабинет Кириллы Матвеича... До завтра.

30 марта. Мороз.

Итак, я вошел в кабинет Кириллы Матвеича. Я бы дорого заплатил тому, кто бы мог показать мне теперь мое собственное лицо в ту минуту, когда этот почтенный чиновник, торопливо запахнув свой бухарский халат, подошел ко мне с протянутыми руками. От меня, должно быть, так и веяло скромным торжеством, снисходительным участием и беспредельным великодушием... Я чувствовал себя чем-то вроде Сципиона Африканского. Ожогин был видимо смущен и опечален, избегал моего взора, семенил на̀ месте. Я также заметил, что он говорил как-то неестественно громко и вообще выражался весьма неопределенно; неопределенно, но с жаром попросил у меня извинения, неопределенно упомянул об уехавшем госте, присовокупил несколько общих и неопределенных замечаний об обманчивости и непостоянстве земных благ и вдруг, почувствовав у себя на глазах слезу, поспешил понюхать табаку, ве-

---

[1] настоящий вельможа *(франц.)*.

роятно для того, чтобы обмануть меня насчет причины, заставившей его прослезиться... Он употреблял русский зеленый табак, а известно, что это растение даже старцев заставляет проливать слезы, сквозь которые человеческий глаз глядит тупо и бессмысленно в течение нескольких мгновений. Я, разумеется, обошелся весьма бережно с стариком, спросил о здоровье его супруги и дочери и тотчас искусно направил разговор на любопытный вопрос о плодопеременном хозяйстве. Я был одет по-обыкновенному; но исполнявшее меня чувство мягкого приличия и кроткой снисходительности доставляло мне ощущение праздничное и свежее, словно на мне был белый жилет и белый галстух. Одно меня волновало: мысль о свидании с Лизой... Ожогин, наконец, сам предложил повести меня к своей жене. Эта добрая, но глупая женщина, увидав меня, сперва сконфузилась страшно; но мозг ее не был способен сохранить долго одно и то же впечатление, и потому она скоро успокоилась. Наконец я увидал Лизу... Она вошла в комнату...

Я ожидал, что найду в ней пристыженную, раскаивающуюся грешницу, и уже наперед придал лицу своему самое ласковое, ободряющее выражение... К чему лгать? Я действительно любил ее и жаждал счастия простить ее, протянуть ей руку; но, к несказанному моему удивлению, она, в ответ на мой значительный поклон, холодно рассмеялась, небрежно заметила: «А? это вы?» — и тотчас отвернулась от меня. Правда, смех ее мне показался принужденным и во всяком случае плохо шел к ее страшно похудевшему лицу... но все-таки я не ожидал такого приема... Я с изумлением смотрел на нее... какая перемена произошла в ней! Между прежним ребенком и этой женщиной не было ничего общего. Она как будто выросла, выпрямилась; все черты ее лица, особенно губы, словно определились... взгляд стал глубже, тверже и темнее. Я высидел у Ожогиных до обеда; она вставала, выходила из комнаты и возвращалась, спокойно отвечала на вопросы и с намерением не обращала на меня внимания. Она, я это видел, — она хотела дать мне почувствовать, что я не стою даже ее гнева, хотя чуть-чуть не убил ее любовника. Я, наконец, потерял терпение: ядовитый намек сорвался с губ моих... Она вздрогнула, быстро взглянула на меня,

встала и, подойдя к окну, промолвила слегка дрожащим голосом: «Вы всё можете говорить что вам угодно, но знайте, что я этого человека люблю, и всегда любить буду, и нисколько не считаю его виноватым предо мною, напротив...» Голос ее зазвенел, она остановилась... хотела было переломить себя, но не могла, залилась слезами и вышла вон из комнаты... Старики Ожогины смутились... Я пожал им обоим руки, вздохнул, вознес взоры горé и удалился.

Я слишком слаб, времени у меня остается слишком мало, я не в состоянии с прежнею подробностью описывать тот новый ряд мучительных соображений, твердых намерений и прочих плодов так называемой внутренней борьбы, которые возникли во мне после возобновления моего знакомства с Ожогиными. Я не сомневался в том, что Лиза всё еще любит и долго будет любить князя... но, как человек присмиренный обстоятельствами и сам присмирившийся, я даже и не мечтал о ее любви: я желал только ее дружбы, желал добиться ее доверенности, ее уважения, которое, по уверению опытных людей, почитается надежнейшей опорой счастия в браке... К сожалению, я упускал из виду одно довольно важное обстоятельство, а именно то, что Лиза со дня дуэли меня возненавидела. Я узнал это слишком поздно. Я начал по-прежнему посещать дом Ожогиных. Кирилла Матвеич более чем когда-нибудь ласкал и холил меня. Я даже имею причины думать, что он в то время с удовольствием отдал бы свою дочь за меня, хотя и незавидный был я жених: общественное мнение преследовало его и Лизу, а меня, напротив, превозносило до небес. Обращение Лизы со мной не изменялось: она большею частию молчала, повиновалась, когда ее просили кушать, не показывала никаких внешних знаков гóря, но, со всем тем, таяла как свечка. Кирилле Матвеичу надобно отдать эту справедливость: он щадил ее всячески; старуха Ожогина только хохлилась глядя на свое бедное дитятко. Одного человека Лиза не чуждалась, хотя и с ним не много говорила, а именно Бизьмёнкова. Старики Ожогины круто, даже грубо обращались с ним: они не могли простить ему его секундантства; но он продолжал ходить к ним, будто не замечая их немилости. Со мной он был очень холоден и — странное дело! — я словно его

боялся. Это продолжалось около двух недель. Наконец я, после одной бессонной ночи, решился объясниться с Лизой, разоблачить перед ней мое сердце, сказать ей, что, несмотря на прошедшее, несмотря на всевозможные толки и сплетни, я почту себя слишком счастливым, если она удостоит меня своей руки, возвратит мне свое доверие. Я, право, не шутя воображал, что оказываю, как выражаются хрестоматии, несказанный пример великодушия и что она от одного изумления согласится. Во всяком случае, я хотел объясниться с ней и выйти, наконец, из неизвестности.

За домом Ожогиных находился довольно большой сад, оканчивавшийся липовой рощицей, заброшенной и заросшей. Посредине этой рощи возвышалась старинная беседка в китайском вкусе; бревенчатый забор отделял сад от глухого проулка. Лиза иногда по целым часам гуляла одна в этом саду. Кирилла Матвеич это знал и запретил ее беспокоить, следить за ней: пусть, дескать, горе в ней умается. Когда ее не находили в доме, стоило только позвонить перед обедом в колокольчик на крыльце, и она тотчас появлялась, с тем же упорным молчанием на губах и во взгляде, с каким-нибудь измятым листком в руке. Вот однажды, заметив, что ее не было в доме, я показал вид, что собираюсь уйти, простился с Кириллом Матвеичем, надел шляпу и вышел из передней на двор, а со двора на улицу, но тотчас же с необыкновенной быстротою шмыгнул назад в ворота и мимо кухни пробрался в сад. К счастию, никто меня не заметил. Не думая долго, я скорыми шагами вошел в рощу. Передо мной, на тропинке, стояла Лиза. Сердце во мне забилось сильно. Я остановился, вздохнул глубоко и уже хотел было подойти к ней, как вдруг она, не оборачиваясь, подняла руку и стала прислушиваться... Из-за деревьев, в направлении проулка, ясно раздались два удара, словно кто стучал в забор. Лиза хлопнула в ладоши, послышался слабый скрип калитки, и из чащи вышел Бизьмёнков. Я проворно спрятался за дерево. Лиза молча обратилась к нему... Он молча взял ее под руку, и оба тихо пошли по дорожке. Я с изумлением глядел за ними. Они остановились, посмотрели кругом, исчезли было за кустами, появились снова и вошли, наконец, в беседку. Эта беседка была круглое, крошеч-

ное строеньице, с одной дверью и одним маленьким окном; посередине виднелся старый стол на одной ножке, поросший мелким зеленым мохом; два дощатых полинялых диванчика стояли по бокам, в некотором отдалении от сырых и потемневших стен. Здесь в необыкновенно жаркие дни, и то раз в год, и то в прежние времена, пивали чай. Дверь не затворялась вовсе, рама давно вывалилась из окна и, зацепившись одним углом, висела печально, как перешибенное птичье крыло. Я подкрался к беседке и осторожно взглянул сквозь скважину окна. Лиза сидела на одном из диванчиков, потупив голову; ее правая рука лежала у ней на коленях, левую держал Бизьмёнков в обеих своих руках. Он с участием глядел на нее.

— Как вы себя сегодня чувствуете? — спросил он ее вполголоса.

— Всё так же,— возразила она,— ни хуже, ни лучше. Пустота, страшная пустота! — прибавила она, уныло подняв глаза.

Бизьмёнков ничего не отвечал ей.

— Как вы думаете,— продолжала она,— напишет мне он еще раз?

— Не думаю, Лизавета Кирилловна!

Она молчала.

— И в самом деле, о чем ему писать? Он сказал мне всё в первом своем письме. Я не могла быть его женой; но я была счастлива... недолго... я была счастлива.

Бизьмёнков потупился.

— Ах,— продолжала она с живостью,— если б вы знали, как этот Чулкатурин мне противен... Мне всё кажется, что я вижу на руках этого человека... его кровь. (Меня покоробило за моей скважиной.) Впрочем,— прибавила она задумчиво,— кто знает, может быть, без этого поединка... Ах, когда я увидела его раненого, я тотчас же почувствовала, что я вся была его.

— Чулкатурин вас любит,— заметил Бизьмёнков.

— Так что мне в том? разве мне нужна чья-нибудь любовь?..— Она остановилась и медленно прибавила: — кроме вашей. Да, мой друг, ваша любовь мне необходима: без вас я бы погибла. Вы помогли мне перенести страшные минуты...

Она умолкла... Бизьмёнков начал с отеческой нежностью гладить ее по руке.

— Что делать, что делать, Лизавета Кирилловна! — повторил он несколько раз сряду.

— Да и теперь,— промолвила она глухо,— я бы, кажется, умерла без вас. Вы одни меня поддерживаете; притом вы мне его напоминаете... Ведь вы всё знали. Помните, как он был хорош в тот день... Но извините меня: вам, должно быть, тяжело...

— Говорите, говорите! Что вы! Бог с вами! — прервал ее Бизьмёнков.

Она стиснула ему руку.

— Вы очень добры, Бизьмёнков,— продолжала она,— вы добры, как ангел. Что делать! я чувствую, что я до гроба его любить буду. Я простила ему, я благодарна ему. Дай бог ему счастья! дай бог ему жену по сердцу! — И глаза ее наполнились слезами.— Лишь бы он не позабыл меня, лишь бы он хоть изредка вспоминал о своей Лизе... Выйдемте,— прибавила она после небольшого молчания.

Бизьмёнков поднес ее руку к своим губам.

— Я знаю,— заговорила она с жаром,— все меня теперь обвиняют, все бросают в меня каменьями. Пусть! Я бы все-таки не променяла своего несчастия на их счастие... нет! нет!.. Он недолго меня любил, но он любил меня! Он никогда меня не обманывал: он не говорил мне, что я буду его женой; я сама никогда не думала об этом. Один бедный папаша надеялся. И теперь я еще не совсем несчастна: мне остается воспоминание, и, как бы ни были страшны последствия... Мне душно здесь... здесь я в последний раз с ним виделась... Пойдемте на воздух.

Они встали. Я едва успел отскочить в сторону и спрятаться за толстую липу. Они вышли из беседки и, сколько я мог судить по шуму шагов, ушли в рощу. Не знаю, сколько я времени простоял, не двигаясь с места, погруженный в какое-то бессмысленное недоумение, как вдруг снова послышались шаги. Я встрепенулся и осторожно выглянул из моей засады. Бизьмёнков и Лиза возвращались по той же дорожке. Оба были очень взволнованы, особенно Бизьмёнков. Он, казалось, плакал. Лиза остановилась, поглядела на него и явственно произнесла следующие слова: «Я согласна,

Бизьмёнков. Я бы не согласилась, если бы вы только хотели спасти меня, вывести меня из страшного положения; но вы меня любите, вы всё знаете — и любите меня: я никогда не найду более надежного, верного друга. Я буду вашей женой».

Бизьмёнков поцеловал ей руку; она печально ему улыбнулась и пошла домой. Бизьмёнков бросился в чащу, а я отправился восвояси. Так как Бизьмёнков, вероятно, сказал Лизе именно то, что я намерен был ей сказать, и так как она отвечала ему именно то, что я бы желал услышать от нее, то мне нечего было более беспокоиться. Через две недели она вышла за него замуж. Старики Ожогины рады были всякому жениху.

Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека? Роль князя... о ней нечего и говорить; роль Бизьмёнкова также понятна... Но я? я-то к чему тут примешался?.. Что за глупое пятое колесо в телеге!.. Ах, горько, горько мне!.. Да вот, как бурлаки говорят: «Еще разик, еще раз»,— еще денек, другой, и мне уже ни горько не будет, ни сладко.

31 марта.

Плохо. Я пишу эти строки в постели. Со вчерашнего вечера погода вдруг переменилась. Сегодня жарко, почти летний день. Всё тает, валится, течет. В воздухе пахнет разрытой землей: тяжелый, сильный, душный запах. Пар подымается отвсюду. Солнце так и бьет, так и разит. Плохо мне. Я чувствую, что разлагаюсь.

Я хотел написать свой дневник и вместо того что я сделал? Рассказал один случай из моей жизни. Я разболтался, уснувшие воспоминания пробудились и увлекли меня. Я писал не торопясь, подробно, словно мне еще предстояли годы; а теперь вот и некогда продолжать. Смерть, смерть идет. Мне уже слышится ее грозное crescendo... Пора... Пора!..

Да и что за беда! Не всё ли равно, что бы я ни рассказал? В виду смерти исчезают последние земные суетности. Я чувствую, что утихаю; я становлюсь проще, яснее. Поздно я хватился за ум!.. Странное дело! я утихаю — точно, и вместе с тем... жутко мне. Да, мне жутко. До половины наклоненный над безмолвной зияющей бездной, я содрогаюсь, отворачиваюсь, с жадным

вниманием осматриваю всё кругом. Всякий предмет мне вдвойне дорог. Я не нагляжусь на мою бедную, невеселую комнату, прощаюсь с каждым пятнышком на моих стенах! Насыщайтесь в последний раз, глаза мои! Жизнь удаляется; она ровно и тихо бежит от меня прочь, как берег от взоров мореходца. Старое, желтое лицо моей няни, повязанное темным платком, шипящий самовар на столе, горшок ерани перед окном и ты, мой бедный пес Трезор, перо, которым я пишу эти строки, собственная рука моя, я вижу вас теперь... вот вы, вот... Неужели же... может быть, сегодня... я никогда более не увижу вас? Тяжело живому существу расставаться с жизнью! Что ты ластишься ко мне, бедная собака? что прислоняешься грудью к постели, судорожно поджимая свой куцый хвост и не сводя с меня своих добрых, грустных глаз? Или тебе жаль меня? или ты уже чуешь, что хозяина твоего скоро не станет? Ах, если б я мог так же пройти мыслью по всем моим воспоминаниям, как прохожу глазами по всем предметам моей комнаты! Я знаю, что эти воспоминания невеселы и незначительны, да других у меня нет. Пустота, страшная пустота! как говорила Лиза.

О боже мой, боже мой! Я вот умираю... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанет биться... И неужели же оно затихнет навсегда, не изведав ни разу счастия, не расширясь ни разу под сладостным бременем радости? Увы! это невозможно, невозможно, я знаю... Если б по крайней мере теперь, перед смертью — ведь смерть все-таки святое дело, ведь она возвышает всякое существо,— если б какой-нибудь милый, грустный, дружеский голос пропел надо мною прощальную песнь, песнь о собственном моем горе, я бы, может быть, помирился с ним. Но умереть глухо, глупо...

Я, кажется, начинаю бредить.

Прощай, жизнь, прощай, мой сад, и вы, мои липы! Когда придет лето, смотрите, не забудьте сверху донизу покрыться цветами... И пусть хорошо будет людям лежать в вашей пахучей тени, на свежей траве, под лепечущий говор ваших листьев, слегка возмущенных ветром. Прощайте, прощайте! Прощай всё и навсегда!

Прощай, Лиза! Я написал эти два слова — и чуть-чуть не засмеялся. Это восклицание мне кажется книж-

ным. Я как будто сочиняю чувствительную повесть или оканчиваю отчаянное письмо...

Завтра первое апреля. Неужели я умру завтра? Это было бы как-то даже неприлично. А впрочем, оно ко мне идет...

Уж как же доктор лотошил сегодня!..

1 апреля.

Кончено... Жизнь кончена. Я точно умру сегодня. На дворе жарко... почти душно... или уже грудь моя отказывается дышать? Моя маленькая комедия разыграна. Занавес падает.

Уничтожаясь, я перестаю быть лишним...

Ах, как это солнце ярко! Эти могучие лучи дышат вечностью...

Прощай, Терентьевна!.. Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула... может быть, обо мне... а может быть, и о том, что ей самой скоро придется умереть. Я взял с нее слово не «пришибить» Трезора.

Мне тяжело писать... бросаю перо... Пора! Смерть уже не приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой: она здесь, она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка...

Я умираю... Живите, живые!

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!

Примечание издателя. Под этой последней строкой находится профиль головы с большим хохлом и усами, с глазом en face и лучеобразными ресницами; а под головой кто-то написал следующие слова:

Сѣю рукопись. Читалъ
И Содѣржаніе Онной Нѣ Одобрилъ
Пѣтр Зудотѣшинъ
М М М М
Милостивый Государь
Пѣтръ Зудотѣшинъ.
Милостивый Государь мой.

Но так как почерк этих строк нисколько не походил на почерк, которым написана остальная часть тетради, то издатель и почитает себя вправе заключить, что вышеупомянутые строки прибавлены были впоследствии другим лицом, тем более что до сведения его (издателя) дошло, что г-н Чулкатурин действительно умер в ночь с 1 на 2 апреля 18.. года, в родовом своем поместье Овечьи Воды.

ТРИ ВСТРЕЧИ

> Passa que'colli e vieni allegramente;
> Non ti curar di tanta compagnia —
> Vieni, pensando a me segretamente —
> Ch'io t'accompagni per tutta la via *.

I

Никуда я, бывало, не ездил так часто на охоту в течение лета, как в село Глинное, лежащее в двадцати верстах от моей деревни. Около этого села находятся самые, может быть, лучшие места для дичи в целом нашем уезде. Выходив все окрестные кусты и поля, я непременно к концу дня заворачивал в соседнее, почти единственное в околотке болото и уже оттуда возвращался к радушному моему хозяину, глинскому старосте, у которого я постоянно останавливался. От болота до Глинного не более двух верст; дорога идет всё лощиной, и только на половине пути приходится перебраться через небольшой холм. На вершине этого холма лежит усадьба, состоящая из одного необитаемого господского домика и сада. Мне почти всегда случалось проходить мимо нее в самый разгар вечерней зари, и, помнится, всякий раз этот дом, со своими наглухо заколоченными окнами, представлялся мне слепым стариком, вышедшим погреться на солнце. Сидит он, сердечный, близ дороги; солнечный блеск давно сменился для него вечной мглою; но он чувствует его по крайней мере на приподнятом и вытянутом лице, на согретых щеках. Казалось, давно никто не жил в самом доме; но в крошечном флигельке, на дворе, помещался дряхлый вольноотпущенный человек, высокий, сутуловатый и седой, с выразительными и неподвижными чертами лица. Он, бывало, всё посиживал на лавочке под единственным окошком флигеля, с горестной задумчивостью поглядывая вдаль, а увидав меня, приподнимался немного и кланялся с той медлительной важностью, которой отличаются старые дворовые, принадлежащие к поколе-

* Перейди через эти холмы и приди весело ко мне; не заботься о слишком большом обществе. Приди один и во всё время дороги думай обо мне, так чтоб я была твоим товарищем на всем пути.

нию не отцов наших, а дедов. Я заговаривал с ним, но он не был словоохотлив: я только узнал от него, что усадьба, в которой он жил, принадлежала внучке его старого барина, вдове, у которой была младшая сестра; что обе они живут в городах да за морем, а домой и не показываются; что ему самому поскорей хочется дожить свой век, потому что «жуешь, жуешь хлеб, инда и тоска возьмет: так давно жуешь». Старика этого звали Лукьянычем.

Однажды я как-то долго замешкался в поле; дичи попалось порядочно, да и день вышел такой для охоты хороший — с самого утра тихий, серый, словно весь проникнутый вечером. Я забрел далеко, и уже не только совершенно стемнело, но луна взошла, а ночь, как говорится, давно *стала* на небе, когда я достиг знакомой усадьбы. Мне пришлось идти вдоль сада... Кругом была такая тишина...

Я перешел через широкую дорогу, осторожно пробрался сквозь запыленную крапиву и прислонился к низкому плетню. Неподвижно лежал передо мною небольшой сад, весь озаренный и как бы успокоенный серебристыми лучами луны,— весь благовонный и влажный; разбитый по-старинному, он состоял из одной продолговатой поляны. Прямые дорожки сходились на самой ее середине в круглую клумбу, густо заросшую астрами; высокие липы окружали ее ровной каймой. В одном только месте прерывалась эта кайма сажени на две, и сквозь отверстие виднелась часть низенького дома с двумя, к удивлению моему, освещенными окнами. Молодые яблони кое-где возвышались над поляной; сквозь их жидкие ветви кротко синело ночное небо, лился дремотный свет луны; перед каждой яблоней лежала на белеющей траве ее слабая пестрая тень. С одной стороны сада липы смутно зеленели, облитые неподвижным, бледно-ярким светом; с другой — они стояли все черные и непрозрачные; странный, сдержанный шорох возникал по временам в их сплошной листве; они как будто звали на пропадавшие под ними дорожки, как будто манили под свою глухую сень. Всё небо было испещрено звездами; таинственно струилось с вышины их голубое, мягкое мерцанье; они, казалось, с тихим вниманьем глядели на далекую землю. Малые, тонкие облака, изредка на-

летая на луну, превращали на мгновение ее спокойное сияние в неясный, но светлый туман... Всё дремало. Воздух, весь теплый, весь пахучий, даже не колыхался; он только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки... Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мление... Я нагнулся через плетень: передо мной красный полевой мак поднимал из заглохшей травы свой прямой стебелек; большая круглая капля ночной росы блестела темным блеском на дне раскрытого цветка. Всё дремало, всё нежилось вокруг; всё как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая... Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь?

Звука ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина — но всё молчало. Соловьи давно перестали петь... а внезапное гудение мимолетного жука, легкое чмоканье мелкой рыбы в сажалке за липами на конце сада, сонливый свист встрепенувшейся птички, далекий крик в поле,— до того далекий, что ухо не могло различить, человек ли то прокричал, или зверь, или птица,— короткий, быстрый топот по дороге — все эти слабые звуки, эти шелесты только усугубляли тишину... Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим не то на ожиданье, не то на воспоминание счастия; я не смел шевельнуться, я стоял неподвижно пред этим неподвижным садом, облитым и лунным светом и росой, и, не знаю сам почему, неотступно глядел на те два окна, тускло красневшие в мягкой полутени, как вдруг раздался в доме аккорд,— раздался и прокатился волною... Раздражительно звонкий воздух отгрянул эхом... я невольно вздрогнул.

Вслед за аккордом раздался женский голос... Я жадно стал вслушиваться — и... могу ли выразить мое изумление?.. два года тому назад, в Италии, в Сорренто, слышал я ту же самую песню, тот же самый голос... Да, да...

Vieni, pensando a me segretamente...

Это они, я узнал их, это те звуки... Вот как это было. Я возвращался домой после долгой прогулки на берегу моря. Я быстро шел по улице; уже давно настала ночь,— великолепная ночь, южная, не тихая и грустно задумчивая, как у нас, нет! вся светлая, рос-

кошная и прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет; луна светила невероятно ярко; большие лучистые звезды так и шевелились на темно-синем небе; резко отделялись черные тени от освещенной до желтизны земли. С обеих сторон улицы тянулись каменные ограды садов; апельсинные деревья поднимали над ними свои кривые ветки, золотые шары тяжелых плодов то чуть виднелись, спрятанные между перепутанными листьями, то ярко рдели, пышно выставившись на луну. На многих деревьях нежно белели цветы; воздух весь был напоен благовонием томительно сильным, острым и почти тяжелым, хотя невыразимо сладким. Я шел и, признаться, успев уже привыкнуть ко всем этим чудесам, думал только о том, как бы поскорей добраться до моей гостиницы, как вдруг из одного небольшого павильона, надстроенного над самой стеной ограды, вдоль которой я спешил, раздался женский голос. Он пел какую-то песню, мне незнакомую, и в звуках его было что-то до того призывное, он до того казался сам проникнут страстным и радостным ожиданьем, выраженным словами песни, что я тотчас невольно остановился и поднял голову. В павильоне было два окна; но в обоих жалузи были спущены, и сквозь узкие их трещинки едва струился матовый свет. Повторив два раза — vieni, vieni, голос замер; послышался легкий звон струн, как бы от гитары, упавшей на ковер, платье зашелестело, пол слегка скрипнул. Полоски света в одном окне исчезли... кто-то изнутри подошел и прислонился к нему. Я сделал два шага назад. Вдруг жалузи стукнуло и распахнулось; стройная женщина, вся в белом, быстро выставила из окна свою прелестную голову и, протянув ко мне руки, проговорила: «Sei tu?»[1] Я потерялся, не знал, что сказать, но в то же мгновение незнакомка с легким криком откинулась назад, жалузи захлопнулось, и огонь в павильоне еще более померк, как будто вынесенный в другую комнату. Я остался неподвижен и долго не мог опомниться. Лицо женщины, так внезапно появившейся передо мною, было поразительно прекрасно. Оно слишком быстро мелькнуло перед моими глазами для того, чтобы я мог тотчас же запомнить каждую отдельную черту; но

[1] «Это ты?» *(Итал.)*

общее впечатление было несказанно сильно и глубоко... Я тогда же почувствовал, что этого лица я ввек не забуду. Месяц ударял прямо в стену павильона, в то окно, откуда она мне показалась, и, боже мой! как великолепно блеснули в его сиянии ее большие, темные глаза! какой тяжелой волной упали ее полураспущенные черные волосы на приподнятое круглое плечо! Сколько было стыдливой неги в мягком склонении ее стана, сколько ласки в ее голосе, когда она окликнула меня — в этом торопливом, но всё еще звонком шёпоте! Простояв довольно долго на одном и том же месте, я, наконец, отошел немного в сторону, в тень противоположной ограды, и стал оттуда с каким-то глупым недоумением и ожиданием поглядывать на павильон. Я слушал... слушал с напряженным вниманием... Мне то будто чудилось чье-то тихое дыхание за потемневшим окном, то слышался какой-то шорох и тихий смех. Наконец, раздались в отдалении шаги... они приблизились; мужчина такого же почти роста, как я, показался на конце улицы, быстро подошел к калитке подле самого павильона, которой я прежде не заметил, стукнул, не оглядываясь, два раза железным ее кольцом, подождал, стукнул опять и запел вполголоса: «Ecco ridente...»[1] Калитка отворилась... он без шуму скользнул в нее. Я встрепенулся, покачал головой, расставил руки и, сурово надвинув шляпу на брови, с неудовольствием отправился домой. На другой день я совершенно напрасно и в самый жар проходил часа два по улице мимо павильона и в тот же вечер уехал из Сорренто, не посетив даже Тассова дома.

Пусть же теперь вообразят читатели то изумление, которое внезапно овладело мной, когда я в степи, в одной из самых глухих сторон России, услыхал тот же самый голос, ту же песню... Как и тогда, теперь была ночь; как и тогда, голос раздался вдруг из освещенной незнакомой комнатки; как и тогда, я был один. Сердце во мне сильно билось. «Не сон ли это?» — думал я. И вот раздалось снова последнее: Vieni... Неужели растворится окно? неужели в нем покажется женщина? Окно растворилось. В окне показалась женщина. Я ее тотчас узнал, хотя между нами было шагов

[1] «Вот веселый...» *(Итал.)*

пятьдесят расстояния, хотя легкое облачко заволакивало луну. Это была она, моя соррентская незнакомка. Но она не протянула вперед, по-прежнему, свои обнаженные руки: она тихо их скрестила и, опершись ими на окно, стала молча и неподвижно глядеть куда-то в сад. Да, это была она, это были ее незабвенные черты, ее глаза, которым я не видал подобных. Широкое белое платье облекало и теперь ее члены. Она казалась несколько полнее, чем в Сорренто. Всё в ней дышало уверенностью и отдыхом любви, торжеством красоты, успокоенной счастием. Она долго не шевелилась, потом оглянулась назад, в комнату, и, внезапно выпрямившись, три раза громким и звенящим голосом воскликнула: «Addio!»[1] Далеко, далеко разнеслись прекрасные звуки, и долго дрожали они, слабея и замирая над липами сада, и в поле за мною, и повсюду. Всё вокруг меня на несколько мгновений наполнилось голосом этой женщины, всё звенело ей в ответ,— звенело ею. Она закрыла окно, и через несколько мгновений огонь погас в доме.

Как только я пришел в себя,— а это, признаюсь, случилось не скоро,— я тотчас отправился вдоль сада к усадьбе, подошел к запертым воротам и посмотрел через забор. На дворе не замечалось ничего необыкновенного; в одном углу, под навесом, стояла коляска. Передняя ее половина, вся забрызганная сухой грязью, резко белела при луне. Ставни в доме были закрыты по-прежнему. Я забыл сказать, что я перед тем днем около недели не заезжал в Глинное. Более получаса расхаживал я в недоумении перед забором, так что обратил на себя, наконец, внимание старой дворовой собаки, которая, однако, не стала на меня лаять, а только необыкновенно иронически посмотрела на меня из подворотни своими прищуренными и подслеповатыми глазками. Я понял ее намек и удалился. Но не успел я отойти полверсты, как вдруг услышал за собою конский топот... Через несколько мгновений всадник, на вороной лошади, крупной рысью промчался мимо и, быстро повернувшись ко мне лицом, причем я только мог заметить орлиный нос и прекрасные усы под надвинутой фуражкой, съехал с дороги направо и тотчас

[1] «Прощай!» *(Итал.)*

же исчез за лесом. «Так вот он»,— подумал я, и сердце во мне как-то странно шевельнулось. Мне показалось, что я узнал его; его фигура действительно напоминала фигуру мужчины, вошедшего при мне в калитку сада в Сорренто. Через полчаса я уже был в Глинном, у моего хозяина, разбудил его и тотчас же начал его расспрашивать о том, кто такой приехал в соседнюю усадьбу. Он мне с усилием отвечал, что приехали помещицы.

— Да какие помещицы? — возразил я с нетерпением.

— Известно какие — барыни,— отвечал он очень вяло.

— Да какие барыни?

— Известно, какие бывают барыни.

— Русские?

— А то какие же? известно русские.

— Не иностранки?

— Ась?

— Давно ли они приехали?

— А известно, недавно.

— Да надолго ли они приехали?

— А это неизвестно.

— Богаты они?

— А это нам неизвестно. Может, и богаты.

— С ними никакого барина не приезжало?

— Барина?

— Да, барина.

Староста вздохнул.

— О, ох, господи! — проговорил он зевая.— Н-нет, барина... нет... барина, кажись, нет. Неизвестно! — прибавил он вдруг.

— А какие тут еще соседи живут?

— Какие, известно какие — всякие.

— Всякие? А как их зовут?

— Кого, помещиц-то? аль соседей?

— Помещиц.

Староста опять вздохнул.

— Как их зовут? — пробормотал он.— А бог их знает, как их зовут! Старшую-то, кажись, Анной Федоровной, а другую-то... Нет, ту не знаю, как зовут.

— Ну, фамилья их какая, по крайней мере?

— Фамилья?

— Да, фамилья, прозвище.

— Прозвище... Да. А ей-богу же, не знаю.
— Они молодые?
— Ну, нет. Этого нет.
— А как?
— Да младшей-то лет сорок с лишком будет.
— Ты всё врешь.
Староста помолчал.
— Что ж — вам лучше знать. А нам неизвестно.
— Ну, зарядил одно слово! — воскликнул я с досадой.

Зная по опыту, что из русского человека, когда он примется отвечать таким образом, нет никакой возможности извлечь что-нибудь толковое (притом же мой хозяин только что было завалился спать и перед каждым ответом слегка покачивался вперед, с младенческим изумлением расширяя глаза и с трудом расклеивая губы, смазанные медом первого сладкого сна),— я махнул рукóй и, отказавшись от ужина, пошел в сарай.

Я долго не мог заснуть. «Кто она такая? — беспрестанно спрашивал я самого себя.— Русская? Если русская, отчего она говорит по-итальянски?.. Староста толкует, что она немолодая... Да он врет... И кто этот счастливец?.. Решительно ничего понять нельзя... Но какое странное приключение! Возможно ли этак два раза сряду... Однако я узнаю непременно, кто она и зачем сюда приехала..» Волнуемый такими беспорядочными, отрывчатыми мыслями, я заснул поздно и видел странные сны... То мне казалось, что я брожу где-то в пустыне, в самый жар полудня — и вдруг, я вижу, передо мной, по раскаленному желтому песку, бежит большое пятно тени .. я поднимаю голову — она, моя красавица, мчится по воздуху, вся белая, с длинными белыми крыльями, и манит меня к себе. Я бросаюсь вслед за нею; но она плывет легко и быстро, а я не могу подняться от земли и напрасно простираю жадные руки... «Addio! — говорит она мне улетая.— Зачем нет у тебя крыльев... Addio...» И вот со всех сторон раздается: Addio! Каждая песчинка кричит и пищит мне: Addio... нестерпимой, острой трелью звенит это i... я отмахиваюсь от него, как от комара,— я ищу ее глазами... а уж она стала облачком и тихо поднимается к солнцу; солнце дрожит, колышется, смеется,

простирает к ней навстречу золотые длинные нити, и вот уж опутали ее эти нити, и тает она в них, а я кричу во всё горло, как исступленный: «Это не солнце, это не солнце, это итальянский паук; кто ему дал паспорт в Россию? я его выведу на свежую воду: я видел, как он крадет апельсины в чужих садах...» То мне чудилось, что я иду по узкой, горной тропинке... Я спешу: мне надо дойти поскорей куда-то, меня ждет какое-то неслыханное счастье; вдруг громадная скала воздвигается передо мною. Я ищу прохода: иду направо, иду налево — нет прохода! И вот за скалой внезапно раздается голос: Passa, passa quei colli... Он зовет меня, этот голос, он повторяет свой грустный призыв. Я мечусь в тоске, ищу хотя малейшей расселины... увы! отвесная стена, гранит повсюду... Passa quei colli — жалобно повторяет голос. Сердце во мне ноет, я бросаюсь грудью на гладкий камень, я в исступлении царапаю его ногтями... Темный проход открывается вдруг передо мною... Замирая от радости, устремляюсь я вперед. . «Шалишь! — кричит мне кто-то,— не пройдешь ..» Я гляжу: Лукьяныч стоит передо мною, и грозит, и машет руками... Я торопливо роюсь в карманах: хочу подкупить его; но в карманах ничего нет... «Лукьяныч,— говорю я ему,— Лукьяныч, пропусти меня, я тебя после награжу».— «Вы ошибаетесь, синьор,— отвечает мне Лукьяныч, и лицо его принимает странное выражение,— я не дворовый человек; узнайте во мне Дон-Кихота Ламанчского, известного странствующего рыцаря; целую жизнь отыскивал я свою Дульцинею — и не мог найти ее, и не потерплю, чтобы вы нашли свою...» Passa quei coli...— раздается опять почти рыдающий голос. «Посторонитесь, синьор!» — восклицаю я с яростью и готов уже ринуться... но длинное копье рыцаря поражает меня в самое сердце... я падаю замертво, я лежу на спине... я не могу пошевелиться... и вот вижу — она входит с лампадой в руке, красиво подымает ее выше головы, озирается во мраке и, осторожно подкравшись, наклоняется надо мною... «Так вот он, этот шут! — говорит она с презрительным смехом.— Это он-то хотел узнать, кто я», и жгучее масло ее лампады капает мне прямо на раненое сердце... «Психея!» — восклицаю я с усилием и просыпаюсь...

Всю ночь я спал плохо и до света был уже на ногах. Наскоро одевшись и вооружившись, отправился я прямо к усадьбе. Нетерпение мое было так велико, что заря только что разгоралась, когда я подошел к знакомым воротам. Кругом пели жаворонки, галки покрикивали на березах; но в доме всё еще спало утренним, мертвенным сном. Собака даже храпела за забором. С тоской ожидания, раздраженного почти до злобы, похаживал я по росистой траве и беспрестанно поглядывал на низенький и неказистый домик, заключавший в стенах своих то загадочное существо... Вдруг калитка слабо визгнула, отворилась, и появился на пороге Лукьяныч, в каком-то полосатом казакине. Его взъерошенное, вытянутое лицо показалось мне еще угрюмее, чем когда-либо. Не без изумленья посмотрев на меня, он уже было хотел опять затворить калитку.

— Любезный, любезный! — воскликнул я торопливо.

— Что вам надо в такую раннюю пору? — возразил он медленно и глухо.

— Скажи, пожалуйста, к вам, говорят, ваша барыня приехала?

Лукьяныч помолчал.

— Приехала...

— Одна?

— С сестрой.

— Не было у них вчера гостей?

— Не было.

И он потянул к себе калитку.

— Постой, постой, любезный... Сделай одолжение...

Лукьяныч кашлянул и поежился от холода.

— Да что вам такое надо?

— Скажи, пожалуйста, сколько твоей барыне лет?

Лукьяныч подозрительно взглянул на меня.

— Сколько барыне лет? Не знаю. Лет за сорок будет.

— За сорок! А сестре ее сколько будет?

— А той под сорок.

— Неужто! И хороша она собой?

— Кто, сестра-то?

— Да, сестра.

Лукьяныч усмехнулся.

— Не знаю, как кому покажется. По-моему, нехороша.

— А что?

— Так, неказиста больно. Мозглявата маленько.

— Вот как! И кроме их, никто к вам не приехал?

— Никто. Кому приезжать!

— Да это быть не может!.. Я...

— Э, барин! с вами, знать, всего не переговоришь,— возразил старик с досадой.— Вишь, холод какой! Прощенья просим.

— Постой, постой... вот тебе...— И я протянул ему наперед приготовленный четвертак, но рука моя толкнулась в быстро захлопнутую калитку. Серебряная монета упала на землю, прокатилась и легла у моих ног.

«А, старый плут,— подумал я,— Дон-Кихот Ламанчский! тебе, видно, приказали молчать... Да погоди, меня ты не проведешь...»

Я дал себе слово во что бы то ни было добиться толку. Около получаса ходил я взад и вперед, не зная, на что решиться. Наконец, я положил сперва разузнать в деревне, кто именно приехал в усадьбу и чья она, потом опять-таки вернуться и, как говорится, не отстать, пока не разъяснится дело. Выйдет же незнакомка из дома, увижу же я ее, наконец, днем, вблизи, как живую женщину, не как виденье. До деревни было с версту, и я тотчас отправился туда, легко и бодро выступая: странная отвага кипела и разыгрывалась в крови моей; крепительная свежесть утра раздражала меня после беспокойной ночи. В деревне я от двух отправлявшихся на работу мужиков узнал всё, что мог только узнать от них; а именно: я узнал, что ту усадьбу вместе с деревней, в которую я зашел, звали Михайловским, что она принадлежала вдове, майорше Анне Федоровне Шлыковой, что у ней была сестра, незамужняя девица Пелагея Федоровна Бадаева, что обе они в летах, богаты, дома почти не живут, всё в разъездах, никого при себе, кроме двух дворовых девушек и повара, не держат, что Анна Федоровна на днях вернулась из Москвы с одной только своей сестрой... Это последнее обстоятельство меня сильно смутило: нельзя ж было предполагать, что и мужику приказано было молчать о моей незнакомке. Допустить же, что Анна Федоровна Шлыкова, вдова сорока пяти лет, и та молодая, пре-

лестная женщина, виденная мною вчера, одно и то же лицо — было совершенно невозможно. Пелагея Федоровна, по описаниям, также не отличалась красотою, да и сверх того, при одной мысли, что женщину, виденную мною в Сорренто, могли звать Пелагеей, да еще Бадаевой, я пожимал плечами и злобно смеялся. И, однако ж, я ее видел вчера, в этом доме... видел, своими глазами видел, думал я. Раздосадованный, взбешенный, но еще более непреклонный в своем намерении, я было хотел тотчас же вернуться к усадьбе... но взглянул на часы: еще шести часов не было. Я решился подождать. В усадьбе, вероятно, все еще спали... а с теперешних пор бродить около дома значило бы только напрасно возбуждать подозрение; притом передо мной расстилались кусты, за ними виднелся осиновый лес... Я должен отдать себе ту справедливость, что, несмотря на волновавшие меня мысли, благородная страсть к охоте не совсем еще замолкла во мне; «Авось,— подумал я,— наткнусь на выводок,— время и пройдет». Я вошел в кусты. Но, правду сказать, ходил я весьма небрежно и уже вовсе несообразно с правилами искусства: не следил постоянно глазами за собакой, не фыркал над густым кустом, в надежде что оттуда с громом и треском вылетит краснобровый черныш, и беспрестанно взглядывал на часы, что уже совсем никуда не годится. Вот, наконец, наступил девятый час. «Пора!» — воскликнул я вслух и уже повернул было назад к усадьбе, как вдруг огромный черныш действительно затрепыхался из густой травы, в двух шагах от меня; я выстрелил по великолепной птице, ранил ее в подкрылок; она чуть не свалилась, но справилась, потянула, дробя крыльями и ныряя, к лесу, попыталась было подняться выше первых осинок опушки, но ослабела и кубарем покатилась в чащу. Бросить такую добычу было бы совершенно непростительно; я проворно пустился вслед за нею, вошел в лес, сделал знак Дианке и через несколько мгновений услышал бессильное клохтанье и хлопанье: то бился несчастный черныш под лапами чуткой собаки. Я поднял его, положил в ягдташ, оглянулся — и, как пригвожденный, остался на месте...

Лес, в который я вошел, был очень част и глух, так что я с трудом добрался до места, где упала птица; но в недальнем расстоянии от меня извивалась тележная

дорога, и по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом, моя красавица и тот мужчина, который обогнал меня накануне; я его узнал по усам. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку; их лошади чуть выступали, лениво покачиваясь с боку на бок и красиво вытянув длинные шеи. Опомнившись от первого испуга... именно испуга: другого названия я не могу дать чувству, внезапно меня охватившему... я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! как очаровательно несся мне навстречу, среди изумрудной зелени, ее стройный образ! Мягкие тени, нежные отблески тихо скользили по ней — по ее длинному серому платью, по тонкой, слегка наклоненной шее, по бледно-розовому лицу, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты! Голова ее как будто склонилась под его бременем; золотые, влажные искорки просвечивались в ее темных глазах, до половины закрытых ресницами; они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная, младенческая улыбка — улыбка глубокой радости блуждала на ее губах; казалось, избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка, вот как распустившийся цветок иногда надламывает свой стебель; обе руки ее бессильно лежали: одна — в руке ехавшего с ней мужчины, другая — на холке лошади. Я успел рассмотреть ее — но и его тож... Это был красивый, статный мужчина, с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был очень собой доволен и не довольно тронут, не довольно умилен, именно умилен... Да и в самом деле, какой человек заслуживает такую преданность, какая самая прекрасная душа достойна доставить другой душе такое счастье... Признаться сказать, завидовал я ему!.. Между тем оба они поравнялись со мною... Собака моя вдруг выскочила на дорогу и залаяла... Незнакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидав меня, сильно ударила хлыстом по шее лошади. Лошадь фыркнула, взвилась на дыбы, вынесла разом вперед обе ноги и помчалась галопом... Мужчина тотчас же пришпорил

своего вороного коня, и когда я через несколько мгновений вышел по дороге на опушку, они уже оба скакали в золотистой дали, через поле, красиво и мерно колыхаясь на седлах... и скакали не в направлении усадьбы...

Я глядел... Они скоро исчезли за холмом, в последний раз ярко озарившись солнцем на темной черте небосклона. Я постоял, постоял, тихими шагами вернулся в лес и сел, закрыв глаза рукою, на дорожке. Я заметил, что при встрече с незнакомыми стоит только закрыть глаза — и черты их тотчас же возникнут перед вами; всякий может поверить справедливость моего замечания на улице. Чем знакомее лица, тем труднее являются они, тем неяснее их впечатление; их помнишь, а не видишь... а своего собственного лица никак и не представишь... Малейшая отдельная черта известна, а целого образа не составляется. Итак, я сел, закрыл глаза — и тотчас увидал и незнакомку, и ее товарища, и лошадей их, и всё... особенно резко и отчетливо стояло передо мною улыбающееся лицо мужчины. Я стал вглядываться в него... оно смешалось и растаяло в какой-то багровой мгле, а вслед за ним и ее образ тоже понесся прочь и утонул и уже более не хотел возвратиться. Я приподнялся. «Ну, что ж! — подумал я,— по крайней мере я их видел, ясно видел обоих... Остается узнать их имена». Стараться узнать их имена! Какое неуместное, мелкое любопытство! Но, клянусь, не любопытство во мне разгоралось: мне, право, просто казалось невозможным не добиться, наконец, кто ж они по крайней мере такие, после того как случай так странно и так упорно сводил меня с ними. Впрочем, нетерпеливого, прежнего недоумения во мне уже не было: оно сменилось каким-то смутным, печальным чувством, которого я немного стыдился... Я завидовал...

Я не спешил назад к усадьбе. Мне, признаться, становилось совестно допытываться чужой тайны. Притом появленье любящей четы днем, при солнечном свете, хотя все-таки неожиданное и, повторяю, странное — не то чтобы успокоило, а как-то расхолодило меня. Я уже не находил во всем этом происшествии ничего сверхъестественного, чудесного... ничего похожего на несбыточный сон...

Я начал опять охотиться, с бóльшим вниманием,

чем прежде; но все-таки настоящих восторгов не было. Выводок мне попался и задержал меня часа полтора... Молодые тетеревята долго не откликивались на мой свист,— вероятно, оттого, что я свистел не довольно «объективно». Солнце взошло уже очень высоко (часы показывали двенадцать), когда я направил шаги свои к усадьбе. Я шел не торопясь. Вот глянул, наконец, с холма низенький домик... сердце во мне опять задрожало. Я приблизился... и не без тайного удовольствия увидел Лукьяныча. Он по-прежнему неподвижно сидел на лавочке перед флигелем. Ворота были заперты... и ставни тоже.

— Здравствуй, дядя! — крикнул я еще издали.— Аль погреться вышел?

Лукьяныч повернул ко мне свое худое лицо и молча приподнял фуражку.

Я подошел к нему.

— Здравствуй, дядя, здравствуй,— повторил я, желая его задобрить.— Что ж ты,— прибавил я, нечаянно увидев на земле мой новенький четвертак,— не видал, что ли, его?

И я указал ему на серебряный кружок, до половины высунувшийся из-под короткой травки.

— Нет, видел.

— Так что ж ты его не поднял?

— Да так: не мои деньги, так и не поднял.

— Экой ты братец! — возразил я не без замешательства и, подняв четвертак, протянул ему его опять,— возьми, возьми на чай.

— Много благодарны,— отвечал мне Лукьяныч, спокойно улыбнувшись.— Не нужно; поживем и так. Много благодарны.

— Да я тебе готов с удовольствием дать еще больше! — возразил я с смущением.

— За что же? Не извольте беспокоиться — много благодарны за расположенье, а хлеба с нас и в краюхе будет. И той, пожалуй, не доешь — какой час выдет.

И он встал и протянул руку к калитке.

— Постой, постой, старик! — заговорил я почти с отчаянием.— Какой ты, право, сегодня неразговорчивый... Скажи мне по крайней мере, твоя барыня — встала она, что ли?

— Они встали.

— И... дома она?
— Нет, их дома нет-с.
— В гости выехала, что ли?
— Никак нет-с: в Москву уехала.
— Как в Москву? Да она сегодня поутру здесь была?
— Здесь.
— И ночевала здесь?
— Здесь ночевали-с.
— И недавно сюда приехала?
— Недавно.
— Так как же, братец?
— А вот, этак с час будет времени, изволили обратно отправиться в Москву.
— В Москву!
Я с остолбенением глядел на Лукьяныча: этого, признаюсь, я не ожидал...
И Лукьяныч глядел на меня... Старчески лукавая улыбка стягивала его сухие губы и чуть светилась в печальных глазах.
— И с сестрой уехала? — проговорил я, наконец.
— С сестрицей.
— Так что никого теперь в доме нет?
— Никого...
«Этот старик меня обманывает,— сверкнуло у меня в голове.— Недаром он так лукаво ухмыляется».— Послушай, Лукьяныч,— проговорил я вслух,— хочешь ты мне сделать одно одолжение?..
— Что такое вам угодно? — медленно проговорил он, видимо начиная тяготиться моими расспросами.
— В доме, ты говоришь, никого нет; можешь ты показать мне его? Я бы очень был тебе благодарен.
— То есть вы хотите комнаты посмотреть?
— Да, комнаты.
Лукьяныч помолчал.
— Извольте,— произнес он наконец.— Пожалуйте...
И он, нагнувшись, шагнул через порог калитки. Я отправился вслед за ним. Перейдя через небольшой дворик, мы взобрались на шаткие ступеньки крыльца. Старик толкнул дверь; в ней и замка не было: веревочка с узлом торчала из ключевой скважины... Мы вошли в дом. Он весь состоял из пяти-шести низеньких комнат,

и, сколько я мог различить при слабом свете, скупо струившемся сквозь трещины ставен, мебель в этих комнатах была весьма простая и дряхлая. В одной из них (именно в той, которая выходила в сад) стояло маленькое и старенькое фортепьяно... Я поднял его погнутую крышку и ударил по клавишам: кислый, шипящий звук раздался и болезненно замер, как бы жалуясь на мою дерзость. Ни по чем нельзя было заметить, что из этого дома недавно выехали люди; в нем и пахло чем-то мертвенным и душным — нежилым; разве кое-где валявшаяся бумажка своей белизной давала знать, что попала сюда недавно. Я поднял одну такую бумажку; она оказалась клочком письма; на одной стороне бойким женским почерком были начертаны слова: «se taire?»[1], на другой я разобрал слово: «bonheur...»[2]. На круглом столике подле окна стоял букет полузавядших цветов в стакане и лежала зелененькая смятая ленточка... Я взял эту ленточку на память. Лукьяныч отворил узкую дверь, заклеенную обоями.

— Вот,— сказал он, протянув руку,— это вот спальня, а там, за нею, еще девичья, а то других покоев нет...

Мы пошли назад по коридору.

— А там что за комната? — спросил я, указав на широкую белую дверь с замком.

— Это? — отвечал мне Лукьяныч глухим голосом.— Это так.

— Как так?

— Да так... Кладовая...— И он пошел было в переднюю.

— Кладовая? Нельзя ли ее посмотреть?..

— Да что вам за охота, барин, право! — возразил Лукьяныч с неудовольствием.— Что вам смотреть? Сундуки, посуда старая... кладовая, и больше ничего...

— Все-таки покажи мне ее, пожалуйста, старик,— сказал я, хоть внутренно стыдился своей неприличной настойчивости.— Я вот, видишь ли, я желал бы... я хочу у себя в деревне точно такой дом...

Мне стало совестно: я не мог докончить начатой речи.

---

[1] «молчать?» *(франц.)*.
[2] «счастье...» *(франц.)*.

Лукьяныч стоял, наклонив на грудь седую голову, и как-то странно посматривал на меня исподлобья.

— Покажи,— проговорил я.

— Ну, извольте,— возразил он, наконец, достал ключ и неохотно отпер дверь.

Я заглянул в кладовую. В ней действительно не было ничего замечательного. На стенах висели старые портреты, с мрачными, почти черными лицами и злыми глазами. На полу валялся всякий хлам.

— Ну, насмотрелись? — угрюмо спросил меня Лукьяныч.

— Да; спасибо! — торопливо возразил я.

Он захлопнул дверь. Я вышел в переднюю, а из передней на двор.

Лукьяныч проводил меня, пробормотал: «Прощенья просим-с»,— и пошел в свой флигелек.

— А какая это у вас госпожа вчера гостила? — крикнул я ему вслед.— Я ее сегодня встретил в роще!

Я надеялся озадачить его моим внезапным вопросом, вызвать необдуманный ответ. Но старик только глухо засмеялся и, уходя к себе, хлопнул дверью.

Я отправился назад в Глинное. Мне было неловко, как пристыженному мальчику.

«Нет,— сказал я самому себе,— видно, мне не добиться разрешения этой загадки. Бог с ней! Не стану больше думать обо всем этом».

Через час я уже ехал домой, рассерженный и раздраженный.

Прошла неделя. Как ни старался я отгонять от себя прочь воспоминание о незнакомке, о ее спутнике, о моих встречах с ними,— оно то и дело возвращалось и приставало ко мне со всей докучной настойчивостью послеобеденной мухи... Лукьяныч, с своими таинственными взглядами и сдержанными речами, с своей холодно-печальной улыбкой, тоже беспрестанно приходил мне на память. Самый дом, когда я вспоминал о нем, самый тот дом, казалось, хитро и тупо поглядывал на меня сквозь свои полузакрытые ставни и как будто поддразнивал меня, как будто говорил мне: а всё же ты ничего не узнаешь! Я, наконец, не выдержал и в один прекрасный день поехал в Глинное, а из Глинного отправился пешком... куда? читатель легко догадается.

Я должен сознаться, что, подходя к таинственной усадьбе, я чувствовал довольно сильное волненье. В наружности дома не произошло никакой перемены: те же закрытые окна, тот же унылый и осиротелый вид; только на лавочке, перед флигелем, вместо старика Лукьяныча сидел какой-то молодой дворовый парень лет двадцати, в длинном нанковом кафтане и красной рубахе. Он сидел, положив на ладонь кудрявую голову, и дремал, изредка покачиваясь и вздрагивая.

— Здравствуй, брат! — промолвил я громко.

Он тотчас вскочил и выпучил на меня свои оторопелые глаза.

— Здравствуй, брат! — повторил я,— а где старик?

— Какой старик? — медленно проговорил малый.

— Лукьяныч.

— А, Лукьяныч! — Он глянул в сторону.— Вам Лукьяныча надо?

— Да, Лукьяныча. Что он, дома?

— Н-нет,— произнес малый с расстановкой,— он того... как бы вам... того... сказать...

— Нездоров он, что ли?

— Нет.

— Так что же?

— Да его совсем нет.

— Как нет?

— Так. С ним такое... недоброе приключилось.

— Он умер? — спросил я с изумлением.

— Удавился.

— Удавился! — с испугом воскликнул я и всплеснул руками.

Мы оба молча посмотрели в глаза друг другу.

— Давно ли? — проговорил я наконец.

— Да вот пятый день сегодня. Вчера его хоронили.

— Да отчего он это удавился?

— Господь его знает. Человек он был вольный, на жалованье; нужды ни в чем не знал, господа его как родного ласкали. Ведь у нас господа — дай бог им здоровья! Просто ума не приложишь, что с ним такое подеялось. Знать, лукавый попутал.

— Да как это он сделал?

— Да так. Взял да удавился.

— И ничего прежде в нем не замечали?

— Как вам сказать... Особенного этакого, чтобы...

ничего. Он всегда скучный такой был, сумнительный человек. Закряхтит, закряхтит, бывало. Скучно, дескать, мне. Ну, да ведь уж лета его какие были. В последнее время он точно что-то задумываться начал. Придет, бывало, к нам на деревню; я-то ему племянником довожусь: «Что, брат Вася, скажет, приди-ка, брат, переночуй-ка у меня!» — «А что, дяденька?» — «Да так, страшно что-то; скучно одному». Ну и пойдешь к нему. Бывало, выдет на двор, посмотрит, посмотрит этак на дом, закачает, закачает головой, да как вздохнет... Перед самой той ночью, как ему то есть жизнь покончить, он тоже пришел к нам, позвал меня. Ну, я и пошел. Вот пришли мы к нему во флигелек, посидел он маленько на лавочке, встал, да и вышел. Я жду,— что, мол, долго он не идет, вышел на двор, крикнул: «Дяденька! а, дядя?» Не откликается дяденька. Я думаю: куда, мол, он это пошел, не в дом ли? да и пошел в дом. Уж смеркаться начинало. Вот прохожу я мимо кладовой, слышу, скребет там что-то за дверью; я взял, да дверь и отворил; глядь, а он там сидит, прикорнул под окном. «Что, мол, говорю, дяденька, вы тут делаете?» А он как обернется да как гикнет на меня, а глаза-то у него такие быстрые, быстрые, так и горят, как у кота. «Что тебе? Разве не видишь — бреюсь?» И голос такой хриплый. У меня вдруг волосы так дыбом и поднялись, и, сам не знаю отчего, так мне страшно стало... знать, о ту пору бесы-то его уж обступили. «Впотьмах-то»,— говорю я, а у самого так колени и дрожат. «Ну, говорит, хорошо, ступай». Я пошел, и он из кладовой вышел и дверь на замок запер. Вот пришли мы опять во флигелек, страх с меня тотчас и соскочил. «Что, мол, говорю я, дяденька, ты в кладовой делал?» Он так и всполохнулся. «А ты молчи, говорит, молчи!» да и полез на лежанку. «Ну,— думаю я,— лучше не стану я с ним заговаривать: вишь, он сегодня что-то того, нездоров, должно быть». Вот я взял, да и лег тоже на лежанку. А ночник горит в углу. Вот лежу я, и так, знаете, дремится мне... Вдруг, слышу, дверь тихонько скрып... да и отворилась... так, немножко. А дяденька-то к двери спиной лежал, да и на ухо он всегда, вы, может, припомните, туг бывал. А тут как вскочит вдруг... «Кто меня зовет, а? кто? за мной пришел, за мной!» — да без шапки на двор... Я подумал:

«Что с ним это?» — да, грешный человек, тут же и заснул. На другое утро просыпаюсь... нет Лукьяныча. Вышел из комнатки, стал его кликать — нету нигде. Спрашиваю у сторожа: «Не видал, мол, не выходил дяденька?» — «Нет, говорит, не видал».— «Что, брат, говорю, нет его что-то...» — «Ой!» Мы так оба и струхнули. «Пойдем, говорю, Федосеич, пойдем, говорю, посмотрим, нет ли его в доме».— «Пойдем, говорит, Василий Тимофеич», а сам бел, как глина. Пошли мы в дом... стал я проходить мимо кладовой, да как глянул, а замок-то висит на пробое открытый, я толк в дверь, а дверь-то изнутри заперта... Федосеич тотчас обежал кругом, посмотрел в окно. «Василий Тимофеич! кричит, ноги висят, ноги...» Я к окну. А ноги-то это его, Лукьяныичевы ноги. Так посереди комнаты и повесился... Ну, послали за судом... Сняли его с веревки: двенадцатью узлами завязана была веревка.

— Ну, что же суд?

— Да что суд? Ничего. Подумали, подумали, какая может быть причина? Нет никакой причины. Так и решили, что, должно полагать, не в своем был уме. У него ж в последнее время голова болела, ча́сто всё головой жаловался...

Я еще около получаса потолковал с малым и ушел, наконец, в совершенном смущении. Признаюсь, я не мог без тайного, суеверного страха смотреть на этот дряхлый дом... Через месяц я уехал из деревни; и понемногу все эти ужасы, эти таинственные встречи вышли у меня из головы.

II

Прошло три года. Большую часть этого времени я провел в Петербурге да за границей, и если когда я и заезжал к себе в деревню, то не более как на несколько дней, так что мне ни разу не пришлось побывать ни в Глинном, ни в Михайловском. Ни красавицу мою я не видал нигде, ни того мужчину. Однажды, на исходе третьего года, в Москве мне случилось встретиться с г-жою Шлыковой и ее сестрицей, Пелагеей Бадаевой,— с той самой Пелагеей, которую я, грешный человек, до тех пор считал вымышленным лицом,— на вечере у одной моей знакомой. Обе дамы были уже не моло-

дых лет и довольно приятной наружности; разговор их отличался умом и веселостью: они много путешествовали, и путешествовали с пользой; в обращении их замечалась непринужденная веселость. Но между моей незнакомкой и ими не было решительно ничего общего. Меня представили им. Мы с г-жою Шлыковой разговорились (сестрицу ее занимал какой-то заезжий геолог). Я объявил ей, что имею удовольствие быть ее соседом по ...му уезду.

— А! у меня там точно есть небольшое именье,— заметила она,— возле Глинного.

— Как же, как же,— возразил я,— я знаю ваше Михайловское. Вы там бываете?..

— Я? редко.

— Три года тому назад были?

— Постойте! кажется, была. Да, была, точно.

— С сестрицей вашей или одни?

Она взглянула на меня.

— С сестрой. Мы там с неделю провели. По делам, знаете. Впрочем, мы никого не видали.

— Гм... Там, кажется, соседей очень мало.

— Да, мало. Я же до них не охотница.

— Скажите,— начал я,— ведь у вас там, кажется, в том же году случилось несчастье. Лукьяныч...

Глаза г-жи Шлыковой тотчас наполнились слезами.

— А вы его знали? — промолвила она с живостью.— Такое несчастье! Такой был прекрасный, добрый старик... и, представьте, ведь без всякой причины...

— Да, да,— пробормотал я,— такое несчастье.

Сестра г-жи Шлыковой подошла к нам. Ей, вероятно, уж начинали надоедать ученые рассуждения геолога о формации берегов Волги.

— Вообрази, Pauline,— начала моя собеседница,— monsieur знал Лукьяныча.

— В самом деле? Бедный старик!

— Я не раз охотился около Михайловского в то время, когда вы там были, три года тому назад,— заметил я.

— Я? — возразила Пелагея с некоторым недоумением.

— Ну, да, конечно! — поспешно подхватила ее сестрица,— разве ты не помнишь?

И она пристально поглядела ей в глаза.

— Ах, да, да... точно! — отвечала вдруг Пелагея.

«Эхе-хе,— подумал я,— навряд ты была в Михайловском, голубушка».

— Не споете ли нам что-нибудь, Пелагея Федоровна,— заговорил внезапно один высокий молодой человек, с белокурым коком и мутно-сладкими глазками.

— Я, право, не знаю,— проговорила девица Бадаева.

— А вы поете? — воскликнул я с живостью и быстро поднялся с места,— ради бога... Ах, ради бога, спойте нам что-нибудь.

— Но что мне спеть вам?

— Не знаете ли вы,— начал я, всячески стараясь придать себе вид равнодушный и развязный,— одну итальянскую песенку... она так начинается: Passa que'colli?

— Знаю,— отвечала Пелагея совершенно невинно.— Что ж, ее вам спеть? Извольте.

И она села за фортепьяно. Я, как Гамлет, вперил взоры свои в г-жу Шлыкову. Мне показалось, что при первом звуке она слегка вздрогнула; впрочем, она спокойно досидела до конца. Девица Бадаева пела недурно. Песенка кончилась — раздались обычные рукоплескания. Стали просить ее спеть еще что-нибудь; но обе сестры перемигнулись и через несколько минут уехали. Когда они выходили из комнаты, мне послышалось слово: importun[1].

«Поделом!» — подумал я — и уже больше с ними не встречался.

Прошел еще год. Я переехал на жительство в Петербург. Настала зима; начались маскарады. Однажды, выходя в одиннадцатом часу вечера из одного приятельского дома, я почувствовал себя в таком мрачном расположении духа, что решился отправиться в маскарад, в Дворянское собрание. Долго бродил я вдоль колонн и мимо зеркал с скромно-фатальным выражением на лице — с тем выражением, которое, сколько я мог заметить, в подобных случаях появляется у самых порядочных людей — почему, один господь ведает; долго бродил я, изредка отшучиваясь от пискли-

[1] навязчивый *(франц.)*.

вых домино с подозрительными кружевами и несвежими перчатками и еще реже заговаривая сам с ними; долго предавал я свои уши завываньям труб и визгу скрипок; наконец, наскучавшись вдоволь и добившись головной боли, хотел я уже ехать домой... и ... и остался. Я увидал женщину в черном домино, прислонившуюся к колонне,— увидал ее, остановился, подошел к ней — и... поверят ли мне мои читатели?... тотчас узнал в ней мою незнакомку. Почему узнал я ее: по взгляду ли, который она рассеянно бросила на меня сквозь продолговатые отверстия маски, по дивному ли очертанию ее плеч и рук, по особенной ли женственной величавости всего ее образа, или, наконец, по какому-то тайному голосу, который внезапно заговорил во мне,— не могу сказать... но только я узнал ее. С дрожью на сердце прошел я несколько раз мимо нее. Она не шевелилась; в ее позе было что-то до того безнадежно горестное, что, глядя на нее, я невольно вспомнил два стиха испанского романса:

Я печальная картина,
Прислоненная к стене *.

Я зашел за колонну, о которую она опиралась, и, наклонив голову к самому ее уху, тихо произнес:

— Passa que'colli...

Она вся затрепетала и быстро обернулась ко мне. Глаза наши так близко встретились, что я мог заметить, как испуг расширил ее зрачки. С недоумением, слабо протянув одну руку, смотрела она на меня.

— 6 мая 184 * года, в Сорренто, в десять часов вечера, в улице della Croce [1],— проговорил я медленным голосом, не спуская с нее глаз,— потом в России, в ...й губернии, в сельце Михайловском, 22 июля 184 * года...

Я сказал всё это по-французски. Она подалась немного назад, окинула меня с ног до головы изумленным взором и, прошептав: «Venez» [2],— проворно пошла вон из залы. Я отправился вслед за ней.

Мы шли молча. Я не в силах передать, что я чув-

---

* Soy un cuadro de tristeza,
Arrimado a la pared.

[1] Креста *(итал.)*.

[2] «Пойдемте» *(франц.)*.

ствовал, идя с ней рядом. Прекрасное сновидение, которое бы вдруг стало действительностью... статуя Галатеи, сходящая живой женщиной с своего пьедестала в глазах замирающего Пигмалиона... Я не верил себе; я едва мог дышать.

Мы прошли несколько комнат... Наконец в одной из них она остановилась перед небольшим диваном у окна и села. Я сел подле нее.

Она медленно обернула ко мне свою голову и внимательно посмотрела на меня.

— Вы... вы от *него*? — проговорила она.

Голос ее был слаб и неверен...

Ее вопрос меня несколько смутил.

— Нет .. не от него,— отвечал я запинаясь.

— Вы его знаете?

— Знаю,— возразил я с таинственной важностью. Мне хотелось поддержать свою роль.— Знаю.

Она недоверчиво посмотрела на меня, хотела что-то сказать и потупилась.

— Вы его ждали в Сорренто,— продолжал я,— вы виделись с ним в Михайловском, вы ездили с ним верхом...

— Как вы могли...— начала было она.

— Уж я знаю... я всё знаю...

— Ваше лицо мне как будто знакомо,— продолжала она,— но нет...

— Нет, я вам незнаком.

— Так что же вы хотите?

— Да уж я знаю,— твердил я.

Я очень хорошо понимал, что мне следовало воспользоваться отличным началом, идти далее, что мои повторения: «я всё знаю, уж я знаю» становились смешными,— но мое волнение было так велико, эта неожиданная встреча до того меня смутила, я так потерялся, что решительно не умел сказать ничего другого. Притом же я действительно больше ничего и не знал. Я чувствовал, что я глупею, чувствовал, что я из таинственного всеведущего существа, каким я сперва ей должен был показаться, быстро превращаюсь в какого-то ухмыляющегося дурачка... но делать было нечего.

— Да, я всё знаю,— пробормотал я еще раз.

Она взглянула на меня, проворно встала и хотела удалиться.

Но это было бы слишком жестоко. Я ее схватил за руку.

— Ради бога,— начал я,— сядьте, выслушайте меня...

Она подумала и села.

— Я вам сейчас говорил,— продолжал я с жаром,— что я всё знаю,— это вздор. Я ничего не знаю, решительно ничего; я не знаю, ни кто вы, ни кто он, и если я мог вас удивить тем, что я сказал вам сейчас у колонны, то припишите это одному случаю, странному, непонятному случаю, который, как будто на смех, два раза и почти одинаковым образом сталкивал меня с вами, делал меня невольным свидетелем того, что, может быть, вы бы желали сохранить в тайне...

И я тут же, нисколько не обинуясь и без малейшей утайки, рассказал ей всё: встречи мои с ней в Сорренто, в России, мои тщетные расспросы в Михайловском, даже разговор мой в Москве с Шлыковой и ее сестрой.

— Теперь вы всё знаете,— продолжал я, окончив свой рассказ.— Я не стану описывать вам, какое глубокое, какое потрясающее впечатление вы произвели на меня: видеть вас и не быть очарованным вами — невозможно. С другой стороны, мне тоже не для чего говорить вам, какого рода было это впечатление. Вспомните, при каких условиях я оба раза видел вас... Поверьте, я не охотник предаваться безумным надеждам, но поймите также и то неизъяснимое волнение, которое овладело мною сегодня, и извините меня, извините неловкую хитрость, к которой я решился прибегнуть, чтоб обратить ваше внимание, хотя на мгновение...

Она выслушала мои сбивчивые объяснения, не поднимая головы.

— Что же вы хотите от меня? — сказала она, наконец.

— Я?.. Я ничего не хочу... Я и так уже счастлив... Я слишком уважаю чужие тайны.

— Будто? Однако вы до сих пор, кажется... Впрочем,— продолжала она,— я не хочу упрекать вас. Всякий на вашем месте сделал бы то же. Притом случай действительно так настойчиво сближал нас... это как будто дает вам некоторое право на мою откровенность. Слушайте: я не принадлежу к числу тех женщин, непонятых и несчастных, которые ездят по маска-

радам для того, чтобы болтать с первым встречным о своих страданиях, которым нужны сердца, исполненные сочувствия... Мне ничьего сочувствия не нужно: мое собственное сердце умерло, и я приехала сюда для того только, чтобы окончательно похоронить его.

Она поднесла платок к своим губам.

— Я надеюсь,— продолжала она с некоторым усилием,— что вы не принимаете моих слов за обыкновенные маскарадные излияния. Вы должны понять, что мне не до того...

И точно, в ее голосе было что-то страшное, при всей вкрадчивой мягкости его звуков.

— Я русская,— сказала она по-русски — до тех пор она выражалась на французском языке,— хотя мало жила в России... Имя вам мое знать не нужно. Анна Федоровна моя старинная приятельница; я точно ездила в Михайловское под именем ее сестры... Тогда мне нельзя было с ним видеться явно... И без того начинали ходить слухи... Тогда еще существовали препятствия — он не был свободен... Эти препятствия исчезли, но тот, чье имя должно было сделаться моим, тот, с которым вы меня видели, меня бросил.

Она сделала движение рукой и помолчала...

— Вы точно его не знаете? не встречались с ним?

— Ни разу.

— Он почти всё это время провел за границей. Впрочем, он теперь здесь... Вот и вся моя история,— прибавила она,— вы видите, в ней нет ничего таинственного, ничего особенного.

— А Сорренто? — робко прервал я.

— Я с ним познакомилась в Сорренто,— медленно возразила она и задумалась.

Мы оба умолкли. Странное смущение овладело мною. Я сидел подле нее, подле той женщины, чей образ так часто носился в мечтах моих, так мучительно волновал и раздражал меня,— я сидел подле нее и чувствовал холод и тяжесть на сердце. Я знал, что ничего не выйдет из этой встречи, что между ею и мною была бездна, что мы, расставшись, разойдемся навсегда. Протянув голову и уронив обе руки на колени, сидела она равнодушно и небрежно. Знаю я эту небрежность неизлечимого горя, знаю равнодушие безвозвратного несчастья! Маски четами проходили мимо нас; звуки

«однообразного и безумного» вальса то глухо отдавались в отдаленье, то приносились резкими взрывами; тяжело и печально волновала меня веселая бальная музыка. «Неужели,— думал я,— эта женщина — та самая, которая явилась мне некогда в окне того далекого деревенского домика во всем блеске торжествующей красоты?..» И между тем время, казалось, не коснулось ее. Нижняя часть ее лица, не скрытая кружевами маски, была почти младенчески нежна; но от нее веяло холодом, как от статуи... Возвратилась Галатея на свой пьедестал, и уже не сойти с него более.

Вдруг она выпрямилась, заглянула в другую комнату и встала.

— Дайте мне руку,— сказала она мне,— пойдемте скорей, скорей.

Мы вернулись в залу. Она шла так быстро, что я едва за ней поспевал. У одной колонны она остановилась.

— Подождемте здесь,— прошептала она.

— Вы кого-нибудь ищете,— начал было я...

Но она не обращала на меня внимания: пристальный взор ее вперился в толпу. Темно и грозно глядели из-под черного бархата ее черные большие глаза.

Я обернулся в направлении ее взора и всё понял. По коридору, образуемому рядом колонн и стеной, шел он, тот мужчина, которого я встретил с нею в лесу. Я узнал его тотчас; он почти не изменился. Так же красиво вился его русый ус, такой же спокойной и самоуверенной веселостью светились его карие глаза. Он шел не торопясь и, слегка наклонив свой тонкий стан, рассказывал что-то женщине в домино, которую вел под руку. Поравнявшись с нами, он внезапно поднял голову, посмотрел сперва на меня, потом на ту, с которой я стоял, и, вероятно, узнал ее, узнал ее глаза, потому что брови его слегка дрогнули,— он прищурился, и чуть заметная, но нестерпимо дерзкая усмешка шевельнула его губы. Он нагнулся к своей спутнице, шепнул ей на ухо два слова, та тотчас оглянулась, голубенькие ее глазки торопливо окинули нас обоих, и, тихо засмеявшись, погрозила она ему своей маленькой ручкой. Он слегка приподнял одно плечо, она кокетливо к нему прижалась...

Я обернулся к моей незнакомке. Она смотрела

вслед уходящей чете и вдруг, выдернув у меня руку, бросилась к дверям. Я было устремился вслед за ней, но она, обернувшись, так на меня взглянула, что я глубоко ей поклонился и остался на месте. Я понял, что преследовать ее было бы грубо и глупо.

— Скажи, пожалуйста, братец,— говорил я, четверть часа спустя, одному из моих приятелей — живому адрес-календарю Петербурга,— что это за высокий, красивый господин с усами?

— Это?.. это какой-то иностранец, довольно загадочное существо, очень редко появляющееся на нашем горизонте. А что?

— Так!..

Я вернулся домой. С тех пор я уже нигде не встречал моей незнакомки. Зная имя человека, которого она любила, я бы, вероятно, мог добиться, наконец, кто она была такая, но я сам не желал этого. Я сказал выше, что эта женщина появилась мне как сновидение — и как сновидение прошла она мимо и исчезла навсегда.

МУМУ

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рожденья. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых — дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж... Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет

на плодородной земле... Переселенный в город, он не понимал, что́ с ним такое деется,— скучал и недоумевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо,— взяли, поставили на вагон железной дороги — и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат — бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ; в полчаса всё у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом — и не только телегу, самое лошадь спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его; даже днем проходившие, вовсе уже не мошенники, а про́сто незнакомые люди при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских — они его побаивались,— а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолице.

Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться,— а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу, соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах,— истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее — не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика — стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черный; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную; в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи,— был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для госпожи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице.

— А что, Гаврила,— заговорила вдруг она,— не же-

нить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

— Отчего же не женить-с! Можно-с,— ответил Гаврила,— и очень даже будет хорошо-с.

— Да; только кто за него пойдет?

— Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Всё же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

— Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.

— Да!.. пусть посватает Татьяну,— решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок,— слышишь?

— Слушаю-с,— произнес Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился... Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем нелишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой — предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней всё равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли,— вот и всё. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с

кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений — бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту... кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка, с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову кастелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой чёрт, леший!» — пробормотали все вполголоса, а кастелян-

ша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим подозвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И всё это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась, несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он принагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жениться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа,— думал он, посиживая у окна,— конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), всё же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и наконец, оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он всё в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, чёрта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь... право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, поставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальца-

ми по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. «Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?»

— Хорош,— проговорил Гаврила и помолчал.— Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передернул. «А ты небось лучше?» — подумал он про себя.

— Ну, посмотри на себя, ну, посмотри,— продолжал с укоризной Гаврила,— ну, на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.

— А что-с?

— Что-с? — повторил Гаврила.— Что-с? Еще ты говоришь: что-с? На чёрта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.

Капитон проворно замигал глазками.

«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреич»,— подумал он опять про себя.

— Ведь вот ты опять пьян был,— начал Гаврила,— ведь опять? А? ну, отвечай же.

— По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно,— возразил Капитон.

— По слабости здоровья!.. Мало тебя наказывают — вот что; а в Питере еще был в ученье... Многому ты выучился в ученье! Только хлеб даром ешь.

— В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья: сам господь бог, и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сем свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства, то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ; сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушел то есть, а я...

— А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубенный человек! Ну, да дело не в том,— продолжал дворецкий,— а вот что. Барыне...— тут он помолчал,— барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Оне полагают, что ты остепенишься, женившись. Понимаешь?

— Как не понимать-с

— Ну, да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? ты согласен?

Капитон осклабился.

— Женитьба дело хорошее для человека, Гаврила Андреич; и я, с своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

— Ну, да,— возразил Гаврила и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек».— Только вот что,— продолжал он вслух,— невесту-то тебе приискали неладную.

— А какую, позвольте полюбопытствовать?..

— Татьяну.

— Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

— Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она тебе не по нраву?

— Какое не по нраву, Гаврила Андреич! Девка она ничего, работница, смирная девка... Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то, леший, кикимора-то степная, ведь он за ней...

— Знаю, брат, всё знаю,— с досадой прервал его дворецкий,— да ведь...

— Да помилуйте, Гаврила Андреич! ведь он меня убьет, ей-богу убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы изволите сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он глухой, бьет и не слышит, как бьет! Словно во сне кулачищами-то махает. И унять его нет никакой возможности; почему? потому, вы сами знаете, Гаврила Андреич, он глух и, вдобавку, глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреич,— хуже идола... осина какая-то; за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уже теперь всё нипочем: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок,— всё же я, однако, человек, а не какой-нибудь в самом деле ничтожный горшок.

— Знаю, знаю, не расписывай...

— Господи боже мой! — с жаром продолжал башмачник,— когда же конец? когда, господи! Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, поду-

маешь! В младых летах был я бит через немца хозяина; в лучший сустав жизни моей бит от своего же брата, наконец в зрелые годы вот до чего дослужился...

— Эх ты, мочальная душа,— проговорил Гаврила.— Чего распространяешься, право!

— Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я боюсь, Гаврила Андреич. Накажи меня господин в стенах, да подай мне при людях приветствие, и всё я в числе человеков, а тут ведь от кого приходится...

— Ну, пошел вон,— нетерпеливо перебил его Гаврила.

Капитон отвернулся и поплелся вон.

— А положим, его бы не было,— крикнул ему вслед дворецкий,— ты-то сам согласен?

— Изъявляю,— возразил Капитон и удалился.

Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошелся по комнате.

— Ну, позовите теперь Татьяну,— промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

— Что прикажете, Гаврила Андреич? — проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на нее.

— Ну, промолвил он,— Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жениха сыскала.

— Слушаю, Гаврила Андреич. А кого они мне в женихи назначают?— прибавила она с нерешительностью.

— Капитона, башмачника.

— Слушаю-с.

— Он легкомысленный человек — это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

— Слушаю-с.

— Одна беда... ведь этот глухарь-то, Гараська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь этакой...

— Убьет, Гаврила Андреич, беспременно убьет.

— Убьет... Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьет! Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

— А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, нет ли.

— Экая! Ведь ты ему этак ничего не обещала...

— Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал:

«Безответная ты душа!» — Ну, хорошо,— прибавил он,— мы еще поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолку и ушла.

«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе,— подумал дворецкий,— я-то из чего растревожился? Озорника-то мы этого скрутим; коли что — в полицию знать дадим...» — Устинья Федоровна! — крикнул он громким голосом своей жене,— поставьте-ка самоварчик, моя почтенная...

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу. Капитон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял, да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленечко произволялся: хмелем гораздо забирал, а что до женского пола, просто во все качества доходил... Мрачный товарищ только поддакивал; но когда Капитон объявил наконец, что он, по одному случаю, должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.

Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньонок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чаю с докладом, первым ее вопросом было: а что наша свадьба, идет? Он, разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше и что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то нездоровилось; она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прекословила, конечно; но Капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три... Герасим сурово и быстро на

всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся (в числе их присутствовал старый буфетчик, по прозвищу дядя Хвост, к которому все с почтеньем обращались за советом, хотя только и слышали от него, что: вот оно как, да: да, да, да) начали с того, что на всякий случай, для безопасности, заперли Капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко́ было прибегнуть к силе; но боже сохрани! выйдет шум, барыня обеспокоится — беда! Как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц... Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагрузившийся человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили; притом она сама видела, что иначе она не отделается от своего обожателя Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика: дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю... Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него...

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым мычаньем закивал головой; потом вгляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу... Она от страха еще более зашаталась и закрыла глаза... Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к Капитону. Татьяна так и обмерла... Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая, в свою каморку... Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча — пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нем особенной пере-

мены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее, а на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге разбил бочку; а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.

Всё это происходило весною. Прошел еще год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда негодный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню, вместе с своею женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо кладут, он всё не пропадет; но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог; какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же всё было готово и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слов: «С богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на Крымском броду, махнул рукой и отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел

в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у ней прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеется вдруг... Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул наконец сам возле нее каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, всё ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал — немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других,— он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти... и ему было неприятно, когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней — бог весть! Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная

глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду,— нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох... Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме ее, на дворе старый пес желтого цвета, с бурыми крапинами, по имени Волчок, но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы — лежал себе свернувшись в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево, при малейшем стуке за дверями...

Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство... а именно:

В один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре валета: исполнение желаний (она всегда гадала по утрам) — и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. С сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее.

— Боже мой! — воскликнула она вдруг,— что это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.

— Н... н...е знаю-с,— пробормотала она,— кажется, немого.

— Боже мой! — прервала барыня,— да она премиленькая собачка! Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это ее не видала до сих пор?.. Велите ее привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.

— Человек, человек! — закричала она,— приведите поскорей Муму! Она в палисаднике.

— А ее Муму зовут,— промолвила барыня,— очень хорошее имя.

— Ах, очень-с! — возразила приживалка.— Скорей, Степан!

Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина; но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене.

— Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне,— говорила госпожа,— подойди, глупенькая... не бойся...

— Подойди, подойди, Муму, к барыне,— твердили приживалки,— подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.

— Принесите ей что-нибудь поесть,— сказала барыня.— Какая она глупая! к барыне не идет. Чего боится?

— Оне не привыкли еще,— произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.

Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и всё дрожала и озиралась по-прежнему.

— Ах, какая же ты! — промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку...

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь... Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало.

— Ах! — закричали разом все приживалки,— не укусила ли она вас, сохрани бог! (Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.) Ах, ах!

— Отнести ее вон,— проговорила изменившимся голосом старуха.— Скверная собачонка! какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? ведь я вас не зову»,— и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на Степана; тот подхватил Муму и выбросил ее поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима,— а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина, и старая барыня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи.

Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу всё белье пере-

нюхать,— словом, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

— Скажи, пожалуйста,— начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего лепетания, переступил порог ее кабинета,— что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? мне спать не дала!

— Собака-с... какая-с... может быть, немого собака-с,— произнес он не совсем твердым голосом.

— Не знаю, немого ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак! Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака?

— Как же-с, есть-с. Волчок-с.

— Ну чего еще, на что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме — вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет,— а у меня там розы посажены...

Барыня помолчала.

— Чтоб ее сегодня же здесь не было... слышишь?

— Слушаю-с.

— Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову.

Гаврила вышел.

Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике спал Степан, в положении убитого воина на батальной картине, судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. (Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом.) Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму, по обыкновенню, осталась его

дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в Охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал ее на привязи, и тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка, через забор перескочил на двор; в калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас хватился Муму; он еще не помнил, чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему... бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу — туда-сюда... Пропала! Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал ее руками... Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали, другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обежать пол-Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промычал еще раз: «Муму!» — Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова... а любопытный форейтор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонив-

шись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился; но вот опять его дернули, сильнее прежнего; он вскочил... Перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди; он схватил Муму, стиснул ее в своих объятьях; она в одно мгновенье облизала ему нос, глаза, усы и бороду... Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барыни; люди-то ему объяснили знаками, как его Муму на нее окрысилась,— и он решился принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком и чуть свет был уже на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст: действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него взаперти, но, из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страху перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой. «Ну, мол, бог с ним! Авось до барыни не дойдет!» Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергивал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил,— словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его радение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей

затворнице; когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале, и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором, со стороны переулка, раздался шорох. Муму навострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного «нервического волнения»: эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил; сердце у ней забилось и замерло. «Девки, девки! — простонала она.— Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю! — проговорила она, тоскливо разводя руками.— Опять, опять эта собака!.. Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят... Собака, опять собака! Ох!» — и она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого всё искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, остальное время всё вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями,— этот лекарь тотчас прибежал, покурил жжеными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную, старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. «Вот... вот... опять...» — пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломились в его дверь, но, по-

чувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же ее в живых не будет и чтобы барыня сделала милость не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок: сила лавровишенья и подействовала — через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно сжимал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

— Любовь Любимовна,— начала она тихим и слабым голосом; она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко,— Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговорите с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить,— прибавила она с выражением глубокого чувства,— подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор; но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврила, придерживая рукою картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара; из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояли два других, с пал-

камп. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул:

— Отвори.

Послышался сдавленный лай; но ответа не было.

— Говорят, отвори! — повторил он.

— Да, Гаврила Андреич,— заметил снизу Степан,— ведь он глухой — не слышит.

Все рассмеялись.

— Как же быть? — возразил сверху Гаврила.

— А у него там дыра в двери,— отвечал Степан,— так вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

— Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то.

— А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

— Вишь, вишь, сама сказывается,— заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврила почесал у себя за ухом.

— Нет, брат,— продолжал он наконец,— армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

— А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась — вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

— Ну, ну, ну, ну,— кричал Гаврила со двора,— смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка уперши руки в бока; в своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед.

— Смотри, брат,— промолвил он,— у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки: подавай, мол, ее сейчас, а то беда будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал

знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.

— Да, да,— возразил тот, кивая головой,— да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая всё время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.

— Да ты обманешь,— замахал ему в ответ Гаврила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

— Что ж это такое значит? — начал Гаврила.— Он заперся?

— Оставьте его, Гаврила Андреич,— промолвил Степан,— он сделает, коли обещал. Уж он такой... Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да.

— Да,— повторили все и тряхнули головами.— Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».

— Ну, пожалуй, посмотрим,— возразил Гаврила,— а караул все-таки не снимать. Эй ты, Ерошка! — прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку, в желтом нанковом казакине, который считался садовником,— что тебе делать? Возьми палку да сиди тут, и чуть что́, тотчас ко мне беги!

Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что всё исполнено, а сам на всякий случай послал форейтора к хожалому. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан; он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе прово-

дили его глазами, молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась: видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая — во щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела пол-тарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристроивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против теченья реки, что в одно мгновенье умчался саженей на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромая, в шалаш.

А Герасим всё греб да греб. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке — дно

было залито водой — и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку относило назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее... Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки... Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес всё, что видел.

— Ну, да,— заметил Степан,— он ее утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...

В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

— Экой чудной этот Герасим! — пропищала толстая прачка,— можно ли эдак из-за собаки проклажаться!.. Право!

— Да Герасим был здесь,— воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

— Как? когда?

— Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну, и толкнул меня; должно быть, он так только отстoронить меня хотел: дескать, не приставай,— да такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднес, важно так, что ой-ой-ой! — И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затылок.— Да,— прибавил он,— рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем в ту самую пору по Т...у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях... Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня,— с другой стороны уже вздымался синий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела́ сотнями гремели кругом, взапуски перекликивались коростели... Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу — ветер с родины — ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу — дорогу домой, прямую как стрела; видел в небе несчетные звезды, светившие его пути, и как лев выступал сильно и бодро, так что когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять верст...

Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начинался: Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки — и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков

только пробирало, глядя на его размахи да загребы...

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и наконец такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!», пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!». Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам ее было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку.

И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырех по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем,— толкуют мужики,— его же счастье, что ему не надобеть бабья; а собака — на что ему собака? к нему на двор вора о́селом не затащить!» Такова ходит молва о богатырской силе немого.

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

На большой Б...й дороге, в одинаковом почти расстоянии от двух уездных городов, чрез которые она проходит, еще недавно стоял обширный постоялый двор, очень хорошо известный троечным извозчикам, обозным мужикам, купеческим приказчикам, мещанам-торговцам и вообще всем многочисленным и разнородным проезжим, которые во всякое время года накатывают наши дороги. Бывало, все заворачивали на тот двор; разве только какая-нибудь помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей, торжественно проплывала мимо, что не мешало, однако, ни кучеру, ни лакею на запятках с каким-то особенным чувством и вниманием посмотреть на слишком им знакомое крылечко; или какой-нибудь голяк в дрянной тележке и с тремя пятаками в мошне за пазухой, поравнявшись с богатым двором, понукал свою усталую лошаденку, поспешая на ночлег в лежавшие под большаком выселки, к мужичку-хозяину, у которого, кроме сена и хлеба, не найдешь ничего, да зато лишней копейки не заплатишь. Кроме своего выгодного местоположения, постоялый двор, о котором мы начали речь, брал многим: отличной водой в двух глубоких колодцах со скрипучими колесами и железными бадьями на цепях; просторным двором со сплошными тесовыми навесами на толстых столбах; обильным запасом хорошего овса в подвале; теплой избой с огромнейшей русской печью, к которой наподобие богатырских плечей прилегали длинные борова, и наконец двумя довольно чистыми комнатками, с красно-лиловыми, снизу несколько оборванными бумажками на стенах, деревянным крашеным диваном, такими же стульями и двумя горшками гераниума на окнах, которые, впрочем, никогда не отпирались и тускнели многолетней пылью. Другие еще удобства представлял этот постоялый двор: кузница

была от него близко, тут же почти находилась мельница; наконец, и поесть в нем можно было хорошо по милости толстой и румяной бабы стряпухи, которая кушанья варила вкусно и жирно и не скупилась на припасы; до ближайшего кабака считалось всего с полверсты; хозяин держал табак нюхательный, хотя и смешанный с золой, однако чрезвычайно забористый и приятно разъедающий нос,— словом, много было причин, почему в том дворе не переводились всякого рода постояльцы. Полюбился он проезжим — вот главное; без этого, известно, никакое дело в ход не пойдет; а полюбился он более потому, как толковали в околотке, что сам хозяин был очень счастлив и во всех своих предприятиях удачлив, хоть он и мало заслуживал свое счастье, да, видно, кому повезет — так уж повезет.

Хозяин этот был мещанин, звали его Наумом Ивановым. Роста он был среднего, толст, сутуловат и плечист; голову имел большую, круглую, волосы волнистые и уже седые, хотя ему на вид не было более сорока лет; лицо полное и свежее, низкий, но белый и ровный лоб и маленькие, светлые, голубые глаза, которыми он очень странно глядел: исподлобья и в то же время нагло, что довольно редко встречается. Голову он всегда держал понуро и с трудом ее поворачивал, может быть, оттого, что шея у него была очень коротка; ходил бегло и не взмахивал, а разводил на ходу сжатыми руками. Когда он улыбался,— а улыбался он часто, но без смеха, словно про себя,— его крупные губы неприятно раздвигались и выказывали ряд сплошных и блестящих зубов. Говорил он отрывисто и с каким-то угрюмым звуком в голосе. Бороду он брил, но не ходил по-немецки. Одежда его состояла из длинного, весьма поношенного кафтана, широких шаровар и башмаков на босу ногу. Он часто отлучался из дому по своим делам, а у него их было много — он барышничал лошадьми, нанимал землю, держал огороды, скупал сады и вообще занимался разными торговыми оборотами,— но отлучки его никогда долго не продолжались; как коршун, с которым он, особенно по выражению глаз своих, имел много сходного, возвращался он в свое гнездо. Он умел держать это гнездо в порядке; всюду поспевал, всё выслушивал и приказывал, выдавал,

1

78 стр.

Постоялый двор

(рассказ.)

И. С. Тургенева.

Начат в субботу — 18-го октября.
Кончен в пятницу 14-го ноября — 1852 г.

Спасское

«ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР».
ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ, ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ.

Bibliothèque Nationale, Париж.

отпускал и рассчитывался сам, и никому не спускал ни копейки, однако и лишнего не брал.

Постояльцы с ним не заговаривали, да и он сам не любил тратить попусту слова. «Мне ваши деньги нужны, а вам моя харчь,— толковал он, словно отрывая каждое слово,— не детей нам с вами крестить; проезжий поел, покормил, не засиживайся. А устал, так спи, не болтай». Работников держал он рослых и здоровых, но смирных и повадливых; они его очень боялись. Он в рот не брал хмельного, а им выдавал в великие праздники по гривеннику на водку; в другие дни они не смели пить. Люди, подобные Науму, скоро богатеют... но до блестящего положения, в котором он находился — а его считали в сорока или пятидесяти тысячах,— Наум Иванов дошел не прямым путем...

Лет за двадцать до того времени, к которому мы отнесли начало нашего рассказа, уже существовал на том же месте большой дороги постоялый двор. Правда, на нем не было темно-красной тесовой крыши, которая придавала дому Наума Иванова вид дворянской усадьбы; и строением был он победней, и на дворе навесы имел соломенные, а вместо бревенчатых стен — плетеные; не отличался он также трехугольным греческим фронтоном на точеных столбиках; но всё же он был постоялый двор хоть куда — поместительный, прочный, теплый — и проезжие охотно его посещали. Хозяин его в то время был не Наум Иванов, а некто Аким Семенов, крестьянин соседней помещицы, Лизаветы Прохоровны Кунце — штаб-офицерши. Этот Аким был смышленый и тороватый мужик, который в молодых еще летах, отправившись в извоз с двумя плохими лошадками, воротился через год с тремя порядочными, да с тех пор почти всю жизнь пространствовал по большим дорогам, ходил в Казань и Одессу, в Оренбург и в Варшаву, и за границу, в «Липецк» *, и ходил уж под конец с двумя тройками крупных и сильных жеребцов, запряженных в две громадные телеги. Надоело ему, что ли, его бездомовное, скитальческое житье, захотелось ли ему завестись семейством (в одну из его отлучек умерла у него жена; дети, которые были, тоже померли), только он решился, наконец, бросить свое прежнее ремесло

* в Лейпциг.

и завести постоялый двор. С позволения своей барыни основался он на большой дороге, купил на ее имя полдесятины земли и построил на ней постоялый двор. Дело пошло на лад. Денег у него на обзаведение было слишком довольно; опытность, приобретенная им в течение долговременных странствований по всем концам России, послужила ему в великую пользу; он знал, чем угодить проезжим, особенно прежней своей братье, троечным извозчикам, из которых со многими он был знаком лично и которыми особенно дорожат содержатели постоялых дворов: так много едят и потребляют эти люди на себя и на своих могучих лошадей. Акимов двор стал известен на сотни верст вокруг... К нему даже охотнее заезжали, чем к сменившему его впоследствии Науму, хотя Аким далеко не мог сравняться с Наумом в уменье хозяйничать. У Акима всё было больше на старинную ногу, тепло, но не совсем чисто; и овес у него попадался легкий или подмоченный, и кушанье-то варилось с грехом пополам; у него иногда и такую снедь подавали на стол, что лучше бы ей совсем в печи оставаться, и не то, чтоб он на харчи скупился, а так — баба недосмотрит. Зато он и с цены готов был сбавить, и в долг, пожалуй, не отказывался поверить, словом — хороший был человек, ласковый хозяин. На разговоры, на угощенье он тоже был податлив; за самоваром иной час так разболтается, что уши развесишь, особенно как станет рассказывать про Питер, про степи черкасские или вот еще про заморскую сторону; ну, и выпить, разумеется, с хорошим человеком любил, только не до безобразия, а больше для общества — так о нем отзывались проезжие. Весьма благоволили к нему купцы и вообще все те люди, которых называют старозаветными, те люди, которые, не подпоясавшись, в дорогу не поедут, и в комнату не войдут, не перекрестившись, и не заговорят с человеком, не поздоровавшись с ним наперед. Уже одна наружность Акима располагала в его пользу: он был роста высокого, несколько худ, но очень строен, даже в зрелых летах; лицо имел длинное, благообразное и правильное, высокий и открытый лоб, нос прямой и тонкий и небольшие губы. Взгляд его карих навыкате глаз так и сиял приветливой кротостью, жидкие и мягкие волосы завивались в кольца около шеи; на макушке оставалось их немного. Звук

Акимова голоса был очень приятен, хотя слаб; в молодости он отлично певал, но продолжительные путешествия на открытом вóздухе, зимой, расстроили его грудь. Зато говорил он очень плавно и сладко. Когда он смеялся, у него около глаз располагались лучеобразные морщинки, чрезвычайно милые на вид,— только у добрых людей можно заметить такие морщинки. Движенья Акима были большею частью медленны и не лишены некоторой уверенности и важной учтивости, как у человека бывалого и много видевшего на своем веку.

Точно, всем бы хорош был Аким, или, как его называли в барском доме, куда он хаживал часто и уже непременно по воскресеньям, после обедни — Аким Семенович,— всем бы был он хорош, кабы не водилась за ним одна слабость, которая уже многих людей на земле погубила, а под конец сгубила и его самого,— слабость к женскому полу. Влюбчивость Акима доходила до крайности; сердце его никак не умело противиться женскому взгляду, он таял от него, как первый осенний снег от солнца... и порядочно уже пришлось ему поплатиться за свою излишнюю чувствительность.

В течение первого года после поселенья своего на большой дороге Аким так был занят постройкой двора, обзаведением хозяйства и всеми хлопотами, которые неразлучны с каждым новосельем, что ему решительно некогда было думать о женщинах, а если и приходили ему на ум какие-нибудь грешные мысли, так он их тотчас прогонял чтением разных священных книг, к которым питал великое уважение (грамоте он выучился еще с первой своей поездки), пением вполголоса псалмов или другим каким богобоязненным занятием. Притом же ему уже пошел тогда сорок шестой год — а в эти лета всякие страсти заметно утихают и стынут, и для женитьбы прошла пора. Аким сам начинал думать, что с него эта блажь, как он выражался, соскочила... да, видно, своей судьбы не минуешь.

Акимова помещица, Лизавета Прохоровна Кунце — штаб-офицерша, оставшаяся вдовой после супруга немецкого происхождения, была сама уроженка города Митавы, где она провела первые годы своего детства и где у ней оставалось очень многочисленное и бедное семейство, о котором она, впрочем, заботилась мало,

особенно с тех пор, как один из ее братьев, армейский пехотный офицер, нечаянно заехал к ней в дом и на второй же день до того разбуянился, что чуть не прибил самой хозяйки, назвав ее притом: «Du, Lumpenmamselle»[1], между тем как накануне сам величал ее ломаным русским языком: «Сестрица и благодетель». Лизавета Прохоровна почти безвыездно жила в своем хорошеньком, трудами супруга, бывшего архитектора, благоприобретенном именье; сама им управляла, и очень недурно управляла. Лизавета Прохоровна не упускала ни малейшей своей выгоды, из всего извлекала пользу для себя; и в этом, да еще в необыкновенном уменье тратить вместо гроша копейку сказалась ее немецкая природа; во всём другом она очень обрусела. Дворни у ней водилось значительное количество; особенно держала она много девок, которые, впрочем, ели хлеб не даром: с утра до вечера спины их не разгибались над работой. Она любила выезжать в карете, с ливрейными лакеями на запятках; любила, чтоб ей сплетничали и наушничали, и сама отлично сплетничала; любила взыскать человека своей милостью и вдруг поразить его опалой — словом, Лизавета Прохоровна вела себя уж точно как барыня. Акима она жаловала, оброк весьма значительный он платил ей исправно,— милостиво с ним заговаривала и даже, шутя, приглашала его к себе в гости... Но именно в господском доме ожидала Акима беда.

В числе горничных Лизаветы Прохоровны находилась одна девушка лет двадцати, сирота, по имени Дуняша. Она была недурна собой, стройна и ловка; черты ее, хотя неправильные, могли понравиться: свежий цвет кожи, густые белокурые волосы, живые серые глазки, маленький, круглый нос, румяные губы и особенно какое-то развязное, полунасмешливое, полувызывающее выражение лица — всё это было довольно мило в своем роде. Притом она, несмотря на свое сиротство, держала себя строго, почти надменно: она происходила от столбовых дворовых; ее покойный отец Арефий лет тридцать был ключником, а дед Степан служил камердинером у одного давно умершего барина, гвардии сержанта и князя. Одевалась она опрятно

[1] «Ты, шлюха» *(нем.)*.

и щеголяла своими руками, которые действительно были чрезвычайно красивы. Дуняша показывала большое пренебрежение ко всем своим поклонникам, с самоуверенной улыбочкой выслушивала их любезности, и если и отвечала им, то большей частью одними восклицаниями, вроде: да! как же! стану я! вот еще!.. Эти восклицания у ней почти не сходили с языка. Дуняша провела около трех лет в Москве в ученье, где она приобрела те особенного рода ужимки и замашки, которыми отличаются горничные, побывавшие в столицах. О ней отзывались как о девушке с самолюбием (великая похвала в устах дворовых людей), которая хотя и видала виды, однако себя не уронила. Шила она тоже недурно, но за всем тем Лизавета Прохоровна к ней не слишком благоволила по милости главной горничной Кирилловны, женщины уже немолодой, пронырливой и хитрой. Кирилловна пользовалась большим влиянием на свою госпожу и очень искусно умела устранять соперниц.

В эту-то Дуняшу и влюбись Аким! Да так, как прежде никогда не влюблялся. Он сначала увидал ее в церкви: она только что возвратилась из Москвы... потом встречался с ней несколько раз в барском доме, наконец провел с ней целый вечер у приказчика, куда его пригласили на чай вместе с другими почетными людьми. Дворовые им не брезгали, хоть он и не принадлежал к их сословию и носил бороду; но он был человек образованный, грамотный, а главное с деньгами; притом и одевался он не по-мужицки, носил длинный кафтан из черного сукна, выростковые сапоги и платочек на шее. Правда, иные дворовые и толковали промеж себя, что, дескать, все-таки видно, что он не наш, но в глаза ему чуть не льстили. В тот вечер у приказчика Дуняша окончательно покорила влюбчивое сердце Акима, хотя уже решительно не отвечала ни одного слова на все его заискивающие речи и лишь изредка сбоку посматривала на него, как бы удивляясь, зачем этот мужик тут. Всё это только больше распаляло Акима. Он ушел к себе домой, думал, думал и решился добиться ее руки... Так-то она его к себе «присушила!» Но как описать гнев и негодование Дуняши, когда, дней через пять, Кирилловна, ласково зазвав ее к себе в комнату, объявила ей, что Аким (а видно, он умел, как за дело

взяться), что этот бородач и мужик Аким, с которым и сидеть-то рядом она почитала обидой, за нее сватается!

Дуняша сперва вспыхнула вся, потом принужденно захохотала, потом заплакала, но Кирилловна так искусно повела атаку, так ясно дала ей почувствовать собственное ее положение в доме, так ловко намекнула на приличный вид, богатство и слепую преданность Акима, наконец так значительно упомянула о желании самой барыни, что Дуняша вышла из комнаты уже с раздумьем на лице и, встретившись с Акимом, только пристально посмотрела ему в глаза, но не отвернулась. Несказанно щедрые подарки этого влюбленного человека рассеяли ее последние недоуменья... Лизавета Прохоровна, которой Аким на радости поднес сотню персиков на большом серебряном блюде, согласилась на его брак с Дуняшей, и этот брак состоялся. Аким не пожалел издержек — и невеста, которая накануне сидела на девичнике как убитая, а в самое утро свадьбы всё плакала, пока ее Кирилловна наряжала к венцу, скоро утешилась... Ей барыня дала надеть в церковь свою шаль, а Аким в тот же день подарил ей такую же, чуть ли не лучше.

Итак, Аким женился; перевез свою молодую к себе во двор... Начали они жить. Дуняша оказалась плохою хозяйкой, плохою подпорой мужу. Она ни во что не входила, грустила, скучала, разве какой-нибудь проезжий офицер обращал на нее внимание и любезничал с ней, сидя за широким самоваром; часто отлучалась, то в город за покупками, то в барский двор, до которого от постоялого двора считалось версты четыре. В барском доме она отдыхала; там ее окружали свои; девушки завидовали ее нарядам; Кирилловна потчевала ее чаем; сама Лизавета Прохоровна с ней разговаривала... Но и эти посещения не обходились без горьких ощущений для Дуняши... Ей, например, как дворничихе, уже не приходилось носить шляпки, и она принуждена была повязывать свою голову платком... как купчиха, говорила ей лукавая Кирилловна, как какая-нибудь мещанка, думала Дуняша про себя.

Не раз пришли Акиму на память слова единственного его родственника, старика дяди, мужика, заматерелого, бессемейного бобыля:

— Ну, брат Акимушка,— сказал он ему, встретившись с ним на улице,— слышал я, ты сватаешься?..

— Ну да; а что?

— Эх, Аким, Аким! Ты нам, мужикам, не брат теперь, что и говорить,— да и она тебе не сестра.

— Да чем же она мне не сестра?

— А хоть бы вот чем,— возразил тот и указал Акиму на его бороду, которую он в угодность своей невесте начал подстригать — сбрить-то ее совсем он не согласился... Аким потупился; а старик отвернулся, запахнул полы своего разорванного на плечах тулупа и пошел прочь, встряхивая головой.

Да, не раз задумывался, кряхтел и вздыхал Аким... Но любовь его к хорошенькой жене не уменьшалась; он гордился ею — особенно, когда сравнивал ее, не говорим уже с другими бабами или с своей прежней женой, на которой его женили шестнадцати лет,— но с другими дворовыми девушками: «Вот, мол, мы какую пташку заполевали!..» Малейшая ее ласка доставляла ему великое удовольствие... Авось, думал он, попривыкнет, обживется... Притом она вела себя очень хорошо, и никто не мог сказать про нее худого слова.

Так прошло несколько лет. Дуняша действительно кончила тем, что привыкла к своему житью. Аким чем больше старел, тем больше к ней привязывался и доверял ей; товарки ее, которые вышли замуж не за мужиков, терпели нужду кровную, либо бедствовали, либо попали в недобрые руки... А Аким богател да богател. Всё ему удавалось — счастье ему везло; одно только его сокрушало: детей ему бог не давал. Дуняше уже перешло за двадцать пять лет; уже все ее стали величать Авдотьей Арефьевной. Настоящей хозяйкой она все-таки не сделалась — но дом свой полюбила, распоряжалась припасами, присматривала за работницей... Правда, она всё это делала кое-как, не наблюдала, как бы следовало, за чистотой и порядком; зато в главной комнате постоялого двора, рядом с портретом Акима, висел ее портрет, писанный масляными красками и заказанный ею самою доморощенному живописцу, сыну приходского дьякона. Она была представлена в белом платье, желтой шали, с шестью нитками крупного жемчуга на шее, длинными серьгами в ушах и кольцами на каждом пальце. Узнать ее было можно — хотя

живописец изобразил ее чересчур дебелой и румяной и глаза ей написал, вместо серых, черные и даже несколько косые... Аким ему вовсе не удался: он вышел у него как-то темнó — à la Rembrandt,— так что иной проезжий подойдет, бывало, посмотрит и только помычит немного. Одеваться Авдотья стала довольно небрежно; накинет большой платок на плечи — а платье под ним как-нибудь сидит: лень ее обуяла, та вздыхающая, вялая, сонливая лень, к которой слишком склонен русский человек, особенно когда существование его обеспечено...

Со всем тем дела Акима и жены его шли очень хорошо — они жили ладно и слыли за примерных супругов. Но как белка, которая чистит себе нос в то самое мгновенье, когда стрелок в нее целится, человек не предчувствует своего несчастья — и вдруг подламывается, как на льду...

В один осенний вечер на постоялом дворе у Акима остановился купец с красным товаром. Разными окольными дорогами пробирался он с двумя нагруженными кибитками из Москвы в Харьков; это был один из тех разносчиков, которых помещики и в особенности помещичьи жены и дочери ожидают иногда с таким великим нетерпением. С этим разносчиком, человеком уже пожилым, ехало двое товарищей, или, говоря правильнее, двое работников — один бледный, худой и горбатый, другой молодой, видный, красивый малый лет двадцати. Они спросили себе поужинать, потом сели за чай; разносчик попросил хозяев выкушать с ними по чашке — хозяева не отказались. Между двумя стариками (Акиму стукнуло пятьдесят шесть лет) скоро завязался разговор; разносчик расспрашивал о соседних помещиках — а никто лучше Акима не мог сообщить ему все нужные сведения на их счет; горбатый работник беспрестанно ходил смотреть телеги и наконец убрался спать; Авдотье пришлось беседовать с другим работником... Она сидела подле него и говорила мало, больше слушала, что тот ей рассказывал; но, видно, речи его ей нравились: ее лицо оживилось, краска заиграла на щеках, и смеялась она довольно часто и охотно. Молодой работник сидел почти не шевелясь и наклонив к столу свою кудрявую голову; говорил тихо, не возвышая голоса и не торопясь; зато

глаза его, небольшие, но дерзко-светлые и голубые, так и впились в Авдотью; она сперва отворачивалась от них, потом сама стала глядеть ему в лицо. Лицо этого молодого парня было свежо и гладко, как крымское яблоко; он часто ухмылялся и поигрывал белыми пальцами по подбородку, уже покрытому редким и темным пухом. Выражался он по-купечески, но очень свободно и с какой-то небрежной самоуверенностью — и всё смотрел на нее тем же пристальным и наглым взглядом... Вдруг он пододвинулся к ней немного поближе и, нимало не изменившись в лице, сказал ей:

— Авдотья Арефьевна, лучше вас на свете никого нет; я, кажется, помереть готов для вас.

Авдотья громко засмеялась.

— Чему ты? — спросил ее Аким.

— Да вот — они такое всё смешное рассказывают,— проговорила она без особенного, впрочем, смущения.

Старый разносчик осклабился.

— Хе-хе, да-с; у меня Наум такой уж балагур-с. Но вы его не слушайте-с.

— Да! как же! стану я их слушать,— возразила она и покачала головой.

— Хе-хе, конечно-с,— заметил старик.— Ну, однако,— прибавил он нараспев,— прощенья просим-с, много довольны-с, а пора и на боковую-с...— И он встал.

— Много довольны-с и мы-с,— промолвил Аким и тоже встал,— за угощенье то есть; впрочем, спокойной ночи желаем-с. Авдотьюшка, вставай.

Авдотья поднялась, словно нехотя, за ней поднялся и Наум... и все разошлись.

Хозяева отправились в отдельную каморку, служившую им вместо спальни. Аким захрапел тотчас. Авдотья долго не могла заснуть... Сперва она лежала тихо, оборотясь лицом к стене, потом начала метаться на горячем пуховике, то сбрасывала, то натягивала одеяло... потом задремала тонкой дремотой. Вдруг раздался со двора громкий мужской голос: он пел какую-то протяжную, но не заунывную песню, слов которой нельзя было разобрать. Авдотья раскрыла глаза, облокотилась и стала слушать... Песня всё продолжалась... Звонко переливалась она в осеннем воздухе.

Аким поднял голову.

— Кто это поет? — спросил он.

— Не знаю,— отвечала она.

— Хорошо поет,— прибавил он, помолчав немного.— Хорошо. Экой голосина сильный. Вот и я в свое время певал,— продолжал он,— и хорошо певал, да голос испортился. А этот хорош. Знать, молодец тот поет, Наумом, что ли, его зовут.— И он повернулся на другой бок — вздохнул и заснул опять.

Долго еще не умолкал голос... Авдотья всё слушала да слушала; наконец, он вдруг словно оборвался, еще раз вскрикнул лихо и медленно замер. Авдотья перекрестилась, положила голову на подушку... Прошло полчаса... Она приподнялась и стала тихонько спускаться с постели...

— Куда ты, жена? — спросил ее сквозь сон Аким.

Она остановилась.

— Лампадку поправить,— проговорила она,— не спится что-то...

— А ты помолися,— пролепетал Аким, засыпая.

Авдотья подошла к лампадке, стала поправлять ее и нечаянно погасила; вернулась и легла. Всё утихло.

На другое утро, рано, купец отправился в путь с своими товарищами. Авдотья спала. Аким проводил их с полверсты: ему надобно было зайти на мельницу. Вернувшись домой, он застал уже свою жену одетую и не одну: с ней был вчерашний молодой парень, Наум. Они стояли подле стола у окна и разговаривали. Увидав Акима, Авдотья молча пошла вон из комнаты, а Наум сказал, что вернулся за хозяйскими рукавицами, которые тот будто позабыл на лавке, и тоже ушел.

Мы теперь же скажем читателям то, о чем они, вероятно, и без нас догадались: Авдотья страстно полюбила Наума. Как это могло случиться так скоро, объяснить трудно; тем более трудно, что до того времени она вела себя безукоризненно, несмотря на множество случаев и искушений изменить супружеской верности. Впоследствии, когда связь ее с Наумом стала гласною, многие в околотке толковали, что он в первый же вечер подсыпал ей в чашку чая приворотного зелья (у нас еще твердо верят в действительность подобного средства) и что это очень легко можно было заметить по Авдотье, которая будто скоро потом начала худеть и скучать.

Как бы то ни было, но только Наума стали довольно часто видать на Акимовом дворе. Сперва проехал он опять с тем же купцом, а месяца через три появился уже один, с собственным товаром; потом пронесся слух, что он поселился в одном из близлежащих уездных городов, и с той поры уже не проходило недели, чтобы не показалась на большой дороге его крепкая крашеная тележка, запряженная парой круглых лошадок, которыми он правил сам. Между Акимом и им не существовало особой дружбы, да и неприязни между ними не замечалось; Аким не обращал на него большого внимания и знал только о нем как о смышленом малом, который бойко пошел в ход. Настоящих чувств Авдотьи он не подозревал и продолжал доверять ей по-прежнему.

Так прошло еще два года.

Вот однажды, в летний день, перед обедом, часу во втором, Лизавета Прохоровна, которая в течение именно этих двух годов как-то вдруг сморщилась и пожелтела, несмотря на всевозможные притирания, румяна и белила,— Лизавета Прохоровна, с собачкой и складным зонтиком, вышла погулять в свой немецкий чистенький садик. Слегка шумя накрахмаленным платьем, шла она маленькими шагами по песчаной дорожке, между двумя рядами вытянутых в струнку георгин, как вдруг ее нагнала старинная наша знакомая Кирилловна и почтительно доложила, что какой-то Б...й купец желает ее видеть по весьма важному делу. Кирилловна по-прежнему пользовалась господскою милостью (в сущности *она* управляла имением г-жи Кунце) и с некоторого времени получила позволение носить белый чепец, что придавало еще более резкости тонким чертам ее смуглого лица.

— Купец? — спросила барыня.— Что ему нужно?

— Не знаю-с, что им надоть,— возразила Кирилловна вкрадчивым голосом,— а только, кажется, они желают у вас что-то купить-с.

Лизавета Прохоровна вернулась в гостиную, села на обыкновенное свое место, кресло с куполом, по которому красиво извивался плющ, и велела кликнуть Б...ого купца.

Вошел Наум, поклонился и остановился у двери.

— Я слышала, вы у меня что-то купить хотите? —

начала Лизавета Прохоровна и сама про себя подумала: «Какой красивый мужчина этот купец».

— Точно так-с.

— Что же именно?

— Не изволите ли продавать постоялый ваш двор?

— Какой двор?

— Да вот, что на большой дороге, отсюда недалече.

— Да этот двор не мой. Это Акимов двор.

— Как не ваш? На вашей землице сидит-с.

— Положим — земля моя... на мое имя куплена; да двор-то его.

— Так-с. Так вот не изволите ли вы его продать нам-с?

— Как же я его продам?

— Так-с. А мы бы цену хорошую положили-с.

Лизавета Прохоровна помолчала.

— Право, это странно,— начала она опять,— как это вы говорите. А что бы вы дали? — прибавила она.— То есть это я не для себя спрашиваю, а для Акима.

— Да со всем строением-с и угодьями-с, ну, да, конечно, и с землей, какая при том дворе находится, две тысячи рублей бы дали-с.

— Две тысячи рублей! Это мало,— возразила Лизавета Прохоровна.

— Настоящая цена-с.

— Да вы с Акимом говорили?

— Зачем нам с ними говорить-с? Двор ваш, так вот мы с вами и изволим разговаривать-с.

— Да я ж вам объявила... Право, это удивительно, как это вы меня не понимаете!

— Отчего же не понять-с; понимаем-с.

Лизавета Прохоровна посмотрела на Наума, Наум посмотрел на Лизавету Прохоровну.

— Так как же-с,— начал он,— какое будет с вашей стороны, то есть, предложение?

— С моей стороны...— Лизавета Прохоровна зашевелилась на кресле.— Во-первых, я вам говорю, что двух тысяч мало, а во-вторых...

— Сотенку накинем-с, извольте.

Лизавета Прохоровна встала.

— Я вижу, вы совсем не то говорите, я вам уже сказала, что я этот двор не могу продавать и не продам. Не могу... то есть не хочу...

Наум улыбнулся и помолчал.

— Ну, как угодно-с...— промолвил он, слегка пожав плечом,— просим прощенья-с.— И он поклонился и взялся за ручку двери.

Лизавета Прохоровна обернулась к нему.

— Впрочем...— проговорила она с едва заметной запинкой,— вы еще не уезжайте.— Она позвонила: из кабинета явилась Кирилловна.— Кирилловна, вели напоить г-на купца чаем. Я вас еще увижу,— прибавила она, слегка кивнув головой.

Наум еще раз поклонился и вышел вместе с Кирилловной.

Лизавета Прохоровна раза два прошлась по комнате и опять позвонила. На этот раз вошел казачок. Она приказала ему позвать Кирилловну. Через несколько мгновений вошла Кирилловна, чуть поскрипывая своими новыми козловыми башмаками.

— Слышала ты,— начала Лизавета Прохоровна с принужденным смехом,— что мне купец этот предлагает? Такой, право, чудак!

— Нет-с, не слыхала... Что такое-с? — И Кирилловна слегка прищурила свои черные калмыцкие глазки.

— Он у меня Акимов двор хочет купить.

— Так что же-с?

— Да ведь как же... А что же Аким? Я его Акиму отдала.

— И, помилуйте, барыня, что вы это изволите говорить? Разве этот двор не ваш? Не ваши мы, что ли? И всё, что мы имеем,— разве не ваше же, не господское?

— Что ты это говоришь, Кирилловна, помилуй? — Лизавета Прохоровна достала батистовый платок и нервически высморкалась.— Аким этот двор на свои деньги купил.

— На свои деньги? А откуда он эти деньги взял? Не по вашей ли милости? Да он и так столько времени землею пользовался... Ведь всё по вашей же милости. А вы думаете, сударыня, что у него так и не останется больше денег? Да он богаче вас, ей-богу-с.

— Всё это так, конечно; но всё же это я не могу... Как же это я этот двор продам?

— Отчего же не продать-с? — продолжала Кирил-

ловна.— Благо, покупщик нашелся. Позвольте узнать-с, сколько они вам предлагают?

— Две тысячи рублей с лишком,— тихо проговорила Лизавета Прохоровна.

— Он, сударыня, больше даст, коли две тысячи с первого слова предлагает. А с Акимом вы потом сделаетесь; оброку скинете, что ли. Он еще благодарен будет.

— Конечно, надо будет оброк уменьшить. Но нет, Кирилловна, как же я продам...— И Лизавета Прохоровна заходила взад и вперед по комнате...— Нет, это невозможно, это не годится... нет, пожалуйста, ты мне больше этого не говори... а то я рассержусь...

Но, несмотря на запрещения взволнованной Лизаветы Прохоровны, Кирилловна продолжала говорить и через полчаса возвратилась к Науму, которого оставила в буфете за самоваром.

— Что вы мне скажете-с, моя почтеннейшая? — проговорил Наум, щеголевато опрокинув допитую чашку на блюдечко.

— А то скажу,— возразила Кирилловна,— что идите к барыне, она вас зовет.

— Слушаю-с,— отвечал Наум, встал и вслед за Кирилловной отправился в гостиную.

Дверь за ними затворилась... Когда наконец та дверь опять открылась и Наум, кланяясь, вышел из нее спиной, дело было уже слажено; Акимов двор принадлежал ему: он приобрел его за две тысячи восемьсот рублей ассигнациями. Купчую положили совершить как можно скорее и до времени не разглашать ее; Лизавета Прохоровна получила сто рублей задатку, да двести рублей пошло Кирилловне на могарыч. «Недорого купил,— думал Наум, взлезая на тележку,— спасибо, случай вышел».

В то самое время, когда в барском доме происходила рассказанная нами сделка, Аким сидел у себя один под окном на лавке и с недовольным видом поглаживал свою бороду... Мы сказали выше, что он не подозревал расположения своей жены к Науму, хотя добрые люди не раз ему намекали, что пора, мол, тебе за ум взяться; конечно, он сам иногда мог заметить, что хозяйка его с некоторого времени как будто норовистей стала, да ведь известно: женский пол ломлив и

прихотлив. Даже когда ему действительно казалось, что у него в доме неладно что-то, он только рукой махал; не хотелось ему, как говорится, поднимать струшню; добродушие в нем не убавлялось с годами, да и лень брала свое. Но в тот день он был очень не в духе; накануне он совершенно нечаянно подслушал на улице разговор между своей работницей и другой соседней бабой...

Баба спрашивала работницу, отчего она к ней на праздник вечерком не зашла: «Я, дескать, тебя поджидала».

— Да я было и пошла,— возразила работница,— да, грешным делом, на хозяйку насовалась... чтоб ей пусто было!

— Насовалась...— повторила баба каким-то растянутым голосом и подперла рукою щеку.— А где же это ты на нее насовалась, мать моя?

— А за коноплянками, за поповскими. Хозяйка-то, знать, к своему-то, к Науму, в конопляники вышла, а мне-то в темноте не видать, от месяца, что ли, господь его знает, прямо так на них и наскочила.

— Наскочила,— опять повторила баба.— Ну, и что же она, мать моя, с ним — стоит?

— Стоит — ничего. Он стоит, и она стоит. Увидала меня, говорит: куда ты это бегаешь? пошла-ка-сь домой. Я и пошла.

— Пошла.— Баба помолчала.— Ну, прощай, Фетиньюшка,— промолвила она и поплелась своей дорогой.

Разговор этот неприятно подействовал на Акима. Любовь его к Авдотье уже охладела, но все-таки слова работницы ему не понравились. А она сказала правду: действительно, в тот вечер Авдотья выходила к Науму, который ожидал ее в сплошной тени, падавшей на дорогу от недвижного и высокого конопляника. Роса смочила сверху донизу каждый его стебель; сильный до одури запах бил кругом. Месяц только что встал, большой и багровый в черноватом и тусклом тумане. Наум еще издали услыхал торопливые шаги Авдотьи и направился к ней навстречу. Она подошла к нему, вся бледная от бегу; луна светила ей в лицо.

— Ну, что, принесла? — спросил он ее.

— Принести-то принесла,— отвечала она нерешительным голосом,— да что, Наум Иванович...

— Давай, коли принесла,— перебил он ее и протянул руку...

Она достала из-под косынки какой-то сверток. Наум тотчас взял его и положил к себе за пазуху.

— Наум Иваныч,— произнесла Авдотья медленно и не спуская с него глаз...— Ох, Наум Иваныч, погублю я для тебя свою душеньку...

В это мгновение подошла к ним работница.

Итак, Аким сидел на лавочке и с неудовольствием поглаживал свою бороду. Авдотья то и дело входила в комнату и опять выходила вон. Он только провожал ее глазами. Наконец, она вошла еще раз и, захватив в каморке душегрейку, перешагнула уже порог — он не вытерпел и заговорил, как будто про себя:

— Удивляюсь я,— начал он,— чего это бабы всегда суетятся? Посидеть этак чтобы на месте, этого от них и не требуй. Это не их дело. А вот куда-нибудь сбегать утром ли, вечером ли, это они любят. Да.

Авдотья выслушала мужнину речь до конца, не переменив своего положения; только при слове «вечером» чуть повела головой и словно задумалась.

— Уж ты, Семеныч,— промолвила она наконец с досадой,— известно, как начнешь разговаривать, уж тут...

Она махнула рукой и ушла, хлопнув дверью. Авдотья действительно не слишком высоко ценила Акимово красноречие и, бывало, по вечерам, когда он принимался рассуждать с проезжими или пускался в рассказы, зевала тихомолком или уходила. Аким посмотрел на запертую дверь... «Как начнешь разговаривать,— повторил он вполголоса...— то-то и есть, что я мало разговаривал с тобой... И кто же? свой же брат, да еще...» И он встал, подумал, да и постучал себе кулаком по затылку...

Несколько дней прошло после этого дня довольно странным образом. Аким всё поглядывал на жену свою, как будто собирался ей что-то сказать; и она, с своей стороны, на него подозрительно посматривала; притом они оба принужденно молчали; впрочем, это молчание обыкновенно прерывалось брюзгливым замечанием Акима насчет какого-нибудь упущения в хозяйстве или

насчет женщин вообще; Авдотья большею частию не отвечала ему ни слова. Однако, при всей добродушной слабости Акима, между им и Авдотьей непременно дошло бы до решительного объяснения, если б не случилось, наконец, происшествия, после которого всякие объяснения были бесполезны.

А именно, в одно утро Аким с женой только что собирались пополдничать (проезжих в постоялом дворе, за летними работами, ни одного не было), как вдруг тележка бойко застучала по дороге и круто остановилась перед крыльцом. Аким глянул в окошко, нахмурился и потупился: из тележки, не торопясь, вылезал Наум. Авдотья его не увидала, но когда раздался в сенях его голос, ложка слабо дрогнула в ее руке. Он приказывал работнику лошадь поставить на двор. Наконец дверь распахнулась, и он вошел в комнату.

— Здорово,— промолвил он и снял шапку.

— Здорово,— повторил сквозь зубы Аким.— Откуда бог принес?

— По соседству,— возразил тот и сел на лавку.— Я от барыни.

— От барыни,— проговорил Аким, всё не поднимаясь с места.— По делам, что ль?

— Да, по делам. Авдотья Арефьевна, наше вам почтение.

— Здравствуйте, Наум Иваныч,— ответила она.

Все помолчали.

— Что это у вас, похлебка, знать, какая,— начал Наум...

— Да, похлебка,— возразил Аким и вдруг побледнел,— да не про тебя.

Наум с удивлением глянул на Акима.

— Как не про меня?

— Да так вот что не про тебя.— У Акима глаза заблестели, и он ударил рукой по столу.— У меня в доме ничего про тебя нету, слышишь?

— Что ты, Семеныч, что ты? Что с тобой?

— Со мной ничего, а *ты* мне надоел, Наум Иваныч, вот что.— Старик встал и весь затрясся.— Больно часто стал ко мне таскаться, вот что.

Наум тоже встал.

— Да ты, брат, чай рехнулся,— произнес он с усмешкой.— Авдотья Арефьевна, что это с ним?

— Я тебе говорю,— закричал дребезжащим голосом Аким,— пошел вон, слышишь... какая тебе тут Авдотья Арефьевна... я тебе говорю, слышишь, проваливай!

— Что ты такое мне говоришь? — спросил значительно Наум.

— Пошел вон отсюда; вот что я тебе говорю. Вот бог, а вот порог... понимаешь? а то худо будет!

Наум шагнул вперед.

— Батюшки, не деритесь, голубчики мои,— залепетала Авдотья, которая до того мгновенья сидела неподвижно за столом.

Наум глянул на нее.

— Не беспокойтесь, Авдотья Арефьевна, зачем драться! Эк-ста, брат,— продолжал он, обращаясь к Акиму,— как ты раскричался. Право. Экой прыткой! Слыханное ли дело, из чужого дома выгонять,— прибавил с медленной расстановкой Наум,— да еще хозяина.

— Как из чужого дома,— пробормотал Аким.— Какого хозяина?

— А хоть бы меня.

И Наум прищурился и оскалил свои белые зубы.

— Как тебя? Разве не я хозяин?

— Экой ты бестолковый, братец. Говорят тебе — я хозяин.

Аким вытаращил глаза.

— Что ты такое врешь, словно белены объелся,— заговорил он наконец.— Какой ты тут, к чёрту, хозяин?

— Да что с тобой толковать,— вскрикнул с нетерпением Наум.— Видишь ты эту бумагу,— продолжал он, выхватив из кармана сложенный вчетверо гербовый лист,— видишь? Это купчая, понимаешь, купчая и на землю твою и на двор; я их купил у помещицы, у Лизаветы Прохоровны купил; вчера купчую в Б...е совершили — хозяин здесь, стало быть, я, а не ты. Сегодня же собери свои пожитки,— прибавил он, кладя обратно бумагу в карман,— а завтра чтоб и духу твоего здесь не было, слышишь?

Аким стоял, как громом пришибленный.

— Разбойник,— простонал он наконец,— разбойник... Эй, Федька, Митька, жена, жена, хватайте его, хватайте — держите его!

Он совсем потерялся.

— Смотри, смотри,— с угрозой произнес Наум,— смотри, старик, не дури...

— Да бей же его, бей его, жена! — твердил слезливым голосом Аким, напрасно и бессильно порываясь с места.— Душегубец, разбойник... Мало тебе ее... и дом ты мой у меня отнять хочешь и всё... Да нет, стой же... этого быть не может... Я пойду сам, я сам скажу... Как... за что же продавать... Постой... постой...

И он без шапки бросился на улицу.

— Куда, Аким Семеныч, куда бежишь, батюшка? — заговорила работница Фетинья, столкнувшись с ним в дверях.

— К барыне! пусти! К барыне...— завопил Аким и, увидав Наумову телегу, которую не успели еще ввезти на двор, вскочил в нее, схватил вожжи и, ударив изо всей силы по лошади, пустился вскачь к господскому двору.

— Матушка, Лизавета Прохоровна,— твердил он про себя в продолжение всей дороги,— за что же такая немилость? Кажется, усердствовал!

И между тем он всё сек да сек лошадь. Встречавшиеся с ним сторонились и долго смотрели ему вслед.

В четверть часа доехал Аким до усадьбы Лизаветы Прохоровны; подскакал к крыльцу, соскочил с телеги и прямо ввалился в переднюю.

— Чего тебе? — пробормотал испуганный лакей, сладко дремавший на конике.

— Барыню, мне нужно барыню видеть,— громко проговорил Аким.

Лакей изумился.

— Аль что случилось? — начал он...

— Ничего не случилось, а мне барыню нужно видеть.

— Что, что? — промолвил более и более изумленный лакей и медленно выпрямился.

Аким опомнился... Словно холодной водой его облили.

— Доложите, Петр Евграфыч, барыне,— сказал он с низким поклоном,— что Аким, мол, желает их видеть...

— Хорошо... пойду... доложу... А ты, знать, пьян, подожди,— проворчал лакей и удалился.

Аким потупился и как будто смутился... Решимость быстро исчезла в нем с самого того мгновенья, как только он вступил в прихожую.

Лизавета Прохоровна тоже смутилась, когда доложили ей о приходе Акима. Она тотчас велела позвать Кирилловну к себе в кабинет.

— Я не могу его принять,— торопливо заговорила она, лишь только та показалась,— никак не могу. Что я ему скажу? Я ведь говорила тебе, что он непременно придет и будет жаловаться,— прибавила она с досадой и волнением,— я говорила...

— Для чего же вам его принимать-с,— спокойно возразила Кирилловна,— это и не нужно-с. Зачем вы будете беспокоиться, помилуйте.

— Да как же быть?

— Если позволите, я с ним поговорю.

Лизавета Прохоровна подняла голову.

— Сделай одолжение, Кирилловна. Поговори с ним. Ты скажи ему... там — ну, что я нашла нужным... а впрочем, что я его вознагражу... ну, там, ты уж знаешь. Пожалуйста, Кирилловна.

— Не извольте, сударыня, беспокоиться,— возразила Кирилловна и ушла, поскрипывая башмаками.

Четверти часа не протекло, как скрип их послышался снова, и Кирилловна вошла в кабинет с тем же спокойным выражением на лице, с той же лукавой смышленостью в глазах.

— Ну, что,— спросила ее барыня,— что Аким?

— Ничего-с. Говорит-с, что всё в воле милости вашей, были бы вы здоровы и благополучны, а с его век станет.

— И он не жаловался?

— Никак нет-с. Чего ему жаловаться?

— Зачем же он приходил? — промолвила Лизавета Прохоровна не без некоторого недоумения.

— А приходил он просить-с, пока до награжденья, не будет ли милости вашей оброк ему простить, на предбудущий год то есть...

— Разумеется, простить, простить,— с живостью подхватила Лизавета Прохоровна,— разумеется. С удовольствием. И вообще скажи ему, что я его вознагражу.

Ну, спасибо тебе, Кирилловна. А он, я вижу, добрый мужик. Постой,— прибавила она,— дай ему вот это от меня.— И она достала из рабочего столика трехрублевую ассигнацию.— Вот, возьми, отдай ему.

— Слушаю-с,— возразила Кирилловна и, спокойно возвратившись в свою комнату, спокойно заперла ассигнацию в кованый сундучок, стоявший у ее изголовья; она сохраняла в нем все свои наличные денежки, а их было немало.

Кирилловна донесением своим успокоила госпожу, но разговор между ею и Акимом происходил в действительности не совсем так, как она его передала; а именно:

Она велела его позвать к себе в девичью. Он сперва было не пошел к ней, объявив притом, что желает видеть не Кирилловну, а самое Лизавету Прохоровну, однако наконец послушался и отправился через заднее крыльцо к Кирилловне. Он застал ее одну. Войдя в комнату, он тотчас же остановился и прислонился подле двери к стене, хотел было заговорить... и не мог.

Кирилловна пристально посмотрела на него.

— Вы, Аким Семеныч,— начала она,— желаете барыню видеть?

Он только головой кивнул.

— Этого нельзя, Аким Семеныч. Да и к чему? Сделанного не переделаешь, а только вы их обеспокоите. Оне вас теперь не могут принять, Аким Семеныч.

— Не могут,— повторил он и помолчал.— Так как же,— проговорил он медленно,— стало быть, так дому и пропадать?

— Послушайте, Аким Семеныч. Вы, я знаю, всегда были благоразумный человек. На это господская воля. А переменить этого нельзя. Уж этого не переменишь. Что мы тут будем с вами рассуждать, ведь это ни к чему не поведет. Не правда ли?

Аким заложил руки за спину.

— А вы лучше подумайте,— продолжала Кирилловна,— не попросить ли вам госпожу, чтоб оброку вам поспустить, что ли...

— Стало быть, дому так и пропадать,— повторил Аким прежним голосом.

— Аким Семеныч, я же вам говорю: нельзя. Вы сами это знаете лучше меня.

— Да. По крайней мере за сколько он пошел, двор-то?

— Не знаю я этого, Аким Семеныч; не могу вам сказать... Да что вы так стоите,— прибавила она,— присядьте.

— Постоим-с и так. Наше дело мужицкое, благодарим покорно.

— Какой же вы мужик, Аким Семеныч? Вы тот же купец, вас и с дворовым сравнить нельзя, что вы это? Не убивайтесь понапрасну. Не хотите ли чаю?

— Нет, спасибо, не требуется. Так за вами домик остался,— прибавил он, отделяясь от стены.— Спасибо и на этом. Прощенья просим, сударушка.

И он обернулся и вышел вон. Кирилловна одернула свой фартук и отправилась к барыне.

— А знать, я и впрямь купцом стал,— сказал самому себе Аким, остановившись в раздумье перед воротами.— Хорош купец! — Он махнул рукой и горько усмехнулся.— Что ж! Пойти домой!

И, совершенно забыв о Наумовой лошади, на которой приехал, поплелся он пешком по дороге к постоялому двору. Он еще не успел отойти первой версты, как вдруг услышал рядом с собой стук тележки.

— Аким, Аким Семеныч,— звал его кто-то.

Он поднял глаза и увидал знакомца своего, приходского дьячка Ефрема, прозванного Кротом, маленького, сгорбленного человечка с вострым носиком и слепыми глазками. Он сидел в дрянной тележонке, на клочке соломы, прислонясь грудью к облучку.

— Домой, что ль, идешь? — спросил он Акима.

Аким остановился.

— Домой.

— Хочешь подвезу?

— А пожалуй, подвези.

Ефрем посторонился, и Аким взлез к нему в телегу. Ефрем, который был, казалось, навеселе, принялся стегать свою лошаденку концами веревочных вожжей; она побежала усталой рысью, беспрестанно вздергивая незанузданной мордой.

Они проехали с версту, не сказав друг другу ни слова. Аким сидел, наклонив голову, а Ефрем так только бурчал что-то себе под нос, то понукая, то сдерживая лошадь.

— Куда ж это ты без шапки ходил, Семеныч? — внезапно спросил он Акима и, не дожидаясь ответа, продолжал вполголоса: — В заведеньице оставил, вот что. Питух ты; я тебя знаю и за то люблю, что питух; ты не бийца, не буян, не напрасливый; домостроитель ты, но питух, и такой питух — давно бы тебя пора под начало за это, ей-богу; потому это дело скверное... Ура! — закричал он вдруг во всё горло,— ура! ура!

— Стойте, стойте,— раздался вблизи женский голос,— стойте!

Аким оглянулся. К телеге через поле бежала женщина, до того бледная и растрепанная, что он ее сперва не узнал.

— Стойте, стойте,— простонала она опять, задыхаясь и махая руками.

Аким вздрогнул: это была его жена.

Он ухватил вожжи.

— А зачем останавливаться,— забормотал Ефрем,— для бабы-то останавливаться? Ну-у!

Но Аким круто осадил лошадь.

В это мгновение Авдотья добежала до дороги и так и повалилась прямо лицом в пыль.

— Батюшка, Аким Семеныч,— завопила она,— ведь и меня он выгнал!

Аким посмотрел на нее и не пошевелился, только еще крепче натянул вожжи.

— Ура! — снова воскликнул Ефрем.

— Так выгнал он тебя? — проговорил Аким.

— Выгнал, батюшка, голубчик мой,— ответила, всхлипывая, Авдотья.— Выгнал, батюшка. Говорит, дом теперь мой, так ступай, мол, вон.

— Важно, вот оно как хорошо... важно! — заметил Ефрем.

— А ты, чай, оставаться собиралась? — горько промолвил Аким, продолжая сидеть на телеге.

— Какое оставаться! Да, батюшка,— подхватила Авдотья, которая приподнялась было на колени и снова ударилась оземь,— ведь ты не знаешь, ведь я... Убей меня, Аким Семеныч, убей меня тут же, на месте...

— За что тебя бить, Арефьевна! — уныло возразил Аким,— сама ты себя победила! чего уж тут?

— Да ведь ты что думаешь, Аким Семеныч... Ведь

денежки... твои денежки... Ведь нет их, твоих денежек-то... Ведь я их, окаянная, из подполицы достала, все их тому-то, злодею-то, Науму отдала, окаянная... И зачем ты мне сказал, куда ты деньги прячешь, окаянная я... Ведь он на твои денежки и дворик-то купил... злодей этакой...

Рыдания заглушали ее голос.

Аким схватился обеими руками за голову.

— Как! — закричал он наконец,— так и деньги все... и деньги, и двор, и ты это... А! из подполицы достала... достала... Да я убью тебя, змея подколодная...

И он соскочил с телеги...

— Семеныч, Семеныч, не бей, не дерись,— пролепетал Ефрем, у которого от такого неожиданного происшествия хмель начинал проходить.

— Нет, батюшка, убей меня, батюшка, убей меня, окаянную: бей, не слушай его,— кричала Авдотья, судорожно валяясь у Акимовых ног.

Он постоял, посмотрел на нее, отошел несколько шагов и присел на траву возле дороги.

Наступило небольшое молчание. Авдотья повернула голову в его сторону.

— Семеныч, а Семеныч,— заговорил Ефрем, приподнявшись в телеге,— полно тебе... Ведь уж того... беде-то не поможешь. Тьфу ты, какая оказия,— продолжал он словно про себя,— экая баба проклятая... Иди к нему, ты,— прибавил он, наклонившись через грядку к Авдотье,— вишь он ошалел.

Авдотья встала, приблизилась к Акиму и снова упала ему в ноги.

— Батюшка,— начала она слабым голосом...

Аким поднялся и пошел обратно к телеге. Она ухватилась за полу его кафтана.

— Пошла прочь! — крикнул он свирепо и оттолкнул ее.

— Куда же ты? — спросил его Ефрем, увидав, что он опять к нему садится.

— А ты хотел меня ко двору подвезти,— промолвил Аким,— так довези меня уж до своего двора... Моего-то вишь не стало. Купили вишь его у меня.

— А ну, изволь, поедем ко мне. А ее-то как?

Аким ничего не отвечал.

— А меня-то, меня-то,— подхватила с плачем Авдотья,— меня-то на кого ты оставляешь... куда же я-то пойду?

— А к нему ступай,— возразил, не оборачиваясь, Аким,— к кому ты деньги мои отнесла... Пошел, Ефрем!

Ефрем ударил по лошади, телега покатилась, Авдотья заголосила...

Ефрем жил в версте от Акимова двора, в маленьком домике, на поповской слободке, расположенной около одинокой пятиглавой церкви, недавно выстроенной наследниками богатого купца, в силу духовного завещания. Ефрем во всю дорогу ничего не говорил Акиму и только изредка потряхивал головой и произносил слова вроде: «ах ты!» да: «эх ты!» Аким сидел неподвижно, немного отворотясь от Ефрема. Наконец они приехали. Ефрем соскочил первый с телеги. Ему навстречу выбежала девочка лет шести, в низко подпоясанной рубашонке, и закричала:

— Тятя! Тятя!

— А где твоя мать? — спросил ее Ефрем.

— Спит в закутке.

— Ну, пущай спит. Аким Семеныч, что же вы, пожалуйте в комнатку.

(Надо заметить, что Ефрем «тыкал» его только спьяна; Акиму и не такие лица говорили: вы.)

Аким вошел в дьячкову избу.

— Вот сюда, на лавочку, пожалуйте, — говорил Ефрем.— Подите вы, пострелята,— крикнул он на трех других ребятишек, которые вместе с двумя исхудалыми и запачканными пеплом кошками появились вдруг из разных углов комнаты.— Подите вон! Брысь! Вот сюда, Аким Семеныч, сюда,— продолжал он, усаживая гостя,— да не прикажете ли чего?

— Что я тебе скажу, Ефрем,— произнес, наконец, Аким,— нельзя ли вина?

Ефрем встрепенулся.

— Вина? Мигом. Дома-то его у меня нету, вина-то, а вот я сейчас сбегаю к отцу Феодору. У него завсегда... Мигом сбегаю...

И он схватил свою ушастую шапку.

— Да побольше принеси, я заплачу,— крикнул ему вслед Аким.— На это денег-то у меня еще станет.

— Мигом! — повторил еще раз Ефрем, исчезая за

дверью. Он действительно вернулся очень скоро с двумя штофами под мышкой, из которых один уже был раскупорен, поставил их на стол, достал два зеленые стаканчика, краюху хлеба и соли.

— Вот это люблю,— твердил он, садясь перед Акимом.— Чего горевать? — Он налил и ему и себе... и пустился болтать... Поступок Авдотьи его озадачил.— Удивительное, право, дело,— говорил он,— каким это образом произошло? Стало быть, он приворожил ее к себе... ась? Вот что значит жену-то как нужно строго соблюдать! В ежовых рукавицах держать ее следует. А все-таки вам домой заехать не худо; ведь там, чай, у вас добра много осталось.

И много еще подобных речей произнес Ефрем; он, когда пил, не любил молчать.

Через час вот что происходило в Ефремовом доме. Аким, который в течение всей попойки ни слова не отвечал на расспросы и замечания своего болтливого хозяина и только выпивал стакан за стаканом, спал на печи, весь красный, спал тяжелым и мучительным сном; ребятишки на него дивились, а Ефрем... Увы! Ефрем тоже спал, но только в очень тесном и холодном чулане, куда заперла его жена, женщина весьма мужественного и сильного телосложения. Он было отправился к ней, в закуту, и начал ей не то грозить, не то рассказывать что-то, но до того несообразно и непонятно выражался, что она тотчас же смекнула, в чем дело, взяла его за воротник и отвела куда следует. Впрочем, он спал в чулане очень хорошо и даже покойно. Привычка!

Кирилловна не совсем верно передала Лизавете Прохоровне разговор свой с Акимом... То же можно сказать и об Авдотье. Наум ее не выгнал, хотя она и сказала Акиму, что он ее выгнал; он не имел права ее выгонять... Он был обязан дать старым хозяевам время выбраться. Между им и Авдотьей происходили объяснения совсем другого рода.

Когда Аким с криком, что он поедет к барыне, выскочил на улицу, Авдотья обратилась к Науму, поглядела на него во все глаза и всплеснула руками.

— Господи! — начала она,— Наум Иваныч, что это такое? Вы наш двор купили?

— А что-с? — возразил тот.— Купил-с.

Авдотья помолчала и вдруг всполохнулась.

— Так вам вот на что деньги нужны были?

— Точно так изволите говорить-с. Эге, да, кажется, ваш муженек на моей лошади поехал,— прибавил он, услышав стук колес.— Каков молодец!

— Да ведь это грабеж после этого,— возопила Авдотья,— ведь это наши деньги, мужнины деньги, и двор наш...

— Нет-с, Авдотья Арефьевна,— перебил ее Наум,— двор был не ваш-с, к чему это говорить; двор был на господской земле, так и он господский, а деньги точно ваши были; только вы были, можно сказать, так добры и мне их пожертвовали-с; и я вам остаюсь благодарным и даже, при случае, вам их отдам, коли уж такой случай выдет-с; а только мне голяком оставаться не приходится, сами извольте рассудить.

Наум сказал всё это очень спокойно и даже с небольшой улыбкой.

— Батюшки мои! — закричала Авдотья,— да что же это такое? Что это? Да как я после этого мужу на глаза покажусь? Злодей ты,— прибавила она, с ненавистью глядя на молодое, свежее лицо Наума,— ведь я душу свою для тебя загубила, ведь я для тебя воровкой стала, ведь ты нас по миру пустил, злодей ты этакой! Ведь мне после этого только и осталось, что ѐсел себе на шею надеть, злодей, обманщик, погубитель ты мой...

И она зарыдала в три ручья...

— Не извольте беспокоиться, Авдотья Арефьевна,— промолвил Наум,— а скажу вам одно: своя рубашка к телу ближе; впрочем, на то и щука в море, Авдотья Арефьевна, чтобы карась не дремал.

— Куда же мы пойдем теперь, куда денемся? — с плачем лепетала Авдотья.

— А этого я не могу сказать-с.

— Да я зарежу тебя, злодей; зарежу, зарежу...

— Нет, этого вы не сделаете, Авдотья Арефьевна; к чему это говорить, а только, я вижу, мне теперь лучше отсюда уйти маленько, а то вы уж очень беспокоитесь... Проценья просим-с; а завтра беспременно завернем... А работников своих уж вы позвольте мне прислать к вам сегодня,— прибавил он, между тем как

Авдотья продолжала твердить сквозь слезы, что она и его и себя зарежет.

— Да вот они кстати и идут,— заметил он, глянув в окно.— А то, пожалуй, какая-нибудь беда, боже сохрани, приключится... Этак-то спокойнее будет. Вы уж, сделайте милость, пожиточки свои соберите сегодня-с, а они у вас покараулят и помогут вам, пожалуй. Просим прощения-с.

Он поклонился, вышел и подозвал к себе работников...

Авдотья упала на лавку, потом легла грудью на стол и начала ломать себе руки, потом вдруг вскочила и побежала вслед за мужем... Мы рассказали их свидание.

Когда Аким уехал от нее прочь вместе с Ефремом, оставив ее одну в поле, она сперва долго плакала, не сходя с места. Наплакавшись досыта, она отправилась к господской усадьбе. Горько было ей войти в дом, еще горше показаться в девичьей. Все девушки бросились к ней навстречу с участием и сожалением. При виде их Авдотья не могла удержать слез своих; они так и брызнули из ее опухших и покрасневших глаз. Вся обессиленная, села она на первый попавшийся стул. Побежали за Кирилловной. Кирилловна пришла, обошлась с ней весьма ласково, но до барыни ее не допустила так же, как не допустила Акима. Авдотья сама не очень настаивала на свиданье с Лизаветой Прохоровной; она пришла в господский дом единственно потому, что решительно не знала, куда голову приклонить.

Кирилловна велела подать самовар. Авдотья долго отказывалась пить чай, но уступила, наконец, просьбам и убеждениям всех девушек и за первой чашкой выпила еще четыре. Когда Кирилловна увидела, что ее гостья несколько успокоилась и только изредка вздрагивала и слабо всхлипывала, она спросила ее, куда они намерены переселиться и что хотят сделать с своими вещами. Авдотья от этого вопроса опять заплакала, стала уверять, что ей, кроме смерти, ничего уже не нужно; но Кирилловна, как женщина с головой, ее тотчас остановила и присоветовала, не теряя попусту времени, с сегодняшнего же дня приступить к перевозке вещей в бывшую Акимову избу на деревне, где

жил его дядя, тот самый старик, который отговаривал его жениться; объявила, что с позволения барыни им дадут на подъем и в подмогу людей и лошадей: «А что до вас касается, моя душенька,— прибавила Кирилловна, сложив в кислую улыбочку свои кошачьи губы,— у нас всегда место для вас найдется, и нам очень будет приятно, если вы у нас погостите до тех пор, пока опять справитесь и обзаведетесь домком. Главное — унывать не нужно. Господь дал, господь взял и опять даст; всё в его воле. Лизавета Прохоровна, конечно, по своим соображениям должна была продать ваш двор, но она вас не забудет и вознаградит: так она приказала сказать Акиму Семенычу... Где он теперь?»

Авдотья отвечала, что он, встретившись с ней, очень ее обидел и уехал к дьячку Ефрему.

— К этому! — значительно возразила Кирилловна.— Ну, я понимаю, что ему теперь трудно, пожалуй, его сегодня не отыщешь. Как быть? Нужно распорядиться. Малашка,— прибавила она, обращаясь к одной из горничных,— попроси-ка сюда Никанора Ильича: мы с ним потолкуем.

Никанор Ильич, человек наружности весьма мизерной, нечто вроде приказчика, тотчас явился, подобострастно выслушал всё, что ему сказала Кирилловна, проговорил: «Будет исполнено», вышел и распорядился. Авдотье выдали три подводы с тремя крестьянами; к ним, по собственной охоте, присоединился четвертый, который сам объявил про себя, что он будет «потолковей их», и она отправилась вместе с ними на постоялый двор, где нашла своих прежних работников и работницу Фетинью в большом смущенье и ужасе...

Наумовы новобранцы, три очень дюжих парня, как пришли с утра, так уж никуда не уходили и караулили двор очень усердно, по обещанию Наума, до того усердно, что у одной новой телеги вдруг не оказалось шин...

Горько, горько было укладываться бедной Авдотье. Несмотря на помощь толкового человека, который, впрочем, только и умел что ходить с палочкой в руке, глядеть на других и сплевывать в сторону, она не успела выбраться в тот же день и осталась ночевать в постоялом дворе, упросив наперед Фетинью не выходить из ее комнаты; впрочем, она задремала только на заре

лихорадочной дремотой, и слезы текли по ее щекам даже во сне.

Между тем Ефрем проснулся раньше обыкновенного в своем чулане и начал стучаться и проситься вон. Жена сперва не хотела выпустить его, объявив ему чрез дверь, что он еще не выспался; но он подстрекнул ее любопытство обещанием рассказать ей необыкновенное происшествие с Акимом; она вынула щеколду. Ефрем сообщил ей всё, что знал, и кончил вопросом: что, мол, проснулся он или нет?

— А господь его знает,— отвечала жена,— поди посмотри сам; с печи еще не слезал.— Вишь, вы оба вчера как напились; поглядел бы хоть ты на себя — лицо на лицо не похоже, так, чумичка какая-то, а что в волосах сена набилось!

— Ничего, что набилось,— возразил Ефрем и, проведя рукой по голове, вошел в комнату. Аким уже не спал; он сидел со свешенными ногами на печи; очень странно и взъерошенно было также его лицо. Оно казалось тем более измятым, что Аким не имел привычки много пить.

— Ну, что, Аким Семеныч, как выспались,— начал Ефрем...

Аким посмотрел на него мутным взором.

— Что, брат Ефрем,— заговорил он сипло,— нельзя ли опять — того?

Ефрем быстро взглянул на Акима... Он почувствовал в это мгновенье некоторое внутреннее содрогание; подобного рода ощущение испытывает стоящий под опушкою охотник при внезапном тявкании гончей в лесу, из которого уже, казалось, весь зверь выбежал.

— Как — еще? — спросил он наконец.

— Да; еще.

«Жена увидит,— подумал Ефрем,— не пустит, пожалуй».— Ничего, можно,— промолвил он громко,— потерпите.

Он вышел и, благодаря искусно принятым мерам, успел незаметным образом пронести под полой большую бутылку...

Аким взял эту бутылку... Но Ефрем не стал пить с ним вместе, по-вчерашнему,— он боялся жены и, объявив Акиму, что поедет посмотреть, что такое у него

делается и как укладывают его пожитки, и не грабят ли его,— тотчас отправился к постоялому двору на своей некормленной лошадке верхом — причем, однако, себя не забыл, если принять в соображение его оттопырившуюся пазуху.

Аким скоро после его ухода уже спал опять как убитый на печи... Он даже тогда не проснулся, по крайней мере не подал вида, что проснулся, когда вернувшийся часа через четыре Ефрем начал его толкать, и будить, и лепетать над ним какие-то чрезвычайно сбивчивые слова о том, что уже всё поехало и переехало, и образа, мол, сняты, уже и поехали, и всё уже кончено — и что его все ищут, но что он, Ефрем, распорядился и запретил... и т. д. Впрочем, лепетал он недолго. Жена его опять отвела в чулан, а сама, в большом негодовании и на мужа своего и на гостя, по милости которого муж «запил», легла в комнате на полатях... Но когда, проснувшись, по обычаю своему, ранехонько, глянула она на печь, уже Акима на ней не было... Еще вторые петухи не пропели и ночь еще стояла такая темная, что само небо чуть-чуть серело прямо над головой, а по краям совершенно утопало во мраке — как уже Аким выходил из ворот дьячковского дома. Лицо его было бледно, но он зорко глядел кругом и походка его не изобличала пьяного... Он шел в направлении прежнего своего жилища — постоялого двора, уже поступившего окончательно во владение нового хозяина, Наума.

Наум тоже не спал в то время, когда Аким покидал украдкой дом Ефрема. Он не спал; подостлав под себя тулупчик, лежал он одетый, на лавке. Не совесть его мучила — нет! он с удивительным хладнокровием присутствовал с утра при укладке и перевозке всего Акимова скарба и не раз сам заговаривал с Авдотьей, которая до того упала духом, что даже не упрекала его... Совесть его была покойна, но его занимали разные предположения и расчеты. Он не знал, посчастливится ли ему на новом поприще: до тех пор он никогда еще не содержал постоялого двора,— да и вообще не имел своего угла; ему и не спалось. «Хорошо начато дельце,— думал он,— что дальше будет...» Отправивши перед вечером последнюю телегу с Акимовым добром (Авдотья с плачем пошла за нею), он осмотрел весь

двор, все закуты, погреба, сараи, лазил на чердак, неоднократно приказывал своим работникам караулить крепко-накрепко и, оставшись один после ужина, всё не мог заснуть. Так случилось, что в тот день ни один из проезжих не остался ночевать; это его очень обрадовало. «Собаку нужно завтра купить непременно, какую-нибудь позлей, у мельника; вишь они свою увели»,— говорил он самому себе, ворочаясь с боку на бок, и вдруг проворно поднял голову... Ему показалось, что кто-то прошел под окном... Он прислушался... Ничего. Только кузнечик по временам осторожно трещал за печкой, да мышь где-то скреблась, да слышалось его собственное дыхание. Всё было тихо в пустой комнате, тускло освещенной желтыми лучами маленькой стеклянной лампадки, которую он успел повесить и зажечь перед образком в углу... Он опустил голову; вот ему опять послышалось, как будто скрыпнули ворота... потом слегка затрещал плетень... Он не выдержал, вскочил, отворил дверь в другую комнату и вполголоса кликнул: «Федор, а Федор!» Никто не отозвался ему... Он вышел в сени и чуть не упал, споткнувшись на Федора, развалившегося на полу. Мыча сквозь сон, зашевелился работник; Наум растолкал его.

— Что там, что надо? — начал было Федор...

— Чего орешь, молчи,— произнес шёпотом Наум.— Эка спите, проклятые! Ничего не слыхал?

— Ничего,— отвечал тот.— А что?

— А где другие спят?

— Другие спят, где приказано... Да разве что...

— Молчи — ступай за мной.

Наум тихонько отпер дверь из сеней на двор... На дворе было очень темно... Навесы с их столбами только потому и можно было различить, что они еще гуще чернели среди черной мглы...

— Не засветить ли фонарик? — проговорил вполголоса Федор.

Но Наум махнул рукой и притаил дыхание... Сперва он ничего не услыхал, кроме тех ночных звуков, которые почти всегда услышишь в обитаемом месте: лошадь жевала овес, свинья слабо хрюкнула раз сквозь сон, где-то похрапывал человек; но вдруг дошел до его ушей какой-то подозрительный шум, поднявшийся на самом конце двора, подле забора...

Казалось, кто-то там ворочался и как будто дышал или дул... Наум глянул через плечо на Федора и, осторожно сойдя с крылечка, пошел на шум... Раза два останавливался он, прислушивался и продолжал снова красться... Вдруг он вздрогнул... В десяти шагах от него, в густой темноте, ярко зарделась огненная точка: то был раскаленный уголь, и возле самого угля показалась на миг передняя часть чьего-то лица с вытянутыми губами... Быстро и молча, как кошка на мышь, ринулся Наум на огонь... Торопливо поднявшись с земли, бросилось ему навстречу какое-то длинное тело и чуть не сбило его с ног, чуть не выскользнуло из его рук, но он вцепился в него изо всех сил... «Федор, Андрей, Петрушка! — закричал он что было мочи,— скорей сюда, сюда, вора поймал, зажигателя...» Человек, которого он схватил, сильно барахтался и бился... но не выпускал его Наум... Федор тотчас подскочил к нему на подмогу.

— Фонарь, скорей фонарь! беги за фонарем, буди других, скорей! — крикнул ему Наум,— а я с ним пока один справлюсь — я сижу на нем... Скорей! да захвати кушак связать его.

Федор побежал в избу... Человек, которого держал Наум, вдруг перестал биться...

— Так, видно, тебе мало и жены, и денег, и двора — меня тоже погубить хочешь,— заговорил он глухо...

Наум узнал Акимов голос.

— Так это ты, голубчик,— промолвил он,— хорошо же, погоди!

— Пусти,— проговорил Аким.— Али тебе не довольно?

— А вот я тебе завтра перед судом покажу, как мне довольно...— И Наум еще плотнее обнял Акима.

Прибежали работники с двумя фонарями и веревками... «Вяжите его!» — резко скомандовал Наум... Работники ухватили Акима, подняли его, скрутили ему руки назад... Один из них начал было ругаться, но, узнавши старого хозяина постоялого двора, замолчал и только переглянулся с другими.

— Вишь, вишь,— твердил в это время Наум, поводя фонарем над землей,— вот и уголь в горшке — смотрите-ка, в горшке целую головешку притащил,—

надо будет узнать, где он горшок этот взял... вот он и сучьев наломал...— И Наум тщательно затоптал огонь ногой.— Обыщи-ка его, Федор! — прибавил он,— нет ли у него там еще чего?

Федор обшарил и ощупал Акима, который стоял неподвижно и повесил, как мертвый, голову на грудь.

— Есть вот нож,— проговорил Федор, доставая из-за Акимовой пазухи старый кухонный нож.

— Эге, любезный, так ты вот куда метил,— воскликнул Наум.— Ребята, вы свидетели... вот он зарезать меня хотел, двор поджечь... Заприте-ка его до утра в подвале, оттуда он не выскочит... Караулить я сам всю ночь буду, а завтра, чуть свет, мы его к исправнику... А вы свидетели, слышите?

Акима втолкнули в подвал, захлопнули за ним дверь... Наум приставил к ней двух работников и сам не лег спать.

Между тем Ефремова жена, убедившись, что ее непрошеный гость удалился,— принялась было за стряпню, хотя на дворе еще чуть брезжило... В тот день был праздник. Она присела к печке — достать огоньку, и увидала, что кто-то уже прежде выгребал оттуда жар; хватилась потом ножа — не нашла ножа; наконец, из четырех своих горшков не досчиталась одного. Ефремова жена слыла бабой неглупой — и недаром. Она постояла в раздумье, постояла и пошла в чулан к мужу. Нелегко было добудиться его и еще труднее растолковать ему, зачем его будили... На всё, что ни говорила дьячиха, Ефрем отвечал всё одно и то же:

— Ушел — ну, бог с ним... я-то что? Унес нож и горшок — ну, бог с ним — а я-то что?

Однако наконец он встал и, внимательно выслушав жену, решил, что дело это нехорошее и что этого так оставить нельзя.

— Да,— твердила дьячиха,— это нехорошо; этак он, пожалуй, бед наделает, с отчаянья-то... Я уже вечòр видела, что он не спал, так лежал на печи; тебе бы, Ефрем Александрыч, не худо бы проведать, что ли...

— Я вам, Ульяна Федоровна, что доложу,— начал Ефрем,— я на постоялый двор теперича поеду сам; и вы уж будьте ласковы, матушка, дайте мне опохмелиться винца стаканчик.

Ульяна призадумалась.

— Ну,— решила она наконец,— дам я тебе вина, Ефрем Александрыч; только ты, смотри, не балуй.

— Будьте спокойны, Ульяна Федоровна.

И, подкрепив себя стаканчиком, Ефрем отправился на постоялый двор.

Еще только рассветало, когда он подъехал к двору, а уже у ворот стояла запряженная телега и один из работников Наума сидел на облучке, держа в руках вожжи.

— Куда это? — спросил его Ефрем.

— В город,— нехотя отвечал работник.

— Зачем это?

Работник только передернул плечами и не отвечал. Ефрем соскочил с своей лошадки и вошел в дом. В сенях ему попался Наум, совсем одетый и в шапке.

— Поздравляем с новосельем нового хозяина,— проговорил Ефрем, который знал его лично.— Куда так рано?

— Да, есть с чем поздравлять,— сурово возразил Наум.— В первый же день, да чуть не сгорел.

Ефрем дрогнул.

— Как так?

— Да так, нашелся добрый человек, поджечь хотел. Благо, на деле поймал; теперь в город везу.

— Уж не Аким ли?..— медленно спросил Ефрем.

— А ты почем знаешь? Аким. Пришел ночью с головешкой в горшке — и уж на двор пробрался и огонь подложил... Все мои ребята свидетели. Хочешь посмотреть? Нам же его, кстати, пора везти.

— Батюшка, Наум Иваныч,— заговорил Ефрем,— отпустите его, не погубите вы старика до конца. Не берите этого греха на душу, Наум Иваныч. Вы подумайте — человек в отчаянии — потерялся, значит...

— Полно врать,— перебил его Наум.— Как же! выпущу я его! Да он завтра же меня подожжет опять...

— Не подожжет, Наум Иваныч, поверьте. Поверьте, вам самим этак будет покойнее — ведь тут расспросы пойдут, суд — ведь вы сами знаете.

— Так что ж, что суд? Мне суда бояться нечего.

— Батюшка, Наум Иваныч, как суда не бояться...

— Э, полно; ты, я вижу, пьян с утра, а еще сегодня праздник.

Ефрем вдруг совершенно неожиданно заплакал.

— Я пьян, да правду говорю,— пробормотал он.— А вы для праздничка Христова его простите.

— Ну, пойдем, нюня.

И Наум пошел к крыльцу.

— Для Авдотьи Арефьевны его простите,— говорил Ефрем, следуя за ним.

Наум подошел к подвалу, широко отворил дверь. Ефрем с боязливым любопытством вытянул шею из-за Наумовой спины и с трудом различил в углу неглубокого подвала — Акима. Бывший богатый дворник, уважаемый в околотке человек, сидел с связанными руками на соломе, как преступник... Услышав шум, он поднял голову... Казалось, он страшно исхудал за эти последние два дня, особенно за эту ночь,— впалые глаза едва виднелись под высоким, как воск пожелтевшим лбом, пересохшие губы потемнели... Всё лицо его изменилось и приняло странное выражение: жестокое и запуганное.

— Вставай и выходи,— проговорил Наум.

Аким встал и шагнул через порог.

— Аким Семеныч,— завопил Ефрем,— погубил ты свою головушку, голубчик!..

Аким глянул на него молча.

— Знал бы я, для чего ты вина спрашивал,— не дал бы я тебе; право, не дал бы; кажется, сам бы всё выпил! Эх, Наум Иваныч,— прибавил Ефрем, ухватив Наума за руку,— помилуйте его, отпустите.

— Эка штука,— с усмешкой возразил Наум.— Ну, выходи же,— прибавил он, снова обратившись к Акиму...— Чего ждешь?

— Наум Иванов...— начал Аким.

— Чего?

— Наум Иванов,— повторил Аким,— послушай: я виноват; сам с тебя расправы захотел; а нас с тобой бог рассудить должен. Ты у меня всё отнял, сам знаешь, всё до последнего. Теперь ты меня погубить можешь, а только я тебе вот что скажу: коли ты меня отпустишь теперь — ну! так и быть! владей всем! я согласен и желаю тебе всякой удачи. А я тебе как перед богом говорю: отпустишь — пенять не будешь. Бог с тобой!

Аким закрыл глаза и умолк.

— Как же, как же,— возразил Наум,— можно тебе поверить!

— А ей-богу, можно,— заговорил Ефрем,— право, можно. Я за него, за Акима Семеныча, головой готов поручиться — ну, право!

— Вздор! — воскликнул Наум.— Едем!

Аким посмотрел на него.

— Как знаешь, Наум Иванов. Твоя воля. Много ты только на душу себе берешь. Что ж, коли тебе таки уж не терпится — едем...

Наум в свою очередь зорко поглядел на Акима. «А в самом деле,— подумал он про себя,— отпустить его к чёрту! А то меня этак, пожалуй, люди поедом поедят. От Авдотьи проходу не будет...». Пока Наум рассуждал сам с собою — никто не произнес ни слова. Работник на телеге, которому сквозь ворота всё было видно, только потряхивал головой и похлопывал по лошади вожжами. Другие два работника стояли на крылечке и тоже молчали.

— Ну, слушай, старик,— начал Наум,— когда я тебя отпущу и вот этим молодцам (он указал головой на работников) не велю болтать, что же, мы с тобой квиты будем — понимаешь меня,— квиты... ась?

— Говорят тебе, владей всем.

— Ты меня в долгу считать у себя не будешь?

— Ни ты у меня в долгу не будешь, ни я у тебя.

Наум опять помолчал.

— А побожись!

— Вот как бог свят,— возразил Аким.

— Ведь вот я знаю наперед, что раскаиваться буду,— промолвил Наум,— да уж так, куда ни шло! Давай сюда руки.

Аким повернулся к нему спиной; Наум начал его развязывать.

— Смотри же, старик,— прибавил он, стаскивая с его кистей веревку,— помни, я тебя пощадил, смотри!

— Голубчик вы мой, Наум Иваныч,— пролепетал тронутый Ефрем,— господь вас помилует!

Аким выправил опухшие и похолоделые руки и пошел было к воротам...

Наум вдруг, как говорится, ожидовел — знать, ему жаль стало, что выпустил Акима...

— Ты побожился, смотри,— крикнул он ему вслед.

Аким оборотился — и, обведя глазами кругом двора, промолвил печально:

— Владей всем, вовеки нерушимо... прощай.

И он тихо вышел на улицу в сопровождении Ефрема. Наум махнул рукой, велел отпрячь телегу и вернулся в дом.

— Куда же ты, Аким Семеныч, разве не ко мне? — воскликнул Ефрем, увидав, что Аким своротил с большой дороги направо.

— Нет, Ефремушка, спасибо,— ответил Аким.— Пойду посмотреть, что жена делает.

— После посмотришь... А теперь надо бы на радости — того...

— Нет, спасибо, Ефрем... Довольно и так. Прощай.— И Аким пошел не оглядываясь.

— Эка! Довольно и так! — произнес озадаченный дьячок,— а я еще за него божился! Вот уж не ожидал я этого,— прибавил он с досадой,— после того как я за него божился. Тьфу!

Он вспомнил, что забыл взять нож свой и горшок, и вернулся на постоялый двор... Наум велел выдать ему его вещи, но даже не подумал угостить его. Совершенно раздосадованный и совершенно трезвый, явился он к себе домой.

— Ну что,— спросила его жена,— нашел?

— Что нашел? — возразил Ефрем,— вестимо, нашел: вот твоя посуда.

— Аким? — с особенным ударением спросила жена.

Ефрем кивнул головой.

— Аким. Но каков же он гусь! Я же за него божился, без меня бы ему в остроге пропадать, а он хоть бы чарочку мне поднес. Ульяна Федоровна, уважьте хоть вы меня, дайте стаканчик.

Но Ульяна Федоровна не уважила его и прогнала его с глаз долой.

Между тем Аким шел тихими шагами по дороге к деревне Лизаветы Прохоровны. Он еще не мог хорошенько опомниться; вся внутренность в нем дрожала, как у человека, который только что избежал явной смерти. Он словно не верил своей свободе. С тупым изумлением глядел он на поля, на небо, на жаворонков, трепетавших в теплом воздухе. Накануне, у Ефрема, он с самого обеда не спал, хоть и лежал неподвижно

на печи; сперва он хотел вином заглушить в себе нестерпимую боль обиды, тоску досады, бешеной и бессильной... но вино не могло одолеть его до конца; сердце в нем расходилось, и он начал придумывать, как бы отплатить своему злодею... Он думал об одном Науме, Лизавета Прохоровна не приходила ему в голову, от Авдотьи он мысленно отворачивался. К вечеру жажда мести разгорелась в нем до исступления, и он, добродушный и слабый человек, с лихорадочным нетерпением дождался ночи и, как волк на добычу, с огнем в руках побежал истреблять свой бывший дом... Но вот его схватили... заперли... Настала ночь. Чего он не передумал в эту жестокую ночь! Трудно передать словами всё, что происходит в человеке в подобные мгновенья, все терзанья, которые он испытывает; оно тем более трудно, что эти терзанья и в самом-то человеке бессловесны и немы... К утру, перед приходом Наума с Ефремом, Акиму стало как будто легко... «Всё пропало! — подумал он,— всё на ветер пошло!» и махнул рукой на всё... Если б он был рожден с душой недоброй, в это мгновенье он мог бы сделаться злодеем; но зло не было свойственным Акиму. Под ударом неожиданного и незаслуженного несчастья, в чаду отчаянья решился он на преступное дело; оно потрясло его до основания и, не удавшись, оставило в нем одну глубокую усталость... Чувствуя свою вину, оторвался он сердцем от всего житейского и начал горько, но усердно молиться. Сперва молился шёпотом, наконец он, может быть случайно, громко произнес: «Господи!» — и слезы брызнули из его глаз... Долго плакал он и утих, наконец... Мысли его, вероятно бы, изменились, если б ему пришлось поплатиться за свою вчерашнюю попытку... Но вот он вдруг получил свободу... и он шел на свидание с женою полуживой, весь разбитый, но спокойный.

Дом Лизаветы Прохоровны стоял в полутора верстах от ее деревни, налево от проселка, по которому шел Аким. У поворота, ведущего к господской усадьбе, он остановился было... и прошел мимо. Он решился сперва зайти в свою бывшую избу к старику дяде.

Небольшая и довольно уже ветхая Акимова изба находилась почти на самом конце деревни; Аким прошел всю улицу, не встретив ни души. Весь народ был

у обедни. Только одна больная старуха подняла окошечко, чтоб посмотреть ему вслед, да девочка, выбежавшая с пустым ведром к колодцу, зазевалась на него и тоже проводила его глазами. Первый человек, ему попавшийся навстречу, был именно тот дядя, которого он искал. Старик с самого утра просидел на завалинке под окошком, понюхивая табачок и греясь на солнце; ему не совсем здоровилось, оттого он и в церковь не ходил; он только что собрался было навестить другого, тоже хворого старика-соседа, как вдруг увидал Акима... Он остановился, допустил его до себя и, заглянув ему в лицо, промолвил:

— Здорово, Акимушка!

— Здорово,— отвечал Аким и, минуя старика, вошел в ворота своей избы... На дворе стояли его лошади, корова, телега; тут же ходили его куры... Он молча вошел в избу. Старик последовал за ним. Аким присел на лавку и оперся в нее кулаками. Старик жалостливо посматривал на него, стоя у дверей.

— А где хозяйка? — спросил Аким.

— А в барском доме,— проворно возразил старик.— Она там. Здесь твою скотинку поставили, да сундуки, какие были, а она там. Аль сходить за ней?

Аким помолчал.

— Сходи,— проговорил он наконец.

— Эх, дядя, дядя,— промолвил он со вздохом, пока тот доставал с гвоздя шапку,— помнишь, ты мне что накануне свадьбы сказал?

— На всё воля божия, Акимушка.

— Помнишь, ты мне сказал, что, дескать, я вам, мужикам, не свой брат, а теперь вот какие времена подошли.... Сам гол как сокол стал.

— Про дурных людей не напасешься,— отвечал старик,— а его, бессовестного, кабы кто мог проучить хорошенько, барин, например, какой или другая власть, а то чего ему бояться? Волк, так волчью хватку и знает.— И старик надел шапку и отправился.

Авдотья только что возвратилась из церкви, когда ей сказали, что мужнин дядя ее спрашивает. До того времени она очень редко его видала; он к ним на постоялый двор не хаживал и вообще слыл за чудака: до страсти любил табак и всё больше помалчивал.

Она вышла к нему.

— Чего тебе, Петрович, аль что случилось?

— Ничего не случилось, Авдотья Арефьевна; муж тебя спрашивает.

— Разве он вернулся?

— Вернулся.

— Да где ж он?

— А на деревне, в избе сидит.

Авдотья оробела.

— Что, Петрович,— спросила она, глядя ему прямо в глаза,— серчает он?

— Не видать, чтобы серчал.

Авдотья потупилась.

— Ну, пойдем,— промолвила она, надела большой платок, и оба отправились. Молча шли они до самой деревни. Когда же стали они приближаться к избе, Авдотью страх разобрал такой, что коленки у ней задрожали.

— Батюшка, Петрович,— проговорила она,— войди ты первый... Скажи ему, что я, мол, пришла.

Петрович вошел в избу и нашел Акима, сидящего в глубоком раздумье, на том же самом месте, на котором он его оставил.

— Что,— промолвил Аким, подняв голову,— али не пришла?

— Пришла,— возразил старик.— У ворот стоит...

— Ну, пошли ее сюда.

Старик вышел, махнул Авдотье рукой, сказал ей: «Ступай», а сам опять присел на завалинке. Авдотья с трепетом отперла дверь, переступила порог и остановилась.

Аким посмотрел на нее.

— Ну, Арефьевна,— начал он,— что мы теперь с тобою будем делать?

— Виновата,— прошептала она.

— Эх, Арефьевна, все мы грешные люди. Что тут толковать-то!

— Это он, злодей, погубил нас обоих,— заговорила Авдотья звенящим голосом, и слезы потекли по ее лицу.— Ты, Аким Семеныч, этого так не оставляй, получи с него деньги-то. Ты меня не жалей. Я под присягой готова показать, что деньги ему взаймы дала. Лизавета Прохоровна вольна была двор наш продать, он-то за что нас грабит... Получи с него деньги.

— Мне с него не приходится получать деньги,— угрюмо возразил Аким.— Мы с ним рассчитались.

Авдотья изумилась:

— Как так?

— Да так. Знаешь ли ты,— продолжал Аким, и глаза его загорелись,— знаешь ли ты, где я провел ночь? Не знаешь? У Наума в подвале, по рукам, по ногам связанный, как баран, вот где я провел ночь. Я у него двор хотел поджечь, да он меня поймал, Наум-то; ловок он больно! А сегодня меня собирался в город везти, да уж так помиловал; стало быть, мне с него денег не приходится получать. Да и как я получу с него деньги... А когда, скажет он, я у тебя занимал деньги? Что ж мне, сказать: жена их у меня под полом отрыла, да и снесла тебе? Врет, он скажет, твоя жена. Али тебе, Арефьевна, огласки мало? Молчи уж лучше, говорят тебе, молчи.

— Виновата, Семеныч, виновата,— шепнула снова перепуганная Авдотья.

— Не в том дело,— возразил Аким, помолчав немного,— а что мы будем делать с тобой? Дома у нас теперь не стало... денег тоже...

— Как-нибудь перебьемся, Аким Семеныч; Лизавету Прохоровну попросим, она нам поможет, мне Кирилловна обещала.

— Нет, Арефьевна, уж ты сама ее проси с твоей Кирилловной сообща; вы ведь одного поля ягодки. Я вот что тебе скажу: ты здесь оставайся, с богом; я здесь не останусь. Благо, у нас детей нет, а я один авось не пропаду. Одна голова не бедна.

— Что же ты, Семеныч, аль опять в извоз пойдешь?

Аким горько засмеялся.

— Хорош я извозчик, неча сказать! Вот нашла молодца. Нет, Арефьевна, ведь это дело не то, что, примерно сказать, жениться; на это дело старик не годится. Я только здесь не хочу остаться, вот что; не хочу, чтобы на меня пальцами тыкали... понимаешь? Я пойду грехи свои отмаливать, Арефьевна, вот куда я пойду.

— Какие же твои грехи, Семеныч? — робко произнесла Авдотья.

— Уж про них, жена, я сам знаю.

— Да на кого же ты меня оставишь, Семеныч? Как я без мужа жить-то буду?

— На кого я тебя оставлю? Эх, Арефьевна, как ты это говоришь, право. Очень тебе нужен такой муж, как я, да еще старый, да еще разоренный. Как же! Обходилась прежде, обойдешься и вперед. А добро, какое еще у нас осталось, возьми себе, ну его!..

— Как знаешь, Семеныч,— печально возразила Авдотья,— ты лучше это знаешь.

— То-то. Только ты не думай, чтоб я серчал на тебя, Арефьевна. Нет, чего серчать, когда уж того... Прежде надо было спохватиться. Сам я виноват — и наказан. (Аким вздохнул.) Люби кататься, люби и саночки возить. Лета мои старые, пора о душеньке своей подумать. Меня сам господь вразумил. Вишь я, старый дурак, с молодой женой хотел в свое удовольствие пожить... Нет, брат-старик, ты сперва помолись, да лбом оземь постучи, да потерпи, да попостись... А теперь ступай, мать моя. Устал я очень, сосну маленько.

И Аким протянулся, кряхтя, на лавке.

Авдотья хотела было что-то сказать, постояла, поглядела, отвернулась и ушла... Она не ожидала, что так дешево отделается.

— Что, не побил? — спросил ее Петрович, сидя, весь сгорбленный, на завалинке, когда она с ним поравнялась. Авдотья молча прошла мимо.— Вишь, не побил,— произнес про себя старик, усмехнулся, взъерошил бороду и понюхал табаку.

Аким исполнил свое намерение. Он устроил наскоро свои делишки и, несколько дней спустя после переданного нами разговора, зашел, одетый по-дорожному, проститься с своей женой, которая поселилась на время во флигельке господского дома. Прощание их продолжалось недолго... Тут же случившаяся Кирилловна присоветовала Акиму явиться к барыне; он явился к ней. Лизавета Прохоровна приняла его с некоторым смущением, но благосклонно допустила его к руке, и спросила, куда он намерен идти? Он отвечал, что пойдет сперва в Киев, а оттуда куда бог даст. Она похвалила его и отпустила. С тех пор он очень редко показывался домой, хотя никогда не забывал принести барыне просвиру с вынутым заздравным... Зато везде, куда только стекаются богомольные русские люди, можно было увидеть его исхудавшее и постаревшее, но

всё еще благообразное и стройное лицо: и у раки св. Сергия, и у Белых берегов, и в Онтиной пустыне, и в отдаленном Валааме; везде бывал он...

В нынешнем году он проходил мимо вас в рядах несметного народа, идущего крестным ходом за иконой богородицы в Коренную; на следующий год вы заставали его сидящим, с котомкой за плечами, вместе с другими странниками, на паперти Николая чудотворца во Мценске... В Москву он являлся почти каждую весну...

Из края в край скитался он своим тихим, неторопливым, но безостановочным шагом — говорят, он побывал в самом Иерусалиме... Он казался совершенно спокойным и счастливым, и много говорили о его набожности и смиренномудрии те люди, которым удавалось с ним беседовать.

А Наумово хозяйство шло между тем как нельзя лучше. Живо и толково принялся он за дело и, как говорится, круто пошел в гору. Все в околотке знали, какими средствами достал он себе постоялый двор, знали также, что Авдотья отдала ему мужнины деньги; никто не любил Наума за его холодный и резкий нрав... С укоризной рассказывали про него, будто он однажды самому Акиму, попросившему у него под окном милостыню, отвечал, что бог, мол, подаст, и ничего не вынес ему; но все соглашались, что счастливей его человека не было; хлеб у него родился лучше, чем у соседа; пчелы роились больше; куры даже чаще неслись, скот никогда не болел, лошади не хромали... Авдотья долго не могла слышать его имени (она приняла предложение Лизаветы Прохоровны и снова поступила к ней на службу в качестве главной швеи); но под конец ее отвращение несколько уменьшилось; говорят, нужда заставила ее прибегнуть к нему, и он дал ей рублей сто.... Не будем слишком строго судить ее: бедность хоть кого скрутит, а внезапный переворот в ее жизни очень ее состарил и смирил: трудно поверить, как скоро она подурнела, как опустилась и упала духом...

— Чем же всё кончилось? — спросит читатель.

А вот чем. Наум, удачно хозяйничавши лет пятнадцать, выгодно сбыл свой двор другому мещанину... Он бы никогда не расстался с своим двором, если б не

случилось следующего, по-видимому, незначительного обстоятельства: два утра сряду собака его, сидя под окнами, протяжно и жалобно выла; он во второй раз вышел на улицу, внимательно посмотрел на воющую собаку, покачал головой, отправился в город и в тот же день сошелся в цене с мещанином, который уже давно приторговывался к его двору... Через неделю он уехал куда-то далеко — из губернии вон; новый хозяин переселился на его место, и что же? В тот же самый вечер двор сгорел дотла, ни одна клеть не уцелела, и Наумов наследник остался нищим. Читатель легко себе представит, какие поднялись толки в соседстве по случаю этого пожара... Видно, он свою «задачу» с собой унес,— твердили все... О нем ходят слухи, будто он занялся хлебной торговлей и разбогател сильно. Но надолго ли? Не такие столбы валились, и злому делу рано или поздно приходит злой конец. О Лизавете Прохоровне много сказать нечего: она жива до сих пор и, как это часто бывает с людьми такого рода, ни в чем не изменилась, даже не слишком постарела, только как будто суше стала; притом скупость в ней чрезвычайно усилилась, хотя трудно понять, для кого это она всё бережет, не имея детей и не будучи ни к кому привязана. В разговоре она часто упоминает об Акиме и уверяет, что с тех пор, как узнала все его качества, она русского мужика очень стала уважать. Кирилловна от нее откупилась за порядочные деньги и вышла замуж, по любви, за какого-то молодого, белокурого официанта, от которого терпит муку горькую; Авдотья живет по-прежнему на женской половине у Лизаветы Прохоровны, но опустилась еще несколькими ступенями ниже, одевается очень бедно, почти грязно, и от столичных замашек модной горничной, от привычек зажиточной дворничихи не осталось уже в ней и следа... Ее никто не замечает, и она сама рада, что ее не замечают; старик Петрович умер, а Аким всё еще странствует — и бог один знает, сколько ему еще придется странствовать!

ДВА ПРИЯТЕЛЯ

Весной 184* года Борис Андреич Вязовнин, молодой человек лет двадцати шести, приехал в свое родовое поместье, лежащее в одной из губерний средней полосы России. Он только что вышел в отставку — «по домашним обстоятельствам» — и намеревался заняться хозяйством. Мысль благая, конечно! Но возымел ее Борис Андреич, как оно, впрочем, большею частию бывает,— против воли. Доходы его уменьшались с каждым годом, долги увеличивались: он убедился в невозможности продолжать службу, жить в столице — словом, жить, как жил до тех пор, и решился, скрепя сердце, посвятить несколько лет на исправление тех «домашних обстоятельств», по милости которых он внезапно очутился в деревенской глуши.

Вязовнин нашел свое имение расстроенным, усадьбу запущенной, дом чуть не в развалинах; сменил старосту, уменьшил оклады дворовых; очистил себе две-три комнатки и велел положить новые тесинки там, где протекала крыша; впрочем не предпринял никаких резких мер и не затеял никаких усовершенствований вследствие той, по-видимому, простой мысли, что должно по крайней мере узнать сперва то, что желаешь усовершенствовать... Вот он и принялся узнавать хозяйство, начал, как говорится, входить в сущность дела. Должно признаться, что входил он в сущность дела без особенного рвения и не торопясь. С непривычки он скучал в деревне сильно и часто не мог придумать, куда и на что употребить целый длинный день. Соседей у него было довольно много, но он не знался с ними,— не потому, чтобы чуждался их, а так как-то, не приходилось ему с ними сталкиваться; наконец, уже осенью, довелось ему познакомиться с одним из самых близких ему соседей. Его звали Петром Васильичем Крупицыным. Он когда-то служил в кавалерии и вышел в отстав-

ку поручиком. Между его мужиками и вязовнинскими с незапамятных времен шел спор о двух с половиною десятинах сенокосной земли. Дело нередко доходило до драки; копны сена таинственно переезжали с места на место; происходили разные неприятности, и, вероятно, много еще лет продолжался бы этот спор, если б Крупицын, узнав стороной о миролюбивых свойствах Бориса Андреича, не поехал к нему для личного объяснения. Объяснение это имело последствия очень приятные: во-первых, дело прекратилось тотчас же и навсегда, к обоюдному удовольствию владельцев; а во-вторых, и сами они друг другу понравились, стали часто видеться, а к зиме сошлись уже так, что почти не расставались.

И между тем общего между ними было немного. Вязовнин, как человек хотя сам не богатый, но происходивший от богатых родителей, получил хорошее воспитание, учился в университете, знал разные языки, любил заниматься чтением книг и вообще мог считаться человеком образованным. Крупицын, напротив, говорил с грехом пополам по-французски, без особенной нужды книги в руки не брал и скорее принадлежал к числу людей необразованных. Наружностью приятели тоже мало походили друг на друга: Вязовнин был довольно высокого роста, худ, белокур и смахивал на англичанина; держал свою особу, особенно руки, в большой чистоте, одевался изящно и щеголял галстухами... столичные привычки! Крупицын, напротив, был роста небольшого, сутуловат, смугл, черноволос, и лето и зиму ходил в каком-то пальто-саке, с оттопыренными карманами, из сукна бронзового цвета. «Мне этот цвет за то нравится,— говаривал Петр Васильич,— что он не марок». Цвет сукна действительно не был марок, но само сукно порядком позапачкалось. Вязовнин любил хорошо покушать и охотно говорил о том, как приятно хорошо кушать и что значит иметь вкус; Крупицын ел всё, что ни подавали ему, лишь бы только было над чем потрудиться. Попадались ли ему щи с кашей — он с удовольствием хлебал щи и заедал их кашей; представлялся ли ему немецкий жидкий суп — он с той же готовностью налегал на суп, а случалась тут каша — он и кашу туда же валил в тарелку — и ничего. Квас любил он, по собственному выражению,

как отца родного, а вина французские, особенно красные, терпеть не мог и называл кислятиной. Вообще Крупицын был очень далек от брезгливости, тогда как Вязовнин менял в день два носовых платка. Словом, приятели, как мы уже сказали выше, не походили друг на друга. Одно в них было общее: оба они были, что называется, добрые малые, простые ребята. Крупицын таким родился, а Вязовнин стал таким. Кроме того, они оба еще отличались тем, что ни тот, ни другой ничего особенно не любил, то есть не имел ни к чему особенной страсти или привязанности. Крупицын шестью или осьмью годами был старше Вязовнина.

Дни их проходили довольно однообразно. Обыкновенно утром, однако не слишком рано, часов в десять, Борис Андреич еще сидел возле окна, в красивом шлафроке нараспашку, причесанный, вымытый и в белой как снег рубашке, с книжкой и чашкой чаю; дверь отворялась, и входил Петр Васильич с обычным своим небрежным видом. Деревенька его находилась всего в полуверсте от Вязовны (так называлось имение Бориса Андреича). Притом Петр Васильич очень часто оставался на ночь у Бориса Андреича. «А, здравствуйте! — говорили они оба в одно время.— Как почивали?» И тут же Федюшка (мальчик лет пятнадцати, одетый казачком, у которого даже волосы, стоявшие дыбом, как у турухтана весной, на затылке, имели вид заспанный) приносил Петру Васильичу его шлафрок из бухарской материи, и Петр Васильич, предварительно крякнув, облекался в свой шлафрок и принимался за чай и за трубку. Тут начинались разговоры — разговоры неторопливые, с промежутками и роздыхами: говорили о погоде, о вчерашнем дне, о полевых работах и хлебных ценах; говорили также о близлежащих помещиках и помещицах. В первые дни своего знакомства с Борисом Андреичем Петр Васильич почитал за долг и даже радовался случаю расспрашивать соседа о столичной жизни, о науке и образованности вообще — вообще о возвышенных предметах; ответы Бориса Андреича занимали, часто удивляли его и возбуждали его внимание, но в то же время причиняли ему некоторую усталость, так что вскорости все подобные разговоры прекратились; да и сам Борис Андреич, с своей стороны, не обнаруживал излишнего

желания возобновлять их. Случалось впоследствии — и то изредка,— что Петр Васильич спросит вдруг Бориса Андреича, например, о том, что, дескать, за вещь электрический телеграф, и, выслушав не совсем ясное толкование Бориса Андреича, помолчит, скажет: «Да, это удивительно»,— и уже долго потом не любопытствует ни о каком ученом предмете. Большею частью разговоры между ними происходили вроде следующего. Петр Васильич, например, наберется дыму из трубки и, выпуская его через ноздри, спросит:

— А что это у вас за новая девушка? Я на заднем крыльце видел, Борис Андреич.

Борис Андреич в свою очередь поднесет сигарку ко рту, пыхнет раза два и, отхлебнув глоток холодного чаю со сливками, промолвит:

— Какая новая девушка?

Петр Васильич нагнется несколько вбок и, глянув в окно на двор, где собака только что укусила босого мальчика за икру, возразит:

— Белокурая такая... недурная.

— А! — воскликнет немного погодя Борис Андреич,— это у меня новая прачка.

— Откуда? — спросит Петр Васильич, словно удивившись.

— Из Москвы. В ученье была.

И оба помолчат.

— А сколько у вас всех прачек, Борис Андреич? — спросит опять Петр Васильич, внимательно глядя на вспыхивающий с сухим треском табак под нагоревшею золою в трубке.

— Три,— отвечает Борис Андреич.

— Три! У меня только одна. И одной-то делать почти нечего. Ведь у меня, вы сами знаете, какое мытье!

— Гм! — отвечает Борис Андреич.

И разговор прекращается на время.

В таких занятиях проходило утро и наступало время завтрака. Петр Васильич особенно любил завтрак и утверждал, что двенадцатый час — это есть самое то время, когда хочется человеку есть; и действительно: он в этот час ел так весело, с таким здоровым и приятным аппетитом, что, глядя на него, даже немец бы порадовался: так славно завтракал Петр Васильич! Борис Андреич кушал гораздо меньше: с него доста-

точно было куриной котлетки или двух яичек всмятку с маслом и какой-нибудь английской приправы в хитро устроенном и патентованном сосуде, за которую платил он большие деньги и которую втайне находил отвратительною, хотя и уверял, что без нее ничего в рот взять не может. После завтрака и до обеда оба приятеля, если погода была хорошая, ходили по хозяйству или так, просто гуляли, смотрели, как объезжались молодые лошади, и т. д. Иногда добиралися они до деревни Петра Васильича и изредка заходили в его домик.

Домик этот, небольшой и ветхий, скорее походил на простую дворовую лачужку, чем на жилище помещика. По соломенной крыше, кругом пробуравленной воробьиными и галочными гнездами, рос зеленый мох; из двух осиновых срубов, некогда сплоченных и прилаженных, один откинулся назад, другой покачнулся вбок и врос в землю; словом, плох был дом Петра Васильича снаружи, плох изнутри. Но Петр Васильич не унывал: будучи человеком холостым и вообще невзыскательным, он мало радел об удобствах жизни и довольствовался уже тем, что имел местечко, где мог, по нужде, укрыться от ненастья и холода. Хозяйством его заведовала ключница Македония, женщина средних лет, очень усердная и даже честная, но с несчастными руками; ничего у ней не спорилось: посуда билась, белье рвалось, кушанье не доваривалось или пригорало. Петр Васильич называл ее Калигулой.

Имея врожденную склонность к хлебосольству, Петр Васильич любил видеть у себя гостей и угощать их, несмотря на скудность средств своих. Особенно старался и хлопотал он, когда посещал его Борис Андреич; но по милости Македонии, которая, впрочем, чуть не летела с ног долой на каждом шагу от усердия, угощения бедного Петра Васильича выходили всегда очень неудачны и большей частью ограничивались куском зачерствелого балыка и рюмкой водки, о которой он отзывался совершенно справедливо, говоря, что она отлична *против* желудка. После прогулки оба приятеля возвращались в дом Бориса Андреича и обедали не спеша. Покушавши так, как будто завтрака и не было, Петр Васильич отправлялся куда-нибудь в уединенный угол и спал часика два-три; Борис Андреич

в это время читал заграничные журналы. Вечером приятели опять сходились: такая уже между ними завелась дружба! Иногда они садились играть в преферанс, вдвоем, иногда просто разговаривали таким же образом, как поутру; случалось, что Петр Васильич брал со стены гитару и пел довольно приятным тенором разные романсы. Петр Васильич очень любил музыку,— гораздо более, чем Борис Андреич, который без восхищения не мог произнести имени Бетховена и всё собирался выписать из Москвы фортепьяно. В минуту грусти или уныния Петр Васильич имел привычку петь романс, относившийся ко времени его службы в полку... С особенным чувством и несколько в нос произносил он следующие стихи:

Кухню нам француз не правит,
А денщик варит обед...
Славный Роде не играет,
Каталани не поет...
Трубач зорю отхватает,
Вахмистр с рапортом придет.

Борис Андреич изредка ему подтягивал, но голос у него был неприятный и неверный. Часу в десятом, а иногда и раньше, приятели расходились... и на другой день снова начиналось то же.

Вот однажды, сидя, по обыкновению, несколько вкось и напротив Бориса Андреича, Петр Васильич поглядел на него довольно пристально и промолвил задумчивым голосом:

— Одному я удивляюсь, Борис Андреич...

— Чему это? — спросил тот.

— А вот чему. Вы человек молодой, умный, образованный: что вам за охота жить в деревне?

Борис Андреич посмотрел с удивлением на своего соседа.

— Вы ведь знаете, Петр Васильич,— проговорил он наконец,— что если б не мои обстоятельства... Обстоятельства меня к этому принуждают, Петр Васильич.

— Обстоятельства? Обстоятельства ваши пока еще ничего... С вашим именьем можно жить. Определитесь на службу.

И, помолчав немного, Петр Васильич прибавил:

— Я на вашем месте поступил бы в уланы.
— В уланы? Почему же именно в уланы?
— Так, мне кажется, вам приличнее быть в уланах.
— Но позвольте; вы сами служили в гусарах?
— Я? Конечно, в гусарах,— с живостью заговорил Петр Васильич,— и в каком полку! Такого другого полка в целом свете не найдешь! Золотой был полк! Начальники, товарищи — что за люди были! Но вам... я не знаю... вам, по-моему, надо в уланы. Вы белокуры, талия у вас тоненькая: всё это идет.
— Но позвольте, Петр Васильич, вы забываете, что, в силу военных узаконений, я должен буду начать с юнкерского чина. В мои годы это несколько затруднительно. Кажется, даже оно и запрещено.
— И то правда,— заметил Петр Васильич и потупился.— Ну, в таком случае женитесь,— произнес он вдруг, подняв голову.
— Какой у вас, однако, сегодня странный оборот мыслей, Петр Васильич! — воскликнул Борис Андреич.
— Почему же странный? Что, в самом деле, жить так-то? Чего дождетесь? Только время упустите. Желаю я знать, какая вам оттого будет польза, что вы не женитесь?
— Да не в пользе дело,— начал было Борис Андреич.
— Нет, позвольте,— перебил его Петр Васильич, неожиданно войдя в азарт.— Это мне удивительно, отчего в нынешнее время молодые люди так боятся жениться! Я этого просто понять не могу. Вы, Борис Андреич, не смотрите на меня, что я не женат. Я, может быть, и хотел и предлагал, да мне вот что показали.
И тут Петр Васильич поднял кверху указательный палец правой руки, обратив его наружной стороной к Борису Андреичу.
— А с вашим состоянием как не жениться?
Борис Андреич внимательно глядел на Петра Васильича.
— Весело, что ли, холостым-то жить? — продолжал Петр Васильич.— Эка невидаль! вот радость-то!.. Право, меня нынешние молодые люди удивляют.
И Петр Васильич с досадой выколотил трубку о ручку кресел и сильно дунул в чубук.
— Да кто вам сказал, Петр Васильич, что я не

намерен жениться? — медленно проговорил Борис Андреич.

Петр Васильич как полез пальцами в свой вышитый блестками бархатный, массакового цвета кисет с табаком, так и остался недвижим. Слова Бориса Андреича его изумили.

— Да,— продолжал Борис Андреич,— я готов жениться. Сыщите мне невесту, и я женюсь.

— Право?

— Право.

— Нет, ей-богу?

— Какой вы, Петр Васильич; ей-богу, я не шучу.

Петр Васильич набил себе трубку.

— Ну смотрите ж, Борис Андреич. Невеста вам будет.

— Хорошо,— возразил Борис Андреич,— но послушайте, в сущности для чего вы хотите женить меня?

— А для того, что вы, как посмотрю на вас, не имеете способности этак ничего не делать.

Борис Андреич улыбнулся.

— Мне, напротив, до сих пор казалось, что я на это мастер.

— Вы меня не так поняли,— промолвил Петр Васильич и переменил разговор.

Дня два спустя Петр Васильич явился к своему соседу не в обыкновенном своем пальто-саке, а в сюртуке цвета воронова крыла, с высокой тальею, крошечными пуговицами и длинными рукавами. Усы Петра Васильича казались почти черными от фабры, а волосы, круто завитые спереди в виде двух продолговатых колбасок, ярко лоснились помадой. Большой бархатный галстух с атласным бантом туго сжимал шею Петра Васильича и придавал торжественную неподвижность и праздничную осанку всей верхней части его туловища.

— Что значит этот туалет? — спросил Борис Андреич.

— А то значит этот туалет,— ответил Петр Васильич, опускаясь на кресла не с обычной своей развязностью,— что велите заложить коляску. Мы едем.

— Куда это?

— К невесте.

— К какой невесте?

— А вы уже забыли, о чем мы четвертого дня разговаривали с вами?

Борис Андреич засмеялся, а сам смутился в душе.

— Помилуйте, Петр Васильич, да ведь это была одна шутка.

— Шутка? Как же вы божились тогда, что не шутите? Нет, уж извините, Борис Андреич, а вы должны сдержать свое слово. Я уж принял надлежащие меры.

Борис Андреич еще более смутился.

— Какие, однако, то есть, меры? — спросил он.

— О, не беспокойтесь... Что вы думаете! Я только предварил одну нашу соседку, прелюбезную особу, что мы с вами сегодня намерены посетить ее.

— Кто эта соседка?

— Узнаете — погодите. Вот вы сперва оденьтесь да велите лошадей заложить.

Борис Андреич с нерешительностью поглядел кругом.

— Право, Петр Васильич, что вам за охота... посмотрите, какая погода.

— Ничего погода: она всегда такая бывает.

— И далеко ехать?

— Верст пятнадцать.

Борис Андреич помолчал.

— Да хоть позавтракаемте сперва!

— Позавтракать — ничего, можно. Знаете что, Борис Андреич, подите оденьтесь теперь, а я без вас распоряжусь: водочки, икры кусок — это недолго, а у вдовушки нас покормят, об этом беспокоиться нечего.

— Разве она вдова? — спросил, обернувшись, Борис Андреич, который уже подходил к дверям кабинета.

Петр Васильич закачал головой.

— Вот увидите, увидите.

Борис Андреич ушел и запер за собою дверь, а Петр Васильич, оставшись один, распорядился и насчет коляски и насчет завтрака.

Борис Андреич одевался довольно долго. Петр Васильич выпивал уже, слегка наморщившись и приняв грустный вид, вторую рюмку водки, когда Борис Андреич предстал на пороге кабинета. Он позаботился

о своем туалете. На нем был щегольски сшитый просторный черный сюртук, приятно отделявшийся своей матовой массой от томного блеска светло-серых брюк, черный низенький галстух и красивый темно-синий жилет; золотая цепочка, прицепленная крючком к последней петельке, скромно терялась в боковом кармане; тонкие сапоги благородно скрипели, и вместе с появлением Бориса Андреича разлился в воздухе запах Ess'bouquet'а в соединении с запахом свежего белья. Петр Васильич только и мог произнести, что «а!», и тотчас взялся за шапку.

Борис Андреич натянул на левую руку лайковую серую перчатку, предварительно подышав в нее; потом тою же рукою нервически налил себе четверть рюмки водки и выпил; наконец, взял шляпу и вышел вместе с Петром Васильичем в переднюю.

— Я это только для вас делаю,— сказал Борис Андреич, садясь в коляску.

— Положим, что для меня,— сказал Петр Васильич, на которого, видимо, подействовал изящный вид Бориса Андреича,— а может быть, вы сами будете меня благодарить.

И он сказал кучеру, как и куда ехать. Коляска покатилась.

— Мы едем к Софье Кирилловне Заднепровской,— промолвил Петр Васильич после довольно продолжительного промежутка, в течение которого оба приятеля сидели неподвижно, словно каменные.— Слыхали вы про нее?

— Кажется, слыхал,— отвечал Борис Андреич.— Что же, вы ее-то мне в невесты прочите?

— А почему же бы и нет? Она женщина отличного ума, с состояньем, с манерами, можно сказать, столичными. Впрочем, поглядите... ведь это вас ни к чему не обязывает.

— Еще бы! — возразил Борис Андреич.— А сколько ей лет?

— Лет двадцать пять или двадцать семь — никак не более. В самом, как говорится, соку!

До имения госпожи Заднепровской было не пятнадцать, а добрых двадцать пять верст, так что Борис Андреич порядком продрог под конец и всё прятал свой покрасневший носик в бобровый воротник шинели.

Петр Васильич не боялся холода вообще и, в особенности, когда был одет по-праздничному. Тогда он скорее подвергался испарине. Усадьба госпожи Заднепровской состояла из новенького белого домика с зеленой крышей, в виде дачи, в городском вкусе, с небольшим садиком и двором. Под Москвою часто можно встретить подобные дачи; в провинции они попадаются реже. Видно было, что госпожа Заднепровская поселилась тут недавно. Приятели вышли из коляски. На крыльце встретил их лакей в гороховых панталонах и сером круглом фраке с гербовыми пуговицами; в передней, довольно опрятной, но с коником, встретил их другой такой же лакей. Петр Васильич велел доложить барыне о себе и о Борисе Андреиче. Лакей не пошел к барыне, а отвечал, что приказано просить.

Гости отправились и через столовую, в которой оглушительно трещала канарейка, вошли в гостиную, с модной мебелью из русского магазина, очень ухищренной и изогнутой, под предлогом доставления удобства сидящим, а в сущности очень неудобной. Не прошло двух минут, как послышался в соседней комнате шелест шелкового платья; портьерка приподнялась, и проворными шагами вошла в гостиную хозяйка. Петр Васильич расшаркался и подвел к ней Бориса Андреича.

— Очень рада с вами познакомиться и давно этого желала,— развязно проговорила хозяйка, быстро окинув его взором.— Я очень благодарна Петру Васильичу за доставление такого приятного знакомства. Прошу садиться.

И хозяйка села, прошумев платьем, на низкий диванчик, прислонилась к спинке, протянула ноги, обутые в очень миленькие ботинки, и скрестила руки. Платье на ней было зеленое, с беловатыми переливами, гляссе, с воланами в несколько рядов.

Борис Андреич сел на кресла против нее. Петр Васильич — немного поодаль. Разговор начался. Борис Андреич внимательно рассматривал Софью Кирилловну. Это была женщина стройная, высокая, с тонкой талией, смуглая и довольно красивая. Выражение ее лица и особенно глаз, больших и блестящих, с приподнятыми углами, как у китайцев, являло странную смесь смелости и робости и никак не могло назваться естественным. Она то щурила свои глаза, то внезапно

их раскрывала; а на губах у ней постоянно играла улыбка, желавшая казаться равнодушной. Все движения Софьи Кирилловны были очень свободны, почти резки. Впрочем, наружность ее понравилась Борису Андреичу; только неприятно подействовал на него косой пробор волос, придававший ее чертам лихой и мальчишеский вид; сверх того, она, по его мнению, слишком чисто и правильно выражалась по-русски... Борис Андреич разделял мнение Пушкина, что —

> Как уст румяных без улыбки,
> Без грамматической ошибки

нельзя любить русской речи. Словом, Софья Кирилловна принадлежала к числу тех женщин, которых любезники величают ловкими дамами, мужья — боевыми особами, а старые холостяки — разбитными бабенками.

Сперва разговор зашел о том, что очень скучно жить в деревне.

— Здесь просто нет живой души, просто не с кем словом перекинуться,— говорила Софья Кирилловна, особенно отчетливо произнося букву *с*.— Я не могу понять, что за люди здесь живут. А те,— прибавила она с ужимкой,— с которыми было бы приятно познакомиться,— те не ездят, оставляют нас, бедных, в нашем невеселом одиночестве.

Борис Андреич слегка наклонился вперед и пробормотал какое-то неловкое извинение, а Петр Васильич только глянул на него, как бы желая сказать: «Ну, что я вам говорил? Кажется, эта за словом в карман не полезет».

— Вы курите? — спросила Софья Кирилловна.

— Курю... но...

— Сделайте одолжение... я сама курю.

И, сказав эти слова, вдова взяла со столика довольно большую серебряную сигарочницу, достала из нее папироску и предложила гостям. Оба гостя взяли по папироске. Софья Кирилловна позвонила и велела вошедшему мальчику, с красным жилетом во всю грудь, подать огня. Мальчик принес восковую свечу на хрустальном подносе. Папироски задымились.

— Ведь вот, например, вы не поверите,— продолжала вдова, слегка закинув голову и пуская дым

тонкой струею кверху,— здесь есть люди, которые находят, что дамам не следует курить. А уж верхом ездить — сохрани боже! просто каменьями побьют.— Да,— прибавила она после небольшого молчания,— всё, что выходит из-под общего уровня, всё, что нарушает законы какого-то выдуманного приличия, подвергается здесь строжайшему осуждению.

— Особенно барыни на этот счет сердиты,— заметил Петр Васильич.

— Да,— возразила вдова,— беда попасть к ним на зубок! Впрочем, я с ними не знаюсь вовсе; сплетни их не проникают в мое пустынное убежище.

— И вам не скучно? — спросил ее Борис Андреич.

— Скучно? Нет. Я читаю... А когда книги мне надоедают, мечтаю, гадаю о будущем, задаю вопросы своей судьбе.

— Будто вы гадаете? — спросил Петр Васильич.

Вдова снисходительно улыбнулась.

— Почему же и не гадать? Я уже довольно стара для этого.

— О, что вы-с! — возразил Петр Васильич.

Софья Кирилловна, прищурившись, посмотрела на него.

— Впрочем, бросимте этот разговор,— промолвила она и с живостью обратилась к Борису Андреичу: — Послушайте, мсьё Вязовнин, я уверена, что вы интересуетесь русской литературой?

— Да... конечно, я...

Вязовнин любил читать, но собственно по-русски читал неохотно и мало. Особенно новейшая словесность была ему незнакома: он остановился на Пушкине.

— Скажите, пожалуйста, отчего Марлинский в последнее время впал в такую немилость? Это, по-моему, в высшей степени несправедливо. Вы какого о нем мнения?

— Марлинский — писатель с достоинствами, конечно,— возразил Борис Андреич.

— Он поэт; он уносит воображение в мир... в какой-то очаровательный, чудесный мир; а в нынешнее время все стали описывать ежедневное. Ну, помилуйте, что хорошего в этой ежедневной жизни, здесь, на земле...

И Софья Кирилловна провела рукой вокруг себя.

Борис Андреич значительно посмотрел на Софью Кирилловну.

— Я не согласен с вами. Я нахожу много хорошего и здесь,— сказал он, с особенным ударением на последнем слове.

Софья Кирилловна внезапно засмеялась каким-то резким смехом, а Петр Васильич так же внезапно поднял голову, подумал и опять принялся курить. Разговор продолжался в том же роде, как начался, до самого обеда, беспрестанно переходя от одного предмета к другому, чего не случается, когда разговор становится действительно занимательным. Между прочим, речь зашла и о браке, о его выгодах и невыгодах, и о положении женщин вообще. Софья Кирилловна сильно восставала против брака, пришла, наконец, в волнение и, почувствовав жар, выражалась очень красноречиво, хотя собеседники ее ей почти не противоречили: она недаром любила Марлинского. Она также умела кстати прибегнуть к украшениям новейшего слога. Слова: артистический, художественность, обусловливать — так и сыпались из ее уст.

— Что может быть для женщины дороже свободы — свободы мыслей, чувств, поступков! — воскликнула она, наконец.

— Да позвольте,— перебил ее Петр Васильич, лицо которого понемногу начинало принимать выражение недовольное,— на что женщине свобода? что она с нею сделает?

— Как что? А мужчине она, по-вашему, нужна? То-то и есть, вы, господа...

— Да и мужчине она не нужна,— перебил ее опять Петр Васильич.

— Как не нужна?

— Да так же, не нужна. На что она, эта хваленая свобода, человеку? Человек свободный — это дело известное — либо скучает, либо дурачится.

— Стало быть,— заметила Софья Кирилловна с иронической усмешкой,— вы скучаете, потому что, зная вас за человека благоразумного, я не могу предполагать, чтобы вы дурачились, как вы говорите.

— Случается и то и другое, — спокойно промолвил Петр Васильич.

— Вот это мило! Впрочем, я должна быть благо-

дарна вашей скуке за то, что имею удовольствие видеть вас сегодня у себя...

И, довольная ловким оборотом своей фразы, хозяйка слегка закинулась назад и произнесла вполголоса:

— Ваш приятель, я вижу, любит парадоксы, monsieur Вязовнин.

— Я этого не заметил,— возразил Борис Андреич.

— Что я люблю? — спросил Петр Андреич.

— Парадоксы.

Петр Васильич посмотрел в глаза Софье Кирилловне и ничего не ответил ей, а только подумал про себя: «Я так знаю, что ты любишь...»

Мальчик с красным жилетом вошел и доложил, что обед готов.

— Милости просим,— сказала хозяйка, поднимаясь с дивана.

И все перешли в столовую.

Обед не понравился гостям. Петр Васильич встал из-за стола голодный, хотя блюд было много; а Борис Андреич, как гастроном, остался недоволен, хоть кушанья приносились под жестяными колпаками и тарелки подавались гретые. Вина тоже оказались плохими, несмотря на великолепные, золотом и серебром украшенные ярлыки на бутылках. Софья Кирилловна не переставала разговаривать — только по временам бросала выразительные взоры на подававших людей, и винцо она попивала порядком, причем замечала, что в Англии все дамы употребляют вино, а здесь и это считается неприличным. После обеда хозяйка пригласила Бориса Андреича и Петра Васильича обратно в гостиную и спросила у них, что они предпочитают — кофе или желтый чай. Борис Андреич пожелал чаю и, выпив свою чашку, внутренно сожалел о том, что не попросил кофе; а Петр Васильич пожелал кофе и, выпив свою чашку, спросил чаю, отведал и поставил чашку обратно на поднос. Хозяйка уселась, закурила папироску и, по-видимому, не прочь была затеять самую оживленную беседу: глаза у ней разгорелись и смуглые щеки покраснели. Но гости отвечали вяло на ее бойкие речи, занимались больше куреньем и, судя по взорам их, внезапно устремленным в углы комнаты, думали об отъезде. Впрочем, Борис Андреич,

вероятно, согласился бы остаться до вечера: он уже вступил было в прение с Софьей Кирилловной по поводу кокетливого ее вопроса: не удивляется ли он тому, что она живет одна, без компаньонки? Но Петр Васильич явно торопился домой. Он встал, вышел в переднюю и приказал заложить лошадей. Когда же, наконец, оба приятеля стали прощаться, а хозяйка начала их удерживать и любезно выговаривать им, что они так мало посидели у ней, то Борис Андреич нерешительным наклонением своего стана и осклабленным выражением лица показывал по крайней мере, что упреки ее на него действуют; но Петр Васильич, напротив, то и дело бормотал: «Никак нельзя-с, пора ехать-с, дела-с, теперь месячно» — и упорно пятился назад, к двери. Софья Кирилловна взяла с них, однако, слово, что они на днях опять посетят ее, и сама протянула им руку для английского Shakehands[1]. Борис Андреич один воспользовался ее предложением и довольно-таки крепко пожал ее пальцы. Она прищурилась и улыбнулась. В это мгновенье Петр Васильич уже надевал в передней шинель в рукава.

Коляска не успела еще выехать из деревни, как он первый нарушил молчанье, воскликнув:

— Не то, не то, нет, не годится, не то!

— Что вы хотите сказать? — спросил его Борис Андреич.

— Не то, не то,— повторял Петр Васильич, глядя в сторону и слегка отвернувшись.

— Если вы это говорите про Софью Кирилловну, то я с вами не согласен: она очень милая дама,— с претензиями, но милая.

— Еще бы! Конечно, если б только для того, чтобы, например... Но ведь я с какою целью желал вас с нею познакомить?

Борис Андреич не отвечал.

— Уж я вам говорю, не то. Сам вижу. Это мне нравится — говорить о себе: «Я эпикурейка». Да позвольте: вот у меня на правой стороне двух зубов недостает— разве я говорю об этом? И без моих слов все увидят. И притом, какая она хозяйка? Чуть с голоду не уморила. Нет, по-моему, будь развязная,

---

[1] рукопожатия *(англ.)*.

будь начитанная, коли уж так тебя повернуло, будь с бонтоном, но будь хозяйка прежде всего. Нет, не то, не то, не того вам надо. Этими красными жилетами да колпаками на блюдах вас не удивишь.

— Да разве вам нужно, чтоб меня удивили? — спросил Борис Андреич.

— Уж я знаю, что вам нужно,— теперь я знаю.

— Уверяю вас, что я благодарен вам за знакомство с Софьей Кирилловной.

— Тем лучше; но она, я повторяю, не то.

Приятели поздно вернулись домой. Уходя от Бориса Андреича, Петр Васильич взял его за руку и промолвил:

— А я все-таки от вас не отстану, слова я вашего вам не возвращаю.

— Помилуйте, я к вашим услугам,— возразил Борис Андреич.

— Ну и прекрасно!

И Петр Васильич удалился.

Целая неделя прошла опять обыкновенным порядком, с тою, однако, особенностью, что Петр Васильич отлучался куда-то на целый день. Наконец, в одно утро явился он, опять одетый по-праздничному, и опять предложил Борису Андреичу съездить с ним в гости. Борис Андреич, который, как видно, ожидал этого приглашения с некоторым нетерпением, беспрекословно повиновался.

— Куда вы теперь меня везете? — спросил он Петра Васильича, сидя с ним рядом уже в санях.

Со времени их поездки к Софье Кирилловне зима успела стать.

— Я везу вас теперь, Борис Андреич,— отвечал Петр Васильич с расстановкой,— в один очень почтенный дом — к Тиходуевым. Это препочтенное семейство. Старик служил полковником и прекрасный человек. Жена его тоже прекрасная дама. У них две дочери, чрезвычайно любезные особы, воспитаны отлично, и состояние есть. Не знаю, какая вам больше понравится: одна этак будет поживее, другая — потише; другая-то, признаться, уже слишком робка. Но обе могут за себя постоять. Вот вы увидите.

— Хорошо, увижу,— возразил Борис Андреич и

подумал про себя: «Словно семейство Лариных из „Онегина“».

И, по милости ли этого воспоминания, по другой ли какой причине, черты его лица приняли на некоторое время вид разочарованный и скучающий.

— Как зовут отца? — спросил он небрежно.

— Его зовут Калимон Иваныч,— ответил Петр Васильич.

— Калимон! что за имя!.. А мать?

— А мать зовут Пелагеей Ивановной.

— А дочерей как зовут?

— Одну тоже Пелагеей, а другую Эмеренцией.

— Эмеренцией? Я такого имени отроду не слыхал... и еще Калимоновной.

— Да, имя точно немножко странное... Но какая зато девица! просто, можно сказать, вся составлена из какого-то добродетельного огня!

— Петр Васильич, помилуйте! как вы поэтически выражаетесь! А какая из них Эмеренция — та, что потише?

— Нет, другая... Да вот вы сами увидите.

— Эмеренция Калимоновна! — воскликнул еще раз Вязовнин.

— Мать зовет ее Emérance,— вполголоса заметил Петр Васильич.

— А мужа своего — Calimon?

— Этого не слыхал. Да вот погодите.

— Подожду.

До Тиходуевых было тоже верст около двадцати пяти, как до Софьи Кирилловны; но старинная усадьба их нисколько не походила на щегольской домик развязной вдовы. Это было неуклюжее строение, просторное и пространное, какая-то масса темного тесу, с темными стеклами в окнах. По бокам стояли в два ряда высокие березы; из-за крыши виднелись бурые вершины огромных лип — весь дом словно оброс кругом; летом растительность эта, вероятно, оживляла вид усадьбы, зимой она придавала ей еще больше уныния. Впечатление, производимое внутренностью дома, тоже не могло назваться веселым: всё в нем было мрачно и тускло, всё казалось старее, чем оно было в самом деле. Приятели велели доложить о себе; их провели в гостиную. Хозяева встали им навстречу, но долгое время могли

приветствовать их только знаками и телодвижениями, на которые гости, с своей стороны, отвечали одними улыбками и поклонами: такой ужасный лай подняли четыре белые шавки, соскочившие при появлении чужих лиц с шитых подушек, на которых лежали. Кое-как, хлопаньем по воздуху носовыми платками и другими средствами, успокоили разъярившихся собачонок, а одну из них, самую старую и самую злую, вошедшая девка принуждена была вытащить из-под скамейки и унести в спальню, причем потерпела укушение в правую руку.

Петр Васильич воспользовался восстановившеюся тишиной и представил Бориса Андреича хозяевам. Хозяева объявили в один голос, что очень рады новому знакомству; потом Калимон Иваныч представил Борису Андреичу своих дочерей, называя их Поленькой и Эменькой. В гостиной находились еще две женские личности, уже немолодые: одна — в чепце, другая — в темном платочке; но Калимон Иваныч не почел нужным познакомить с ними Бориса Андреича.

Калимон Иваныч был человек лет пятидесяти пяти, высокий, плотный, седой; лицо его не выражало ничего особенного: черты тяжелые, простые, с отпечатком равнодушия, доброты и лени. Жена его, маленькая, худая, с изношенным личиком, с накладкой красноватых волос под высоким чепцом, казалась в вечной тревоге; в ней замечались следы давно прошедшего жеманства. Из дочерей одна, Пелагея, черноволосая и смуглая, глядела исподлобья и дичилась; другая, напротив, Эмеренция, белокурая, полная, с круглыми красными щеками, с маленьким, съеженным ротиком, вздернутым носиком и сладкими глазками, так и выдавалась вперед; видно было, что обязанность занимать гостей лежала на ее ответственности и нисколько ее не тяготила. На обеих сестрах были белые платья, со вздымавшимися от малейшего движения голубыми лентами. Голубое шло к Эмеренции, но не шло к Поленьке... да вряд что-нибудь могло идти к ней, хотя ее нельзя было назвать некрасивой. Гости уселись; хозяева предложили им обычные вопросы, произносимые с тем приторным и натянутым выражением лица, которое является у самых порядочных людей в первые мгновения разговора с новым знакомым; гости возражали таким

же образом. Всё это производило довольно тягостное впечатление. Калимон Иваныч, не будучи очень находчив от природы, спросил Бориса Андреича, «давно ли он поселился в наших краях», а Борис Андреич только что успел ответить Пелагее Ивановне на этот же самый вопрос. Пелагея Ивановна очень нежным голосом — голосом, который всегда употребляется при гостях в день их первого посещения,— упрекнула своего мужа в рассеянности; Калимон Иваныч немного смутился и громко высморкался в клетчатый носовой платок. Звук этот взволновал одну шавку, и она залаяла; но Эмеренция тотчас нашлась и, приласкав ее, успокоила. Та же самая девица сумела оказать другую услугу своим несколько уже потерявшимся родителям: она оживила разговор, скромно, но с твердостью подсев к Борису Андреичу и предложив ему в свою очередь с самым умильным видом вопросы хотя незначительные, но приятные и способные вызвать веселые ответы. Дело скоро пошло на лад; завязалось общее прение, в котором одна Поленька не принимала участия. Она с упорством глядела на пол, между тем как Эмеренция даже смеялась, грациозно приподняв одну руку, и в то же время так держалась, как будто хотела сказать: «Смотрите, смотрите, как я благовоспитанна и любезна и сколько во мне милой игривости и расположения ко всем людям!» Казалось, она и пришепётывала оттого, что уже очень была добра. Она смеялась, придавая смеху своему сладостную растянутость, хотя Борис Андреич сначала не произносил ничего особенного; она смеялась потом еще более, когда Борис Андреич, поощренный успехом слов своих, начал действительно острить и злословить... Петр Васильич тоже смеялся. Вязовнин заметил между прочим, что он страстно любит музыку.

— А я как люблю музыку, так это просто ужас! — воскликнула Эмеренция.

— Вы не только ее любите — вы сами превосходная музыкантша,— заметил Петр Васильич.

— Неужели? — спросил Борис Андреич.

— Да,— продолжал Петр Васильич,— и Эмеренция Калимоновна и Пелагея Калимоновна, обе поют и на фортепьяно играют отлично, особенно Эмеренция Калимоновна.

Услышав свое имя, Поленька вспыхнула и чуть не вскочила с места, а Эмеренция скромно потупила глаза.

— Ах, mesdemoiselles,— заговорил Борис Андреич,— неужели вы не будете так добры... не сделаете мне удовольствия...

— Я, право... не знаю...— прошептала Эмеренция и, бросив украдкой взгляд на Петра Васильича, прибавила с упреком: — Ах, какие вы!

Но Петр Васильич, как человек положительный, тотчас обратился к самой хозяйке.

— Пелагея Ивановна,— сказал он,— прикажите вашим дочерям сыграть нам что-нибудь или спеть.

— Я не знаю, в голосе ли они сегодня,— возразила Пелагея Ивановна,— но можно попробовать.

— Да, попробуйте, попробуйте,— промолвил отец.

— Ах, maman, да как можно...

— Эмеранс, кан же ву ди... [1] — проговорила вполголоса, но очень серьезно Пелагея Ивановна.

У ней была привычка, общая многим матерям, отдавать приказы или делать наставления своим детям при других людях на французском диалекте, хотя бы те люди и понимали по-французски. И это было тем более странно, что сама она довольно плохо знала этот язык и произносила дурно.

Эмеренция встала.

— Что же мы будем петь, maman? — спросила она с покорностью.

— Ваш дуэт: он премиленький. У моих дочерей,— продолжала Пелагея Ивановна, обращаясь к Борису Андреичу,— разные голоса: у Эмеренции дишкант...

— Сопрано, вы хотите сказать?

— Да, да, сомпрано. А у Поленьки контроальт.

— А! контральт! это очень приятно.

— Я не могу сегодня петь,— промолвила Поленька с усилием,— я охрипла.

Голос ее действительно походил больше на бас, чем на контральт.

— А! ну в таком случае, Эмеранс, спой нам свою арию, ты знаешь, итальянскую, фаворитную; а Поленька тебе будет аккомпанировать.

---

[1] раз я тебе говорю (quand je vous dis — *франц.)*.

— Ту арию, где ты горошком, горошком,— подтвердил отец.

— Бравурную,— объяснила мать.

Обе девицы подошли к фортепьяно. Поленька подняла крышку, положила тетрадку рукописных нот на пюпитр и села, а Эмеренция стала подле нее, едва заметно, но мило рисуясь под устремленными взорами Бориса Андреича и Петра Васильича и по временам поднося платок к губам. Наконец она запела, как большей частью поют барышни,— визгливо и не без завываний. Слова она произносила невнятно, но по иным носовым звукам можно было догадаться, что она поет по-итальянски. Под конец она действительно рассыпалась горошком, к большому удовольствию Калимона Иваныча — он слегка приподнялся в креслах и воскликнул: «Хорошенько его!» — но последнюю трель она пустила ранее, чем бы следовало, так что сестра ее несколько тактов сыграла уже одна. Это, однако же, не помешало Борису Андреичу изъявить свое удовольствие и сказать Эмеренции комплимент; а Петр Васильич, повторив раза два: «Очень, очень хорошо», прибавил: «Нельзя ли теперь нам чего-нибудь русского, „Соловья", например, или „Сарафанчика", или какую-нибудь цыганскую песенку? А то эти иностранные штуки, правду сказать, не для нашего брата писаны».

— И я с вами согласен,— промолвил Калимон Иваныч.

— Шанте...[1] ле «Сарафан»,— заметила вполголоса и с прежней суровостью мать.

— Нет, не «Сарафан»,— подхватил Калимон Иваныч,— а «Мы две цыганки» или «Скинь-ка шапку да пониже поклонись...» — знаешь?

— Папа, уж вы всегда такой! — возразила Эмеренция и спела «Скинь-ка шапку», и довольно порядочно спела. Калимон Иваныч подтягивал ей и подтопывал, а Петр Васильич пришел в совершенный восторг.

— Вот это другое дело! Вот это по-нашенски! — твердил он.— Утешили, Эмеренция Калимоновна!.. Теперь я вижу, что вы имели право назвать себя охотницей и мастерицей! Согласен: охотница и мастерица!

---

[1] Спой... (chantez — *франц.*).

— Ах, какой вы нескромный! — возразила Эмеренция и хотела возвратиться на свое место.

— Апрезан[1] ле «Сарафан»,— проговорила мать.

Эмеренция спела «Сарафан» не с таким успехом, как «Скинь-ка шапку», но все-таки с успехом.

— Теперь бы следовало вам сыграть вашу сонату в четыре руки,— заметила Пелагея Ивановна,— но уж это лучше до другого разу, а то, я боюсь, мы надоедим господину Вязовнину.

— Помилуйте...— начал было Борис Андреич.

Но Поленька тотчас захлопнула фортепьяно, а Эмеренция объявила, что она устала. Борис Андреич почел за нужное повторить свой комплимент.

— Ах, monsieur Вязовнин,— отвечала она,— вы, я думаю, слышали не таких певиц; я воображаю, после них что значит мое пенье... Конечно, Бомериус, когда он проезжал здесь, говорил мне... Ведь вы, я думаю, слыхали про Бомериуса?

— Нет, какой это Бомериус?

— Ах, помилуйте! Отличный скрипач, в Парижской консерватории воспитывался, удивительный музыкант... Он говорил мне, что «mademoiselle, если бы с вашим голосом да поучиться у хорошего учителя, то это было бы просто удивительно». Просто все пальчики мне перецеловал... Но где здесь учиться?

И Эмеренция вздохнула.

— Да, конечно...— вежливо возразил Борис Андреич,— но с вашим талантом...— Он замялся и еще вежливее глянул в сторону.

— Эмеранс, демандé, пуркуа ке-ле-дине[2],—проговорила Пелагея Ивановна.

— Oui, maman[3],— возразила Эмеренция и вышла, приятно подпрыгнув перед дверью.

Она бы не подпрыгнула, если б не было гостей. А Борис Андреич направился к Поленьке.

— «Коли это семейство Лариных,— подумал он,— так уж не Татьяна ли она?»

И он подошел к Поленьке, которая не без ужаса следила за его приближением.

---

[1] А теперь (A présent — *франц.*).

[2] Эмеренция, спроси, что с обедом (demandez, pourquoi que le dîner — *франц.*, *искаженное*).

[3] Да, мама *(франц.)*.

— Вы прелестно аккомпанировали вашей сестрице,— начал он,— прелестно!

Поленька ничего не отвечала, только покраснела до самых ушей.

— Мне очень жаль, что мне не удалось услышать ваш дуэт... Из какой он оперы?

Глаза Поленьки беспокойно забегали.

Вязовнин подождал ее ответа; ответа не было.

— Какую вы больше музыку любите? — спросил он, погодя немного,— итальянскую или немецкую?

Поленька потупилась.

— Пелажи, репонде́ донк [1],— раздался взволнованный шёпот Пелагеи Ивановны.

— Всякую,— торопливо произнесла Поленька.

— Однако как же всякую? — возразил Борис Андреич.— Это трудно предположить. Например, Бетховен — гений первой величины, и между тем он оценен не всеми.

— Нет-с,— отвечала Поленька.

— Искусство бесконечно разнообразно,— продолжал неугомонный Борис Андреич.

— Да-с,— отвечала Поленька.

Разговор между ними длился недолго.

«Нет,— думал Борис Андреич, отходя от нее,— какая это Татьяна! это просто олицетворенный трепет...»

А бедная Поленька в тот день, ложась спать, со слезами жаловалась своей горничной, как к ней сегодня гость пристал с музыкой, и как она не знала, что отвечать ему, и как она несчастна бывает, когда приезжают гости: только маменька потом бранится — вот и всё удовольствие...

За обедом Борис Андреич сидел между Калимоном Иванычем и Эмеренцией. Обед был русский, без затей, но сытный и Петру Васильевичу гораздо более пришелся по вкусу, чем ухищренные яства вдовы. Подле него сидела Поленька и, победив, наконец, свою робость, по крайней мере отвечала на его вопросы. Зато Эмеренция так усердно занимала своего соседа, что ему, наконец, пришлось невмочь. У ней была привычка гнуть голову направо, поднося ко рту кусок слева — словно она заигрывала с ним; и эта привычка очень не

[1] Пелагея, отвечай же (répondez donc — *франц.*).

нравилась Борису Андреичу. Не нравилось ему также и то, что она беспрестанно говорила о самой себе, с чувством доверяя ему самые мелкие подробности своей жизни; но, как человек вежливый, он нисколько не обнаруживал ощущений своих, так что наблюдавший за ним через стол Петр Васильич решительно не мог отдать себе отчета, какого рода впечатление производила на него Эмеренция.

После обеда Калимон Иваныч внезапно погрузился в задумчивость, или, говоря прямее, слегка осовел; он привык спать в это время и, хотя, заметив, что гости собираются уехать, несколько раз промолвил: «Да, зачем же, господа, почему? в карточки бы?..» — однако в душе был доволен, когда увидал наконец, что они уже шапки в руки взяли. Пелагея Ивановна, напротив, тут-то и оживилась и с особенной настойчивостью удерживала гостей. Эмеренция усердно помогала ей и всячески старалась уговаривать их остаться; даже Поленька сказала им: Mais, messieurs...[1] Петр Васильич не отвечал ни да, ни нет и всё поглядывал на своего товарища; зато Борис Андреич вежливо, но твердо настоял на необходимости возвратиться домой. Словом, дело вышло наоборот тому, как оно происходило при прощании с Софьей Кирилловной. Дав слово вскорости повторить свое посещение, гости наконец удалились; приветливые взоры Эмеренции сопровождали их до самой столовой, а Калимон Иваныч вышел даже в переднюю и, посмотрев, как проворный слуга Бориса Андреича закутал господ в шубы, навязал им шарфы и натянул на их ноги теплые сапоги, вернулся в свой кабинет и немедленно заснул, между тем как Поленька, пристыженная своею матерью, ушла к себе наверх, а две безмолвные женские личности, одна в чепце, другая в темном платочке, поздравляли Эмеренцию с новой победой.

Приятели ехали молча. Борис Андреич улыбался про себя, заслоненный от Петра Васильича приподнятым воротником енотовой шубы, и ждал, что-то он скажет.

— Опять не то! — воскликнул Петр Васильич.

Но на этот раз в голосе его замечалась какая-то

[1] Но, господа... *(франц.)*.

нерешительность, и он, силясь взглянуть на Бориса Андреича через воротник своей шубы, прибавил вопросительным голосом:

— Ведь, не правда ли, не то?

— Не то,— со смехом отвечал Борис Андреич.

— Я так и думал,— возразил Петр Васильич и, помолчав немного, прибавил: — Однако, в сущности, почему же не то? Чего недостает этой девице?

— Ей ничего не недостает. Напротив, у ней всего слишком...

— То есть как это слишком?

— Да так!

— Позвольте, Борис Андреич, я вас не понимаю. Если вы говорите насчет образованности, то разве это худо? А что касается до характера, до поведения...

— Эх, Петр Васильич,— возразил Борис Андреич,— я вам удивляюсь, как вы, с вашим ясным взглядом на вещи, не видите насквозь эту сюсюкающую Эмеренцию? Эта приторная любезность, это постоянное самообожание, это скромное убеждение в собственных достоинствах, эта снисходительность ангела, смотрящего на вас с вышины небес... Да что и говорить! Уж если на то пошло и в случае необходимости, я в двадцать раз охотнее женился бы на ее сестре: та по крайней мере умеет молчать!

— Конечно, вы правы,— ответил вполголоса бедный Петр Васильич.

Внезапная выходка Бориса Андреича его озадачила. «Нет,— сказал он самому себе, и сказал это в первый раз после своего знакомства с Вязовниным,— этот мне не пара... слишком учен».

А Вязовнин, с своей стороны, думал, глядя на луну, стоявшую низко над белой чертой небосклона: «И это словно из „Онегина“... „Кругла, красна лицом она...“ — но хорош мой Ленский, и хорош я, Онегин!»

— Пошел, пошел, Ларюшка,— прибавил он громко.

И Ларюшка, кучер с седой бородой, погнал лошадей.

— Так не то? — шутливо спросил Борис Андреич Петра Васильича, вылезая, с помощью лакея, из саней и взбираясь на крыльцо своего дома,— а, Петр Васильич?

Но Петр Васильич ничего не отвечал и отправился

ночевать к себе. А Эмеренция на другой день писала своей приятельнице (она вела огромную и деятельную переписку): «Вчера у нас был новый гость, сосед Вязовнин. Он очень милый и любезный человек, сейчас видно, что очень образованный, и — сказать тебе на ушко? — мне сдается, я произвела на него довольно сильное впечатление. Но не беспокойся, mon amie[1]: мое сердце не было затронуто, и Валентину опасаться нечего».

Этот Валентин был учитель в губернской гимназии. В городе пускался он во все тяжкие, а в деревне вздыхал по Эмеренции, платонически и безнадежно.

А приятели, по обыкновению, сошлись снова на другое утро, и жизнь их потекла прежним порядком.

Прошло две недели. Борис Андреич ежедневно ожидал нового приглашения, но Петр Васильич, казалось, совершенно отступился от своих намерений. Борис Андреич сам начинал заговаривать о вдове, о Тиходуевых, намекая на то, что всякую вещь должно испытать до трех раз; но Петр Васильич и не показывал виду, что понимает его намеки. Наконец Борис Андреич в один день не выдержал и начал так:

— Что же это, Петр Васильич? Видно, теперь моя очередь напоминать вам ваши обещания?

— Какие обещания?

— А помните, вы хотели женить меня? Я жду.

Петр Васильич повернулся на стуле.

— Да ведь вишь вы какие разборчивые! С вами не сообразишь. Бог вас знает! На ваш вкус здесь у нас, должно быть, и невест-то нету.

— Это нехорошо, Петр Васильич. Вы не должны так скоро отчаиваться. С первых двух раз не удалось — это еще не беда. Притом же мне вдова понравилась. Если вы от меня откажетесь, я к ней поеду.

— Что ж, поезжайте,— с богом.

— Петр Васильич, уверяю вас, я не шутя желаю жениться. Повезите меня куда-нибудь еще.

— Да право же, нет больше никого в целом околотке.

— Этого быть не может, Петр Васильич. Будто здесь, по соседству, нет ни одной хорошенькой?

---

[1] мой друг *(франц.)*.

— Как не быть? да не вам чета.
— Однако назовите какую-нибудь.
Петр Васильич стиснул зубами янтарь чубука.
— Да вот хотя бы Верочка Барсукова,— промолвил он наконец,— чего лучше? Только не для вас.
— Отчего?
— Слишком проста.
— Тем лучше, Петр Васильич, тем лучше!
— И отец такой чудак.
— И это не беда... Петр Васильич, друг мой, познакомьте меня с этой... как бишь вы ее назвали?..
— Барсуковой.
— С Барсуковой... пожалуйста...
И Борис Андреич не дал покоя Петру Васильичу, пока тот не обещал свезти его к Барсуковым.
Дня два спустя они поехали к ним.
Семейство Барсуковых состояло из двух лиц: отца, лет пятидесяти, и дочери, девятнадцати лет. Петр Васильич недаром назвал отца чудаком: он был действительно чудак первой руки. Окончив блестящим образом курс учения в казенном заведении, он вступил в морскую службу и скоро обратил на себя внимание начальства, но внезапно вышел в отставку, женился, поселился в деревне и понемногу так обленился и опустился, что, наконец, не только никуда не выезжал — не выходил даже из комнаты. В коротеньком заячьем тулупчике и в туфлях без задков, заложив руки в карманы шаровар, ходил он по целым дням из угла в угол, то напевая, то насвистывая, и, что бы ему ни говорили, с улыбкой на всё отвечал: «Брау, брау», то есть: браво, браво!
— Знаете ли что, Степан Петрович,— говорил ему, например, заехавший сосед,— а соседи охотно к нему заезжали, потому что хлебосольнее и радушнее его не было человека на свете,— знаете ли, говорят, в Белеве цена на рожь дошла до тринадцати рублей ассигнациями.
— Брау, брау! — спокойно отвечал Барсуков, который только что продал ее по семи с полтиной.
— А слышали вы, сосед ваш, Павел Фомич, двадцать тысяч в карты проиграл?
— Брау, брау! — так же спокойно отвечал Барсуков.

— В Шлыкове падеж,— замечал тут же сидевший другой сосед.

— Брау, брау!

— Лапина барышня с управителем сбежала...

— Брау, брау, брау!

И так без конца. Докладывали ему, что лошадь у него захромала, что приехал жид с товаром, что стенные часы со стены пропали, что мальчик зашвырнул куда-то свои сапоги,— только и слышали от него, что «брау, брау!» И между тем в доме его не было заметно слишком большого беспорядка: мужики его благоденствовали, и долгов он не делал. Наружность Барсукова располагала в его пользу: его круглое лицо, с большими карими глазами, тонким правильным носом и румяными губами, поражало своей почти юношеской свежестью. Свежесть эта казалась еще ярче от снежной белизны его волос; легкая улыбка почти постоянно играла на его губах, и не столько на его губах, сколько в ямочках на щеках; он никогда не смеялся, но иногда, весьма редко, хохотал истерически и всякий раз потом чувствовал себя нездоровым. Говорил он, кроме обычного своего восклицания, очень мало, и то только самое необходимое, придерживаясь притом всевозможных сокращений.

Его дочь, Верочка, очень на него походила и лицом, и выражением темных глаз, казавшихся еще темнее от нежного цвета белокурых волос, и улыбкой. Она была небольшого роста, миловидно сложена; в ней не было ничего особенно привлекательного, но стоило взглянуть на нее или услышать ее голосок, чтобы сказать себе: «Вот доброе существо». Отец и дочь очень любили друг друга. Всё домашнее хозяйство находилось на ее руках, и она охотно им занималась... других занятий она не знала. Петр Васильич недаром назвал ее простою.

Когда Петр Васильич с Борисом Андреичем приехали к Барсукову, он, по обыкновению, ходил взад и вперед по своему кабинету. Этот кабинет, который можно было назвать и гостиной и столовой, потому что в нем принимались гости и накрывался стол, занимал около половины всего небольшого домика Степана Петровича. Мебель в нем была некрасивая, но покойная: во всю длину одной из стен стоял диван, чрезвычайно широкий, мягкий и с великим множеством

подушек,— диван, хорошо известный всем окрестным помещикам. Правду сказать, отлично лежалось на этом диване. В остальных комнатах стояли одни стулья, да кой-какие столики, да шкафы; все эти комнаты были проходные, и в них никто не жил. Маленькая спальня Верочки выходила в сад, и, кроме чистенькой ее кровати, да умывального столика с зеркальцем, да одного кресла, в ней тоже мебели не было; зато везде по углам стояли бутылки с наливками и банки с вареньями, перемеченные рукою самой Верочки.

Войдя в переднюю, Петр Васильич хотел было велеть доложить о себе и о Борисе Андреиче, но случившийся тут мальчик в долгополом сюртуке только взглянул на него и начал стаскивать с него шубу, примолвив: «Пожалуйте-с». Приятели вошли в кабинет к Степану Петровичу. Петр Васильич представил ему Бориса Андреича.

Степан Петрович пожал ему руку, проговорил: «Рад... весьма. Озябли... Водки?» И, указав головой на закуску, стоявшую на столике, принялся снова ходить по комнате.

Борис Андреич выпил рюмку водки, за ним Петр Васильич, и оба уселись на широком диване с множеством подушек. Борису Андреичу тут же показалось, как будто он век свой сидел на этом диване и давным-давно знаком с хозяином дома. Точно такое ощущение испытывали все, приезжавшие к Барсукову.

Он был в тот день не один; впрочем, его редко можно было застать одного. У него сидела́ какая-то приказная строка, со старушечьим сморщенным лицом, ястребиным носом и беспокойными глазами, совершенно истасканное существо, недавно служившее в теплом местечке, а в настоящее время находившееся под судом. Держась одною рукою за галстух, а другою — за переднюю часть фрака, этот господин следил взором за Степаном Петровичем и, подождав, пока усядутся гости, проговорил с глубоким вздохом:

— Эх, Степан Петрович, Степан Петрович! осуждать человека легко; но знаете ли вы поговорку: «Грешен честный, грешен плут, все грехом живут, яко же и мы»?

— Брау...— произнес было Степан Петрович, но остановился и промолвил: — Поговорка скверная.

— Кто говорит? конечно, скверная,— возразил истасканный господин,— но что прикажете делать! Ведь нужда-то не свой брат: вытравит из тебя честность-то. Вот я готов на сих господ дворян сослаться, если только им угодно будет выслушать обстоятельства моего дела...

— Можно курить? — спросил Борис Андреич хозяина.

Хозяин кивнул головой.

— Конечно,— продолжал господин,— и я, может быть, не раз досадовал и на себя и на свет вообще, чувствовал, так сказать, благородное негодование...

— Подлецами выдумано,— перебил его Степан Петрович.

Господин дрогнул.

— То есть как же это, Степан Петрович? Вы хотите сказать, что благородное негодование выдумано подлецами?

Степан Петрович опять головой кивнул.

Господин помолчал и вдруг засмеялся разбитым смехом, причем обнаружилось, что у него ни одного зуба не оставалось, а говорил он довольно чисто.

— Хе-хе, Степан Петрович, вы всегда такое скажете. Наш стряпчий недаром говорит про вас, что вы настоящий каламбурист.

— Брау, брау! — возразил Барсуков.

В это мгновение дверь отворилась, и вошла Верочка. Твердо и легко выступая, несла она на зеленом круглом подносе две чашки кофе и сливочник. Темно-серое платьице стройно обхватывало ее тонкий стан. Борис Андреич и Петр Васильич поднялись оба с дивана; она присела им в ответ, не выпуская из рук подноса, и, подойдя к столу, поставила па него свою ношу, примолвив:

— Вот вам кофе.

— Брау,— проговорил ее отец.— Еще две,— прибавил он, указывая на гостей.— Борис Андреич, моя дочь.

Борис Андреич вторично ей поклонился.

— Хотите вы кофею? — спросила она, прямо и спокойно глядя ему в глаза.— До обеда еще часа полтора.

— С большим удовольствием,— ответил Борис Андреич.

Верочка обернулась к Крупицыну:

— А вы, Петр Васильич?

— И я выпью.

— Сейчас. А давно я вас не видала, Петр Васильич.

Сказав это, Верочка вышла.

Борис Андреич посмотрел ей вслед, и, нагнувшись к своему приятелю, шепнул ему на ухо:

— Да она очень мила!.. И какое свободное обхождение!..

— Привычка! — возразил Петр Васильич,— ведь у них здесь почитай что трактир. Один из дверей, другой в двери.

Как будто в подтверждение слов Петра Васильича в комнату вошел новый гость. Это был человек весьма обширный, или, говоря старинным словом, уцелевшим в наших краях, облый, с большим лицом, с большими глазами и губами, с большими взъерошенными волосами. В чертах его замечалось выражение постоянного неудовольствия — кислое выражение. Одет он был в очень просторное платье и на ходу переваливался всем телом. Он тяжко опустился на диван и только тогда сказал: «Здравствуйте», не обращаясь, впрочем, ни к кому из присутствующих.

— Водки? — спросил его Степан Петрович.

— Нет! какое водки,— отвечал новый гость,— не до водки. Здравствуйте, Петр Васильич,— прибавил он, оглянувшись.

— Здравствуйте, Михей Михеич,— ответил Петр Васильич,— откуда бог несет?

— Откуда? Разумеется, из города. Ведь это вам только, счастливцам, незачем в город ехать. А я, по милости опеки да вот этих судариков,— прибавил он, ткнув пальцем в направлении господина, находившегося под судом,— всех лошадей загнал, в город таскавшись. Чтоб ему пусто было!

— Михею Михеичу наше нижайшее,— проговорил господин, столь бесцеремонно названный судариком.

Михей Михеич посмотрел на него.

— Скажи мне, пожалуйста, одно,— начал он, скрестив руки,— когда тебя, наконец, повесят?

Тот обиделся.

— А следовало бы! Ей-ей, следовало бы! Правительство к вашему брату слишком снисходительно — вот что! Ведь какая тебе от того печаль, что ты под судом? Ровно никакой! Одно только, чай, досадно: теперь уж нельзя хабен зи гевезен,— и Михей Михеич представил рукой, как будто поймал что-то в воздухе и сунул себе в боковой карман.— Шалишь! Эх вы, народец, с борку да с сосенки!

— Вы всё изволите шутить,— возразил отставленный приказный,— а того не хотите сообразить, что дающий волен давать, а принимающий — принимать. Притом же я действовал тут не по собственному наущению, а больше одно лицо участвовало, как я и объяснил...

— Конечно,— иронически заметил Михей Михеич.— Лисичка под бороной от дождя хоронилася — всё не каждая капля капнет. А сознайся, лихо тебя наш исправник допек? а? Ведь лихо?

Того передернуло.

— Человек к укрощению борзый,— сказал он наконец с запинкой.

— То-то же!

— А со всем тем и про них можно-с...

— Золотой человек, истинная находка,— перебил его Михей Михеич, обращаясь к Степану Петровичу.— На этих молодцов да вот еще на пьяниц — просто гигант!

— Брау, брау! — возразил Степан Петрович.

Верочка вошла с другими двумя чашками кофе на подносе.

Михей Михеич ей поклонился.

— Еще одну,— проговорил отец.

— Что ж это вы сами трудитесь? — сказал ей Борис Андреич, принимая от нее чашку.

— Какой же это труд? — ответила Верочка,— а буфетчику я поручить не хочу: мне кажется, так будет вкусней.

— Конечно, из ваших рук...

Но Верочка не дослушала его любезности, ушла и тотчас вернулась с кофеем для Михея Михеича.

— А слышали вы,— заговорил Михей Михеич, допивая чашку,— ведь Мавра Ильинична без языка лежит.

Степан Петрович остановился и приподнял голову.

— Как же, как же,— продолжал Михей Михеич.— Паралич. Ведь вы знаете, она любила-таки покушать. Вот сидит она третьего дня за столом, и гости у ней... Подают ботвинью, а уж она две тарелки скушала, просит третью... да вдруг оглянулась и говорит этак не торопясь, знаете: «Примите ботвинью, все люди сидят зеленые...» — да и хлоп со стула. Бросились поднимать ее, спрашивают, что с ней... Руками объясняется, а язык уже не действует. Еще, говорят, уездный лекарь наш при этом случае отличился... Вскочил да кричит: «Доктора! пошлите за доктором!» Совсем потерялся. Ну, да и практика-то его какая! Только и жив, что мертвыми телами.

— Брау, брау! — задумчиво произнес Барсуков.

— И у нас сегодня будет ботвинья,— заметила Верочка, присевшая в углу на кончик стула.

— С чем? с осетриной? — проворно спросил Михей Михеич.

— С осетриной и с балыком.

— Это дело хорошее. Вот говорят, что ботвинья не годится зимой, потому что кушанье холодное. Это вздор... не правда ли, Петр Васильич?

— Совершенный вздор,— ответил Петр Васильич,— ведь здесь в комнате тепло?

— Очень тепло.

— Так почему же в теплой комнате не есть холодного кушанья? Я не понимаю.

— И я не понимаю.

Подобным образом разговор продолжался довольно долго. Хозяин почти в нем не принимал участия и то и дело похаживал по комнате. За обедом все накушались на славу: так всё было вкусно, хотя и просто приготовлено. Верочка сидела на первом месте, разливала ботвинью, рассылала блюда, следила глазами, как кушали гости, и старалась предупреждать их желания. Вязовнин сидел подле нее и глядел на нее пристально. Верочка не могла говорить, не улыбаясь, как отец, и это очень шло к ней. Вязовнин изредка обращался к ней с вопросами — не для того, чтобы получить от нее какой-нибудь ответ, но именно для того, чтобы видеть эту улыбку.

После обеда Михей Михеич, Петр Васильич и

господин, находившийся под судом, которого настоящее имя было Онуфрий Ильич, сели играть в карты. Михей Михеич уже не так жестоко о нем отзывался, хоть и продолжал трунить над ним; может быть, это происходило оттого, что Михей Михеич за обедом выпил лишнюю рюмку. Правда, он при всякой сдаче объявлял наперед, что все тузы и козыри будут у Онуфрия, что это крапивное семя подтасовывает, что у него уже руки такие грабительские; но зато, сделав с ним маленький шлем, Михей Михеич неожиданно похвалил его.

— А ведь что ни говори, конечно, ты дрянь совершенная,— сказал он ему,— а я тебя люблю, ей-богу; потому что, во-первых, у меня такая натура, а во-вторых, коли рассудить,— еще хуже тебя бывают, и даже можно сказать, что ты в своем роде порядочный человек.

— Истину изволили сказать, Михей Михеич,— возразил Онуфрий Ильич, сильно поощренный такими словами,— самую сущую истину; а только, конечно, гонения...

— Ну, сдавай, сдавай,— перебил его Михей Михеич.— Что гонения! какие гонения! Благодари бога, что не сидишь в Пугачевской башне на цепи... Сдавай.

И Онуфрий Ильич принялся сдавать, проворно мигая глазами и еще проворнее мусля большой палец правой руки своим длинным и тонким языком.

Между тем Степан Петрович ходил по комнате, а Борис Андреич всё держался около Веры. Разговор шел между ними урывками (она беспрестанно выходила) и до того незначительный, что и передать его было трудно. Он спрашивал ее о том, кто у них в соседстве живет, часто ли она выезжает, любит ли она хозяйство. На вопрос, что она читает, она отвечала: «Я бы читала, да некогда». И между тем когда, при наступлении ночи, мальчик вошел в кабинет с докладом, что лошади готовы, ему жаль стало уезжать, жаль перестать видеть эти добрые глаза, эту ясную улыбку. Если б Степан Петрович вздумал его удерживать, он наверно бы остался; но Степан Петрович этого не сделал — не потому, чтобы он не был рад своему новому гостю, а потому, что у него так было заведено: кто хотел ночевать, сам прямо приказывал, чтоб ему пригото-

вили постель. Так поступили Михей Михеич и Онуфрий Ильич; они даже легли в одной комнате и разговаривали долго за полночь: их голоса глухо слышны были из кабинета; говорил больше Онуфрий Ильич, словно рассказывал что-то или убеждал в чем, а собеседник его только изредка произносил то недоумевающим, то одобрительным образом: «Гм!» На другое утро они уехали вместе в деревню Михея Михеича, а оттуда в город, тоже вместе.

На возвратном пути и Петр Васильич и Борис Андреич долго безмолвствовали. Петр Васильич даже заснул, убаюканный звяканьем колокольчика и ровным движением саней.

— Петр Васильич! — сказал наконец Борис Андреич.

— Что? — проговорил Петр Васильич спросонья.

— Что же вы меня не спрашиваете?

— О чем вас спрашивать?

— Да как в те разы — то ли?

— Насчет Верочки-то?

— Да!

— Вот тебе на! Разве я вам ее прочил? Она для вас не годится.

— Напрасно вы это думаете. Мне она гораздо больше нравится, чем все ваши Эмеренции да Софьи Кирилловны.

— Что вы?

— Я вам говорю.

— Да помилуйте! Ведь она совсем простая девушка. Хозяйкой она может быть хорошей — точно; да ведь разве вам это нужно?

— А почему же и нет? Может быть, я именно этого ищу.

— Да что вы, Борис Андреич! помилуйте! Ведь она по-французски совсем не говорит!

— Так что ж такое? Разве нельзя обойтись без французского языка?

Петр Васильич помолчал.

— Я этого никак не предполагал... от вас; то есть... мне кажется, вы шутите.

— Нет, не шучу.

— Бог же вас знает после того! А я думал, что

она только нашему брату под стать. Впрочем, она точно девчонка хоть куда.

И Петр Васильич поправил на себе шапку, уткнулся головою в подушку и заснул. Борис Андреич продолжал думать о Верочке. Ему всё мерещилась ее улыбка, веселая кротость ее глаз. Ночь была светлая и холодная, снег переливал голубоватыми огнями, словно алмазный; на небе вызвездило, и стожары ярко мерцали, мороз хрустел и скрипел под санями; покрытые оледенелым инеем ветки деревьев слабо звенели, блистая на луне, как стеклянные. В такое время воображение охотно играет. Вязовнин испытал это на себе. Чего-чего он не передумал, пока сани не остановились, наконец, у крыльца; но образ Верочки не выходил у него из головы и тайно сопровождал его мечтания.

Петр Васильич, как уже сказано, удивился впечатлению, произведенному Верочкой на Бориса Андреича; но он удивился еще более два дня спустя, когда тот же Борис Андреич объявил ему, что он непременно желает ехать к Барсукову и что поедет один, если Петр Васильич не расположен ему сопутствовать. Петр Васильич, разумеется, ответил, что он рад и готов, и приятели опять поехали к Барсукову, опять провели у него целый день. Как в первый раз, застали они у него несколько гостей, которых Верочка также потчевала кофеем, а после обеда вареньем; но Вязовнин разговаривал с ней больше, чем в первый раз, то есть он больше говорил ей. Он рассказывал ей о своей прошедшей жизни, о Петербурге, о своих путешествиях — словом, обо всем, что ему приходило в голову. Она слушала его с спокойным любопытством, то и дело улыбаясь и посматривая на него, но ни на мгновенье не забывала обязанностей хозяйки: тотчас вставала, как только замечала, что гостям что-нибудь нужно, и сама всё им приносила. Когда она удалялась, Вязовнин не оставлял своего места и мирно поглядывал кругом; она возвращалась, садилась подле него, брала свою работу, и он снова вступал с нею в разговор. Степан Петрович, прогуливаясь по комнате, подходил к ним, вслушивался в речи Вязовнина, бормотал: «Браву, браву!» — и время так и бежало... В этот раз Вязовнин с Петром Васильичем остались ночевать и

уехали только на другой день, поздно вечером... Прощаясь, Вязовнин пожал Верочке руку. Она слегка покраснела. Ни один мужчина не жал ее руки до того дня, но она подумала, что, видно, так в Петербурге заведено.

Оба приятеля часто стали ездить к Степану Петровичу, особенно Борис Андреич совершенно освоился у него в доме. Бывало, так и тянет его туда, так и подмывает. Несколько раз он даже один ездил. Верочка ему нравилась всё более и более; уже между ними завелась дружба, уже он начал находить, что она — слишком холодный и рассудительный друг. Петр Васильич перестал говорить с ним о Верочке... Но вот однажды утром, поглядев на него, по обыкновению, некоторое время в безмолвии, он значительно проговорил:

— Борис Андреич!

— Что? — возразил Борис Андреич и слегка покраснел, сам не зная чему.

— Что я вам хотел сказать, Борис Андреич... Вы смотрите... того... ведь нехорошо будет, если, например, что-нибудь...

— Что вы хотите сказать? — возразил Борис Андреич,— я вас не понимаю.

— Да насчет Верочки...

— Насчет Верочки?

И Борис Андреич покраснел еще более.

— Да. Смотрите, ведь беды недолго наделать... обидеть то есть... Извините мою откровенность; но я полагаю, что мой долг, как приятеля...

— Да с чего вы это взяли, Петр Васильич? — перебил его Борис Андреич.— Верочка — девушка с самыми строгими правилами, да и, наконец, между нами, кроме самой обыкновенной дружбы, нет ничего.

— Ну, полноте, Борис Андреич! — заговорил в свою очередь Петр Васильич,— с какой стати у вас, образованного человека, будет дружба с деревенской девушкой, которая кроме своих четырех стен...

— Опять вы за то же! — вторично перебил его Борис Андреич.— К чему вы тут образованность приплетаете, я не понимаю.

Борис Андреич немножко рассердился.

— Ну, послушайте, однако ж, Борис Андреич,— нетерпеливо промолвил Петр Васильич,— коли на то

пошло, я должен вам сказать, скрываться от меня вы имеете полное право, но уж обмануть меня, извините, не обманете. Ведь у меня глаза тоже есть. Вчерашний день (они оба были накануне у Степана Петровича) мне открыл многое...

— А что же именно он открыл вам? — спросил Борис Андреич.

— А то он мне открыл, что вы ее любите и даже ревнуете к ней.

Вязовнин посмотрел на Петра Васильича.

— Ну, а она меня любит?

— Этого я не могу сказать наверное, но странно было бы, если б она не полюбила вас.

— Оттого, что я образован, хотите вы сказать?

— И от этого и оттого, что у вас состояние хорошее. Ну, и наружность ваша тоже может нравиться. А главное — состояние.

Вязовнин встал и подошел к окну.

— Почему же вы могли заметить, что я ревную? — спросил он, внезапно повернувшись к Петру Васильичу.

— А потому, что вы вчера на себя похожи не были, пока этот шалопай Карантьев не уехал.

Вязовнин ничего не отвечал, но почувствовал в душе, что приятель его говорил правду. Карантьев этот был недоучившийся студент, веселый и неглупый малый, с душою, но совершенно сбившийся с толку и погибший. Страсти смолоду истощили его силы; он слишком рано остался без призора. У него было цыганское удалое лицо, и весь он походил на цыгана, пел и плясал, как цыган. Он влюблялся во всех женщин. Верочка ему очень нравилась. Борис Андреич познакомился с ним у Барсукова и сначала весьма благоволил к нему; но, заметив однажды особенное выражение лица, с которым Верочка слушала его песенки, он стал о нем думать иначе.

— Петр Васильич,— сказал Борис Андреич, подойдя к своему приятелю и остановясь перед ним,— я должен сознаться... мне кажется, вы правы. Я это давно сам чувствовал, но вы мне окончательно открыли глаза. Я точно неравнодушен к Верочке; но ведь послушайте, Петр Васильич, что ж из этого? И она и я, мы оба не захотим ничего бесчестного; притом же я вам уже, ка-

жется, говорил, что я с ее стороны не вижу никаких особенных знаков расположения ко мне.

— Всё так,— возразил Петр Васильич,— да лукавый силен.

Борис Андреич помолчал.

— Что же мне делать, Петр Васильич?

— Что? Перестать ездить.

— Вы думаете?

— Конечно... Не жениться же вам на ней!

Вязовнин опять помолчал.

— А почему бы и не жениться? — воскликнул он наконец.

— Да потому, Борис Андреич, уж я вам сказал: она вам не пара.

— Этого я не вижу.

— А не видите, делайте как знаете. Я вам не опекун.

И Петр Васильич начал набивать трубку.

Борис Андреич сел к окну и погрузился в задумчивость.

Петр Васильич не мешал ему и преспокойно выпускал маленькими облаками дым изо рта. Наконец Борис Андреич встал и с заметным волнением велел закладывать лошадей.

— Куда это? — спросил его Петр Васильич.

— К Барсуковым,— ответил Борис Андреич отрывисто.

Петр Васильич пыхнул раз пяток.

— Ехать мне с вами, что ли?

— Нет, Петр Васильич; я бы желал сегодня ехать один. Мне хочется объясниться с самой Верочкой.

— Как знаете.

«Вот,— сказал он самому себе, проводив Бориса Андреича,— как подумаешь, пошла шутка в дело... А всё с жиру!»,— прибавил он, укладываясь на диване.

Вечером того же дня Петр Васильич, не дождавшись возвращения своего приятеля, только что собирался лечь в постель у себя дома, как вдруг в комнату, весь запорошенный снегом, ворвался Борис Андреич и прямо бросился к нему на шею.

— Друг мой, Петр Васильич, поздравь меня! — воскликнул он, в первый раз говоря ему *ты*,— она согласилась, и старик тоже согласился... Всё уже кончено!

— Как... что такое? — пробормотал изумленный Петр Васильич.

— Я женюсь!

— На Верочке?

— На ней... Всё уже решено и улажено.

— Не может быть!

— Экой ты человек!.. Говорят тебе, всё кончено.

Петр Васильич торопливо надел туфли на босу ногу, накинул халат, крикнул:

— Македония, чаю! — и прибавил: — Ну, коли всё уже кончено, стало быть толковать нечего; дай бог вам лад да совет! Но расскажи мне, пожалуйста, каким образом это случилось?

Замечательно, что с того времени оба приятеля начали говорить друг другу *ты*, как будто иначе никогда и не говорили.

— Изволь, с удовольствием,— отвечал Вязовнин и начал рассказывать.

На самом деле вот как это произошло.

Когда Борис Андреич приехал к Степану Петровичу, у него, против обыкновения, не было ни одного гостя и сам он не прохаживался по комнате, а сидел в вольтеровских креслах: ему нездоровилось. Он совсем переставал говорить, когда это с ним случалось, и потому, ласково кивнув головой вошедшему Вязовнину, показал ему сперва на стол с закуской, а потом на Верочку и закрыл глаза. Вязовнину только того и нужно было: он подсел к Верочке и вступил с нею в разговор вполголоса. Речь зашла о здоровии Степана Петровича.

— Мне всегда страшно,— говорила шёпотом Верочка,— когда ему неможется. Ведь он такой: не пожалуется, не попросит ничего; слова от него не добьешься. Болен будет — не скажет.

— А вы его очень любите? — спросил ее Вязовнин.

— Кого? папеньку? Да больше всех на свете. Сохрани бог, если что с ним случится! Я, кажется, умру.

— Стало быть, вам бы невозможно было с ним расстаться?

— Расстаться? Для чего же расстаться?

Борис Андреич поглядел ей в лицо.

— Девушке нельзя век жить в родительском доме.

— А! вот вы на какой счет говорите... Ну, в этом случае я покойна... Кто меня возьмет?

«Я!» — чуть было не сказал Борис Андреич, но удержался.

— Что вы задумались? — спросила она, с обычной своей улыбкой посмотрев на него.

— Я думаю,— возразил он,— я думаю... что...— И, вдруг переменив тон, он спросил ее, давно ли она знакома с Карантьевым.

— А право, не помню... Ведь их так много к папеньке ездит. Кажется, он к нам в прошлом году в первый раз приехал.

— Скажите: он вам нравится?

— Нет,— отвечала Верочка, подумав.

— Отчего?

— Он такой неопрятный,— простодушно возразила она.— Впрочем, он должен быть хороший человек и поет так славно... сердце шевелится, когда он поет.

— А! — промолвил Вязовнин и, подождав немного, прибавил: — да кто ж вам нравится?

— Многие нравятся,— вы мне нравитесь.

— Мы с вами, известное дело, друзья. Но неужели никто больше других не нравится?

— Какие вы любопытные!

— А вы очень холодны.

— Как это? — невинно спросила Верочка.

— Послушайте...— начал было Вязовнин.

Но в это время Степан Петрович повернулся в креслах.

— Послушайте,— продолжал он чуть слышно, между тем как кровь у него так и стучала в горле,— мне что-то нужно вам сказать, очень важное... только не здесь.

— Где же?

— Да хоть в соседней комнате.

— Что такое? — спросила Верочка, приподнимаясь,— стало быть, секрет?

— Да, секрет.

— Секрет,— повторила Верочка с удивлением и вышла в соседнюю комнату.

Вязовнин последовал за ней как в лихорадке.

— Ну, что такое? — спросила она его с любопытством.

Борис Андреич хотел было повести дело издалека; но, глянув в это молодое лицо, оживленное той легкой

улыбкой, которую он так любил, в эти ясные глаза, глядевшие таким мягким взором, он потерялся и совершенно неожиданно для самого себя, без всяких приготовлений, прямо спросил Верочку:

— Вера Степановна, хотите вы быть моей женой?

— Как? — спросила Верочка, вспыхнув вся и покраснев до ушей.

— Хотите ли вы быть моей женой? — машинально повторил Вязовнин.

— Я... я, право, не знаю, я не ожидала... это так...— прошептала Вера, протягивая руки к оконнице, чтобы не упасть,— и вдруг бросилась вон из комнаты к себе в спальню.

Борис Андреич постоял немного на месте и в большом смущении вернулся в кабинет. На столе лежал нумер «Московских ведомостей». Он взял этот нумер, сел и стал глядеть на строки, не только не понимая, что там напечатано, но даже вообще не имея понятия о том, что с ним такое происходило. С четверть часа провел он в таком положении; но вот сзади его раздался легкий шелест, и он, не оглядываясь, почувствовал, что это вошла Вера.

Прошло еще несколько мгновений. Он глянул вскользь из-за листа «Ведомостей». Она сидела у окна, отвернувшись, и казалась бледной. Он, наконец, собрался с духом, встал, подошел к ней и опустился на стул возле нее...

Степан Петрович не шевелился, сидя с закинутою головою в креслах.

— Извините меня, Вера Степановна,— начал Вязовнин с некоторым усилием,— я виноват, я не должен был так внезапно... и притом... я, конечно, не имел повода...

Верочка ничего не отвечала.

— Но если уж оно так случилось,— продолжал Борис Андреич,— то я бы желал знать, какой ответ...

Верочка тихо потупилась; щеки ее опять вспыхнули.

— Вера Степановна, одно слово.

— Я, право, не знаю,— начала она,— Борис Андреич... это зависит от папеньки...

— Нездорова? — раздался вдруг голос Степана Петровича.

Верочка вздрогнула и быстро подняла голову. Глаза

Степана Петровича, устремленные на нее, выражали беспокойство. Она тотчас подошла к нему.

— Вы меня спрашиваете, папенька?

— Нездорова? — повторил он.

— Кто? я? Нет... Почему вы думаете?

Он пристально посмотрел на нее.

— Точно здорова? — спросил он еще раз.

— Конечно; как *вы* себя чувствуете?

— Брау, брау,— тихо проговорил он и опять закрыл глаза.

Верочка направилась к дверям. Борис Андреич остановил ее.

— Скажите мне, по крайней мере, позволите ли вы мне поговорить с вашим батюшкой?

— Как вам угодно,— прошептала она,— только, Борис Андреич, мне кажется, я вам не пара.

Борис Андреич хотел было взять ее за руку; но она уклонилась и вышла вон.

«Странное дело! — подумал он,— и она то же говорит, что Крупицын!»

Оставшись наедине с Степаном Петровичем, Борис Андреич дал себе слово объясниться с ним потолковее и, по мере возможности, приготовить его к столь неожиданному предложению; но на деле оно оказалось еще труднее, чем с Верочкой. Степан Петрович чувствовал небольшой жар и не то задумывался, не то дремал, нехотя и не скоро отвечал на различные вопросы и замечания, посредством которых Борис Андреич надеялся постепенно перейти к настоящему предмету разговора... Словом, Борис Андреич, видя, что все его намеки пропадают даром, решился, поневоле, приступить к делу прямо.

Несколько раз забирал он в себя дух, как бы готовясь говорить, останавливался и не произносил ни слова.

— Степан Петрович,— начал он наконец,— я намерен сделать вам предложение, которое вас очень удивит.

— Брау, брау,— спокойно проговорил Степан Петрович.

— Такое предложение, которого вы никак не ожидаете.

Степан Петрович раскрыл глаза.

— Только вы, пожалуйста, не рассердитесь на меня...

Глаза Степана Петровича расширились еще более.

— Я... я намерен просить у вас руки вашей дочери Веры Степановны.

Степан Петрович быстро поднялся с вольтеровских своих кресел...

— Как? — спросил он точно таким же голосом и с таким же выражением лица, как Верочка.

Борис Андреич принужден был повторить свое предложение.

Степан Петрович уставился на Вязовнина и долго молча смотрел на него, так что ему стало, наконец, неловко.

— Вера знает? — спросил Степан Петрович.

— Я объяснился с Верой Степановной, и она мне позволила обратиться к вам.

— Сейчас объяснились?

— Да, вот теперь.

— Подождите,— проговорил Степан Петрович и вышел.

Борис Андреич остался один в кабинете чудака. В оцепенении глядел он то на стены, то на пол, как вдруг раздался топот лошадей у крыльца, дверь передней застучала, густой голос спросил: «Дома?», послышались шаги, и в кабинет ввалился уже знакомый нам Михей Михеич.

Борис Андреич так и обмер с досады.

— Экая здесь теплынь! — воскликнул Михей Михеич, опускаясь на диван.— А, здравствуйте! А где же Степан Петрович?

— Он вышел, сейчас придет.

— Ужасный холод сегодня,— заметил Михей Михеич, наливая себе рюмку водки.

И, едва успев проглотить ее, с живостью проговорил:

— А ведь я опять из города.

— Из города? — возразил Вязовнин, с трудом скрывая свое волнение.

— Из города,— повторил Михей Михеич,— и всё по милости этого разбойника Онуфрия. Представьте вы себе, наговорил мне чёртову тьму, турусы на колесах такие подпустил, что ай-люли ты, моя радость! Аферу, говорит, такую для вас сыскал, какой еще на свете подоб-

ной не бывало, просто сотнями загребай целковенькие; а окончилась вся афера тем, что у меня же двадцать пять рублев занял, да в город я напрасно протаскался, лошадей совершенно заморил.

— Скажите! — пробормотал Вязовнин.

— Я вам говорю: разбойник, разбойник как есть. Ему только с кистенем по дорогам ходить. Я, право, не понимаю, чего полиция смотрит. Ведь этак наконец по миру от него пойдешь, ей-богу!

Степан Петрович вошел в комнату.

Михей Михеич начал ему рассказывать свои похождения с Онуфрием.

— И отчего это ему никто шеи не намнет! — воскликнул он.

— Шеи не намнет,— повторил Степан Петрович и вдруг покатился со смеху.

Михей Михеич тоже засмеялся, на него глядя, и повторил даже: «Именно, следовало бы ему шею намять»; но когда Степан Петрович упал, наконец, на диван в судорогах истерического смеха, Михей Михеич обратился к Борису Андреичу и промолвил, слегка расставив руки:

— Вон он всегда так: засмеется вдруг, чему — господь знает. Такая уж у него фанаберика!

Верочка вошла, вся встревоженная, с покрасневшими глазами.

— Папенька сегодня не совсем здоров,— заметила она вполголоса Михею Михеичу.

Михей Михеич кивнул головой и положил себе в рот кусок сыра. Наконец Степан Петрович умолк, приподнялся, отдохнул и начал ходить по комнате. Борис Андреич избегал его взоров и сидел как на иголках. Михей Михеич принялся опять бранить Онуфрия Ильича.

Сели за стол; за столом тоже разговаривал один Михей Михеич. Наконец, уже перед вечером, Степан Петрович взял Бориса Андреича за руку и молча вывел его в другую комнату.

— Вы хороший человек? — спросил он, глядя ему в лицо.

— Я честный человек, Степан Петрович,— отвечал Борис Андреич,— за это я могу ручаться,— и люблю вашу дочь.

— Любите? точно?

— Люблю и постараюсь заслужить ее любовь.

— Не наскучит? — спросил опять Степан Петрович.

— Никогда!

Лицо Степана Петровича болезненно сжалось.

— Ну, смотрите же... Любите... я согласен.

Борис Андреич хотел было обнять его; но он сказал:

— После... хорошо

И, отвернувшись, подошел к стене. Борис Андреич мог заметить, что он плакал.

Степан Петрович утер глаза не оборачиваясь, потом пошел назад, в кабинет, мимо Бориса Андреича и, не взглянув на него, проговорил с своей обычной улыбкой:

— Пожалуйста, уж сегодня больше не надо... завтра... всё... что нужно...

— Хорошо, хорошо,— поспешно возразил Борис Андреич и, войдя вслед за ним в кабинет, обменялся взглядом с Верочкой.

На душе его было радостно, но и смутно в то же время. Он не мог остаться долго у Степана Петровича, в обществе Михея Михеича; ему непременно нужно было уединиться,— притом его тянуло к Петру Васильичу. Он уехал, обещаясь на другой день вернуться. Прощаясь с Верочкой в передней, он поцеловал ее руку; она посмотрела на него.

— До завтра,— сказал он ей.

— Прощайте,— тихо отвечала она.

— Вот, видишь ли, Петр Васильич,— говорил Борис Андреич, окончив свой рассказ и шагая взад и вперед по его спальне,— мне что пришло в голову: молодой человек часто отчего не женится? Оттого, что ему страшно кажется жизнь свою закабалить; он думает: « К чему торопиться! Еще успею, может быть, чего-нибудь лучшего дождусь». А кончается обыкновенно история тем, что либо состареется бобылем, либо женится на первой встречной; это всё самолюбие да гордость! Послал тебе бог милую и добрую девушку, не упускай случая, будь счастлив и не прихотничай слишком. Лучше Верочки не найду я себе жены; а если ей недостает чего-нибудь со стороны воспитания, то уж мое дело будет об этом позаботиться. Нрав у ней довольно флегматический, но это не беда — напротив! Вот почему я так скоро и решился. Ты же мне советовал жениться. А если я обманулся,— прибавил он, остановился и, подумав немного,

продолжал: — беда невелика! из моей жизни и так ничего бы не вышло.

Петр Васильич слушал своего приятеля молча, изредка попивая из надтреснувшего стакана прескверный чай, приготовленный усердной Македонией.

— Что ж ты молчишь? — спросил его наконец Борис Андреич, остановившись перед ним.— Ведь не правда ли, я дело говорю? Ведь ты со мной согласен?

— Предложение сделано,— возразил Петр Васильич с расстановкой,— отец благословил, дочь не отказала, стало быть, рассуждать уж более нечего. Может быть, оно точно всё к лучшему. Теперь надо о свадьбе думать, а не рассуждать; но утро вечера мудренее... Завтра потолкуем как следует. Эй! кто там? проводите Бориса Андреича.

— Да хоть обними меня, поздравь,— возразил Борис Андреич,— какой ты право!

— Обнять я тебя обниму, с удовольствием.

И Петр Васильич обнял Бориса Андреича.

— Дай бог тебе всего хорошего на сей земле!

Приятели разошлись.

«Всё оттого,— сказал самому себе вслух Петр Васильич, полежав некоторое время в постели и переворачиваясь на другой бок,— всё оттого, что в военной службе не служил! Блажить привык и порядков не знает».

Спустя месяц Вязовнин женился на Верочке. Он сам настоятельно требовал, чтобы свадьбы не откладывали дальше. Петр Васильич был у него шафером. В течение всего этого месяца Вязовнин каждый день ездил к Степану Петровичу; но в обращении его с Верочкой и Верочки с ним не замечалось перемены: она стала застенчивее с ним — вот и всё. Он привез ей «Юрия Милославского» и сам прочел ей несколько глав. Роман Загоскина ей понравился; но, кончив его, она не попросила другого. Карантьев приезжал раз взглянуть на Верочку, ставшую невестой другого, и, должно признаться, приезжал хмельной, всё смотрел на нее, как бы собираясь сказать ей что-то, но не сказал ничего; его попросили спеть, он затянул какую-то заунывную песню, потом грянул удалую, бросил гитару на диван, распростился со всеми и, сев в сани, повалился грудью на

постланное сено, зарыдал — и через четверть часа уже спал мертвым сном.

Накануне свадьбы Верочка была очень грустна, и Степан Петрович тоже упал духом. Он надеялся, что Борис Андреич согласится переехать к ним на жительство; но он ни слова не сказал об этом и, напротив, предложил Степану Петровичу на время поселиться в Вязовне. Старик отказался: он привык к своему кабинету. Верочка обещалась посещать его по крайней мере раз в неделю. Как уныло отец ответил ей: «Брау, брау!»

Вот и начал жить Борис Андреич женатым человеком. В первое время всё шло прекрасно. Верочка, как отличная хозяйка, привела весь его дом в порядок. Он любовался ее нешумливой, но заботливой деятельностью, ее постоянно ясным и кротким нравом, называл ее своей маленькой голландкой и беспрестанно повторял Петру Васильичу, что он теперь только узнал счастье. Должно заметить, что Петр Васильич со дня свадьбы Бориса Андреича уже не так часто к нему ходил и не так долго у него засиживался, хотя Борис Андреич попрежнему очень радушно принимал его, хотя Верочка искренно его любила.

— Твоя жизнь теперь уже не та,— говаривал он Вязовнину, дружелюбно упрекавшему его в том, что он охладел к нему,— ты женатый человек, я холостой. Я могу мешать.

Вязовнин ему сперва не противоречил; но вот он понемногу начал замечать, что без Крупицына ему было скучно дома. Жена нисколько его не стесняла; напротив, он иногда о ней забывал вовсе и по целым утрам не говорил с ней ни слова, хотя всегда с удовольствием и нежностью глядел ей в лицо и всякий раз, бывало, когда она своей легкой поступью проходила мимо его, ловил и целовал ее руку, что непременно вызывало улыбку на ее губы. Улыбка эта была всё та же, которую он любил; но довольно ли одной улыбки?

Между ними было слишком мало общего, и он начал догадываться об этом.

«А ведь нечего сказать, у жены моей мало ресурсов»,— подумал Борис Андреич однажды, сидя, скрестив руки, на диване.

Слова Верочки, сказанные ею в день предложения: «Я вам не пара»,— зазвучали у него в душе.

«Если бы я был какой немец или ученый,— так продолжал он свои размышления,— или если б у меня было постоянное занятие, которое поглощало бы бо́льшую часть моего времени, подобная жена была бы находка; но так! Неужто я обманулся?..» Эта последняя мысль была для него мучительнее, чем он ожидал.

Когда в то же утро Петр Васильич опять повторил ему, что он им мешать может, он не в состоянии был удержаться и воскликнул:

— Помилуй! ты нисколько не мешаешь нам; напротив, при тебе нам обоим гораздо веселее...— он чуть было не сказал: легче.— И это было действительно так.

Борис Андреич охотно беседовал с Петром Васильичем точно таким же образом, как беседовали они до свадьбы; и Верочка умела говорить с ним, а мужа своего она уж очень уважала и, при всей своей несомненной привязанности к нему, не знала, что ему сказать, чем занять его...

Кроме того, она видела, что присутствие Петра Васильича его оживляло. Кончилось тем, что Петр Васильич стал совершенно необходимым лицом в доме Бориса Андреича. Верочку он полюбил, как дочь свою; да и нельзя было не любить такое доброе существо. Когда Борис Андреич, по слабости человеческой, доверял ему, как другу, свои заветные мысли и жалобы, Петр Васильич сильно упрекал его в неблагодарности, вычислял перед ним все достоинства Верочки и однажды, в ответ на замечание Бориса Андреича, что ведь и он, Петр Васильич, находил их не созданными друг для друга, с сердцем ответил ему, что он ее не стоит.

— Я ничего не нашел в ней,— пробормотал Борис Андреич.

— Как ничего не нашел? Да разве ты ожидал от нее чего-нибудь необыкновенного? Ты в ней нашел прекрасную жену. Вот что!

— Это правда,— торопливо возразил Вязовнин.

В доме Вязовнина всё шло по-прежнему — мирно и тихо, потому что с Верочкой не только не было возможности ссориться — даже недоразумений между ею и ее мужем существовать не могло; но внутренний разрыв чувствовался во всем. Так в целом существе человека замечается влияние невидимой внутренней раны. Верочка не имела привычки жаловаться; притом она даже

мысленно ни в чем не обвиняла Вязовнина, и ему ни разу в голову не пришло, что ей не совсем легко жить с ним. Два человека только ясно понимали ее положение: старик-отец и Петр Васильич. Степан Петрович с каким-то особенным соболезнованием ласкал ее и заглядывал ей в глаза, когда она к нему приезжала,— не расспрашивал ее ни о чем, но чаще вздыхал, расхаживая по комнате, и его «брау, брау!» не звучало, как прежде, невозмутимым спокойствием души, удалившейся от всего земного. Разлученный с дочерью, он как будто вдруг побледнел и похудел. От Петра Васильича тоже не скрылось, что происходило у нее в душе. Верочка не требовала вовсе, чтоб муж много занимался ею или даже разговаривал с нею; но ее томила мысль, что она ему в тягость. Петр Васильич однажды застал ее неподвижно стоявшей лицом к стене. Как отец, на которого она чрезвычайно походила, она не любила показывать слез своих и отворачивалась, когда плакала, даже если была одна в комнате... Петр Васильич тихо прошел мимо ее и ни малейшим намеком не подал ей повода думать, что он понял, зачем она стояла лицом к стене. Зато он Вязовнину не давал покоя: правда, он ни разу не произнес перед ним тех обидно-раздражающих, ненужных и самодовольных слов: «Ведь я тебе всё это наперед предсказывал!» — тех слов, которые, заметим кстати, самые лучшие женщины, в мгновение самого горячего участия, не могут не выговорить; но он беспощадно нападал на Бориса Андреича за его равнодушие и хандру и раз довел его до того, что он побежал к Верочке и с беспокойством стал оглядывать и расспрашивать ее. Она так кротко посмотрела на него и так спокойно ему отвечала, что он ушел, внутренно взволнованный упреками Петра Васильича, но довольный тем, что по крайней мере Верочка ничего не подозревала... Так прошла зима.

Подобные отношения долго длиться не могут: они либо кончаются разрывом, либо изменяются, редко к лучшему...

Борис Андреич не сделался раздражительным и взыскательным, как это часто случается с людьми, чувствующими себя неправыми, не позволил также себе дешевого и, часто даже у умных людей, грубого удовольствия глумления и подсмеивания, не впал в задумчи-

вость; его просто начала занимать мысль: как бы уехать куда-нибудь, разумеется на время.

«Путешествие!» — твердил он, вставая поутру. «Путешествие!» — шептал он, ложась в постель, и в этом слове таилось обаятельное для него очарование. Он попытался было съездить для развлечения к Софье Кирилловне, но ее красноречие и развязность, ее улыбочки и ужимочки показались ему очень приторны. «Какое сравнение с Верочкой!» — думал он, глядя на расфранченную вдову, и между тем мысль уехать от этой самой Верочки не покидала его...

Дыхание наступившей весны — той весны, что тянет и манит самих птиц из-за морей,— развеяло его последние сомнения, вскружило ему голову. Он уехал в Петербург, под предлогом какого-то важного и безотлагательного дела, о котором до того времени не было и помину... Расставаясь с Верочкой, он вдруг почувствовал, что сердце его сжалось и облилось кровью: жаль ему стало тихой и доброй своей жены, слезы хлынули из его глаз и оросили ее бледный лоб, к которому он только что прикоснулся губами... «Я скоро, скоро вернусь и писать буду,— твердил он,— душа моя!» — и, поручив ее вниманию и дружбе Петра Васильича, сел в коляску, растроганный и грустный... Грусть его замерла мгновенно при виде первых нежно-зеленых ракит на большой дороге, пролегавшей в двух верстах от его деревни; непонятный, почти юношеский восторг заставил забиться его сердце; грудь его приподнялась, и он с жадностью устремил глаза вдаль.

— Нет,— воскликнул он,— я вижу, что

> В одну телегу впрячь не можно
> Коня и трепетную лань...

А какой он был *конь*?

Вера осталась одна; но, во-первых, Петр Васильич посещал ее часто, а главное — старик-отец решился оторваться от своего любимого обиталища и переехал на время в дом к дочери. Славно зажили они втроем. Вкусы их, привычки так согласовались! И между тем Вязовнин не только не был забыт ими,— напротив, он служил им всем невидимой духовной связью: они беспрестанно толковали о нем, о его уме, доброте, образованности и простоте в обращении. Бориса Андреича

в отсутствие его из дому как будто еще больше полюбили. Погода наступила прекрасная; дни не летели, нет, они проходили мирно и радостно, как высокие, светлые облака на голубом и светлом небе. Вязовнин писал изредка; его письма читались и перечитывались с великим удовольствием. Он в каждом из них говорил о своем близком возвращении... Наконец, в один день, Петр Васильич получил от него следующее письмо:

«Милый друг, добрейший мой Петр Васильич! Я долго думал, как начать это письмо, но, видно, лучше всего сказать тебе прямо, что я еду за границу. Это известие, я знаю, тебя удивит и даже рассердит: ты этого никак не мог ожидать — и ты будешь совершенно прав, назвав меня легкомысленным и беспутным человеком; я и не намерен вовсе оправдываться, и даже в эту минуту сам чувствую, что краснею. Но выслушай меня с некоторым снисхождением. Во-первых, я еду на весьма короткое время, и в таком обществе, и так выгодно, что ты представить не можешь; а во-вторых, я твердо убежден в том, что, подурачившись в последний раз, удовлетворив в последний раз страсти моей видеть всё и всё испытать, я сделаюсь отличным мужем, семьянином и домоседом и докажу, что умею ценить ту незаслуженную милость ко мне судьбы, даровавшей мне такую жену, какова Верочка. Пожалуйста, убеди и ее в этом и покажи ей это письмо. Сам я к ней теперь не пишу: не имею на то духа, но напишу непременно из Штеттина, куда пароход отправляется; а пока скажи ей, что я становлюсь перед ней на колени и униженно прошу ее не сетовать на своего глупого мужа. Зная ее ангельский нрав, я уверен, она простит меня; а я клянусь всем на свете, что через три месяца, никак не позже, вернусь в Вязовну, и тогда меня силой оттуда не вытащишь до конца дней моих. Прощай, или лучше — до скорого свидания; обнимаю тебя и целую милые ручки моей Верочки. Я вам из Штеттина напишу, куда мне адресовать письма. В случае каких-нибудь непредвиденных дел и вообще насчет хозяйства я надеюсь на тебя, как на каменную стену.

Твой
Борис Вязовнин.

P. S. Вели оклеить к осени мой кабинет обоями... слышишь?.. непременно».

Увы! надеждам, высказанным Борисом Андреичем в этом письме, не суждено было исполниться. Из Штеттина он, по множеству хлопот и новых впечатлений, не успел написать Верочке; но из Гамбурга к ней послал письмо, в котором извещал ее о своем намерении посетить — для осмотра некоторых промышленных заведений, а также для выслушания некоторых нужных лекций — Париж, куда и просил адресовать впредь письма — poste restante [1]. Вязовнин приехал в Париж утром и, избегав в течение дня бульвары, Тюльерийский сад, площадь Согласия, Пале-Рояль, взобравшись даже на Вандомскую колонну, солидно и с видом habitué [2] пообедал у Вефура, а вечером отправился в Шато-де-флёр — посмотреть, в качестве наблюдателя, что такое в сущности «канкан» и как парижане исполняют этот танец. Самый танец не понравился Вязовнину; но одна из парижанок, исполнявших канкан, живая, стройная брюнетка с вздернутым носом и бойкими глазами, ему понравилась. Он стал всё чаще и чаще возле нее останавливаться, менялся с нею сперва взглядами, потом улыбками, потом словами... Полчаса спустя она уже ходила с ним под руку, сказала ему son petit nom: Julie [3], и намекала на то, что она голодна и что ничего не может быть лучше ужина à la Maison d'or, dans un petit cabinet particulier [4]. Борис Андреич сам вовсе не был голоден, да и ужин в обществе мамзель Жюли не входил в его соображения... «Однако если уже таков здесь обычай, — подумал он, — то, я полагаю, надо будет отправиться». — Partons! [5] — проговорил он громко, но в то же мгновенье кто-то весьма больно наступил ему на ногу. Он вскрикнул, обернулся и увидал перед собою господина средних лет, приземистого, плечистого, в тугом галстухе, в статском, доверху застегнутом сюртуке и широких панталонах военного покроя. Надвинув шляпу на самый нос, из-под которого двумя маленькими каскадами ниспадали крашеные усы, и оттопырив карманы панталон большими пальцами волосатых рук, господин этот, по всем признакам пехотный офицер, в упор

---

[1] до востребования *(франц.)*.
[2] завсегдатая *(франц.)*.
[3] свое имя: Жюли *(франц.)*.
[4] в «Золотом доме», в маленьком отдельном кабинете *(франц.)*.
[5] Поедем! *(франц.)*.

уставился на Вязовнина. Выражение его желтых глаз, его жестких, плоских щек, его синеватых выпуклых скул, всего его лица, было очень дерзко и грубо.

— *Вы* наступили мне на ногу? — проговорил Вязовнин.

— Oui, monsieur[1].

— Но в таких случаях... люди извиняются.

— А если я не хочу извиняться перед вами, monsieur le Moscovite?[2]

Парижане тотчас узнают русских.

— Вы, стало быть, желали меня оскорбить? — спросил Вязовнин.

— Oui, monsieur: форма вашего носа мне не нравится.

— Fi, le gros jaloux![3] — пролепетала мамзель Жюли, для которой пехотный офицер, по-видимому, не был чужим человеком.

— Но тогда...— начал Вязовнин, как бы недоумевая...

— Вы хотите сказать,— подхватил офицер,— тогда надо драться. Конечно. Очень хорошо-с. Вот моя карточка.

— А вот моя,— отвечал Вязовнин, не переставая недоумевать и, словно во сне, с смутным биением сердца выскребывая только что купленным для часовой брелоки золотым карандашиком на глянцевитой бумаге своей визитной карточки слова: Hôtel des Trois Monarques[4], № 46.

Офицер кивнул головой, объявил, что будет иметь честь прислать своих секундантов к m-r... m-r... (он поднес карточку Вязовнина к своему правому глазу) m-r de Vazavononin, и повернулся спиной к Борису Андреичу, который тут же покинул Шато-де-флёр. Мамзель Жюли попыталась удержать его — но он очень холодно посмотрел на нее... Она немедленно от него отвернулась и долго потом, присев в стороне, что-то объясняла сердитому офицеру, который по-прежнему не вынимал руки из панталон, водил усами и не улыбался.

---

[1] Да, сударь *(франц.)*.
[2] господин россиянин? *(франц.)*.
[3] Фи, толстый ревнивец! *(Франц.)*
[4] Гостиница Трех монархов *(франц.)*.

Выйдя на улицу, Вязовнин под первым попавшимся газовым рожком вторично и с бо́льшим вниманием прочел врученную ему карточку. На ней стояли следующие слова: Alexandre Lebœuf, capitaine en second au 83-me de ligne[1].

«Неужели это может иметь какие-нибудь последствия? — думал он, возвратившись в свою гостиницу.— Неужели я точно буду драться? и из-за чего? и на другой же день после моего приезда в Париж! Какая глупость!» Он начал было письмо к Верочке, к Петру Васильичу — и тотчас разорвал и бросил начатые листы. «Вздор! комедия!» — повторил он и лег спать. Но мысли его приняли другой оборот, когда на следующее утро, за завтраком, явились к нему двое господ, весьма похожих на мосье Лебёфа, только помоложе (все французские пехотные офицеры на одно лицо), и, объявив свои имена (одного звали m-r Lecoq, другого m-r Pinochet — оба служили лейтенантами «au 83-me de ligne»[2]), отрекомендовали себя Борису Андреичу в качестве секундантов «de notre ami, m-r Lebœuf»[3], присланных им для принятия нужных мер, так как их приятель, мосье Лебёф, никаких извинений не допустит. Вязовнин вынужден был, с своей стороны, объявить господам офицерам, приятелям мосье Лебёфа, что, будучи совершенным новичком в Париже, он еще не успел осмотреться и запастись секундантом («Ведь одного достаточно?» — присовокупил он. «Совершенно достаточно»,— ответствовал мосье Пиноше), и потому он должен попросить господ офицеров дать ему часа четыре сроку. Господа офицеры переглянулись, пожали плечами, однако согласились и встали с мест.

— Si monsieur le désire[4],— проговорил внезапно господин Пиноше, остановившись перед дверью (из двух секундантов он был, очевидно, самый бойкий на язык и ему было поручено вести переговоры — мосье Лекок только похрюкивал одобрительно),— si monsieur le désire,— повторил он (тут Вязовнину вспомнился мосье Галиси, его московский куафер, который часто употреб-

[1] Александр Лебёф, штабс-капитан 83-го линейного полка *(франц.)*.
[2] г-н Лекок... г-н Пиноше... «в 83-м линейном» *(франц.)*.
[3] «нашего друга, господина Лебёфа» *(франц.)*.
[4] Если вам, сударь, угодно *(франц.)*.

лял эту фразу),— мы можем отрекомендовать одного из офицеров нашего полка — le lieutenant Barbichon, un garçon très dévoué[1], который, наверное, согласится оказать услугу «à un gentleman» [2] (господин Пиноше выговорил это слово на французский лад: жантлеман) — вывести его из затруднения и, став вашим секундантом, примет ваши интересы к сердцу — prendra à cœur vos intérêts.

Вязовнин сперва изумился подобному предложению, но, сообразив, что у него в Париже нет знакомых, поблагодарил господина Пиноше и сказал, что будет ожидать господина Барбишона. И господин Барбишон не замедлил явиться. Этот garçon très dévoué[3] оказался чрезвычайно юркой и деятельной личностью. Объявив, что «cet animal de Lebœuf n'en fait jamais d'autres... c'est un Othello, monsieur, un véritable Othello»[4],— он спросил Вязовнина: «N'est-ce pas, vous désirez que l'affaire soit sérieuse?»[5] — и, не дождавшись ответа, воскликнул: «C'est tout ce que je désirais savoir! Laissez-moi faire»[6].

И точно: он так живо повел дело, так горячо принял к сердцу интересы Вязовнина, что два часа спустя бедный Борис Андреич, отроду не умевший фехтовать, уже стоял на самой середине зеленой полянки в Венсенском лесу, со шпагой в руке, с засученными рукавами рубашки и без сюртука, в двух шагах от своего также разоблачившегося противника. Яркое солнце освещало эту сцену. Вязовнин никак не мог отдать себе ясного отчета в том, как он сюда попал; он продолжал твердить про себя: «Как это глупо! как это глупо!» — и совестно ему становилось, словно он участвовал в какой-то плоской шалости,— и неловкая, внутрь затаенная улыбка не сходила у него с души, а глаза его не могли оторваться от низкого лба, от остриженных под гребенку черных волос торчавшего перед ним француза.

---

[1] лейтенанта Барбишона, очень преданного малого *(франц.)*.
[2] «джентльмену» *(англ.)*.
[3] очень преданный малый *(франц.)*.
[4] «эта скотина Лебёф никогда иначе не поступает... это Отелло, сударь, настоящий Отелло» *(франц.)*.
[5] «Вы, конечно, желаете, чтобы дело было всерьез?» *(Франц.)*
[6] «Это всё, что мне хотелось знать! Предоставьте мне действовать» *(франц.)*.

— Tout est prêt,— раздался картавый голос.— Allez![1] — пропищал другой.

Лицо господина Лебёфа приняло выражение не столько озлобленное, сколько хищное, Вязовнин замахал шпагой... (Пиноше уверил его, что незнание фехтовального искусства дает ему великие преимущества, des grands avantages!) и вдруг произошло нечто необыкновенное. Что-то стукнуло, топнуло, сверкнуло — Вязовнин почувствовал в груди, с правой стороны, присутствие какой-то холодной, длинной палки... Он хотел отпихнуть ее, сказать «Не надо!», но он уже лежал на спине и испытывал ощущение странное, почти смешное: точно ему из всего тела зуб хотели вытащить... Потом земля тихонько поплыла под ним... Первый голос сказал: «Tout s'est passé dans les règles, n'est-ce pas, messieurs?»[2] Второй отвечал: «Oh, parfaitement!»[3] — И бух! всё кругом полетело и провалилось... «Верочка!» — едва успел тоскливо подумать Вязовнин...

К вечеру «преданный малый» привез его в гостиницу des Trois Monarques[4] — а в ночь его не стало. Вязовнин отправился в тот край, откуда еще не возвращалось ни одного путешественника. Он не пришел в себя до самой смерти и только раза два пролепетал: «Я сейчас вернусь... это ничего... теперь в деревню...» Русский священник, за которым послал хозяин, дал обо всем знать в наше посольство — и «несчастный случай с приезжим русским» дня через два уже стоял во всех газетах.

Трудно и горько было Петру Васильичу сообщить Верочке письмо ее мужа; но когда дошло до него известие о гибели Вязовнина, он совсем потерялся. Первый прочел о ней в газетах Михей Михеич и тотчас же вместе с Онуфрием Ильичом, с которым опять успел сойтись, поскакал к Петру Васильичу. Он, как водится, еще в передней закричал: «Вообразите, какое несчастье!» и т. д. Петр Васильич долго не хотел ему верить; но когда уже не осталось возможности сомневаться, он, переждав целый день, отправился к Верочке. Один вид

[1] Всё готово... Сходитесь! *(Франц.)*

[2] «Всё произошло по правилам, не правда ли, господа?» *(Франц.)*

[3] «О, совершенно!» *(Франц.)*

[4] Трех монархов *(франц.)*.

его, уничтоженный и убитый, до того испугал ее, что она чуть устояла на ногах. Он хотел было приготовить ее к роковой вести, но силы ему изменили — он сел и сквозь слезы залепетал:

— Он умер, умер...

Прошел год. От корней срубленного дерева идут новые отпрыски, самая глубокая рана зарастает, жизнь так же сменяет смерть, как и сама сменяется ею,— и сердце Верочки отдохнуло понемногу и зажило.

Притом же ни Вязовнин не принадлежал к числу людей незаменимых (да и есть ли такие люди?), ни Верочка не была способна посвятить себя навек одному чувству (да и есть ли такие чувства?). Она вышла за Вязовнина без принуждения и без восторга, была ему верна и предана, но не отдалась ему вся, горевала о нем искренно, но не безумно... чего же более? Петр Васильич не переставал к ней ездить; он по-прежнему был ее самым близким другом, и потому нисколько не удивительно, что, оставшись однажды наедине с нею, он глянул ей в лицо и преспокойно предложил ей быть его женою... Она улыбнулась в ответ и протянула ему руку. Жизнь их после свадьбы продолжалась точно так же, как и прежде: в ней нечего было переменять. С тех пор уже прошло около десяти лет. Старик Барсуков живет вместе с ними и, не разлучаясь ни на шаг с своими внуками — у него их уже трое: две девочки и один мальчик,— с каждым годом молодеет. С ними он даже разговаривает, особенно с своим любимцем внуком, кудрявым и черноглазым мальчишкой, названным в честь его Степаном. Маленький плут очень хорошо знает, что дедушка в нем души не чает, и вследствие этого позволяет себе передразнивать его, как он ходит по комнате и восклицает «Брау, брау!». Эта шалость всегда возбуждает большую веселость в целом доме. Бедный Вязовнин до нынешнего дня не забыт. Петр Васильич чтит его память, всегда с особенным чувством отзывается о нем и при каждом удобном случае непременно скажет, что вот это-то любил покойник, такую-то имел он привычку. Петр Васильич, его жена, все его домашние проводят время очень однообразно — мирно и тихо; они наслаждаются счастием... потому что на земле другого счастия нет.

ЗАТИШЬЕ

I

В довольно большой, недавно выбеленной комнате господского флигеля, в деревне Сасове, —го уезда, Т... губернии, сидел за старым покоробленным столиком, на деревянном узком стуле молодой человек в пальто и рассматривал счеты. Две стеариновые свечки, в дорожных серебряных шандалах, горели перед ним; в одном углу на лавке стоял открытый погребец, в другом — слуга устанавливал железную кровать. За низкой перегородкой ворчал и шипел самовар; собака ворочалась на только что принесенном сене. В дверях стоял мужик в новом армяке, подпоясанный красным кушаком, с большой бородой и умным лицом, по всем признакам староста; он внимательно глядел на сидевшего молодого человека. У одной стены стояло очень ветхое крошечное фортепьяно, возле столь же древнего комода с дырами вместо замков; между окнами виднелось темное зеркальце; на перегородке висел старый, почти весь облупившийся портрет напудренной женщины в роброне и с черной ленточкой на тонкой шее. Судя по заметной кривизне потолка и покатости щелистого пола, флигелек, в который мы ввели читателя, существовал давным-давно; в нем никто постоянно не жил, он служил для господского приезда. Молодой человек, сидевший за столом, был именно владелец деревни Сасовой. Он только накануне прибыл из главного своего имения, отстоящего верст за сто оттуда, и на другой же день собирался уехать, окончивши осмотр хозяйства, выслушавши требования крестьян и поверив все бумаги.

— Ну, однако, довольно,— промолвил он, приподняв голову,— устал. Ты теперь можешь идти,— прибавил он, обращаясь к старосте,— а завтра приходи пораньше, да с утра повести мужиков, чтобы на сходку явились, слышишь?

— Слушаю.

— Да земскому вели мне ведомость за последний месяц представить. Однако ты хорошо сделал,— продолжал барин, оглянувшись,— что стены выбелил. Всё как будто чище.

Староста молча тоже оглянул стены.

— Ну, теперь ступай.

Староста поклонился и вышел.

Барин потянулся.

— Эй! — крикнул он.— Дайте мне чаю... Пора спать.

Слуга отправился за перегородку и скоро вернулся с стаканом чаю, связкой городских котёлок и сливочником на железном подносе. Барин принялся пить чай, но не успел он отхлебнуть двух глотков, как в соседней комнате послышался стук вошедших людей и чей-то пискливый голос спросил:

— Владимир Сергеич Астахов дома? Можно их видеть?

Владимир Сергеич (так именно звали молодого человека в пальто) с недоумением посмотрел на своего человека и торопливым шёпотом проговорил:

— Поди узнай, кто это?

Человек вышел и прихлопнул за собой плохо затворявшуюся дверь.

— Доложи Владимиру Сергеичу,— раздался тот же пискливый голос,— что сосед их Ипатов желает их видеть, буде не обеспокоит; да со мной еще приехал другой сосед, Бодряков, Иван Ильич, тоже желают почтение свое засвидетельствовать.

Невольное движение досады вырвалось у Владимира Сергеича. Однако, когда слуга его вошел в комнату, он сказал ему:

— Проси.

И он встал в ожидании гостей.

Дверь отворилась, и появились гости. Один из них, плотный седой старичок, с круглой головкой и светлыми глазками, шел впереди; другой, высокий, худощавый мужчина лет тридцати пяти, с длинным смуглым лицом и беспорядочными волосами, выступал, переваливаясь, сзади. На старичке был опрятный серый сюртук с большими перламутровыми пуговицами; розовый галстучек, до половины скрытый отложным воротничком белой ру-

башки, свободно обхватывал его шею; на ногах у него красовались штиблеты, приятно пестрели клетки его шотландских панталон, и вообще он весь производил впечатление приятное. Его товарищ, напротив, возбуждал в зрителе чувство менее выгодное; на нем был черный старый фрак, застегнутый наглухо; штаны его, из толстого зимнего трико, подходили под цвет его фрака; ни около шеи, ни у кистей рук не виднелось белья. Старичок первый приблизился к Владимиру Сергеичу и, любезно поклонившись, заговорил тем же тоненьким голоском:

— Честь имею рекомендоваться — ближайший ваш сосед и даже родственник, Ипатов, Михайло Николаич. Давно желал иметь удовольствие с вами познакомиться. Надеюсь, что не обеспокоил.

Владимир Сергеич ответил, что он очень рад и сам желал... и что беспокойства никакого нет и не угодно ли сесть... чаю выкушать.

— А этот дворянин,— продолжал старичок, выслушав с приветной улыбкой недомолвленные речи Владимира Сергеича и протянув руку в направлении господина во фраке,— тоже ваш сосед... и мой хороший знакомый, Бодряков, Иван Ильич, сильно желал с вами познакомиться.

Господин во фраке, по лицу которого никто бы не предположил, чтобы он чего-нибудь мог сильно пожелать в своей жизни — до того рассеянно и в то же время сонливо было выражение этого лица,— господин во фраке поклонился неловко и вяло. Владимир Сергеич поклонился ему в ответ и вторично попросил гостей присесть.

Гости сели.

— Очень рад,— начал старичок, приятно расставив руки, между тем как его товарищ принялся, слегка раскрыв рот, оглядывать потолок,— очень рад, что имею, наконец, честь видеть вас лично. Хотя вы постоянным жительством вашим и обретаетесь в довольно отдаленном от здешних мест уезде, однако мы считаем вас тоже своим, коренным, так сказать, владельцем.

— Мне это очень лестно,— возразил Владимир Сергеич.

— Лестно ли, нет ли, а оно так. Вы, Владимир Сергеич, извините, мы здесь, в —ом уезде, народ пря-

мой, по простоте живем: говорим, что думаем, без обиняков. У нас даже, скажу вам, на именины друг к другу ездят не иначе, как в сюртуках. Право! Так уж у нас заведено. В соседних уездах нас за это сюртучниками называют и даже упрекают якобы в дурном тоне, но мы на это и внимания не обращаем! Помилуйте, в деревне жить — да еще чиниться?

— Конечно, что может быть лучше... в деревне... этой натуральности в обращении,— заметил Владимир Сергеич.

— А между тем,— возразил старичок,— и у нас в уезде живут люди, можно сказать, умнейшие, европейски образованные люди, хоть и фраков не носят. Вот хоть бы, например, историк наш, Евсюков, Степан Степаныч: он российской историей с самых древнейших времен занимается и в Петербу́рге известен, ученейший человек! В городе нашем старинное шведское ядро, знаете... там оно среди площади поставлено... ведь это он его открыл. Как же! Центелер, Антон Карлыч... тот естественную историю изучил: впрочем, говорят, эта наука всем немцам далась. Когда у нас, лет десять тому назад, забежавшую гиену убили, так ведь это Антон Карлыч открыл, что она действительно была гиена, по причине особенного устройства ее хвоста. Вот еще Кабурдин есть у нас, помещик; тот больше легкие статейки пишет; очень бойкое у него перо, в «Галатее» есть его статейки. Бодряков... не Иван Ильич, нет, Иван Ильич этим неглижирует, а другой Бодряков, Сергей... как бишь его по батюшке-то, Иван Ильич... как бишь?

— Сергеич,— подхватил Иван Ильич.

— Да, Сергей Сергеич,— тот стихами занимается. Ну, конечно, не Пушкин, а иногда так отбреет, что хоть бы в столице. Вы его эпиграмму на Агея Фомича знаете?

— На какого Агея Фомича?

— Ах, извините; я всё забываю, что вы все-таки не здешний житель. На нашего исправника. Очень смешная вышла эпиграмма. Иван Ильич, ты, кажется, ее помнишь?

— Агей Фомич,— равнодушно заговорил Бодряков,—

...недаром славно
Дворянским выбором почтен...

— Надо вам сказать,— перебил Ипатов,— что его выбрали почти что одними белыми шарами, ибо человек он наидостойнейший.

— Агей Фомич,— повторил Бодряков,—

> ...недаром славно
> Дворянским выбором почтен:
> Он пьет и кушает исправно...
> Так как же не исправник он?

Старичок засмеялся.

— Хе-хе-хе! а ведь недурно? С тех пор, поверите ли вы, всякий из нас скажет, например, Агею Фомичу: здравствуйте — и уж непременно прибавит: «Так как же не исправник он?» И Агей Фомич, вы думаете, сердится? Нисколько. Нет — у нас этого и в заведении нет. Вот спросите хоть Ивана Ильича.

Иван Ильич только глазами повел.

— Сердиться за шутку, как это можно! Вот хоть бы Иван Ильич, его у нас прозывают Складная Душа, потому что он весьма скоро на всё соглашается. Что ж? разве Иван Ильич за это обижается? Никогда!

Иван Ильич посмотрел, медленно мигая, сперва на старичка, потом на Владимира Сергеича.

Название «Складная Душа», действительно, очень шло к Ивану Ильичу. В нем и следа не было того, что называется волей или характером. Всякий, кто только хотел, мог увести его с собой куда угодно; стоило только сказать ему: Иван Ильич, поедемте,— он брал шапку и ехал; а подвернись тут другой и скажи ему: Иван Ильич, останьтесь,— он клал шапку и оставался. Нрава он был миролюбивого и тихого, весь свой век прожил холостяком, в карты не играл, но любил сидеть возле играющих и глядеть им по очереди в лица. Без общества он жить не мог и уединения не переносил; он тогда впадал в уныние; впрочем, это с ним случалось очень редко. За ним водилась еще одна особенность: встав рано поутру с постели, он вполголоса напевал старинный романс:

> В деревне некогда барон
> Жил с деревенской простотою...

Вследствие этой особенности Ивана Ильича его прозывали также щу́ром; известно, что щур в клетке поет

только раз в течение дня, рано поутру. Таков был Иван Ильич Бодряков.

Разговор между Ипатовым и Владимиром Сергеичем продолжался довольно долго, но уже не в прежнем, так сказать, умозрительном направлении. Старичок расспрашивал Владимира Сергеича об его имении, о состоянии его лесных и других дач, об усовершенствованиях, которые он уже ввел или только намеревался ввести в своем хозяйстве; сообщил ему несколько своих собственных наблюдений, посоветовал, между прочим, для истребления луговых кочек обсыпать их кругом овсом, что будто бы побуждает свиней срывать их своими носами, и т. п. Наконец, однако, заметив, что у Владимира Сергеича слипались глаза и в самых словах проявлялась некоторая медлительность и бессвязность, старичок встал и, любезно поклонившись, объявил, что он не намерен более стеснять своим присутствием, но что надеется иметь удовольствие видеть у себя дорогого гостя не позже завтрашнего дня к обеду.

— А в мою деревню,— прибавил он,— не говорю уже малое дитя, первая встречная, смею сказать, курица или баба вам дорогу укажет, стоит только спросить Ипатовку. Лошади сами добегут.

Владимир Сергеич отвечал с небольшой, впрочем свойственной ему запинкой, что постарается... что если ничего не воспрепятствует...

— Нет, уж мы вас будем ждать наверное,— перебил его ласково старичок, крепко пожал ему руку и проворно вышел, воскликнув у двери в полуоборот,— без церемонии!

Складная Душа Бодряков поклонился молча и исчез вслед за своим товарищем, предварительно споткнувшись на пороге.

Проводив нежданных гостей, Владимир Сергеич тотчас разделся, лег в постель и заснул.

Владимир Сергеич Астахов принадлежал к числу людей, которые, осторожно попытавши свои силы на двух-трех различных поприщах, сами говорят о себе, что решились, наконец, взглянуть на жизнь с практической точки зрения и посвящают досуг умножению своих доходов. Он был не глуп, довольно скуп и очень рассудителен, любил чтение, общество, музыку, но всё в меру... и держал себя очень прилично. Ему было всего

двадцать семь лет. Подобных ему молодых людей развелось в последнее время много. Он был среднего роста, хорошо сложен, черты лица имел приятные, но мелкие: выражение их почти никогда не менялось, глаза его глядели всегда одним и тем же сухим и светлым взором; лишь изредка смягчался он легким оттенком не то грусти, не то скуки; учтивая улыбка почти не покидала его губ. Волосы у него были прекрасные, белокурые, шелковистые и в длинных завитках. За Владимиром Сергеичем считалось около шестисот душ хорошего имения, и он думал о браке, браке по наклонности, но в то же время выгодном. Особенно хотелось ему сыскать жену со связями. Он находил, что у него недостаточно было связей. Словом, он заслуживал вошедшее недавно в моду название джентльмена.

Вставши на другое утро, по обыкновению, очень рано, джентльмен наш занялся делами, и, должно отдать ему справедливость, занялся ими довольно дельно, что не всегда можно сказать про молодых практических людей у нас на Руси. Он терпеливо выслушал сбивчивые просьбы и жалобы мужиков, удовлетворил их насколько мог, разобрал возникшие споры и несогласия между родными, одних усовестил, на других прикрикнул, проверил отчет земского, вывел на свежую воду две-три плутни старосты, словом — распорядился так, что и сам остался собою доволен и крестьяне, возвращаясь со сходки ко дворам, отзывались о нем хорошо. Несмотря на слово, данное накануне Ипатову, Владимир Сергеич решился было обедать дома и даже заказал своему походному повару любимый рисовый суп с потрохами, но вдруг, быть может вследствие чувства довольства, наполнившего его душу с утра, остановился посреди комнаты, ударил себя рукою по лбу и не без некоторой удали громко воскликнул: «А поеду-ка я к этому старому краснобаю!» Сказано — сделано; чрез полчаса он уже сидел в своем новеньком тарантасе, запряженном четвернею добрых крестьянских лошадей, и ехал в Ипатовку, до которой считалось не более двенадцати верст отличной дороги.

II

Усадьба Михаила Николаевича Ипатова состояла из двух отдельных господских домиков, построенных друг против друга по обеим сторонам огромного проточного пруда. Длинная плотина, обсаженная серебристыми тополями, замыкала этот пруд; почти в уровень с ней виднелась красная крыша небольшой мельницы-колотовки. Построенные одинаково, выкрашенные одной лиловой краской, домики, казалось, переглядывались через широкую водную гладь блестящими стеклами своих маленьких чистых окон. Посредине каждого из домиков выдавалась круглая терраса и возвышался острый фронтон, подпертый четырьмя тесно поставленными белыми колоннами. Вокруг всего пруда шел старинный сад: липы тянулись по нем аллеями, стояли сплошными купами; заматерелые сосны с бледно-желтыми стволами, темные дубы, великолепные ясени высоко поднимали там и сям свои одинокие верхушки; густая зелень разросшихся сиреней и акаций подступала вплоть до самых боков обоих домиков, оставляя открытыми одни их передние стороны, от которых бежали вниз по скатам извилистые, убитые кирпичом дорожки. Пестрые утки, белые и серые гуси плавали отдельными станицами по светлой воде пруда: он никогда не зацветал благодаря обильным ключам, бившим в его «голове» со дна крутого и каменистого оврага. Местоположение усадьбы было хорошо: приветливо, уединенно и красиво.

В одном из двух маленьких домиков жил сам Михаил Николаевич; в другом жила его мать, дряхлая старуха лет семидесяти. Взъехавши на плотину, Владимир Сергеич не знал, к какому дому направиться. Он оглянулся — дворовый мальчик удил рыбу, стоя босиком на полусгнившей коряге. Владимир Сергеич окликнул его.

— Да вам к кому, к старой барыне аль к барчуку? — возразил мальчик, не сводя глаз с поплавка.

— К какой барыне? — ответил Владимир Сергеич.— Я к Михайлу Николаичу.

— А! к барчуку? Ну так ступайте направо.

И мальчик дернул удочкой и вытащил из неподвижной воды небольшого серебристого карася. Владимир Сергеич отправился направо.

Михаил Николаич играл в шашки со Складной Душою, когда ему доложили о приезде Владимира Сергеича. Он очень обрадовался, вскочил с кресел, выбежал в переднюю и в передней трижды с ним облобызался.

— Вы меня застаете с моим неизменным приятелем, Владимир Сергеич,— заговорил словоохотливый старичок,— с Иваном Ильичом, который, скажу мимоходом, совершенно очарован вашей обходительностью. (Иван Ильич молча глянул в угол.) Он был так добр, остался со мной в шашки играть, а мои все пошли в сад гулять, но я сейчас за ними пошлю...

— Да зачем же беспокоить...— начал было Владимир Сергеич.

— Какое беспокойство, помилосердуйте. Эй, Ванька, сбегай за барышнями скорей... скажи, гость, мол, пожаловал. А каково вам здешняя местность нравится, ведь недурна, не правда ли? Кабурдин стихи на нее сочинил. «Ипатовка, приют любезный», так начинается,— дальше тоже хорошо, только не всё помню. Сад велик, вот беда, не по средствам. А эти два дома, столь между собой схожие, как вы изволили, может быть, заметить, были построены двумя братьями, отцом моим Николаем и дядей Сергеем; они же и сад развели, друзья были примерные... Дамон и... вот тебе на! забыл, как другого звали...

— Пифион,— заметил Иван Ильич.

— Полно, так ли? Ну всё равно. (Дома старик говорил гораздо развязнее, чем в гостях.) Вам, Владимир Сергеич, вероятно, небезызвестно, что я вдовец, лишился жены; старшие детки в казенных заведениях, а со мной только две меньшеньких, да свояченица живет, женина сестра, вот вы ее сейчас увидите. Да что ж это я вас ничем не потчую. Иван Ильич, распорядись, братец, насчет закуски... Какую вы водку предпочитать изволите?

— Я до обеда ничего не пью.

— Помилуйте, как это можно! А впрочем, как вам будет угодно. Гостю воля, гостю честь. Ведь здесь у нас по простоте. Здесь у нас, осмелюсь так выразиться, не то чтобы захолустье, а затишье, право, затишье, уединенный уголок — вот что! Но что же вы не сядете?

Владимир Сергеич сел, не выпуская из рук шляпы.

— Позвольте вас облегчить,— проговорил Ипатов и,

деликатно отняв у него шляпу, отнес ее в угол, потом возвратился, с ласковой улыбкой посмотрел гостю в глаза и, не зная, что бы такое сказать ему приятное, спросил его самым радушным образом, любит ли он играть в шашки?

— Я плохо играю во все игры,— ответил Владимир Сергеич.

— И это с вашей стороны прекрасно,— возразил Ипатов,— но шашки это не игра, а скорее забава, препровождение праздного времени; не так ли, Иван Ильич?

Иван Ильич взглянул на Ипатова равнодушным взглядом, словно думая про себя: «А чёрт их знает — игра ли она или забава», но погодя немного он промолвил:

— Да; шашки — ничего.

— Вот, говорят, шахматы другое дело,— продолжал Ипатов,— говорят, это игра претрудная. Но по-моему... а, да вот и мои идут! — перебил он сам себя, взглянув в полурастворенную стеклянную дверь, выходившую в сад.

Владимир Сергеич встал, обернулся и увидал сперва двух девочек лет около десяти, в розовых ситцевых платьицах и больших шляпах, проворно взбегавших по ступеням террасы; вскоре за ними появилась девушка лет двадцати, высокого роста, полная и стройная, в темном платье. Все они вошли в комнату, девочки чинно присели перед гостем.

— Вот-с, рекомендую,— проговорил хозяин,— мои дочки-с. Эту вот Катей зовут-с, а эту Настей, а эта вот моя свояченица, Марья Павловна, о которой я уже имел удовольствие вам говорить. Прошу любить да жаловать.

Владимир Сергеич поклонился Марье Павловне; она ответила ему едва заметным наклонением головы.

Марья Павловна держала в руке большой раскрытый нож; ее густые русые волосы слегка растрепались, небольшой зеленый листок запутался в них, коса выбилась из-под гребня, смуглое лицо зарумянилось, и красные губы раскрылись: платье казалось измятым. Она дышала быстро; глаза ее блестели; видно было, что она работала в саду. Она тотчас же вышла из комнаты, девочки побежали за ней.

— Туалет-с немножко в порядок привести,— заме-

тил старик, обращаясь к Владимиру Сергеичу,— без этого нельзя-с.

Владимир Сергеич осклабился ему в ответ и слегка задумался. Марья Павловна его поразила. Давно не видывал он такой прямо русской, степной красоты. Она скоро вернулась, села на диван и осталась неподвижной. Волосы свои она убрала, но платья не переменила, не надела даже манжеток. Черты ее лица выражали не то чтобы гордость, а суровость, почти грубость; лоб ее был широк и низок, нос короток и прям; ленивая и медленная усмешка изредка кривила ее губы; презрительно хмурились ее прямые брови. Она почти постоянно держала свои большие темные глаза опущенными. «Я знаю,— казалось, говорило ее неприветное молодое лицо,— я знаю, что вы все на меня смотрите, ну смотрите, надоели!» Когда же она поднимала свои глаза, в них было что-то дикое, красивое и тупое, напоминавшее взор лани. Сложена она была великолепно. Классический поэт сравнил бы ее с Церерой или Юноной.

— Что вы делали в саду? — спросил ее Ипатов, желавший вовлечь ее в разговор.

— Сухие сучья резали и копали гряды,— отвечала она голосом несколько низким, но приятным и звучным.

— И что ж, вы устали?

— Дети устали; я нет.

— Я знаю,— возразил с улыбкой старик,— ты у меня настоящая Бобелина! А у бабушки были?

— Были; она почивает.

— Вы любите цветы? — спросил ее Владимир Сергеич.

— Люблю.

— Отчего ты шляпы не надеваешь, когда выходишь? — заметил ей Ипатов,— посмотри, как ты раскраснелась и загорела.

Она молча провела рукой по лицу. Руки у ней были невелики, но немного широки и довольно красны. Она не носила перчаток.

— И садоводство вы любите? — опять спросил ее Владимир Сергеич.

— Да.

Владимир Сергеич принялся рассказывать, какой у него в соседстве прекрасный сад у богатого помещика Н *.

— Главный садовник, немец, одного жалованья получает две тысячи рублей серебром,— сказал он между прочим.

— А как зовут этого садовника? — спросил вдруг Иван Ильич.

— Не помню, кажется Мейер или Миллер. А вам на что?

— Так-с,— ответил Иван Ильич.— Фамилию узнать.

Владимир Сергеич продолжал свой рассказ. Девочки, дочери Михайла Николаича, вошли, тихонько сели и тихонько стали слушать...

Слуга показался в дверях и доложил, что Егор Капитоныч приехал.

— А! проси, проси! — воскликнул Ипатов.

Вошел старичок низенький и толстенький, из породы людей, называемых коротышками или карандашами, с пухлым и в то же время сморщенным личиком вроде печеного яблока. На нем была серая венгерка с черными шнурками и стоячим воротником; его широкие плисовые шаровары, кофейного цвета, оканчивались далеко выше щиколок.

— Здравствуйте, почтеннейший Егор Капитоныч,— воскликнул Ипатов, идя ему навстречу,— давненько мы с вами не видались.

— Да что,— возразил Егор Капитоныч картавым и плаксивым голосом, раскланявшись предварительно со всеми присутствовавшими,— ведь вы знаете, Михаил Николаич, свободный ли я человек?

— А чем же вы не свободный человек, Егор Капитоныч?

— Да как же, Михаил Николаич, семейство, дела... А тут еще Матрена Марковна.

И он махнул рукой.

— А что ж Матрена Марковна?

И Ипатов слегка подмигнул Владимиру Сергеичу, как бы желая заранее возбудить его внимание.

— Да, известно,— возразил Егор Капитоныч, садясь,— всё мною недовольна, будто вы не знаете? Что я ни скажу, всё не так, не деликатно, не прилично. А почему не прилично, господь бог знает. И барышни, дочери мои то есть, туда же, с матери пример берут. Я не говорю, Матрена Марковна прекраснейшая женщина, да уж очень строга насчет манер.

— Да чем же ваши манеры дурны, Егор Капитоныч, помилуйте?

— Я и сам то же думаю, да, видно, ей угодить мудрено. Вчера, например, говорю я за столом: Матрена Марковна (и Егор Капитоныч придал голосу своему самое вкрадчивое выражение), Матрена Марковна, говорю я, что это, как Алдошка лошадей не бережет, ездить не умеет, говорю; вороного-то жеребца совсем закачало. И-их, Матрена Марковна как вспыхнет, как примется стыдить меня: выражаться ты, дескать, прилично не умеешь в дамском обществе; барышни тотчас из-за стола повскакали, а на другой день бирюлевским барышням, жениным племянницам, уже всё известно. А чем я дурно выразился? посудите сами. И что бы я ни сказал, иногда неосторожно, точно,— с кем этого не бывает, особенно дома,— бирюлевским барышням на другой день уже всё известно. Просто не знаешь, как быть. Иногда сижу я этак, думаю с своей манерой,— я, вы, может, знаете, дышу тяжело,— Матрена Марковна опять меня стыдить примется: не сопи, говорит, кто нынче сопит! Что ты бранишься, говорю я, Матрена Марковна, помилуй, надо соболезновать, а ты бранишься. Уж я теперь дома больше не думаю. Сижу и на низ всё так гляжу. Ей-богу. А то еще, на днях, спать мы ложились: Матрена Марковна, говорю я, что ты это, матушка, своего казачка как избаловала, ведь он, говорю, поросенок этакой, хоть бы в воскресенье лицо-то вымыл. Что ж? Ведь, кажется, далеко, нежно сказал, а и тут не потрафил, опять начала меня Матрена Марковна стыдить: не умеешь, говорит, в дамском обществе держать себя, а на другой день бирюлевским барышням всё известно. Где уж тут о выездах думать, Михаил Николаич?

— Это для меня удивительно, что вы говорить изволите,— возразил Ипатов,— я этого не ожидал от Матрены Марковны; кажется, она...

— Прекраснейшая женщина,— подхватил Егор Капитоныч,— примерная, можно сказать, супруга и мать, насчет манер только строга. Говорит, во всем нужен ансамбль, и будто у меня его нет. Я по-французски, вы знаете, не говорю, так только понимаю. Но какой же это ансамбль, которого у меня нет!

Ипатов, который сам не больно был силен во французском языке, только плечами пожал.

— А что ваши детки, сыновья то есть? — спросил он Егора Капитоныча немного погодя.

Егор Капитоныч посмотрел на него сбоку.

— Что сыновья, ничего. Я ими доволен. Барышни, те от рук отбились, а сыновьями я доволен. Леля служит хорошо, начальство его одобряет; Леля у меня ловкий ребенок. Ну Михец — тот не так: филантроп какой-то вышел.

— Отчего филантроп?

— Господь его знает, ни с кем не говорит, дичится. Матрена Марковна его больше конфузит. Что, говорит, с отца пример берешь-то? Ты его уважай, а в манерах подражай матери. Выравняется, пойдет и он.

Владимир Сергеич попросил Ипатова познакомить его с Егором Капитонычем. Между ними завязался разговор, Марья Павловна не принимала в нем участия; к ней подсел Иван Ильич, да и тот сказал ей всего слова два; девочки подошли к нему и начали что-то шёпотом рассказывать... Вошла ключница, худая старуха, повязанная темным платком, и объявила, что обед готов. Все отправились в столовую.

Обед продолжался довольно долго. Ипатов хорошего держал повара, и вина он выписывал недурные, хотя не из Москвы, а из губернского города. Ипатов жил, как говорится, в свое удовольствие. Душ за ним числилось не более трехсот, но он никому не был должен и именье привел в порядок. За столом разговаривал больше сам хозяин; Егор Капитоныч ему вторил, но в то же время не забывал себя: кушал и пил на славу. Марья Павловна всё молчала, лишь изредка отвечая полуулыбками на торопливые речи двух девочек, сидевших по обоим ее бокам; они, по-видимому, очень ее любили; Владимир Сергеич пытался несколько раз заговорить с нею, однако без особенного успеха. Складная Душа Бодряков даже ел лениво и вяло. После обеда все пошли на террасу пить кофе. Погода была прекрасная; из сада несло сладким запахом лип, стоявших тогда в полном цвету; летний воздух, слегка охлажденный густою тенью деревьев и влажностью близкого пруда, дышал какой-то ласковой теплотой. Вдруг из-за тополей плотины примчался конский топот, и спустя мгновенье показалась всад-

ница в длинной амазонке и круглой серой шляпе, на гнедой лошади; она ехала галопом, казачок скакал сзади ее на небольшом белом клеппере.

— А! — воскликнул Ипатов,— Надежда Алексеевна едет — вот приятный сюрприз.

— Одна? — спросила Марья Павловна, стоявшая до того мгновенья неподвижно у дверей.

— Одна... видно, Петра Алексеича что-нибудь задержало.

Марья Павловна глянула исподлобья, краска разлилась по ее лицу, она отворотилась.

Между тем всадница въехала через калитку в сад, подскакала к террасе и легко спрыгнула на землю, не дождавшись ни своего казачка, ни Ипатова, который направился было к ней навстречу. Проворно подобрав подол своей амазонки, вбежала она по ступеням и, вскочив на террасу, весело воскликнула:

— Вот и я!

— Милости просим! — промолвил Ипатов.— Вот неожиданно-то, вот мило. Позвольте поцеловать вашу ручку...

— Извольте,— возразила гостья,— только стащите перчатку сами. Я не могу.— И, протянув ему руку, кивнула головой Марье Павловне.— Маша, вообрази, брат не будет сегодня,— сказала она с маленьким вздохом.

— Я и так вижу, что его нет,— вполголоса отвечала Марья Павловна.

— Он велел тебе сказать, что занят. Ты не сердись. Здравствуйте, Егор Капитоныч; здравствуйте, Иван Ильич. Здравствуйте, дети... Вася,— прибавила гостья, обратившись к своему казачку,— вели хорошенько проводить Красавчика, слышишь. Маша, дай мне, пожалуйста, булавку, шлейф приколоть... Михаил Николаич, подите-ка сюда.

Ипатов подошел к ней поближе.

— Кто это новое лицо? — спросила она его довольно громко.

— Это сосед, Астахов, Владимир Сергеевич, знаете, чье Сасово. Хотите, я вас с ним познакомлю?

— Хорошо... после. Ах, какая прекрасная погода,— продолжала она.— Егор Капитоныч, скажите, Матрена Марковна неужели даже в такую погоду ворчит?

— Матрена Марковна не ворчит ни в какую погоду, сударыня, а она только строга насчет манер...

— А что делают бирюлевские барышни? Не правда ли, на другой день уже всё им известно...

И она засмеялась звонким и серебристым смехом.

— Вы всё изволите смеяться,— возразил Егор Капитоныч.— Впрочем, когда же и смеяться, как не в ваши года.

— Егор Капитоныч, милый, не сердитесь! Ах, я устала, позвольте сесть...

Надежда Алексеевна опустилась в кресла и шаловливо надвинула шляпу на самые глаза.

Ипатов подвел к ней Владимира Сергеича.

— Позвольте, Надежда Алексеевна, представить вам соседа нашего, господина Астахова, о котором вы, вероятно, много слышали.

Владимир Сергеич поклонился, а Надежда Алексеевна посмотрела на него из-под околышка своей круглой шляпы.

— Надежда Алексеевна Веретьева, наша соседка,— продолжал Ипатов, обращаясь к Владимиру Сергеичу.— Живет здесь с братцем своим, Петром Алексеичем, отставным гвардии поручиком. Большая приятельница моей свояченице и вообще к нашему дому благоволит.

— Целый формулярный список,— промолвила с усмешкой Надежда Алексеевна, по-прежнему поглядывая на Владимира Сергеича из-под шляпы.

А Владимир Сергеич между тем думал про себя: «Да ведь и эта прехорошенькая». И точно, Надежда Алексеевна была очень милая девица. Тоненькая и стройная, она казалась гораздо моложе, чем была на самом деле. Ей уже минул двадцать седьмой год. Лицо она имела круглое, головку небольшую, пушистые белокурые волосы, острый, почти нахально вздернутый носик и веселые, несколько лукавые глазки. Насмешливость так и светилась в них, так и зажигалась в них искрами. Черты лица ее, чрезвычайно оживленные и подвижные, принимали иногда выражение почти забавное; в них проглядывал юмор. Изредка, большей частью внезапно, тень раздумья набегала на ее лицо — тогда оно становилось кротким и добродушным, но долго предаваться раздумью она не могла. Она легко схватывала смешные стороны людей и порядочно рисовала карика-

туры. С самого рождения ее все баловали, и это тотчас можно было заметить: люди, избалованные в детстве, сохраняют особый отпечаток до конца жизни. Брат ее любил, хотя уверял, что она жалится не как пчела, а как оса, потому что пчела ужалит да и умрет, а осе ужалить ничего не значит. Это сравнение ее сердило.

— Вы надолго сюда приехали? — спросила она Владимира Сергеича, опустив глаза и вертя в руках хлыстик.

— Нет, я располагаю завтра же выехать отсюда.

— Куда?

— Домой.

— Домой? Зачем? смею спросить.

— Как зачем? Помилуйте, дома у меня дела есть, не терпящие отлагательства.

Надежда Алексеевна посмотрела на него.

— Разве вы такой... аккуратный человек?

— Я стараюсь быть аккуратным человеком,— возразил Владимир Сергеич.— В наше положительное время всякий порядочный человек *должен* быть положительным и аккуратным.

— Это совершенно справедливо,— заметил Ипатов.— Не правда ли, Иван Ильич?

Иван Ильич только глянул на Ипатова, а Егор Капитоныч промолвил:

— Да, это так.

— Жаль,— сказала Надежда Алексеевна,— а у нас именно недостает jeune premier [1]. Вы ведь умеете играть комедии?

— Я никогда не испытывал сил своих на этом поприще.

— Я уверена, что вы хорошо бы сыграли. У вас осанка такая... важная, это для нынешних jeune premier необходимо. Мы с братом собираемся завести здесь театр. Впрочем, мы не одни комедии будем играть, мы всё будем играть — драмы, балеты и даже трагедии. Чем Маша не Клеопатра или не Федра? Посмотрите-ка на нее.

Владимир Сергеич обернулся... Прислонившись головою к двери и скрестив руки, Марья Павловна задумчиво глядела вдаль... В это мгновенье ее стройные черты

[1] актера на роли первого любовника *(франц.)*.

действительно напоминали облики древних изваяний. Последних слов Надежды Алексеевны она не расслышала; но, заметив, что взгляды всех внезапно на нее устремились, она тотчас догадалась, в чем было дело, покраснела и хотела уйти в гостиную... Надежда Алексеевна проворно схватила ее за руку и, с кокетливой ласковостью котенка, притянула к себе и поцеловала эту почти мужскую руку. Марья Павловна вспыхнула еще ярче.

— Ты всё шалишь, Надя,— промолвила она.

— Разве я неправду про тебя сказала? Я готова сослаться на всех... Ну полно, полно, не буду. А я опять-таки скажу,— продолжала Надежда Алексеевна, обратившись к Владимиру Сергеичу,— жаль, что вы едете. Правда, есть у нас один jeune premier, сам навязывается, да уж очень плох.

— Кто такой? позвольте узнать.

— Бодряков, поэт. Где ж поэту быть jeune premier? Во-первых, он так одевается, что ужас, во-вторых, эпиграммы он пишет, а перед всякой женщиной, даже предо мной, представьте, робеет. Пришепетывает, одна рука у него всегда выше головы и уж не знаю что. Скажите, пожалуйста, мосьё Астахов, все ли поэты таковы?

Владимир Сергеич слегка выпрямился.

— Я ни одного из них не знал лично, да и, признаться, не искал никогда их знакомства.

— Да, ведь вы положительный человек. Придется взять Бодрякова, нечего делать. Другие jeune premier еще хуже. Этот по крайней мере роль наизусть выучит. Маша у нас, кроме трагических ролей, будет исполнять должность примадонны... Вы, мосьё Астахов, не слыхали, как она поет?

— Нет,— возразил, осклабясь, Владимир Сергеич,— я и не знал...

— Что с тобою сегодня, Надя? — заговорила с недовольным видом Марья Павловна.

Надежда Алексеевна вскочила.

— Ради бога, Маша, спой нам что-нибудь, пожалуйста... пожалуйста... Я от тебя не отстану, пока ты не споешь нам что-нибудь, Маша, душка. Я бы сама спела, чтобы занять гостя, да ведь ты знаешь, какой у меня нехороший голос. Зато, посмотри, как я славно буду тебе аккомпанировать.

Марья Павловна помолчала.

— От тебя не отделаешься,— сказала она наконец.— Ты, как избалованное дитя, привыкла исполнять все свои прихоти. Изволь, я буду петь.

— Браво, браво,— воскликнула Надежда Алексеевна и захлопала в ладоши.— Господа, пойдемте в гостиную. А что касается до прихотей,— прибавила она смеясь,— это тебе припомнится. Можно ли при незнакомых людях выставлять мои слабости? Егор Капитоныч, Матрена Марковна *так* вас стыдит при чужих?

— Матрена Марковна,— пробормотал Егор Капитоныч,— очень почтенная дама; только насчет манер...

— Ну пойдемте, пойдемте,— перебила его Надежда Алексеевна и вошла в гостиную.

Все отправились вслед за ней. Она сбросила с себя шляпу и села за фортепьяно. Марья Павловна стала возле стены, довольно далеко от Надежды Алексеевны.

— Маша,— проговорила она, подумав немного,— спой нам «Хлопец сее жито».

Марья Павловна запела. Голос у ней был чист и силен, и пела она хорошо — просто и без вычур. Все слушали ее с большим вниманием, а Владимир Сергеич не мог скрыть свое изумленье. Когда Марья Павловна кончила, он подошел к ней и начал ее уверять, что он никак не ожидал...

— Погодите, то ли еще будет! — перебила его Надежда Алексеевна.— Маша, потешу я твою хохлацкую душу, спой нам теперь «Гомин-гомин по дуброви...»

— Разве вы малоросска? — спросил ее Владимир Сергеич.

— Я родом из Малороссии,— отвечала она и принялась петь «Гомин-гомин...»

Сначала она выговаривала слова равнодушно, но заунывно-страстный, родной напев расшевелил понемногу ее самое, щеки ее покраснели, взор заблистал, голос зазвучал горячо. Она кончила.

— Боже мой! как ты это хорошо спела,— проговорила Надежда Алексеевна, склонясь над клавишами.— Как жаль, что брата здесь не было!

Марья Павловна тотчас опустила глаза и усмехнулась своей обычной, горькой усмешкой.

— А надо бы еще что-нибудь,— заметил Ипатов.

— Да, если б вы были так добры,— прибавил Владимир Сергеич.

— Извините меня, я больше петь сегодня не буду,— промолвила Марья Павловна и вышла вон из комнаты.

Надежда Алексеевна посмотрела ей вслед, сперва задумалась, потом улыбнулась, принялась наигрывать одним пальцем «Хлопец сее жито», потом вдруг заиграла блестящую польку и, не кончив ее, взяла громкий аккорд, захлопнула крышку фортепьян и встала.

— Жаль, что не с кем потанцевать,— воскликнула она,— вот бы кстати!

Владимир Сергеич подошел к ней.

— Какой чудесный голос у Марьи Павловны,— заметил он,— и с каким она чувством поет!

— А вы любите музыку?

— Да... очень.

— Такой ученый человек и любите музыку!

— Да почему же вы думаете, что я ученый?

— Ах, да; извините, я всё забываю, вы положительный человек. Куда же это ушла Маша? Постойте, я схожу за ней.

И Надежда Алексеевна выпорхнула вон из гостиной.

— Вертушка, как изволите видеть,— промолвил Ипатов, подходя к Владимиру Сергеичу,— но сердце добрейшее. И какое воспитание получила, вы не можете представить! На всех языках объясняется. Ну, люди они с состоянием, оно понятно.

— Да,— рассеянно произнес Владимир Сергеич,— очень любезная девица. Но, позвольте спросить, супруга ваша тоже родом была из Малороссии?

— Точно так-с. Покойница жена моя была малороссиянка, так же, как и сестра ее, Марья Павловна. Жена моя, сказать по правде, даже выговор не совсем имела чистый; хотя она российским языком владела в совершенстве, однако все-таки не совсем правильно изъяснялась; знаете там *и* за *ы*, да *ха*, да *же*; ну Марья Павловна, та еще в малых летах из родины выехала. А ведь малороссиянская кровь всё видна, не правда ли?

— Удивительно поет Марья Павловна,— заметил Владимир Сергеич.

— Действительно, недурно. А впрочем, что же это нам чаю не несут? И куда это барышни ушли? Пора чай пить.

Барышни возвратились нескоро. Между тем принесли самовар, накрыли стол для чаю. Ипатов послал за ними. Они пришли обе вместе. Марья Павловна села за стол разливать чай, а Надежда Алексеевна подошла к двери террасы и стала глядеть в сад. После светлого летнего дня наступил ясный и тихий вечер: заря пылала; до половины облитый ее багрянцем, широкий пруд стоял неподвижным зеркалом, величаво отражая в серебристой мгле своего глубокого лона и всю воздушную бездну неба, и опрокинутые, как бы почерневшие деревья, и дом. Всё замолкло кругом. Шума уже не было нигде.

— Посмотрите, как хорошо,— сказала Надежда Алексеевна подошедшему к ней Владимиру Сергеичу,— вон там, внизу, в пруде звезда зажглась подле огонька в доме; он красный, она золотая. А вот и бабушка едет,— прибавила она громко.

Из-за куста сирени показалась небольшая колясочка. Два человека везли ее. В ней сидела старуха, вся закутанная, вся сгорбленная, с головой, склоненной на самую грудь. Бахрома ее белого чепца почти совсем закрывала ее иссохшее и съеженное личико. Колясочка остановилась перед террасой. Ипатов вышел из гостиной, за ним выбежали его дочки. Они, как мышата, в течение всего вечера то и дело шныряли из комнаты в комнату.

— Доброго вечера желаю вам, матушка,— сказал Ипатов, подходя к старухе и возвысив голос.— Как вы себя чувствуете?

— Приехала посмотреть на вас,— глухо и с усилием проговорила старушка.— Вишь, какой славный вечер. День-то я спала, а теперь ноги заломили. Ох, мне эти ноги! Не служат, а болят.

— Позвольте, матушка, представить вам нашего соседа, господина Астахова, Владимира Сергеича.

— Очень рада,— возразила старуха, окинув его своими большими и черными, но уже потускневшими глазами.— Прошу полюбить моего сынка. Человек он хороший; воспитание я ему дала какое могла; известно, дело женское. Малодушие в нем еще есть, да, бог даст, поостепенится, а пора бы; пора мне сдать ему дела. Это вы, Надя,— прибавила старуха, взглянув на Надежду Алексеевну.

— Я, бабушка.
— А Маша чай разливает?
— Да, бабушка, разливает чай.
— А кто еще там?
— Иван Ильич да Егор Капитоныч.
— Матрены Марковны муж?
— Он, бабушка.
Старуха пожевала губами.
— Ну, хорошо. Да что, Миша, я никак старосты не добьюсь; вели ему прийти ко мне завтра пораньше, у меня с ним дела будет много. Без меня у вас, я вижу, всё не так идет. Ну, довольно, устала я, везите меня, вы... Прощайте, батюшка, имени и отчества не помню,— прибавила она, обратившись к Владимиру Сергеичу,— извините старуху. А вы, внучки, не провожайте меня. Не надо. Вам бы только всё бегать. Сидите, сидите да уроки твердите, слышите. Маша вас балует. Ну, ступайте.

С трудом приподнятая голова старушки опять упала к ней на грудь...

Колясочка тронулась и тихо укатилась.

— Сколько лет вашей матушке? — спросил Владимир Сергеич.

— Всего семьдесят третий год пошел; да вот уж двадцать шесть лет, как ноги у ней отнялись; это с ней случилось скоро после кончины покойного батюшки. А была красавицей.
Все помолчали.
Вдруг Надежда Алексеевна вздрогнула.
— Что это, летучая, кажется, мышь пролетела? Ах, какой ужас!
И она поспешно вернулась в гостиную.
— Пора мне домой ехать. Михаил Николаич, велите оседлать мою лошадь.

— И мне пора,— заметил Владимир Сергеич.

— Куда же вы? — промолвил Ипатов. — Переночуйте здесь. Надежде Алексеевне всего две версты ехать, а вам целых двенадцать. Да и вы, Надежда Алексеевна, куда спешите? Подождите месяца, он теперь скоро взойдет. Еще светлее будет ехать.

— Пожалуй,— сказала Надежда Алексеевна,— я давно не ездила при луне.

— А вы ночуете? — спросил Ипатов Владимира Сергеича.

— Я, право, не знаю... Впрочем, если я не стесню...

— Нисколько, помилуйте, я сейчас велю вам комнату приготовить.

— А ведь хорошо ехать верхом при луне,— заговорила Надежда Алексеевна, как только подали свечи, принесли чай и Ипатов с Егором Капитонычем засели играть в преферанс вдвоем, а Складная Душа безмолвно уселся возле них,— особенно по лесу, между кустами орешника. И жутко, и приятно, и какая странная игра света и тени — всё кажется, как будто кто-то крадется за вами или впереди...

Владимир Сергеич снисходительно осклабился.

— А то вот еще,— продолжала она,— случалось ли вам сидеть в теплую, темную, тихую ночь возле леса; мне всегда кажется тогда, что сзади, близко, над самым ухом, как будто двое горячо спорят чуть слышным шёпотом.

— Это кровь стучит,— проговорил Ипатов.

— Вы очень поэтически описываете,— заметил Владимир Сергеич.

Надежда Алексеевна посмотрела на него.

— Вы думаете?.. В таком случае Маше мои описания не понравились бы.

— Почему? разве Марья Павловна не любит поэзии?

— Нет; она находит, что всё это сочинено, всё неправда; этого-то она и не любит.

— Странный упрек! — воскликнул Владимир Сергеич.— Сочинено! да как же иначе? на что же после этого сочинители?

— Ну вот, подите; впрочем, ведь и вы не должны любить поэзии.

— Напротив, я люблю хорошие стихи, когда они действительно хороши и благозвучны и, как бы это сказать, представляют идеи, мысли...

Марья Павловна встала.

Надежда Алексеевна быстро обернулась к ней.

— Куда ты, Маша?

— Детей уложить. Девять часов скоро.

— Да разве без тебя они не лягут?

Но Марья Павловна взяла детей за руки и ушла с ними.

— Она сегодня не в духе,— заметила Надежда Алексеевна,— и я знаю отчего,— прибавила она вполголоса.— Но это пройдет.

— Позвольте спросить,— начал Владимир Сергеич,— вы зиму где намерены провести?

— Может быть, здесь, может быть — в Петербурге. Мне кажется, я в Петербурге соскучусь.

— В Петербурге-то, помилуйте! Как это возможно!

И Владимир Сергеич пустился описывать все удобства, все выгоды и прелести столичной жизни. Надежда Алексеевна слушала его со вниманием, не сводя с него глаз. Она словно изучала его черты и изредка посмеивалась про себя.

— Я вижу, вы очень красноречивы,— сказала она наконец,— придется прожить зиму в Петербурге.

— Вы не будете раскаиваться,— заметил Владимир Сергеич.

— Я никогда ни в чем не раскаиваюсь, не стоит труда. Сделал глупость, старайся поскорей забыть ее — вот и всё.

— Позвольте спросить,— заговорил после небольшого молчания Владимир Сергеич на французском языке,— вы давно знакомы с Марьей Павловной?

— Позвольте спросить,— возразила с быстрой усмешкой Надежда Алексеевна,— почему вы именно этот вопрос мне по-французски сделали?

— Так... без всякой особенной причины...

Надежда Алексеевна опять усмехнулась.

— Нет, я не очень давно ее знаю. А не правда ли, она замечательная девушка?

— Она очень оригинальна,— промолвил Владимир Сергеич сквозь зубы.

— А что — это в ваших устах, в устах положительных людей, похвала? Не думаю. Может быть, и я вам кажусь оригинальной? Однако,— прибавила она, поднимаясь с места и взглянув в раскрытое окно,— луна, должно быть, взошла, это ее отблеск над тополями. Пора ехать... Пойду прикажу оседлать Красавчика.

— Уж он оседлан-с,— проговорил казачок Надежды Алексеевны, выступая из тени сада в полосу света, падавшую на террасу.

— А! ну прекрасно! Маша, где же ты? приди проститься со мною.

Марья Павловна появилась из соседней комнаты. Мужчины встали из-за карточного стола.

— Так вы уж и едете? — спросил Ипатов.

— Еду, пора.

Она приблизилась к двери сада.

— Какая ночь! — воскликнула она,— подойдите, подставьте ей лицо; чувствуете вы, она как будто дышит? и какой запах! все цветы теперь проснулись. Они проснулись — а мы спать собираемся... Да, кстати, Маша,— прибавила она,— я ведь сказала Владимиру Сергеичу, что ты не любишь поэзии. А теперь прощайте... вот и лошадь мою ведут...

И она проворно сбежала по ступеням террасы, легко взобралась на седло, сказала «до завтра» и, ударив лошадь хлыстиком по шее, поскакала к плотине... Казачок пустился рысью за ней.

Все посмотрели ей вслед...

— До завтра! — раздался еще раз ее голос из-за тополей.

Стук копыт долго слышался в тишине летней ночи. Наконец Ипатов предложил вернуться в дом.

— Оно точно, хорошо на воздухе,— сказал он,— а надо же партию нашу доиграть.

Все послушались его. Владимир Сергеич начал расспрашивать Марью Павловну, почему она поэзии не любит.

— Мне стихи не нравятся,—возразила она как бы нехотя.

— Да вы, может быть, мало стихов читали.

— Я сама их не читала, а мне читали.

— И неужели ни одни вам не понравились?

— Ни одни.

— Даже Пушкина стихи?

— Даже Пушкина.

— Отчего?

Марья Павловна не отвечала, а Ипатов, оборотясь через спинку стула, заметил с добродушным смехом, что она не только стихов, но и сахару не любит и вообще ничего сладкого терпеть не может.

— Да ведь есть стихи не сладкие,— возразил Владимир Сергеич.

— Например? — спросила его Марья Павловна.

Владимир Сергеич почесал у себя за ухом... Он сам не много стихов знал на память, особенно не сладких.

— Да вот,— воскликнул он, наконец,— знаете вы «Анчар» Пушкина? Нет? Уж это стихотворение никак не может назваться сладким.

— Прочтите,— проговорила Марья Павловна и потупилась.

Владимир Сергеич сперва посмотрел в потолок, нахмурился, помычал немного про себя и, наконец, прочел «Анчар».

После первых четырех стихов Марья Павловна медленно подняла глаза, а когда Владимир Сергеич кончил, так же медленно сказала:

— Пожалуйста, прочтите опять.

— Стало быть, эти стихи вам понравились? — спросил Владимир Сергеич.

— Прочтите еще.

Владимир Сергеич повторил «Анчар». Марья Павловна встала, вышла в другую комнату и вернулась с листом бумаги, чернильницей и пером.

— Пожалуйста, напишите это для меня,— сказала она Владимиру Сергеичу.

— Извольте, с удовольствием,— возразил он, принимаясь писать,— но, признаюсь, я удивляюсь, отчего эти стихи могли вам так понравиться. Я их прочел собственно для того, чтобы показать вам, что не все стихи бывают сладкие.

— Признаюсь! — воскликнул Ипатов.— Что ты думаешь об этих стихах, Иван Ильич?

Иван Ильич, по своему обыкновению, только взглянул на Ипатова, но не вымолвил ни слова.

— Вот-с — готово,— произнес Владимир Сергеич, поставив восклицательный знак в конце последнего стиха.

Марья Павловна поблагодарила его и унесла исписанный листок к себе.

Через полчаса подали ужин, п через час все гости разошлись по своим комнатам. Владимир Сергеич неоднократно обращался к Марье Павловне, но вести разговор с ней было трудно, и рассказы его, казалось, не слишком ее занимали. Ложась спать, он много думал о ней и о Надежде Алексеевне. Впрочем, он бы, вероятно, скоро заснул, если б не помешал ему сосед, Егор Капи-

тоныч. Муж Матрены Марковны, уже совершенно раздевшись и лежа в постели, очень долго разговаривал с своим слугою, всё наставления ему читал. Каждое слово его явственно доходило до слуха Владимира Сергеича: одна тонкая перегородка их разделяла.

— Держи свечку перед своею грудью,— говорил Егор Капитоныч жалобным голосом,— держи так, чтобы я лицо твое мог видеть. Состарил ты меня, состарил, бессовестный ты человек, состарил совершенно.

— Да чем, помилуйте, состарил я вас, Егор Капитоныч?— послышался глухой и заспанный голос слуги.

— Чем? я скажу чем. Сколько раз я тебе говорил: Митька, говорил я тебе, когда ты со мной куда в гости поедешь, всегда забирай по две штуки каждого платья, особенно... держи свечку перед грудью... особенно нижнего. А сегодня что ты со мной сделал?

— Что-с?

— Что-с? Завтрашний день что я надену?

— Да то же, что и сегодня-с.

— Состарил ты меня, злодей, состарил. Я уж и сегодня не знал, куда от жары деться. Держи свечку перед грудью, говорят тебе, да не спи, когда барин с тобой беседует.

— Да и Матрена Марковна сказала-с, что довольно, мол, на что такую пропасть всегда с собой забираете. Только трется даром.

— Матрена Марковна... Разве это женское дело, в это входить? Состарили вы меня. Ох, состарили!

— Да и Яхим тоже говорил-с.

— Как ты сказал?

— Я говорю, Яхим тоже говорил-с.

— Яхим! Яхим! — повторил с укоризной Егор Капитоныч,— эх, состарили меня, окаянные, говорить порусски не умеют путем. Яхим! что за Яхим? Ефим, ну это куда еще не шло, сказать можно; для того, что настоящее, греческое имя есть Евфимий, понимаешь ты меня?.. держи свечку перед грудью... так для скорости, пожалуй, можно сказать Ефим, но уж никак не Яхим. Яхим! — прибавил Егор Капитоныч, напирая на букву *я*.— Состарили меня, злодеи. Держи свечку перед грудью!

И долго еще продолжал Егор Капитоныч наставлять слугу своего уму-разуму, несмотря на вздохи, по-

кашливанья и другие знаки нетерпения Владимира Сергеича...

Наконец он отпустил своего Митьку и заснул, но и от этого Владимиру Сергеичу не стало легче: Егор Капитоныч так сильно и густо храпел, с такими игривыми переходами от высоких тонов к самым низким, с такими присвистываниями и даже прищелкиваниями, что, казалось, сама перегородка вздрагивала ему в ответ; бедный Владимир Сергеич чуть не плакал. В отведенной ему комнате было очень душно, и перина, на которой он лежал, охватывала всё его тело каким-то ползучим жаром.

В отчаянье Владимир Сергеич, наконец, встал, раскрыл окно и с жадностью стал вдыхать благовонную ночную свежесть. Окно выходило в сад; на небе было светло, круглый лик полной луны то отражался ясно в пруде, то вытягивался в длинный золотой сноп медленно переливавшихся блесток. На одной из дорожек сада Владимир Сергеич увидал какую-то фигуру в женском платье, он пригляделся: это была Марья Павловна; в лучах луны лицо ее казалось бледным. Она стояла неподвижно и вдруг заговорила... Владимир Сергеич вытянул осторожно голову...

> Но человека человек
> Послал к анчару властным взглядом...—

дошло до его слуха...

«Каково,— подумал он,— стало быть, подействовали стишки...»

И он с удвоенным вниманием стал вслушиваться... Но Марья Павловна скоро умолкла и поворотила лицо свое еще прямее к нему; он мог различить ее темные большие глаза, ее строгие брови и губы...

Вдруг она вздрогнула, обернулась, вошла в тень, падавшую от сплошной стены высоких акаций, и исчезла. Владимир Сергеич постоял довольно долго у окна, потом, однако ж, лег, но заснул не скоро.

«Странное существо,— думал он, переворачиваясь с боку на бок,— а говорят, в провинции нет ничего особенного... Как бы не так! Странное существо! Спрошу ее завтра, что она делала в саду».

А Егор Капитоныч всё храпел по-прежнему.

III

На другое утро Владимир Сергеич проснулся довольно поздно и тотчас после общего чая и завтрака в столовой поехал к себе домой оканчивать свои хозяйственные распоряжения, как ни удерживал его старик Ипатов. Марья Павловна также присутствовала за чаем; однако Владимир Сергеич не счел за нужное расспрашивать ее об ее вчерашней поздней прогулке; он принадлежал к числу людей, которым тяжело предаваться два дня сряду каким бы то ни было необычным мыслям и предположениям. Пришлось бы толковать о стихах, а так называемое «поэтическое» настроение весьма скоро его утомляло. Целый день до обеда он провел в поле, покушал с большим аппетитом, соснул и, проснувшись, взялся было за счеты земского; но, не окончивши первой страницы, велел заложить тарантас и отправился в Ипатовку. Видно, и положительные люди носят в груди не каменное сердце, и скучать не любят они так же, как и остальные, простые смертные.

Въезжая на плотину, услыхал он голоса и звуки музыки. У Ипатовых в доме хором пели русские песни. Он застал всё общество, оставленное им поутру, на террасе; все, и Надежда Алексеевна между прочими, сидели в кружке около мужчины лет тридцати двух, смуглого, черноволосого и черноглазого, в бархатной куртке, с небрежно повязанным красным платком на шее и гитарою в руках. Это был Петр Алексеевич Веретьев, брат Надежды Алексеевны. Увидавши Владимира Сергеича, старик Ипатов с радостным восклицанием пошел ему навстречу, подвел его к Веретьеву и представил их друг другу. Обменявшись с новым знакомым обычными приветствиями, Астахов почтительно поклонился его сестре.

— А мы, Владимир Сергеич, по-деревенски, песни поем,— начал Ипатов и, указывая на Веретьева, прибавил:— Петр Алексеич у нас запевала — и какой! вы извольте послушать.

— Это очень приятно,— возразил Владимир Сергеич.

— Не угодно ли присоединиться к хору? — спросила его Надежда Алексеевна.

— Душевно бы рад, да голосу нету.

— Это не беда! Посмотрите, и Егор Капитоныч поет,

и я пою. Тут только нужно подтягивать. Садитесь-ка; а ты, брат, начинай.

— Какую бы теперь нам песню спеть? — проговорил Веретьев, перебирая струны гитары и, остановившись вдруг, глянул на Марью Павловну, сидевшую возле него.— Теперь, кажется, очередь за вами,— сказал он ей.

— Нет, пойте вы,— возразила Марья Павловна.

— Вот есть песня «Вниз по матушке по Волге»,— промолвил с важностью Владимир Сергеич.

— Нет, эту мы к концу прибeрегаем,— отвечал Веретьев и, ударив по струнам, протяжно затянул: «Солнце на закате».

Он пел славно, бойко и весело. Его мужественное лицо, и без того выразительное, еще более оживлялось, когда он пел; изредка подергивал он плечами, внезапно прижимал струны ладонью, поднимал руку, встряхивал кудрями и соколом взглядывал кругом. Он в Москве не раз видал знаменитого Илью и подражал ему. Хор дружно ему подтягивал. Звучной струей отделялся голос Марьи Павловны ото всех других голосов; он словно вел их за собою; но одна она петь не хотела, запевалой до конца остался Веретьев.

Много других еще пели песен...

Между тем вместе с вечером надвигалась гроза. Уже с полудня парило и в отдалении всё погрохатывало; но вот широкая туча, давно лежавшая свинцовой пеленой на самой черте небосклона, стала расти и показываться из-за вершин деревьев, явственнее начал вздрагивать душный воздух, всё сильнее и сильнее потрясаемый приближавшимся громом; ветер поднялся, прошумел порывисто в листьях, замолк, опять зашумел продолжительно, загудел; угрюмый сумрак побежал над землею, быстро сгоняя последний отблеск зари; сплошные облака, как бы сорвавшись, поплыли вдруг, понеслись по небу; дождик закапал, молния вспыхнула красным огнем, и гром грянул тяжко и сердито.

— Уйдемте,— промолвил старик Ипатов.— А то промочит, пожалуй.

Все встали.

— Сейчас,— воскликнул Веретьев,— еще последнюю песню. Слушайте.

Ах вы, сени, мои сени,
Сени новые мои...—

запел он громким голосом, проворно забив всей рукой по струнам гитары. «Сени новые, кленовые»,— подхватил хор, как бы невольно увлеченный. Дождик почти в то же мгновенье хлынул ручьями; но Веретьев допел «Мои сени» до конца. Изредка заглушаемая ударами грома, удалая песенка казалась еще удалее под шумную дробь и журчанье дождя. Наконец раздался последний взрыв хора — и всё общество с хохотом вбежало в гостиную. Особенно громко смеялись девочки, дочери Ипатова, стряхивая с своих платьев дождевые брызги. Ипатов, однако же, для предосторожности, закрыл окно и запер дверь, и Егор Капитоныч его похвалил, заметив, что Матрена Марковна также всегда, во время грозы, всё приказывает запереть для того, что электричество способнее действует в пустом промежутке. Бодряков посмотрел ему в лицо, посторонился и уронил стул. Подобные маленькие несчастья случались с ним беспрестанно.

Гроза прошла очень скоро. Двери и окна снова раскрылись, и комнаты наполнились влажным благовонием. Принесли чай. После чаю старички уселись опять за карты. Иван Ильич к ним, по обыкновению, присоединился. Владимир Сергеич подошел было к Марье Павловне, сидевшей под окном с Веретьевым; но Надежда Алексеевна подозвала его к себе и тотчас вступила с ним в жаркий разговор о Петербурге и петербургской жизни. Она нападала на нее; Владимир Сергеич начал защищать ее. Надежда Алексеевна, казалось, старалась удержать его близ себя.

— О чем вы это спорите? — спросил Веретьев, вставая и приближаясь к ним.

Он лениво переваливался на ходу: во всех его движениях замечалась не то небрежность, не то усталость.

— Всё о Петербурге,— ответила Надежда Алексеевна.— Владимир Сергеич не нахвалится им.

— Город хороший,— заметил Веретьев,— а по-моему, везде хорошо. Ей-богу. Были бы две-три женщины, да, извините за откровенность, вино, и человеку, право, ничего не остается желать.

— Это меня удивляет,— возразил Владимир Сергеич,— неужели же вы действительно того мнения, что для образованного человека не существует...

— Может быть... точно... я с вами согласен,— пере-

бил его Веретьев, за которым, при всей вежливости, водилась привычка не дослушивать возражения,— но это не по моей части, я не философ.

— Да и я не философ,— ответил Владимир Сергеич,— и нисколько не желаю быть им; но тут речь идет совсем о другом.

Веретьев рассеянно глянул на свою сестру, а она, слегка усмехнувшись, нагнулась к нему и вполголоса прошептала:

— Петруша, душка, представь нам Егора Капитоныча, сделай одолженье.

Лицо Веретьева мгновенно изменилось и, бог ведает каким чудом, стало необыкновенно похоже на лицо Егора Капитоныча, хотя между чертами того и другого решительно не было ничего общего, и сам Веретьев едва только сморщил нос и опустил углы губ.

— Конечно,— начал он шептать голосом, совершенно напоминавшим голос Егора Капитоныча,— Матрена Марковна дама строгая насчет манер; но супруга зато примерная. Правда, что бы я ни сказал...

— Бирюлевским барышням всё известно,— подхватила Надежда Алексеевна, едва удерживая хохот.

— Всё на другой же день известно,— ответил Веретьев с такой уморительной ужимкой, с таким смущенным, косвенным взглядом, что даже Владимир Сергеич рассмеялся.

— У вас, я вижу, большой талант к подражанию,— заметил он.

Веретьев провел рукой по лицу, черты его приняли обычное выражение, а Надежда Алексеевна воскликнула:

— О, да! он всех умеет передразнить, кого только захочет... Он на это мастер.

— И меня бы, например, сумели представить? — спросил Владимир Сергеич.

— Еще бы! — возразила Надежда Алексеевна,— разумеется.

— Ах, сделайте одолжение, представьте меня,— промолвил Астахов, обращаясь к Веретьеву.— Я прошу вас, без церемоний.

— А вы ей и поверили? — ответил Веретьев, чуть-чуть прищурив один глаз и придав своему голосу звук астаховского голоса, но так осторожно и легко, что одна Надежда Алексеевна это заметила и прикусила губы,—

вы, пожалуйста, ей не верьте, она вам еще не то наскажет про меня.

— И какой он актер, если б вы знали,— продолжала Надежда Алексеевна,—всевозможные роли играет. Так чудесно! Он наш режиссер, и суфлер, и всё что хотите. Жаль, что вы скоро едете.

— Сестра, твое пристрастие тебя ослепляет,— произнес важным голосом, но всё с тем же оттенком, Веретьев.— Что подумает о тебе господин Астахов? Он сочтет тебя за провинциалку.

— Помилуйте...— начал было Владимир Сергеич.

— Петруша, знаешь что,— подхватила Надежда Алексеевна,— представь, пожалуйста, как пьяный человек никак не может достать платок из кармана, или нет, лучше представь, как мальчик муху на окне ловит и она у него жужжит под пальцами.

— Ты совершенное дитя,— отвечал Веретьев.

Однако он встал и, подойдя к окну, возле которого сидела Марья Павловна, начал водить рукой по стеклу и представлять, как мальчик ловит муху. Верность, с которой он подражал ее жалобному писку, была точно изумительна. Казалось, действительная, живая муха билась у него под пальцами. Надежда Алексеевна засмеялась, и понемногу все засмеялись в комнате. У одной лишь Марьи Павловны лицо не изменилось, губы даже не дрогнули Она сидела с опущенными глазами, наконец подняла их и, серьезно взглянув на Веретьева, промолвила сквозь зубы:

— Вот охота делать из себя шута.

Веретьев тотчас отвернулся от окна и, постояв немного посреди комнаты, вышел на террасу, а оттуда в сад, уже совершенно потемневший.

— Забавник этот Петр Алексеич! — воскликнул Егор Капитоныч, ударив с размаху козырной семеркой по чужому тузу.— Право, забавник!

Надежда Алексеевна встала и, торопливо подойдя к Марье Павловне, спросила ее вполголоса:

— Что ты сказала брату?

— Ничего,— ответила та.

— Как ничего, не может быть.

И погодя немного Надежда Алексеевна промолвила: «Пойдем!» — взяла Марью Павловну за руку и принудила ее встать и отправиться вместе с нею в сад.

Владимир Сергеич поглядел обеим девицам вслед не без недоумения. Впрочем, отсутствие их продолжалось недолго; через четверть часа они возвратились, и Петр Алексеич вошел вместе с ними.

— Какая прекрасная ночь! — воскликнула, входя, Надежда Алексеевна.— Как хорошо в саду!

— Ах, да, кстати,— промолвил Владимир Сергеич,— позвольте узнать, Марья Павловна, вас ли это я видел вчера в саду ночью?

Марья Павловна быстро взглянула ему в глаза.

— Еще вы, сколько я мог расслышать, декламировали «Анчар» Пушкина.

Веретьев слегка нахмурился и также принялся смотреть на Астахова.

— Это точно была я,— сказала Марья Павловна,— но только я ничего не декламировала: я никогда не декламирую.

— Может быть, мне показалось,— начал Владимир Сергеич,— однако...

— Вам показалось,— холодно промолвила Марья Павловна.

— Что это за «Анчар»? — спросила Надежда Алексеевна.

— А вы не знаете? — возразил Астахов.— Пушкина стихи «На почве чахлой и скупой», будто вы не помните?

— Не помню что-то... Этот анчар — ядовитое дерево?

— Да.

— Как датуры... Помнишь, Маша, как хороши были датуры у нас на балконе, при луне, с своими длинными белыми цветами. Помнишь, какой из них лился запах, сладкий, вкрадчивый и коварный.

— Коварный запах!— воскликнул Владимир Сергеич.

— Да, коварный. Чему вы удивляетесь? Он, говорят, опасен, а привлекает. Отчего злое может привлекать? Злое не должно бы быть красивым!

— Ого! какие умозрения! — заметил Петр Алексеич,— куда мы удалились от стихов!

— Я эти стихи прочел вчера Марье Павловне,— подхватил Владимир Сергеич,— и они ей чрезвычайно понравились.

— Ах, прочтите их, пожалуйста,— сказала Надежда Алексеевна.

— Извольте-с.

И Астахов прочел «Анчар».

— Слишком напыщенно,— произнес как бы нехотя Веретьев, как только Владимир Сергеич кончил.

— Стихотворение слишком напыщенно?

— Нет, не стихотворение... Извините меня, мне кажется, вы не довольно просто читаете. Дело говорит само за себя; впрочем, я могу ошибаться.

— Нет, ты не ошибаешься,— сказала Надежда Алексеевна с расстановкой.

— О, да ведь это известно! я в твоих глазах гений, даровитейший человек, который всё знает, всё бы мог сделать, да только лень, к несчастью, его одолевает: не правда ли?

Надежда Алексеевна только головой качнула.

— Я с вами не спорю, вы это лучше должны знать,— заметил Владимир Сергеич и немного надулся.— Это не по моей части.

— Я ошибся, извините,— поспешно произнес Веретьев.

Между тем игра кончилась.

— Ах, кстати,— заговорил Ипатов, вставая,— Владимир Сергеич, мне поручил один здешний помещик, сосед, прекраснейший и почтеннейший человек, Акилин, Гаврила Степаныч, просить вас, не сделаете ли вы ему честь, не пожалуете ли к нему на бал, то есть я это так, для красоты слога, говорю: бал, а просто на вечеринку с танцами, без церемоний? Он бы сам к вам непременно явился, да побоялся обеспокоить.

— Я очень благодарен господину помещику,— возразил Владимир Сергеич,— но мне непременно нужно ехать домой...

— Да ведь что вы думаете, когда бал-то? Ведь завтра бал. Гаврила Степаныч завтра именинник. Один день куда ни шел, а уж как вы его обрадуете! И всего отсюда десять верст. Если позволите, мы же вас и довезем.

— Я, право, не знаю,— начал Владимир Сергеич.— А вы едете?

— Всем семейством! И Надежда Алексеевна, и Петр Алексеич, все едут!

— Вы можете, если хотите, теперь же меня пригласить на пятую кадриль,— заметила Надежда Алексеевна.— Первые четыре уже разобраны.

— Вы очень любезны, а на мазурку вы уже приглашены?

— Я? Дайте вспомнить... нет, кажется, не приглашена.

— В таком случае, если вы будете так добры, я бы желал иметь честь...

— Стало быть, вы едете? Прекрасно. Извольте.

— Браво! — воскликнул Ипатов.— Ну, Владимир Сергеич, одолжили. Гаврила Степаныч просто в восторг придет. Не правда ли, Иван Ильич?

Иван Ильич хотел было, по неизменной привычке своей, промолчать, однако почел за лучшее произнести одобрительный звук.

— Что тебе была за охота,— говорил час спустя Петр Алексеич своей сестре, сидя с ней в легонькой таратайке, которой правил сам,— что тебе была за охота навязаться этому кисляю на мазурку?

— У меня на то свои планы,— возразила Надежда Алексеевна.

— Какие — позволь узнать?

— Это моя тайна.

— Ого!

И он слегка ударил бичом лошадь, которая начала было прясть ушами, фыркать и упираться. Ее пугала тень от большого ракитового куста, падавшая на дорогу, тускло озаренную месяцем.

— А ты танцуешь с Машей? — спросила Надежда Алексеевна в свою очередь брата.

— Да, — сказал он равнодушно.

— Да! да! — повторила Надежда Алексеевна с укоризной.— Вы, мужчины,— прибавила она помолчав,— решительно не стоите того, чтобы вас любили порядочные женщины.

— Ты думаешь? Ну, а этот петербургский кисляй, этот стоит?

— Скорее, чем ты.

— Вот как!

И Петр Алексеич проговорил со вздохом:

Что за комиссия, создатель,
Быть... братом выросшей сестры!

Надежда Алексеевна засмеялась.

— Много я тебе хлопот доставляю, нечего сказать. Мне так вот комиссия с тобою.

— Неужели? — я этого никак не подозревал.

— Я не насчет Маши говорю.

— На какой же счет?

Лицо Надежды Алексеевны слегка опечалилось.

— Ты сам знаешь, — проговорила она тихо.

— А, понимаю! Что делать-с, Надежда Алексеевна, люблю-с выпить с добрым приятелем, грешный человек, люблю-с.

— Полно, брат, пожалуйста, не говори так... Этим не шутят.

— Трам-трам-там-пум, — забормотал Петр Алексеич сквозь зубы.

— Это твоя погибель, а ты шутишь...

— «Хлопец сее жито, жинка каже мак», — громко запел Петр Алексеич, ударил вожжами лошадь, и она помчалась шибкой рысью.

IV

Приехавши домой, Веретьев не раздевался, и часа два спустя, заря только что начинала заниматься в небе, его уже не было в доме.

На полдороге между его имением и Ипатовкой, над самой кручью широкого оврага, находился небольшой березовый «заказ». Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов; негустая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики. Недавно вставшее солнце затопляло всю рощу сильным, хотя и не ярким светом; везде блестели росинки, кой-где внезапно загорались и рдели крупные капли; всё дышало свежестью, жизнью и той невинной торжественностью первых мгновений утра, когда всё уже так светло и так еще безмолвно. Только и слышались, что рассыпчатые голоса жаворонков над отдаленными поля-

ми, да в самой роще две-три птички, не торопясь, выводили свои коротенькие коленца и словно прислушивались потом, как это у них вышло. От мокрой земли пахло здоровым крепким запахом, чистый, легкий воздух переливался прохладными струями. Утром, славным летним утром веяло от всего, всё глядело и улыбалось утром, точно румяное, только что вымытое личико проснувшегося ребенка.

Невдалеке от оврага, посреди лужайки сидел на раскинутом плаще Веретьев. Марья Павловна стояла подле него, прислонясь к березе и заложив назад руки.

Они оба молчали. Марья Павловна неподвижно глядела вдаль; белый шарф скатился с ее головы на плечи, набегавший ветер шевелил и приподнимал концы ее наскоро причесанных волос. Веретьев сидел наклонившись и похлопывал веткой по траве.

— Что ж,— начал он наконец,— вы на меня сердитесь?

Марья Павловна не отвечала.

Веретьев взглянул на нее.

— Маша, вы сердитесь? — повторил он.

Марья Павловна окинула его быстрым взором, слегка отвернулась и промолвила:

— Да.

— За что? — спросил Веретьев и отбросил ветку.

Марья Павловна опять не отвечала.

— Впрочем, вы точно имеете право сердиться на меня,— начал Веретьев после небольшого молчанья.— Вы должны считать меня за человека не только легкомысленного, но даже...

— Вы меня не понимаете,— перебила Марья Павловна.— Я совсем не за себя сержусь на вас.

— За кого же?

— За вас самих.

Веретьев поднял голову и усмехнулся.

— А! понимаю! — заговорил он.— Опять! опять вас начинает тревожить мысль: отчего я ничего из себя не сделаю? Знаете что, Маша, вы удивительное существо, ей-богу. Вы так много заботитесь о других и так мало о себе самой. В вас эгоизма совсем нет, право. Другой такой девушки, как вы, на свете нет. Одно горе: я решительно не стою вашей привязанности; это я говорю не шутя.

— Тем хуже для вас. Чувствуете и ничего не делаете.

Веретьев опять усмехнулся.

— Маша, выньте из-за спины, дайте мне вашу руку,— проговорил он с ласковой вкрадчивостью в голосе.

Марья Павловна только плечом пожала.

— Дайте мне вашу красивую, честную руку, мне хочется облобызать ее почтительно и нежно. Так ветреный ученик лобызает руку своего снисходительного наставника.

И Веретьев потянулся к Марье Павловне.

— Полноте! — промолвила она.— Вы всё смеетесь да шутите, и прошутите так всю вашу жизнь.

— Гм! прошутить жизнь! Новое выражение! Ведь вы, Марья Павловна, я надеюсь, употребили глагол шутить — в смысле действительном?

Марья Павловна нахмурила брови.

— Полноте, Веретьев,— повторила она.

— Прошутить жизнь,— продолжал Веретьев и приподнялся,— а вы хуже моего распорядитесь, вы просурьезничаете всю вашу жизнь. Знаете, Маша, вы мне напоминаете одну сцену из пушкинского Дон-Жуана. Вы не читали пушкинского Дон-Жуана?

— Нет.

— Да, я ведь и забыл, вы стихов не читаете. Там к одной Лауре приходят гости, она их всех прогоняет и остается с одним, Карлосом. Они оба выходят на балкон, ночь удивительная. Лаура любуется, а Карлос вдруг начинает ей доказывать, что она со временем состарится. «Что ж, отвечает Лаура, теперь, может быть, в Париже холод и дождь, а здесь у нас „ночь лимоном и лавром пахнет“». Что загадывать о будущем? Оглянитесь, Маша, разве и здесь не прекрасно? Посмотрите, как всё радуется жизни, как всё молодо. И мы сами разве не молоды?

Веретьев приблизился к Марье Павловне, она не отодвинулась от него, но не повернула к нему головы.

— Улыбнитесь, Маша,— продолжал он,— только доброй вашей улыбкой, а не вашей обыкновенной усмешкой. Я люблю вашу добрую улыбку. Поднимите ваши гордые, строгие глаза. Что же вы? Вы отворачиваетесь? Протяните мне хоть руку.

— Ах, Веретьев,— начала Маша,— вы знаете, я

не умею говорить. Вы мне рассказали об этой Лауре Но ведь она женщина... Женщине простительно не думать о будущем.

— Когда вы говорите, Маша,— возразил Веретьев,— вы беспрестанно краснеете от самолюбия и стыдливости, кровь так и приливает алым потоком в ваши щеки, я ужасно это люблю в вас.

Марья Павловна взглянула прямо в глаза Веретьеву.

— Прощайте,— промолвила она и накинула шарф себе на голову.

Веретьев удержал ее.

— Полноте, полноте, подождите!— воскликнул он.— Ну, что вы хотите? Приказывайте! Хотите вы, чтобы я поступил на службу, сделался агрономом? Хотите, чтобы я издал романсы с аккомпанементом гитары, напечатал бы собрание стихотворений, рисунков, занялся бы живописью, ваяньем, плясаньем на канате? Всё, всё я сделаю, всё, что прикажете, лишь бы вы были мною довольны! Ну, право же, Маша, поверьте мне.

Марья Павловна опять взглянула на него.

— Всё это вы только на словах, не на деле. Вы уверяете, что слушаетесь меня.

— Конечно, слушаюсь.

— Слушаетесь, а вот я сколько раз вас просила...

— О чем?

Марья Павловна запнулась.

— Не пить вина,— промолвила она наконец.

Веретьев засмеялся.

— Эх, Маша, Маша! И вы туда же! Сестра моя тоже об этом убивается. Да, во-первых, я вовсе не пьяница; а во-вторых, знаете ли вы, для чего я пью? Посмотрите-ка вон на эту ласточку... Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом, куда хочет, туда его и бросит! Вон взвилась, вон ударилась книзу, даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, Маша, чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка... Швыряй себя куда хочешь, несись куда вздумается...

— Да к чему же это? — перебила Маша.

— Как к чему? — из чего же тогда жить?

— А разве без вина этого нельзя?

— Нельзя, все мы попорчены, измяты. Вот страсть... та такое же производит действие. Оттого-то я вас люблю.

— Как вино... покорно благодарю.

— Нет, Маша; я вас люблю не как вино. Постойте, я вам это докажу когда-нибудь, вот когда мы женимся и поедем с вами за границу. Знаете ли, я уже заранее думаю, как я приведу вас перед Милосскую Венеру. Вот кстати будет сказать:

> Стоит ли с важностью очей
> Перед Милосскою Киприлой —
> Их две, и мрамор перед ней
> Страдает, кажется, обидой...

Что это я сегодня всё говорю стихами? Это утро, должно быть, на меня действует. Что за воздух! точно вино пьешь.

— Опять вино,— заметила Марья Павловна.

— Что ж такое! Этакое утро да вы со мной, и не чувствовать себя опьяненным! «С важностью очей...» Да,— продолжал Веретьев, глядя пристально на Марью Павловну,— это так... А ведь я помню, я видал, редко, но видал эти темные великолепные глаза, я видал их нежными! И как они прекрасны тогда! Ну, не отворачивайтесь, Маша, ну по крайней мере засмейтесь... покажите мне глаза ваши хотя веселыми, если уже они не хотят удостоить меня нежным взглядом.

— Перестаньте, Веретьев,— проговорила Марья Павловна.— Пустите меня, мне пора домой.

— А ведь я вас рассмешу,— подхватил Веретьев,— ей-богу, рассмешу. Э, кстати, посмотрите, вон заяц бежит...

— Где? — спросила Марья Павловна.

— Вон за оврагом, по овсяному полю. Его, должно быть, кто-нибудь вспугнул; они по утрам не бегают. Хотите, я его остановлю сейчас?

И Веретьев громко свистнул. Заяц тотчас присел, повел ушами, поджал передние лапки, выпрямился, пожевал, пожевал, понюхал воздух и опять пожевал. Веретьев проворно сел на корточки, наподобие зайца, и стал водить носом, нюхать и жевать, как он. Заяц провел раза два лапками по мордочке, встряхнулся — они, должно быть, были мокры от росы,— уставил уши и покатил дальше. Веретьев потер себя руками по

щекам и также встряхнулся... Марья Павловна не выдержала и засмеялась.

— Браво!— воскликнул Веретьев и вскочил,— браво! Вот то-то и есть, вы не кокетка. Знаете ли, что если бы у какой-нибудь светской барышни были такие зубы, как у вас, она бы вечно смеялась! Но за то я и люблю вас, Маша, что вы не светская барышня, не смеетесь без нужды, не носите перчаток на ваших руках, которые и целовать оттого так весело, что они загорели и силу в них чувствуешь... Я люблю вас за то, что вы не умничаете, что вы горды, молчаливы, книг не читаете, стихов не любите...

— А хотите, я вам прочту стихи? — перебила его Марья Павловна, с каким-то особенным выражением в лице.

— Стихи? — спросил с изумлением Веретьев.

— Да, стихи, те самые, которые вчера читал этот петербургский господин.

— Опять «Анчар»?.. Так вы точно его декламировали в саду ночью? Он к вам идет... Но разве он так вам понравился?

— Да, понравился.

— Прочтите.

Марья Павловна застыдилась...

— Читайте, читайте,— повторил Веретьев.

Марья Павловна начала читать. Веретьев стал перед ней, скрестил руки на груди и принялся слушать. При первом стихе Марья Павловна медленно подняла глаза к небу, ей не хотелось встречаться взорами с Веретьевым. Она читала своим ровным, мягким голосом, напоминавшим звуки виолончели; но когда она дошла до стихов:

> И умер бедный раб у ног
> Непобедимого владыки...—

ее голос задрожал, недвижные, надменные брови приподнялись наивно, как у девочки, и глаза с невольной преданностью остановились на Веретьеве...

Он вдруг бросился к ее ногам и обнял ее колени.

— *Я* твой раб,— воскликнул он,— *я* у ног твоих, ты мой владыка, моя богиня, моя волоокая Гера, моя Медея...

Марья Павловна хотела оттолкнуть его; но руки ее замерли на густых его кудрях, и она, с улыбкой замешательства, уронила голову на грудь...

V

Гаврила Степаныч Акилин, у которого назначен был бал, принадлежал к числу помещиков, возбуждающих удивление соседей искусством жить хорошо и открыто при незначительных средствах. Имея не более четырехсот душ крестьян, он принимал всю губернию в огромных, им самим воздвигнутых каменных палатах с колоннами, башней и флагом на башне. Имение это досталось ему от отца и никогда не отличалось благоустройством; Гаврила Степаныч долго находился в отсутствии, служил в Петербурге; наконец, лет пятнадцать тому назад, вернулся он на родину в чине коллежского асессора, с женою и тремя дочерьми, в одно и то же время принялся за преобразования и за постройки, немедленно завел оркестр и начал давать обеды. Сначала все пророчили ему скорое и неминуемое разорение; не раз носились слухи о продаже имения Гаврилы Степаныча с молотка; но годы шли, обеды, балы, пирушки, концерты следовали друг за другом обычной чередой, новые строения, как грибы, вырастали из земли, а имение Гаврилы Степаныча с молотка все-таки не продавалось, и сам он поживал по-прежнему, даже потолстел в последнее время. Тогда толки соседей приняли другое направление; стали намекать на какие-то важные, будто бы утаенные суммы, заговорили о кладе... «И хотя бы хозяин он был хороший,— так рассуждали дворяне между собою,— а то ведь нет! нисколько! Вот ведь что удивления достойно и непонятно». Как бы то ни было, но к Гавриле Степанычу все ездили очень охотно: он принимал гостей радушно и в карты играл по какой угодно цене. Это был маленький, седенький человечек с вострой головкой, желтым лицом и желтыми глазами, всегда тщательно выбритый и надушенный одеколоном; он и в будни и в праздники носил просторный синий фрак, застегнутый доверху, большой галстух, в который имел привычку прятать подбородок, и щеголял бельем; он жмурил глаза и вытягивал губы, когда нюхал табак, и говорил весьма приветливо и

мягко, с беспрестанными слово-ериками. С виду Гаврила Степаныч не отличался бойкостью и вообще наружностью не брал и не глядел умницей, хотя по временам в его глазах светилось лукавство. Старших двух дочерей он выгодно пристроил, младшая оставалась еще в доме невестой. Была у Гаврилы Степаныча и жена, существо незначительное и бессловесное.

Владимир Сергеич в семь часов вечера явился к Ипатовым во фраке и белых перчатках. Он застал уже всех совершенно одетыми; девочки чинно сидели, боясь измять свои беленькие накрахмаленные платьица; старик Ипатов, увидя Владимира Сергеича во фраке, ласково попенял ему и указал на свой сюртук; на Марье Павловне было темно-розовое кисейное платье, которое очень шло к ней. Владимир Сергеич сказал ей несколько любезностей. Красота Марьи Павловны его привлекала, хотя она видимо его дичилась; Надежда Алексеевна ему тоже нравилась, но непринужденность ее обращения его несколько смущала. Притом в ее речах, взглядах, самых улыбках часто высказывалась насмешливость, и это беспокоило его столичную и благовоспитанную душу. Он бы не прочь был подтрунить с нею над другими, но ему неприятно было думать, что она в состоянии, пожалуй, посмеяться над ним самим.

Бал уже начался; гостей собралось довольно много, и доморощенный оркестр трещал, гудел и взвизгивал на хорах, когда семейство Ипатовых вместе с Владимиром Сергеичем вступило в залу акилинского дома. Хозяин встретил их у самых дверей, поблагодарил Владимира Сергеича за чувствительное доставление приятного сюрприза — так он выразился — и, взяв Ипатова под руку, повел его в гостиную, к карточным столам. Гаврила Степаныч воспитание получил плохое, и всё у него в доме, и музыка, и мебель, и кушанья, и вина, не только не могло назваться первостепенным, но даже и во вторую степень не годилось. Зато всего было вволю, и сам он не ломался, не кичился... Дворяне больше ничего от него и не требовали и оставались совершенно довольны его угощением. За ужином, например, подавали икру, нарезанную в кусочки и сильно посоленную; но никто не мешал брать ее пальцами, и запить ее было чем, правда, дешевеньким, но всё же виноградным вином, а не другим каким-либо напитком. Пружины в ме-

бели Гаврилы Степаныча были действительно несколько беспокойны по причине их неподатливости и тугости; но, не говоря уже о том, что во многих диванах и креслах пружин не было вовсе, всяк мог подложить под себя гарусную подушку, а подобных подушек, вышитых собственными руками супруги Гаврилы Степаныча, лежало везде многое множество — и тогда уже ничего не оставалось желать.

Словом, дом Гаврилы Степаныча пришелся как нельзя более под лад общежительному и бесцеремонному образу мыслей обитателей —го уезда, и единственно скромность г. Акилина была причиною тому, что на дворянских съездах в предводители избирался не он, а отставной майор Подпекин, человек тоже весьма почтенный и достойный, хотя он и зачесывал себе волосы на правый висок из-за левого уха, красил усы в лиловую краску и, страдая одышкой, в послеобеденное время впадал в меланхолию.

Итак, бал уже начался. Танцевали кадриль в десять пар. Кавалерами были офицеры близстоявшего полка, юные, а иные и не совсем юные помещики, два-три чиновника из города. Всё было как следует, всё шло своим порядком. Предводитель играл в карты с отставным действительным статским советником и богатым барином, владельцем трех тысяч душ. Действительный статский советник носил на указательном пальце перстень с алмазом, говорил очень тихо, не раздвигал соединенных каблуков ног своих, поставленных в положение, употребляемое танцорами прежних времен, и не поворачивал головы, до половины закрытой отличнейшим бархатным воротником; богатый барин, напротив, всё чему-то смеялся, поднимал брови и сверкал белками глаз. Поэт Бодряков, человек вида неуклюжего и дикого, разговаривал в углу с ученым историком Евсюковым; они оба держали друг друга за пуговицы. Возле них один дворянин, с необыкновенно длинной талией, излагал какие-то смелые мнения перед другим дворянином, с робостью смотревшим ему в лоб. Вдоль стен сидели маменьки в пестрых чепцах, у дверей жались господа простого покроя, молодые с смущенными, пожилые с смирными лицами; но всего не опишешь. Повторяем: всё было как следует.

Надежда Алексеевна приехала еще раньше Ипато-

вых: Владимир Сергеич увидал ее танцующею с молодым человеком красивой наружности, в щегольском фраке, с выразительными глазами, тонкими черными усиками и блестящими зубами; золотая цепочка висела полукругом у него на желудке. На Надежде Алексеевне было голубое платье с белыми цветами; небольшой венок из тех же цветов обвивал ее кудрявую головку; она улыбалась, играла веером, весело посматривала кругом; она чувствовала себя царицей бала. Владимир Сергеич подошел к ней, поклонился и, любезно заглянув ей в лицо, спросил ее, помнит ли она вчерашнее обещание?

— Какое обещание?

— Ведь вы со мною танцуете мазурку?

— Да, конечно, с вами.

Молодой человек, стоявший рядом с Надеждой Алексеевной, внезапно покраснел.

— Вы, mademoiselle, вероятно, забыли,— начал он,— что вы уже прежде дали мне слово на сегодняшнюю мазурку.

Надежда Алексеевна смешалась.

— Ах, боже мой, как же быть? — заговорила она,— извините меня, пожалуйста, мосьё Стельчинский, я такая рассеянная; мне, право, так совестно...

Мосьё Стельчинский ничего не отвечал и только глаза опустил; Владимир Сергеич слегка приосанился.

— Будьте так добры, мосьё Стельчинский,— продолжала Надежда Алексеевна,— мы ведь с вами старинные знакомые, а мосьё Астахов у нас чужой: не ставьте меня в затруднительное положение, позвольте мне танцевать с ним.

— Как вам угодно,— возразил молодой человек.— Однако вам начинать.

— Благодарствуйте,— промолвила Надежда Алексеевна и порхнула навстречу своему визави.

Стельчинский глянул ей вслед, потом посмотрел на Владимира Сергеича. Владимир Сергеич в свою очередь посмотрел на него и отошел в сторону.

Кадриль скоро кончилась. Владимир Сергеич походил немного по зале, потом направился в гостиную и остановился у одного из карточных столов. Вдруг он почувствовал, что кто-то сзади прикоснулся к его руке; он обернулся — перед ним стоял Стельчинский.

— Мне нужно с вами в соседнюю комнату на пару слов, если вы позволите,— промолвил он по-французски очень вежливо и с нерусским выговором.

Владимир Сергеич последовал за ним.

Стельчинский остановился у окна.

— В присутствии дамы,— начал он на том же языке,— я не мог сказать ничего другого, как то, что я сказал; но вы, я надеюсь, не думаете, что я действительно намерен уступить вам мое право на мазурку с mademoiselle Veretieff.

Владимир Сергеич изумился.

— Как так? — спросил он.

— Да так же-с,— спокойно отвечал Стельчинский, положил руку за пазуху и раздул ноздри.— Не намерен, да и только.

Владимир Сергеич тоже положил руку за пазуху, но ноздрей не раздул.

— Позвольте вам заметить, милостивый государь,— начал он,— вы чрез это можете вовлечь mademoiselle Veretieff в неприятность, и я полагаю...

— Мне самому это было бы крайне неприятно, но никто не мешает вам отказаться, объявить себя больным или уехать...

— Я этого не сделаю. За кого вы меня принимаете?

— В таком случае я вынужден буду требовать от вас удовлетворения.

— То есть в каком это смысле... удовлетворения?

— Известно в каком смысле.

— Вы меня вызовете на дуэль?

— Точно так-с, если вы не откажетесь от мазурки.

Стельчинский постарался выговорить эти слова как можно равнодушнее. У Владимира Сергеича сердце екнуло. Он посмотрел своему недуманному-негаданному противнику в лицо. «Фу ты, господи, какая глупость!» — подумал он.

— Вы не шутите? — произнес он громко.

— Я вообще не имею привычки шутить,— ответил с важностью Стельчинский,— и в особенности с людьми, мне незнакомыми. Вы не отказываетесь от мазурки? — прибавил он, помолчав немного.

— Не отказываюсь,— возразил Владимир Сергеич, как бы размышляя.

— Прекрасно! Мы завтра дерёмся.

— Очень хорошо.

— Завтра поутру мой секундант будет у вас.

И, учтиво поклонившись, Стельчинский удалился, видимо довольный собою.

Владимир Сергеич остался еще несколько мгновений у окна.

«Вот тебе на! — думал он,— вот тебе и новые знакомства! Нужно было приезжать! Хорошо! Славно!»

Однако он, наконец, оправился и вышел в залу.

В зале уже танцевали польку. Перед глазами Владимира Сергеича промелькнула Марья Павловна с Петром Алексеичем, которого он до того мгновения не заметил; она казалась бледной и даже печальной; потом пронеслась Надежда Алексеевна, вся светлая и радостная, с каким-то маленьким, кривоногим, но пламенным артиллеристом; на второй тур она пошла со Стельчинским. Стельчинский, танцуя, сильно встряхивал волосами.

— Что батюшка,— раздался вдруг за спиной Владимира Сергеича голос Ипатова,— только глядите, а сами не танцуете? А признайтесь-ка, даром что у нас, так сказать, затишье, ведь недурно и у нас, ась?

«Хорошо, к чёрту, затишье»,— подумал Владимир Сергеич и, пробормотав что-то в ответ Ипатову, отошел в другой угол залы.

«Надо будет секунданта сыскать,— продолжал он свои размышления,— а где его, к чёрту, найти? Веретьева нельзя, других я никого не знаю; чёрт знает что за нелепость такая!»

Владимир Сергеич, когда сердился, любил поминать чёрта.

В это мгновение глаза Владимира Сергеича упали на Складную Душу, Ивана Ильича, стоявшего в бездействии у окна.

«Уж не его ли? — подумал он и, пожав плечами, прибавил почти вслух:— Придется его».

Владимир Сергеич подошел к нему.

— Со мной очень странное происшествие сейчас случилось,— начал наш герой с натянутой улыбкой,— вообразите, меня какой-то незнакомый молодой человек на дуэль вызвал, отказаться нет никакой возможности, мне необходимо нужен секундант, не хотите ли вы?

Хотя Иван Ильич отличался, как известно, невозму-

тимым равнодушием, но такое необыкновенное предложение поразило и его. Полный недоумения, уставился он на Владимира Сергеича.

— Да,— повторил Владимир Сергеич,— я бы очень вам был обязан, я здесь ни с кем не знаком. Вы одни...

— Не могу,— промолвил Иван Ильич, словно просыпаясь,— совершенно не могу.

— Отчего же? Вы боитесь неприятностей, но, я надеюсь, всё это останется в тайне...

Говоря эти слова, Владимир Сергеич чувствовал сам, что краснел и смущался.

«Как глупо! как всё это ужасно глупо!» — мысленно твердил он в то же время.

— Извините меня, никак не могу,— повторил Иван Ильич, замотал головой и попятился, причем опять повалил стул.

В первый раз в жизни ему приходилось отвечать на просьбу отказом, да ведь и просьба же была какова!

— По крайней мере,— продолжал встревоженным голосом Владимир Сергеич, поймав его за руку,— вы уж сделайте одолжение, никому не говорите о том, что я вам сказал, я вас покорнейше прошу об этом.

— Это я могу, это я могу,— поспешно возразил Иван Ильич,— а то не могу, воля ваша, решительно не в состоянии.

— Ну хорошо, хорошо,— промолвил Владимир Сергеич,— но не забудьте, я надеюсь на вашу скромность... Я объявлю завтра этому господину,— пробормотал он про себя с досадой,— что я не мог найти секунданта, пусть он сам распорядится, как знает, я здесь человек чужой. И чёрт меня дернул обратиться к этому господину! Да что же было делать?

Владимиру Сергеичу было очень и очень не по себе.

Между тем бал продолжался. Владимир Сергеич весьма бы желал уехать тотчас, но до конца мазурки нечего было думать об отъезде. Как дать восторжествовать противнику? К несчастью Владимира Сергеича, танцами распоряжался один молодой развязный господин, с длинными волосами и впалой грудью, по которой, в виде маленького водопада, извивался черный атласный галстух, проколотый огромной золотой булавкой. Молодой этот господин слыл по всей губернии за человека, до тонкости изучившего все обычаи и уставы

высшего света, хотя он в Петербурге прожил всего шесть месяцев и выше домов коллежского советника Сандараки и зятя его статского советника Костандараки проникнуть не успел. На всех балах танцами распоряжался он, подавал музыкантам знак хлопаньем в ладоши, посреди воя труб и визга скрипок кричал: «En avant deux!»[1], или: «Grande chaine!»[2], или «A vous, mademoiselle!»[3], и то и дело летал, стремительно скользя и шаркая, по зале, весь бледный и в поту. Мазурку он никогда раньше полуночи не начинал. «И это милость,— говорил он,— я бы вас в Петербурге до двух часов проморил». Длинен показался этот бал Владимиру Сергеичу. Он бродил, как тень, из залы в гостиную, изредка обмениваясь холодными взглядами с своим соперником, не пропускавшим ни одного танца, попросил было Марью Павловну на кадриль, но она уже была приглашена,— и раза два перекинулся словами с заботливым хозяином, которого, казалось, беспокоила скука, написанная на лице нового гостя. Наконец, загремела желанная мазурка. Владимир Сергеич отыскал свою даму, принес два стула и сел с ней в последних парах, почти напротив Стельчинского.

В первую пару сел, как оно и следовало ожидать, молодой человек, распорядитель. С каким лицом он начал мазурку, как поволок за собой свою даму, как ударял притом ножкой в пол и вздергивал головой — описать всё это едва ли не выше пера человеческого.

— А вы, мосьё Астахов, мне кажется, скучаете?— начала Надежда Алексеевна, внезапно обратясь к Владимиру Сергеичу.

— Я? Нисколько. Почему вам это кажется?

— Да так, по выражению вашего лица... Вы, с тех пор как приехали, ни разу не усмехнулись. Я этого от вас не ожидала. Вам, господам положительным людям, нейдет дичиться и хмуриться à la Byron[4]. Предоставьте это сочинителям.

— Я замечаю, Надежда Алексеевна, что вы часто называете меня положительным человеком, как бы в

---

[1] «Двое вперед!» *(франц.)*.
[2] «Большая цепь!» *(франц.)*.
[3] «Ваша очередь, сударыня!» *(франц.)*.
[4] по-байроновски *(франц.)*.

насмешку. Вы, должно быть, считаете меня холоднейшим и благоразумнейшим существом, не способным ни на что такое... А знаете ли, что я вам доложу: положительному человеку часто бывает очень нелегко на сердце, но он не считает нужным выказывать перед другими, что у него там, внутри, происходит; он предпочитает молчать.

— Что вы хотите сказать этим? — спросила Надежда Алексеевна, окинув его взором.

— Ничего-с,— возразил с притворным равнодушием Владимир Сергеич и принял таинственный вид.

— Однако?

— Право, ничего... Когда-нибудь узнаете, после.

Надежда Алексеевна хотела было продолжать свои расспросы, но в это мгновенье девица, хозяйская дочь, подвела к ней Стельчинского и другого кавалера в синих очках.

— Жизнь или смерть? — спросила она ее по-французски.

— Жизнь! — воскликнула Надежда Алексеевна,— я не хочу еще смерти.

Стельчинский наклонился; она пошла с ним.

Кавалер в синих очках, назвавшийся смертью, пошел с хозяйской дочерью. Оба имени были придуманы Стельчинским.

— Скажите, пожалуйста, кто этот господин Стельчинский? — спросил Владимир Сергеич Надежду Алексеевну, как только та возвратилась на свое место.

— Он у губернатора служит, очень любезный молодой человек. Он не здешний. Немножко фат, но это у них всех в крови. Я надеюсь, вы никаких с ним не имели объяснений по поводу мазурки?

— Никаких, помилуйте,— возразил с маленькой запинкой Владимир Сергеич.

— Я такая забывчивая! Вы не можете себе представить!

— Я должен радоваться вашей забывчивости: она доставила мне удовольствие танцевать сегодня с вами.

Надежда Алексеевна посмотрела на него, слегка прищурясь.

— В самом деле? Вам приятно танцевать со мною?

Владимир Сергеич отвечал ей комплиментом. Понемногу он разговорился. Надежда Алексеевна была

очень мила всегда и особенно в тот вечер; Владимиру Сергеичу она показалась прелестной. Мысль о завтрашнем поединке, раздражая его нервы, придавала блеск и оживление его речам; под влиянием ее он позволил себе небольшие преувеличения в выражении чувств своих... «Куда ни шло!» — думал он. Во всех словах его, в подавленных вздохах, в омрачавшихся внезапно взорах проступало что-то таинственное, невольно грустное, что-то изящно-безнадежное. Он, наконец, доболтался до того, что уже начал рассуждать о любви, о женщинах, о своем будущем, о том, как он понимает счастье и чего требует от судьбы... Он изъяснялся иносказательно, намеками. Накануне возможной смерти Владимир Сергеич кокетничал с Надеждой Алексеевной.

Она слушала его внимательно, посмеивалась, качала головой, то соглашалась, то спорила с ним, притворялась недоверчивой... Разговор, часто прерываемый подходившими кавалерами и дамами, принял под конец направление несколько странное... Владимир Сергеич стал уже расспрашивать Надежду Алексеевну о ней самой, об ее характере, об ее симпатиях... Она сперва отшучивалась, потом вдруг, совершенно неожиданно для Владимира Сергеича, спросила его, когда он едет.

— Куда? — проговорил он с изумлением.

— К себе домой.

— В Сасово?

— Нет, домой, в вашу деревню, за сто верст отсюда.

Владимир Сергеич опустил глаза.

— Хотелось бы поскорей,— промолвил он с озабоченным лицом.— Думаю, завтра... если только жив буду. Ведь у меня дела! Но почему вам вдруг вздумалось спросить меня об этом?

— Так! — возразила Надежда Алексеевна.

— Однако какая причина?

— Так! — повторила она.— Меня удивляет любопытство человека, который едет завтра, а сегодня желает узнать мой характер...

— Но позвольте...— начал было Владимир Сергеич...

— Ах, вот кстати... прочтите,— со смехом перебила его Надежда Алексеевна, протягивая ему билет с конфетки, которую она только что взяла с соседнего столи-

ка, а сама поднялась навстречу Марье Павловне, остановившейся перед ней вместе с другой дамой.

Марья Павловна танцевала с Петром Алексеичем. Лицо ее покрылось румянцем, разгорелось, но не повеселело.

Владимир Сергеич взглянул на билет — на нем плохими французскими буквами было напечатано:

Qui me néglige, me perd [1] .

Он поднял глаза и встретил взор Стельчинского, устремленный прямо на него. Владимир Сергеич усмехнулся принужденно, облокотился на спинку стула и положил ногу на ногу. «Вот, мол, тебе!»

Пламенный артиллерист примчал Надежду Алексеевну к ее стулу, лихо повертелся с ней пред ним, поклонился, звякнул шпорами и ушел. Она села.

— Позвольте узнать,— начал с расстановкой Владимир Сергеич,— как мне понять этот билет...

— А что бишь на нем стояло,— проговорила Надежда Алексеевна.— Ах, да! Qui me néglige, me perd. Что ж! это прекрасное житейское правило, которое на каждом шагу может пригодиться. Для того, чтоб успеть в чем бы то ни было, не нужно ничем пренебрегать... Должно добиваться всего: может быть, хоть что-нибудь достанется. Но мне смешно, я... я вам, практическому человеку, толкую о житейских правилах...

Надежда Алексеевна засмеялась, и уже напрасно, до самого конца мазурки, старался Владимир Сергеич возобновить прежний разговор. Надежда Алексеевна уклонялась от него с своенравием прихотливого ребенка. Владимир Сергеич толковал ей о своих чувствах, а она либо не отвечала ему вовсе, либо обращала его внимание на платья дам, на смешные лица иных мужчин, на ловкость, с которой танцевал ее брат, на красоту Марьи Павловны, заговаривала о музыке, о вчерашнем дне, о Егоре Капитоныче и супруге его Матрене Марковне... и только при самом конце мазурки, когда Владимир Сергеич начал с ней раскланиваться, с иронической улыбкой на губах и во взоре проговорила:

— Итак, вы решительно завтра едете?

---

[1] Кто мной пренебрегает, меня теряет *(франц.)*.

— Да; и, может быть, очень далеко,— значительно промолвил Владимир Сергеич.

— Желаю вам счастливого пути.

И Надежда Алексеевна быстро приблизилась к своему брату, весело шепнула ему что-то на ухо, потом спросила громко:

— Благодарен мне? Да? не правда ли? а то бы он *ее* пригласил на мазурку.

Он пожал плечами и промолвил:

— Все-таки ничего из этого не выйдет...

Она увела его в гостиную.

«Кокетка!» — подумал Владимир Сергеич и, взяв шляпу в руку, выскользнул незаметно из залы, сыскал своего лакея, которому он заранее приказал быть наготове, и уже надевал пальто, как вдруг, к крайнему его изумлению, лакей доложил ему, что ехать нельзя, что кучер неизвестно каким образом напился пьян и что разбудить его нет никакой возможности. Выбранив кучера необыкновенно кратко, но чрезвычайно сильно (дело происходило в передней, посторонние свидетели присутствовали) и объявив лакею, что если завтра чуть свет кучер не будет в исправности, то никто в мире не в состоянии себе представить, что из этого может выйти, Владимир Сергеич вернулся в залу и попросил дворецкого отвести ему комнатку, не дожидаясь ужина, уже приготовляемого в гостиной. Хозяин дома вдруг словно вырос из-под полу возле самого локтя Владимира Сергеича (Гаврила Степаныч носил сапоги без каблуков и потому двигался безо всякого шума) и начал его удерживать, уверяя, что за ужином будет икра первый сорт; но Владимир Сергеич отговорился головною болью. Полчаса спустя он уже лежал на небольшой кроватке, под коротким одеялом, и силился заснуть.

Но ему не спалось. Как ни ворочался он с боку на бок, как ни старался он думать о чем-нибудь другом, фигура Стельчинского неотвязно торчала пред ним... Вот он целится... вот он выстрелил... «Убит Астахов»,— говорит кто-то. Владимир Сергеич не мог назваться храбрецом, да и трусом он не был; но даже мысль о поединке с кем бы то ни было никогда ему в голову не приходила... Драться! с его благоразумием, мирными наклонностями, уважением приличий, мечтами о будущем благосостоянии и о выгодной партии! Если бы дело

шло не о собственной особе, он бы расхохотался, до того нелепа и смешна казалась ему вся эта история. Драться! с кем и за что?!

— Тьфу ты, чёрт! что за вздор! — восклицал он невольно вслух.— Ну, а если он точно убьет меня,— продолжал он свои размышления,— надо, однако, принять свои меры, распорядиться... Кто-то пожалеет обо мне?

И он с досадой закрывал свои широко раскрытые глаза, натягивал одеяло на шею... но все-таки заснуть не мог...

Заря уже брезжила на небе, и, утомленный лихорадкой бессонницы, Владимир Сергеич начинал впадать в дремоту, как вдруг почувствовал какую-то тяжесть на ногах. Он открыл глаза... На его постели сидел Веретьев.

Владимир Сергеич изумился чрезвычайно, особенно когда заметил, что на Веретьеве не было сюртука, что у него из-под расстегнутой рубашки выказывалась обнаженная грудь, волосы падали на лоб и само лицо казалось измененным. Владимир Сергеич приподнялся в постели...

— Позвольте спросить...— начал он, расставив руки.

— Я к вам пришел,— заговорил Веретьев сиплым голосом,— извините меня, в таком виде... Мы там немного выпили... Я желал вас успокоить. Я сказал себе: там лежит джентльмен, которому, вероятно, не спится. Поможем ему. Внемлите: вы не деретесь завтра и можете спать...

Владимир Сергеич изумился еще более.

— Что вы такое сказали? — пробормотал он.

— Да; всё это улажено,— продолжал Веретьев,— этот господин с берегов Вислы... Стельчинский... извиняется перед вами... завтра вы получите письмо... Повторяю вам: всё кончено... Храпите!

И, сказавши эти слова, Веретьев встал и направился неверными шагами к двери.

— Но позвольте, позвольте,— начал Владимир Сергеич.— Как вы могли узнать и почему я могу поверить...

Веретьев посмотрел на него.

— Ах! вы думаете, что я... того... (и он слегка кач-

нулся вперед)... Говорят вам... он к вам завтра письмо пришлет... Вы не возбуждаете во мне особенной симпатии, но великодушие моя слабая сторона. Да и что тут толковать... Ведь это всё такие пустяки... А признайтесь,— прибавил он, подмигнув глазом,— вы-таки струхнули, а?

Владимир Сергеич рассердился.

— Позвольте, наконец, милостивый государь...— промолвил он.

— Ну хорошо, хорошо,— перебил его Веретьев с добродушной улыбкой.— Не горячитесь. Ведь вы не знаете, у нас без этого ни одного бала не бывает... Это уж так заведено. Последствий это никогда никаких не имеет. Кому охота подставлять свой лоб? Ну, а почему же не покуражиться, а? над приезжим, например? In vino veritas[1]. А впрочем, ни вы, ни я, мы не знаем полатыни. Однако я вижу по вашей фигуре, что вы хотите спать. Спокойной ночи желаю вам, господин положительный человек, благонамеренный смертный. Примите это пожелание от другого смертного, который сам гроша медного не стоит. Addio, mio caro! [2]

И Веретьев вышел вон.

— Это чёрт знает что такое! — воскликнул немного погодя Владимир Сергеич и ударил кулаком в подушку,— это просто ни на что не похоже!.. Это надо будет объяснить! Я этого не потерплю!

Со всем тем пять минут спустя он уже спал кротким и крепким сном. Ему на сердце стало легче... Минувшая опасность наполняет сладостью и смягчает дух человека.

Вот что происходило перед неожиданным ночным свиданием Веретьева и Владимира Сергеича.

У Гаврилы Степаныча жил в доме троюродный его племянник и занимал в нижнем этаже дома холостую квартиру. Когда случались балы, молодые люди, в промежутках танцев, забегали к нему покурить наскоро Жукова, а после ужина собирались у него же для дружеской попойки. В ту ночь к нему нашло довольно много гостей. Стельчинский и Веретьев были в числе их; Иван Ильич Складная Душа тоже приплелся туда

---

[1] Истина в вине *(лат.)*.

[2] Прощай, мой дорогой! *(Итал.)*

вслед за другими. Сделали жженку. Хотя Иван Ильич обещал Астахову не говорить никому о предстоявшем поединке, однако, когда Веретьев случайно спросил его, о чем он рассуждал с этим кисляем (Веретьев иначе не называл Астахова), Складная Душа не вытерпел и повторил весь свой разговор с Владимиром Сергеичем от слова до слова.

Веретьев засмеялся, потом задумался.

— Да с кем он дерется? — спросил он.

— А этого я сказать не могу,— возразил Иван Ильич.

— По крайней мере с кем он разговаривал?

— С разными лицами... С Егором Капитонычем. Уж не с ним ли он дерется?

Веретьев отошел от Ивана Ильича.

Итак, сделали жженку, начали пить. Веретьев сидел на самом видном месте; веселый и разгульный, он первенствовал в собраньях молодежи. Он сбросил сюртук и галстух. Его попросили петь, он взял гитару и спел несколько песен. Головы понемногу разгорячились; молодежь принялась провозглашать тосты. Стельчинский вскочил вдруг, весь красный, на стол и, высоко подняв над головою стакан, воскликнул громко:

— За здоровье... уж я знаю кого,— подхватил он торопливо, выпил вино, разбил стакан о пол и прибавил:— Пускай же завтра точно так же разлетится вдребезги мой враг!

Веретьев, который уже давно наблюдал за ним, быстро поднял голову...

— Стельчинский, — промолвил он, — во-первых, сойди со стола: это неприлично, да у тебя же и сапоги прескверные, а во-вторых, поди-ка сюда, я тебе что-то сообщу.

Он отвел его в сторону.

— Послушай, брат, ты, я знаю, дерешься завтра с этим джентльменом из Петербурга.

Стельчинский дрогнул.

— Как... кто тебе сказал?

— Я тебе говорю. И мне также известно, за кого ты дерешься.

— А именно? Это любопытно знать.

— Ах ты, Талейран этакой! Да, разумеется, за мою сестру. Ну, ну, не притворяйся удивленным. Это

придает тебе гусиное выражение. Не могу представить, как это у вас там вышло, но только это верно. Полно, брат,— продолжал Веретьев,— к чему тут прикидываться? Ведь я знаю, ты за ней давно ухаживаешь.

— Да все-таки это не доказывает...

— Перестань, пожалуйста. Но послушай-ка, что я теперь тебе скажу. Я этого поединка ни под каким видом не допущу. Понимаешь? Вся эта глупость обрушится на сестру. Извини: пока я жив... этому не бывать. Мы с тобой пропадем — туда и дорога, а ей еще долго надо жить и жить счастливо. Да, клянусь,— прибавил он с внезапным жаром,— всех других выдам, даже тех, которые были бы готовы всем пожертвовать для меня, а у ней волоска никому тронуть не позволю.

Стельчинский принужденно захохотал.

— Ты пьян, любезный, и бредишь... вот и всё.

— А ты небось нет? Но пьян ли я, нет ли, это совершенно всё равно. А говорю я дело. Не будешь ты драться с этим барином, за это я ручаюсь. И охота была тебе с ним связываться! Приревновал, что ли? Вот правду говорят, что влюбленные люди глупы! Да она и танцевала-то с ним для того только, чтоб он не вздумал пригласить... Ну, да не об этом дело. А дуэли этой не бывать.

— Гм! желал бы я посмотреть, как ты мне помешаешь?

— А так же вот, что если ты сейчас не дашь мне слова отказаться от этой дуэли, я сам с тобой драться буду.

— Будто?

— Милый мой, не сомневайся в этом. Оскорблю тебя, дружище, сейчас же, при всех, самым фантастическим образом, и потом хоть через платок. А я думаю, это тебе будет неприятно по многим причинам, ась?

Стельчинский вспыхнул, начал говорить, что это *интимидация* [1], что он никому не позволит вмешиваться в его дела, что он не посмотрит ни на что... и кончил тем, что покорился и отказался от всяких покушений на жизнь Владимира Сергеича. Веретьев его обнял, и не прошло еще полчаса, как уж оба они в десятый раз пили Brüderschaft, то есть пили, запустив рука за руку...

---

[1] От *франц.* intimidation — запугивание.

Юноша-распорядитель также выпил Brüderschaft с ними и сперва не отставал от них, но заснул наконец самым невинным образом и долго лежал на спине в состоянии совершенного бесчувствия... Выражение его маленького побледневшего личика было и забавно и жалко... Боже! что сказали бы светские дамы, его знакомые, если б увидели его в таком уничижении! Но, к его счастью, он не знал ни одной светской дамы.

Иван Ильич также отличился в ту ночь. Сперва он удивил гостей, внезапно затянув: «В деревне некогда барон».

— Щур! щур запел! — закричали все,— когда это бывает, чтобы щур пел по ночам!

— Да будто я одну только песню знаю,— возразил разгоряченный вином Иван Ильич,— я умею и другие.

— Ну, ну, ну, покажи нам свое искусство.

Иван Ильич помолчал и вдруг начал басом: «Крамбамбули, отцов наследье», но так нескладно и странно, что общий взрыв хохота тотчас заглушил его голос, и он умолк.

Когда все разошлись, Веретьев отправился к Владимиру Сергеичу, и между ними произошел непродолжительный, уже упомянутый разговор.

На другой день Владимир Сергеич уехал очень рано к себе в Сасово. Целое утро провел он в волнении, чуть было не принял приезжего купца за секунданта и отдохнул только тогда, когда лакей принес ему письмо от Стельчинского. Владимир Сергеич несколько раз прочел это письмо — оно очень было ловко написано... Стельчинский начинал со слов: La nuit porte conseil, monsieur[1],— ни в чем не извинялся, потому что, по его мнению, он своего противника ничем не оскорбил: впрочем, сознавался, что накануне излишне погорячился, и кончил объявлением, что состоит в полном распоряжении господина Астахова (de m-r Astakhof), но сам уже удовлетворения более не желает. Сочинив и отправив ответ, исполненный в одно и то же время вежливости, доходившей до игривости, и чувства достоинства, в котором, однако, не замечалось ничего хвастливого, Владимир Сергеич сел за обед, потирая руки, с великим удовольствием покушал и тотчас же после стола отпра-

[1] Утро вечера мудренее, сударь *(франц.)*.

вился восвояси, не выслав даже подставы вперед. Дорога, по которой он ехал, проходила верстах в четырех от усадьбы Ипатова... Владимир Сергеич посмотрел на нее...

— Прощай, затишье! — молвил он с усмешкой.

Образы Надежды Алексеевны и Марьи Павловны предстали на мгновение его воображенью; он махнул рукой, отворотился и задремал.

VI

Прошло три месяца с лишком. Осень уже давно наступила; пожелтевшие леса обнажались, синицы прилетели, и, верный признак близости зимы, ветер начинал завывать и ныть. Но дождей больших еще не бывало, и грязь на дорогах не успела раствориться. Пользуясь этим обстоятельством, Владимир Сергеич отправился для окончания некоторых дел в губернский город. Утро он провел в разъездах, а вечером поехал в клуб. В огромной мрачной зале клуба встретил он несколько знакомых и между прочими старого отставного ротмистра Флича, всем известного дельца, остряка, картежника и сплетника. Владимир Сергеич вступил с ним в разговор.

— Ах, кстати,— воскликнул вдруг отставной ротмистр,— на днях здесь проезжала одна ваша знакомая, кланяться вам велела.

— Какая это знакомая?

— Стельчинская.

— Я ни с одной Стельчинской не знаком.

— Вы ее в девушках знавали... Она урожденная Веретьева... Надежда Алексеевна. Муж ее у нашего губернатора служил. Вы его тоже, должно быть, видали... Живчик такой, с усиками... Славную штучку подцепил, и с состояньем.

— Вот как,— проговорил Владимир Сергеич.— Так она за него вышла... Гм! А куда ж это они уехали?

— В Петербург. Она еще вам напомнить велела про какой-то билетик с конфетки... Что это был за билетик, позвольте полюбопытствовать?

И старый сплетник так и выставил вперед свой острый нос.

— Не помню, право, шутка какая-нибудь,— возразил Владимир Сергеич.— А позвольте узнать, где теперь ее брат?

— Петр? Ну, тому плохо.

Господин Флич возвел кверху свои маленькие, лисьи глазки и вздохнул.

— А что? — спросил Владимир Сергеич.

— Загулял! Пропал человек.

— А где он теперь?

— Совершенно неизвестно где. Уехал куда-нибудь за цыганками, это вернее всего. В губернии его нет, за это я ручаюсь.

— А Ипатов-старик, всё там же живет?

— Михаил Николаич? Чудачок-то? Всё там же.

— И всё у него в доме... по-прежнему?

— Как же, как же. Вот что бы вам жениться на его свояченице? Ведь это не женщина, это просто монумент, право. Хе, хе. У нас уж и поговаривали... что, мол, дескать...

— Вот как-с,— промолвил, прищурив глаза, Владимир Сергеич.

В это мгновенье Флична предложили партию, и разговор прекратился.

Владимир Сергеич располагал возвратиться домой скоро, но вдруг получил с нарочным донесение от старосты, что в Сасове сгорело шесть дворов, и решился сам туда съездить. От губернского города до Сасова считалось верст шестьдесят. Владимир Сергеич прибыл в знакомый уже читателю флигелек к вечеру, тотчас же велел призвать старосту и земского, побранил их как следует, осмотрел утром место пожара, принял надлежащие меры и после обеда, поколебавшись немного, отправился в гости к Ипатову. Владимир Сергеич остался бы дома, если б не услыхал от Флича об отъезде Надежды Алексеевны; ему не хотелось с ней встречаться, но он был не прочь взглянуть еще раз на Марью Павловну.

Владимир Сергеич застал, как и в первое свое посещение, Ипатова за шашками с Складною Душою. Старик ему обрадовался; Владимиру Сергеичу показалось, однако, лицо его озабоченным, и речь его не лилась свободно и охотно, как прежде.

С Иваном Ильичом Владимир Сергеич переглянулся

молча. Обоих их немножко покоробило; впрочем, они скоро успокоились.

— Все ваши здоровы? — спросил Владимир Сергеич, усаживаясь.

— Все, славу богу, покорнейше благодарю,— ответил Ипатов.— Одна Марья Павловна не совсем... того, всё больше в своей комнате находится.

— Простудилась?

— Нет... так. К чаю явится.

— А Егор Капитоныч? что он поделывает?

— Ах! Егор Капитоныч убитый человек. У него жена умерла.

— Не может быть!

— В сутки умерла, от холеры. Вы бы не узнали его теперь, просто на себя не похож стал. «Без Матрены Марковны, говорит, жизнь мне в тягость. Умру, говорит, и славу богу, говорит; не желаю, говорит, жить». Да, пропал бедняк.

— Ах, боже мой, как это неприятно! — воскликнул Владимир Сергеич.— Бедный Егор Капитоныч!

Все помолчали.

— Ваша соседка, я слышал, замуж вышла,— заговорил Владимир Сергеич, слегка покраснев.

— Надежда Алексеевна? Да, вышла.

Ипатов косвенно посмотрел на Владимира Сергеича.

— Как же... как же, вышла и уж уехала.

— В Петербург?

— В Санкт-Петербург.

— Марья Павловна, я думаю, скучает по ней? Кажется, она очень с ней была дружна.

— Конечно, скучает. Без этого нельзя. А впрочем, что до дружества касается, скажу вам, девичья дружба еще хуже мужской. Пока на глазах, хорошо, а то и поминай как звали.

— Вы думаете?

— Да, ей-богу так. Вот хоть бы Надежда Алексеевна. Как уехала, ни одного письма к нам не написала, а ведь как обещалась, божилась даже. Правда, ей теперь не до того.

— А давно она уехала?

— Да, уж недель шесть будет. На другой же день после свадьбы ускакала, по-иностранному.

— Говорят, и брата ее тоже здесь нет? — проговорил Владимир Сергеич немного погодя.

— Да, тоже. Ведь они люди столичные, станут они долго в деревне жить!

— И неизвестно, куда он уехал?

— Неизвестно.

— Пощебелил, да и за щеку,— заметил Иван Ильич.

— Пощебелил, да и за щеку,— повторил Ипатов.— Ну, а вы, Владимир Сергеич, что поделывали хорошенького? — прибавил он, оборотясь на стуле.

Владимир Сергеич начал рассказывать о себе. Ипатов его слушал, слушал и воскликнул наконец:

— Да что ж это Маша нейдет? Иван Ильич, ты бы сходил за ней.

Иван Ильич отправился вон из комнаты и, вернувшись, объявил, что Марья Павловна сейчас придет.

— Что, у ней голова болит? — спросил Ипатов вполголоса.

— Болит,— ответил Иван Ильич.

Дверь раскрылась, и вошла Марья Павловна. Владимир Сергеич встал, поклонился и от изумления не мог произнесть слова: так изменилась Марья Павловна с тех пор, как он ее видел в последний раз! Румянец исчез с ее похудевших щек; широкая черная кайма окружила ее глаза; горько сжались губы, всё лицо ее, неподвижное и темное, казалось окаменелым.

Она подняла глаза, и в них не было блеску.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил ее Ипатов.

— Я здорова,— отвечала она и села к столу, на котором уже кипел самовар.

Владимир Сергеич порядком-таки поскучал в тот вечер. Да и все были не в духе. Разговор принимал всё такой невеселый оборот.

— Ведь вишь,— сказал, между прочим, Ипатов, прислушиваясь к завываньям ветра,— какие ноты выводит! Лето-то уж давно прошло; вот и осень проходит, вот и зима на носу. Опять завалит кругом сугробами. Хоть бы поскорее снег выпал. А то в сад выйдешь, тоска нападет... Словно развалина какая-то. Деревья ветками стучат... Да, прошли красные дни!

— Прошли,— повторил Иван Ильич.

Марья Павловна молча посмотрела в окно.

— Бог даст, вернутся,— заметил Ипатов.

Никто не отозвался ему.

— А помните, как здесь тогда хорошо песни пели?— сказал Владимир Сергеич.

— Мало ли чего!— вздохнув, ответил старик.

— Но вы бы могли,— продолжал Владимир Сергеич, обращаясь к Марье Павловне,— у вас такой прекрасный голос.

Она не ответила ему.

— А что ваша матушка? — спросил Владимир Сергеич Ипатова, не зная уже, о чем вести разговор.

— Слава богу, перебивается помаленьку при своих недугах. Еще сегодня в колясочке каталась. Она, доложу вам, как надломленное дерево, скрып да скрып, и глядишь, иное молодое, крепкое повалится, а оно всё стоит да стоит. Эх, хе, хе!

Марья Павловна уронила руки на колени и наклонила голову.

— А всё же плохое ее житье,— заговорил опять Ипатов,— справедливо сказано: «Старость не радость».

— А молодость не в радость,— промолвила Марья Павловна словно про себя.

Владимир Сергеич хотел было вернуться на ночь домой, но такая сделалась на дворе темнота, что он не решился ехать. Ему отвели ту же комнату наверху, в которой он три месяца тому назад провел беспокойную ночь по милости Егора Капитоныча...

«Храпит ли он теперь?» — подумал Владимир Сергеич и вспомнил его наставления слуге, вспомнил внезапное появленье Марьи Павловны в саду...

Владимир Сергеич подошел к окну и приложился лбом к холодному стеклу. Его собственное лицо тускло глянуло на него с надворья, словно в черную завесу уперлись его глаза, и только спустя немного времени мог он различить на беззвездном небе ветки деревьев, порывисто крутившиеся среди мрака. Их тормошил неугомонный ветер.

Вдруг Владимиру Сергеичу показалось, будто что-то белое промелькнуло по земле... Он всмотрелся, усмехнулся, пожал плечами и, воскликнув вполголоса: «Что значит воображенье!», лег в постель.

Он заснул очень скоро, но и в этот раз не было ему суждено провести спокойную ночь. Его разбудила бе-

готня, поднявшаяся в доме... Он отделил от подушки голову... Слышались смятенные голоса, восклицания, торопливые шаги, двери хлопали, вот раздался женский плач, крики поднялись в саду, другие крики отозвались дальше... Тревога в доме росла, становилась шумнее с каждым мгновением... «Пожар!» — мелькнуло в уме Владимира Сергеича. Он трухнул, вскочил с кровати и бросился к окну; но зарева не было, только в саду проворно двигались по дорожкам, мимо деревьев, красные огненные точки — то бегали люди с фонарями. Владимир Сергеич подошел быстро к двери, отворил ее и наткнулся прямо на Ивана Ильича. Бледный, растрепанный, полураздетый, он мчался сам не зная куда.

— Что такое? что случилось? — спросил с волнением Владимир Сергеич, сильно схватив его за руку.

— Пропала, утопла, в воду бросилась,— ответил Иван Ильич задыхавшимся голосом.

— Кто в воду бросился, кто пропал?

— Марья Павловна! Кому же, как не Марье Павловне! Погубил он ее, сердешную! Помогите! Батюшки, побежимте скорее! Голубчики, скорее!

И Иван Ильич ринулся вниз по лестнице.

Владимир Сергеич кое-как надел сапоги, накинул шинель на плечи и пустился вслед за ним.

В доме он уже никого не встретил, все выскочили в сад; одни только девочки, дочери Ипатова, попались ему в коридоре, возле передней; помертвев от испуга, стояли они в своих белых юбочках, с сжатыми руками и голыми ножками, возле ночника, поставленного на полу. Через гостиную, мимо опрокинутого стола, выбежал Владимир Сергеич на террасу. Сквозь чащу, по направлению к плотине, мелькали огни, тени...

— За баграми! скорее за баграми! — слышался голос Ипатова.

— Невод, невод, лодку! — кричали другие голоса.

Владимир Сергеич побежал на крик. Он нашел Ипатова на берегу пруда; фонарь, повешенный на суку, ярко освещал седую голову старика. Он ломал руки и шатался как пьяный; возле него женщина, лежа на траве, билась и рыдала; кругом суетились люди. Иван Ильич уже вошел по колена в воду и щупал дно шестом; кучер раздевался, дрожа всем телом; два человека тащили вдоль берега лодку; слышался резкий топот ко-

пыт по улице деревни... Ветер несся с визгом, как бы силясь задуть фонари, а пруд плескал и шумел, чернея грозно.

— Что я слышал,— воскликнул Владимир Сергеич, подбегая к Ипатову,— возможно ли?

— Багры, давайте багры! — простонал старик ему в ответ...

— Да вы, может быть, ошибаетесь, помилуйте, Михаил Николаевич.

— Нет! какое ошибается! — заговорила слезливым голосом женщина, лежавшая на траве, горничная Марьи Павловны,— сама я, окаянная, слышала, как она, голубушка моя, в воду бросилась, как билась в воде, как закричала: спасите, а там еще разочек: спасите!

— Как же ты не помешала ей, помилуй!

— Да как, батюшка, сударик мой, помешать? Ведь я когда ее хватилась, то уж ее в комнате не было, а мое сердечко, знать, чуяло, последние-то денечки она всё так тосковала и не говорила ничего; да уж я знала, я прямо так в сад и побежала, словно надоумил меня кто, слышу, вдруг бултых что-то в воду: спасите, слышу, кричит... спасите... Ох, голубчики мои! Ох, светики мои!

— Да тебе, может быть, так почудилось?

— Какое почудилось! Да и где она? куда девалась?

«Так вот что мне показалось белое в темноте»,— подумал Владимир Сергеич...

Между тем прибежали люди с баграми, притащили невод, стали расстилать его на траве, народу набралось пропасть, суета поднялась, толкотня... кучер схватил один багор, староста — другой, оба вскочили в лодку, отчалили и принялись искать баграми в воде; с берега светили им. Странны и страшны казались движения их и их теней во мгле над взволнованным прудом, при неверном и смутном блеске фонарей.

— Во... вот зацепил,— закричал вдруг кучер.

Все так и замерли на месте.

Кучер потянул к себе багор, нагнулся... Что-то рогатое, черное медленно всплыло...

— Коряга,— проговорил кучер и отдернул багор.

— Да вернись, вернись,— закричали с берега,— баграми ничего не сделаешь, надо неводом.

— Да, да, неводом,— подхватили другие.

— Стойте,— промолвил староста,— и я зацепил... что-то, кажись, мягкое,— прибавил он погодя немного.

Белое пятно показалось возле лодки...

— Барышня! — вдруг крикнул староста.— Она!

Он не ошибся... Багор зацепил Марью Павловну за рукав ее платья. Кучер ее тотчас подхватил, вытащил из воды... в два сильных толчка лодка очутилась у берега... Ипатов, Иван Ильич, Владимир Сергеич — все бросились к Марье Павловне, подняли ее, понесли на руках домой, тотчас раздели ее, начали ее откачивать, согревать... Но все их усилия, их старания остались тщетными... Марья Павловна не пришла в себя... Жизнь уже ее покинула.

Владимир Сергеич, на другой день рано, оставил Ипатовку; перед отъездом он пошел проститься с покойницей. Она лежала на столе в гостиной, в белом платье... Густые ее волосы еще не совсем высохли, какое-то скорбное недоумение выражалось на ее бледном лице, не успевшем исказиться; раскрытые губы, казалось, силились заговорить и спросить что-то... стиснутые крест-накрест руки как бы с тоской прижимались к груди... Но с какой бы горестною мыслью ни погибла бедная утопленница, смерть наложила на нее печать своего вечного безмолвия и смирения... И кто поймет, что выражает мертвое лицо в те немногие мгновения, когда оно в последний раз встречает взгляд живых перед тем, чтобы навсегда исчезнуть и разрушиться в могиле?

Владимир Сергеич постоял с приличной задумчивостью перед телом Марьи Павловны, перекрестился три раза и вышел, не заметив Ивана Ильича, тихо плакавшего в уголке... И не один он плакал в тот день, вся прислуга в доме плакала горько: Марья Павловна оставила по себе добрую память.

Через неделю вот что писал старик Ипатов в ответ на пришедшее, наконец, письмо от Надежды Алексеевны:

«За неделю перед сим, милостивая государыня Надежда Алексеевна, несчастная свояченица моя, ваша знакомая, Марья Павловна, самовольно кончила жизнь свою, бросившись ночью в пруд, и мы уже предали земле ее тело. Она решилась на сей горестный и ужасный поступок, не простившись со мною, не оставив даже письма или хотя бы записочки для изъявления своей пос-

ледней воли... Но вам лучше всех известно, Надежда Алексеевна, на чью душу должен пасть этот великий и смертный грех! Суди господь бог вашего братца, а моя свояченица не могла ни разлюбить, ни пережить разлуку...»

Надежда Алексеевна получила это письмо уже в Италии, куда она уехала с своим мужем, графом де Стельчинским, как его величали во всех гостиницах. Впрочем, он посещал не одни гостиницы; его часто видали в игорных домах, в курзалах на водах... Он сперва проигрывал много денег, потом перестал проигрывать, и лицо его приняло особое выражение, не то подозрительное, не то дерзкое, какое бывает у человека, с которым совершенно неожиданным образом случаются истории... С женой он видался редко. Впрочем, Надежда Алексеевна не скучала в его отсутствие. В ней проявилась страсть к искусствам и художествам. Она всё больше зналась с артистами и любила рассуждать о прекрасном с молодыми людьми. Письмо Ипатова огорчило ее чрезвычайно, но не помешало ей в тот же день поехать в «Собачью пещеру» — посмотреть, как задыхаются бедные животные, погруженные в серные пары.

Она поехала не одна. Ее сопровождали разные кавалеры. В числе их самым любезным считался некто г. Попелен, неудавшийся живописец из французов, с бородкой и в клетчатой куртке. Он пел жиденьким тенором новейшие романсы, острил весьма развязно, и хотя сложенья был худощавого, однако кушал весьма много.

VII

Был солнечный морозный январский день: на Невском гуляло множество народа. Часы на башне Думы показывали три часа. По широким плитам, усеянным желтым песочком, шел между прочими старинный наш знакомый, Владимир Сергеич Астахов. Он очень возмужал с тех пор, как мы расстались с ним, обложился бакенбардами и пополнел во всем корпусе, но не постарел. Он подвигался за толпой, не торопясь и изредка посматривая кругом: он ожидал жену свою; она вместе с своею матерью хотела подъехать в карете. Владимир Сергеич уже лет пять как женился, именно так, как всегда желал: жена его была богата и с самыми лучши-

ми связями. Приветливо приподнимая превосходно вычищенную шляпу при встрече с многочисленными знакомыми, Владимир Сергеич продолжал выступать свободною поступью довольного судьбою человека, как вдруг, около самого Пассажа, на него чуть не наткнулся какой-то господин, в испанском плаще и фуражке, с лицом, уже порядком изношенным, крашеными усами и большими, слегка заплывшими глазами. Владимир Сергеич с достоинством посторонился, но господин в фуражке посмотрел на него и вдруг воскликнул:

— А! господин Астахов, здравствуйте!

Владимир Сергеич ничего не отвечал и остановился в изумлении. Он не мог понять, каким образом господин, решившийся идти по Невскому в фуражке, знал его фамилию.

— Вы меня не узнаёте? — продолжал господин в фуражке.— Я видел вас лет восемь тому назад, в деревне, в Т-ской губернии, у Ипатовых. Меня зовут Веретьевым.

— Ах! боже мой! извините меня! — воскликнул Владимир Сергеич,— но как вы изменились с тех пор...

— Да, я постарел,— возразил Петр Алексеич и провел по лицу рукою, на которой не было перчатки,— а вот вы не изменились.

Веретьев не столько постарел, сколько осунулся и опустился. Мелкие, тонкие морщины покрыли его лицо, и когда он говорил, его губы и щеки слегка подергивало. По всему заметно было, что сильно пожил человек.

— Где вы всё это время пропадали, что вас не было видно? — спросил его Владимир Сергеич.

— Скитался кой-где. А вы всё в Петербурге находились?

— Большей частью в Петербурге.

— Женаты?

— Женат.

И Владимир Сергеич принял несколько строгий вид, как бы желая сказать Веретьеву: «Ты, братец, не вздумай просить меня, чтобы я представил тебя моей жене».

Веретьев, казалось, понял его. Равнодушная усмешка чуть тронула его губы.

— А что ваша сестрица? — спросил Владимир Сергеич.— Где она?

— Не могу вам сказать наверное. Должно быть, в Москве. Я давно от нее писем не получал.

— Супруг ее жив?

— Жив.

— А сам господин Ипатов?

— Не знаю; вероятно, тоже жив, а может, и умер.

— А тот господин, как бишь его, Бодряков, что ли?

— Тот-то, кого вы в секунданты себе просили, помните, когда вы так струсили? А чёрт его знает!

Владимир Сергеич помолчал с важностью на лице.

— Я всегда с удовольствием вспоминал те вечера,— продолжал он,— когда я имел случай (он чуть было не сказал: честь) познакомиться с вашей сестрицей и с вами. Она очень любезная особа. Что, вы всё так же приятно поете?

— Нет, голос пропал... Да, хорошее тогда было время!

— Я еще раз посетил потом Ипатовку,— прибавил Владимир Сергеич, приподняв печально брови,— ведь так, кажется, звали ту деревню,— в самый день одного страшного события...

— Да, да, это ужасно, это ужасно,— торопливо перебил его Веретьев.— Да, да. А помните, как вы чуть было не подрались с моим теперешним зятем?

— Гм! помню! — возразил с расстановкой Владимир Сергеич.— Впрочем, я должен вам признаться, столько времени с тех пор прошло, мне иногда всё это представляется как сон какой-то...

— Как сон,— повторил Веретьев, и его бледные щеки покраснели,— как сон... нет, это не был сон, по крайней мере для меня. Это было время молодости, веселости и счастья, время бесконечных надежд и сил неодолимых, и если это был сон, так сон прекрасный. А вот что мы теперь с вами постарели, поглупели, да усы красим, да шляемся по Невскому, да ни на что не стали годны, как разбитые клячи, повыдохлись, повытерлись, не то важничаем и ломаемся, не то бьем баклуши, да, чего доброго, горе вином запиваем,— вот это скорее сон, и сон самый безобразный. Жизнь прожита, и даром, нелепо, пошло прожита — вот что горько! Вот это бы стряхнуть как сон, вот от этого бы очнуться... И потом везде, всюду одно ужасное воспоминание, один призрак... А впрочем, прощайте.

Веретьев быстро удалился, но, поравнявшись с дверьми одной из главных кондитерских Невского проспекта, остановился, вошел в нее и, выпив у буфета рюмку померанцевой водки, отправился через биллиардную, всю туманную и тусклую от табачного дыма, в заднюю комнату. Там он нашел несколько знакомых, прежних товарищей: Петю Лазурина, Костю Ковровского, князя Сердюкова и еще двух господ, которых звали просто Васюком и Филатом. Все они были люди уже не молодые, хотя и холостые; у иных волосы повылезли, а у других седина пробилась, лица их покрылись морщинами, подбородки сдвоились, словом — господа эти все уже давно, как говорится, перешли период растения. Все они, однако, продолжали считать Веретьева человеком необыкновенным, предназначенным удивить вселенную, и он только потому и был умнее их, что сам очень хорошо сознавал свою совершенную и коренную бесполезность. И вне его кружка находились люди, которые думали о нем, что, не погуби он себя, из него чёрт знает что бы вышло... Эти люди ошибались: из Веретьевых никогда ничего не выходит.

Приятели Петра Алексеича встретили его с обычными приветствиями. Он сначала озадачил их своим мрачным видом и желчными речами, но вскоре успокоился, развеселился, и дело пошло своим обычным порядком.

А Владимир Сергеич, как только ушел от него Веретьев, нахмурился и выпрямил стан. Неожиданная выходка Петра Алексеича чрезвычайно озадачила, даже оскорбила его.

«Поглупели, вино пьем, усы красим... parlez pour vous, mon cher[1]», — сказал он наконец почти вслух и, фыркнув раза два от прилива невольного негодования, собрался было продолжать свою прогулку.

— Кто это с вами говорил? — раздался громкий и самоуверенный голос за его спиною.

Владимир Сергеич обернулся и увидел одного из своих хороших знакомых, некоего г. Помпонского. Этот г. Помпонский, человек высокого роста и толстый, занимал довольно важное место и ни разу с самой ранней юности не усомнился в себе.

---

[1] отнесите это на свой счет, мой дорогой *(франц.)*.

— Так, чудак какой-то,— проговорил Владимир Сергеич, взявши г. Помпонского под руку.

— Помилуйте, Владимир Сергеич, разве позволительно порядочному человеку разговаривать на улице с индивидуем, у которого на голове фуражка? Это неприлично! Я удивляюсь! Где вы могли познакомиться с таким субъектом?

— В деревне.

— В деревне... С деревенскими соседями в городе не кланяются... ce n'est pas comme il faut [1]. Джентльмен должен всегда держать себя джентльменом, если хочет, чтобы...

— Вот моя жена,— поспешил перебить его Владимир Сергеич.— Пойдемте к ней.

И оба джентльмена направились к низенькой щегольской каретке, из окна которой выглядывало бледное, усталое и раздражительно-надменное личико женщины еще молодой, но уже отцветшей.

Из-за нее виднелась другая дама, тоже словно рассерженная, ее мать. Владимир Сергеич отворил дверцы кареты, предложил жене руку. Помпонский пошел с его тещей, и обе четы отправились по Невскому в сопровождении невысокого черноволосого лакея в гороховых штиблетах и с большой кокардой на шляпе.

---

[1] это неприлично *(франц.)*.

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

1850—1854

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОПЕРЕ МЕЙЕРБЕРА «ПРОРОК»

(*Письмо к редактору*)

Париж, 9 января н. ст. 1850.

Вы желали знать мое мнение, любезный А⟨ндрей⟩ А⟨лександрович⟩, насчет мейерберовского «Пророка»... Я до сих пор всё мешкал, и теперь, может быть, уже поздно говорить о нем; но французы уверяют, что лучше поздно, чем никогда. Слушайте же.

Завтра дают эту оперу в сороковой раз, и уже сегодня все места разобраны, и, как гласит афиша: «Les entrées de faveur sont suspendues...» [1] — успех, как видите, огромный. Конечно, довольно значительную часть этого успеха должно приписать прекрасному исполнению, великолепной постановке, множеству иностранцев и провинциалов, наехавших в Париж,— людей, для которых не познакомиться с новою оперою Мейербера всё равно что не побывать хоть раз в Café Mulhouse, где показывается великан в полторы сажени; но и сама музыка «Пророка» вполне оправдывает энтузиазм публики. Она достойна творца «Роберта» и «Гугенотов» и нисколько не нуждалась в тех журнальных пуфах и прочих безобидных «подготовлениях», без которых знаменитый маэстро не решается выпускать на свет божий ни одного из своих тщательно взлелеянных детищ. Правда, в богатстве, свежести и разнообразии мелодий «Пророк» не может равняться с «Робертом»; в потрясающей силе драматического выражения он не достигает «Гугенотов», которых я считаю лучшим произведением Мейербера; но он весь ровнее, выдержаннее; на нем лежит печать строгого и ясного величия. Это произведение человека уже не молодого, даже стареющего, но человека, вполне овладевшего всем богатством собственного таланта. В «Пророке» нет угловатых и причудливых странностей «Роберта»; нет тех бледных — не скажу общих мест — но незначительностей, которыми исполне-

[1] «Бесплатный вход прекращен...» *(франц.)*.

ны первые два акта «Гугенотов». Инструментовка «Пророка» необыкновенно богата, отделана с любовью до малейших подробностей; она нисколько не шумна; в ней много нового (между прочим, особенно счастливо употребление басового кларнета — clarinette basse); но это новое всегда изящно — чего нельзя сказать, например, об инструментовке «Роберта»; и, кроме двух или трех вычурных пассажей на контрбасах, о которых кто-то сказал, что, слушая их, он всё думает, что у оркестра бурчит в желудке,— всё значительно и прекрасно. В этом отношении, да еще в искусстве двигать целые громады музыки (если можно так выразиться) на сцене и в оркестре, никто не может сравниться с Мейербером. Конечно, могут на это возразить, что мелодия его не течет свободно и обильно, подобно воде из родника, как у Россини; что и его произведения, как первые речи Демосфена, «пахнут маслом», отзываются трудом; что вообще он не столько великая музыкальная натура, сколько даровитая и многосторонняя организация, со всем настойчивым упорством, свойственным еврейской породе, обратившаяся на разработывание своего музыкального капитала; что он эклектик... Мы со всем этим готовы согласиться, но мы тут же прибавим, что это нисколько не уменьшает ни его достоинств, ни его оригинальности, и что такое счастливое и гармоническое соединение разнообразных способностей так же редко, как и исключительное, даже гениальное развитие одной из них; что самые ожесточенные противники его таланта (немцы, например) не могут отказать ему в необыкновенном знании сцены и глубоком чувстве драматического эффекта; и что, наконец, место, завоеванное им в истории музыки, останется за ним. Влияние Мейербера на современников несомненно, даже итальянцы ему подчинились — сто́ит вспомнить о Верди; мотивы из его «Роберта» поются в Китае, на Сандвических островах... Но возвратимся к «Пророку».

Я предполагаю, что нашим читателям уже известно содержание этой оперы, и потому не считаю нужным распространяться о нем. Скажу только, что на этот раз великий искусник и «faiseur»[1] Скриб не слишком был счастлив в выборе своего сюжета, почерпнутого из ис-

[1] «мастер» *(франц.)*.

тории Иоанна Лейденского, одного из начальников анабаптистов в XVI столетии. Г-н Скриб смотрит на историю в уменьшительное стекло. Ни один характер не выдержан, исключая матери Иоанна, Фидэс, одного из самых трогательных созданий новейшего искусства; сам Иоанн — слабое и бледное существо, да еще и плут вдобавок; анабаптисты, его сообщники, которым он, как водится, служит орудием, тоже неизвестно что такое: полуэнтузиасты, полубездельники... Берта или Берфа, невеста Иоанна, сбивается уже на совершенную бессмыслицу; в третьем действии ход драмы останавливается вовсе; да и, наконец, самая любовь Фидэс не такая сильная пружина, чтобы на ней построить целую оперу. Но все эти недостатки выкупаются необыкновенно драматической «ситуацией» четвертого акта. Тем более чести Мейерберу, что он, несмотря на плохое либретто, умеет привлекать весь Париж.

В «Пророке» нет увертюры; она была написана, но оказалась слишком длинной и, по правде сказать, довольно плохой: чисто инструментальная музыка — не дело Мейербера. В первом акте замечательны: вступительный хор поселян, ясный и свежий, с затейливым аккомпаньеманом; песнь анабаптистов, унылый и мрачный мотив, весь проникнутый фанатическим пуританизмом, часто возвращающийся в течение оперы, и последующий хор, оканчивающийся потрясающим взрывом; дуэт Берты и Фидэс, необыкновенно грациозный и напоминающий Моцарта. Во втором акте мы укажем на сон, рассказанный Иоанном трем анабаптистам. Сон, в котором он предчувствует свое возвышение и свое падение... Этот великолепный речитатив, удивительно оркестрированный, оканчивается одним из тех драматических эффектов на слове: «maudit»[1], тайна которых доступна одному Мейерберу; последующий за ним романс нам кажется сентиментальным и уж чересчур сладким. Арию Фидэс «Ah, mon fils!» многие почитают перлом всей оперы: действительно, нельзя себе представить ничего более трогательного при всей простоте мелодии. Бедная мать благословляет своего сына, который пожертвовал для нее своей невестой, почти не смеет благодарить его... повторяет одни и те же слова:

---

[1] «проклят» *(франц.)*.

«Ah, mon fils… sois béni…»[1]. Должно тоже сознаться, что Виардо удивительно поет эту арию. В большом кватуоре[2], которым заключается второй акт, встречаются красоты поразительные; анабаптисты хотят увлечь Пророка… Мейербер превосходен в изображении *борьбы* страстей и слабеет только там, где само действие останавливается, где борьба разрешилась. Отчего, например, его каватины большею частию неудачны. Третий акт — самый слабый; впрочем, и в нем много прекрасного: хор крестьян; балетная музыка, поражающая своею свежестью, грацией, легкостью и оригинальностью; трио между двумя анабаптистами и Оберталем, похитителем Берты, напоминающее нашего «комаринского мужика»,— и, наконец, сцена и гимн Иоанна, явно написанные для «бывшего» Дюпре и превосходящие силы и средства преемника его, Роже. Четвертый акт открывается старинной песенкой, complainte[3], нищей матери Иоанна, за ней следует дуэт, довольно, впрочем, слабый, между ею и Фидэс. Но вся остальная часть четвертого акта — превосходна. Я не могу вам даже дать понятия о всей громадности той сцены, где Фидэс узнает своего сына и где, наконец, она, поняв, что от одного ее слова зависит его жизнь, отказывается от него… Никто, кроме Мейербера, не совладел бы с такой задачей. Вообразите себе ужас, смятение толпы, тревожное ожидание каждого, терзания самого Иоанна, когда он отказывается от собственной матери и спрашивает: «Кто эта женщина», удивление Фидэс — ее скорбь, когда ее сын, называя ее безумной и заставляя ее пасть на колени, дает ей понять, что ей должно пожертвовать собою; торжество и радость всех, когда он, наконец, объявляет ей, что она обманулась; и всё это переданное, воссозданное в потрясающих звуках — вообразите себе это, и вы поймете то неописанное впечатление, которое этот акт всякий раз производит в публике. Я еще забыл упомянуть о великолепном марше, который сопровождает шествие Иоанна на венчанье, и о удивительной сцене, когда Фидэс, пришедши молиться, вдруг встает при торжественном громе

---

[1] «О, мой сын… будь благословен…» *(Франц.)*
[2] квартете *(лат.)*.
[3] жалобной песней *(франц.)*.

органа и призывает небесные проклятия на голову еще не узнанного ею сына. Повторяю, один этот акт мог бы обессмертить любого композитора. Это, если можно так выразиться, целая музыкальная картина, которая проходит перед глазами зрителя: сперва коленопреклоненная толпа, хор детей, появление Иоанна в отдалении — потом вдруг среди тишины, от которой сердце замирает, крик: «Мой сын!..». Всеобщее оцепенение.... Буря разражается... Но я замечаю, что я повторяюсь. Оканчиваю одним замечанием: невозможно представить искусства, с которым оркестр, хоры, отдельные голоса, орган — то сменяются, то сливаются друг с другом в этом финале... Я около десяти раз видел «Пророка» и всякий раз открывал в нем новые красоты. В пятом акте замечательны: большая ария Фидэс, которая каждый раз производит неописанный фурор; она отличается не столько достоинством самой мелодии, сколько оригинальностью ритма и блестящей смелостью пассажей; Виардо поет ее, как никто не певал до нее; и драматический дуэт Фидэс с Иоанном, оканчивающийся, к сожаленью, весьма слабым аллегро... Вообще Мейербер не слишком счастлив в своих быстрых движениях — этом пробном камне всех композиторов. После этого дуэта вы можете уйти из театра, если не желаете видеть великолепной декорации, представляющей дворец, и пожар этого дворца. В музыкальном отношении опера кончается этим дуэтом: трио Фидэс, Иоанна и Берты незначительно; последней, вакхической песенке Иоанна Лейденского нельзя по крайней мере отказать в том, что́ итальянцы называют slancio,— в блеске, в увлечении.

Костюмы и декорации великолепны, ослепительны; дирекция не жалела издержек. Вы, вероятно, уже слышали о катальщиках (patineurs) на колесах, которые действительно довольно забавны. Что касается до актеров, то первое место, бесспорно, принадлежит Виардо, которая в этой роли окончательно стала на одном ряду с своей незабвенной сестрой; Роже хорош, но не имеет голоса Дюпре, ни таланта Нурри; г-жа Кастеллан — так себе, живет; остальные певцы хороши на своих местах; оркестр поддержал свою старинную славу... Хоры несколько вялы. Вы, вероятно, уже слышали, что эту оперу с большим успехом дали в Лондоне; теперь собираются дать ее в Берлине и Вене.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ. Альманах стихотворений, изданный Я. М. Позняковым и А. П. Пономаревым. Москва. В типографии «Ведомостей Московской городской полиции». 1850.

Недели две тому назад, любезные читатели, собралось нас несколько так называемых умных людей у одного тоже умного, да еще и ученого человека. Начали мы разговаривать. С самых первых слов разговор наш принял весьма почтенное направление: он вознесся чрезвычайно высоко, от одного важного, вызывающего на размышление предмета переходил к другому, еще более важному, касался «науки и жизни»,— правда, прерывался не раз, как голос певца, забравшего выше своего «регистра», но все-таки продолжался, поддерживаемый дружными усилиями собеседников. Наши сужденья были основательны, дельны, возражения отличались снисходительной мягкостью и осторожным приличием, все мы вообще вели себя хорошо и благоразумно,— а между тем к концу вечера каждый из нас почувствовал в душе своей скуку и усталость. Разумеется, никто не токмо не решился бы громко в этом сознаться, но, напротив, почел бы за обиду, если б кто-нибудь другой мог предположить, что такой возвышенный разговор не вполне его удовлетворяет. Мы продолжали разговаривать в поте лица... Однако, несмотря на всё наше сосредоточенное мужество, уже не один взгляд украдкой скитался по углам комнаты, отыскивая знакомую шляпу, как вдруг, в одну из тяжких минут всеобщего молчанья, обыкновенно обозначавших новый перелом, новое колено в нашем «словопрении», одному из нас вздумалось взять в руки книгу, заглавие которой мы выписали в начале этой статьи. Он раскрыл эту книгу, попал прямо на «Видение» г. Познякова (см. стр. 39), начал читать — и через несколько мгновений мы все преобразились; никто, видевший нас в начале вечера, не узнал бы нас теперь. Самый веселый, самый дружелюбный смех раздавался в той комнате, где еще недавно так вяло звучали два-три сонливых

голоса; все лица оживились, глаза вспыхнули; сам почтенный хозяин наш дошел до того, что забыл всю свою важность и глубокомыслие... От «Видения» г. Познякова мы перешли к другим стихотворениям «Альманаха»... Пробужденная однажды веселость не унималась: она разыгрывалась всё более и более, и мы, наконец, разошлись очень поздно, и разошлись счастливыми, довольными, добрыми и действительно умными людьми... Такова разрешающая сила! Недаром боги у Гомера заливаются вечно-юным хохотом...

Все бывшие на том вечере, вероятно, тотчас же забыли книгу, доставившую им минуты такого полного наслажденья, выкинули ее из памяти, точно так же, как какой-нибудь лазарони равнодушно бросает на землю корку золотого плода, утолившего его жажду в полуденный зной,— все, может быть, но не я. Я был поражен... Я долго не мог заснуть в ту ночь; много вопросов зашевелилось у меня в голове. Вот,— говорил я самому себе,— вот книга: она возбудила такую веселость, что заслужить десятую долю подобной веселости было бы слишком лестно для любого комического таланта; она спасла нас, эта книга; она, как молния пожирает накопившиеся облака, в один миг истребила тучу скуки, свинцовым гнетом налегшую на все наши головы; мы все тогда же согласились, что с сознанием, что с намерением написать такую вещь мог бы один великий талант... Почему ж не хотим мы отдать ей должную справедливость? Мне скажут, комический элемент присутствует в этой книге без ведома, может быть, даже против желания самих господ сочинителей; но что ж это доказывает? По-моему, именно это отсутствие сознательности и трогательно в наш обдуманный век. Что же такое, наконец, и сам гений, как не инстинкт высшего рода, как не бессознательное, природное творчество; а мы, однако, ценим его дороже всякого таланта. Вследствие всех этих размышлений в ту же ночь дал я себе слово посвятить свой труд на защиту, на прославление «Поэтических эскизов». «Какие громкие слова,— воскликнет читатель,— по поводу нескольких плохих стихов!» Позвольте, позвольте, любезный читатель! Объяснимся. Действительно, не все стихотворения, заключающиеся в «Поэтических эскизах», заслуживают такие громкие слова; многие только

просто плохи; они плохи потому, что бесцветны и безвкусны, как пресная вода, потому что и претензия-то в них не оригинальная претензия. Плохи, например, стихи г. Сушкова, который пресерьезно печатает в 1851 году классическое послание, совершенное им в 22 году против Бахчисарая,— против Бахчисарая, воспетого Пушкиным; плохи стихи г-жи Растопчиной «Ты не люби его», в которых этот вечный, таинственный и поистине достойный сожаления *он* на пространстве осьмнадцати строчек проходит опять несколько раз через все свои падежи; плохи стихотворения г. Берга, хотя одно из них, «Ренегат», своим изумительным концом уже переходит за черту обыкновенного (ренегат этот, рассыпав пепел, скоропостижно умирает оттого, что посмотрел на красавицу); плохи стихи гг. Миллера, Соловьева, Соколова, Прот....ова, Котельникова, Кобякова (хотя нельзя, впрочем, не похвалить этого последнего писателя за удачный выбор имени любовника в *скандинавской* легенде, а именно: он его назвал Роберто́); но не плох г. В. И. Р., не плох г. А. Пономарев, далеко не плохи гг. Андреев и Три звездочки; а стихи г. Познякова не только не плохи — это в своем роде превосходные, великолепные стихи. Юмор в них так и кипит, комизм сверкает в каждом слове. Нет, это не плохие стихи! Впрочем, должно сознаться, что г. Позняков резко отделяется от всех других соучастников в «Поэтических эскизах». Его произведения вы узнаете сразу: на них лежит печать личности... Мы намерены заняться сперва им.

Если б нам нужно было определить одним словом, в чем именно состоит особенность таланта г. Познякова, мы, вероятно, нашли бы ее в совершенной неожиданности поэтических оборотов и эпитетов. Их действительно никак нельзя предвидеть; они падают как снег на голову изумленному читателю. Г-н Позняков необыкновенно смел в выборе своих выражений, но и счастлив, нечего сказать... Впрочем, мы охотно готовы сознаться, что сущность его таланта именно вследствие этой неожиданности — неуловима. Перечитывая со вниманием его произведения, мы в иных случаях, правда, открыли тайну его манеры: она состоит в совершенно... не скажем — превратном, но противоположном, самобытном воззрении на предметы... Передавая нам

это воззрение, г. Позняков не прибегает к новым образам: он употребляет образы, выражения уже известные, но выворачивает их, так сказать, наизнанку. Например, все мы говорим: «сон бежит очей»; г. Позняков, напротив, утверждает, на стр. 78, что «очи бегут сна». Мы говорим: «силы неба», у г. Познякова очи голубые (на стр. 41) устремлены через густые черешен ветви к *Небу Сил*. Мы говорим: «снять как рукой», а у г. Познякова встречаются следующие стихи (на стр. 78):

> будто рукой
> С меня снялись мученья
> И пропали с тоской...

На стр. 79 парень не стучит рукавицами по рукам или руками по рукавицам, а «Стучит рукавицами руки». Обыкновенно думают люди, что в темноте нельзя различить предмета, а на стр. 43 сам «предмет не *может* различать в темноте».

Но мы уже заранее предупредили читателей, что наше замечание насчет манеры г. Познякова относится только к немногим случаям; большею частию мы находимся в совершенном неведении насчет внутренних законов его творческого дара,— и, повторяем, главное его качество — неожиданность — всюду является в полном своем блеске. Иное стихотворение производит на нас точно такое же впечатление, какое должно произвести на опытного ботаника внезапное появление нового, неслыханного растения. Глядишь и дивишься и ничего не находишь в памяти подобного: например, как вам нравится этот романс, посвященный à m-lle, m-lle Paulina de B....ff:

СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?

> Слыхали ль вы, что соловей,
> Который душу мне возвысил —
> Он не поет среди ветвей —
> Он пел — и *в то же время мыслил?*
> Слыхали ль вы?
> Слыхали ль вы?
> И я неведомо летел
> Куда, расстроенный душою,
> Но на певца тогда смотрел
> С какой-то дерзкою мечтою...

Вы ожидаете: Слыхали ль вы? — извините, тут стоит: «Прости ему!» Читатель поневоле сам неведомо летит куда, расстроенный душою.

А это мрачное, байроновское стихотворение... вы думаете, можно его было предвидеть (на стр. 103):

БЫВАЕТ ВЛЕЧЕНЬЕ

Бывает влеченье неведомой силы,
Влечение сердца к девице прекрасной,
Влечение к дружбе до хладной могилы,
К доверчивой дружбе, и теплой и страстной.
Не спавшая прядь на плеча шелковистых кудрей,
Не огнь ее пылких и страстно-могучих очей,
Так душу возвысили в мир представлений
Неведомых, редких, но чудных мгновений.
И жадно рвалась так душа, друг, поэта
К тебе. То ж влеченье до самой могилы —
Загадка — на то нам нет лучше ответа:
Бывает влеченье неведомой силы.

Октябрь. 1847.

Удивительное дело! Понять это величественное стихотворение нет почти никакой возможности, а впечатление оно производит сильное. Именно «Бывает влеченье неведомой силы».

В другом роде, более небрежном, задушевном, но тоже очень хорошо стихотворение на стр. 25:

Ты не любишь меня:
Я, мой друг, то познал!
Вместе быть — для тебя
Скучно. Я ж не знавал
Этой скуки с тобой.
Пусть бы час дорогой
Длился долгим же днем!
Да любовь твою кровь
Не волнует, как прежде!
Что ж желаешь ты вновь
Моих клятв, уверений?
А была ты полна
И любви и *чувств юга.*

Под конец господин сочинитель прогоняет прочь луну, хотя она горит в *небе ночей*, потому что она не сулит любовь *юга*! *

Великолепен тоже первый стих в «La Nouvelle Fanchon» (стр. 120):

> Грустно, не спится мне, *скуки быв полному.*

Какая счастливая смелость, а?

Следующие десять стихов хотя не могут стать наравне с первым, но достойны, однако, полного внимания просвещенных любителей:

> На родине путница... Бледно усталая
> В дальней дороге своей
> Тихо садится, отцветши-увялая
> Радость — *подруга не ей!*
> Волосы спали па плечи к ней, *томная*,
> Ночи проведши без сна,
> Страждет душевною скорбью, безмолвная
> Села! — безумна она! —
> Видится: в хижине дверь отворяется
> Мать и отец.

И точка.

Той же m-lle, m-lle Paulina de B....ff посвящен романс: «Не осуждай меня». В нем звучит такая певучая, такая трогательная грусть, что, право, гораздо было бы лучше положить этот романс на музыку, чем песенку г. Сушкова: «Ай, вино!», которая, как замечает в выноске автор, заслужила эту честь от г. Верстовского. Правда, наш даровитый композитор мог бы прийти в не-

---

* А что вы скажете про эти стихи из «Сна мужика в дороге»:

> Холодно. Вишь, хватает
> За лицо как мороз?
> И визжит и ныряет
> Парня этого воз.
> Эко горе! Взглянул
> К небу он, не *пригожий*...
> На воз влез и уснул
> Сладким сном под рогожей...
> Ну ты, пегой! плетись!
> Если бью — не дивись!

которое недоразумение насчет точного смысла следующих стихов:

> Мне больно слышать оскорбленье
> Твоих, друг, слов!
> Но то в любви — лишь искушенье
> Твоих оков!

Но облеченные в его звуки, они бы показались прекрасными...

Впрочем, пора перейти к главному, капитальному произведению г. Познякова — к его поэме «Видение». Мейербера и Россини судят не по сорока мелодиям, изданным в Париже, не по «Музыкальным вечерам», а по «Гугенотам», по «Семирамиде», по «Севильскому цирюльнику»...

Мы называем «Видение» поэмой, хотя она вся помещается на тринадцати страницах; но дело не в величине: дело в достоинстве. Начинается поэма описаньем сада. Ночь. Луна белеет, «спутница ночей и трех заплаканных очей». И вдруг...

> Смотри!

— говорит себе автор,—

> вот, видишь, меж *черешен*
> Стоит, колена преклоня,
> В покрове белом, не утешен,
> Какой-то призрак? — Он меня
> Смутил неясной, тяжкой думой.
> Не сирота ли то, *мой друг?*
> Иль прячет скряга свои суммы?
> Или несчастливый супруг?

И вот автор, подстрекаемый любопытством, подходит, «чуть-чуть ступая»,

> Чтоб не исчезло *Гор* виденье...

Заметьте, что о горах до сих пор слова не было сказано. Виденье гор не шевелится, и автору-мечтателю уж мнится, что

> как щепка морем
> Несомая, уж он устал
> Бежать по волнам океана,
> Не видя там земли *кургана!*

Но вдруг «ветер дунул от востока» — и автор увидал, что этот призрак — «молодая дева иль жена», и долго призрак

> там неподвижно
> Стоял в забвении немом,
> Как будто был скоропостижно
> Захвачен он тогда *серпом*,
> Неуловимой смерти роком!
> И не смигал тогда он оком.
> Но ветер дунул от востока
> И освежил Явленье *Гор*...

Явленье Гор начинает жаловаться на свою судьбу. «Могу ль,— говорит оно,— любить моего мужа? Не вижу в нем,— говорит оно,— *молодова*...

> Подагрой мучимый старик
> С главой, лишенною волос,
> Лишь только может боли крик
> Произносить — будто *Родосс*,
> Худой, лишенный дара слова.

Сознайтесь, читатель, что слово Родосс никак нельзя было ожидать на этом месте... Это действительно колоссально.

Призрак видит кого-то... Вдруг шорох...

> И вот блондинка молодая
> Вздохнула сильно, сильно, вдруг.
> И на реснице *золотая*
> Слеза повисла, *как жемчуг*,
> И долго мыслила она...
> Но, пробудившись, как от сна,
> Так говорила, так мечтала
> *Она сквозь слез ее кристалла*...

Она объявляет, что ждет человека, который

> никого не любил
> Такой любовью идеальной,
> Такой возвышенной любовью,
> *Рожденный благородной кровью.*

Наконец, приходит этот человек, рожденный благородной кровью. «Прошла минута их забвенья...

И молвило Гор привиденье» — оно говорит ему:

О, дай же насмотреться мне
Здесь, меж *черешен*, в тишине
На образ твой *при лунном свете*,
Бледнеющий — при дня рассвете!
А он...

Он говорит ей, между прочим, следующую тираду, которая по драматической своей стремительности, по тревоге выражений, может стать наряду с лучшими произведениями подобного рода. Посмотрите, какое волненье, какая горечь в каждом слове:

Вчера
Я долго в доме был у вас,
И не сводил я моих глаз
С семейства вашего. Тогда
Сестра твоя, как бы звезда
Меж звезд, хвалилась красотой,
Умом. О, есть же люд пустой!
В другом не видят ничего,
А недостатки все его —
Есть собственность его прямая!
И думает она — иная
Готовится судьба для ней;
Но не видать ее, верь ей!
Хоть юноша у них болтливый
Живет и тетку девы той
Морочит он и ей игривый
Передает набор лишь слов —
Что он с племянницей ее
Готов на брак; но знаю я
Несбыточность его тех слов —
Тому не быть за цену злата!
Я знаю очень его брата,
Отца и образ мыслей их,
Что не позволят этих уз
Связать ему; что тот союз
Не будет никогда уделом
Мальчишки дерзкого — и смелым
Отказом запретят ему
Питать надежды мысль к тому!

Разговор продолжается, становится нежным; но вдруг опять шум...

Вздрогнули вдруг в тени *черешен*
Объятые два сердца страхом,
И вот любовник одним махом
Уж был чрез сучья перевешен!

Он глядит, пылая огнем *досад*, и вдруг...

Смотрит! — от них уж недалеко
Ревнивое супруга око!

Любовники бегут...

Но двое из пришедших жен,
Запыхавшись, уже предстали
На место бывшего свиданья —
И, полны быв негодованья,
Они протяжно провизжали:
«Ах, верно, был предупрежден!»
Потом сварливая старуха
Всё слышала *желанным* ухом,
И молвила: вот, дочка, друг,
А не красавец ли супруг
Ее? Умен, богат... Нет, ей
Не нравится... Ну *соловей!*

Жена уходит. Приходит *Родосс* — супруг. Автор слышит, как он

промолвил слов немного
Из полусонных уст своих.

Он говорит, что его обманули, что его напрасно потревожили —

И пошел
К соседу в сад — и что ж нашел:
И ни ползвука, ни полшума.

Жена моя,— говорит он,— в объятьях сладостного спа...

И барич этот повалился
На луг, в прохладе тех *черешен*
И сном, как видно, был утешен.

Поэма кончается. Кажется, выписанных нами отрывков достаточно, чтоб убедить читателя в справедливости нашего отзыва о таланте г. Познякова. Какой юмор, какое богатство неожиданных выражений: Ро-

досс, желанное ухо, мечтать сквозь кристалл, полшума, мысль надежды, серп неуловимой смерти, дочка-соловей, курган земли на океане, гор виденье, золотая слеза, небо ночей, небо сил и эти черешни — ведь это перлы. Подите попробуйте придумать что-нибудь подобное! Как не приветствовать после этого в наше время, где либо вовсе не пишут стихов, либо пишут такие стихи, которые едва-едва в силах сорвать улыбку вялого одобрения с уст равнодушного читателя,— как не приветствовать, повторяем, появление таких поэм, как «Виденье», таких стихотворений, как романсы, посвященные m-lle, m-lle Paulina de B....ff? И мы их приветствуем, мы рекомендуем их всем, которые еще ценят невинный смех, веселую шутку, которые знают, что крупицы истинного комизма попадаются гораздо реже, чем крупицы золота в Калифорнии; без малейшей иронии обращаемся к самому господину сочинителю с просьбой подарить нам еще несколько плодов своего досуга и весьма серьезно уверяем его, что мы в нынешнее время не знаем ни одного стихотворца, собранные произведения которого мы бы так желали видеть в печати, как произведения автора «Видения»...

Мы имели было намерение поговорить и о некоторых других участниках в «Поэтических эскизах»; но, во-первых, мы боимся распространиться за пределы журнальной статьи, а во-вторых, признаемся, после г. Познякова все они кажутся нам бледными и слабыми. Это уж не то, далеко не то! Нет этой наивности, этой неожиданности, непредвиденности этой нет! Впрочем, следующие отрывки из стихотворений гг. В. Р., Андреева и Пономарева можно прочесть не без удовольствия даже после г. Познякова.

ЛЮБОВЬ И АД

*Любовь и ад, ад и любовь!**
Не различишь двух этих слов!
Зажглася страсть, клокочет кровь,
В *ад* превращается любовь!

Талант приветствует *любимый*
Рукоплесканий *адский* гром,

* Слова, напечатанные курсивом, так напечатаны в подлиннике.

Ад ревности непобедимой
Я в сердце чувствую моем.

Когда к другому предпочтенье
При мне окажешь как-нибудь,
О, что за *адское мученье*
Стеснит растерзанную грудь!

Нет, сохраню я до могилы
Любви отверженный мой клад,
Ведь я сказал, что равны силы:
Ад и любовь, любовь и ад!

В. Р.

Недурно, очень недурно, но относится к произведениям г. Познякова как каламбур, как острая игра слов к действительно юмористической выходке; это уж не первая, наивная творческая эпоха художества: это уж эпоха рефлекции, ума, упадка, décadence.

БЕДНЯК

По улице грязной
С печалью на сердце,
Голодный, усталый,
Пешком я иду.

А дождь ливмя льется,
Без жалости мочит,
И чувствуешь: скверно
Идти... но идешь.

Вот Ванька навстречу
На кляче усталой
Тихохонько едет;
Пора на ночлег!

Нет денег в кармане,
Нанять чтобы Ваньку —
И по грязи вязнешь
В калошах худых.

А. Пономарев.

Очень хорошо! Жаль, что конец стихотворения не совсем выдержан.

Г-н Андреев не выработался еще; но от него мы многого ждем в будущем. У него есть внезапные вспышки, достойные самого г. Познякова. Например, каков конец стихотворения «Красавица», посвященного К. Н. Жулевой:

Но познанье было́
Мне недаром дано:
Много с ним я узнал,
Ад и рай испытал,
Свой покой потерял—
И безумцем я стал!

Этот конец напоминает самые блестящие коды в какой-нибудь бравурной арии Рубини. Замечательны тоже следующие восемь строчек того же г. Андреева в стихотворении «Девушке»:

Если ты, полюбивши глубоко,
Друга юношу в путь избрала
И сознательно, твердо и робко
Бытие ему всё предала —
Или ты, без успеху трудившись,
Иль была ты хоть долго больна,
Тосковать на судьбу утомившись,
Нищетой принужденна была.

И опять точка.

Да, г. Андреев может еще выработаться.

Оканчивая разбор «Поэтических эскизов», мы еще раз приносим искреннюю нашу благодарность господам издателям, из коих один — сам г. Позняков. Наша благодарность действительно «искренняя», и мы покорно просим читателей не огорчать нас недоверием к нашим словам. Мы всегда считали неблагодарность самым черным пороком, а веселый смех — самым счастливым событием человеческой жизни; читатели могут сами посудить теперь, как далеки мы от этого порока в отношении к издателям этого бесподобного, этого радостного, этого нами от всей души приветствуемого «Альманаха».

ПЛЕМЯННИЦА. Роман, соч. Евгении Тур. 4 части, Москва, 1851.

Было время — несколько лет тому назад — в отечественной критике завелась своего рода табель о рангах — подразделение пишущих людей, которые, смотря по их способностям, удостоивались различных степеней: простого беллетриста, дагерротипического изображателя нравов, простого таланта, художественного таланта, гениального таланта и, наконец, даже гения. Была также степень гения мирового, но до той степени доходили немногие. Это время прошло теперь вследствие, между прочим, и оказавшейся несостоятельности многих гениальных талантов и гениев; оно прошло, и мы смеяться над ним не будем. В этой, с виду педантической, классификации было гораздо более молодости воззрения, более веры в искусство и его деятелей, чем в наше положительное, сухое и равнодушное время. Системы вообще создаются энтузиастами и применяются ими... Нам, старикам, теперь не до систем. И потому мы не станем прибегать к терминологии тех давнопрошедших времен, мы не потревожим ее праха; но мы попросим у читателя позволения сказать несколько несистематических слов о талантах вообще, об их различных свойствах, прежде чем мы приступим к оценке произведения г-жи Тур. Читатели могут успокоиться: мы будем кратки; многословие юности прошло в нас вместе с эпохой, о которой мы говорили выше, а до старческой болтливости мы еще не дожили.

Мы начнем с известной всем истины. Бывают таланты двоякого рода: таланты сами по себе, независимые, как бы отделенные от личности самого писателя, и таланты, более или менее тесно связанные с нею. Мы не хотим этим сказать, чтобы таланты, названные нами независимыми, могли бы быть лишены постоянной внутренней связи с жизнию вообще — этого вечного источника всякого искусства — и с личностию писателя в особенности. Мы не верим в эти так называемые объ-

ективные таланты, которые будто сваливаются бог весть откуда в чью-нибудь голову и сидят себе там, изредка чирикая, как птица в клетке; но, с другой стороны, мы не можем не чувствовать, что, например, лица Гоголя стоят, как говорится, на своих ногах, как живые, и что если есть между ними и творцом их необходимая духовная связь, то сущность этой связи остается для нас тайной, разрешение которой подпадает уже не критике, а психологии. В талантах же второго разряда, или, говоря безобиднее, в талантах другого рода, связь эта чувствуется читателем, произведения их, пожалуй, тоже могут стоять на своих ножках, но рука, их поставившая, от них не отнимается, пульс их бьется не своею кровью, вера в их существование сопрягается с некоторым усилием. Они живы не потому, чтобы в них самостоятельно сосредоточивалось живое начало, а потому, что их пустил в ход все-таки живой человек; зато эти произведения обыкновенно отличаются искренностью, задушевностью и теплотою; недостаток мастерства и оконченности выкупается другими интересами. В них, может быть, меньше истины, но сочувствия они часто возбуждают больше, особенно если в них есть то, без чего всё в искусстве ничтожно,— если в них есть личная правда. Разумеется, что в нашем подразделении нет ничего абсолютного: было бы смешно подводить бесконечное разнообразие художественных личностей под какие-то неподвижные графы; но общий смысл проведенной нами границы нам кажется верным и сообразным с действительностию.

Талант г-жи Тур принадлежит именно к талантам этого, положим, второго рода, и мы очень этому рады. Обыкновенно так называемые объективные таланты предпочитаются и самими писателями, которые жаждут этого немецкого эпитета и добиваются его, как самого лестного комплимента, и критиками. Про читателей этого нельзя сказать: они не пускаются в такие отвлеченности и любят то, что их занимает. Но, повторяем, мы очень рады, что г-жа Тур такова, какова она есть, и этому причина весьма простая: г-жа Тур женщина, русская женщина, и, как ни велико наше уважение к этой пресловутой «объективности», мнения, сердце, голос русской женщины — всё это для нас дорого, всё это нам близко... И это дорогое, это близкое едва ли не в пер-

III.

ПЛЕМЯННИЦА *Романъ. соч.* **Евгеніи Туръ.** *4 части. Москва. 1851.*

Было время — нѣсколько лѣтъ тому назадъ — въ отечественной критикѣ завелось своего рода подраздѣленіе пишущихъ людей, которые, смотря по ихъ способностямъ, удостоивались различныхъ степеней: простого беллетриста, дагерротипическаго изображателя нравовъ, простого таланта, художественнаго таланта, геніальнаго таланта и, наконецъ, даже генія. Была также степень генія мірового, но до той степени доходили немногіе. Это время прошло теперь, вслѣдствіе, между прочимъ, и оказавшейся несостоятельности многихъ геніяльныхъ талантовъ и геніевъ; оно прошло, и мы смѣяться надъ нимъ не будемъ. Въ этой съ виду педантической классификаціи было гораздо болѣе молодости воззрѣнія, чѣмъ въ наше положительное, сухое и равнодушное время. Системы въ литературѣ вообще создаются энтузіастами и примѣняются ими.... Мы не станемъ прибѣгать къ терминологіи давно-прошедшихъ временъ, мы не потревожимъ ея праха; но мы попросимъ у читателя позволенія сказать нѣсколько несистематическихъ словъ о талантахъ вообще, объ ихъ различныхъ свойствахъ, прежде чѣмъ мы приступимъ къ оцѣнкѣ произведенія г-жи Туръ. Читатели могутъ успокоиться: мы будемъ кратки; многословіе юности прошло въ насъ вмѣстѣ съ эпохой, о которой мы говорили выше, а до старческой болтливости мы еще не дожили.

Мы начнемъ съ извѣстной всѣмъ истины. Бываютъ таланты двоякаго рода: таланты сами по себѣ, какъ бы отдѣленные отъ личности самого писателя, и таланты, болѣе или менѣе тѣсно связанные съ нею. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы первые могли быть лишены постоянной внутренней связи съ жизнію вообще — этого вѣчнаго источника всякаго искусства — и съ личностію писат-

СТАТЬЯ О РОМАНЕ ЕВГЕНИИ ТУР «ПЛЕМЯННИЦА».
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА.

«Современник», 1852, № 1.

вый раз заговорило в области искусства устами г-жи Тур. Писательниц у нас было много на Руси; иные из них владели замечательными способностями; но из всех из них одна — мы просим извинения у живых — уже теперь не живая, г-жа Ган, могла бы оспаривать у г-жи Тур то преимущество впервые сказанного слова, о котором мы сейчас упомянули. В этой женщине было действительно и горячее русское сердце, и опыт жизни женской, и страстность убеждений,— и не отказала ей природа в тех «простых и сладких» звуках, в которых счастливо выражается внутренняя жизнь; но сочинительство ее погубило, литература (как ни странно это слово, но оно верно), литература повредила ей, желание создавать, творить разрешилось у ней хлопотливым бессилием, и Марлинский окончательно наложил на нее печать своей пагубной витиеватости. Она осталась прекрасным, даже, пожалуй, трогательным воспоминанием в памяти любителей изящного; но в поэзии, настоящей, живой, ей места нет. Счастие первого удачного начинания принадлежит г-же Тур, хотя и в ее произведениях, как мы увидим ниже, местами отразилось влияние той риторики, в плевелах которой заглохло, наконец, прекрасное дарование ее предшественницы.

Г-жа Тур явилась в первый раз перед публикой не более двух лет тому назад. Все помнят впечатление, произведенное «Ошибкой»,— впечатление, поддержанное «Долгом» и окончательно утвержденное «Антониной», эпизодом из разбираемого нами романа. (Мы не говорим ни о «Первом апреле», неудачной попытке в роде, совершенно чуждом для г-жи Тур,— в роде драматическом, ни о «Двух сестрах», повести, помещенной в «Отечественных записках». Любой талант не мог бы справиться с затруднениями, неизбежно вытекающими из ложности основной мысли этого произведения.) Блестящие надежды, возбужденные г-жою Тур, оправдались настолько, что уже перестали быть надеждами и сделались достоянием нашей литературы: дарование г-жи Тур, слава богу, не нуждается в поощрениях и может с честию выдержать самую строгую оценку.

Мы не намерены вдаваться в подробный разбор произведений г-жи Тур, предшествовавших «Племяннице». Талант ее, по самой сущности своей, не может отличать-

ся большим разнообразием, и внимательному взору, с участием за ним следящему, представляется весь в каждом своем творении. Заметим только, что «Ошибка», при всей неновости содержания, небрежности слога и несколько утомительных длиннотах, поразила всех своей искренностью, неподдельным жаром чувства, какою-то стремительностию убеждений и благородным мужеством души, оставшейся юной под ударами горя, не впавшей в болезненную грусть. Сверх того, от страниц «Ошибки» веяло Москвой, московским обществом. В «Долге» попадаются места, несколько напоминающие Жорж Санда,— места, дышащие глубокой тревогой разгорающейся страсти. Об «Антонине» мы отдельно теперь говорить не будем и спешим перейти к роману, заглавие которого мы выписали в начале нашей статьи.

Роман — роман в четырех частях! Знаете ли, что, кроме женщины, никто в наше время в России не может решиться на такой трудный, на такой во всяком случае длинный подвиг? И в самом деле, чем наполнить четыре тома? Исторический, вальтерскоттовский роман,— это пространное, солидное здание, со своим незыблемым фундаментом, врытым в почву народную, с своими обширными вступлениями в виде портиков, со своими парадными комнатами и темными коридорами для удобства сообщения,— этот роман в наше время почти невозможен: он отжил свой век, он несовременен... У нас, может быть, его пора еще не пришла,— во всяком случае он к нам не привился — даже под пером Лажечникова. Романы «à la Dumas» с количеством томов ad libitum[1] у нас существуют, точно; но читатель нам позволит перейти их молчанием. Они, пожалуй, факт, но не все факты что-нибудь значат. Остаются еще два рода романов более близких между собой, чем кажется с первого взгляда, романов, которые, во избежание разных толкований, не везде удобных, мы назовем по имени их главных представителей: сандовскими и диккенсовскими. «Эти романы у нас возможны и, кажется, примутся; но теперь, спрашивается, настолько ли высказались уже стихии нашей общественной жизни, чтобы можно было требовать четырехтомного размера от романа, взявшегося за их воспроизведение?

---

[1] по желанию: сколько будет угодно *(лат.)*.

Успех в последнее время разных отрывков, очерков, кажется, доказывает противное. Мы слышим пока в жизни русской отдельные звуки, на которые поэзия отвечает такими же быстрыми отголосками. Пример Гоголя тут ничего не значит: во-первых, для таких людей, как он, эстетические законы не писаны, и он без всякой гордыни мог говорить об устремленных на него очах всей России; а во-вторых, в том, что он свои „Мертвые души“ назвал поэмой, а не романом,— лежит глубокий смысл. „Мертвые души“ действительно поэма — пожалуй, эпическая, а мы говорим о романах» *. Но, спросят нас, если мы точно затрудняемся в признавании четырехтомных романов возможными в литературном смысле, почему же мы думаем, что одна только женщина может у нас предпринять и, главное, окончить такую небывалую вещь? Именно потому, что для женщины, даже пишущей, не существуют те препятствия, которые бы остановили литератора на первом шагу. Ей не страшно наполнять целые десятки страниц либо ненужными рассуждениями, либо рассказами, не ведущими к делу, либо даже просто болтовней,— ей не страшно ошибиться. Она пишет жадно, быстро, с каким-то невольным уважением к писанию вообще, без литературных замашек и затей; и горе женщине, которая вздумала бы писать иначе, горе женщине «сочинительнице!» Да не подумают, однако же, что мы требуем от женщины-писательницы какого-то бессознательного,

---

* Строки, отмеченные кавычками, были выкинуты цензором, питавшим личное неблаговоление к Гоголю. Этот один факт безапелляционного произвола, по-моему, красноречивее говорит о тогдашнем литературном бесправии, чем все пресловутые анекдоты о «вольном духе», «лжепророке» и т. д. Помнится, тот же цензор утверждал, что не следовало бы пропускать в печать известных водевильных стишков:

По Гороховой я шел...
И гороху не нашел!

Во-первых,— говорил он,— это все-таки критика, неудовольствие мерою начальства; а во-вторых: теперь вот толкуют о горохе... а кто может поручиться, что другой сочинитель, воспользовавшись послаблением цензуры, не напишет:

На свободе хоть я шел —
Но свободы не нашел!

Так уж лучше не позволять толковать и о горохе.

инстинктивного творчества. Мысль, со всеми ее страданиями и радостями, жизнь, со всеми своими зримыми и незримыми тайнами, доступны ей столько же, сколько мужчине. Мы только утверждаем, что в женских талантах (и мы не исключаем самого высшего из них — Жорж Санда) есть что-то неправильное, нелитературное, бегущее прямо из сердца, необдуманное наконец,— словом, что-то такое, без которого они бы на многое не покусились и, между прочим, на четырехтомный роман.

Приступим же к нему, к этому роману. Разбирая его содержание, мы надеемся яснее высказать наше мнение о даровании г-жи Тур, которое до сих пор обозначено нами только общими чертами.

Роман начинается не совсем удачно: на сорока шести страницах тянется род вступления, из которого мы, правда, узнаем положение главных действующих лиц, но которое уже потому могло бы быть сокращено, что собственно описания не сильная сторона г-жи Тур: они большей частью выходят у ней слабы и вялы; в ее рисунке нет спокойствия и ясности, ей надобно быть самой увлеченной, чтоб увлечь других, и ее действующие лица становятся по мере возможности живыми только с той минуты, когда они начинают действовать. Героиня романа — Маша, племянница — живет в деревне своей тетки, капризной и тяжелой старой девы. Родители Маши умерли давно, не оставив ей никакого наследства. В одном доме с нею обитает ее бабушка, добрая старушка, защитница Маши от притеснительных нападок ее желчной тетки. В этот семейный кружок, довольно верно, хотя несколько бледно очерченный г-жою, Тур, введен один друг дома, сын управляющего ближнего села, учитель Маши, некто г. Ильменев, белокурый молодой человек, весь составленный из самоотвержения, неловкости, преданности, почтительной грусти и затаенной любви, одно из тех лиц, которых, с легкой руки Ральфа в «Индиане», непременно встречаешь в каждом женском романе новейшего времени.

Между Машей, его ученицей, и им существуют отношения чрезвычайно нежные и вообще весьма похвальные, но не лишенные некоторой тихой скуки для читателя. Он ее наставник, ее друг, ее воспитатель. Он ее очень любит, и она его любит; но вы уже с первых страниц романа чувствуете, что эта взаимная любовь не тотчас

увенчается желанным успехом, что идиллическую эту тишину нарушит буря, что сердцу Маши суждено испытать чувство более страстное и знойное, чем ее детское расположение к своему скромному наставнику. И действительно, эта буря наступает. Она является в виде блестящего князя Чельского, владетеля именно того села, которым управляет отец Ильменева. Он является не один: его сопровождает какой-то г. Плетнеев, тоже белокурый господин с такой бледной физиономией, что память читателя изо всех его призрачно мелькающих черт с трудом удерживает одну какую-то полуребяческую, полустарческую восторженность и мечтательность. Князь является и, как водится, побеждает. Ильменев, как водится, тоже догадывается, страдает и молчит. Плетнеев хотя менее догадывается, но влюбляется, страдает и молчит тоже. Отношения князя к Маше, в изображении которых часто встречаются черты истинные, тонкие и нежные,— черты, которые одна женщина может почувствовать и выговорить,— отношения эти внезапно прерваны грубым вмешательством тетки, Варвары Петровны. Князь уезжает, получив на последнем свидании уверение в любви Маши. Маша некоторое время томится и грустит; участие неизменного ее паладина Ильменева помогает ей перенести разлуку... Но вот бабушка ее умирает, поручив ее опять тому же Ильменеву, и Маша едет в Москву на житье к другой своей тетке, княгине Беловодской. Отъездом ее из родимого гнезда оканчивается первая часть романа, и мы охотно сознаемся, что всё горе, вся скорбь последнего дня разлуки, это мление ноющей души, отрывающейся от всего ей дорогого, что вся эта бесконечная, почти предсмертная печаль нигде не была изображена с большей теплотой и истиной, как на тех страницах, где мы видим Машу. Машу, влюбленную в другого, в последний раз сидящую с другом своего детства под кровом того дома, где оно так счастливо прошло.

Прежде чем мы пойдем далее, скажем несколько слов об этом первом томе. Главный его недостаток — несоразмерная длиннота. Он бы ничего не потерял — мы утверждаем это смело,— если б его сократили наполовину. Чувства меры недостает в г-же Тур. За болтливыми описаниями тянутся диалоги, которым решительно и ни под каким видом не хочется остановиться. Осо-

бенно туманна середина этой первой части благодаря упорному пребыванию в ней Ильменева и Плетнеева — этих двух сиамских близнецов несчастной любви; но обо всех этих недостатках мы говорили выше, как о более или менее неизбежных принадлежностях женского писанья. Зато и всё прекрасное, всё симпатическое, всё, что мы так любим под пером женщины, находится и у г-жи Тур. Звуки, то невольно потрясающие, то глубоко трогающие, часто попадаются у ней среди самых незначащих страниц. Характеров, в строгом смысле этого слова, у ней нет, и самые лишние места в романе г-жи Тур — именно те описания, посредством которых она старается разъяснить нам характеры своих героев. Описания эти ничего не разъясняют и даже иногда своею неопределенностию, своими общими местами мешают впечатлению читателя. Более всех удался автору характер Варвары Петровны, в отделке которого мы с удовольствием заметили какую-то меткую, верную, чисто женскую иронию. Характеров нет, повторяем мы, в первой части «Племянницы» (о князе Чельском мы поговорим после), но есть одно лицо — Маша, которому невозможно не сочувствовать горячо. Нельзя сказать, чтобы и она была оригинальна; но молодые девушки и в действительности редко бывают оригинальны, и те общие черты, которые повторяются во всех них, общие им всем радости, надежды, волнения, страдания,— эта их общая личность, если можно так выразиться, прекрасно высказалась в образе Маши. Мы не хотим сказать, чтоб и второстепенные лица, выведенные г-жою Тур в этой первой части, как-то: лица бабушки, матери Ильменева, отца его и другие, между которыми довольно удачно выдается княжеский грум, избалованный и изломанный мальчишка,— мы не хотим сказать, чтобы эти лица были ложны: они только бледны, лишены той цепкости типической, той жизненной выпуклости, которые одни не дают себя забыть. «Племянницу» вообще не скоро забудут, но ни одно из лиц этого романа, за исключением Антонины, не останется в памяти читающей массы; мы осмеливаемся предсказать это... Но пора перейти ко второй части.

Первые главы этой второй части принадлежат к самым лучшим во всем романе. В них выведено семейство Беловодских, состоящее из матери, холодной и ме-

тодической, в высшей степени приличной и совершенной, но как-то неестественно и подозрительно совершенной женщины, и трех дочерей, из которых старшая, Мери, вышла в мать, вторая — Анюта — пустая светская девушка, а третья — Соня — лукавый, умный и уже испорченный ребенок. Все эти фигуры, так же как и те, которые служат им обстановкой, очень удачны. Положение Маши в этом семействе обрисовано четко и верно; рассказ жив, прост и почти нигде не прерывается ни сплошными рассуждениями в пять страниц и более о том, что сейчас или было, или будет сказано, ни теми словоохотливыми разговорами, в которых тоже рассуждается de omnibus rebus et quibusdam aliis[1]. Правдой, искренней, страстной правдой дышат все эти страницы. Читатель на собственном сердце чувствует гнет холодного бремени, подавляющего Машу в доме княгини. Первые ее выезды в свет очень мило рассказаны. Но с половины тома интерес слабеет: является, во-первых, опять Плетнеев, это совершенно ненужное в экономии романа лицо, и по-прежнему распространяет около себя какую-то тоскливую тяжесть, напоминающую впечатление легкого угара. Он негодует на Машу, которая понемногу начинает находить удовольствие в рассеяниях света, и, боже мой! как пространно негодует! Вместе с ним возникают, словно из тумана, разные бледноватые лица: князь Неволин, князь Девин, князь Габин, граф Запольский, барон Чернов, блестящая виртуозка Алина Ленская,— и все эти князья, графы, бароны и дворяне более или менее вертятся около Маши. Князь Неволин даже сильно влюбляется в нее. Наконец является сам jeune premier[2] — является князь Чельский. Он по-прежнему влюблен в Машу, но, чтоб отвести подозрение, кокетничает с Мери, старшей дочерью княгини Беловодской. Мери, это холодное, скрытное, сдержанное существо, сама в него страстно влюбляется, и г-же Тур как нельзя лучше удалось выразить эту «сухую», мучительную и непривлекательную страсть. Князь Чельский делает наконец предложение Маше. Некоторые предшествующие сцены прекрасны и могли быть только написаны женщиной, умной женщиной, взгляд которой,

---

[1] обо всем да и еще кое о чем *(лат.)*.
[2] первый любовник *(франц.)*.

подмечая мелочи, не только не теряется в них, но именно в этих мелочах схватывает общее движение и направление жизни и страсти. Зато другие сцены сбивчивы и длинны. Добродетельный Ильменев также прибывает в Москву перед окончанием развязки отношений князя и Маши. Читатель приветствует его появление странным чувством, похожим на то, с которым мы часто встречаем иных наших хороших друзей: нам приятно их увидеть, но нам не неприятно с ними расстаться, и в их отсутствие мы как-то охотнее отдаем им полную справедливость. В конце книги мы встречаем Антонину; ту самую Антонину, имя которой, благодаря отрывку, помещенному в «Комете», по справедливости стало почти популярным. Она представляется нам, какою осталась она после ее рассказа обок с ненавистным Милькотом,— и жестким, невыносимым объяснением между ним и ею оканчивается эта часть романа.

Теперь бы нам следовало перейти к разбору третьей части, но прежде нам хочется сказать несколько слов об избраннике Машиного сердца, о князе Чельском. Князь Чельский тоже неживое лицо. В нем опять выразился общий тип, довольно распространенный в наше время,— тип, для которого благодаря одной повести существует нарицательное имя — тип Тамарина. Чельский — это столичный Тамарин, точно так же, как Тамарин — провинциальный Чельский... Заметим кстати, что Тамарин более живое лицо, чем Чельский, именно потому, что такие господа вообще возможнее в провинции. Чельский менее ломается, с меньшим добродушием любуется самим собой, не позволяет себе никакой фатальности в обращении, не так наивно претендует на сокрушение девственных сердец. Он вообще лучше воспитан, больше видал, чем Тамарин, но сущность их одна и та же: тот же в обоих беспокойно-щепетильный эгоизм, та же претензия праздности, то же отсутствие всякого интереса, та же мелкая даровитость при бесконечной самонадеянности, тот же дилетантизм самосознания, та же бедная, при всем кажущемся богатстве, нищенски-бедная натура. Мы совсем не того мнения, чтобы такое лицо не стоило бы выводить; напротив, его надо выводить на свежую воду; но нам бы желалось, чтобы оно, как всякое комическое лицо, не выходило бы из-под иронической власти своего творца, из-под бича са-

тиры, или если этот бич для такого существа слишком тяжелое орудие, так пусть хоть изредка побрякивают над ним гремушки веселой насмешки. Но мы не можем считать несколько жестких и строгих фраз, сказанных автором насчет своего героя, достаточным вознаграждением за ту невольную нежность к нему, которая то и дело либо высказывается положительно, либо проглядывает между строками. Мы даже готовы согласиться, что князья Чельские — особенно в романах — легко пленяют молодых девушек; мы находим это в порядке вещей; но чем они чаруют спокойный взгляд художника, которому сами обязаны своим существованием, своим воспроизведением? Или на нас еще действует это дешевое изящество самодовольной светскости, этот ложный аристократический блеск, и мы браним его, внутренно им очарованные, как любовники бранят друг друга? Отчего, с улыбкой юмора начиная рисовать черты этого лица, не лишенного пленительности, но — повторяем — комического и мелкокомического,— отчего вдруг карандаш трепещет в нашей руке, и мы невольно то смягчаем резкую линию, то придаем взору силу и глубину, ложность которых чувствуем сами, то живописно и широко драпируем худенький и немощный стан? Правда, наше художественное чувство по временам протестует: мы скажем резкое, дерзкое, безжалостное слово нашему идолу — и снова таем и млеем перед ним... Отчего? отчего всё это? На этот вопрос не так легко ответить...

Притом не один этот вопрос приходит в голову читателю. Отчего Ильменев, этот добрый гений Маши, эта преданная, нежная, любящая натура,— отчего он непременно должен быть неловок, неуклюж, некрасив и молчалив, отчего волосы торчат на его голове кверху в виде листьев артишока? Происходит ли это от желания поставить его резкой противоположностью изящному князю, хотел ли автор изображением этого лица, лишенного всякой внешней прелести и столь достойного любви, хотел ли он покарать в самом себе и в читателе то чувство невольного подобострастия перед ложным блеском светских манер, о котором мы сейчас говорили,— во всяком случае мы не можем не видеть на самом Ильменеве отражения опять-таки Чельского: каждый из них представляется нам членом антитезы, уже

тысячу раз выведенной в романах,— антитезы блестящего, холодного и ложного характера с характером истинным, теплым, но уже слишком тусклым, и мы не можем не сожалеть о том, что г-жа Тур, с ее живым взглядом на вещи, пошла по этой несколько избитой дороге *.

Пора, однако, перейти к третьей части. В начале ее князь Чельский, уже жених Маши, уезжает в Петербург по случаю болезни тетки, и читатель узнает, что Мери, старшая дочь княгини, также помолвлена за графа Запольского, человека зрелых лет и давнишнего друга дома. Мери скрыла до времени свою любовь к князю, но простить Маше ее счастье она не может. Уже до свадьбы она начинает подкапываться под это ненавистное счастье. Читатель предчувствует, что, благодаря ее коварным стараниям, невинная, девическая дружба Маши к Ильменеву горько отзовется в жизни молодой женщины — княгини Чельской. Мери сама способствует свиданьям Маши с ним и с Плетнеевым, который влюблен уже не в Машу, а в Антонину, но по-прежнему бременит читателя своим присутствием; с женским инстинктом предчувствует она, что́ именно в характере Маши должно будет со временем привести к разрыву между ею и ее женихом, и с терпением и предусмотрительностью паука расставляет свои сети. Она умна, но для достижения своей цели ей даже не нужно большого ума: довольно одного эгоизма, одной холодной и скрытной хитрости. Что общего между доброй, слегка восторженной, простой и прямой Машей и господином Чельским? — Ничего. Их связывает теперь одно чувство, молодое в Маше, прикидывающееся молодым в князе; но оно пройдет, и останется одно глубокое различие двух душ, не созданных друг для друга. Мери гораздо более приходится под лад князю; они оба одного поля ягоды; и читатель чувствует, что рано или поздно они должны сойтись, хоть бы то было на развалинах счастья Маши. Третий том оканчивается двойною свадьбою — Маши и Мери. Князь уже до свадьбы

---

* Вспомним, между прочим, Джорджа Седлея и Осборна в «Ярмарке тщеславия», Леона Леони и Ганрие у Жорж Санда и проч. Г-жа Тур начитанна; но начитанность не всегда достоинство в сочинителе.

подпадает под влияние Мери, начинает подозревать и ревновать,— словом, выказывает всю мелочность своей души. Но главный интерес всей этой части сосредоточивается не на этих лицах, но на Антонине Бертини, на ее рассказе, в котором проходит перед нами вся ее жизнь и который занимает около двух третей этой третьей части.

Нам кажется, нечего уверять читателей наших в глубоком сочувствии, возбужденном в нас талантом г-жи Тур. С другой стороны, они могли видеть, что это сочувствие в нас не слепое, и что мы, не обинуясь, высказывали свое мнение о том, что́ нам казалось менее удачным в ее произведении; потому мы надеемся, что они не заподозрят тех горячих похвал, которыми мы готовы приветствовать рассказ Антонины, особенно первую его половину. Эти страницы — мы говорим это с твердым убеждением — останутся в русской литературе. Они — быть может! — станут в ряду тех избранных поэтических вымыслов, которые сделались нашими, домашними, о которых мы любим думать, симпатия к которым переходит наконец в привычку, тесно связанную со всем лучшим в наших воспоминаниях. Содержание таких счастливых вымыслов почти всегда несложно: оно просто, как самые основы жизни. Мы назвали эти вымыслы счастливыми: счастье их состоит не в новизне или неслыханности главной мысли, а в том, что жизнь им далась, что она открыла им свои родники и охотно потекла по ним своей светлой волной. В этом-то и состоит вся их оригинальность, их редкость. Не на всякий призыв откликается жизнь: волшебная лампа Аладина, перед которой всё охотно открывается, дается в руки немногим, даже между поэтами. Скажем более: она часто попадается людям, не владеющим слишком большим талантом: вспомним аббата Прево и его «Manon Lescaut», Бернардена де-Сен-Пьера и его «Павла и Виргинию». Определить условия возможности такого счастия довольно трудно: они связаны с самою жизнию тех счастливцев. Но мы должны сказать, что некоторый, довольно сильный отблеск этого счастья — счастья создать простой образ, не осужденный умереть,— достался на долю автора «Антонины». Нам хотелось бы верить, что Антонину не забудут — не забудут первых годов ее молодости, ее любви к Мишелю,

со всей обаятельной свежестью и прелестью первых сближений, со стыдливым торжеством неожиданного блаженства, с раздирающим горем внезапной разлуки. Всё это написано просто, горячо, небрежно, как вообще пишет г-жа Тур и как между прочим — заметим кстати — написана «Manon Lescaut». Но самая небрежность этой формы в рассказе Антонины есть прелесть. Стремительная, искренняя страсть не ищет выражений и не находит их: они сами бегут ей навстречу.

Конец рассказа, начиная с появления г. Бертини, итальянца с могущественным темпераментом и мелодраматическими наклонностями, нам менее нравится. Отношение к нему Антонины, не совсем естественное и напряженное, как-то неприятно нарушает гармонию впечатления, вынесенного читателем из первой половины рассказа.

Между третьей и четвертой частью существует шестилетний промежуток. Мы вообще небольшие охотники до таких внезапных скачков. Большею частью интерес останавливается и замирает на той самой точке, где перервалась нить рассказа. Не скажем, однако, чтобы наши слова вполне оправдались над четвертой частью «Племянницы». В ней есть прекрасные подробности. Развитие данных положений проведено даже с большей отчетливостью рисунка, чем мы этого ожидали от г-жи Тур. Но читатель неизбежно предвидит всё это развитие, до малейших его подробностей, с самой первой сцены, где автор представляет нам князя, уже раздраженного, скучающего своей женой, влюбленного в другую женщину, в Мери, Машу, загнанную, печальную, с тайной раной на сердце, и наконец самоё Мери, попрежнему холодную, уверенную в своей победе, в своем неограниченном влиянии на князя и готовую отмстить Маше до конца. Читатель — повторяем — предвидит все грядущие переходы этой драмы, и если не предчувствует, какого рода именно будет развязка — печальная или веселая, то уже ясно видит всю дорогу до ней и идет за автором не с увлечением, а с любопытством. Впрочем, мы не хотим этим замечанием уменьшить достоинство последней части романа, хотя и в ней можно указать на некоторые ненужные длинноты, не в подробностях самого хода действия, а в рассуждениях по поводу этого хода. Спешим, однако же, успокоить чита-

телей замечанием, что в течение этих шести лет Плетнеев успел — правда, несколько неожиданно — жениться на Антонине и уехать в деревню, где автор «оставляет его наконец, пожелав ему совершенного счастия», чего и мы ему от души желаем. Чего человек не готов посулить на прощанье! С Ильменевым Маша почти раззнакомилась: он, как все несчастные, но благородные любовники, наложил на себя маску мнимого равнодушия и с мужеством носил ее до тех пор, пока Маша была или казалась счастливою, т. е. до тех пор, пока ему незачем было бы и снимать эту маску. Но вот домашняя драма начинается: очарование давно исчезло, выступают последствия грозной ошибки, тяжело молодой женщине под гнетом ложного и унизительного положения... Наступает время другу выступить вперед и протянуть руку помощи. Но принять эту руку нелегко. Наступает обычное crescendo финала. Начинаются недоразумения, подозрения, оскорбления; с ожесточением людей виноватых преследуют князь и Мери невинную Машу. Клевета разливается ядом; мгновенные возвращения прежних чувств, невольные укоры совести тотчас сменяются новыми обидами. Безжалостный эгоизм, распаленный преступной страстью, попирает добродушную и слишком совестливую слабость; покрывшись непроницаемой броней приличия, он бьет куда угодно свою безоружную жертву, которая то тщетно старается умилостивить своих врагов, то еще напраснее пытается с ними бороться. Пощады ей нет. Опора за опорой ускользают из ослабевающих рук ее; внешнее благосостояние разрушается тоже; она гибнет... Но вот является спаситель в лице дяди Чельского, старика Очинина. Пользуясь крайним расстройством дел своего племянника, этот благодетельный deus ex machina[1] выкупает у него Машу, едва живую от всех ударов, на нее нанесенных. Он берет ее с собой. Ильменев их сопровождает, и через несколько времени мы узнаем, что граф Запольский, муж Мери, убивает на дуэли Чельского, и хотя нам автор не говорит ничего о торжестве добродетели, но мы вправе предполагать, что испытанная дружба Ильменева не останется без награды.

---

[1] *Буквально* — бог из машины *(лат.; театральное выражение, означающее: внезапная развязка).*

Вот содержание последней части «Племянницы». Мы его обозначили беглыми чертами, но надеемся, что сказали довольно для того, чтоб возбудить к нему живейшее участие читателя.

Оканчивая разбор романа г-жи Тур, мы намерены в немногих словах повторить и как бы собрать вместе наши разбросанные замечания об ее даровании. Но прежде упомянем о чувстве, с которым мы положили из рук ее книгу. Это чувство было теплое, симпатическое: эта книга написана сердцем и говорит сердцу. От нее веет чем-то благородным, искренним, горячим. Самый жар, с которым г-жа Тур нередко вдается в излишние и не новые рассуждения,— этот жар, которому, признаться, мы плохо поверили бы в мужчине, в литераторе,— нас чуть ли не трогает в ней; эти рассуждения нам могут показаться фразами, но не фразерством.

У ней, правда, иногда по поводу истин, всем известных, является тон полувосторженный, полупоучительный, как будто она сама их только что открыла; но и это может статься... и это можно извинить. Недостаток иронии, комического элемента замечается в г-же Тур. Многие будут плакать, никто не засмеется, читая «Племянницу». Таланта, того независимого таланта, о котором мы говорили в самом начале нашей статьи,— таланта, который поэт как бы сознательно берет в руки,— у г-жи Тур или нет, или очень мало. Ее талант — талант лирический, от нее нераздельный, столько же способный передавать малейшие движения души автора, его собственный жизненный опыт, сколько не способный создавать самостоятельные характеры и типы. Слог г-жи Тур, как мы сказали выше, небрежен. Речь ее болтлива, часто водяниста и вообще более музыкальна, чем живописна; но в этом мы ее упрекать не станем. Это ее недостаток, и это ее достоинство в одно и то же время. Но неприятно нам было встретить на иных страницах «Племянницы» следы риторики иногда почти школьной, что-то такое, от чего веет «Собранием образцовых сочинений», какие-то претензии на сочинительство, на литературные украшения. Эти претензии более или менее понятны или извинительны в разрисовке характеров; но чем объяснить, например, следующие пятнадцать строк, начинающие шестую главу четвертой части:

«Случалось ли вам видеть спокойное и безбрежное пространство моря, расстилающееся будто прозрачный кристалл? Ни одной струи, ни малейшего колебания, и над ним столь же широкая, столь же необъятная лазурь неба, не подернутая ни одной тучей, ни малейшим облаком; в зыбях моря отражается небо, и в торжественном спокойствии созерцают они друг друга и, сливаясь на горизонте, составляют одно целое... Какое спокойствие и как оно обманчиво! Тишина, спокойствие стихий — только момент бездействия перед бурей и шквалом. Туча налетает с далекого горизонта, тотчас отражается и затемняет спокойное дотоле (!) зеркало вод, мигом разделяет небо от моря и нарушает спокойствие: ветер воет, гонит тучу, вздымает валы, и в одно мгновение там, где было зеркало — разверзаются бездны, где была лазурь — сходятся тучи, и молния их прорезывает, и гром страшными раскатами довершает ужасающую картину. В жизни человеческой случается то же самое», и т. д.

Избитость сравнения не выкупается, как видите, новостью выражения, верностью и свежестью красок. Подобных пятен много в романе г-жи Тур, и остается сожалеть, что опытная и дружеская рука не прошлась по его страницам прежде, чем он явился в печати.

А со всем тем мы от всей души приветствуем его появление и надеемся, что г-жа Тур, ободренная успехом, который несомненно ждет ее «Племянницу», не остановится на поприще, так прекрасно ею начатом. Мы надеемся также, что она не попеняет на нас за некоторые наши указания того, что нам показалось слабым в ее романе. Хорошее в нем не нашло в нас равнодушных ценителей, а право всякого истинного таланта — право на нелицемерный и добросовестный суд — это право, кажется, нами вполне уважено.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НОВОЙ КОМЕДИИ г. ОСТРОВСКОГО «БЕДНАЯ НЕВЕСТА» *

Мы редко разбираем в отделе критики сочинения, появляющиеся в печати не особенной книгой; но нам, с одной стороны, хотелось доказать наше внимание к молодому писателю, так высоко поставленному сочинителями московских критик и действительно замечательному и даровитому; с другой стороны, мы желали, по мере возможности, загладить нашу вину перед ним — вину, заметим кстати, общую нам со всеми нашими журнальными собратиями и состоящую в том, что о первой, известной комедии г. Островского не было сказано ни слова.

Мы и теперь говорить о ней не станем, предоставляя себе сделать это со временем: о ней нельзя говорить поверхностно и в коротких словах. Мы только поделимся теперь с читателями впечатлением, произведенным на нас «Бедной невестой».

Результат нашего чтения был следующий: талант у г. Островского есть, и замечательный,— мы даже готовы не отказываться от наших надежд на будущее его значение, возбужденных в нас первым произведением г. Островского; но для того, чтобы они могли оправдаться, необходимо г. Островскому — и мы просим его видеть в наших словах выражение самых искренних убеждений — необходимо ему отказаться от ложной манеры, которую он себе как бы придал и которой не было заметно в «Своих людях»...

Но прежде чем мы объясним, в чем, по нашему мне-

* Считаю нужным предуведомить читателей, что, пробежав настоящую статейку о «Бедной невесте», писанную чуть не тридцать лет тому назад, я было раздумал ее перепечатать — и помещаю ее теперь скорее с целью некоторого самобичевания. Нечего говорить, что моя оценка «Бедной невесты», одного из лучших произведений нашего знаменитого драматурга, оказывается неверной, хотя некоторые отдельные замечания, быть может, и не лишены справедливости. Как известно, А. Н. Островский посрамил мои опасения и более нежели оправдал мои надежды. Париж. 1879.

нию, состоит эта ложная манера, необходимо вкратце рассказать самое содержание «Бедной невесты».

Оно очень просто. У Анны Петровны, вдовы бедного чиновника, дочь, Марья Андреевна, невеста. Мать всячески старается ее пристроить; в этом деле помогает ей старинный друг ее мужа, некто г. Добротворский. За Марьей Андреевной ухаживают молодые люди: Милашин и Мерич; в Мерича она сама влюблена; в нее влюблен некто Хорьков; мать Хорькова, тоже вдова, мещанка, сильно хлопочет о своем сыне. Между тем г. Добротворский рекомендует г. Беневоленского, чиновника; чиновник этот очень может помочь Анне Петровне в тяжбе, угрожающей всему ее состоянию; он влюбляется в Марью Андреевну и предлагает ей свою руку. Вдова соглашается и начинает вместе с Добротворским убеждать Марью Андреевну, которая перед этим только что имела первое объяснение в любви с Меричем. Марья Андреевна просит трехдневной отсрочки в надежде на своего возлюбленного; но возлюбленный оказывается несостоятельным, боится брака, думает только, как бы отделаться благополучно, и Марья Андреевна решается выйти за Беневоленского.

Мы не можем сказать, что сообщили читателям содержание комедии г. Островского: это едва ли ее остов; но так как, вероятно, она будет прочтена всеми, то нам не для чего вдаваться в бо́льшие подробности. Мы желали только обозначить главные точки на нашем пути.

Первое, что мы должны заметить в комедии г. Островского, чему мы с удовольствием отдаем полную справедливость, это истина всех выведенных им лиц,— всех, исключая главного лица — бедной невесты. Действительно, все эти лица живы, несомненно живы и истинны, хотя ни одно из них не доведено до того торжества поэтической правды, когда образ, взятый художником из недр действительности, выходит из рук его типом, и самое название, как, например, название Хлестакова, теряет свою случайность и становится нарицательным именем. Этой судьбы не дождаться ни одному из лиц г. Островского. А между тем им затронута одна струна, которая до сих пор в области искусства издавала только слабые звуки, а именно: струна наивности, нецеремонности, какой-то детской откровенности в эгоизме. Все лица комедии г. Островского эгоисты,

наивные эгоисты, исключая бедной невесты, Хорькова (о котором мы поговорим ниже) да еще, может быть, старика Добротворского; но особенно отлично выразился этот эгоизм в лицах молодых людей Милашина и Мерича и в лице грубо положительного г. Беневоленского. Эти три лица очень хороши, особенно Милашин — юноша завистливый, мелкий, скучный, неотвязный, который всё ноет, прощается, не уходит и преспокойно досадует и удивляется, отчего не всякое чужое счастие ему достается,— и крепкоголовый, дюжий, расчетливый и деловой Беневоленский. Мерич, предмет любви бедной невесты, тоже хорош; он разнится тем от Милашина, что, будучи недурен собой, меньше завидует и досадует, а, напротив, щеголяет своими победами и вообще порядочный фат, хотя труслив и осторожен до крайности. Эгоизм и в нем резко проявляется; например, он входит к Марье Андреевне. «Как я рада! как я ждала тебя, Владимир!» — восклицает она. «Мы одни?» — спрашивает он. «Одни». И он немедленно ее целует. Вообще он в присутствии Марьи Андреевны только и думает об одном — как бы поцеловать ее поскорей. Должно сознаться, что пошлость и эгоизм в сопряжении с молодостью необыкновенно резко и верно схвачены г. Островским. Но нам показалось, что сцена, в которой Мерич объясняется в любви к Марье Андреевне, не удалась г. Островскому. Мы понимаем намерение автора, когда он влагает ему в уста книжные речи; но эти речи в самой своей незначительности — незначительны. Видно, тайна «возводить в перл создания» даже самую пошлость не всякому дается... Но об отношениях Мерича с Марьей Андреевной мы поговорим впоследствии, так же как и о характере самой бедной невесты. Нам хочется теперь сказать несколько слов о ее матери — Анне Петровне, а также и о матери Хорькова. В очертании именно этих двух характеров особенно ясно выказывается та ложная манера, о которой мы говорили выше. Эта ложная манера состоит в подробном до крайности и утомительном воспроизведении всех частностей и мелочей каждого отдельного характера, в каком-то ложно тонком психологическом анализе, который обыкновенно разрешается тем, что каждое лицо беспрерывно повторяет одни и те же слова, в которых, по мнению автора, и выражается его осо-

бенность. Мы не хотим этим сказать, чтобы эти слова были неверны, но художество не обязано только повторять жизнь, и во всех этих бесконечно малых чертах теряется та определенность, строгость рисунка, которых требует внутреннее чувство читателя даже от самой разыгравшейся и смелой фантазии. Невозможно перечесть, сколько раз Анна Петровна говорит о себе, что она женщина слабая, *сырая*, что как можно без мужчины в доме, и т. д. Положим, что это вечное хныканье идет к ее брюзгливой, вялой и, при всей доброте, глубоко эгоистической натуре, но надобно же знать во всем и меру. Этот же самый прием, состоящий в бесконечном повторении удачного или комического выражения, употребляется г. Островским постоянно, с какими бы лицами он ни имел дело. Г-жа Хорькова повторяет беспрерывно, что она, конечно, женщина необразованная, а сын ее — образованный, но все-таки уважает ее. Служанка Дарья ни разу не выходит на сцену без одного и того же восклицания; г. Добротворский слова не скажет, не повторив, что он знал батюшку Марьи Андреевны с детства, и т. д. К чему, спрашивается, человеку с талантом г. Островского приклеивать своим героям такие ярлыки, напоминающие свитки с словами, выходящие изо рта фигур на средневековых картинках! Самые даже лучшие лица, как-то: г-да Беневоленский и Милашин, не избегли этой участи. Не говоря уже о том, что из этого вытекают длинноты утомительные, что веселый смех, возбужденный в читателе первым появлением комической фразы, уступает, наконец, место чувству неприятного раздражения при двадцатом ее повторении, мы готовы утверждать, что такого рода мелочная разработка характера неистинна,— художественно неистинна, при всей своей внешней вероятности, и нам кажется, что именно этот упрек более всех других должен быть чувствителен г. Островскому, при явном стремлении его таланта к простоте и правде. Чтó бы сказал г. Островский о пейзажисте, который вздумал бы отделывать малейшие фибры в листочках, малейшие песчинки на первых планах своих картин? Нам, помнится, случилось встретить в Риме живописца, который предлагал своим посетителям микроскоп для лучшего рассмотрения мелочной отделки своих произведений; но не г. Островскому завидовать хитростному и кропот-

ливому искусству этой мозаичной работы, не автору «Своих людей», этой замечательной драмы, замечательной особенно по ширине и свободе манеры. Г-н Островский лучше нас знает, что Деннер, известный писатель старушечьих лиц, допускается в кабинетах любителей как куриозум, и мы надеемся, что г. Островский доискивается для себя более почетного места, на которое, впрочем, его талант дает ему полное право.

Из всего сказанного нами следует, что не в одних беспрерывных повторениях упрекаем мы г-на Островского: мы упрекаем его в излишнем раздроблении характеров,— в раздроблении, доходящем до того, что каждая отдельная частичка исчезает, наконец, для читателя, как слишком мелкие предметы исчезают для зрения. Г-н Островский в наших глазах, так сказать, забирается в душу каждого из лиц, им созданных; но мы позволим себе заметить ему, что эта бесспорно полезная операция должна быть свершена автором предварительно. Лица его должны находиться уже в полной его власти, когда он выводит их перед нами. Это — психология, скажут нам; пожалуй, но психолог должен исчезнуть в художнике, как исчезает от глаз скелет под живым и теплым телом, которому он служит прочной, но невидимой опорой. Это, между прочим, не худо заметить и некоторым нашим критикам, которые считают долгом начать каждую свою статью ab ovo[1], как будто и в критике его убеждения, его коренные правила не должны перейти в плоть и кровь, и он всякий раз обязан выставлять их напоказ перед собой и читателями, как какие-нибудь верстовые столбы, чтобы не сбиться с дороги. Притом эта мелочная копотливая манера неуместна особенно в драматическом произведении, где она замедляет и охлаждает ход действия и где нам дороже всего те простые, внезапные движения, в которых звучно высказывается человеческая душа,— подобные, например, хоть этой черте, взятой нами у самого г-на Островского: Марья Андреевна собирается сказать Меричу свое горе — предложение ненавистного г-на Беневоленского. Мерич прерывает ее замечанием, что у ней хорошие глазки, что так и хочется поцеловать ее. Марья Андреевна, вся судьба которой решается в это

[1] с самого начала *(лат.)*.

мгновение, восклицает, наконец: «Да ты выслушай, ради бога!

Мерич. Хорошо, хорошо; слушаю.

Марья Андреевна. Не успела я еще опомниться от твоего поцелуя (*закрывает глаза руками; Мерич ее целует*), приехал этот Беневоленский, он груб, необразован, просто ужас.

Мерич. Мери, ведь это скучная материя».

В этих немногих словах, в невольном движении Маши, в поступке Мерича открывается нам более глубокий взгляд в сущность характеров и отношений Маши и Мерича, чем в самых тщательно выделанных, так называемых психологических анализах. Весь третий акт, из которого мы взяли вышеприведенные слова, прекрасен с начала до конца, исполнен юмора и меньше всех других отзывается трудом, меньше других пахнет лампой Демосфена. (Четвертый акт, напротив, весьма слаб, и трудно читать его без какого-то нетерпения скуки; в нем как будто соединились все недостатки г-на Островского.) Во втором акте все сцены хороши: разговор Марьи Андреевны с Хорьковым, в котором она, не подозревая, что Хорьков в нее влюблен, раздирает его сердце полупризнанием своей любви к Меричу; следующий затем разговор между Хорьковым и Милашиным, где этот молодой человек является в полном блеске; наконец, появление г. Беневоленского, его объяснения с Анной Петровной, его внезапный вопрос Марье Андреевне, в которую он уже успел влюбиться,— какие она конфекты любит? — всё это отлично. Но пора нам поговорить о Марье Андреевне. Прежде всего мы должны сказать, что замечания, сделанные нами выше таланту г. Островского, не относятся к характеру Марьи Андреевны. Создавая образ этой молодой девушки, он менее предавался своей обычной наклонности к мелочному анализу, он явно искал больших линий, простора; Марья Андреевна почти ничего не повторяет, и между тем характер ее удался менее всех: видно, наши недостатки растут на одной почве с нашими достоинствами, и трудно вырвать одни, пощадив другие. Марья Андреевна — лицо решительно неживое: она вся сочинена; впечатление, оставляемое ею, неясно, и, скажем более, сам автор это чувствует. Доказательством справедливости нашей догадки служат, между прочим, слова, вложенные г. Островским в уста бедной невесты, с яв-

ным намерением пояснить ими ее характер. Когда, например, Марья Андреевна, в пятом акте, уже решившись выйти за Беневоленского, говорит: «Страстность души, которая чуть не погубила меня, теперь мне нужна: для нее будет благородное употребление» (она собирается исправить мужа), мы, переменив местоимение из первого лица в третье, очень хорошо понимаем, что автор так о ней думает и желает, чтобы и мы были такого же мнения о ней; но мы никак не можем верить, что Марья Андреевна сама могла действительно произнести эти слова. Это — уловка Скриба, особенно в его либреттах, заставлять людей говорить не то, что́ им следовало бы сказать, а то, что́ о них думает в это время зритель; и если г. Островский, при всем своем, повторяем, несомненном стремлении к истине, решился прибегнуть к той же манере, значит, он чувствовал сам неясность созданного им характера и необходимость комментариев. Эта неясность, это колыхание сопровождают Марью Андреевну в продолжение всей комедии. Необходимости, жизненной необходимости в ее образе нет. Автор добросовестно и старательно гоняется за ней — за этой неуловимой чертою жизни, и не достигает ее до конца. Из математики нам известно, что переломанная на самые мелкие углы прямая линия может только бесконечно приблизиться к линии круга, но никогда не сольется с ней. Точно так же и ум, труд, наблюдение проводят только, если можно так выразиться, прямые линии. Одной поэзии дана та «волнистая линия красоты», о которой говорил Гогарт.

Особенно неудачны, между прочим, небольшие, тоже объяснительные монологи, которыми заключается почти каждая сцена Марьи Андреевны. Например: после первого объяснения в любви, в котором она и Мерич что-то немножко круто начали говорить друг другу *ты*,— она, оставшись одна, произносит следующие слова: «Он ушел... Хорошо ли я сделала? Мне и стыдно и весело. Что, если это только шалость с его стороны? Боже мой, как мне совестно за себя! А если он любит в самом деле? Он всегда такой скучный, печальный! Ах, как бы мне хотелось знать, любит ли он меня!» и т. д. От этой небольшой тирады так и веет условной, театральной атмосферой. Нас не удивляет, что Марья Андреевна влюбилась в Мерича, этого совершенно не-

достойного ее молодого человека: мы знаем, что в известные лета девушки любят не в силу каких-нибудь особенных заслуг в избранном предмете, но просто потому, что им пришла пора любить; но вся любовь ее завязывается и разыгрывается как-то натянуто литературно. Она любит потому, что автору нужно заставить ее полюбить, чтобы на чувстве ее к Меричу завязать интерес пьесы, потом ввести обычную борьбу, которую разрешает, наконец, обычная жертва; но читателю не верится ни в эту любовь, ни в эту борьбу,— в самое существование Марьи Андреевны ему плохо верится; а жертва ее не возбуждает в нем ни сожаления, ни ропота: жертва ее проходит неоцененной, едва ли замеченной... Окончательное же примирение остается совершенно непонятным. Мы даже готовы согласиться, что читатель, искусившийся в деле чтения, читатель, проследивший большое количество тех призрачных женских лиц, которыми так богата наша словесность, их так называемые страдания и радости,— «проследит», пожалуй, и это лицо, и даже с участием; но на свежего человека оно едва ли произведет глубокое впечатление, и кроме двух-трех горячих слов, кроме последнего прощанья Марьи Андреевны с Меричем, где тот, отказавшись от ее руки и добившись от нее, что она его прощает, объявляет, что все прекрасно,— кроме этой сцены, говорим, да еще последующей с Милашиным, где Маша, с трудом удерживая рыдания, играет с ним в дураки, едва ли от чего-нибудь забьется сердце у этого свежего человека. Но особенно напряженным и, говоря техническим слогом, «резонерским, сделанным», покажется ему конец, в котором Марья Андреевна внезапно взглядывает на самое себя с утилитарной точки зрения, собираясь заняться исправлением г. Беневоленского. Словом, как барышня, фигура Марьи Андреевны совершенно исчезает перед лицом какой-нибудь дочери городничего в гоголевском «Ревизоре»; как девушка, она то возбуждает наше сочувствие, то отталкивает нас, как, например, в той сцене, где она сама требует от Мерича, чтобы тот женился на ней; грации в ней тоже нет, и проходит она через нашу душу, как гость, которого мы не поняли,— может быть, потому, что нечего было в нем понимать. Видно, что г. Островский хотел создать в Марье Андреевне лицо значительное... но наше уваже-

ние к его таланту заставляет нас признаться, что образ бедной невесты не удался.

Мы обещали сказать несколько слов о Хорькове. Он является только в двух сценах. В первой он сперва узнает, что его не любят, а потом подучает Милашина, как бы повредить Меричу, и даже, несмотря на благородство чувств своих, предлагает Милашину перехваченные письма счастливого своего соперника; а во второй — приходит навеселе, просит прощения за неприятности, причиненные Анне Петровне его матерью, и плачет над Машею, уже решившеюся на свадьбу с Беневоленским. Это лицо удалось г. Островскому и показывает в нем замечательный драматический инстинкт; жаль, что он не развил его.

Из второстепенных лиц также хороши две свахи: одна — в платочке, другая — в чепце... Жаль, что они слишком напоминают лицо известной свахи в «Женитьбе»!

Теперь нам остается сказать несколько последних слов о комедии г. Островского вообще. Общий колорит ее верен, хотя сух; недостатки ее, сколько нам кажется, происходят частию от бессилия, частию от ложного направления, данного силе. Заметим еще, что характеры, выведенные г-м Островским, при верности действительности показываются нам ровно настолько, насколько это нужно ходу действия. У первостепенных мастеров это иначе. Мы очень хорошо знаем, каков Хлестаков за сценой и во всех положениях жизни. Внутренняя, драматическая, патетическая сторона «Бедной невесты» нам кажется вовсе не выдержанною; пьеса действительно умно задумана, могла бы быть трогательной, возбуждает уважение к таланту, к уму автора — и только. Впрочем, и этого довольно. Ни одна сцена нового произведения г-на Островского не может сравниться с известной окончательной сценой «Своих людей». Г-н Островский заставил своей «Невестой» забыть свои неудачные этюды; но он всё еще в долгу перед читателем: он начал необыкновенно — и читатель ждет от него необыкновенного. Со всем тем мы от всей души приветствуем комедию г-на Островского, желаем ему идти далее, расти, крепнуть, — желаем ему в особенности выпутаться из тех сетей, которые он сам наложил на свой талант... Да осуществятся в нем наши надежды!

⟨О «ЗАПИСКАХ РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА» С. Т. АКСАКОВА⟩

В Москве вышли на днях «Записки ружейного охотника» С. Т. А—ва — того самого автора, заметим кстати, которому мы уже обязаны прекрасной книгой об уженье. Мы поздравляем русскую литературу и читателей наших с появлением этих «Записок». Подобные книги появляются у нас слишком редко. Кому еще не знакомо новое сочинение С. Т. А—ва, тот не может себе представить, до какой степени оно занимательно, какой обаятельной свежестью веет от его страниц. Да не подумают читатели, что «Записки ружейного охотника» имеют цену для одних охотников: всякий, кто только любит природу во всем ее разнообразии, во всей ее красоте и силе, всякий, кому дорого проявление жизни всеобщей, среди которой сам человек стоит, как звено живое, высшее, но тесно связанное с другими звеньями,— не оторвется от сочинения г. А—ва; оно станет его настольной книгой, он будет ее с наслаждением читать и перечитывать; естествоиспытатель придет от нее в восторг... Мы предоставим себе удовольствие в одном из следующих нумеров «Современника» подробно поговорить об этом сочинении, написанном с такой любовью и с таким знанием дела; и мы будем говорить о ней, находясь сами «на месте», в деревне, среди той природы, которой она служит таким верным и поэтическим отражением, предаваясь сами «ружейной охоте»; теперь мы ограничимся только просьбой к читателям не смешивать этой капитальной книги, которая в одно и то же время обогащает и ту специальную литературу, которой она принадлежит, и общую нашу словесность,— не смешивать ее с ничтожными и вздорными сочиненьицами об охоте, появившимися в последнее время.

А чтобы доказать читателям, что в наших похвалах книге г. А—ва нет ничего преувеличенного, предлагаем из нее несколько выписок:

Вот описание лесной реки, от которой не отказался бы любой мастер. (Должно сказать, что г. А—в делит всю дичь на четыре главные отдела: на болотную, водяную, лесную и степную, и в начале каждого отдела начертывает общую картину места жительства этой дичи.)

«Иногда река на большое пространство протекает дремучими ненаселенными лесами и получает особенный, уединенный, дикий и вместе важный и торжественный образ. Берега ее не измяты ничьим прикосновеньем: изредка забредет на них охотник, но не оставит следов своих надолго: сильная растительность, происходящая от избытка влаги, сейчас поднимет смятые травы и цветы. Свободно и могуче обрастают берега ее широколистной и узкой осокой, аиром, палочником и крупными незабудками; а по всем затишьям необыкновенной величины темно-зеленые круглые лопухи плавают уединенно на длинных стеблях своих, однообразно двигаясь течением реки. Водяная птица как будто боится уединения, и утки перестают жить и водиться на реках, когда они слишком далеко углубляются в лесную глушь. Рыба и земноводный зверь остаются их хозяевами. В пустынном безмолвии и мраке катятся вольные многоводные струи, и только ветви наклонившихся или упавших в воду столетних дерев, противясь течению, производят неумолкаемый, но тихий и глухой ропот. Плеснется большая щука, переплывет реку порешина (поречина), нырнет выхухоль — и только; но и этот слабый шум скоро поглощается общим безмолвием. Смотрится только в воду разнообразное чернолесье: липа, осина, береза и дуб, кладя то справа, то слева, согласно стоянию солнца, косые тени свои на поверхность реки».

Вот описание родника и «мельницы-колотовки»:

«Иногда на таких горных родниках, падающих с значительной высоты, ставят оренбургские поселяне нехитрые мельницы-колотовки, как их называют, живописно прилепляя их к крутому утесу, как ласточка прилепляет гнездо к каменной стене. Весь небольшой поток захватывается жёлобом или колодою, т. е. выдолбленною половинкою толстого дерева, которую плотно упирают в бок горы; из колоды струя падает прямо на водяное колесо, и дело в шляпе: ни плотины, ни пруда,

ни вешняка, ни кауза... а колотовка постукивает да мелет себе помаленьку, и день и ночь. Нет мелева,— отодвигается колода в сторону, и поток снова летит вниз по крутизне горы, мгновенно собирая в один густой звук раздробленный шум своего паденья. Мельничная амбарушка громоздится иногда очень высоко на длинном неуклюжем срубе или кривых неровных стойках. Всё дрянно, плохо, косо, чуть липит. Нет признака искусной, правильной руки человека, ничто не разноречит с природой, а напротив — дополняет ее... Иногда такой ключ бьет из середины горы, а всего чаще из ее подошвы. Но есть родники совсем другого рода, которые выбиваются из земли в самых низких, болотистых местах и образуют около себя ямки или бассейны с водой, большей или меньшей величины, смотря по местоположению: из них текут *ручьи*. Если бассейн глубок, то кипение видно только на дне: вода выкидывается из его отверстий, вынося с собой песок и мелкие земляные частицы; прыгая и кружась, но далеко не достигая поверхности, они опускаются и устилают дно родника ровно и гладко. Но если бассейн мелок относительно силы ключа, то вся вода, с песком, землей и даже мелкими камушками, ворочается со дна и доверху, кипит и клокочет, как котел на огне. И горные ключи и низменные болотные родники бегут ручейками: иные текут скрытно, потаенно, углубясь в землю, спрятавшись в траве и кустах; слышишь, бывало, журчанье, а воды не находишь; подойдешь вплоть, раздвинешь руками чащу кустарника или навес густой травы — пахнёт в разгоревшееся лицо свежею сыростью и наконец увидишь бегущую во мраке и прохладе струю чистой и холодной воды. Какая находка в жаркий летний день для усталого охотника! Иногда ручей бежит по открытому месту, по песку и мелкой гальке, извиваясь по ровному лугу или долочку. Он уже не так чист и прозрачен — ветер наносит пыль и всякий сор на его поверхность; не так и холоден — солнечные лучи прогревают сквозь его мелкую воду. Но случается, что такой ручей *поникает*, то есть уходит в землю и, пробежав полверсты или версту, иногда гораздо более, появляется снова на поверхность, и струя его, процеженная и охлажденная землей, катится опять, хотя и не надолго, чистою и холодною».

Вот отрывок «из внутренней» жизни леса:

«На ветвях дерев, в чаще зеленых листьев и вообще в лесу живут пестрые, красивые, разноголосые, бесконечно разнообразные породы птиц: токуют глухие и простые тетерева, пищат рябчики, хрипят на тягах вальдшнепы, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, заунывно, мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки; свиристели, лесные жаворонки, дубоноски и всё многочисленное крылатое мелкое певчее племя наполняет воздух разными голосами и оживляет тишину лесов; на сучьях и в дуплах дерев птицы вьют свои гнезда, кладут яйца и выводят детей; для той же цели поселяются в дуплах куницы и белки, враждебные птицам, и шумные рои диких пчел. Трав и цветов мало в большом лесу: густая, постоянная тень неблагоприятна растительности, которой необходимы свет и теплота солнечных лучей; чаще других виднеются зубчатый папоротник, плотные и зеленые листья ландыша, высокие стебли отцветшего лесного левкоя, да краснеет кучками зрелая костяника; сырой запах грибов носится в воздухе, но всех слышнее острый и, по-моему, очень приятный запах груздей, потому что они родятся семьями, *гнездами* и любят *моститься* (как говорят в народе) в мелком папоротнике, под согнивающими прошлогодними листьями».

Вот степь весною и осенью.

«Сначала опаленные степи и поля представляют печальный, траурный вид бесконечного пожарища; но скоро иглы яркой зелени, как щетка, пробьются сквозь черное покрывало, еще скорее развернутся они разновидными листочками и лепестками, и через неделю всё покроется свежею зеленью; еще неделя, и с первого взгляда не узнаешь горелых мест. Степной кустарник, реже и менее подвергающийся огню, потому что почва около него бывает сырее: вишенник, бобовник (дикий персик) и чилизник (полевая акация) начинают цвести и распространять острый и приятный запах; особенно роскошно и благовонно цветет бобовник: густо обрастая иногда огромное пространство по отлогим горным скатам, он заливает их сплошным розовым цветом, промеж которого виднеются иногда желтые полосы или

круговины цветущего чилизника. По другим местам, более отлогим, обширные пространства покрыты белыми, но не яркими, а как будто матовыми, молочными пеленами: это дикая вишня в цвету. Вся степная птица, отпуганная пожаром, опять занимает свои места и поселяется в этом море зелени, весенних цветов, цветущих кустарников; со всех сторон слышны: не передаваемое словами *чирканье* стрепетов, заливные, звонкие трели кроншнепов, повсеместный горячий *бой* перепелок, трещанье кречеток. На восходе солнца, когда ночной туман садится благодатною росою на землю, когда все запахи цветов и растений дышат сильнее, благовоннее,— невыразимо очаровательна прелесть весеннего утра в степи... Всё полно жизни, свежо, ярко, молодо и весело! Таковы степные места в Оренбургской губернии в продолжение мая...»

«Осенью ковылистые степи совершенно изменяются и получают свой особенный, самобытный, ни с чем не схожий, чудный вид: выросшие во всю свою длину и вполне распустившиеся перлово-сизые волокна ковыля при легком дуновении ветерка уже колеблются и струятся мелкою, слегка серебристою зыбью. Но сильный ветер, безгранично властвуя степью, склоняет до пожелтевших корней слабые, гибкие кусты ковыля, треплет их, хлещет, рассыпает направо и налево, бьет об увядшую землю, несет по своему направлению, и взору представляется необозримое пространство, всё волнующееся и всё текущее в одну сторону. Для непривычных глаз такое зрелище сначала ново и поразительно; никакое течение воды на него не похоже, но скоро своим однообразием оно утомляет зрение, производит даже головокруженье и наводит какое-то унынье на душу. Степные же места не ковылистые в позднюю осень имеют вид еще более однообразный, безжизненный и грустный, кроме выкошенных луговин, на которых, около круглых стогов потемневшего от дождя сена, вырастает молодая зеленая отава; станицы тудаков и стрепетов любят бродить по ней и щипать молодую траву; даже гуси огромными вереницами, перемещаясь с одной воды на другую, опускаются на такие места, чтобы полакомиться свежею травкою».

Но автор умеет говорить не об одной природе: по-

слушайте, как дикие гуси летают на кормеж, как токуют тетерева:

«Наконец нодросли, выровнялись, поднялись гусята и стали молодыми гусями; перелиняли, окрепли старые, выводки соединились с выводками, составились станицы, и начались ночные, или, правильнее сказать, утренние и вечерние экспедиции для опустошения хлебных полей, на которых поспели не только ржаные, но и яровые хлеба. За час до заката солнца стаи молодых гусей поднимаются с воды и под предводительством старых летят в поля. Сначала облетят большое пространство, высматривая, где им будет удобнее расположиться, подальше от проезжих дорог или работающих в поле людей, какой хлеб будет посытнее, и наконец опускаются на какую-нибудь десятину или загон. Гуси предпочтительно любят хлеб безосый, как-то: гречу, овес и горох, но если не из чего выбирать, то едят и всякий. Почти до темной ночи изволят они продолжать свой долгий ужин; но вот раздается громкое призывное гоготание стариков; молодые, которые, жадно глотая сытный корм, разбрелись во все стороны по хлебам, торопливо собираются в кучу, переваливаясь передами от тяжести набитых не в меру зобов, перекликаются между собой, и вся стая с зычным криком тяжело поднимается, летит тихо и низко, всегда по одному направлению, к тому озеру или берегу реки, или верховью уединенного пруда, на котором она обыкновенно ночует. Прилетев на место, гуси шумно опускаются на воду, распахнув ее грудью на обе стороны, жадно напиваются и сейчас садятся на ночлег, для чего выбирается берег плоский, ровный, не заросший ни кустами, ни камышом, чтоб ниоткуда не могла подкрасться к ним опасность. От нескольких ночевок большой стаи примнется, вытолочется трава на берегу, а от горячего их помета покраснеет и высохнет. Гуси завертывают голову под крыло, ложатся, или лучше сказать, опускаются на брюхо и засыпают. Но старики составляют ночную стражу и не спят поочередно или так чутко дремлют, что ничто не ускользает от их внимательного слуха. При всяком шорохе сторожевой гусь тревожно загогочет, и все откликаются, встают, выправляются, вытягивают шеи и готовы лететь; но шум замолк, сторожевой гусь гогочет совсем другим голосом, тихо, успокоитель-

но, и вся стая, отвечая ему такими же звуками, снова усаживается и засыпает. Так бывает не один раз в ночь, особенно уже в довольно длинные сентябрьские ночи. Если же тревога была не пустая, если точно человек или зверь приблизится к стае, быстро поднимаются старики, и стремглав бросаются за ними молодые, оглашая зыбучий берег и спящие в тумане воды и всю окрестность таким пронзительным, зычным криком, что можно услышать его за версту и более... И вся эта тревога бывает иногда от хорька и даже горностая, которые имеют наглость нападать на спящих гусей. Когда же ночь проходит благополучно, то сторожевой гусь, едва забелеет заря на востоке, разбудит звонким криком всю стаю, и она снова, вслед за стариками, полетит уже в знакомое поле и точно тем же порядком примется за ранний завтрак, какой наблюдала недавно за поздним ужином. Снова набиваются едва просиженные зобы, и снова по призывному крику стариков, при ярких лучах давно взошедшего солнца, собирается стая и летит уже на другое озеро, плесо реки или залив пруда, на котором проводит день...»

«В исходе марта начнет сильно пригревать солнышко, разогреется остывшая кровь в косачах, проснется безотчетное стремление к совокуплению с самками, и самцы начинают *токовать*, то есть, сидя на деревьях, испускать какие-то глухие звуки, изредка похожие на гусиное шипение, а чаще на голубиное воркованье или бормотанье, слышное весьма далеко в тишине утренней зари, на восходе солнца. Вероятно, многим удавалось слышать, не говоря об охотниках, «вдали тетеревов глухое токованье», и, верно, всякий испытывал какое-то неопределенное, приятное чувство. В самих звуках ничего нет привлекательного для уха, но в них бессознательно чувствуешь и понимаешь общую гармонию жизни в целой природе... Итак, косач пускается токовать: сначала токует не подолгу, тихо, вяло, как будто бормочет про себя, и то после сытного завтрака, набивши полный зоб надувающимися тогда древесными почками. Потом, с прибавлением теплоты воздуха, с каждым днем токует громче, дольше, горячее и, наконец, доходит до исступления: шея его распухает; перья на ней поднимаются, как грива, брови, спрятанные во впадинках, прикрытые в обыкновенное время тонкой сморщенной

кожицей, надуваются, выступают наружу, изумительно расширяются, и красный цвет их получает блестящую яркость. Косачи рано утром, до солнечного всхода, похватав уже кое-как несколько корма (видно, и птице не до пищи, когда любовь на уме), слетаются на избранное заранее место, всегда удобное для будущих подвигов. Это бывает или чистая поляна в лесу, или луг между дерев, растущих на опушке и иногда стоящих на открытом поле, преимущественно на пригорке. Такое место, неизменно посещаемое, всегда одно и то же, называется *током* или *токовищем*. Надобно постоянное усилие человека, чтоб заставить тетеревов бросить его и выбрать другое. Даже сряду несколько лет токи бывают на одних и тех же местах. Косачи, сидя на верхних сучьях дерев, беспрерывно опуская головы вниз, будто низко кланяясь, приседая и выпрямляясь, вытягивая с напряжением раздувшуюся шею, шипят со свистом, бормочат, токуют, и, при сильных движениях, крылья их несколько распускаются для сохранения равновесия. Они час от часу приходят в бо́льшую ярость: движения ускоряются, звуки сливаются в какое-то клокотанье, косачи беснуются, и белая пена брызжет из их постоянно разинутых ртов... Вот откуда родилась старинная басня, которой, впрочем, уже давно никто не верит, будто тетеревиные самки, бегая по земле, подхватывают и глотают слюну, падающую из ртов токующих на деревьях самцов, и тем оплодотворяются. Но не напрасно оглашается окрестность горячими призывами косачей, несколько времени токующих уединенно: курочки уже давно прислушивались к ним и, наконец, начинают прилетать на тока; сначала садятся на деревья, в некотором отдалении, потом подвигаются поближе, но никогда не садятся рядом, а против косачей».

Вот пример мастерства и отчетливости в описании наружного вида птицы миловидной куропатки:

«Серая куропатка, по моему мнению, если не лучшая, то одна из лучших птиц во всех породах степной и лесной дичи, кроме вальдшнепа. Как красивы ее пестрые, темные, красно-желтые, коричневые и светло-серые перья! Как она стройно, кругло и крепко сложена! Как она жива, проворна, ловка и миловидна во всех своих движениях!

Величиною эта бойкая птичка будет на взгляд не-

сколько больше русского голубя, но гораздо его мясистее: она будет с цыпленка в полкурицы. Она имеет под горлышком и около носика перья красноватые или светло-коричневые, такого же цвета нижние хвостовые перья и, в виде подковы, пятна на груди или на верхней половине хлупи, которые несколько больше, ярче и темнее; красноватые поперечные полоски лежат по серым перьям боков. Зоб и часть головы серо-дымчатые; на верхней, первой половине красновато-пестрых крыльев виднеются белые дольные полоски, узенькие, как ниточки, которые есть не что иное, как белые стволинки перьев; вторая же, крайняя половина перьев испещрена беловатыми поперечными крапинками по темно-сизоватому полю; ножки рогового цвета, мохнатые только сверху, до первого сустава, как у птицы, назначенной для многого беганья по грязи и снегу...»

Но мы бы никогда не кончили, если б захотели выписывать всё прекрасное в книге г. А — ва. Повторяем, мы об ней еще поговорим в скором времени — и поговорим подробно. Теперь же нам остается пожелать ей, к чести читателей вообще и охотников в особенности, самый блестящий успех, самое обширное распространение. Эту книгу нельзя читать без какого-то отрадного, ясного и полного ощущения, подобного тем ощущениям, которые возбуждает в вас сама природа; а выше этой похвалы мы никакой не знаем.

ЗАПИСКИ РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ. С. А—ва. Москва. 1852

(*Письмо к одному из издателей «Современника»*)

«Делу время и потехе час».

Из книги, называемой: «Урядник, или Новое уложение и устроение чина Сокольничия пути».

В течение нынешнего лета вы не однажды напоминали мне, любезный Н⟨иколай⟩ А⟨лексеевич⟩, обещание мое поговорить подробнее в вашем журнале о прекрасной книге С. А — ва; я до нынешнего дня не мог сдержать своего слова: как настоящий охотник — охотник душою и телом — я почти всё это время не выпускал ружья из рук, а до пера не касался вовсе.

Но теперь у нас зима; второго октября ударил первый мороз, а третьего октября с утра поднялась снеговая вьюга и до сих пор не прекращается; поля вдруг побелели; долго охотиться нет возможности; на дворе, говоря словами русской песни, кутит, мутит, в глаза несет; неделю тому назад я еще стрелял вальдшнепов десятками, а теперь с трудом убьешь парочку: «толкнули» их, как выражаются охотники, эти жестокие ранние холода. Всегда тяжел и невесел приход «волшебницы»-зимы, но особенно печально ее появление, когда она нагрянет так рано, как в нынешнем году. Осени не было у нас, осень убила она — осень со всей ее тихой красотой, с ее «пышным увяданьем»... Жутко подумать, что уже в начале октября у нас стала зима... Резко отделяясь на мертвой белизне победоносного снега, свежая, не успевшая еще увянуть, зелень берез, и в особенности тополей, кажется какой-то ложью и насмешкой. Сидя в четырех стенах своей комнаты, вспомнил я о моем обещании: я не мог охотиться, но мысли мои всё еще были заняты охотой; я с жадностию взялся за перо и вот пишу для «Современника» критику «Записок оренбургского ружейного охотника» — книги, не сходившей с моего стола с самого моего приезда в деревню.

Но, говоря правду, я пишу не критику, потому что в книге г. А — ва критиковать нечего или почти нечего.

Небольшие неверности, недомолвки, промахи, попадающиеся в ней, уже все или почти все перечислены и замечены в 8-й книге «Москвитянина», в весьма дельной статье, подписанной буквами В. В. Эти же самые буквы встречаются в том же журнале под рядом небольших рассказов о подмосковной охоте,— рассказов, отличающихся верностию тона, безыскусственностию изложения и показывающих притом в авторе охотника страстного и опытного. Главную ошибку (о пороховой мерке) сам г. А—в старался исправить особым объявлением, напечатанным в «Московских ведомостях». Мы от себя прибавим только то, что «Записки оренбургского охотника» не книга вроде «Chasseur au chien d'arrêt»[1] Эльзеара Блаза, которая почитается классическим сочинением для французской охоты. «Записки» г. А—ва не охотничья книга в строгом смысле, они не могут служить полным руководством для начинающего охотника, хотя драгоценные замечания и советы попадаются на каждой почти странице; сам автор это чувствует. Вот что он говорит в самом начале своей книги: «Я думал сначала говорить подробно в моих записках вообще о ружейной охоте, то есть не только о стрельбе, о дичи, о ее нравах и местах жительства в Оренбургской губернии, но также о легавых собаках, ружьях, о разных принадлежностях охоты и вообще о всей технической ее части. Теперь, принявшись за это дело, я увидел, что в продолжение того времени, как я оставил ружье, техническая часть ружейной охоты далеко ушла вперед и что я не знаю ее близко и подробно в настоящем, современном положении».

Действительно, в течение двадцати пяти лет, которые протекли с тех пор, как почтенный г. А—в перестал охотиться, и собаки, и ружья, и ружейные принадлежности — всё изменилось: французские, курляндские собаки не пользуются прежнею известностию; маркловские собаки прогремели было и пали совершенно; английские собаки пошли в гору, особенно пойнтеры *

---

[1] «Охотник с собакой на стойке» *(франц.)*.

* Пойнтерами (pointer от to point — показывать) называются английские собаки с короткой шерстью; сеттерами (а не цеттерами: setter от to set — ставить, сажать) называются длинношерстные собаки. Кроме того, эти две породы отличаются складом тела, поиском и в особенности стойкой: пойнтер стоит, вы-

кровные и полукровные; полукровные едва ли не лучше в нашем климате. Насчет сеттеров, которые так понравились было сперва за быстрый поиск, неутомимость и незябкость, мнения начинают разделяться. Английские ружья Мантона, Мортимера, Пордея заменили не только Моргенротов и Штарбусов, но даже Лепажей; немецкие, венские и пражские ружья совсем вышли из употребления; за ними осталось только преимущество дешевизны, при довольно прочной отделке; но если не наши тульские, то варшавские, Беккера, стоят, конечно, выше их. Двадцать пять лет тому назад еще не возникал вопрос (сознаюсь откровенно, для меня самого не вполне разрешенный) — вопрос о том, должно ли почитать изобретение ружей, заряжающихся сзади (á la Robert или Lefaucheux), шагом вперед в искусстве или, напротив, пустой и бесплодной попыткой? суждено ли им вытеснить ружья, заряжающиеся через дуло, или нет? Много выгод представляют ружья à la Robert, но и невыгод много; обо всем этом вы ни слова не найдете у г. А—ва. Э. Блаз посвятил целую главу этому вопросу. Он кончает тем, что отвергает ружья à la Robert; но граф Ланжель, автор книги «Hygiène des chasseurs» [1], стоит за них. Далее: кто из охотников станет употреблять теперь неуклюжие, тяжеловесные патроны вместо изящных и прочных пороховниц и дробовиков Диксона и других английских мастеров; несносные пыжи — вместо чистых и щеголеватых флястов! Что же касается до пистонов, то хотя автор и никогда не стрелял с ними (см. «З. Р. О.», стр. 222 — в наше время это просто кажется невероятным!), однако он отдает им полную справедливость (пороховниц и дробовиков он не признает удобными и придерживается старинного

тянув и подняв голову, словно «показывает»; сеттер приседает, иногда ложится. Обе породы ищут вскачь; но пойнтер скачет красивым галопом, сеттер — во всю прыть; у пойнтеров чутье гораздо тоньше и «выше»; сеттер большею частию останавливается вдруг, круто; должно сознаться, что он нередко проходит, или, говоря правильнее, пролетает мимо дичи. Сеттеры вообще чрезвычайно горячи и в лесу негодны вовсе, зато в болоте «метут» на славу. Главный упрек, который делают пойнтерам, состоит в том, что они зябки и, так же как сеттеры, неохотно подают дичь. Известно, что у англичан для этого держатся особого рода собаки: ретриверы — retrievers, то есть отыскатели.

[1] «Гигиена охотников» *(франц.)*.

патронташа); но он ни слова не говорит и не мог сказать о новейших усовершенствованиях по этому делу, не упоминает об английских темных пистонах, о французских граненых, с буквою G. (Gevelot), которые, кроме того, что никогда не осекаются (английские, с двойным дном, даже можно перед выстрелом класть в воду) и не разлетаются, подобно австрийским, с буквами S. B., известной фабрики Sellier и Bellot, или нашим доморощенным безыменным колпачком, которые осекаются даже в сухую погоду и своими осколками то и дело наносят стрелку раны в руку или щеку. Кстати, насчет пистонниц: я долго разделял мнение многих опытных охотников о них; действительно, все придуманные до сих пор пистонницы оказывались неудовлетворительными; наконец, в прошлом году появилась одна машинка английского изобретения, совершенно достигающая своей цели. Машинка эта состоит в маленькой замшевой круглой сумочке на поясе, с такой же крышей, на пружине; вы отправляетесь за пистоном — крышка уступает давлению ваших пальцев и тотчас захлопывается сама, как только вы достали пистон. Это чрезвычайно удобно и очень просто, как яйцо Колумба, как Паскалева тачка. Правила, предлагаемые автором для дрессирования собак, очень верны; нам приятно видеть, что даже двадцать лет тому назад г. А—в не одобрял парфорсов и прочих штук и фокусов немецкой дрессировки, которая господствовала в то время. Действительно, приучите дома собаку к послушанию, к апелю, к слову: назад! заставьте ее, шутя, подавать вам бумажку или перчатку (но никак не камень или даже ключ, как советует г. А—в) — и отправляйтесь с нею потом в поле: если в ней есть кровь, порода * — а это

* Я знаю, что многие восстают против такого значения «породы»; сколько раз мне приходилось слышать рассказы о необыкновенной мужичьей собаке, полудворняжке и т. д. Но исключение только подтверждает правило; одна некровная собака из сотни может удаться, зато остальные никуда не годятся; точно так, как иное ружье, заплаченное в Туле двадцать пять р. ас., может бить удивительно, особенно пока не стерлись в дуле следы сверла... Но что ж это доказывает? Я на своем веку видел только одну необыкновенную по чутью собаку у мужика; с виду она действительно походила на дворняжку. Но, при всех своих качествах, она не стояла более двадцати секунд, и ее владелец должен был «ухитряться» и поспевать за ней. С другой стороны, я готов со-

главное,— ваша собака скоро поймет, чего вы от нее требуете. В нынешнем году я испытал это на деле: я в первый раз взял на охоту молодую собаку из полукровных английских (правда, дочь отличной матери), которую я сам воспитывал дома; и, несмотря на то, что она, по робости своего нрава, целых шесть недель боялась звука выстрела и лишь всё издали кралась за мной,— как только она решилась в один прекрасный день броситься на черныша, убитого в десяти шагах от нее, успехи ее изумили меня самого; дней через пятнадцать она уже работала, как опытная собака, стояла мертво, подавала отлично,— словом, совершенно заменила мне свою, к сожалению, стареющуюся мать...

Но возвратимся к книге г. А—ва. Из всего сказанного мною следует, что техническая ее часть довольно слаба и неполна,— она, говоря высокопарным слогом, отстала от современного состояния науки; но, повторяю, сам автор не отрицает этого, и притом техническая часть его записок заключается всего в тридцати четырех страницах, за которые любители охоты все-таки должны быть благодарны г. А—ву, особенно за отличные советы насчет стрельбы, на стр. 31, 32, 33. Его первое правило: «Никогда не думать о том, что дашь промах», напоминает мне поговорку одного старого московского охотника, давно уже умершего, Л. И. Татаринова, которого я знавал в ранней молодости. «Стрелки,— говаривал он,— разделяются на три класса: бывают между ними а́халы, пу́калы и шле́палы. Ахалы только ахают, когда вскакивает дичь; пукалы стреляют и не попадают; шлепалы стреляют и попадают. Из пукалы может еще выйти шлепал; из ахалы— никогда».

За этими тридцатью четырьмя страницами вступления начинается собственно книга.

И что за прелесть эта книга! сколько в ней свежести, грации, наблюдательности, понимания и любви природы!.. Но я замечаю, что вдаюсь в восклицания, а в критике это, говорят, не годится. Стану рассуждать обстоятельно.

знаться, что далеко не все собачьи породы, годные для охоты с ружьем, надлежащим образом исследованы; я во Франции видел жесткошерстных брусбартов или пуделей (barbets), совершенно различного от легавых собак вида, которые для болотной и речной охоты мне показались превосходными.

Книгу г. А—ва можно рассматривать с двух точек зрения: с точки зрения охотника и с точки зрения естествоиспытателя. Начну с первой.

Я уверен, что всякий охотник, которому придется прочесть «Записки» г. А—ва, будет в особенности привлечен и тронут искренней и горячей любовью автора к своему делу — к благородному занятию охотой,— добросовестностью его страсти. Мне скажут, что в сущности охота пустячки, «мгновенная» забава и не заслуживает таких сильных выражений; но, кроме того, что, по моему мнению, без искренней преданности своему делу даже пустяки никому не удаются, я бы мог привести поразительные доказательства тому, что охота в человеческой жизни, в истории человечества занимает не последнее место. Всем известно, что́ значило право охоты в европейском мире не только в течение средних веков, но даже до позднейших времен (отмена законов, касавшихся до дичи — game laws, составляла одно из важнейших преобразований, произведенных графом Греем только в 31 году), и потому я не стану настаивать на постановления Генриха IV, на то, сколько замечательных людей были страстными охотниками, и т. д.,— замечу только, что охоту по справедливости должно почесть одним из главнейших занятий человека. Не говоря уже о библейском Немвроде и других азиатских царях-охотниках, изображения которых сохранились на остатках древнейших дворцов и храмов, сто́ит вспомнить то место в одиннадцатой песне «Одиссеи», где Улисс в числе теней старинных героев, вызванных им, по совету Цирцеи, из Аида, видит мифического великана Ориона:

> Подле него (Миноса) и Ориона чудовищного увидал я:
> Толпы диких зверей гнал он перед собою
> Которых сам он некогда убил на пустынных горных вершинах...
> Палицу держал он в руках из несокрушимого железа.

И русские люди с незапамятных времен любили охоту. Это подтверждают наши песни, наши сказания, все предания наши. Да и где же и охотиться, как не у нас: кажется, есть где и есть по чем *. Витязи времен

* Справедливость требует заметить, что, к сожалению, число дичи у нас быстро уменьшается; причины этого уменьшения двоя-

Владимира стреляли белых лебедей и серых уток на заповедных лугах. Мономах в завещании своем оставил нам описание своих битв с турами и медведями; достойный отец великого сына, один из мудрейших русских царей, Алексей Михайлович, страстно любил охоту. Все слышали об его «Уряднике, или Новом уложении и устроении чина Сокольничия пути» *; менее известны его письма к одному из бояр своих, сообщенные археографической комиссией. В них царь рассказывает ему свои «выезды». Вообще охота свойственна русскому человеку: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить, в одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера. И не думайте, чтобы он стрелял из него одних уток: с этим же ружьем пойдет он караулить медведя на «овсах», вобьет в дуло не пулю, а самодельный кой-как сколоченный жеребий — и убьет медведя; а не убьет, так даст медведю себя поцарапать, отлежится, полуживой дотащится до дому и, коли выздоровеет, опять пойдет на того же медведя с тем же ружьем. Правда, случится иногда, что медведь его опять поломает; но ведь русским же человеком сложена пословица, что зверя бояться — в лес не ходить. Этой общей, повсюду распространенной страсти русского,— страсти, сокровеннейшие корни которой, быть может, следует искать в самом его полувосточном происхождении и первоначальных кочующих привычках,— как нельзя более соответствует книга г. А—ва: она дышит ею, проникнута ей вся. Я сам не бывал в Оренбургской губернии, но я рад, что г. А—в именно там охотился — в этих величавых, изобилующих дичью степях, так прекрасно им описанных **; они-то, мне кажется, и придали его страсти увлекательную искренность и силу, а кисти его — свободу и ширину.

Теперь мне следует, по обещанию, сказать несколько слов о том, как будут взирать естествоиспытатели на

кие: одни утешительные — осушка болот и пр., другие не столь отрадные: истребление лесов и привычка наших охотников не жалеть «маток»; обыкновение крыть куропаток зимой также чрезвычайно вредно.

* См. «Древнюю Вивлиофику» Новикова. Изд. 2, часть III, стр. 430.

** См. «З⟨аписки⟩ р⟨ужейного⟩ о⟨хотника⟩», стр. 231.

сочинение г. А—ва. Сам я, вы знаете, не имею чести принадлежать к их сословию; но я страстно люблю природу, особенно в живых ее проявлениях, и потому позволю сказать себе несколько слов о «Записках ружейного охотника» и с этой точки зрения. Человека не может не занимать природа, он связан с ней тысячью неразрывных нитей: он сын ее; сочувствие, которое возбуждает в душе жизнь существ низших, столь похожих на человека своим внешним видом, внутренним устройством, óрганами чувств и ощущений, несколько напоминает тот живой интерес, который каждый из нас принимает в развитии младенца. Все мы точно любим природу,— по крайней мере никто не может сказать, что он ее положительно не любит; но и в этой любви часто бывает много эгоизма. А именно: мы любим природу в отношении к нам; мы глядим на нее, как на пьедестал наш. Оттого, между прочим, в так называемых описаниях природы то и дело либо попадаются сравнения с человеческими душевными движениями («и весь невредимый хохочет утес» и т. п.), либо простая и ясная передача внешних явлений заменяется рассуждениями по их поводу *.

Между тем такого рода воззрение совершенно не согласно с истинным смыслом природы, с ее основным направлением. Бесспорно, вся она составляет одно великое, стройное целое — каждая точка в ней соединена со всеми другими,— но стремление ее в то же время идет к тому, чтобы каждая именно точка, каждая отдельная единица в ней существовала исключительно для себя, почитала бы себя средоточием вселенной, обращала бы всё окружающее себе в пользу, отрицала бы его независимость, завладела бы им как своим достоянием. Для комара, который сосет вашу кровь,— вы пища, и он так же спокойно и беззазорно пользуется вами, как паук, которому он попался в сети, им самим, как корень, роющийся во тьме, земляною влагой. Обратите в течение нескольких мгновений ваше внимание на муху,

* Главным образцом поэзии такого рода может служить В. Гюго (см. его «Orientales»). Трудно исчислить, сколько эта ложная манера нашла себе подражателей и поклонников, и между тем ни один его образ не останется: везде видишь автора вместо природы; а человек только и силен тогда, когда он на нее опирается.

свободно перелетающую с вашего носа на кусок сахару, на каплю меда в сердце цветка,— и вы поймете, что́ я хочу сказать, вы поймете, что она решительно настолько же сама по себе — насколько вы сами по себе. Как из этого разъединения и раздробления, в котором, кажется, всё живет только для себя,— ка́к выходит именно та общая, бесконечная гармония, в которой, напротив, всё, что существует,— существует для другого, в другом только достигает своего примирения или разрешения — и все жизни сливаются в одну мировую жизнь,— это одна из тех «открытых» тайн, которые мы все и видим и не видим. Говорить об этом заманчиво — но оно повело бы меня слишком далеко; я удовольствуюсь тем, что напомню вам известные страницы Гёте о природе — и приведу два, три слова, им сказанные:

«Природа проводит бездны между всеми существами, и все они стремятся поглотить друг друга. Она всё разъединяет, чтобы всё соединить...»

«Ее венец — любовь. Только через любовь можно к ней приблизиться...»

«Кажется, она только и хлопочет о том, чтобы создавать личности,— и личности ей ничего не значат. Она беспрестанно строит и беспрестанно разрушает...»

Если только «через любовь» можно приблизиться к природе, то эта любовь должна быть бескорыстна, как всякое истинное чувство: любите природу не в силу того, что́ она значит в отношении к вам, человеку, а в силу того, что она вам сама по себе мила и дорога,— и вы ее поймете.

Возвращаясь к книге г. А—ва, я не могу не отдать ему должной справедливости. Он смотрит на природу (одушевленную и неодушевленную) не с какой-нибудь исключительной точки зрения, а так, как на нее смотреть должно: ясно, просто и с полным участием; он не мудрит, не хитрит, не подкладывает ей посторонних намерений и целей: он наблюдает умно, добросовестно и тонко; он только хочет узнать, увидеть. А перед таким взором природа раскрывается и дает ему «заглянуть» в себя. Оттого вы будете смеяться, но я вас уверяю, что когда я прочел, например, статью о тетереве, мне, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно...

Автор перенес в изображение этой птицы ту самую законченность, ту округленность каждой отдельной жизни, о которой мы говорили выше, и т. д. и т. д. Если б тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в том уверен, ни слова не прибавил к тому, что́ о нем поведал нам г. А—в. То же самое должно сказать о гусе, утке, вальдшнепе,— словом, обо всех птичьих породах, с которыми он нас знакомит. Немцы считают гуся, эту обдуманную осторожную птицу, глупым; русский человек, напротив, заметил, что даже гром обращает на себя внимание гуся; действительно, при каждом ударе он, скривив голову, смотрит в небо. Правда, он от этого нисколько не становится умнее, но эту участь он разделяет со многими философами. Говоря без шуток, я не могу довольно налюбоваться птичьими «физиологиями» г. А—ва. Я вовсе не намерен сравнивать его с Бюффоном и не дерзаю отрицать великих заслуг «отца естественной истории», но я должен сознаться, что такие блестящие риторические описания, каково, например, всем нам с детства известное описание коня: «Конь самое благородное завоевание человека» и т. д., в сущности очень мало знакомят нас с теми животными, которым они посвящены. Мне, право, кажется, что такого рода красноречивые разрисовки представляют гораздо меньше затруднений, чем настоящие, теплые и живые описания, точно так же, как несравненно легче сказать горам, что они «побеги праха к небесам», утесу — что он «хохочет», молнии — что она «фосфорическая змея», чем поэтически ясно передать нам величавость утеса над морем, спокойную громадность гор или резкую вспышку молнии... И оно понятно: ничего не может быть труднее человеку, как отделиться от самого себя и вдуматься в явления природы... Гремите, не сходя с места, всеми громами риторики: вам большого труда это не будет стоить; попробуйте понять и выразить, что́ происходит хотя бы в птице, которая смолкает перед дождем, и вы увидите, как это нелегко.

В силу всех вышеизложенных причин я воображаю, что всякий естествоиспытатель с истинным наслаждением перечтет книгу г. А—ва. Покойный Одюбон пришел бы, я думаю, от нее в умиление. Знаете ли вы, например, что одной из самых великих трудностей в естественной истории почитаются верные изображения

наружного вида и цвета птиц? Посмотрите, как они все удались г. А—ву. Я тем более уверен в успехе «Записок ружейного охотника» между естествоиспытателями, что наука их в последнее время приняла направление более положительное и практическое, или, говоря точнее, направление, обращенное более на живое наблюдение и изучение природы, чем на составление тех иногда поэтических и глубоких, но почти всегда темных и неопределенных гипотез, которыми Шеллинг вскружил головы в начале нынешнего столетия.

Скажу еще несколько слов о слоге «Записок» г. А—ва. Слог его мне чрезвычайно нравится. Это настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая. Ничего нет вычурного и ничего лишнего, ничего напряженного и ничего вялого — свобода и точность выражения одинаково замечательны. Эта книга написана охотно и охотно читается. Я уже неоднократно замечал, как мастерски умеет г. А—в описывать (некоторые отрывки были помещены в апрельской книжке «Современника»). Теперь мне хочется обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. Бывают тонко развитые, нервические, раздражительно-поэтические личности, которые обладают каким-то особенным воззрением на природу, особенным чутьем ее красот; они подмечают многие оттенки, многие часто почти неуловимые частности, и им удается выразить их иногда чрезвычайно счастливо, метко и грациозно; правда, большие линии картины от них либо ускользают, либо они не имеют довольно силы, чтобы схватить и удержать их. Про них можно сказать, что им более всего доступен запах красоты, и слова их душисты. Частности у них выигрывают насчет общего впечатления. К подобным личностям не принадлежит г. А—в, и я очень этому рад. Он и тут не хитрит, он не подмечает ничего необыкновенного, ничего такого, до чего добираются «немногие»; но то, что он видит, видит он ясно, и твердой рукой, сильной кистью пишет стройную и широкую картину. Мне кажется, что такого рода описания ближе к делу и вернее: в самой природе нет ничего ухищренного и мудреного, она никогда ничем не щеголяет, не кокетничает; в самых своих прихотях она добродушна. Все поэты с истинными и сильными талантами не становились в «позитуру» пред лицом природы; они не стара-

лись, как говорится, «подслушать, подсмотреть» ее тайны; великими и простыми словами передавали они ее простоту и величие: она не раздражала их, она их воспламеняла; но в этом пламени не было ничего болезненного. Вспомните описания Пушкина, Гоголя или хотя то знаменитое место в «Короле Лире», где Эдгар описывает слепому Глостеру крутой морской берег, который будто падает отвесно у самых его ног:

Подойдите, сэр... Вот то место. Остановитесь. Как страшно!
Как кружится голова! так низко ронять свои взоры...
Галки и вороны, которые вьются там в воздухе на средине расстояния*,
Кажутся едва ли так велики, как мухи. На полпути вниз
Висит человек, собирающий морские травы... ужасное ремесло!
Он мне кажется не больше своей головы.
Рыбаки, которые ходят по прибережью,
Точно мыши; а тот высокий корабль на якоре
Уменьшился до размера своей лодки; его лодка — плавающая точка,
Как бы слишком малая для зрения... Шумный прибой,
Который кипит и ропщет на бесчисленных каменьях,—
Здесь его не слышно... слишком высоко. Я больше глядеть не стану.

Всего две-три черты; поэт не желает ни сказать что-нибудь необыкновенное, ни найти в картине, которая является его глазам, особенных не подмеченных еще черт; с верным инстинктом гения придерживается он одного главного ощущения — ощущения высоты, с которой глядит Эдгар, и уменьшения всех предметов,— и между тем, возможно ли еще что-нибудь прибавить? Древние греки так же просто взирали на природу; можно бы привести множество доказательств тому... Впрочем, они имели перед нами преимущество великое: в их счастливых устах поэзия впервые заговорила звучным и сладким языком о человеке и природе. (Признаюсь, я не умею сочувствовать литературам, предшествовавшим греческой.) Оттого ничего не может сравниться с бессмертной молодостью, с свежестью и силой первых впечатлений, которыми веет нам от песней Гомера. Я сейчас упомянул о Пушкине: отношения

* ...that wing the midway air... Непереводимо.

этого, по духу своему действительно древнего, поэта * к природе так же просты, естественны, как у древних, и, при всей смелости поэтических образов, совершенно здравы. Кто не знает его «Тучи»? Не откажу себе в удовольствии выписать всё это стихотворение:

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала,
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.
Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась.
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

Удивительно!.. Словом, описывая явления природы, дело не в том, чтобы сказать всё, что может прийти вам в голову: говорите то, что должно прийти каждому в голову,— но так, чтобы ваше изображение было равносильно тому, что вы изображаете, и ни вам, ни нам, слушателям, не останется больше ничего желать.

Но наше удивленное сочувствие к таким образам, к таким звукам не должно сделать нас несправедливыми к тем полуженским поэтическим личностям, о которых я упоминал выше, и счастливые, вкрадчивые стихи Тютчева или Фета найдут отголосок в нашем сердце. Я хотел только сказать, что г. А—в пошел не по их дороге, и, повторяю, его манера как нельзя более идет к добродушно-умному, ясному и мужественному тону всей книги.

Письмо мое вышло довольно длинно, а между тем сколько мне бы хотелось еще сказать вам: сообщить

* Пушкин заслуживает название древнего по духу поэта гораздо более, чем элегантный полуфранцуз, впрочем даровитый, Андрей Шенье; но по этому поводу можно бы написать целую статью. Подобная статья была бы своевременна теперь, когда развелось такое множество подражателей Андрея Шенье и древних,— подражателей, старающихся выдать тщедушную бедность своего вымысла за строгое чувство меры, присущее греческой фантазии, трусливое любезничанье своего бессилия — за спокойную грацию античной силы.

собственные наблюдения, поговорить о так называемых охотничьих «удачах и неудачах», об охотничьих суеверьях, преданиях и поверьях. Но я боюсь утомить и ваше внимание и внимание читателя. Отложу всё это до другого письма, которое вы получите вскоре. Ограничусь теперь желанием, чтобы охота, эта забава, которая сближает нас с природой, приучает нас к терпению, а иногда и к хладнокровию перед опасностью, придает телу нашему здоровье и силу, а духу — бодрость и свежесть,— эта забава, которой тешились и наши прадеды на берегах широких русских рек, и герой народных баллад, стрелок Робин-Гуд, в веселых, зеленых дубовых рощах Старой Англии, и много добрых людей на всем земном шаре, долго бы еще процветала в нашей родине! Волшебный рог Оберона не перестанет звучать для «имеющих ухо», и Вебер не последний великий музыкант, которого вдохновит поэзия охоты! Я сейчас сказал, что охота сближает нас с природой: один охотник видит ее во всякое время дня и ночи, во всех ее красотах, во всех ее ужасах. Скажем искреннее спасибо г. А—ву за его книгу и пожелаем, чтоб другие пошли по его следам и рассказали нам все те многоразличные роды охоты, до которых он не коснулся. Кончаю словами «Урядника» Алексея Михайловича: «Паче же почитайте сию книгу, красныя и славныя охоты, прилежные и премудрые охотники, да многие вещи добрые и разумные узрите и разумеете. Аще с разумом прочтете, найдете всякого утешного добра...» и еще: «Будете охочи, забавляйтеся, утешайтеся сею доброю потехою, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие».

P. S. Я слышал, что «Записок ружейного охотника» готовится другое издание — успех их предупредил мои похвалы; тем лучше!

Октябрь — ноябрь 1852.
Село Спасское.

СЛОБОЖАНЕ. Малороссийские рассказы Григория Данилевского. СПб., 1853.

Гладкая, белая, превосходно сатинированная бумага, на которой напечатаны «Слобожане» г-на Данилевского, как нельзя лучше соответствует той претензии, которою исполнены все его рассказы, взятые вместе и порознь.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТИХОТВОРЕНИЯХ Ф. И. ТЮТЧЕВА

«Возвращение к поэзии стало заметно если не в литературе, то в журналах». Эти слова довольно часто слышались в последнее время. Выраженное ими мнение справедливо, и мы готовы согласиться с ним, только с следующей оговоркой: мы не думаем, чтобы поэзия отсутствовала в нашей текущей литературе, несмотря на все упреки в прозаичности и пошлости, которым она часто подвергается; но мы понимаем желание читателей насладиться гармонией стиха, обаянием мерной лирической речи; мы понимаем это желание, сочувствуем ему и разделяем его вполне. Вот почему мы не могли душевно не порадоваться собранию воедино разбросанных доселе стихотворений одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина — Ф. И. Тютчева.

Мы сказали сейчас, что г. Тютчев один из самых замечательных русских поэтов; мы скажем более: в наших глазах, как оно ни обидно для самолюбия современников, г. Тютчев, принадлежащий к поколению предыдущему, стоит решительно выше всех своих собратов по Аполлону. Легко указать на те отдельные качества, которыми превосходят его более даровитые из теперешних наших поэтов: на пленительную, хотя несколько однообразную, грацию Фета, на энергическую, часто сухую и жесткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одном г. Тютчеве лежит печать той великой эпохи, к которой он принадлежит и которая так ярко и сильно выразилась в Пушкине; в нем одном замечается та соразмерность таланта с самим собою, та соответственность его с жизнию автора — словом, хотя часть того, что̀ в полном развитии своем составляет отличительные признаки великих дарований. Круг г. Тютчева не обширен — это правда, но в нем он дома. Талант его не со-

стоит из бессвязно разбросанных частей: он замкнут и владеет собою; в нем нет других элементов, кроме элементов чисто лирических; но эти элементы определительно ясны и срослись с самою личностию автора: от его стихов не веет сочинением; они все кажутся написанными на известный случай, как того хотел Гёте, то есть они не придуманы, а выросли сами, как плод на дереве, и по этому драгоценному качеству мы узнаем, между прочим, влияние на них Пушкина, видим в них отблеск его времени.

Нам скажут, что мы напрасно восстаем на *сочинение* в поэзии, что без сознательного участия творческой фантазии нельзя вообразить ни одного произведения искусства, кроме разве каких-нибудь первобытных народных песен, что у каждого таланта есть своя внешняя сторона,— сторона ремесла, без которой ни одно художество не обходится; всё это так, и мы нисколько этого не отвергаем: мы восстаем только против отделения таланта от той почвы, которая одна может дать ему и сок и силу— против отделения его от жизни той личности, которой он дан в дар, от общей жизни народа, к которой как частность принадлежит сама та личность. Подобное отделение таланта может иметь свои выгоды: оно может способствовать к легчайшей его обработке, к развитию в нем виртуозности; но это развитие всегда совершается на счет его жизненности. Из отрубленного, высохшего куска дерева можно выточить какую угодно фигурку; но уже не вырасти на том суке свежему листу, не раскрыться на нем пахучему цветку, как ни согревай его весеннее солнце. Горе писателю, который захочет сделать из своего живого дарования мертвую игрушку, которого соблазнят дешевый триумф виртуоза, дешевая власть его над своим опошленным вдохновением. Нет, произведение поэта не должно даваться ему легко, и не должен он ускорять его развитие в себе посторонними средствами. Давно уже и прекрасно сказано, что он должен выносить его у своего сердца, как мать ребенка в чреве; собственная его кровь должна струиться в его произведении, и этой животворной струи не может заменить ничто, внесенное извне: ни умные рассуждения и так называемые задушевные убеждения, ни даже великие мысли, если б таковые имелись в запасе... И они, и самые эти великие

мысли, если они действительно велики, выходят не из одной головы, но из сердца, по прекрасному выражению Вовенарга: «Les grandes pensées viennent du coeur»[1]. Человек, желающий создать что-нибудь целое, должен употребить на это целое свое существо.

Начало «сочинения», или, говоря правильнее, сочинительства, риторики, столь сильно развитое в нашей литературе лет пятнадцать тому назад, теперь, конечно, значительно ослабло: никому теперь не придет в голову вдруг, неизвестно почему, соорудить пятиактную фантазию по поводу какого-нибудь итальянского живописца десятой руки, оставившего после себя две-три плохие картины, спрятанные в темных углах третьестепенных галерей; никто теперь не воспоет, скоропостижно повергнувшись в преувеличенный восторг, сверхъестественных кудрей какой-нибудь девы, которой, может быть, даже никогда и на свете не было; но все-таки сочинительство не исчезло в нашей литературе. Следы его, и довольно сильные, можно заметить в произведениях многих наших писателей; но в г. Тютчеве его нет. Недостатки г. Тютчева другого рода: у него часто попадаются устарелые выражения, бледные и вялые стихи, он иногда как будто не владеет языком; внешняя сторона его дарования, та сторона, о которой мы упомянули выше, не довольно, быть может, развита; но всё это выкупается неподдельностью его вдохновения, тем поэтическим дуновением, которым веет от его страниц; под наитием этого вдохновения самый язык г. Тютчева часто поражает читателя счастливой смелостью и почти пушкинской красотой своих оборотов. Любопытно также наблюдать, каким образом зарождались в душе автора те, в сущности немногочисленные, стихотворения (их не более ста), которыми он означил пройденный свой путь. Если мы не ошибаемся, каждое его стихотворение начиналось мыслию, но мыслию, которая, как огненная точка, вспыхивала под влиянием глубокого чувства или сильного впечатления; вследствие этого, если можно так выразиться, свойства происхождения своего мысль г. Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы,

---

[1] «Великие мысли идут из сердца» *(франц.)*.

проникается им, и сама его проникает нераздельно и неразрывно. Исключительно, почти мгновенно лирическое настроение поэзии г. Тютчева заставляет его выражаться сжато и кратко, как бы окружить себя стыдливо-тесной и изящной чертой; поэту нужно высказать одну мысль, одно чувство, слитые вместе, и он большею частию высказывает их единым образом, именно потому, что ему нужно высказаться, потому что он не думает ни щеголять своим ощущением перед другими, ни играть с ним перед самим собой. В этом смысле поэзия его заслуживает названия дельной, то есть искренней, серьезной. Самые короткие стихотворения г. Тютчева почти всегда самые удачные. Чувство природы в нем необыкновенно тонко, живо и верно; но он, говоря языком, не совсем принятым в хорошем обществе, не *выезжает* на нем, не принимается компонировать и раскрашивать свои фигуры. Сравнения человеческого мира с родственным ему миром природы никогда не бывают натянуты и холодны у г. Тютчева, не отзываются наставническим тоном, не стараются служить пояснением какой-нибудь обыкновенной мысли, явившейся в голове автора и принятой им за собственное открытие. Кроме всего этого, в г. Тютчеве заметен тонкий вкус — плод многостороннего образования, чтения и богатой жизненной опытности. Язык страсти, язык женского сердца ему знаком и дается ему. Стихотворения г. Тютчева, почерпнутые им не из собственного родника, как-то «Наполеон» и др., нам нравятся менее. В даровании г. Тютчева нет никаких драматических или эпических начал, хотя ум его, бесспорно, проник во все глубины современных вопросов истории.

Со всем тем популярности мы не предсказываем г. Тютчеву,— той шумящей, сомнительной популярности, которой, вероятно, г. Тютчев нисколько не добивается. Талант его, по самому свойству своему, не обращен к толпе и не от нее ждет отзыва и одобрения; для того чтобы вполне оценить г. Тютчева, надо самому читателю быть одаренным некоторою тонкостию понимания, некоторою гибкостию мысли, не остававшейся слишком долго праздной. Фиалка своим запахом не разит на двадцать шагов кругом: надо приблизиться к ней, чтобы почувствовать ее благовоние. Мы, повторяем, не предсказываем популярности г. Тютчеву; но

мы предсказываем ему глубокое и теплое сочувствие всех тех, которым дорога русская поэзия, а такие стихотворения, каковы —

Пошли господь свою отраду...

и другие, пройдут из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом. Г-н Тютчев может сказать себе, что он, по выражению одного поэта, создал речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше подобного сознания награды нет.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К «СТИХОТВОРЕНИЯМ Ф. ТЮТЧЕВА»⟩

Получив от Ф. И. Тютчева право на издание его стихотворений, редакция «Современника» поместила в этом собрании и те стихотворения, которые принадлежат к самой первой эпохе деятельности поэта и теперь были бы, вероятно, им самим отвергнуты. Но мы сочли за лучшее дать публике издание по возможности полное. Таким образом, в настоящем собрании представляется публике вся поэтическая деятельность поэта, за исключением нескольких пьес, совершенно незначительных.

⟨СТИХОТВОРЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО⟩

Милостивые государи! Посылаю вам, с согласия г-жи Баратынской, все те стихотворения покойного поэта, которые не находятся ни в собрании его сочинений, изданном в 1835 году в Москве, ни в «Сумерках» 1842 года. Большая часть из них была напечатана в изданиях, не имевших обширного круга читателей, и потому мало известна публике; некоторые (как-то «На смерть Лермонтова» и другие) появляются в первый раз. Я уверен, что вы с радостью дадите им место на листах вашего журнала и тем оживите в памяти всех любителей русского слова образ одного из лучших и благороднейших деятелей лучшей эпохи нашей литературы. Кроме дозволения напечатать эти стихотворения, я получил от г-жи Баратынской небольшое, но драгоценное собрание писем ее покойного мужа к ней, к Пушкину и др. и также несколько писем Дельвига к Баратынскому. Письма эти, вместе с небольшой вступительной статьей, также назначены мною в ваш журнал, но прежде чем посылать их к вам, я решаюсь обратиться с просьбой ко всем друзьям и приятелям Баратынского: не захотят ли те из них, у которых находятся его письма, прислать мне их в копиях для приобщения к собранию писем, порученному мне лестной доверенностью г-жи Баратынской? Биографические подробности также будут приняты с благодарностью. Нас, русских, часто и справедливо упрекали в равнодушии к нашим литературным славам, в отсутствии похвального желания ближе познакомиться с самою личностью, с жизнью наших поэтов; в последнее время, однако, стала заметна перемена к лучшему, и потому надеюсь, что мой призыв не останется безответен. Адресовать письма покорно прошу в контору редакции «Современника», на имя Ивана Сергеевича Тургенева. Последним сроком назначается 1 января 1855 года. Я почту приятным долгом объявить имена лиц, от которых поступят письма или сведения, исключая, разумеется, те лица, которые сами того не пожелают.



НЕЗАВЕРШЕННОЕ

СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ ДУБКОВ И МОИ С НИМ РАЗГОВОРЫ

Степан Дубков, род.— 1788.
Юнк⟨ер⟩ в пехотн⟨ом⟩ полку — в 1806.
В отставке — в 1815, с чином штабс-капитана.
Живет в деревне — до 1825.
» в Москве — до 1827.
Опять в деревне — до 1833.
Сделан исправником — до 1839.
Поселяется в уездном городе в 1840, где живет до сих пор.

— Степан Семенович!
— Чего-с?
— Знаете ли, что я думаю, глядя на вас?
— Нет-с, не знаю — что такое-с?
— Мне кажется, что вы притворяетесь.
— То есть это как, например-с? Я притворяюсь?
— А вот как. Вот уже с лишком месяц, как я с вами познакомился и каждый день разговариваю с вами,— знаете ли, что я от вас ни разу не слыхал ни одного теплого, доброго слова, такого слова, из которого я бы мог заключить, что у вас есть сердце, что вы верите во что-нибудь, любите что-нибудь...
— Гм,— промычал С⟨тепан⟩ С⟨еменович⟩, потупил голову и перенял чубук из одной руки в другую.
— Послушать вас, так для вас всё равно, что бы ни делалось на свете! Неужели же жизненный опыт довел вас до такого ⟨...⟩? Я этому верить не хочу — и я скорее готов думать, что вы только прикидываетесь разочарованным человеком. Откуда бы у вас бралась жёлчь, если б вы бы точно ни в чем не принимали участия.
— Гм,— повторил С⟨тепан⟩ С⟨еменович⟩,— и видя, что я не продолжаю, отвернулся и плюнул в окно.— Фанаберика,— промолвил он, утирая себе губы рукой.

Степанъ Семеновичъ Дубковъ

и Мальчикъ разговоръ



Степанъ Дубковъ

род. — 1738.—

юнк. въ [illegible] — въ 1806.

въ отставку — въ 1815 съ чиномъ штабсъ капитана.

живётъ в деревне — до 1825.—

—— в Москве — до 1827

опять в деревне — до 1833.

служилъ исправникомъ — до 1839

поселился в уездном городе в 1840 [illegible]—

«СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ ДУБКОВ...»
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА АВТОГРАФА.

Bibliothèque Nationale, Париж.

— Что такое?

— Ф⟨анаберик⟩а-с,— повторил он, возвысив голос.— Всё, что вы изволили говорить-с, фанаберика-с. Это всё философия-с,— это хорошо для ученых-с, а не для нашего брата. Что же касается до жёлчи, то я вам скажу-с — у меня ее всегда было достаточно-с. Теперь я больше эдак бурой комплекции-с, а сызмала был я желт-с, как лимонная корка-с. Таким уж меня господь бог создал да матушка уродила. Это уж их было дело-с.

— Но все-таки...

— Теперь насчет любви-с,— перервал он меня.— Да что я буду любить, позвольте спросить-с? Какая из этого будет кому польза? Никому никакой-с. И притом я не знаю, почему это мне непременно надобно любить-с? Мне закон говорит: не крадь — и я не краду, а он мне не говорит — люби, мол. Нигде мне этого он не говорит-с.

— Так если б, по-вашему, закон не запрещал вам красть — вы бы крали?

— И крал бы-с, непременно бы крал.

— Поздравляю вас; но позвольте вам заметить, что есть заповедь, которая повелевает нам...

— Знаю-с, знаю-с... Возлюбите ближнего своего... Да я и люблю ближнего-с — вообще и как самого себя. Я себе зла не делаю — и ему тоже не делаю-с и даже не желаю никогда. Но вы не в том смысле говорить изволили. Вот вы, напр⟨имер⟩, тоже говорите: верить надо. И я не прочь от этого-с... Я, напр⟨имер⟩, верю, что теперь вот день, а после будет ночь, и еще многому кой-чему⟨?⟩ я верю — а вы всё недовольны-с.

— Вы не понимаете меня — или, лучше сказать, вы не хотите меня понять.

Д⟨убков⟩ помолчал.

— Нет-с, вы мне лучше скажите-ка, чему еще надобно верить. ⟨*Не закончено.*⟩



ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ *

Григорьев — Григорьев Ап. Сочинения. СПб.: Издание Н. Страхова, 1876. Т. I.

Добролюбов — Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. / Под общей редакцией П. И. Лебедева-Полянского. Т. I—VI. М.; Л.: Гослитиздат, 1934—1941 ⟨1945⟩.

Дружинин — Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. VII.

Иванов — Проф. Иванов Ив. Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь. Личность. Творчество. Нежин, 1914.

Истомин — Истомин К. К. «Старая манера» Тургенева (1834—1855 гг.) СПб., 1913.

Клеман, Летопись — Клеман М. К. Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева / Под. ред. Н. К. Пиксанова. М.; Л.: Academia, 1934.

Назарова — Назарова Л. Н. К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками (1851—1853).— Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958, с. 162—167.

Писарев — Писарев Д. И. Сочинения: В 4-х т. М.: Гослитиздат, 1955—1956.

Рус арх — «Русский архив» (журнал).

Рус беседа — «Русская беседа» (журнал).

Рус Обозр — «Русское обозрение» (журнал).

Сб ГБЛ — «И. С. Тургенев», сборник / Под ред. Н. Л. Бродского. М., 1940 (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина).

Сб ПД 1923 — «Сборник Пушкинского Дома на 1923 год». Пгр., 1922.

Т, Соч, 1860—1861 — Сочинения И. С. Тургенева. Исправленные и дополненные. М.: Изд. Н. А. Основского. 1861. Т. II, III.

Т, Соч, 1865 — Сочинения И. С. Тургенева (1844—1864). Карлсруэ: Изд. бр. Салаевых, 1865. Ч. II, III.

Т, Соч, 1868—1871 — Сочинения И. С. Тургенева (1844—1868). М.: Изд. бр. Салаевых, 1868. Ч. 2, 3.

Т, Соч, 1874 — Сочинения И. С. Тургенева (1844—1868). М.: Изд. бр. Салаевых, 1874. Ч. 2, 3.

Фет — Фет А. А. Мои воспоминания (1848—1889). М., 1890. Ч. I и II.

1858, Scènes, I — Scènes de la vie russe, par M. J. Tourguéneff. Nouvelles russes, traduites avec l'autorisation de l'auteur par M. X. Marmier. Paris, 1858.

1858, Scènes, II — Scènes de la vie russe, par M. J. Tourguéneff. Deuxième série, traduite avec la collaboration de l'auteur par Louis Viardot. Paris, 1858.

---

* Учитываются сокращения, вводимые в настоящем томе впервые.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1

В своей творческой практике Тургенев нередко объединял свои произведения по признаку жанрового или идейно-тематического единства, создавая своеобразные циклы. Так, в 1847 году на страницах «Современника» впервые появилось заглавие «Записки охотника», относившееся и к уже написанным и к только еще задуманным рассказам и очеркам о жизни русского народа; в 1869 г. Тургенев соединил все свои драматические сочинения в одном томе, озаглавив его: «Сцены и комедии»; в 1879 г. он решил выделить в новом собрании своих сочинений все шесть романов, напечатав их в хронологической последовательности, обособленно от других произведений. В специально написанном для этой цели предисловии к романам он рассматривал их как некое целостное единство, определяемое постоянством выраженного в них направления. И только свои повести и рассказы Тургенев никогда не объединял в цикл, который охватывал бы полностью или частично произведения, относящиеся к этим жанрам.

Таким образом, выражение «Ранние повести и рассказы Тургенева», которое будет использовано нами ниже при рассмотрении материала настоящего тома, казалось бы, не может иметь никакого другого смысла, кроме хронологического. Но в действительности оно обозначает понятие не только хронологическое, но и историко-литературное [1].

Поэтическое творчество Тургенева к середине 1840-х годов стало постепенно затухать: из напечатанных им в это время стихотворений 1843-м годом датировано пятнадцать, 1844-м — шесть, 1845-м — только два, притом оба они являются переводами; после января 1847 г., когда был напечатан его стихотворный цикл «Деревня», Тургенев вообще перестает выступать в печати как поэт. Тяготение к прозе раньше всего проявилось у Тургенева в драматургии — все его пьесы, созданные в 1842—1852 гг., написаны прозой. Но с 1844 г., когда был опубликован «Андрей Колосов», этот первый опыт Тургенева в области повествовательной прозы, писатель на протяжении почти десятилетия сосредоточил свою творческую энергию по преимуществу в сфере двух жанров — повести и рассказа или очерка.

---

[1] Строго говоря, это понятие должно охватывать все повести и рассказы Тургенева, предшествующие его первому роману «Рудин». Однако в связи с тем, что повести «Переписка» и «Яков Пасынков» входят в следующий том, в настоящей статье они не рассматриваются.

Первый свой роман «Два поколения» он начал писать в конце 1852 г.

Ранние повести и рассказы знаменуют собой в творчестве Тургенева значительный этап, связанный с трудными исканиями своего собственного пути в литературе, с подготовкой к самостоятельному решению новых и сложных идейно-художественных задач, выдвинутых перед литературой всем ходом общественно-исторического развития России, а также с процессом возмужания таланта писателя, с поисками своего художественного стиля. Вместе с тем ранние повести и рассказы Тургенева — это одна из наиболее интересных и значительных глав в общей истории развития русской литературы от середины 1840-х до середины 1850-х годов.

2

Сам Тургенев достаточно отчетливо представлял себе общий смысл тех событий, которые совершались в русской литературе в пору его обращения к прозе. В «Литературных и житейских воспоминаниях», в главе о Белинском, Тургенев приводит отрывок из своих лекций о Пушкине, читанных им в 1859 г. Он характеризует в этом отрывке 1830-е годы как время вторжения «в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать *ложновеличавой* школой» — школой, к которой он причисляет Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова и др. Но, по его словам, это вторжение «продолжалось недолго»: «Всё это гремело, кичилось, всё это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа,— а час падения приближался ⟨. . .⟩ В сфере художества заговорил Гоголь, за ним Лермонтов; в сфере критики, мысли — Белинский ⟨. . .⟩ Под совокупными усилиями этих трех, едва ли знакомых друг другу, деятелей рухнула не только та литературная школа, которую мы назвали ложновеличавою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины». И далее, отметив, что «в то же время умалилось и поблекло влияние самого Пушкина», Тургенев говорит: «Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложновеличавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры» (наст. изд., Сочинения, т. 11).

Общая картина, нарисованная здесь Тургеневым, полностью соответствовала исторической истине: имя Гоголя действительно стояло во главе нового литературного движения, возникшего в середине 1830-х годов. В 1835 г. вышли в свет сборники Гоголя «Миргород» и «Арабески», в 1836 г. появился на сцене и в печати «Ревизор» — с этого времени и началось сильное влияние Гоголя на русскую литературу. Через десять лет Белинский писал об этом знаменательном моменте: «Нет нужды распространяться о том, какое огромное влияние имели эти произведения Гоголя на русскую литературу: только действительно слепые или притворяющиеся слепыми могут не видеть и не признавать этого влияния, вследствие которого все молодые писатели пошли по пути, указанному Гоголем, стараясь изображать *действительное*, а не в воображении существующее общество; из прежних писателей некоторые пере-

менили свое прежнее направление, подчиняясь новому, данному Гоголем; а те, которые не были в состоянии этого сделать, или перестали вовсе писать или продолжали писать без всякого успеха. Это совершилось в последние десять лет. Гоголь не издавал ничего после „Ревизора“ до 1842 года, а дело шло своим чередом, и время лучше всех критиков решило вопрос. „Мертвые души“, заслонивши собою всё написанное до них даже самим Гоголем, окончательно решили литературный вопрос нашей эпохи, упрочив торжество новой школы» (*Белинский*, т. 9, с. 9—10).

Огромную роль в создании и укреплении этой школы, которая в 1846 г. получила наименование «натуральной», сыграл Белинский, ставший ее теоретиком, вождем и организатором, возглавивший группу молодых писателей, объединившихся сначала вокруг «Отечественных записок», а затем вокруг «Современника» и образовавших основное ядро натуральной школы. Идейной основой, способствовавшей быстрому и успешному развитию этой школы, явилась разработанная Белинским новая, реалистическая эстетика, которая в 1842 г., после выхода в свет первого тома «Мертвых душ», приобрела особенную полноту и законченность. Белинский требовал от искусства неразрывной связи с действительностью, верного и правдивого ее воспроизведения в живых типических образах. Подвергая суровой и беспощадной критике теорию «чистого искусства», он утверждал, что подлинное искусство должно быть искусством общественным, проникнутым передовыми освободительными идеями своего времени. Признав ошибочность своего недавнего утверждения «объективности» как высшего достоинства художника, Белинский выдвигает теперь в качестве важнейшего элемента своей новой эстетической системы понятие «гуманной субъективности». В понимании Белинского выражение «субъективный поэт» становится равнозначным формуле «социальный поэт», а вся литература становится в его толковании «верным зеркалом общества и не только верным отголоском общественного мнения, но и его ревизором и контролером» (там же, т. 8, с. 87).

Утверждая право литератора на воспроизведение всей действительности, всего многообразия реальной жизни, Белинский вместе с тем выдвигал перед писателями натуральной школы главную задачу — изображение жизни демократических слоев общества, прежде всего крепостного крестьянства и городской бедноты, защиту их человеческих прав, борьбу за освобождение народа. Натуральная школа явилась новой ступенью в развитии русской реалистической литературы. Учась у Гоголя, она пошла значительно дальше его. В произведениях лучших писателей натуральной школы звучал голос русского народа, заявлявшего о своих попранных правах, о своей готовности бороться за лучшее будущее. Вся деятельность натуральной школы была отражением нового этапа освободительного движения в России, который начался в сороковых годах как предвестие волны революционно-демократического подъема шестидесятых годов.

Литературная деятельность Тургенева в сороковых годах развивалась под определяющим влиянием Белинского и его

идей. В феврале 1843 г. Тургенев познакомился с Белинским, и они очень быстро сблизились. С этих пор на молодого писателя воздействовали не только журнальные статьи великого критика, но и частые дружеские беседы и споры с ним. Подобно другим молодым друзьям Белинского, Тургенев был сразу же покорен обаянием его личности, которую он характеризовал в своих воспоминаниях следующими словами: «Белинский был, что у нас редко, действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно» (наст. изд., Сочинения, т. 11).

Белинский, в свою очередь, высоко оценил Тургенева — он писал о своем новом знакомом В. П. Боткину 31 марта — 3 апреля 1843 г.: «Тургенев очень хороший человек, и я легко сближаюсь с ним. В нем есть злость и желчь, и юмор, он глубоко понимает Москву и так воспроизводит ее, что я пьянею от удовольствия». И в конце того же письма: «Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседы и споры с ним отводили мне душу ⟨. . .⟩ Вообще Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность» (*Белинский*, т. 12, с. 151 и 154).

Став одним из ближайших последователей и соратников Белинского, Тургенев начинает выступать в «Отечественных записках» с критическими статьями и рецензиями, в которых защищает идеи жизненной правды, народности, простоты и естественности в искусстве, решительно осуждая при этом произведения Н. Кукольника, С. Гедеонова и других деятелей эпигонского романтизма 1840-х годов [2].

В обзоре «Русская литература в 1842 году» Белинский писал: «...последний период русской литературы, период прозаический, резко отличается от романтического какою-то мужественною зрелостью ⟨. . .⟩ Сближение с жизнию, с действительностию, есть прямая причина мужественной зрелости последнего периода нашей литературы» (*Белинский*, т. 6, с. 526). Одно из значительнейших мест в этом новом периоде русской литературы заняли повести и рассказы Тургенева, к работе над которыми он обратился в 1844 г.

3

После сближения с Белинским Тургенев прочно связал свою литературную судьбу с натуральной школой. Свидетельством этого было выступление его в 1846 г. в качестве одного из основных участников «Петербургского сборника», появление которого убедительно демонстрировало творческую зрелость новой школы. Вместе с Некрасовым, Панаевым и другими

---

[2] О литературно-критической деятельности Тургенева см.: наст. изд., Сочинения, т. 1, с. 483—486, а также наст. том, с. 646—648.

близкими к Белинскому литераторами Тургенев становится с 1847 г. активным сотрудником и участником редакции обновленного «Современника», способствуя своими произведениями, напечатанными в этом журнале, окончательному торжеству натуральной школы. И после смерти Белинского, несмотря на гонения, которым в эпоху «цензурного террора» подверглась передовая русская литература и в первую очередь натуральная школа, Тургенев сохранил верность ее идеям, ее творческим принципам. Естественно, что эта близость к натуральной школе нашла глубокое и разнообразное выражение во всех произведениях, написанных им за эти годы: и в поэме «Помещик», и в «Записках охотника», и в драматических сочинениях, и в ранних повестях и рассказах.

Развивая и углубляя творческие начала, определившиеся уже в таких поэмах, как «Параша» и «Андрей», Тургенев в первых своих повестях сосредоточивает внимание на обыкновенных, простых людях, на типических характерах, полемически противопоставляя эту свою позицию основной установке романтиков на изображение преимущественно «исключительных» героев, обладающих титаническими страстями, возвышающихся над обычными, рядовыми людьми [3]. Эта полемичность определила выбор героя и всё содержание «Андрея Колосова». Из тех же соображений вырос и замысел «Бретёра» — развенчание мнимой значительности «демонического» героя, который на поверку оказывается глупым и озлобленным пошляком. Вместе с тем в обеих этих повестях автор утверждает необходимость простого и ясного отношения к людям, к жизни,— отношения, свободного от романтической выспренности и натянутости.

Как и в произведениях других писателей натуральной школы, у Тургенева в его ранних повестях и рассказах отчетливо выражено критическое отношение к действительности. Созданные им в «Бретёре» и в «Дневнике лишнего человека» картины дворянского и чиновничьего быта остро ироничны. Его антикрепостнические повести («Муму», «Постоялый двор») по своей обличительной силе стоят в одном ряду с лучшими рассказами «Записок охотника».

Гуманное отношение к людям обездоленным и порабощенным, характерное для демократического крыла натуральной школы, проявляется и у Тургенева. В повести «Петушков» художник (подобно Гоголю в «Шинели» или Достоевскому в «Бедных людях») на фоне картин пошлого быта рисует человека незаметного, даже ничтожного, с ограниченными умственными способностями и мелкими интересами. Но герой повести не просто комичен: своей жалкой участью, своим неподдельным горем он вызывает у читателей живое, сердечное сочувствие к себе. С еще большей силой и решительностью в повестях «Муму» и «Постоялый двор» звучит идея защиты человека, ставшего жертвой помещичьего произвола и беззакония.

---

[3] Тема развенчания романтического героя в поэмах Тургенева и в первых его повестях и рассказах освещена в книге Г. А. Бялого «Тургенев и русский реализм» (М.; Л., 1962, с. 6—15).

Наряду с проблемой освобождения народа от гнета крепостничества, важное место в творчестве писателей натуральной школы заняла поставленная до них Пушкиным, Грибоедовым и Лермонтовым проблема человеческой личности, ее столкновения с окружающим обществом. Раздумья о судьбах людей, оказывающихся «лишними», об их месте в жизни, об их роли в развитии русского общества, признание их неспособности стать теми сильными, мужественными деятелями, которые нужны России, и вместе с тем понимание их жизненной драмы, драмы людей, наделенных умом и сердцем, но обреченных на бесплодное существование в грубой и пошлой среде, их окружающей,— ко всем этим вопросам на долгие годы было приковано внимание многих русских писателей, и в первую очередь Тургенева. От «Гамлета Щигровского уезда», написанного в 1848 г., к «Дневнику лишнего человека», опубликованному в 1850 г., и далее к повестям середины 1850-х годов — «Два приятеля», «Затишье» — и к роману «Рудин» — такова эта важнейшая для Тургенева линия развития его творчества.

Среди ранних повестей и рассказов Тургенева есть два произведения, которые в меньшей мере характерны для реализма натуральной школы. Черты романтического стиля присущи рассказам «Жид» и, особенно, «Три встречи». Последний весь построен на романтических мотивах загадочной любви таинственной женщины к странному незнакомцу, неожиданных встреч рассказчика с его героями, непонятного самоубийства Лукьяныча и т. п. Однако в художественной ткани обоих рассказов явственно обнаруживается и реалистический элемент. В реалистическом плане даны здесь многие эпизодические персонажи (вахмистр Силявка и немец-генерал в «Жиде», глинский староста в «Трех встречах»), реалистичны бытовые описания и диалоги, не говоря уже о превосходно выписанных, проникнутых тонким лиризмом, картинах природы.

Белинский, постоянно указывая, что натуральная школа обязана своим существованием Гоголю, что она развивает прежде всего гоголевские традиции, вместе с тем неоднократно подчеркивал, особенно в своих последних статьях, что натуральная школа идет также от Пушкина и Лермонтова, а через них — от лучших писателей XVIII века, стремившихся к сближению литературы с жизнью. В «Ответе „Москвитянину"» Белинский писал: «Если натуральная школа вышла из Гоголя, из этого отнюдь не следует, чтобы она не была результатом всего прошедшего развития нашей литературы и ответом на современные потребности нашего общества, потому что сам Гоголь, ее основатель, был результатом всего прошедшего развития нашей литературы и ответом на современные потребности нашего общества» (*Белинский*, т. 10, с. 243). В той же статье Белинский называет рядом имена Пушкина и Гоголя как писателей, давших «новые образцы», нужные «для обращения русской литературы на дорогу самобытности» (там же, с. 242), а в восьмой статье пушкинского цикла устанавливает преемственную связь между Гоголем, с одной стороны, и Грибоедовым, Пушкиным, Лермонтовым — с другой. «Без „Онегина" был бы невозможен „Герой нашего времени", так же как без „Онегина" и „Горя от ума" Гоголь не почувствовал бы себя готовым на

изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины» (там же, т. 7, с. 442).

В ранних повестях и рассказах Тургенева связь с традициями Пушкина, Лермонтова, Гоголя проступает с полной ясностью и очевидностью. Во многих из них упоминаются и произведения Пушкина, звучат его стихи, в которых герои Тургенева находят верное и глубокое выражение собственных своих чувств и помыслов. Так, в пору расцвета любви Андрея Колосова и Вари он читает ей «*из* Пушкина», а покидая Варю, напоминает ей «один пушкинский стих» («Что было, то не будет вновь»). В «Дневнике лишнего человека» решительный перелом, совершившийся в душе Лизы во время прогулки, произошел под влиянием поэмы Пушкина: «Накануне мы вместе прочли „Кавказского пленника“. С какой жадностью она меня слушала, опершись лицом на обе руки и прислонясь грудью к столу». Реминисценции из Пушкина звучат во вступлении к «Трем портретам» («Он был рожден „для жизни мирной, для деревенской тишины“», «по строгим правилам искусства»), в «Дневнике лишнего человека» («О люди!.. точно жалкий род!..», «И пусть у гробового входа...»), в «Трех встречах» (звуки «однообразного и безумного» вальса во время последней встречи с незнакомкой на маскараде). Наряду с этим встречаются реминисценции из Лермонтова (в «Трех портретах», «Жиде», «Дневнике лишнего человека» — см. наст. том, с. 96, 108, 184) и из Гоголя (в «Андрее Колосове», «Дневнике лишнего человека» — см. наст. том, с. 31, 204). Как правильно отмечает М. П. Алексеев, имея в виду не только раннее, но и позднейшее творчество Тургенева, многие его повести «прямо живут напоминанием о великих творениях русского искусства, вырастают из них, в них почерпают источник своей творческой силы». И дальше: «...многие произведения Тургенева восходят к созданиям русской поэзии не только конструктивно или тематически,— в их повествовательную ткань вплетены стихотворные строфы, литературные воспоминания, критические наблюдения» (Алексеев М. П. И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе.— В кн.: Институт литературы (Пушкинский Дом). Труды отдела новой русской литературы. М.; Л., 1948. Т. I, с. 40—41).

Влияние пушкинских женских образов ясно чувствуется в характерах Маши («Бретёр») и Лизы («Дневник лишнего человека») — этих простых, чуждых чопорности и жеманства русских девушек, способных на глубокое чувство, на сильные душевные движения. Лермонтовым, несомненно, навеяны (как это отметила уже современная Тургеневу критика) образы Авдея Лучкова в «Бретёре» и Василия Лучинова в «Трех портретах». Однако сильнее всего в ранних повестях и рассказах Тургенева, в их художественном стиле и языке, проявилось воздействие Гоголя, одним «из самых малых учеников» которого Тургенев назвал себя в письме к М. П. Погодину от 4(16) декабря 1851 г.

Печатью гоголевской манеры отмечены нередкие у Тургенева бытовые описания, в которых особо выделяются «низкие», «грязные» подробности,— таковы описание дома, в котором живет Колосов, или описание города О. в «Дневнике лишнего

человека». В традициях гоголевского юмора, а вместе с тем и в пушкинских традициях, выдержаны у Тургенева характеристики чиновников и помещиков («Дневник лишнего человека», «Два приятеля», «Затишье». См. также колоритную фигуру майора из так называемых бурбонов в «Петушкове»). Тургенев использует гоголевский прием иронического сопоставления человека с вещью или с животным — таково описание длиннолицей барышни с красным глянцевитым носом и «жилистой шеей, *напоминавшей ручку контрабаса*» («Дневник лишнего человека»), или замечание о Петушкове, который, боясь намеков и насмешек своих товарищей, «принимал *отчаянно суровый и сосредоточенно запуганный вид зайца, который барабанит посреди фейерверка*».

Характерное для Тургенева использование комических фамилий и прозвищ также идет от Гоголя. Таковы, например, недоучившийся студент *Пузырицын* («Андрей Колосов»), старый буфетчик «по прозвищу *дядя Хвост*» («Муму»), дядька Василий по прозвищу *Гусыня* («Дневник лишнего человека»), проезжий грек *Пандопипбпуло* или отставной секунд-майор *Бурундюков* (там же).

В качестве одного из приемов характеристики персонажей Тургенев, вслед за Гоголем, часто воспроизводит особенности их речевой манеры, приметы социально-групповых, профессиональных или областных диалектов. Таковы особо оговоренные автором словечки и выражения студенческого жаргона 1830-х годов в «Андрее Колосове», охотничья терминология во вступлении к «Трем портретам», военные термины в речи рассказчика-офицера («Жид») или же специфически «петербургские» словечки в речи слуги Онисима («Петушков»). К этим примерам примыкают случаи воспроизведения фонетических и лексико-синтаксических особенностей речи, связанных с национальной характеристикой персонажа: польско-еврейский жаргон Гиршеля («Жид»), превращение кобылы Прозерпины в «Прожерпылу» в устах украинца Силявки (там же), потуги немца-генерала на строго правильную русскую речь, даже с оттенком народной фразеологии (там же), комическое искажение русской речи немцем-аптекарем в «Дневнике лишнего человека». Однако наличие традиций, идущих от Пушкина, Лермонтова и Гоголя, не заслоняет от читателя повестей и рассказов, в особенности таких, как «Муму», «Постоялый двор», «Два приятеля» и «Затишье», того неопровержимого факта, что Тургенев уже в эти годы опирался в своем творчестве прежде всего на окружающую его действительность (см. об этом подробнее: Громов В. А. И. С. Тургенев и русская действительность 40—50-х годов.— И. С. Тургенев (1818—1883—1958). Статьи и материалы. Под ред. акад. М. П. Алексеева. Орел, 1960, с. 9—31).

1(13) ноября 1856 г. Тургенев извещал С. Т. Аксакова, что ему будет доставлен экземпляр только что вышедших «Повестей и рассказов», и при этом так характеризовал представленные в этом издании свои произведения: «В них, я это знаю, слишком много слабого, недоделанного — недоделанного отчасти от лени, а отчасти — что греха таить! — от бессилия: но Вы пропускайте или дополняйте мысленно плохое — и взгляните снисходительно на остальное. Я один из писателей междуцарствия — эпохи между Гоголем и будущим главою; мы все разрабатывали в ширину и вразбивку то, что великий талант сжал бы в одно крепкое целое, добытое им из глубины; что же делать! Так нас и судите».

При всей суровости этой авторской самооценки в ней всё же заключалась известная доля истины. Действительно, в первых повестях Тургенева сказывалась недостаточная творческая зрелость писателя, еще не достигшего в ту пору полной художественной самостоятельности, еще не выработавшего свой собственный стиль. Так, поставленная в «Андрее Колосове» задача создания нового в русской литературе героя — студента-разночинца с трезвым и разумным взглядом на жизнь, чуждого романтическому идеальничанью,— не получила полного, художественно убедительного выражения. В стилистике этой повести, особенно в журнальном ее тексте, было еще немало следов риторики, характерной для романтической школы 1880-х годов. В «Андрее Колосове», как и в «Трех портретах», Тургенев склонен был еще пользоваться характерными для романтической манеры экспрессивными эпитетами («*невыразимая* красота», «*ужаснейшие* заклинания», «*пламенно* обнял» и т. п.).

В построении сюжетов своих первых повестей Тургенев иногда допускал просчеты в хронологическом соотнесении между собой отдельных эпизодов (см. об этом в примечаниях к «Андрею Колосову» и «Трем портретам»). В «Бретёре» связь содержания повести с первоначальным указанием времени действия (1819 г.) была недостаточно мотивирована, что и сделало возможным позднейшее перенесение времени действия на десять лет вперед (см. об этом на с. 566). Характерный для зрелого творчества Тургенева прием введения конкретных примет, позволяющих прикреплять действие к определенному историческому моменту, применялся им и в ранних повестях, однако не всегда точно и убедительно (например, в «Петушкове», действие которого отнесено к 1820-м годам, в перечне книг, принадлежавших герою, упомянуты «несколько разрозненных томов „Библиотеки для чтения“», основанной в 1834 г., и первые части романа Загоскина «Рославлев», вышедшего в свет в 1831 г.). Однако с каждым новым произведением подобных мелких промахов и ошибок становится у Тургенева всё меньше.

К началу 1850-х годов его талант достигает уже значительной зрелости и самостоятельности. Пристальное наблюдение и изучение русской действительности, уменье проникать в сущность явлений жизни способствовали быстрому росту реалистического мастерства писателя. В повестях «Дневник лишнего человека», «Муму», «Постоялый двор», «Два приятеля»,

«Затишье» он сосредоточил свое внимание на коренных, наиболее актуальных проблемах современного русского общества. Раскрытая им с огромной психологической глубиной драма «лишнего человека» отражала раздумья всех передовых деятелей эпохи о судьбах дворянской интеллигенции в пору резкого углубления кризиса всей феодально-крепостнической системы. Анализ бесчеловечной сущности крепостничества, благородный протест против беззакония и произвола, смелая защита интересов порабощенного народа во имя высоких идей гуманности и справедливости в повестях «Муму» и «Постоялый двор» — всё это решительно способствовало в глазах общества повышению авторитета Тургенева как крупного писателя, убежденного противника рабства, горячего пропагандиста идей освобождения народа от крепостной зависимости.

Повести Тургенева, написанные в начале 1850-х годов, уже обнаруживали в писателе способность живо откликаться на самые острые, самые волнующие вопросы русской общественной жизни, что Добролюбов несколькими годами позднее отметил как главное отличительное свойство таланта Тургенева. В этих же повестях он в совершенстве овладел высоким искусством создания типического характера человека с конкретными чертами его внешнего облика и поведения, его образа мыслей, его душевного склада, его социально-бытовой принадлежности. Не только главные, но и многие эпизодические персонажи этих повестей приобрели социальную и психологическую убедительность, свойственную подлинным произведениям искусства. Высокого совершенства достигло здесь мастерство передачи тонких, едва уловимых движений человеческой души, что составляет одну из самых примечательных черт Тургенева как художника. О зрелости таланта писателя свидетельствовали и проникнутые язвительной иронией или, в других случаях, мягким юмором зарисовки быта и нравов провинциального дворянства и реалистически точное, полное глубокого лиризма, вдохновенное изображение русской природы. Достаточно напомнить для примера великолепную картину солнечного заката в «Дневнике лишнего человека» или полное сдержанной страсти описание летней ночи в «Трех встречах».

Одним из самых наглядных и убедительных доказательств роста мастерства писателя и его требовательности к себе может служить та художественная правка, которой он подверг текст ранних своих повестей во время подготовки их для трехтомного сборника «Повестей и рассказов» 1856 года. Не ограничиваясь восстановлением мест, пострадавших в свое время от вмешательства цензуры (особенно в «Петушкове», «Дневнике лишнего человека» и «Постоялом дворе»), Тургенев вносил и многочисленные исправления художественного порядка, которые служат яркой иллюстрацией того, как совершенствовался стиль писателя, с какой настойчивостью и требовательностью проверял он каждый эпизод, каждую деталь, в одних случаях устраняя длинноты, а в других — добиваясь полного развития мотивов, затронутых ранее лишь в виде слабого намека, как он достигал верного отбора художественных деталей, простоты и естественности диалога, чистоты, точности и мелодичности языка своих произведений. Наиболее значительной была художественная

правка повестей «Андрей Колосов», «Бретёр», «Дневник лишнего человека», меньшей — повести «Затишье» (см. об этом в примечаниях к каждой повести).

5

Ранние рассказы и повести Тургенева, как правило, привлекали мало внимания критики 1840-х — начала 1850-х годов. В большинстве случаев они либо оставались совсем незамеченными, либо встречали весьма краткие отзывы в журнальных статьях и обзорах (ниже, в примечаниях к отдельным произведениям все эти немногочисленные отзывы критики указаны). В 1846—1847 гг. новые повести Тургенева при своем появлении бывали оттеснены на второй план более значительными произведениями других писателей или другими произведениями самого Тургенева. Так было с выходом «Петербургского сборника», при обсуждении которого на первый план оказались выдвинутыми «Бедные люди» Достоевского, программная статья Белинского «Мысли и заметки о русской литературе» и, отчасти, «Помещик» Тургенева. Так было и в начале 1847 г., когда главными событиями в литературе явились напечатанные в «Современнике» роман Герцена «Кто виноват?» и первые рассказы из «Записок охотника», а «Бретёр», появившийся в «Отечественных записках», которые уже в значительной мере утратили свою прежнюю репутацию, почти не был замечен критикой.

После 1848 г., в связи с наступлением периода цензурно-полицейского террора («мрачное семилетие»), критические статьи о современных явлениях литературы почти перестают печататься в журналах, особенно в «Современнике» и в «Отечественных записках». К тому же среди критиков передового лагеря, принадлежавших еще недавно к кругу Белинского, начинается разброд. Репрессии, которым в 1852 г. был подвергнут Тургенев и его «Записки охотника», в еще большей мере способствовали тому, что новые произведения опального писателя не находили серьезного разбора со стороны критики. Такое положение сохранялось в общем до середины 1850-х годов.

Изменившаяся после Крымской войны и смерти Николая I политическая и общественно-литературная обстановка в России вызвала заметное оживление в литературе и журналистике и создала предпосылки для сравнительно широкого обсуждения творчества крупнейших писателей того времени, в том числе и Тургенева.

Потребность рассмотреть весь творческий путь писателя и определить его место в литературе возникла в связи с выходом в ноябре 1856 г. его «Повестей и рассказов», явившихся в сущности первым собранием сочинений Тургенева, в котором (за исключением стихотворений и поэм, а также опальных «Записок охотника») было представлено творчество писателя более чем за десятилетний промежуток времени. Хотя это издание включало и произведения 1853—1856 гг., в том числе самые последние — «Рудин» и «Фауст»,— всё же главное место в нем занимали повести и рассказы, которые в данный момент занимают наше внимание. Естественно, что авторы критических статей об этом издании в своих обобщающих оценках писателя и в

определении особенностей его таланта опирались во многом на его ранние повести и рассказы.

Первый отклик на книгу Тургенева появился в декабрьском номере «Современника» 1856 г. в виде краткой анонимной рецензии, автором которой исследователи с большой долей вероятности считают Чернышевского. Извещая читателей о выходе сборника, в котором «собраны все повести и рассказы г. Тургенева, за исключением его „Записок охотника“», автор писал далее: «В первых книгах следующего года мы надеемся поместить разбор этих повестей и рассказов, в которых столько ума, тонкой наблюдательности и поэзии...» (*Чернышевский*, т. 16, с. 656). В письме к Некрасову от 5 ноября 1856 г. Чернышевский также сообщал о своем намерении в следующем году написать статью о повестях Тургенева (там же, т. 14, с. 326). Однако это обещание не было выполнено — в «Современнике» 1857 г. мы не находим ни одной статьи о «Повестях и рассказах» Тургенева. Но по разбросанным в письмах Чернышевского 1856—1857 гг. упоминаниям о Тургеневе мы можем с достаточной уверенностью судить о том, как он мог бы оценить творчество писателя, если бы обещанная статья была им написана. Мы знаем, что Чернышевский в эту пору видел в Тургеневе верного ученика Белинского, он отводил ему в современной литературе первое место, впереди Островского и Льва Толстого (там же, т. 14, с. 320, 327—328, 330—334, 344—345). Лучшими произведениями Тургенева Чернышевский называет в своих письмах, наряду с «Записками охотника» и «Рудиным», повести «Муму» и «Постоялый двор».

Выход в свет «Повестей и рассказов» Тургенева совпал по времени с разгоревшейся в ноябре — декабре 1856 г. журнальной полемикой по вопросу о наследии Белинского и о судьбах гоголевского направления в литературе. Против печатавшихся в «Современнике» «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевского резко выступил Дружинин, который отвергал традиции Белинского как ложные и устаревшие и противопоставлял им свою «артистическую» теорию, основанную на отрицании общественного назначения литературы и искусства. Мнение Дружинина, высказанное им в «Библиотеке для чтения», поддержали многие другие органы печати — от либеральных «Отечественных записок» до архиреакционной «Северной пчелы». Своеобразие литературной судьбы издания «Повестей и рассказов» Тургенева состояло в том, что появившиеся в печати наиболее обстоятельные отзывы о нем принадлежали критикам либерального или реакционного лагеря.

«Отечественные записки» поместили большую статью С. С. Дудышкина «„Повести и рассказы“ И. С. Тургенева» (1857, № 1 и 4). Необычайно многословная, лишенная ясности мысли и стройного плана изложения, эта статья была справедливо воспринята многими современниками как недобросовестная и явно пристрастная (см., например, критический отзыв о ней Панаева в письме к Тургеневу от 16(28) марта 1857 г.— *Т и круг Совр*, с. 85). В общей части своей статьи Дудышкин пренебрежительно отзывался о литературных мнениях, высказывавшихся в 1841—1845 гг. в «Отечественных записках» (т. е. о статьях Белинского), хотя дальше, в оценке «лишних людей», к которым

он причислял почти всех героев Тургенева, он пытался развивать мысли того же Белинского, в действительности искажая и опошляя их. Находя, что все повести Тургенева принадлежат к «лермонтовской школе», Дудышкин упрекал писателя в том, что он идеализирует своих героев, внутренне враждебных окружающему их обществу. В противоположность этому критик развивает свою мысль о необходимости «примирять идеал с обстановкой», «трудиться» и т. п. Дудышкин недвусмысленно отказывался видеть в Тургеневе «художника по натуре», считая «художественную отделку» повестей самой слабой стороной его таланта, и в конце статьи намекал на то, что писатель поступил бы правильнее, если бы занялся вместо литературы журнально-критической деятельностью [4].

Появившаяся почти в то же время статья о Тургеневе Дружинина (*Б-ка Чт*, 1857, № 2, 3 и 5) была написана с бо́льшим блеском и талантом, но по своим исходным позициям во многом совпадала со статьей Дудышкина. В основе ее также лежало стремление объявить устаревшими и ошибочными взгляды Белинского на литературу и оценки, данные им когда-то Тургеневу. Вообще Дружинин считает «пустыми и ложными» все предшествующие ему суждения о Тургеневе как о писателе гоголевского направления: «В писателе с незлобной и детской душою ценители видят сурового карателя общественных заблуждений. В поэтическом наблюдателе зрится им социальный мудрец, простирающий свои объятия к человечеству. Они видят художника-реалиста в пленительнейшем идеалисте и мечтателе, какой когда-либо являлся между нами. Они приветствуют творца объективных созданий в существе, исполненном лиризма и порывистой, неровной субъективности в творчестве. Им грезится продолжатель Гоголя в человеке, воспитанном на пушкинской поэзии и слишком поэтическом для того, чтоб серьезно взяться за роль чьего-либо продолжателя» (*Дружинин*, т. 7, с. 288). Таким истолкованием творчества Тургенева Дружинин, видимо, рассчитывал укрепить, опираясь на авторитет писателя, свои собственные эстетические позиции и одновременно привлечь его в лагерь своих единомышленников. Сходные мысли Дружинин развивал и раньше: в письме к Боткину от 19 августа 1855 г. он упрекал Тургенева за то, что тот «не повинуется» своему «истинному призванию» и «желает, во что бы то ни стало, быть обличителем общественных ран и карателем общественных пороков» (Письма к А. В. Дружинину (1850—1863). М., 1948, с. 41).

Оценки отдельных произведений Тургенева, данные Дружининым, полностью вытекают из этих общих его положений.

[4] Тургенев иронически откликнулся на этот совет Дудышкина в письме к Е. Я. Колбасину от 26 января (7 февраля) 1857 г. Подробный критический разбор статьи Дудышкина (ее первой части) дал Чернышевский в «Заметках о журналах», помещенных в февральской книжке «Современника» 1857 г. (*Чернышевский*, т. 4, с. 696—701). Анализ высказываний Дудышкина о Тургеневе и общая оценка его деятельности даны Б. Ф. Егоровым в статье «С. С. Дудышкин — критик» (Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та. Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1962. Т. 5, с. 195—221).

Обвиняя Тургенева в том, что «он принес много жертв своему времени» и нередко «подчинял свою поэзию идеям и законам, не для нее составленным», Дружинин решительно осуждает «Петушкова» и снисходительно признает за «Муму» и «Постоялым двором» «интерес умного анекдота, не более»; этим произведениям он противопоставляет «Двух приятелей», «Затишье», «Переписку», «Фауста» — повести, в которых, по его словам, «поток поэзии прорывается со всею силою» (*Дружинин*, т. 7, с. 319—320).

В письме к Анненкову от 4(16) марта 1857 г. Тургенев назвал статью Дружинина «чрезвычайно умною и дельною»; в письме к самому Дружинину от 3(15) марта он признавал ее «превосходной», а содержащуюся в ней критику своих произведений «драгоценно полезною». Но не приходится сомневаться, что обе статьи — и Дудышкина и Дружинина — должны были подействовать на Тургенева угнетающе. Вероятно, они в какой-то степени способствовали обострению того творческого кризиса, который привел Тургенева в феврале 1857 г. к решению окончательно прекратить литературную деятельность и уничтожить все свои творческие планы и наброски (см. об этом в письме к Боткину от 17 февраля (1 марта) 1857 г.).

Еще более неблагоприятное мнение о Тургеневе и его книге было высказано в «Северной пчеле» давним противником Белинского и натуральной школы Кс. Полевым в статье: «Русская литература. Повести и рассказы И. С. Тургенева» (*Сев Пчела*, 1857, № 109, 21 мая). Полевой сожалеет, что в «рассказах» Тургенева (он отказывает им в праве называться «повестями») «нет ни одного типического лица, ни одного могучего характера, которые создает творческая сила поэтов», что писатель «боится вымысла не только в изображении лиц, характеров, но и в развитии событий, действий, завязки». Повторяя обвинения, которые «Северная пчела» еще в 1840-е годы предъявляла писателям натуральной школы, и имея в виду главным образом «Бретёра» и «Петушкова», Полевой упрекает Тургенева в том, что он списывает лишь картины пошлого быта и рисует портреты пошлых людей «среднего сословия, плохо образованных или вовсе не образованных». «Это было хорошо у Гоголя, потому что у нас он первый начал списывать с натуры портреты, характеристики, описывать пошлый быт, и надобно вспомнить, что в этом роде описаний он неподражаем; но теперь этот род портретистики до такой степени исчерпан, унижен, огажен бездарнейшими подражаниями, что человеку с дарованием надобно остерегаться сближений с теми писателями, которые пишут потому только, что набили руку, приобрели навык писать в этом роде».

Таким образом, ни один из критиков, писавших о «Повестях и рассказах» Тургенева, не сумел верно и беспристрастно определить сущность таланта писателя, понять направление, в котором развивалось его творчество, дать глубокий идейный и художественный анализ созданных им произведений. Ложные предпосылки, предвзятые мнения, субъективные оценки не позволили этим критикам сказать новое и веское слово об авторе «Дневника лишнего человека», «Муму», «Постоялого двора», «Затишья», «Рудина». В этом смысле особое место среди крити-

ков, писавших о Тургеневе, должно быть отведено Анненкову, тонкое художественное чутье которого так ценил Тургенев. Еще до выхода в свет «Повестей и рассказов», на основании последних произведений писателя, появлявшихся в журналах начала 1850-х годов, Анненков сумел уловить существенные изменения в художественном методе писателя (правда, в этом ему помогли признания самого Тургенева в его письмах той поры).

В статье «О мысли в произведениях изящной словесности (Заметки по поводу последних произведений г. Тургенева и Л. Н. Т.)», напечатанной в «Современнике» (1855, № 1), Анненков писал о Тургеневе: «С изменением взгляда на значение, достоинство и сущность повествования должна была измениться у автора, разумеется, и манера изложения. 〈. . .〉 Мы видим, как расширяется у него понимание искусства и какую строгую задачу имеет он перед глазами. Разрешение ее еще впереди, но первые основания для разрешения ее находятся теперь налицо. Уже ровнее и постепеннее начинают ложиться подробности, не скопляясь в одну массу и не разражаясь вдруг перед вами наподобие шумного и блестящего фейерверка. Вместе с тем, и характеры начинают развиваться последовательнее, выясняясь всё более и более с течением времени, как это и бывает в жизни, а не вставая с первого раза совсем цельные и обделанные, как статуя, с которой сдернули покрывало. Сущность самих характеров делается уже не так очевидна: вместо резких фигур, требующих остроумия и наблюдательности, являются сложные, несколько запутанные физиономии, требующие уже мысли и творчества. Юмор старается, по возможности, избежать передразнивания и гримасы 〈. . .〉. Наконец, и поэтический элемент уже не собирается в одни известные точки и не бьет оттуда ярким огнем, как с острия электрического аппарата, а более ровно разлит по всему произведению и способен принять множество оттенков. Таковы данные, заключающиеся в новых рассказах г. Тургенева, и хотя полное развитие их еще впереди, но они уже принесли существенный плод» (отд. III, с. 10—11). В этих еще недостаточно использованных в тургеневедении наблюдениях и выводах в сущности намечены основные вехи, которыми может быть обозначен путь Тургенева от «старой манеры» к «новой» [5].

[5] Этой теме посвящена работа К. К. Истомина «„Старая манера“ Тургенева (1834—1855). Опыт психологии творчества» (Изв. ОРЯС Академии наук, СПб., 1913, кн. 2, с. 294—347, и кн. 3, с. 120—194). Эклектическое по методологии, это исследование до сих пор сохраняет известный интерес представленными здесь наблюдениями над стилистикой раннего творчества Тургенева. См. также: Гитлиц Е. А. К вопросу о формировании «новой манеры» Тургенева (анализ повестей 50-х годов).— Изв. ОЛЯ АН СССР, 1968, т. XXVII, вып. 6, с. 489—501; Клочихина М. М. Переход И. С. Тургенева к «новой манере» в свете литературной борьбы начала 50-х годов.— Вопросы развития жанров в русской литературе и устном народном творчестве. 1970, с. 63—79 (Уч. зап. Калинин. гос. пед. ин-та им. М. И. Калинина, т. 77).

С некоторым запозданием откликнулся на книгу Тургенева еженедельный журнал «Сын отечества», издававшийся с 1856 г. А. В. Старчевским. С августа по декабрь 1857 г. здесь печаталась большая анонимная статья «И. С. Тургенев. (По поводу собрания его повестей)» [6]. Хотя имя Дружинина в статье не названо, вся она нацелена против «артистического направления», требующего «совершенного разрыва поэзии с общественными вопросами». Автор утверждает, что «нельзя ⟨. . .⟩ вообразить поэта, живущего вне общества, вне страстей, верований и убеждений», и, переходя к главному предмету статьи, указывает, что «важная заслуга внутреннего анализа современного общества принадлежит у нас, вместе с Пушкиным и Гоголем, в особенности г. Тургеневу». В произведениях Тургенева автор находит, наряду с «осмеянием общественного зла», «зародыши положительных идеалов» и обращает внимание на свойственные его таланту гуманность, лиризм и поэтичность: «Какое мастерское, свободное решение иногда труднейших психологических вопросов, какая художническая смелость и разнообразие в описаниях природы...» Подробный разбор произведений, вошедших в «Повести и рассказы», в статье отсутствует — она обрывается на анализе «Записок охотника».

Важнейшим этапом в истории критических суждений о Тургеневе явилась, как известно, статья Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», но в ней некоторые из ранних повестей лишь упоминаются попутно, а в качестве основы для выводов привлекаются по преимуществу более поздние произведения писателя, главным образом его вышедшие к тому времени романы.

В дальнейшем ни в критических статьях, ни в историко-литературных исследованиях ранние повести и рассказы Тургенева не служили предметом обстоятельного рассмотрения. Каждый из авторов общих обзоров творчества писателя упоминал о тех или иных ранних его произведениях, но никто из них не уделил этому специального места и внимания. Это относится как к дореволюционным трудам (С. А. Венгерова, В. П. Буренина, А. И. Незеленова, И. И. Иванова, А. Е. Грузинского), так и к трудам советских авторов.

Однако в течение последнего десятилетия появился ряд работ, посвященных специально ранним повестям и рассказам Тургенева. Некоторые из них уже упоминались выше. Укажем еще на следующие статьи: Громов В. Очерк, рассказ, повесть у Тургенева (из наблюдений над черновыми автографами «Гамлета Щигровского уезда» и «Дневника лишнего человека»).— Второй межвузовский тургеневский сборник (Уч. зап. Курск. гос. пед. ин-та, т. 51), Орел, 1968, с. 151—159; Карташо-

---

[6] Сын отечества, 1857, № 34 (с. 824—825), 35 (с. 849—853) и 49 (с. 1207—1212). Обещанного в конце третьей главы продолжения статьи не последовало. Автором ее мы считаем Ап. Григорьева, хотя она и не отмечена в библиографии его статей, составленной Б. Ф. Егоровым (Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та. Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1960. Т. 3, с. 215—246).

в а И. В. Романтическое в повестях Тургенева 50-х годов («Три встречи»).— Вопросы романтизма, 1969. Вып. 5, с. 104—112 (Уч. зап. Казан. гос. ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина, т. 129, кн. 7); Петрова Л. М. О форме повествования в повестях Тургенева 1840-х годов.— Шестой межвузовский тургеневский сборник (Научные труды Курского гос. пед. ин-та, т. 59 (152)). Курск, 1976, с. 118—120, 123—135; Гитлиц Е. А. Традиции романтизма в лирической повести Тургенева. (Тургенев и П. Н. Кудрявцев).— Седьмой межвузовский тургеневский сборник (Научные труды Курского гос. пед. ин-та, т. 177). Курск. 1977, с. 3, 8—10, 20—24; Петрова Л. М. О романтических тенденциях в реалистической повести 1840-х годов. (Тургенев и его современники).— Там же, с. 25—42 и др.

Повести и рассказы 1844—1854 годов, за исключением повести «Затишье», печатаются в настоящем томе по тексту шестого тома собрания сочинений Тургенева 1880 года. В издании 1883 г. шестой том был подготовлен без участия Тургенева — по просьбе больного писателя корректуры этого тома (а также третьего и десятого) читал А. Ф. Отто-Онегин. Как показывает изучение текста шестого тома в издании 1883 г., в нем повторен текст предыдущего издания 1880 г., причем даже список опечаток, приложенный к этому изданию, не был учтен Онегиным. Повесть «Затишье», вошедшая в седьмой (авторизованный) том издания 1883 года, печатается по тексту этого издания. Источники основных текстов произведений, помещенных в разделе «Статьи и рецензии», указаны в примечаниях к каждому из них.

Настоящий том печатается на основе V, VI, XIII томов сочинений Полного собрания сочинений и писем И. С. Тургенева (М.; Л., 1963, 1967). Тексты рассказов и повестей: «Андрей Колосов», «Бретёр», «Три портрета», «Жид», «Петушков», «Дневник лишнего человека» и «Три встречи» были подготовлены *А. Н. Дубовиковым* и *Е. Н. Дунаевой*, а комментарии к этим произведениям составлены *А. Н. Дубовиковым* при участии *Е. Н. Дунаевой*; повести «Муму», «Постоялый двор» и «Два приятеля» подготовлены и прокомментированы *Л. Н. Назаровой*, повесть «Затишье» — *Е. И. Кийко*, «Степан Семенович Дубков и мои с ним разговоры» — *И. А. Битюговой*. Вступительная статья к примечаниям раздела «Повести и рассказы» написана *А. Н. Дубовиковым*.

Статью «Несколько слов об опере Мейербера „Пророк“» подготовил к печати и комментировал *А. М. Ступель*; статью «Несколько слов о новой комедии г. Островского „Бедная невеста“» — *Л. М. Лотман*. Тексты всех остальных статей и рецензий, помещенных в томе, подготовила и прокомментировала *Л. Н. Назарова*. Ею же написана вступительная статья к примечаниям раздела «Статьи и рецензии».

Редакторы тома — *А. Н. Дубовиков* и *Л. Н. Назарова*.

АНДРЕЙ КОЛОСОВ

(с. 7)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Отеч Зап, 1844, № 11, отд. I, с. 109—134.
Т, *1856*, ч. 1, с. 1—48.
Т, *Соч*, *1860—1861*, т. 2, с. 1—28.
Т, *Соч*, *1865*, ч. 2, с. 1—34.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 2, с. 1—34.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 2, с. 1—33.
Т, *Соч*, *1880*, т. 6, с. 5—38.

Автограф повести не сохранился.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1844, № 11, отд. I, с. 109—134, с подписью: Т. Л. (ценз. разр. 30 октября 1844 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому того же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 11, *строка 17:* «Профессора» вместо «Профессоры» (по всем другим источникам). Форма «Профессора» употреблена также в «Гамлете Щигровского уезда», во всех изданиях «Записок охотника» до первого стереотипного (*ЗО 1880*) включительно. Замену этой формы на «Профессоры» в «Андрее Колосове», как и в «Гамлете Щигровского уезда» (*Т*, *Соч*, *1880*), следует считать исправлением корректора-архаиста.

Стр. 14, *строка 9:* «навстречу» вместо «на стречу» (по всем другим источникам).

Стр. 14, *строка 24:* «Умер? вот те на!» вместо «Умер! вот те на!» (по *Отеч Зап* и *Т*, *1856*). Источником ошибки явилась опечатка в *Т*, *Соч*, *1860—1861*: «Умер» вот те на!»

Стр. 14, *строка 37:* «перед диваном» вместо «пред диваном» (по всем другим источникам).

Стр. 19, *строка 21:* «к Ивану Семенычу» вместо «к Ивану Семеновичу» (по всем другим источникам).

Стр. 22, *строки 32—33:* «умолкала» вместо «умолкла» (по всем другим источникам).

Стр. 23, *строки 37—38:* «с удвоенной» вместо «с усвоенной» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 24, *строка 9:* «А!..» вместо «А?..» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 24, *строка 26:* «бросился в кресла» вместо «бросился в кресло» (по всем другим источникам).

Стр. 26—27, *строки 43—1:* «перед Андреем, перед самим собою» вместо «пред Андреем, пред самим собой» (по всем другим источникам).

Стр. 27, *строки 40—41:* «товарищей, Колосова» вместо «товарищей Колосова» (по всем другим источникам).

Стр. 31, строка 41: «уверил» вместо «уверял» (по *Отеч Зап, Т, 1856, Т, Соч, 1860—1861, Т, Соч, 1865*).

Стр. 33, строки 34—35: «Да! я забыл» вместо «Да я забыл» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Повесть была написана в 1844 г.— так датировал ее сам Тургенев во всех изданиях, начиная с *Т, 1856*. Никаких более точных сведений о времени и обстоятельствах создания «Андрея Колосова» в переписке Тургенева и в других источниках не сохранилось.

16 ноября 1845 г. Ф. М. Достоевский, только что познакомившийся с Тургеневым, писал брату Михаилу: «Прочти его повесть в „Отечественных записках“ „Андрей Колосов“.— Это он сам, хотя и не думал тут себя выставлять» (Достоевский Ф. М. Письма. М.; Л., 1928. Т. 1, с. 84). Если Достоевский имел в виду героя повести Колосова, то он ошибся в своем предположении: этот образ не был автобиографичным. Однако в сюжете повести, в личности рассказчика и в некоторых эпизодических персонажах отразились черты жизни самого Тургенева и его друзей из кружка Станкевича. М. О. Гершензон увидел в образе Колосова отражение личности Станкевича и истории его любви к Л. А. Бакуниной («Образы прошлого», М., 1916, с. 162), однако последующие исследователи внесли в вывод Гершензона существенные ограничения (Бродский Н. Л. «Премухинский роман» в жизни и творчестве Тургенева.— *Центрархив, Документы*, с. 118—119; см. также комментарий Ю. Г. Оксмана к «Записке о Н. В. Станкевиче» — *Т, Сочинения*, т. XII, с. 567). В названной статье Н. Л. Бродского, а также в статье Л. В. Крестовой «Татьяна Бакунина и Тургенев» (*Т и его время*, с. 31—50) представлен обширный материал, убедительно доказывающий, что в личность рассказчика и в историю его любви к Варе Тургенев привнес много своего, личного, связанного с пережитым им в 1842—1843 гг. увлечением Т. А. Бакуниной. Автобиографичен также в повести ряд бытовых деталей из жизни рассказчика: поступление его в Московский университет, пребывание в доме немецкого профессора, упоминание о собаке Армишке (ср. с записями в автобиографическом конспекте «Мемориал» — наст. изд., Сочинения, т. 11).

Основной замысел повести — осуждение прекраснодушной мечтательности, натянутых, ложных чувств, восторженно-романтической фразеологии и утверждение простоты, естественности, разумного такта действительности — вырос не только из личных воспоминаний Тургенева о его собственных романтических увлечениях недавних лет. Через такие же увлечения прошли в тридцатые годы многие из его друзей и сверстников, в том числе, например, Белинский, который еще в октябре 1838 г. в письме к М. А. Бакунину, разбирая подробно свои с ним взаимоотношения и причины, приведшие к серьезным осложнениям между ними, обвинял во многом самого себя: «Тут вмешалась и моя собственная пошлость, грубая, дикая и чисто животная непосредственность, фразерство, ходули, хлестаковство, словом, натянутая идеальность, вследствие внутренней пустоты и стремления заменить ее мишурною внешностию, отсутствие *нор-*

мальности, естественности и *простоты*» (*Белинский*, т. 11, с. 333).

Вместе с тем замысел повести был порожден общественно-литературной обстановкой 1842—1844 гг., когда в передовой журналистике разгорелась страстная борьба против романтизма и идеализма, в которой главную роль играли статьи Белинского, открывавшие перед Тургеневым мир реальной действительности и привлекавшие его внимание к новым задачам литературы. Белинский язвительно высмеивал «людей-недоносков», «у которых есть чувство, но похожее на нервическую раздражительность, есть ум, но похожий на мечтательность ⟨. . .⟩ У них всё слова столько же громкие и отборные, сколько и неопределенные, но дела никогда не бывает» («Русская литература в 1842 году».— *Белинский*, т. 6, с. 524). В обзоре за 1843 г. Белинский нападал на «нашпигованные *высшими взглядами*» повести Н. Полевого — «повести, невинные в каком бы то ни было такте действительности и способности хотя приблизительно понимать действительность, но очень и очень виновные в мечтательности и натянутом, приторном абстрактном идеализме, который презирает землю и материю, питается воздухом и высокопарными фразами и стремится всё „туда“ (dahin!)...» (там же, т. 8, с. 51—52).

Повестью «Андрей Колосов» Тургенев не только сводил счеты с собственным юношеским романтизмом и восторженной мечтательностью; он включался и в общую борьбу с обветшалыми, но еще живучими романтическими традициями. Естественно, что новая, хотя во многом еще и незрелая, повесть Тургенева вызвала одобрение Белинского: «„Андрей Колосов“ г. Т. Л.— рассказ чрезвычайно замечательный по прекрасной мысли: автор обнаружил в нем много ума и таланта, а вместе с тем и показал, что он не хотел сделать и половины того, что бы мог сделать, оттого и вышел хорошенький рассказ там, где следовало выйти прекрасной повести» (там же, с. 483). В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский повторил эту оценку, но при этом более решительно отметил художественное несовершенство повести, ставшее особенно заметным на фоне успехов реалистической литературы в 1845—1847 гг.: «Он ⟨Тургенев⟩ пробовал себя и в повести: написал „Андрея Колосова“, в котором много прекрасных очерков характеров и русской жизни, но, как повесть, в целом это произведение до того странно, не досказано, неуклюже, что очень немногие заметили, что в нем было хорошего. Заметно было, что г. Тургенев искал своей дороги и всё еще не находил ее, потому что это не всегда и не всем легко и скоро удается» (там же, т. 10, с. 345).

Нетрудно понять, что «недосказанность» повести Белинский видел прежде всего в образе ее героя Колосова, который был показан очень скупо и притом только извне, без раскрытия его внутреннего облика, без достаточной психологической мотивировки его поведения. Характер Колосова не приобрел полной художественной убедительности и глубины, почему и оказалось возможным восприятие его некоторыми читателями как мелкого и пошлого эгоиста. Отмечая, что произведение молодого писателя «странно» и «неуклюже», Белинский мог иметь в виду и промахи в развитии сюжета, и отсутствие стилистического единства, когда сквозь реалистическую ткань произведения местами про-

рывались не до конца преодоленные элементы романтического стиля с его пристрастием к громкой фразе, к гиперболам, к повышенной эмоциональности речевой манеры.

Во время подготовки первого собрания своих сочинений — «Повестей и рассказов», 1856 г.— Тургенев, быть может, вспомнив мнение Белинского, подверг текст повести значительной переработке, опираясь при этом на весь свой уже довольно богатый творческий опыт художника-реалиста (см. раздел «Варианты» в издании: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. V, с. 436—443). Изменения, внесенные им в текст издания 1856 г., могут быть сведены к нескольким группам.

1. Устранялись длинноты, отяжеляющие и замедляющие повествование. Так, была исключена длинная тирада в характеристике новых университетских друзей рассказчика, сокращен рассказ о покоряющем влиянии Колосова на товарищей.

2. Снимались слова и фразы, порожденные романтической манерой, противоречащие важнейшему для Тургенева требованию художественной простоты.

3. В начале сороковых годов Тургенев, как и другие молодые писатели из круга Белинского, следуя призывам своего учителя, усваивал традиции Гоголя и при этом нередко злоупотреблял элементами гоголевского стиля. В 1856 г. Тургенев устраняет излишества в использовании «низких» деталей при бытовых описаниях (вместо «на деревянной, страшно замаранной лестнице» остается: «на деревянной лестнице») и особенно тщательно снимает те места, в которых с чрезмерной навязчивостью звучала авторская ирония. В этой связи можно привести рассказ К. Н. Леонтьева о тех советах, которые весной 1851 г. давал ему, тогда начинающему писателю, Тургенев: «Не портите только вашего таланта каким-то юмористическим любезничаньем с читателем ⟨. . .⟩ Не острите, бросьте это; у вас может выработаться спокойное, светлое или грустное миросозерцание, но этого рода ложную юмористику вы оставьте» (Л е о н т ь е в К. Н. Собр. соч. СПб., ⟨1914⟩. Т. 9, с. 81).

4. Особая группа исправлений связана была с определением натуры Колосова. В журнальном тексте рассказчик рекомендовал его как «гения», «гениальную личность», «гениального человека». В тексте издания 1856 г. эпитет «гениальный» всюду был заменен на: «необыкновенный». М. О. Габель в статье «Первая повесть И. С. Тургенева „Андрей Колосов“» справедливо указывает, что в тридцатых годах под «гениальной натурой» подразумевался обычно романтический герой, возвышающийся над толпой. Однако в конце этого десятилетия в кругу Белинского слово «гениальный» получает новое содержание, в частности оно «крепко срастается с образом Н. Станкевича»: «Понимание действительности, простота, непосредственность и искренность, отсутствие „идеальности“, романтической ходульности — основные, по словам Белинского, черты „гениальной“ личности Станкевича...» Автор статьи приходит к выводу, что «Андрей Колосов является „гениальным“ в том смысле, как понимает это слово Белинский ⟨. . .⟩ Может быть, это новое значение слов „гениальная личность“ раскрылось Тургеневу в беседах с Белинским» (Уч. зап. Харьков. гос. библиотечного ин-та. Харьков, 1961. Вып. 5, с. 140—143).

Привычное для участников небольшого кружка слово «гениальный» в своеобразном его значении не перешло в общелитературный язык и в середине пятидесятых годов оказалось забытым, вследствие чего его употребление в повести могло вызвать у читателей недоумение или создать превратное представление о ее герое. Этими соображениями, как можно думать, и была вызвана отмеченная правка текста.

Осенью 1874 г. Я. П. Полонский, работавший в это время над автобиографическим романом-хроникой «Дешевый город», решил ввести в него эпизод, в котором упоминается «Андрей Колосов». Когда он написал об этом Тургеневу, тот ответил ему 14(26) октября 1874 г.: «Мне очень лестно, что ты хочешь упомянуть об одном из моих первых произведений; но вот что я должен тебе заметить. „Андрей Колосов“ явился в „Отечественных записках“ в 1844-м году — и прошел, разумеется, совершенно бесследно. Молодой человек, который в то время обратил бы внимание на эту повесть, был бы в своем роде феномен. Таких вещей молодые люди не читают: они не могут (да и, говоря по справедливости, не заслуживают этого) обратить на себя их внимания.— А впрочем — как знаешь». В 1879 г. роман Полонского был напечатан в «Вестнике Европы» с посвящением Тургеневу. В одной из глав рассказывается, что герою романа Владимиру Елатомскому попадается старая книжка «Отечественных записок»: «Прочтя „Андрея Колосова“, Елатомский, под влиянием рассказа, на полчаса точно оцепенел. Что же я такое! — думал он.— Отделался ли я от фразы? В силах ли противиться мелкому самолюбию, „мелким хорошим чувствам“?.. Где же это простое, естественное, здоровое отношение к жизни! И неужели всё естественное в нас до такой степени редко, что Тургенев „необыкновенными людьми“ называет людей естественных?» (Полонский Я. П. Полн. собр. соч. СПб., 1886. Т. 7, с. 166).

Не только в сороковые — шестидесятые годы ранняя повесть Тургенева читалась с явным сочувствием в среде русской демократически настроенной молодежи — интерес к этой повести не ослабевал и значительно позднее. Большую ценность в этой связи представляют собой воспоминания Н. К. Крупской: «Когда Ильичу было 14—15 лет, он много и с увлечением читал Тургенева. Он мне рассказывал, что тогда ему очень нравился рассказ Тургенева „Андрей Колосов“, где ставился вопрос об искренности в любви. Мне тоже в эти годы очень нравился „Андрей Колосов“. Конечно, вопрос не так просто разрешается, как там описано, и не в одной искренности дело, нужна и забота о человеке и внимание к нему, но нам, подросткам, которым приходилось наблюдать в окружающем мещанском быту еще очень распространенные тогда браки по расчету, очень большую неискренность,— нравился „Андрей Колосов“»[1]. Некоторые дополнительные штрихи к этому эпизоду из биографии В. И. Ле-

---

[1] Крупская Н. К. Детство и ранняя юность Ильича.— Сборник статей Н. К. Крупской «О воспитании и обучении». М., 1946, с. 268—269. Первоначально было опубликовано в «Большевике», 1938, № 12.

нина содержит рассказ Н. Валентинова, восходящий к устным воспоминаниям Крупской и вошедший в его изданные за рубежом мемуары: «Мы, рассказывала Крупская, иногда по целым часам занимались переводами ‹. . .› По настоянию Ильича особенно тщательно мы перевели некоторые страницы из рассказа „Колосов". На эту вещь он обратил большое внимание еще в гимназии и крайне ценил ее. По его мнению, Тургеневу в нескольких строках удалось дать самую правильную формулировку, как надо понимать то, что напыщенно называют „святостью" любви. Он много раз мне говорил, что его взгляд на этот вопрос целиком совпадает с тем, что Тургенев привел в „Колосове". Это,— говорил он,— настоящий революционный, а не пошло-буржуазный взгляд на взаимоотношения мужчины и женщины» (Валентинов Н. Встречи с Лениным. Нью-Йорк, 1953, с. 93—95).

Появление Андрея Колосова в «Отечественных записках» 1844 г. не было отмечено критикой, если не считать глухого упоминания об этой повести в «Москвитянине» 1847 г., в подписанной инициалами «П. П.» (П. И. Пежемский?) статье «Русская словесность в 1846 году». Автор, критически рассматривая деятельность Тургенева как писателя, принадлежащего к натуральной школе, упрекает его в подражательности и в связи с этим замечает: «Помнится нам, что в одном из своих рассказов г. Тургенев пытался произвести что-то вроде Жорж Занд. И нельзя сказать, чтобы всё это было плохо, хоть из этого же видно, что у автора нет или не открылось еще изобретательности» (*Москв*, 1847, № 1. Критика, с. 153).

Выход в свет «Повестей и рассказов», включавших всё, написанное Тургеневым за тринадцать лет, усилил внимание читателей и критики к его творчеству в целом и к открывавшей издание повести «Андрей Колосов» в частности. 10 ноября 1856 г. Л. Н. Толстой записал в своем дневнике: «Купил книгу ‹. . .› прочел все повести Тургенева. Плохо». Однако накануне, посылая это издание В. В. Арсеньевой, он оценил его по-иному: «Посылаю Вам еще „Повести" Тургенева, прочтите и их, ежели не скучно — опять, по-моему, почти всё прелестно ‹. . . ›» А 19 ноября он снова возвращается к тем же повестям и пишет тому же адресату: «... особенно из них рекомендую „Андрей Колосов", „Затишье", „Два приятеля"» (*Толстой*, т. 47, с. 99 и т. 60, с. 104 и 120).

Из двух больших статей о «Повестях и рассказах» Тургенева — Дудышкина в «Отечественных записках» и Дружинина в «Библиотеке для чтения» — в последней было уделено внимание «Колосову». Подробный разбор этой повести, данный Дружининым, вытекает из его общих эстетических воззрений и общей оценки таланта Тургенева (см. об этом выше, на с. 549 наст. тома). В «Андрее Колосове» критик видит «одно из самых светлых произведений» писателя. «Не мелкого и не избалованного эгоиста,— пишет он,— задумал изобразить автор: замысел его брал дальше и глубже. В Колосове он хотел представить нам натуру смелую, ясную, откровенную, глядящую на дела жизни прямо и чистосердечно. В молодом небогатом студенте, так увлекающем всех, кто к нему приближается, поэт видел тип человека, чуждого фразы, часто увлекающегося, но честного в своих

увлечениях, человека, исполненного свежих молодых сил и свободно тратящего эти силы. Такие смелые, прямые, размашистые натуры часто встречаются в действительности и в самом деле производят магическое влияние на весь люд, их окружающий. Нельзя не сознаться в изяществе замысла, в привлекательности типа, о котором теперь говорится. Но беда повести состоит в том, что *ее замысел разнится с постройкою*, что тип, зародившийся в голове даровитого рассказчика, в рассказе утратил всё свое значение ⟨. . .⟩ Ясно, что повесть, основанная на характере Колосова (того Колосова, о котором думал автор), должна была показать нашего героя в коллизии со многими сторонами жизни, а между тем в повести дело идет о маленьком, темном волокитстве и ни о чем более» (*Дружинин*, с. 306—307).

Однако наряду с этим Дружинин высказывает и другие мысли, тесно связанные с его общей концепцией творчества Тургенева. Он подходит к заключительной оценке Колосова с точки зрения идеи долга, высказанной Тургеневым в «Фаусте», и отказывается видеть в герое повести положительное явление русской жизни.

Тургенев откликнулся на высказывания Дружинина об «Андрее Колосове» в письме к критику от 3(15) марта 1857 г. (см. наст. том, с. 550).

В последующие десятилетия повесть Тургенева не была предметом сколько-нибудь обстоятельного рассмотрения в критике. Замечания о ней были краткими и случайными. «Замечательным человеком», который «был искренен и прям» «среди обессиленной и изолгавшейся толпы», назвал Колосова М. В. Авдеев, причисливший его к выдающимся типам пятидесятых годов (А в д е е в М. В. Наше общество в героях и героинях литературы за пятьдесят лет. СПб., 1874, с. 58—59). С. А. Венгеров, не находя в «Андрее Колосове» значительного содержания, вместе с тем отмечал, что поэзия в этой повести «бьет таким широким и чистым ключом, что сглаживается скудость действия и бедность характеров». В самом Колосове критик отказывался видеть «русское лицо» — «от него так и веет героями жорж-зандовских романов, бывших в моде в сороковых годах» (В е н г е р о в С. А. Русская литература в ее современных представителях. Критико-биографические этюды. И. С. Тургенев. СПб., 1875. Ч. II, с. 2—6).

Обстоятельный историко-литературный анализ первой повести Тургенева был дан в названной выше статье М. О. Габель (см. с. 557). Автор этого исследования определяет героя повести как первый у Тургенева набросок нового социального типа разночинца, который обнаруживает свое превосходство над дворянским интеллигентом, «лишним человеком». В последующее время писатель еще не раз обращался к разработке этого типа — М. О. Габель называет в этой связи образы Мити («Однодворец Овсянников»), Авенира Сорокоумова («Смерть») и студента Беляева («Месяц в деревне»). Автор статьи видит в повести «блестящую пробу Тургенева в области реалистической прозы. В этом произведении отчетливо выступают те художественные принципы, которые станут затем определяющими и характерными для реалистического метода Тургенева, большого художника слова» (с. 159).

Сведений о прижизненных переводах «Андрея Колосова» на иностранные языки найти не удалось.

Стр. 9. *...пачки синих полинялых ассигнаций* — бумажных денег пятирублевого достоинства. Ассигнации были введены в России в 1769 г. и находились в обращении до 1843 г., когда в результате реформы министра финансов графа Е. Ф. Канкрина они были заменены кредитными билетами. По официальному курсу, существовавшему в 1830-е годы, один рубль ассигнациями равнялся 27 коп. серебром.

Закурив пахитос...— Пахитос или, чаще, пахитоска (от испанского pajitos — соломинки) — тонкая папироса.

Стр. 9—10. *Он вчера вечером вернулся с кондиции.*— Слово кондиция (от латинского conditio) в значении: условие, договор — употреблялось в русском языке еще в XVIII в. Выделив это слово курсивом, Тургенев отметил, что новое его значение — домашние уроки, репетиторские занятия в частных домах,— сложившееся в семинарской среде, а затем перешедшее в студенческий обиход, еще не вошло в общелитературный язык и ощущалось как жаргонное. О случаях употребления писателем этого слова см. заметку Т. А. Никоновой: *Т сб*, вып. 3, с. 175. Ср. у Гоголя в «Вие» (1835): «Философы и богословы отправлялись *на кондиции*, то есть брались учить или приготовлять детей людей зажиточных и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук» (курсив Гоголя).

Стр. 10. *Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного.*— В этом ироническом замечании термины «приятное» и «полезное» употреблены в том смысле, какой им придавала почти до середины XIX века школьная «теория словесности», не выходившая за пределы архаических традиций классицизма. Согласно поэтике классицизма «приятное» заключалось обыкновенно в живых описаниях предметов; «полезное» выражалось в повествовании о мыслях и поступках людей, которые своим примером должны были поучать читателей (см., например: Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1, с. 109—110 и 472—473).

То, что Байрон называет «the music of the face»...— В поэме «Абидосская невеста» Байрон, описывая красоту Зюлейки, говорит: «the Music breathing from her face» («музыкой веяло от ее лица» — «Bride of Abydos», Canto 1, 179). К этой строке поэт счел необходимым дать примечание, в котором указывал, что это выражение «находили странным», и защищал его правомерность. При этом он ссылался на мнение m-me де Сталь, которая в своей книге «О Германии» писала о возможности сближения музыки и живописи: «...мы сравниваем живопись с музыкой и музыку с живописью, потому что чувства, которые мы испытываем, обнаруживают сходство там, где холодное наблюдение не видит ничего, кроме различия» (De l'Allemagne, par M-me la baronne de Staël-Holstein. Tome troisième. Paris— Londres, 1813, p. 142).

Стр. 11. *...у нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников...*— Белинский в своих статьях и рецензиях неоднократно язвительно высмеивал подобные руководства. Так, в 1844 г. он писал: «Нет ничего гибельнее

для способностей учащихся молодых людей, как краткие руководства, которые ничего не говорят ни рассудку, ни воображению, а должны усвояться только памятью» (*Белинский*, т. 8, с. 225; см. также т. 9, с. 273).

On talk not to me ∽ *of our glory*...— Начальное двустишие из стихотворения Байрона «Стансы, написанные на пути между Флоренцией и Пизой» («Stanzas written on the road between Florence and Pisa», 1821).

Стр. 16. *Месяцев шесть тому назад Колосов* ∽ *познакомился с господином Сидоренко*.— В журнальном тексте повести было: «Месяца четыре тому назад...» Внеся в издание 1856 г. поправку, Тургенев всё же не устранил до конца допущенную им неточность: по хронологии событий в повести знакомство Колосова с Сидоренко состоялось примерно за год до описываемой сцены, которая происходила весной, вскоре после того, как «в половине апреля» умер Гаврилов. Познакомившись с отставным поручиком тоже весной, Колосов летом стал навещать его дом «всё чаще и чаще»; Гаврилов играл в карты с Сидоренко «в течение целой осени и зимы» (см.: наст. том, с. 12, 17 и 18).

Стр. 20. ...*я не упомянул о некоем господине Щитове*.— Прототипом Щитова, выведенного Тургеневым также в «Гамлете Щигровского уезда» и в «Рудине» (глава VI), был член кружка Станкевича, приятель Белинского, поэт И. П. Клюшников (см. о нем: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. III, с. 479—480).

...*те самолюбивые, мечтательные и бездарные мальчики* ∽ *пренебрегают всяким положительным знаньем*.— Эта уничтожающая характеристика свидетельствует о большой близости взглядов Тургенева на современную ему поэзию к мнениям Белинского, постоянно преследовавшего бездарных «стихокропателей», которые выдают свою «дикую галиматью» за полную мыслей поэзию (см., например: *Белинский*, т. 6, с. 335—340 и 565—568, т. 7, с. 601—609).

Стр. 23. ...*один из сочинителей романов, известных под именем «московских», или «серых»*.— Поставщиками многочисленных в 1830—1840-х годах произведений серой или, по выражению Белинского, «серобумажной» мещанской литературы были по преимуществу московские авторы. В статье «Петербургская литература» (1845) Белинский писал о них: «Московский писака изображает в своих романах семейную жизнь, где рисуются *он* и *она*, проклятые места и тому подобные штуки, или описывает поколебание татарского владычества в Сокольниках, подвиги Таньки-разбойницы в Марьиной роще...» (*Белинский*, т. 8, с. 562, ср. также т. 7, с. 637).

...*«Прекрасное всё гибнет в пышном цвете, таков удел прекрасного на свете»*...— Неточная цитата из стихотворения В. А. Жуковского «На кончину ее величества королевы Вюртембергской» (1819). К 1840-м годам мысль, поэтически выраженная Жуковским, была опошлена его эпигонами и превратилась в избитый штамп. Не исключено, что мысль о пародийном использовании двустишия Жуковского возникла у Тургенева под влиянием рецензии Белинского на сочинения И. Мятлева, в которой оно было процитировано (*Белинский*, т. 8, с. 221. Рецензия была напечатана в майской книжке «Отечественных записок» 1844 г., за полгода до «Андрея Колосова»).

Стр. 25. *«Что было, то не будет вновь».*— Цитата из поэмы Пушкина «Цыганы».

Стр. 26. *...на тряских «калиберных» дрожках...*— Калиберные дрожки, или калибер — бытовавшее в старой Москве название извозчичьего экипажа особой, удлиненной формы. В качестве характерной детали московской жизни они описаны в очерках И. Т. Кокорева «Москва сороковых годов» (М., 1959, с. 21) и в книге В. А. Гиляровского «Москва и москвичи» (Гиляровский В. А. Избранное. М., 1960. Т. 3, с. 16).

Стр. 31. *...по поводу не вытанцевавшейся любви, говоря словами Гоголя!..*— Гоголевское словцо «не вытанцовывалось» (из «Заколдованного места») быстро вошло в живую речь. Оно не раз встречается в письмах Белинского конца тридцатых — начала сороковых годов (см., например: *Белинский*, т. 11, с. 366, 403, 465). В 1860 г. Г. П. Данилевский назвал одну из своих повестей: «Не вытанцевалось (Из записок о последнем из рода гетманских потомков)».

Стр. 32. *...и отдохнул только в кондитерской, за пятым слоеным пирожком.*— Ср. у Гоголя в «Невском проспекте» замечание о поручике Пирогове, разгневанном после перенесенной экзекуции: «Но всё это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из „Северной пчелы“ и вышел уже не в столь гневном положении».

БРЕТЁР

(с. 34)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Отеч Зап, 1847, № 1, отд. I, с. 1—42.
Т, 1856, ч. 1, с. 49—125.
Т, Соч, 1860—1861, т. 2, с. 30—78.
Т, Соч, 1865, ч. 2, с. 35—90.
Т, Соч, 1868—1871, ч. 2, с. 35—88.
Т, Соч, 1874, ч. 2, с. 35—87.
Т, Соч, 1880, т. 6, с. 39—93.

Автограф повести не сохранился.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1847, № 1, отд. I, с. 1—42, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 декабря 1846 г.).

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому того же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 35, строка 4: «Авдей Иванович» вместо «Авдей Иваныч» (по *Отеч Зап*; *Т, 1856; Т, Соч, 1860—1861*; *Т, Соч, 1865*).

Стр. 40, строки 8—9: «чересчур» вместо «чрез-чур» (по всем другим источникам).

Стр. 43, строка 10: «черезо всю залу» вместо «чрез всю залу» (по *Т, Соч, 1865*; *Т, Соч, 1868—1871*; *Т, Соч, 1874*).

Стр. 46, строки 13—14: «из-за переплетенных пальцев» вместо «из-за переплетенных пялец» (по всем другим источникам).

Стр. 50, строки 31—32: «воскликнул Кистер, вышел на улицу, задумался и глубоко вздохнул» вместо «воскликнул Кистер и вышел на улицу, задумался и глубоко вздохнул» (по всем другим источникам).

Стр. 50, строка 41: «сидел на креслах» вместо «сидел на кресле» (по всем другим источникам).

Стр. 53, строка 20: «занимала его мысли» вместо «занимала его мысль» (по всем другим источникам).

Стр. 56, строка 36: «Что Федор Федорыч не приехал?» вместо «Что, Федор Федорович не приехал?» Запятая снимается по *Отеч Зап*, *Т, 1856*, и *Т*, *Соч*, *1860—1861*, а также по смыслу: Ненила Макарьевна знает, что Кистер не приехал, но спрашивает о причинах его отсутствия. «Федор Федорыч» — но всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*.

Стр. 62, строка 33: «пощадить ее стыдливость» вместо «пощадить ее стыдливости» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 73, строки 13—14: «всех возможных земных благ» вместо «всевозможных земных благ» (по всем другим источникам).

Стр. 77, строка 35: «с спокойной улыбкой» вместо «с покойной улыбкой» (по всем другим источникам).

Стр. 77, строка 36: «письмо его к матери» вместо «письмо к его матери» (по *Отеч Зап*).

Стр. 77, строки 40—41: «все возможные последствия» вместо «всевозможные последствия» (по всем другим источникам).

Датируется 1846 годом на основании пометы Тургенева во всех изданиях, начиная с 1856-го года. Более точная датировка затруднительна, так как в переписке Тургенева прямых упоминаний о работе над этой повестью не сохранилось. По предположению Н. В. Измайлова, в письме Тургенева к Виардо, написанном в начале мая 1846 г., под затеянной «довольно большой работой» следует подразумевать «Бретёра» (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 559). Исходя из этого, работу над повестью можно отнести к лету — осени 1846 г. Б. М. Эйхенбаум ошибочно указал, что «написана эта повесть в 1846 г., до „Трех портретов“» (*Т*, *Сочинения*, т. II, с. 362). Как отмечено нами ниже (наст. том, с. 571), рассказ «Три портрета» был написан в конце 1845 г., то есть до «Бретёра». Но Тургенев во всех изданиях, начиная с 1856-го года, помещал «Бретёра» перед «Тремя портретами», считая, очевидно, последнюю вещь более зрелой. Хотя такой порядок и нарушает хронологическую последовательность, мы сохраняем его в настоящем издании.

Появление «Бретёра» в январской книжке «Отечественных записок» совпало с крайним обострением журнально-литературных споров, вызванных идейным и художественным ростом «натуральной школы». Главным предметом этих споров стали такие значительные произведения, увидевшие свет в начале 1847 г., как «Кто виноват?» Герцена, «Обыкновенная история»

Гончарова, первые рассказы из «Записок охотника» Тургенева. В этой сложной и напряженной обстановке новая повесть Тургенева почти не была замечена критикой.

Наиболее ранний отзыв о «Бретёре» принадлежит Белинскому, который в письме к Тургеневу от 19 февраля (3 марта) 1847 г. осторожно выразил свою неудовлетворенность его повестью, противопоставив ее «Запискам охотника»: «Мне кажется, у Вас чисто творческого таланта или нет, или очень мало, и Ваш талант однороден с Далем. Судя по „Хорю", Вы далеко пойдете. Это Ваш настоящий род. Вот хоть бы „Ермолай и мельничиха" — не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслию. А в „Бретёре", я уверен, Вы творили. ⟨. . .⟩ Если не ошибаюсь, Ваше призвание — наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию; но не опираться только на фантазию» (*Белинский*, т. 12, с. 336).

Тогда же о новой повести Тургенева коротко упомянул Ап. Григорьев, поставивший ее в один ряд с другими произведениями последнего времени — «Кто виноват?» Герцена, «Родственники» И. Панаева, «Без рассвета» А. Нестроева (П. Н. Кудрявцева),— предметом которых была «трагическая гибель всего лучшего, всего благороднейшего в личности вследствие бессилия воли». О Лучкове критик писал: «Бретёр — это Грушницкий с энергиею натуры Печорина, или, пожалуй, Печорин, лишенный блестящего лоска его ума и образованности — олицетворение тупой апатии, без очарования, доставшегося даром...» (А. Г. Обозрение журнальных явлений за январь и февраль текущего года.— Московский городской листок, 1847, № 52, 5 марта).

О том, как воспринимали «Бретёра» некоторые из читателей-современников, позволяет судить письмо к Тургеневу Е. А. Ладыженской, второстепенной писательницы, с которой он познакомился в начале 1855 г. 23 марта того же года она писала: «Я на днях, Иван Сергеевич, могу сказать, что отрыла в старом журнале 47-го года одну Вашу повесть, под заглавием „Бретёр" ⟨. . .⟩ В этой повести Вам чрезвычайно удались оба типа: тип бретёра и тип немца,— в них много оригинальности. Сколько, в самом деле, таких людей, которые слывут за высшие умы оттого только, что не дают себя разгадать. Что касается до Кистера, то я сама встретила в *нашем* гусарском полку (как говорит Маша Перекатова) такого идеального юношу с развитою „интеллигенциею", с образованностью, с пиитическими стремлениями, но с тупым умом, и сожалела, что никто этим типом не воспользовался,— я тогда о Вашей повести не знала. Сама Маша, кажется, обрисована не так удачно и не слишком метко,— а может быть, Вы и хотели, чтоб она вышла несколько бесцветна. Зато мать очень хороша, даром, что о ней мало говорено» (*Т сб*, вып. 2, с. 371, публикация Т. А. Никоновой).

Можно думать, что сам Тургенев не считал эту повесть вполне удавшейся: при подготовке издания 1856 г. он подверг ее значительной правке, в результате чего повесть приобрела бо́льшую художественную цельность и завершенность.

В издании 1856 года несколько изменилась разбивка глав: из IV и V глав журнального текста было сделано четыре главы (IV, V, VI и VII), вследствие чего общее количество глав возросло

с девяти до одиннадцати. Кроме того, в главе VII (по новой нумерации — IX) было исключено ее окончание — психологически неубедительная, крайне растянутая, мелодраматическая сцена объяснения Кистера с Машей, следовавшая после их признания во взаимной любви. В целом же сюжетно-композиционная основа повести осталась без изменений.

Правкой была затронута преимущественно стилистика повести и отчасти характеры главных героев. Последовательному исключению подвергались многочисленные в журнальном тексте сентенции автора, которыми он комментировал или обобщал те или иные особенности поведения и психологии действующих лиц повести (см. раздел «Варианты» в издании: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. V, с. 443—456).

Характеры Авдея Лучкова и Кистера после переделки повести сохранили все свои основные черты, но Тургенев освободил их от следов риторики, которую он сам жестоко высмеивал еще в «Андрее Колосове», от излишнего нажима, от навязчивого порой повторения одних и тех же мотивов (см. там же). Весьма существенной для образа бретёра явилась новая мотивировка его озлобленности, введенная в самом начале повествования: «Он рано остался сиротой, вырос в нужде и загоне».

В журнальном тексте в образе Маши, наряду с простотой, естественностью, наивной прямотой и искренностью чувств, иронически подчеркивалось влияние на ее воспитание Ненилы Макарьевны. В новой редакции Тургенев исключил этот мотив, выделив в образе Маши главное — ее свободное от влияния окружающей пошлой среды развитие.

В журнале действие повести приурочивалось к 1819 г.— эта дата была дважды указана на первых же страницах текста. В 1856 году в начальном абзаце вместо 1819 появилось: 1829, во втором же упоминании сохранилась — очевидно, по недосмотру — прежняя дата; новая цифра была введена здесь лишь в издании *Т, Соч, 1865.* В дальнейших изданиях в обоих случаях сохранялась датировка 1829 годом. Б. М. Эйхенбаум (*Т, Сочинения*, т. II, с. 363) счел новую датировку опечаткой, не замеченной Тургеневым, и указал, что она противоречит упоминаниям в тексте повести о Байроне и Россини. На основании этих соображений он восстановил первоначальную дату — 1819. При этом Б. М. Эйхенбаум упустил из виду, что его поправка привела к другому анахронизму: «греведоновские головки» не могли висеть в комнате у Кистера в 1819 г. Следует также принять во внимание, что в этой ранней повести (как и в «Трех портретах») Тургенев еще не в полной мере овладел искусством точной исторической детали, столь характерным для периода его зрелого мастерства. Таким образом, можно полагать, что новая дата (1829) была введена самим Тургеневым.

В новой редакции повесть обратила на себя внимание критики. Обстоятельный разбор ее дал А. В. Дружинин в статье «Повести и рассказы И. С. Тургенева» (*Б-ка Чт*, 1857, № 3). Отвергая традиции «натуральной школы» в том толковании, которое давал этому направлению Белинский, и противопоставляя им «эстетическую теорию», свободную от «рутинного метода нашей беллетристики сороковых годов», Дружинин упрекал Тургенева в том, что он «колеблется между двумя противополож-

ными направлениями», не имея мужества оставаться только «поэтом»: «Дух анализа, совершенно лишнего при вдохновении, не дает ему покоя и вторгается повсюду — то в виде шутки, то какого-нибудь холодного замечания, не чуждого дендизма, то краткого сатирического отступления, не ведущего к делу». В «Бретёре», по мнению критика, это выразилось в частности в том, что Кистер, «лицо привлекательное, юное и, без всякого сомнения, симпатическое автору, изображено в виде какого-то жалкого дурачка», а также в том, что Тургенев «подлил достаточное количество житейской пошлости в изображение семейства своей героини» (*Дружинин*, т. 7, с. 321, 327).

В Авдее Лучкове Дружинин увидел один из «сколков с Печорина» и использовал разбор тургеневской повести и ее озлобленного героя для осуждения «сильных людей, не находящих себе места в современном обществе», то есть, в сущности, для осуждения духа отрицания и протеста, нашедшего свое выражение в герое романа Лермонтова. Эта ложная тенденция привела Дружинина к чрезмерному сближению Лучкова с Печориным: «Сведите вместе обоих героев, откиньте поэтическую грусть, которой так много пошло на создание Героя нашего времени, поставьте Авдея Лучкова на несколько ступенек выше относительно блеска и просвещения,— вас поразит обилие общих черт уже в том, как и в другом характере. Озлобленность, жесткость натуры, фразерство, отсутствие нежности и общительности наполняют собой души этих охлажденных смертных...» (там же, с. 329). Данная Дружининым характеристика Лучкова вызвала одобрение В. П. Боткина, который писал Дружинину 27 марта 1857 г. по поводу его второй статьи о Тургеневе: «Она для меня важнее и глубокомысленнее первой ⟨. . .⟩ Характеристика Авдея Лучкова и вообще озлобленных людей — бесценная...» (Письма к А. В. Дружинину (1850—1860). М., 1948, с. 56). Двумя годами позднее дружининскую оценку Лучкова повторил Ап. Григорьев, также подчеркнувший, что Тургенев разоблачил «одну сторону лермонтовского Печорина в грубых чертах своего „Бретёра“» (*Григорьев*, с. 320).

Увлеченный идеей развенчания «лермонтовского направления», Дружинин не смог понять глубокого различия между Лучковым и героем романа Лермонтова. Поэтому в его статье не было показано, что тургеневский «бретёр» воплощал типическое явление русской провинциальной жизни 1840-х годов,— явление, действительно возникшее отчасти под влиянием Печорина, но отличавшееся от него душевной пустотой, умственным убожеством и пошлостью.

При известной художественной незрелости «Бретёра» (особенно в журнальной редакции) остается бесспорным, что Тургенев создал в этой повести жизненно правдивый, типический характер и дал ему правильную социально-этическую оценку. В этом смысле характерно, что тип Лучкова получил свое дальнейшее развитие у Чехова в лице штабс-капитана Соленого («Три сестры»). Впервые на близость этих двух образов указал И. Н. Розанов в статье «Отзвуки Лермонтова»: «Прекрасную вариацию, но не Печорина, а именно тургеневского Лучкова дал впоследствии Чехов в необыкновенно удавшемся ему Соленом („Три сестры“). Офицер Соленый, как и Лучков, озлоблен

и груб, потому что глуп и ограничен. Придравшись к пустякам, он вызывает на дуэль и убивает товарища по полку, более счастливого своего соперника, милого и развитого барона Тузенбаха, русского с немецкой фамилией (у Тургенева — Кистер). Соленого и называют в пьесе „бретёром“. Любопытно, что Соленый груб только в обществе, оставшись же вдвоем с Тузенбахом, он прост и ласков, как и Лучков с Кистером» (сб. «Венок М. Ю. Лермонтову». М.; П., 1914, с. 282). Соображения И. Н. Розанова были поддержаны и развиты С. Н. Дурылиным в книге «„Герой нашего времени“ М. Ю. Лермонтова» (М., 1940, глава «Сверстники и потомки Печорина»). Нелишне отметить, что незадолго до начала работы над «Тремя сестрами» Чехов вспомнил героя тургеневской повести, рассказывая в письме к А. С. Суворину от 6 февраля 1898 г. о деле Дрейфуса: «Затем этот Эстергази, бретёр в тургеневском вкусе, нахал, давно уже подозрительный, не уважаемый товарищами человек...» (Чехов А. П. Собр. соч. в 12-ти т. М., 1957. Т. XII, с. 213).

«Бретёр» сравнительно рано стал известен европейским читателям [1]. Уже в 1858 г., в авторизованном переводе Кс. Мармье, под заглавием «Le Ferrailleur», он вошел в состав сборника тургеневских повестей, изданного в Париже (*1858*, *Scènes*, *I*). В 1874 г. в Италии была издана книжка, содержавшая тоже авторизованный перевод «Трех встреч» и «Бретёра» (Tre incontri. L'Accattabrighe. J. Tourguenieff. Traduzione dal russo autorizzata dall'autore di M. d'Ormosi. Milano, 1874.— Обе повести напечатаны здесь с некоторыми сокращениями). В 1877 г. в парижском журнале «Musée Universel», № 41—48, появился новый французский перевод «Бретёра» («Le Ferrailleur»). В 1878 г. в газете «Dziennik Warszawski» был напечатан польский перевод «Бретёра» («Zawadjaka» — № 88, 93, 98, 103, 127).

Стр. 34. *Бретёр* — (другое написание: бреттёр) имеет значение: «человек, ищущий повода к дуэли», «скандалист», «забияка». Заимствовано из французского языка («bretteur от brette — длинная шпага; собственно épée de Bretagne, откуда brette».— Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского языка. М., 1959. Т. I, с. 45). Подробнее см. в заметке Т. А. Никоновой: *Т сб*, вып. 3, с. 171—172.

Стр. 35. *...на стенах висели ꩜ четыре греведоновские головки...* — Анри Греведон (1776—1860) — французский художник, портретист и литограф. В 1804—1812 гг. он жил в России, где был избран членом Академии художеств. Проведя затем несколько лет в Стокгольме и в Лондоне, Греведон в 1816 г. возвратился в Париж. В 1820—1830-х годах он создал несколько серий женских литографированных портретов. Литографии Греведона получили широкое распространение во всех европейских странах, в том числе и в России, не раньше середины 1820-х годов.

---

[1] Для приведенных здесь и ниже данных о прижизненных переводах ранних повестей и рассказов Тургенева на иностранные языки использованы, кроме различных печатных источников (как русских, так и зарубежных), материалы картотеки С. А. Венгерова, хранящейся в *ИРЛИ*.

С т р. 38. *Читал, брат, «Идиллию» Клейста.*— Кистер читал, по всей вероятности, стихотворение немецкого поэта-романтика и драматурга Генриха Клейста (1777—1811) «Der Schrecken im Bade» («Испуг во время купанья»), с подзаголовком «Идиллия». Однако не исключено, что Тургенев имел в виду одну из идиллий поэта XVIII века Эвальда-Христиана Клейста (1715—1759).

С т р. 40. *...в зеленом круглом фраке...*— В 1820—30-х годах в России были в моде английские фраки с округленными фалдами (см.: Русский костюм XIX века. М., 1960, с. 18—20).

С т р. 41. *В то время только что начинали у нас толковать о лорде Байроне.*— Первое упоминание в России о Байроне появилось в журнале «Российский музеум», № 1 за 1815 г. Однако только в 1819—1820 гг. личность и творчество английского поэта привлекают всеобщее внимание русского общества и становятся предметом горячих споров (см. об этом: М а с л о в В. И. Начальный период байронизма в России. Киев, 1915, с. 1—48).

С т р. 42. *В то время процветал еще экосез.*— Бальный танец экосез, происшедший от шотландского народного танца (по-французски écossaise — шотландский), получил распространение во Франции, а затем и в других европейских странах с первой четверти XVIII в. В России расцвет этого танца относится к первой четверти XIX в. (И в а н о в с к и й Н. П. Бальный танец XVI—XIX вв. Л.; М., 1948, с. 123—124).

С т р. 45 *Честный человек! А ведь она очень собой хороша; посмотри-ка.*— Г. В. Иванов в статье «„Честный" или „черствый"? (об одной фразе повести И. С. Тургенева „Бретёр")» пишет об «авторской описке», считая, что вместо «честный человек» следует печатать «черствый человек» (Русская литература, 1976, № 1, с. 216). Это мнение оспаривает А. Г. Гаврилов, справедливо считающий, что выражение «честный человек» не относится к Лучкову: говорящий (Кистер) произносит эти слова о самом себе, «подтверждая, таким образом, истинность сообщения, вызвавшего сомнение у собеседника». Для подкрепления своих выводов А. К. Гаврилов ссылается на аналогичные примеры подобного употребления выражения «честный человек» в произведениях Пушкина («Капитанская дочка»), Лермонтова («Тамбовская казначейша»), Гоголя («Женитьба», «Мертвые души»). Статья А. К. Гаврилова публикуется в сб.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества (в печати).

С т р. 49. *...«В гамбургской газете не ты ли читал, как в запрошлом лете Миних побеждал...».*— Судя по примечанию Тургенева к этому месту во французском переводе «Бретёра» («Ce sont des petits vers; une espéce de *scie* de régiment» — *1858, Scènes, I*, p. 247), Лучков напевал какую-то ходовую солдатскую песню. Ни в песенниках XVIII — начала XIX в., ни в позднейших фольклорных сборниках текст этой песни обнаружить не удалось.

Ну, ну, шпрехен зи дейч, Иван Андреич...— Эта обывательско-чиновничья поговорка была введена в литературу Гоголем («Мертвые души», т. I, главы VIII и X), под влиянием которого и использовал ее Тургенев.

С т р. 54. *...Россини только что входил тогда в моду...*— Всеобщее признание и славу во всех странах Европы доставила

Россини опера «Севильский цирюльник» (1816). В России оперы Россини с большим успехом ставились с начала 1820-х годов.

Маша заиграла блестящие вариации на россиниевскую тему.— В 1820-е годы широкое распространение во всей Европе приобрели виртуозные, хотя и бессодержательные, фортепьянные пьесы французского композитора и пианиста Анри Герца (Henri Herz, 1803—1888). Первым его произведением на россиниевскую тему были «Блестящие вариации на оперу Россини „Дева озера“», впервые поставленную в 1819 году. Возможно, что Тургенев имел в виду эту пьесу Герца, который был известен и среди русских любителей музыки.

Стр. 62. *Долгим лугом называлась широкая и ровная поляна на правой стороне речки Снежинки...*— Под названиями Долгий луг и речка Снежинка Тургенев описал местность близ Бежина луга по реке Снежеди, в 15 км от Спасского. Во французском переводе повести *(1858, Scènes, I)* им было восстановлено настоящее название реки: «sur la rive droite du Snèjeda». (В той же форме — Снежеда, вместо правильного Снежедь — эта река упомянута в письме Тургенева к М. Н. Толстой от 4(16) июня 1857 г.)

ТРИ ПОРТРЕТА

(с. 80)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Петербургский сборник, 1846, с. 445—482.
Т, *1856*, ч. 1, с. 127—174.
Т, *Соч*, *1860—1861*, т. 2, с. 79—108.
Т, *Соч*, *1865*, ч. 2, с. 91—125.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 2, с. 89—122.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 2, с. 89—122.
Т, *Соч*, *1880*, т. 6, с. 95—128.

Автограф рассказа не сохранился.

Впервые опубликовано: Петербургский сборник, 1846, с. 445—482, с подписью: И. С. Тургенев (ценз. разр. 12 января 1846 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому того же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 81, строка 30: «не он служит» вместо «не он служил» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 82, строки 20—21: «расположились» вместо «разложились» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1868—1871*).

Стр. 90, строка 14: «испытать» вместо «испытывать» (по всем другим источникам).

Стр. 92, строка 12: «не было еще и помина» вместо «не было еще помина» (по всем другим источникам).

Стр. 95, строки 30—31: «не привлекла бы» вместо «не привлекала бы» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. *97*, *строка 15:* «решалась» вместо «решилась» (по всем другим источникам).

Стр. 98, строки 17—18: «не разговаривала» вместо «не разговаривать» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 101, строка 31: «на другие кресла» вместо «на другое кресло» (по всем другим источникам).

Стр. 102, строка 3: «упала в кресла» вместо «упала в кресло» (по всем другим источникам).

Стр. 106, строка 37: «и поднял было» вместо «и поднял быстро» (по всем источникам до *Т, Соч, 1868—1871*).

Время работы Тургенева над «Тремя портретами» точно не установлено, так как никаких упоминаний об этом в его переписке не сохранилось. Можно думать, что рассказ был написан в конце 1845 г.: к 3 января 1846 г. он, в числе других материалов для «Петербургского сборника», был уже набран (см. письмо Некрасова к А. В. Никитенко от 3 января 1846 г.— *Некрасов*, т. X, с. 51). Включая рассказ в издание 1856-го года, Тургенев поставил дату: «1846», имея в виду, очевидно, время выхода его в свет. Эту дату он сохранял и в последующих изданиях.

При подготовке рассказа для издания 1856-го года Тургенев несколько его выправил: устранил слова и выражения, несшие на себе отпечаток экспрессивной романтической манеры, не вполне еще преодоленной им в 1845 г., сделал мелкие стилистические поправки; довольно существенной правке была подвергнута сцена истязания Юдича (см. раздел «Варианты» в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. V, с. 456—460).

Поместив в «Петербургском сборнике» ряд своих произведений (помимо «Трех портретов», поэму «Помещик», стихотворения «Тьма», «Римская элегия»), Тургенев открыто показал себя одним из ближайших участников литературного направления, получившего (как раз в связи с выходом «Петербургского сборника») наименование «натуральной школы». Вокруг этого сборника разгорелась журнально-критическая борьба, принявшая сразу же весьма ожесточенный характер. Однако рассказ «Три портрета» не привлек к себе большого внимания критики. Лишь в некоторых статьях проскальзывали беглые замечания о нем и о его герое.

Белинский в своей статье о «Петербургском сборнике» коротко, хотя и с видимым одобрением, упомянул о «Трех портретах»: «„Три портрета“, рассказ г. Тургенева, при ловком и живом изложении имеет всю заманчивость не повести, а скорее воспоминаний о *добром* старом времени. К нему шел бы эпиграф: *Дела минувших дней!..*» (*Белинский*, т. 9, с. 566). Очевидно, под влиянием этого отзыва Тургенев в издании 1856-го года придал своему рассказу подзаголовок: «Исторический этюд». В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», характеризуя новые произведения Тургенева, Белинский обратился к раннему творчеству писателя и с одобрением отметил (наряду с «Помещиком») «его рассказ в прозе — „Три портрета“, из которого видно, что г. Тургенев и в прозе нашел свою настоящую дорогу» (там же, т. 10, с. 345).

Немногочисленные отзывы о рассказе критиков, не принадлежавших к «натуральной школе» или открыто нападавших на нее, были бесцветны и неопределенны. Л. Брант в статье, подписанной «Я. Я. Я.», назвав поэму «Помещик» явно неудач-

ным подражанием Пушкину, писал далее: «Несколько сноснее „Три портрета“, рассказ в прозе того же г-на Ив. Тургенева. Здесь представлен характер, до такой степени сатанинский и такой утонченный обольститель, что перед ним самый Печорин Лермонтова кажется идеалом благородства и добродетели; но, может быть, и правда — всякие люди бывают на свете!» (*Сев Пчела*, 1846, № 26, 31 января). Еще менее определенным было высказывание А. В. Никитенко, который ограничился общими рассуждениями о таланте Тургенева, не сказав ничего дельного о самом рассказе: «Как писатель умный, он может произвести одно умное, интересное; как художник он производит большею частию нечто неопределенное, бледное или тусклое, в котором мысль ходит иногда ровными, иногда неровными шагами, задумывается, мечтает, улыбается, или вздыхает, даже отваживается на дело — и не делает дела, которое уже начала ⟨. . .⟩ Всё, что мы сказали здесь вообще о произведениях господина Тургенева, относится и к его „Помещику“ и к „Трем портретам“. Нам почти нечего сказать об этих новых произведениях его легкого и приятного пера: в них одни и те же достоинства и недостатки» (*Б-ка Чт*, 1846, № 4, Критика, с. 48—49). Полностью умолчал о рассказе и К. С. Аксаков в статье о «Петербургском сборнике» (Московский литературный и ученый сборник на 1847 год. М., 1847, Критика, с. 36—38). Однако из косвенных его замечаний (почти всё содержание сборника он считает «хламом», о Тургеневе говорит, что он «пишет всё плоше и плоше», «Помещика» называет «вздором») можно сделать вывод, что и к «Трем портретам» он отнесся также с резким неодобрением. Более явственно это неодобрение выразилось в статье С. П. Шевырева, который обратил главное внимание на безнравственность героя рассказа и писал: «В прозаической повести г. Тургенева „Три портрета“ есть лицо, какого мы еще до сих пор в повестях не встречали. Это малодушный подлец, Василий Иванович Лучинов, который крадет деньги из мешков у скупого отца, потом обнажает на него шпагу, далее обольщает девушку-сироту в доме матери, слагает вину на другого, хочет принудить его жениться на ней, не получив его согласия и зная, что он не умеет драться, вызывает его на дуэль и убивает его» (*Москв*, 1846, № 2, Критика, с. 183).

В защиту Тургенева против «Москвитянина» выступил тогда же на страницах «Финского вестника» Ап. Григорьев, в то время с симпатией и сочувствием относившийся к «натуральной школе». Называя Тургенева талантливым поэтом «школы Лермонтова», критик решительно отвергает суждение о рассказе с позиций «неподдельно-восточного мнения», как он иронически определяет взгляды Шевырева; в своей характеристике «Трех портретов» Григорьев открыто утверждает право личности на критику устаревших воззрений, противопоставляя эту идею идее покорности, которую защищал «Москвитянин»: «...всего более восстало неподдельно-восточное мнение на прозаический рассказ г. Тургенева „Три портрета“, рассказ в высшей степени художественный, в котором впервые в нашей литературе является одно из тех чудных лиц XVIII века, из тех героев своего времени, которые носили в душе семена того же пресыщения жизнью, как и наши, с тем только различием, что они были

величавее, ослепительнее наших; понятно, что́ в особенности возмутило патриархальное мнение. Герой рассказа, к величайшему сожалению, не позволяет дражайшему родителю наложить на него руки, или прямее сказать и употребляя технические слова, отодрать его на конюшне» (Финский вестник, 1846, т. IX, май, Библиографическая хроника, с. 31—32; за несколько месяцев до этой статьи Григорьев выразил свое отношение к рассказу Тургенева в «Ведомостях С.-Петербургской городской полиции», 1846, № 33, 9 февраля).

Ап. Григорьев придавал «Трем портретам» большое значение. В более поздние годы он еще дважды обращался к истолкованию исторического и нравственного значения образа Василия Лучинова. В 1855 г., в период сотрудничества в «Москвитянине», он высказывался о раннем творчестве Тургенева диаметрально противоположно тому, что писал за десять лет до этого. Теперь критик упрекает Тургенева в том, что он «начал прямо с крайних крайностей направления, оставшегося в наследство после Лермонтова», в том, что в «Помещике» он «кадил сатирическому направлению», что в своей повести «Три портрета» он «пытался, опять-таки как поэт, придать грандиозность, поэтичность тем гнилушкам, которых ужасающая прозоватость приводила его в отчаяние» (*Москв*, 1855, № 15 и 16, август, Журналистика, «Обозрение наличных литературных деятелей», с. 193). Еще через четыре года, уже не в «Москвитянине», а в «Русском слове», Ап. Григорьев напечатал большую статью о Тургеневе. Говоря о «Трех портретах» и о влиянии творчества Лермонтова на автора рассказа, критик переносит в новую статью многие мысли и фразы из своей статьи 1855 г., но придает им в ряде случаев иное толкование, а иногда прямо вступает в полемику с самим собой. В герое рассказа Григорьев признает теперь типическое содержание: «Василию Лучинову Тургенева я придаю особенную важность потому, что в этом лице старый тип Дон-Жуана, Ловласа и т. д. принял впервые наши русские, оригинальные формы» (*Рус Сл*, 1859, № 5; цит. по кн.: *Григорьев*, с. 322). «Что ни говорите о безнравственности Василия Лучинова — но несомненно, что в этом образе есть поэзия, есть обаяние ⟨. . .⟩ Безнравственность Василия Лучинова вы, разумеется, моральным судом казнили, но то грозное и зловещее, то страстное до безумия и вместе владеющее собою до рефлексии, что в нем являлось, ни художник не развенчивал, ни вы развенчать не могли — и внутри вашей души никак не могли согласиться с критиком, назвавшим *Василия Лучинова* гнилым человеком. Василий Лучинов, пожалуй, не только гнил, он — гнусен; но сила его, эта страстность почти что южная, соединенная с северным владением собою, эта пламенность рефлексии или рефлексия пламенности есть *типовая* особенность» (там же, с. 321).

В этой же статье Григорьев отметил связь между образом Лучинова и образом Ивана Петровича Лаврецкого в «Дворянском гнезде»: «...тип Ивана Петровича напоминает тип Василия Лучинова — но уже отношение автора к этому типу совершенно изменилось. Из трагического оно перешло почти в комическое ⟨. . .⟩ Иван Петрович и Василий Лучинов — две разные стороны одного и того же типа, как Чацкий и Репетилов, например, в отношении к людям двадцатых годов — две разные сто-

роны типа» (там же, с. 435—436). Это наблюдение критика может быть пополнено еще одной параллелью: очерк того же типического характера был намечен Тургеневым также в «родословной Лаврецкого», где упомянут «родной прадед Федора Ивановича, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой» («Дворянское гнездо», гл. VIII).

В мемуарной литературе о Тургеневе имеется свидетельство, что в истории Лучинова писатель использовал семейные предания рода Лутовиновых. М. А. Щепкин, описывая в своих воспоминаниях усадьбу и барский дом в Спасском, рассказывает о висевшем в столовой старинном портрете: «На нем был изображен мужчина в зеленом камзоле ⟨кафтане⟩ екатерининских времен, обшитом галуном, в трехугольной шляпе. Портрет был проколот, по-видимому, шпагой, как раз на месте сердца изображенного мужчины. Не трудно было узнать в этом портрете прототип картины, описанной Тургеневым в одной из его повестей — „Три портрета". Предание, вполне схожее с содержанием тургеневской повести, долго держалось среди старых дворовых». И дальше Щепкин ссылается на рассказы старика бурмистра и бывшей горничной Варвары Петровны о том, что «дядя матери Ивана Сергеевича, Иван Иванович Лутовинов, сделал роковой прокол» (*ИВ*, 1898, № 9, с. 911. Этот портрет в настоящее время утрачен). Н. М. Гутьяр в статье «Предки И. С. Тургенева» также указывал, что герой «Трех портретов» «Василий Иванович Лучинов, умный, изворотливый, смелый до дерзости и человек без всякой нравственности — один из сыновей Ивана Андреевича Лутовинова, очевидно, младший — Иван Иванович» (Гутьяр Н. М. Иван Сергеевич Тургенев. Юрьев, 1907, с. 14). В «Записках» В. А. Бакарева, относящихся к 1850—1860-м годам, сохранился «Рассказ о П. И. Лутовинове»: «У Лутовинова было более пяти тысяч душ крестьян и бездна денег; он был холостой; у него была сестра девушка, о которой узнал он, что к ней ездит сосед. В одну ночь поймал он его у ней, велел тащить его на псарный двор, где беспрерывно варилась всякая падаль для корму собак, туда хотел он молодца бросить, но один из людей его, увидав беду, ударил в набат и тем спас бедного, избитого до полусмерти!» (*Т и его время*, с. 315). Л. В. Крестова, опубликовавшая отрывок из «Записок» Бакарева, справедливо отметила, что «эпизод с соседом вводит в ту духовную атмосферу, в которой разыгрывалась драма „Трех портретов"» (там же, с. 316), но при этом внесла в мемуарный рассказ поправку: он должен быть отнесен не к родному деду Тургенева П. И. Лутовинову, а к брату последнего — Алексею Ивановичу (1747—1796).

С «Записками охотника» и с отраженной в них русской действительностью «Три портрета» сопоставлены в статье: Громов В. А. Об идейно-художественной связи повестей И. С. Тургенева 40—50-х годов с «Записками охотника» («Три встречи», «Три портрета»).— Межвузовский тургеневский сборник. Орел, 1963, с. 60—72. (Уч. зап. Орлов. гос. пед. ин-та, т. 17.)

В 1858 г. «Три портрета» в авторизованном переводе Кс. Мармье были включены в сборник повестей и рассказов Тургенева, изданный в Париже (*1858*, *Scènes*, *I*). В том же году с

французского повесть была переведена на венгерский язык («Délibáb», № 46—48).

В немецком переводе «Три портрета» вышли в томе «Drei Novellen» (вместе с «Дворянским гнездом» и «Муму») в 1870 г. в Митаве (изд. Э. Бере). См. об этом: Dornacher K. Bibliographie der deutschsprachigen Buchausgaben der Werke I. S. Turgenevs 1854—1900.— Pädagogische Hochschule «Karl Liebknecht». Potsdam Wissenschaftliche Zeitschrift. Jg. 19/1975. H. 2, S. 286.

Стр. 80. *Он был рожден «для жизни мирной, для деревенской тишины»...*— Цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин» (глава первая, строфа LV).

Стр. 81. *...когда приходилось перескакивать волка или лисицу...*— Перескакивать — охотничье выражение: отреза́ть путь зверю, перенимать его во время охоты.

...зачичкало.— Зачичкаться — областное слово курского и орловского говоров: съежиться, захилеть, спасть с тела, похудеть (Даль). См. это же слово в письме Тургенева к В. Н. Кашперову от 5(17) января 1857 г.: «Не дайте своему таланту ни заснуть, ни рассыпаться на мелочи, ни, говоря орловским слогом, зачичкаться, то есть до времени высохнуть».

Стр. 82. *...«по строгим правилам искусства».*— Несколько измененная цитата из «Евгения Онегина» (глава шестая, строфа XXVI).

...с восторгом упоминали о двух знаменитых «угонках».— Угонка — момент во время псовой охоты, когда заяц, чувствуя, что собаки настигают его, внезапным прыжком круто меняет направление бега.

Разговоры имеют свои судьбы — как книги (по латинской пословице)...— Намек на латинскую поговорку: «Habeant sua fata libelli» (Книги имеют свою судьбу).

Стр. 83. *...с большими стразовыми пуговицами...*— В конце XVIII в. возникла мода на пуговицы и другие изделия из стекла, имитирующего драгоценные камни. Эти изделия назывались стразами по имени немецкого ювелира Страза, который изобрел способ изготовления искусственных драгоценных камней.

Стр. 91. *...русские девицы начали почитывать романы вроде Похождений маркиза Глаголя, Фанфана и Лолоты, Алексея, или Хижины в лесу...*— Приключения маркиза Г., или Жизнь благородного человека, оставившего свет. Соч. аббата Прево. Перевод с французского И. Елагина и В. Лукина, 6 частей. СПб., 1756—1761; этот роман был переиздан в 1780 и 1793 годах. Роман Ф.-Г. Дюкре-Дюмениля «Лолота и Фанфан, или Приключения двух младенцев, оставленных на необитаемом острове» в переводе Ф. Розанова был издан в 1789 г. и в дальнейшем несколько раз переиздавался. Его же роман «Алексис, или Домик в лесу, манускрипт, найденный на берегу реки Изеры и изданный в свет сочинителем Лолоты и Фанфана» в переводе Алексея Печенегова издавался в 1794, 1800 и 1804 гг. Названные Тургеневым романы Дюкре-Дюмениля сохраняли свою популярность в России еще в первые десятилетия XIX в. Белинский писал о них: «...мы не без сердечного трепета вспоминаем иногда романы Радклиф, Дюкре-Дюминиля и Августа Лафонтена и, смеясь над ними, все-таки

любим их, как добрых друзей нашего мечтательного детства...» (*Белинский*, т. 6, с. 518).

Мужчины на свете Как мухи к нам льнут...— Ария из комической оперы «Леста, днепровская русалка», переделанной Н. С. Краснопольским из популярной немецкой оперы «Das Donauweibchen», музыка Кауэра, либретто Генслера. Опера была поставлена в Петербурге в 1803 г. и затем обошла все провинциальные сцены и удержалась в репертуаре до конца двадцатых годов. Историк русской оперы, упоминая о блестящем исполнении певицами Болиной и Сандуновой арий Лесты, свидетельствует: «У барынь и барышней из мелкого чиновничьего быта не сходила с клавикорд ария Лиды „Мужчины на свете как мухи к нам льнут“» (Морков В. Исторический очерк русской оперы. СПб., 1862, с. 59; см. также: Арапов П. Н. Летопись русского театра. СПб., 1861, с. 164).

Стр. 92. *...Ольга Ивановна родилась в 1757 году...*— Это указание не соответствует другим хронологическим данным, содержащимся в рассказе, согласно которым Ольга Ивановна появилась в доме Лучиновых грудным ребенком около 1769 г. Следует отметить, что в издании *1858*, *Scènes*, *I* эта фраза была исключена.

...в ее время об эмигрантах не было еще и помина.— В результате революции 1789—1793 гг. началась массовая эмиграция французских дворян и аристократов во многие страны Европы, в том числе и в Россию. Русские дворяне охотно приглашали эмигрантов в учителя и гувернеры к своим детям, так как они в совершенстве владели светскими манерами и изысканным произношением. Упоминание об одном из таких эмигрантов см. в рассказе Тургенева «Льгов» (наст. изд., Сочинения, т. 3).

...Ольгу Ивановну сговорили за соседа — Павла Афанасьевича Рогачева...— Прототипом Ольги Ивановны была младшая сестра Лутовиновых, Дарья; прообразом Рогачева — Николай Рыкачев (в некоторых документах он именуется Рогачевым). Подробнее об этом см.: Чернов Н. Лутовиновская старина. Вступление к биографии.— Литературная газета, 1968, № 36, 4 сентября.

Стр. 93. *...«для контенансу»...*— Французское: par contenance — для приличия, чтобы соблюсти известные правила. Тургенев неоднократно применял это выражение — в «Петушкове» (наст. том, с. 162), в «Отцах и детях» (глава XVI), в своих письмах. Но, по-видимому, оно было свойственно лишь французскому языку русских дворян,— Кс. Мармье в своем переводе «Трех портретов» исключил его из текста рассказа (*1858*, *Scènes*, *I*, p. 310).

Стр. 96. *...сбивал головки цикорий, этих глупеньких желтых цветков...*— Цикорий — одно из народных названий одуванчика. Настоящий цикорий цветет голубыми цветами.

...«быстрее быстрой лани»...— Неточная цитата из поэмы Лермонтова «Беглец». У Лермонтова: «быстрее лани».

Стр. 102. *...закупать мухояру на кафтаны своим челядинцам.*— Мухояр (от арабского: muhajjar) — старинная дешевая хлопчатобумажная ткань с примесью шелка или шерсти.

Стр. 105. *В то время все дворяне носили шпаги при пудре...* По моде XVIII в. дворяне в парадных случаях надевали шпаги и пудреные парики.

ЖИД

(с. 108)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Совр, 1847, № 11, отд. I, с. 138—154.
Т, *1856*, ч. 1, с. 175—203.
Т, *Соч*, *1860—1861*, т. 2, с. 109—126.
Т, *Соч*, *1865*, ч. 2, с. 127—147.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 2, с. 123—143.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 3, с. 123—143.
Т, *Соч*, *1880*, т. 6, с. 129—149.

Автограф рассказа не сохранился.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1847, № 11, с подписью: *** (ценз. разр. 31 октября 1847 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому этого издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по всем другим источникам текста:

Стр. 114, *строка 32:* «передо мною» вместо «пред мною».

Стр. 120, *строка 13:* «Феодор Карлыч» вместо «Федор Карлыч».

Стр. 120, *строка 37:* «Силявка» вместо «Селявка».

Стр. 121, *строка 32:* «крикнул я ему» вместо «кликнул я ему».

Датируется 1846 годом на основании помет Тургенева в издании 1856-го года и в последующих. Никаких данных об источниках сюжета и об обстоятельствах написания этого произведения нет. Но, вероятно, в основе его — действительное происшествие, рассказанное Тургеневу, который и впоследствии не раз проявлял интерес к вопросу о смертной казни. Так, в его стихотворении в прозе «Повесить его!» (1882) генерал в условиях военного времени выносит приговор о повешении (на этот раз ни в чем не повинному солдату), приговор, не подлежащий обжалованию и тотчас же приводимый в исполнение.

«Жид» был передан Тургеневым в «Современник», по-видимому, еще до отъезда за границу, т. е. до 12 января 1847 г. Некрасов включил его в июньскую книжку журнала за 1847 г. Однако неожиданно возникшие цензурные трудности задержали напечатание рассказа на пять месяцев. Первоначально «Жид» был беспрепятственно пропущен цензором М. С. Куторгой, но затем «приостановлен» вторым цензором И. И. Ивановским. Об этом в письме от 24 июня 1847 г. Некрасов сообщал в Зальцбрунн Белинскому, Тургеневу и Анненкову, отвечая на их не дошедшее до нас письмо, в котором они выражали свое недоумение по поводу изменившегося к худшему содержания шестой книжки журнала: «А в помещении рассказа Бартенева виноват я,— как у нас *не стало* в этом № двух романов да еще рассказа „Жид“, который мы было *хотели* напечатать без имени, то с горя и попали тут и „Петербургское купечество“ и рассказ *Бартенева*» (*Некрасов*, т. X, с. 70). В один из ближайших после этого месяцев Некрасов сделал попытку спасти рассказ с помощью А. В. Никитенко,

который по его просьбе просмотрел присланную из редакции корректуру «Жида» и вернул ее со своей подписью и с какими-то, очевидно, незначительными поправками. 18 октября Некрасов просил у него разрешения переслать эту подписанную корректуру второму цензору И. И. Срезневскому: «У меня сохранились поправленные Вами корректуры рассказа „Жид“, который несколько месяцев назад был пропущен Куторгой, но приостановлен Ивановским. Я бы желал послать Ваши корректуры этого рассказа к Срезневскому, и если он их подпишет, то рассказ можно бы набрать и напечатать. Что Вы на это скажете? Жду Вашего разрешения» (там же, с. 81). По-видимому, осторожный Никитенко захотел еще раз просмотреть рассказ — 21 октября Некрасов снова послал ему корректуру (там же, с. 81). Все эти хлопоты привели в конце концов к положительному результату — рассказ попал в № 11 «Современника», о чем Некрасов и написал тотчас же Тургеневу и Анненкову: «В этой книжке, между прочим, Тургенева „Жид“, *без подписи его имени*» (письмо от 28 октября 1847 г.— там же, с. 84). Можно думать, что, печатая рассказ без подписи автора (и дважды подчеркивая это в своих письмах), Некрасов выполнял просьбу самого Тургенева.

В последующих изданиях текст рассказа оставался без сколько-нибудь значительных изменений. Тургенев ограничивался внесением мелких стилистических и лексических исправлений; в частности, им были уточнены языковые характеристики Гиршеля и генерала-немца.

В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский, заканчивая «критический перечень всего сколько-нибудь замечательного, что явилось в прошлом году по части романов, повестей и рассказов», назвал и новый рассказ Тургенева (*Белинский*, т. 10, с. 350). Другие же критики обошли его молчанием. В 1857 г. Дружинин в своей статье о повестях и рассказах Тургенева посвятил «Жиду» несколько похвальных строк: «Повесть „Жид“, набросанная в 1846 году, замечательна по крайней простоте замысла и изложения; она, очевидно, написана в светлые минуты для г. Тургенева и оттого стоит войти в собрание „избранных произведений“ нашего автора, если ему когда-нибудь вздумается издать в свет подобное собрание» (*Дружинин*, т. 7, с. 322).

Из известных нам прижизненных переводов рассказа наиболее ранним был украинский, опубликованный во Львове (журнал «Боян», 1867, № 17—19). В 1869 г., в сборнике повестей и рассказов Тургенева «Nouvelles moscovites», изданном в Париже, появился французский перевод «Жида»; перевод был осуществлен А. И. Делаво — указание на титульном листе, что перевод этого рассказа принадлежит Мериме, не соответствует действительности (см.: К л е м а н М. К. И. С. Тургенев и Проспер Мериме.— *Лит Насл*, т. 31—32, с. 723—727; см. также: Г о р о х о в а Р. М. К истории издания сборника Тургенева «Nouvelles moscovites».— *Т сб*, вып. 1, с. 261—262). Об этом переводе Тургенев писал 13(25) декабря 1861 г. Валентине Делессер. Мериме упоминает о нем же в письме к В. Делессер от 22 декабря 1861 г., см.: M é r i m é e Pr. Correspondance générale. Toulouse, 1956, 2 série, t. 4, p. 434).

И. Тэн, сравнивая Тургенева с Дж. Элиот и отдавая предпочтение русскому романисту, писал Ш. Рихтеру 19 июля н. ст.

1877 г.: «...этот писатель совершенный стилист, и, единственный в своем роде в мире, стилист простой; наконец, он краток, и, добавлю я в заключение, он великий поэт». В подтверждение своих суждений И. Тэн называл «Призраки», «Жид» и «Новь» (Муратов А. Б. Письма к И. С. Тургеневу и письма о нем. Ипполит Тэн.— *Т сб*, вып. 5, с. 514).

В 1870-х годах появились три чешских перевода рассказа — «Žid», перевел F. Mach (журнал «Květy», 1870), «Žid», перевел V. Vitímcký (журнал «Slavia», 1877) и «Juda», перевел V. Klíma (журнал «Česka Včela», 1878),— и венгерский («Figyelö», 1871, № 15, 16).

Стр. 108. *Дело было в тринадцатом году, под Данцигом.*— В конце 1812 — начале 1813 г. генерал Рапп собрал в крепости Данциг остатки «великой армии» в количестве около сорока тысяч человек. В январе 1813 г. части армии Витгенштейна — казачий отряд под командованием Платова — подошли к Данцигу, но по недостатку сил ограничились лишь наблюдением за крепостью. Правильная осада города продолжалась с августа до конца декабря 1813 г., когда французы капитулировали (см.: Богданович М. И. История войны 1813 года за независимость Германии. СПб., 1863. Т. I, с. 367—368).

Сидишь себе ∽ в каком-нибудь ложементе...— По определению «Военно-энциклопедического лексикона» (изд. 2, 1852) «ложементы состоят из неглубокого рва и бруствера впереди»; они «служат для помещения стрелков, а иногда и орудий» во время осадных работ.

...и присел на гласис.— «Гласис — треугольная призматическая насыпь земли впереди наружного края рва укреплений» («Военно-энциклопедический лексикон»).

Стр. 109. *...напрашивался в факторы...*— Фактор — комиссионер, исполнитель частных поручений.

Стр. 110. *Прошла рунда.*— Рунда (от франц. la ronde) — ночной дозор, объезд постов, выставленных для охраны расположения войска.

Стр. 123. *Так будьте же вы прокляты ∽ проклятием Дафана и Авирона...*— Это проклятие происходит от библейской легенды об исходе евреев из Египта в землю Ханаанскую. В пустыне Дафан и Авирон подняли мятеж против Моисея, призывая народ избавиться от лишений и вернуться в Египет. Мятежники были прокляты Моисеем, по слову которого земля разверзлась и поглотила их вместе с семьями и со всем имуществом (см.: Библия, Книга Чисел, гл. 16, ст. 1—34).

ПЕТУШКОВ

(с. 124)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф главы VIII, л. 1—4. Хранится в *Bibl Nat*, шифр: 6.M.3. Микрофильм — в *ИРЛИ*. Заглавие: «Сцена в „П⟨етушков⟩е“»; на полях запись: «Прибавленная сцена к „Петушкову“». Автограф впервые описан А. Мазоном (*Mazon*, с. 61).

Беловой автограф главы VIII, л. 1—2. Хранится в *Bibl Nat*, шифр: 3.М.2(а). Микрофильм — в *ИРЛИ*. Без заглавия. Описан впервые А. Мазоном (*Mazon*, с. 54).
Совр. 1848. № 9, отд. 1, с. 5—46.
Т, *1856*, ч. 1, с. 240—269.
Т. Соч, *1860—1861*, т. 2, с. 127—167.
Т. Соч. *1865*, ч. 2. с. 149—199.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 2, с. 145—194.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 2, с. 145—193.
Т, *Соч*, *1880*, т. 6, с. 151—200.

За исключением названных выше, автографы повести не сохранились.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1848, № 9, с подписью: И. Тургенев (ценз. разр. 31 августа 1848 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому этого же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 126, *строка 26:* «тщательно натянул» вместо «тщательно натянув» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 126, *строка 41:* «заглянул па двор» вместо «взглянул на двор» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 128, *строки 36—37:* «как следует быть господин» вместо «как следует быть господином» (по *Совр*, *Т*, *1856*, *Т*, *Соч*, *1860—1861*, *Т*, *Соч*, *1865*).

Стр. 139, *строка 21:* «пробежал он до самого рынка», вместо «побежал он до самого рынка» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 143, *строки 25—27:* «пришел в булочную и, как только улучил свободное время, усадил Василису и начал читать» вместо «пришел в булочную и начал читать» (по всем печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1874*). В изд. 1874 г.— незамеченная ошибка набора (выпадение строки).

Стр. 144, *строки 36—37*: «грустное понимание жизни» вместо «грустное поминание жизни» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 147, *строка 17:* «Чего изволите?» вместо «Чего извольте?» (по *Т*, *Соч*, *1860—1861*, *Т*, *Соч*, *1865*, *Т*, *Соч*, *1868—1871*, *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 153, *строка 9:* «Вот хоть бы изволите знать» вместо «Вот хоть бы извольте знать» (по всем печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Датируется 1847 годом на основании пометы Тургенева в *Т*, *1856* и в последующих изданиях. Материалы писем Тургенева и Белинского конца 1846 — начала 1847 г. дают возможность уточнить время работы писателя над повестью.

Вернувшись 17—18 октября ст. ст. 1846 г. из деревни в Петербург, Тургенев собирался вскоре ехать в Париж, однако по каким-то причинам (вероятнее всего, денежного порядка) он смог выехать за границу только 12 января 1847 г. Осенне-зимние месяцы в Петербурге прошли для Тургенева в напряженной творческой работе, о которой он писал 3(15) декабря 1846 г.

П. Виардо: «Я был очень занят всё это время, занят и до сих пор благодаря нашему новому журналу ⟨. . .⟩ Я взял на себя некоторые обязательства, хочу их выполнить и выполню». Можно думать, что среди если не написанных, то задуманных в эти месяцы произведений, наряду с первыми «рассказами охотника», стихотворениями и рецензиями, был и «Петушков».

Обращение Тургенева к гоголевской теме, попытку его овладеть стилистической системой Гоголя вернее всего отнести к январю 1847 г., когда в связи с выходом «Выбранных мест из переписки с друзьями» Белинский и его единомышленники поняли необходимость защиты реалистического творчества Гоголя от Гоголя — проповедника и моралиста и от реакционной критики, пытавшейся, опираясь на заявления самого Гоголя, зачеркнуть всё его предшествующее художественное творчество. Выполнению этой задачи Белинский посвятил несколько страниц в своей рецензии на «Выбранные места», написанной в январе и появившейся в февральской книжке «Современника» (см.: *Белинский*, т. 10, с. 72—76). Художественным аргументом в пользу жизненной силы и актуальности гоголевской манеры и должен был явиться «Петушков». Первый из известных нам откликов на эту повесть содержится в письме Белинского к В. П. Боткину от 15—17 марта 1847 г.: «Тургенев ⟨. . .⟩ прислал рассказец (3-й отрывок из „Записок охотника“) — недурен; и повесть — ни то ни сё» (*Белинский*, т. 12, с. 352—353). Всё сказанное позволяет отнести окончание работы над «Петушковым» к февралю 1847 г.

Свои замечания относительно повести Белинский, видимо, передал Тургеневу устно, при встрече за границей. Этим и была, вероятно, вызвана просьба Тургенева к Некрасову выслать ему рукопись, что последний и обещал сделать (в письме от 24 июня — см.: *Некрасов*, т. X, с. 71). Но обещание это почему-то выполнено не было. Повесть была включена в программу «Современника» на 1848 г. (объявление помещено в *Совр*, 1847, № 9). 14(26) ноября 1847 г. Тургенев писал в связи с этим Белинскому в Петербург: «Из программы „Сов⟨ременника⟩“ вижу я, что хотят печатать моего „Поручика Петушкова“. Так как они мне его не вышлют, то будьте великодушны, отметьте карандашом места слабые и попросите от меня Некрасова в нескольких словах их исправить — как-то: *ясно* сказать, что Василиса его любовницей сделалась [1] и пр. и пр.».

То, что «Петушков» был напечатан только в сентябре, следует отнести за счет крайне трудных для «Современника» обстоятельств, сложившихся с весны 1848 г. в связи с мерами правительства, направленными против передовой литературы, в первую очередь против «натуральной школы». В положившем начало «эпохе цензурного террора» «всеподданнейшем докладе» А. Ф. Орлова в вину «Современнику» и «Отечественным запискам» ставилось восхищение «произведениями одного Гоголя,

---

[1] Очевидно, Некрасовым была вставлена фраза (см. наст. том, с. 137): «Иван Афанасьич, говоря слогом возвышенным, достиг своей цели». Отсутствие наборной рукописи и корректур «Петушкова» не дает возможности судить о правке, произведенной Белинским и Некрасовым.

которого писатели натуральной школы считают своим главой», и одобрение «только тех писателей, которые подражают Гоголю». Далее Орлов писал: «...превознося одного Гоголя, писатели натуральной школы вдались также в чрезмерную крайность; они хвалят только те сочинения, в которых описываются пьяницы, развратники, порочные и отвратительные люди, и сами пишут в этом же роде» (цит. по книге: Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература. 1826—1855 гг. Изд. 2, СПб., 1909, с. 175—177). Естественно, что в таких условиях «Петушков» не мог не привлечь придирчивого внимания напуганной цензуры. Повесть появилась в журнале со многими цензурными изменениями. Изъятым оказалось всё, что указывало на офицерское звание Петушкова, вплоть до «огромных полинявших эполет» на его старом сюртуке, которые были заменены на «огромные полинявшие пуговицы». Большая часть цензурных искажений была снята Тургеневым в издании 1856 г. Несколько мест, оставшихся незамеченными, были исправлены в *Т, Соч, 1860—1861.*

При подготовке повести к изданию 1856 г. (а отчасти и в последующие годы) Тургенев внес в текст ряд исправлений художественного порядка. Он снял некоторые излишние детали в описаниях мещанского быта, устранил излишества в употреблении стилевых элементов, характерных для школы «сантиментального натурализма», по определению Ап. Григорьева. Наряду с этим Тургенев ввел новые комические детали, придающие рассказу бóльшую выразительность. Так, он дополнил в *Т, 1856* изображение «толстой бабы» сравнением: «выставила руку, обнаженную до самого плеча, *более похожую на ногу, чем на руку*», а в следующем издании улучшил его: «*более похожую на ляжку, чем на руку*»; в *Совр* Иван Афанасьевич заговаривал с Василисой «с сладостной улыбкой», в 1856 г. эпитет был снят, а в 1865 г. художник нашел другой образ, вполне его удовлетворивший: «*семеня ножками*». В 1874 г. он добавляет комическое пояснение к описанию «купчика-попрыгунчика»: «пальцами, растопыренными в виде рогульки, *чтобы* не сползали».

В начале 1860-х годов Тургенев написал для «Петушкова» «Прибавленную сцену», которая составила главу VIII повести и была впервые напечатана в издании 1865 г. Вводя эту главу, рисующую начальственный разнос, которому подверг бедного Петушкова майор, командующий гарнизоном, Тургенев усиливал сатирическое звучание повести и еще больше подчеркивал приниженность ее главного героя. Хранящиеся в Парижской Национальной библиотеке черновой и беловой автографы этой главы и их сопоставление с окончательным текстом, появившимся в печати, отражают творческий процесс ее создания.

Как обычно у Тургенева, основной замысел сцены и ее композиционный план, зафиксированные на первой стадии работы (нижний слой чернового автографа), в дальнейшем не подвергались никаким изменениям. Вся работа писателя — от черновика до печатного текста — была сосредоточена на тщательной отделке стилевой ткани отрывка, на его обогащении новыми художественными деталями. Так, первый ответ солдата на вопрос Петушкова сопровождался первоначально краткой ремаркой: «крикнул солдат». Позднее она расширяется, и с каждым новым штрихом усиливается художественная выразительность этой

сцены: «крикнул, словно во сне, солдат»; «усиленно крикнул, словно спросонья, солдат»; и, в конце концов, в печатном тексте: «усиленно, но чуть слышно, словно спросонья, крикнул солдат».

Большую работу провел Тургенев над образом майора. На основной его рисунок, набросанный уже в самом начале («Он принадлежал к числу так называемых „бурбонов“, т. е. выслужившихся солдат»), Тургенев как бы накладывает новые мазки, которые придают фигуре майора бóльшую живописность и бóльшую сатирическую заостренность. Так, только во втором слое черновика описание внешнего облика майора дополняется новой фразой: «Он застал его сидящим на диване в шлафроке нараспашку и с трубкою в зубах»; и только во втором слое белового автографа рядом с майором появляется «толстый корноухий кот» — своего рода двойник «тучного и неуклюжего» майора. В черновике еще полностью отсутствует угроза порки («я бы просто выпорол вас») — этот мотив вводится лишь в процесс правки белового автографа. В результате ряда исправлений и дополнений речь майора становится еще более грубой и категоричной. Окрик: «А вы у меня не рассуждайте!» заменяется более энергичным: «А у меня не рассуждать!»; «Знаться можете с кем угодно» — на: «Знаться можешь с кем угодно»; на полях черновика появляется фраза о «бабе мокроподолой», в беловой текст вписывается восклицание: «Поведенц первый сорт!». См. также раздел «Варианты» в издании: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. V, с. 462—465.

Критические отзывы о «Петушкове» были немногочисленны. Сейчас же после выхода в свет книжки «Современника» с новой повестью Тургенева Некрасов писал ему: «Недавно (в IX №) напечатали мы Вашу повесть „Петушков“, повесть эта хороша и отличается строгой выдержанностью — это мнение всех, с кем я о ней говорил. Мне она и прежде очень нравилась, и я очень рад, что не ошибся в ней» (письмо от 12 сентября 1848 г.— *Некрасов*, т. X, с. 115). Дружинин в своей большой статье о повестях и рассказах Тургенева (1857), в соответствии с общими своими эстетическими воззрениями, осудил «Петушкова», причислив его вместе с «Тремя портретами» и «Разговором на большой дороге» к самому слабому «как по форме, так и по миросозерцанию, в них выраженному», разряду ранних повестей Тургенева (*Дружинин*, т. 7, с. 324). По словам критика, повесть «производит на читателя впечатление неловкое и неприятное. Здесь Тургенев смелейшими шагами подходит к океану жизненной пошлости, но едва устремивши взоры в эту бездну, так не подходящую ко всему складу его дарования, сам пугается своей смелости, а затем повторяет зады, давно уже сказанные гораздо лучше». Расшифровывая далее этот намек на влияние Гоголя, Дружинин заключает: «По всей повести, в ослабленном виде, высказывается взгляд великого юмориста, его манера, даже особенности его слога, вкравшиеся туда, по всей вероятности, независимо от произвола ее автора» (там же, с. 322—323).

Ап. Григорьев в статье «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо“» (*Рус Сл*, 1859, № 4) значительно глубже истолковывает связь «Петушкова» с «натуральной школой» и традициями Гоголя. Он противопоставляет Тургенева «чистому натурализму», под которым понимает «изображение действительности без идеала, без возвышения над нею»

(в качестве примера такого «натурализма» он называет «Обыкновенную историю» Гончарова и произведения Писемского). «Творчество Гоголя проникнуто сознанием идеала, так называемая натуральная школа — болезненным юмором протеста. И понятное дело, что талант Тургенева, впечатлительный и чуткий на всё, отозвавшийся на натуральную школу замечательным рассказом „Петушков", ⟨. . .⟩ не отозвался только на современный *чистый* натурализм» (*Григорьев*, с. 308—309). Главный смысл творчества Тургенева в конце сороковых годов Григорьев видит в обращении к простой действительности: «И вот у Тургенева начинается целый ряд „рассказов" охотника, с одной стороны, и ряд попыток сантиментального натурализма, с другой, из которых самая удачная — „Петушков", самые неудачные — драмы „Холостяк" и „Нахлебник"» (там же, с. 314).

В последующей критической литературе о Тургеневе отзывы о «Петушкове» были весьма редкими и краткими. В общих трудах о творчестве писателя эта повесть лишь упоминалась, как правило, со ссылкой на ее оценку Дружининым.

В. В. Виноградов в статье «Тургенев и школа молодого Достоевского (конец 40-х годов XIX века)» отмечал, что в «Петушкове» «гоголевский элемент играет гораздо бо́льшую роль», чем в других произведениях Тургенева, написанных в это же время. Итоги стилистического изучения «Петушкова» Виноградов формулировал следующим образом: «Стиль рассказа „Петушков" сложен. В нем объединились и специфические качества индивидуального стиля Тургенева — индивидуальные ростки, пробивающиеся через толщу установившейся к середине 40-х годов общей системы „натурального" изображения, и своеобразно отобранные приемы гоголевского стиля, и новые принципы речевой характеристики персонажа и его речеведения, выдвинутые Ф. М. Достоевским. Естественно, что манера Достоевского больше всего дает себя знать в форме изображения Петушкова, гоголевская система — в приемах рисовки слуги Онисима и в общей структуре повествовательного стиля, индивидуальные приемы стиля Тургенева — в обрисовке образа Василисы, а отчасти и ее тетки, в способах спайки разных элементов или частей сюжета» (Русская литература, 1959, № 2, с. 49).

Первым из прижизненных переводов «Петушкова» на иностранные языки был, по-видимому, чешский, появившийся в 1863 г. («Láska Pětuškova», журнал «Lumír», перевел E. Vavra). Во Франции «Петушков» стал известен по сборнику повестей и рассказов Тургенева «Nouvelles moscovites» (1869). Хотя на титульном листе этой книги в качестве переводчика «Петушкова» назван Мериме, в действительности он только отредактировал перевод, выполненный А. И. Делаво. Об этом Тургенев писал 26 марта (7 апреля) 1862 г. В. П. Боткину: «Представь, Мериме здесь — ему очень понравился „Петушков", и собирался прочесть его со мною. Ни одной строки он не оставил так, как ее написал Делаво». Критические замечания по поводу двух мест в переводе «Петушкова» Мериме высказал в письме к Тургеневу от 5 апреля 1862 г. (P a r t u r i e r M. Une amitié littéraire. Pr. Mérimée et J. Tourguéniev. Paris, 1952, p. 75—76). Немецкий перевод повести появился в 1874 г. («Petuschkoff» — «Sonntags-Blatt», 1874, № 14—19).

С т р. 138. *Ливер* — насосная трубка для выкачивания напитков из бочек.

С т р. 143. *Нашел он несколько разрозненных томов «Библиотеки для чтения» ⟨...⟩ первую часть «Рославлева».*— Этот пестрый перечень разрозненных книг превосходно характеризует умственный кругозор и примитивные вкусы героя повести. «Библиотека для чтения», издававшаяся с 1834 г., пользовалась успехом преимущественно среди провинциальных дворян, городского мещанства, мелкого чиновничества. Упоминание этого журнала в данном контексте могло иметь и издательский смысл, поскольку его редактор О. И. Сенковский всегда выступал в качестве противника Гоголя и «натуральной школы». О «серых московских романах» см. примеч. к с. 23. Неточно названный «арифметикой» учебник Назарова — «Практическая геометрия ⟨. . .⟩, сочиненная для обучающегося благородного юношества Степаном Назаровым», СПб., 1761 (3-е изд.— 1775). «География детская (новейшая) о всех четырех частях света», изд. Г. Венелина, СПб., 1792 (5-е изд.— 1820). «Руководство к познанию всеобщей политической истории», соч. Ивана Кайданова, 3 части, СПб., 1821 (выдержала 13 изданий). Месяцесловы издавались с последних десятилетий XVIII в. Академией наук ежегодно. Как и другие выпуски этого издания, «Месяцеслов на 1819 год» содержал календарь, сведения о стоянии планет, восхождении и захождении солнца, роспись праздников, почтовые сведения и пр. Журнал «Галатея» издавался в 1829—1830 гг. С. Е. Раичем. Поэма И. И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» вышла в свет в 1826 г. Исторический роман М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» появился в 1831 г.

С т р. 154. *...в двадцатых годах это было в моде...*— Тургенев отнес действие «Петушкова» к 1820-м годам (ср. в начале повести: «В 182... году в городе О... проживал...»). Этому противоречит упоминание «Библиотеки для чтения» и романа Загоскина «Рославлев».

С т р. 157. *...тридцать семь рублей сорок копеек ассигнациею...*— См. примеч. к с. 9.

С т р. 162. *...для контенансу...*— См. примеч. к с. 93.

ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

(с. 166)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф: *ГПБ*, архив И. С. Тургенева, № 20, л. 1—31. Закончен 15(3) января 1850 г. в Париже.

Отеч Зап. 1850, № 4, отд. I, с. 323—352.

Для легкого чтения. т. I, с. 261—340.

Т. 1856, ч. 1, с. 271—353.

Т, Соч, 1860—1861, т. 3, с. 3—54.

Т, Соч, 1865, ч. 2. с. 243—300.

Т. Соч, 1868—1871, ч. 2, с. 195—252.

Т, Соч, 1874. ч. 2, с. 195—251.

Т, Соч, 1880, т. 6, с. 201—259.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1850, № 4, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 марта 1850 г.).

Печатается по тексту *Т, Соч, 1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому этого же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 166—167, строки 35—1: «видел я ее совершенно спокойной» вместо «видел я ее совершенно спокойно» (по всем другим источникам).

Стр. 169, строки 28—29: «Были у меня гувернеры и учителя» вместо «Были у меня гувернеры и учители» (по всем другим источникам). Форма «учители» *(Т, Соч, 1880)*, по-видимому, появилась в результате исправления корректора-архаиста (ср. в «Андрее Колосове»: «профессора» и «профессоры» — наст. том, с. 11).

Стр. 173, строка 38: «и когда я решался» вместо «и когда я решился» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 178, строка 28: «А! Я тоже люблю чижей» вместо «А я тоже люблю чижей» (по всем другим источникам).

Стр. 179, строка 22: «ядовитая горечь» вместо «ядовитая горесть» (по всем источникам до *Т, Соч, 1868—1871*).

Стр. 180, строка 25: «иногда и чиновники» вместо «иногда чиновники» (по всем источникам до *Т, Соч, 1860—1861*).

Стр. 180, строки 36—37: «со времени нашего знакомства» вместо «со времен нашего знакомства» (по всем другим источникам).

Стр. 182, строка 26: «с нерешительной улыбкой» вместо «с решительной улыбкой» (по всем другим источникам).

Стр. 183, строка 19: «но мог заметить» вместо «не мог заметить» (по всем другим источникам).

Стр. 185, строка 30: «Говорит» вместо «Говорят» (по всем источникам до *Т, Соч, 1868—1871*).

Стр. 193, строки 6—7: «он проводил у них все вечера» вместо «он проводил у них вечера» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 194, строки 3—4: «в собственном своем имении» вместо «в особенном своем имении» (по всем другим источникам).

Стр. 195, строки 28—29: «никто и не думал пригласить ее» вместо «никто не думал пригласить ее» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 196, строка 14: «оборотился ко мне» вместо «обратился ко мне» (по всем другим источникам).

Стр. 197, строка 24: «отвернулся от меня» вместо «вернулся от меня» (по всем другим источникам).

Стр. 208, строка 23: «ободряющее выражение» вместо «одобряющее выражение» (по всем другим источникам).

Стр. 209, строка 8: «пожал им обоим руки» вместо «пожал им обеим руки» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 214, строка 32: «прощальную песнь, песнь о собственном моем горе» вместо «прощальную песнь о собственном моем горе» (по черн. автогр.).

Стр. 214, строки 33—34: «Но умереть глухо, глупо...» вместо «Но умереть глупо, глупо...» (по всем источникам за исключением *Отеч Зап*).

Стр. 215, строки 1—2: «или оканчиваю» вместо «и оканчиваю» (по всем другим источникам).

Стр. 215, строки 19—20: «Смерть уже не приближается» вместо «Смерть уже приближается» (по всем другим источникам).

Работа над «Дневником лишнего человека» начата была Тургеневым в 1848 г. Первые, еще глухие, упоминания о новой «вещице», которую он предназначал для «Отечественных записок», содержатся в его письмах к Краевскому от 14(26) ноября 1848 г. и 1(13) марта 1849 г. В письме к нему же от 2(14) апреля 1849 г. Тургенев писал уже более ясно и определенно: «Вот Вам мои синицы: во-1-х. Род повести — под названием „Дневник лишнего человека". (Я думаю, что это хорошая вещь. Уже она совершенно кончена. Остается переписать.)» Перечислив далее другие вещи, которые смогут поддержать журнал («Вечеринка» и «Студент»), он вновь возвращается к первой повести: «„Дневник" Вы получите *непременно* через две недели». Однако, давая эти заверения, Тургенев заблуждался: последующая работа над повестью далеко не ограничилась «перепиской», а назначенный им самим двухнедельный срок растянулся на девять месяцев. Черновой автограф с его многочисленными вставками, с перестановками крупных кусков текста и с обильной мелкой правкой буквально на каждой странице наглядно свидетельствует о том, какой большой и напряженный творческий труд был вложен Тургеневым в эту его повесть уже после того, как она была готова вчерне.

Только 1(13) декабря 1849 г. Тургенев мог сообщить Краевскому, пока еще не давая точных сроков: «Я оканчиваю „Дневник лишнего человека" и, как только кончу, вышлю Вам». Через 13 дней Тургенев писал ему же: «...посылаю Вам переписанную треть „Дневника", вещи давно оконченной, но по непростительной моей лени и неряшеству до сих пор не переписанной вполне; я Вам посылаю это для того, чтобы доказать Вам, что этот „Дневник" — не миф; над остальными я буду трудиться денно и нощно — и будь я Булгарин, если через две недели Вы не получите окончания, *вместе с отчетом о „Пророке"*». В конце этого письма Тургенев снова возвращается к повести: «Я бы желал, чтобы „Дневник" Вам понравился: я его писал con amore» (письмо от 13(25) декабря 1849 г.). Назначенный самому себе срок Тургенев в тот же день записал для памяти на заглавном листе рукописи: «Я должен отправить этот Дн⟨евник лишнего⟩ ч⟨е⟩л⟨овека⟩ Краевскому через 15 дней, считая от 25 дек⟨абря⟩/13-го д⟨екабря⟩, то есть 10 янв⟨аря⟩ н. с./29-го дек⟨абря⟩ ст. ст.,— он получит его 20-го/8-го янв⟨аря⟩».

Однако в столь точно намеченный срок Тургенев смог выслать Краевскому только письмо о постановке в Париже оперы Мейербера «Пророк». Объясняя ему в письме от 28 декабря 1849 г. (9 января 1850 г.), что задержка с «Дневником» произошла из-за простуды, Тургенев продолжал: «Но я могу обещать Вам, что через неделю Вы получите окончание „Дневника"; к февральской книжке он поспеет».

Через неделю работа над повестью была закончена — в автографе появилась заключительная запись: «Конец. 15/3 января

1850. Ив. Тургенев». Еще неделя ушла на переписку последних листов повести, и только 10(22) января ее окончание было выслано Краевскому. В сопроводительном письме Тургенев выражал надежду, что повесть поспеет к февральской книжке журнала, и продолжал: «Кстати позвольте мне попросить Вас: во-1-х, позаботиться о том, чтобы не было опечаток; во-2-х, по напечатании прислать мне sous bande (как посылаются журналы) 2 экземпляра „Дневника" на мой счет; в-3-х, я, кажется, в одном месте назвал Лизиного отца Кирилой Афанасьевичем; следует напечатать: Кирило Матвеич; в-4-х, слова, отмеченные « », не печатать курсивом, а с теми же знаками. Извините мелочность этих замечаний; я почему-то воображаю, что „Дневник" хорошая вещь, и желал бы видеть ее выставленную лицом, как говорится». Таким образом, день 10(22) января 1850 г. нужно считать завершением первого этапа творческой работы Тургенева над «Дневником лишнего человека», того этапа, который предшествовал публикации повести.

В условиях продолжающегося правительственного гонения на передовую литературу, в первую очередь на «натуральную школу», новая повесть Тургенева появилась в апрельской книжке «Отечественных записок» в искалеченном цензурой виде. Извещенный Краевским о том, что произошло с повестью в недрах цензуры, Тургенев с горькой иронией писал ему 9(21) мая 1850 г.: «Сожалею об участи „Дневника" — тем более, что я никак не ожидал, чтобы цензура напала на такое невинное произведение — но судьбы неисповедимы. Ла Илла ил Алла, Магомед Резул Алла!!! — Я сильно начинаю склоняться к магометанской вере».

Ни наборная рукопись, ни цензурованные гранки повести не сохранились. Тем не менее, на основе сопоставления журнального текста с автографом и текстами прижизненных изданий сочинений можно достаточно ясно определить характер цензурной расправы, учиненной над «Дневником лишнего человека». Цензура исключила из повести ряд сатирических мест. сняла эпизоды и отдельные выражения, которые показались неприемлемыми с точки зрения официальной морали, а также всё, что затрагивало, хотя бы косвенно, область церковных догматов или правил. От первой записи (20 марта) остался один только начальный абзац — весь дальнейший рассказ Чулкатурина о его детстве, с сочувственной характеристикой его «порочного» отца и с иронической обрисовкой его «добродетельной» матери, со многими сатирическими деталями, был полностью изъят; в записи 23 марта было исключено сатирическое описание города О...; из характеристики уездных чиновников (в записи 24 марта) было устранено всё, что выражало авторскую иронию. Цензура удалила все упоминания о военном звании не только князя Н., но и скромного ротмистра Колобердяева (ср. подобную же цензурную правку в «Петушкове» — наст. том, с. 582). Исключены были такие обиходные выражения, как: «бог весть». «ей-богу», «господь с вами», не говоря уже о вполне вольнодумном с точки зрения догматов церкви замечании: «но в таком случае и сама вечность — пустяки»; даже совершенно безобидное выражение: «скромное тякание надтреснутого колокола» было заменено на официальное: «звон колокола».

Цензура вычеркнула из записи 29 марта весь рассказ о третьей встрече Чулкатурина с Лизой и всю следующую запись 30 марта. Вследствие этих, а также других, более мелких купюр, от темы «падения» Лизы в повести не осталось ни малейшего следа. Из остальных мест, вычеркнутых цензором, следует отметить еще: ироническое замечание о домашнем воспитании детей (с. 169, строки 25—27), о «краденых яблоках» и о детской влюбленности героя в горничную Клавдию (с. 171, строки 16—26), шутку о том, что мать Чулкатурина «обремизилась», родив его (с. 173, строки 23—28), автохарактеристику Чулкатурина как лишнего человека (с. 175, строки 17—32), его замечание о любви как о «болезни» (с. 185, строки 5—7), сравнение с собакой, которой «заднюю часть тела переехали колесом» (с. 204, строки 29—35).

Все цензурные купюры и искажения были восстановлены Тургеневым в изданиях *Для легкого чтения* и 1856 г. Предисловие к «Повестям и рассказам» он пометил мартом 1856 г., цензурное разрешение первого тома сборника *Для легкого чтения* было дано 27 марта. Следовательно, подготовку «Дневника лишнего человека» к новому изданию можно отнести к первым месяцам 1856 г.

Новая наборная рукопись повести (по-видимому, в изданиях *Для легкого чтения* и 1856 г. текст ее набирался с одного и того же оригинала) не сохранилась, однако характер работы Тургенева над повестью в 1856 г. может быть в известной мере выяснен. Анализ автографа и его сопоставление с текстом «Отечественных записок», с одной стороны, и с текстом изданий *Для легкого чтения* и 1856 г., с другой, позволяет сделать ряд выводов, весьма существенных для творческой истории повести. Полностью варианты чернового автографа опубликованы в кн.: *Т сб*, вып. 5, с. 5—111. Ниже приводится краткий перечень основных тезисов, установленных в результате изучения названных выше источников.

1. Поскольку в автографе почти все места, пострадавшие от произвола цензуры, подчеркнуты карандашом или отчеркнуты на полях, можно считать несомненным, что Тургенев обращался к этому автографу и после напечатания повести в «Отечественных записках». Это обстоятельство дает возможность выдвинуть предположение, что наборная рукопись не вернулась к автору и что Тургенев во время подготовки нового издания повести имел в своем распоряжении только ее черновой автограф, по которому он и работал.

2. Журнальный текст отличается от автографа не только цензурными купюрами: некоторые из вариантов «Отечественных записок», явно не имеющие цензурного характера, несомненно идут от автора, другие (большей частью мелкие стилистические разночтения) могли быть внесены либо автором, либо редакцией журнала. Авторскими следует признать те варианты «Отечественных записок», текст которых оказывается более распространенным, чем это было в автографе. Эти вставки и дополнения могли быть сделаны Тургеневым только в том перебеленном экземпляре, который был отправлен Краевскому в декабре 1849 — январе 1850 г. Ни один из этих распространенных вариантов не вошел в два последующих издания, хотя они безусловно улуч-

шали и обогащали текст. Это обстоятельство может служить дополнительным подтверждением мысли, что Тургенев в начале 1856 г. не располагал наборной рукописью повести и готовил новое издание по черновому автографу. При этом он, по-видимому, почти полностью игнорировал испорченный вмешательством цензуры журнальный текст.

3. Во многих случаях восстановленные Тургеневым по рукописи слова, фразы или целые отрывки не имеют в автографе никаких помарок или зачеркнутых вариантов — следовательно, здесь автор просто возвращался к первоначальному рукописному тексту.

4. В других случаях журнальный текст совпадает с автографом, а тексты изданий *Для легкого чтения*, 1856 г. и последующих дают новые варианты. Очевидно, эти новые варианты появились впервые в наборной рукописи 1856 г.

5. Особый текстологический интерес представляют те пострадавшие от цензурного вмешательства места, которым в черновом автографе соответствует текст, густо испещренный авторскими исправлениями, причем эти исправления в подавляющем большинстве имеют художественный характер. Вот один из примеров. Восстановленный в издании 1856 г. текст размышления Чулкатурина о себе как о лишнем человеке «с замочком внутри» — от слов «но так как я человек лишний» и до слов «Приступаю к обещанному рассказу» (с. 175, строки 16—32) — полностью соответствует верхнему слою автографа. Причем этот текст, вполне удовлетворивший автора и сохраненный им во всех последующих изданиях, явился в результате многочисленных зачеркиваний, вставок, перемарываний и т. п. Первоначальный же, нижний слой рукописи дает такой вариант этого текста: «...но так как я человек лишний — на которого, как я уже сказал, никто никогда не рассчитывал — то мне и не [хотелось] хочется никогда высказать свою мысль... ведь что не существует — то и говорить ведь не может. Мне даже странным кажется, как это люди говорят. То есть, признаться сказать, бывало у меня чесался язык — но почти всякий раз я [преодолевал эту слаб⟨. . .⟩] себя переламывал: [и сидя в сторонке] а вот мы лучше немножко помолчим — и успокоюсь. На молчанье-то мы все горазды — особенно наши барышни этим взяли; иная благородная русская девица так могущественно молчит, что даже подготовленный зритель пронимается холодным потом. Но дело не в том. Приступаю к [тому] рассказу [довольно впрочем скучн⟨. . .⟩]».

Не располагая наборной рукописью 1856 г., мы не можем с полной достоверностью установить, на каком этапе был выработан Тургеневым окончательный текст этого размышления — в 1849—1850 гг. или в 1856 г.— и какая часть сложной, многослойной правки должна быть отнесена к позднейшему этапу работы над повестью. Во всяком случае, это размышление, обогащенное по сравнению с первоначальным текстом новыми образами («с замочком внутри»), новыми оттенками мысли («наперед знаю, что я ее прескверно выскажу», «говорят, и так просто, свободно», «но действительно произносил слова я только в молодости»), живыми, просторечными интонациями («Экая прыть, подумаешь»), в большей мере характерно для вполне зрелого мас-

терства писателя в период подготовки им собрания «Повестей и рассказов», чем для более раннего времени, когда создавалась повесть.

6. Внося в 1856 г. многочисленные исправления художественного порядка в другие свои ранние повести, Тургенев не мог обойти в этом отношении и «Дневник лишнего человека», которым он очень дорожил. Эта правка и была произведена во многих местах автографа, который отражает, таким образом, творческую работу писателя на двух этапах, отделенных один от другого несколькими годами. Точное разграничение правки 1849—1850 гг. и 1856 г. является делом хотя и крайне затруднительным, но не совершенно безнадежным.

О том, как встречена была новая повесть Тургенева читателями-литераторами, можно судить по письму Е. М. Феоктистова от 21 февраля 1851 г., из Москвы, в котором он рассказывал Тургеневу: «Однажды Вам случилось быть героем вечера у гр. Ростопчиной. Я читал у нее Ваш „Дневник лишнего человека“ — было человек пять или шесть, не более, в том числе Островский и Писемский (автор „Тюфяка“ — существо дикое, необтесанное, но всё-таки очень замечательное). Повесть очень понравилась, но, разумеется, тотчас же подверглась критике со всевозможных сторон. Без сомнения, при этом благоприятном случае, упрекали ее в недостатке художественности — именно говорили, что за остротами г. Чулкатурина беспрестанно видны Вы сами,— что вообще господин вроде лишнего человека не может так говорить и острить в некоторых случаях, как Вы его заставляете. Посреди многого весьма дикого — так, например, Островский уверял, что в Вашей повести видно „неуважение к искусству“,— было сказано, однако, довольно много верных и ловких замечаний. Но всё-таки повесть всем ужасно понравилась и даже Островский хвалил сквозь зубы» (*ИРЛИ*, ф. 166, Л. Н. Майкова, ед. хр. 1539, л. 1).

Первый отзыв о «Дневнике лишнего человека» появился в «Современнике». Автором его был Дружинин, к этому времени уже вступивший на путь ревизии литературно-эстетических идей Белинского. В четырнадцатом письме из цикла «Письма иногороднего подписчика в редакцию „Современника“ о русской журналистике» (*Совр*, 1850, № 5, отд. VI, с. 80—85) он называет новую повесть Тургенева «самым слабым» его произведением. Главный недостаток повести он видит в «той мелочности, в которую впала наша беллетристика за последние пять или шесть лет». Явно намекая на Ф. Достоевского, Григоровича, М. Достоевского, Буткова и других писателей «натуральной школы», Дружинин пишет: «Мы в последнее время так уже привыкли к психологическим развитиям, к рассказам „темных“, „праздных“, „лишних“ людей, к запискам мечтателей и ипохондриков, мы так часто, с разными, более или менее искусными нувеллистами, заглядывали в душу героев больных, робких, загнанных, огорченных, вялых, что наши потребности совершенно изменились. Мы не хотим тоски, не желаем произведений, основанных на болезненном настроении духа». И далее: «Думая о причинах этой мелочности, я пришел к двум убеждениям: первое, что сатирический элемент, как бы блистателен он ни был, не способен

быть преобладающим элементом в изящной словесности, а второе, что наши беллетристы истощили свои способности, гоняясь за сюжетами из современной жизни». Все эти общие рассуждения и приводят критика к выводу, что новая повесть талантливого писателя «слаба, однообразна, утомительна».

Второй отзыв о «Дневнике лишнего человека» появился на страницах «Северной пчелы». Постоянный сотрудник Булгарина Л. Брант, в течение ряда лет выступавший в этой газете со злобными нападками на Белинского и на писателей натуральной школы, поспешил и на этот раз осудить новое произведение Тургенева: «Если бы кто, умирая, в трогательном письме к другу или к той, которую любил безнадежно, с красноречием сердца и неподдельного страдания, передал свои мучения, могла бы выйти вещь истинно поэтическая. Но рассказывать про себя самому себе, с выходками ложного юмора и сатиры, когда смерть стоит уже у порога,— неправдоподобно, и тотчас обличает изобретение, выдумку сочинительскую» (*Сев Пчела*, 1850, № 126, 7 июня, фельетон «Городской вестник»). Далее Брант приводит несколько «странных выражений», которые обличают, по его мнению, «натуральность» повести («Захлопотавшиеся отцы лежали, как говорится, без задних ног», «Она *употребляла* свой рот для какой-то странной *улыбки вниз...*», «*Зрачки* моей дамы с обеих сторон совершенно упирались в *нос*!!?!», «*Сердце* у меня стучало в *горле...*»). Особенно сильное возмущение Бранта вызвало замечание Чулкатурина в записи 31 марта: «...и в этом я кончил *пшиком*!» «Какое благозвучное, поэтическое, *натуральное* словечко!..» — восклицает он, приведя эту цитату.

В обзоре «Отечественных записок» за 1850 год критик «Москвитянина» признавал, что в «Дневнике лишнего человека» есть много черт, «глубоко выхваченных из души». Но в целом он не считал повесть вполне художественной, находя, что в ее герое «вместо живого лица» представлено «крайнее олицетворение» болезненных явлений современной жизни (*Москв*, 1851, ч. I, № 1, январь, кн. 1, с. 136—137).

Когда Тургенев в 1856 г. вновь опубликовал «Дневник лишнего человека», восстановив в нем все цензурные купюры и внеся в текст много исправлений художественного порядка, на это литературное событие сразу же откликнулся Чернышевский. В рецензии на второй том *Для легкого чтения* он отметил, что некоторые, уже известные публике произведения появляются в этих сборниках в новом виде: «...особенно должно заметить это о повестях г. Тургенева „Записки лишнего человека“ и гр. Толстого „Записки маркера“. Перечитывая их, мы нашли в той и другой пьесе несколько новых прекрасных сцен, и оттого они теперь производят впечатление более полное и цельное» (*Чернышевский*, т. 3, с. 56).

В конце 1856 г., после выхода в свет «Повестей и рассказов» Тургенева, Чернышевский намеревался написать большую статью о его творчестве (см. письмо к Некрасову от 5 ноября 1856 г.— там же, т. XIV, с. 326), но она так и не была написана [1]. Единственным критиком, выступившим с подробным истол-

---

[1] В статьях Добролюбова 1860 г. имеются два упоминания о персонажах этой повести, свидетельствующие косвенно о при-

кованием «Дневника лишнего человека», и теперь оказался тот же Дружинин.

Общая оценка повести, данная на этот раз Дружининым, была более снисходительной. И это не случайно: окончательно утвердившись в эту пору на позициях «артистической» теории и решительно выступая против «гоголевского направления» и его сторонников, Дружинин считал Тургенева близким себе художником и, несомненно, был заинтересован в том, чтобы сделать из него своего союзника в борьбе с «дидактической» теорией. Именно поэтому, напоминая о холодном приеме повести публикой и о неблагоприятных отзывах критики, он объясняет это не столько недостатками произведения, сколько невыгодным для него моментом выхода в свет: «Тон рассказа, может быть, доставивший бы ему сильный успех за пять лет назад, в 1850 году показался крайне устарелым, а потому вся повесть встречена была совсем не так, как она того заслуживала» (*Дружинин*, т. 7, с. 332). Главное достоинство «Дневника» критик видит теперь в том, что он содержит сильные «проблески поэзии»; при этом он полностью умалчивает о социально-критическом смысле повести, так ярко выраженном в ней.

Дружинин признает типичность Чулкатурина: «Больной и унылый Чулкатурин есть тип своего рода, тип, принадлежащий кружку небольшому, но замечательному. Он истинно лишний человек, один из тех лишних людей, без которых не существует ни одного молодого общества» (там же, с. 334). Но при анализе характера героя повести он делает акцент не на социальных причинах его драмы, а на собственной его «неспособности тягаться с жизнью», возлагая таким образом ответственность за неудавшуюся жизнь на самого «лишнего человека». Свой вывод он основывает на «чрезвычайно значительном» высказывании Чулкатурина: «Во всё продолжение моей жизни я постоянно находил свое место занятым, может быть, оттого, что искал это место не там, где бы следовало» (там же, с. 333). В этой «светлой мысли» Дружинин видит главное отличие Чулкатурина от «простого, захандрившегося героя, так любимого нашими старыми нувеллистами» (там же).

Весьма субъективными оказались суждения о повести Ап. Григорьева в его большой статье, напечатанной в «Русском слове» (1859, № 4). По его определению, вся повесть — это «глубокая, искренняя исповедь болезненного душевного момента, пережитого многими, может быть, целым поколением» (*Григорьев*, с. 318). Но сущность этого болезненного состояния он видит не в конфликте между передовой личностью и косной средой, ее окружающей, а в самой личности, в ее «горьком чувстве сомнения», в «неверии личности в самое себя, в значение своего бытия» (там же, с. 317). Особое внимание Григорьев уделяет мыслям героя повести, выраженным в записях от 31 марта и 1 апреля, мыслям о ничтожестве человеческой личности перед лицом

знании критиком жизненности созданных писателем образов (см. статьи «Когда же придет настоящий день?» и «Черты для характеристики русского простонародья» — *Добролюбов*, т. 2, с. 219 и 291).

могучей природы. Здесь он усматривает «ключ к уразумению тургеневских отношений к природе» (там же, с. 315).

Ни Дружинину, ни Григорьеву не удалось раскрыть подлинный социально-исторический смысл «Дневника лишнего человека» и объяснить его связь с другими произведениями Тургенева, посвященными художественному анализу проблемы «лишних людей». Не смогла этого сделать и последующая либеральная критика, хотя каждый из авторов, писавших о Тургеневе, неизбежно упоминал повесть, заглавие которой прочно закрепилось в сознании русского общества, оценившего меткость и точность выражения: «лишний человек».

Заслуга конкретно-исторического и социально-политического осмысления проблемы «лишних людей» принадлежит советскому литературоведению. В общих обзорах творчества Тургенева (М. К. Клемана, Г. А. Бялого, С. М. Петрова и др.) выяснена связь этой повести с другими рассказами и повестями Тургенева о «лишних людях» и прослежена линия развития, ведущая от этих рассказов и повестей к первому роману Тургенева — «Рудину». Представляют интерес статьи М. О. Габель «„Дневник лишнего человека". Об авторской оценке героя» (*Т сб*, вып. 2, с. 118—126) и В. А. Громова «Очерк, рассказ, повесть у Тургенева (из наблюдений над черновыми автографами „Гамлета Щигровского уезда" и „Дневника лишнего человека")» (Уч. зап. Курск. гос. пед. ин-та, т. 51. Второй межвузовский тургеневский сборник. Орел, 1968, с. 143, 151—159).

«Дневник лишнего человека» был переведен на французский язык в 1861 г. самим Тургеневым в сотрудничестве с Луи Виардо (Revue des Deux Mondes, 1861, t. 36, p. 655—699). В письме к Фету от 26 декабря 1861 г. (7 января 1862 г.) Тургенев сообщал о появлении этого перевода, который «произвел неожиданный эффект». В следующем году он был включен в книгу: «Dimitri Roudine, suivi d'un Journal d'un homme trop et de Trois Rencontres». Traduit par L. Viardot en collaboration avec J. Tourguénieff. Paris, 1862, p. 213—296 [1].

В 1868 г. повесть появилась в немецком переводе М. Гартмана (установить, в каком журнале он был напечатан, не удалось). Тургенев откликнулся на сообщение Гартмана об этом его труде в письме к нему от 9(21) марта 1868 г.: «Что Вы перевели „Лишнего" — мне приятно. В этом произведении схвачен кусок подлинной жизни». Немецкий перевод Р. Лёвенфельда («Tagebuch eines überflüssigen Menschen») вышел отдельным изданием в Берлине в 1882 г. (см.: D o r n a c h e r K. Bibliographie der deutschsprachigen Buchausgaben der Werke I. S. Turgenevs 1854—1900.— Pädagogische Hochschule «Karl Liebknecht». Potsdam Wissenschaftliche Zeitschrift Jg. 19/1975. H. 2, S. 288).

Из других переводов повести, появившихся при жизни Тургенева, следует отметить: венгерский («Fővárosi Lapok», 1869,

---

[1] Вероятно, с этим переводом связано воспоминание П. В. Анненкова о высокой оценке, которую дал повести Франсуа Гизо: «Старый Гизо выразил желание познакомиться с автором „Дневника лишнего человека" — психического этюда, по его мнению, раскрывающего неведомые глубины человеческой души» (*Анненков*, с. 379).

№ 147—157), польский («Dziennik Warszawski», 1875, № 227, 230, 236, 240 и 242), чешский («Denník zbytečného člověka», перевел A. B. Hradecký — журнал «Beseda», 1875), хорватский («Mumu i Zapiski suvišnoga čoljeka» Jv. Tourgenéff. Zagreb, 1878) [2] и сербский («Дневника залишна човека», перевел Владан Арсенијевић. У Новоме Саду, 1883). На английском языке «Дневник лишнего человека» появился вскоре после смерти Тургенева («Mumu and the Diary of a Superfluous Man». Translated by H. Gersoni. N. Y., 1884).

Стр. 169—170. *Herz, mein Herz ∽ was willst du mehr?* — Первоисточником этих строк является четверостишие из стихотворения Гёте «Neue Liebe, neues Leben» (1775):

> Herz, mein Herz, was soll das geben?
> Was bedränget Dich so sehr?
> Welch ein fremdes neues Leben,
> Ich erkenne Dich nicht mehr.

Стр. 170. *...с крепким запахом зорной водки.*— Зорная водка — настоянная на траве, называемой в народе зоря или заря, иначе — любисток, любим.

Стр. 177. *Стряпчий* — здесь чиновник, на обязанности которого лежал надзор за правильным ходом дел в губернских или уездных судебных учреждениях.

Стр. 182. *Говорят, одному слепому красный цвет представлялся трубным звуком...*— Мысль эта была высказана Николаем Саундерсоном (1682—1739), известным английским математиком, ослепшим на одиннадцатом месяце жизни. Это наблюдение Саундерсона привлекало внимание ряда европейских писателей. Так, мадам де Сталь в книге «О Германии», размышляя о связи музыки с другими искусствами, писала: «Слепой от рождения Саундерсон говорил, что он представляет себе ярко-красный цвет как звук трубы; ученый намеревался изготовить клавесин для глаз, который гармонией цветов мог бы возбуждать наслаждение, доставляемое музыкой» (De l'Allemagne, par M^me^ la baronne de Staël-Holstein. Paris — Londres, 1813. Tome troisième, p. 142; см. об этом также в книге Дж. Локка «Опыт о человеческом разуме». М., 1898, с. 420). Подробнее см.: Алексеев М. П. «Дневник лишнего человека». Заметка к комментарию.— *Т сб*, вып. 5, с. 218—223.

Стр. 183. *...поневоле скажешь с одним русским философом: «Как знать чего не знаешь?»* — Эти слова произносит будочник— один из героев «Записок замоскворецкого жителя» А. Н. Островского,— см.: Лотман Л. М. «Записки замоскворецкого жителя» А. Н. Островского. (История и эволюция замысла).— В кн.: Труды отдела новой русской литературы. М.; Л., 1948. Т. 1, с. 122.

Стр. 184. *...кроме той отрады особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран...*— Имеются в виду строки из стихотворения «Журналист, читатель и писатель» (1840).

---

[2] По указанию А. Флакера, первое издание этой книги относится к 1863—1868 гг. (см.: *Орл сб 1960*, с. 484).

Стр. 185. *...разве любовь — естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь — болезнь...* — Эту же мысль Тургенев повторил в повести «Переписка», в последнем письме Алексея Петровича: «Любовь даже вовсе не чувство; она — болезнь, известное состояние души и тела».

Стр. 189. *...учители рассказывали нам ∽ предпочел самую смерть позору...* — Этот ставший хрестоматийным пример приведен Плутархом в «Жизнеописании Ликурга», в рассказе о воспитании лакедемонян, т. е. спартанцев (Плутарх. Сравнительные жизнеописания славных мужей. Перевел с греческого Спиридон Дестунис. СПб., 1814. Ч. 1, с. 235).

Стр. 190. *Я был разбит наголову с первого же натиска и, как пруссаки под Иеной, в один день, разом всё потерял.* — 14 октября 1806 г. под городом Иеной Наполеон разгромил часть прусской армии; в тот же день маршал Даву разбил наголову остальную ее часть под Ауэрштедтом. В результате этих двух сражений прусская армия перестала существовать.

Стр. 194. *...аптекарем, необыкновенно чирым немцем...* — Чирый — в орловском говоре означает: самодовольный.

...провинциальные львы с судорожно искаженными лицами... — В тридцатые годы XIX в. слово лев (lion) стало применяться в Англии и во Франции для обозначения законодателей мод, покорителей женских сердец, самодовольных франтов, носивших маску демонической загадочности. В России это слово получило широкое распространение после появления в «Отечественных записках» 1841 г. повести В. А. Соллогуба «Лев» (см.: Соллогуб В. А. Собр. соч. СПб., 1855. Т. I, с. 346 и 348). См. также: наст. изд., Сочинения, т. 1, с. 481—482.

Стр. 196. *...петербургских мирлифлеров...* — Мирлифлёрами (франц. mirlifflore) во времена Людовика XVI называли молодых щеголей. В русской литературе это насмешливое прозвище было использовано сторонниками классицизма в их борьбе против Карамзина и его школы (см., напр., в стихотворениях Д. П. Горчакова «Письмо к другу моему Николаю Петровичу Николеву» и «Послание к князю С. Н. Долгорукову» — в сб.: Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX века. Л., 1959, с. 141 и 158). Позднее, в тридцатые-сороковые годы мирлифлерами иронически называли легкомысленных фатов. В таком смысле Белинский озаглавил одну из своих журнальных заметок 1843 года: «Журнальный мирлифлер и Жорж Занд» (*Белинский*, т. 6, с. 580—581). См. также лексикологическую заметку Т. А. Никоновой «Мирлифлёр»: *Т сб*, вып. 3, с. 179.

Стр. 204. *...я, как Поприщин, большею частью лежал на постели...* — В «Записках сумасшедшего» у Гоголя, под 4 октября Поприщин записал: «Дома большею частию лежал на кровати».

О люди! точно, жалкий род!.. — Мысль, заимствованная из стихотворения Пушкина «Полководец» (1835): «О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!».

Стр. 206. *...указательный палец, украшенный перстнем из корналинки...* — Корналинка или корналин (франц. cornaline) — полудрагоценный камень сердолик.

Стр. 207. *Я чувствовал себя чем-то вроде Сципиона Африканского.* — Древнеримский полководец Публий Корнелий Сци-

пион Африканский старший (около 235—183 до н. э.) прославился своими воинскими победами и великодушным отношением к побежденным. Тит Ливий в «Римской истории от основания города» приводит много примеров его великодушия.

Стр. 215. *...как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка...* — В Библии Елифаз Феманитянин говорит Иову: «И дух прошел надо мною; дыбом стали волоса на мне» (Книга Иова, гл. 4, ст. 15).

И пусть у гробового входа ᔕ *Красою вечною сиять!* — Заключительная строфа стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

ТРИ ВСТРЕЧИ

(с. 217)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф начала рассказа на двух листах: *ИРЛИ*, ф. 93 (П. Я. Дашкова), оп. 3, № 1260.
Совр, 1852, № 2, отд. I, с. 141—170.
Т, *1856*, ч. 1, с. 355—403.
Т, *Соч*, *1860—1861*, т. 2, с. 168—197.
Т, *Соч*, *1865*, ч. 2, с. 301—335.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 2, с. 253—286.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 2, с. 253—286.
Т, *Соч*, *1880*, т. 6, с. 261—295.

Рукописи рассказа, кроме указанного выше отрывка чернового автографа, не сохранились.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1852, № 2, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 2 февраля 1852 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому этого же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 217, *строки 32—33*: «под единственным окошком» вместо «пред единственным окошком» (по черн. автогр.).

Стр. 220, *строки 26—27:* «платье зашелестело» вместо «платье зашелестило» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 225, *строка 12*: «раздается голос» вместо «раздался голос» (по всем печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 228, *строка 36*: «сделал знак Дианке» вместо «сделав знак Дианке» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 239, *строка 20*: «фортепьяно» вместо «фортепиано» (по всем другим печатным источникам).

Стр. 240, *строка 18*: «я невольно вспомнил» вместо «я невольно вспоминал» (по всем печатным источникам до *Т*, *Соч*, *1868—1871*).

Датируется 1851 годом на основании помет Тургенева в издании 1856 г. и в последующих. Однако, как свидетельствует переписка Тургенева, до конца 1851 г. рассказ еще не был им закончен. В канун Нового года он писал И. С. Аксакову о своих

литературных планах на ближайшее будущее: «„Современник“, может быть, получит от меня ничтожный рассказ, начатый давно тому назад...» (письмо от 31 декабря 1851 г. (12 января 1852 г.)). Так как февральская книжка «Современника» имеет дату цензурного разрешения 2 февраля, можно считать, что рассказ «Три встречи» был закончен и передан в редакцию журнала в середине, но не позднее конца января 1852 г. Немногим раньше этого Тургеневым была написана «сцена» «Вечер в Сорренте» (дата окончания — 10 января 1852 г.). По верному замечанию Ю. Г. Оксмана, рассказ «Три встречи» «имеет несколько общих образных и фабульных мотивов с этой сценой» (наст. изд., Сочинения, т. 2, с. 685). Для обоих этих произведений Тургенев воспользовался своими воспоминаниями о нескольких днях, проведенных им в Сорренто весной 1840 г.

Второе упоминание Тургенева о «Трех встречах» содержится в письме к С. Т. Аксакову от 2(14) февраля 1852 г. Сообщая, что он не сможет принять участие в задуманном И. С. и К. С. Аксаковыми «Московском сборнике», Тургенев продолжает: «Не пишется что-то — по крайней мере ничего порядочного не пишется — и скажу откровенно, что я слишком уважаю их издание, чтобы дать им, например, такую пустую вещицу, как ту, которая появится во 2-м № „Современника“». Приведенные авторские оценки, вряд ли вполне искренние, должны были, вероятно, несколько смягчить неловкость от решительного отказа участвовать в московском издании. Но они полностью совпали с мнением славянофилов о «Трех встречах». 29 мая того же года И. С. Аксаков писал Тургеневу: «Мне непременно хочется, и теперь больше, чем когда-либо, чтобы Вы приняли участие в нашем честном издании ⟨. . .⟩. Пришлите хоть безделицу, только, разумеется, не в роде „Трех встреч“, а такую, которая бы подходила к Сборнику» (*Рус Обозр*, 1894, № 8, с. 472). Слабым произведением, в котором «нет ничего такого, что бы заслуживало чье-нибудь внимание», «Три встречи» были названы в обзоре первых книг «Современника», помещенном в «Москвитянине» (1852, т. II, № 5, март, кн. 1, отд. V, с. 26—29).

По-иному встретили новый рассказ Тургенева его друзья из западнического лагеря, хотя и их оценки не были безусловно положительными. Подробно высказал свое мнение о «Трех встречах» Боткин в письме к Тургеневу от 11 февраля 1852 г., написанном под свежим впечатлением от рассказа: «Не знаю, я ли один испытываю всегда такие ощущения, читая твои рассказы, или испытывают их вообще все читающие их,— по крайней мере я, читая их, нахожусь постоянно в волнении: кровь как-то порывисто в это время обращается в жилах, дышу неровно, и по душе быстро и тревожно пробегают то забытые ощущения, то какие-то сладкие и давно уже выдохнувшиеся минуты, то лица, когда-то любезные,— словом, твои рассказы действуют на меня необыкновенно возбудительно и сладко. Так подействовал и этот рассказ — или вернее — так подействовала первая половина его, именно до удавления Лукьяныча. Отсюда он принимает решительно прозаический тон и вполне охлаждает то истинно поэтическое впечатление, каким охватили меня его первые страницы. Эти первые страницы — ночь в Сорренто, ночь в усадьбе, явления молодой женщины — превосходны,—

с них так и пышет жаром. С выездом из деревни — всё пошло плохо; сцена в маскараде сшита белыми нитками, разговор и вся сцена вяла и бесцветна — ну так и видно, что вся последняя половина писалась кое-как, сплеча, на скорую руку. Если бы я слышал этот рассказ до печати,— я не отстал бы от тебя, пока ты его не переделал и не провел бы по всему нему тот магический колорит, каким облиты его первые страницы. Сон тоже отзывается неправдоподобием и вычурностью. Фантастическая причина смерти Лукьяныча трогает в душе совсем другие струны, совсем другой регистр, звуки которого совсем не вяжутся с тоном начала и даже конца. Бог знает к чему эта смерть? Но, несмотря на всё это, первые страницы — прелесть сладчайшая. Жарче их я ничего не читал» (*Боткин и Т*, с. 14—15).

Анненков не одобрил «Три встречи». Видя главный смысл развития творчества Тургенева в постепенном ослаблении субъективного начала и переходе к формам объективного творчества, Анненков счел ошибкой автора выбор им формы повествования от собственного лица: эта форма «выступила у него в „Трех встречах“ с такой гордостию, самостоятельностию и отчасти с таким кокетством, что поглотила содержание. В рассказе есть несколько блестящих страниц, но фантастическое, эффектное содержание его к тому только, кажется, и направлено, чтоб осветить лицо рассказчика наиболее благоприятным образом» (Анненков П. В. О мысли в произведениях изящной словесности.— *Совр*, 1855, № 1, отд. III, с. 10).

При подготовке текста рассказа для издания 1856 г. Тургенев внес в него некоторые исправления. Эта работа была выполнена им в конце мая — первой половине июня 1856 г. 19 июня (1 июля) исправленный рассказ был выслан в Петербург Д. Я. Колбасину. Хотя обычно Тургенев очень чутко прислушивался к мнению своих друзей-советчиков Анненкова и Боткина, на этот раз он в сущности пренебрег их замечаниями и ограничился весьма немногочисленными и к тому же незначительными исправлениями. Помимо мелкой стилистической правки, он исключил несколько фраз, звучавших чрезмерно напряженно, в духе уже давно осужденных им самим традиций романтизма тридцатых годов, устранил повторные упоминания о старых портретах в кладовой, ослабив этим мотив, отвлекавший от основного содержания рассказа, сократил конец беседы с незнакомкой в маскараде. В последующих изданиях текст рассказа уже не подвергался никаким сколько-нибудь существенным изменениям (см. раздел «Варианты» в издании: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. V, с. 486—488).

Дружинин в своей статье о «Повестях и рассказах» Тургенева лишь коротко упомянул «повесть „Три встречи“, хотя и исполненную проблесков поэзии, но не выдержанную и даже темную по содержанию». Отголосок этого скептического отношения к «Трем встречам» прозвучал и в статье Ап. Григорьева, написанной в 1859 г. (см.: *Григорьев*, с. 308).

Безоговорочное признание рассказ «Три встречи» нашел не у критиков эстетического направления, а у деятелей противоположного лагеря. 26 марта (7 апреля) 1857 г. Некрасов писал Тургеневу, что при чтении «Повестей и рассказов» 1856 года ему особенно понравились «Фауст», «Яков Пасынков» и многие

страницы «Трех встреч»: «Тон их удивителен — какой-то страстной, глубокой грусти. Я вот что подумал: ты поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, взятые вместе. И ты один из новых владеешь формой — другие дают читателю сырой материал, где надо уметь брать поэзию. Написал бы тебе об этом больше, но опять проклятая мысль — не принял бы ты этого за пустую любезность! Но прошу тебя — перечти „Три встречи",— уйди в себя, в свою молодость, в любовь, в неопределенные и прекрасные по своему безумию порывы юности, в эту тоску без тоски — и напиши что-нибудь этим тоном. Ты сам не знаешь, какие звуки польются, когда раз удастся прикоснуться к этим струнам сердца, столько жившего — как твое — любовью, страданием и всякой идеальностью» (*Некрасов*, т. X, с. 328).

С этим отзывом сходна запись в дневнике Н. А. Добролюбова от 25 января 1857 г.: «Вечером я решился читать Тургенева и взял первую часть ⟨. . .⟩ Что-то томило и давило меня; сердце ныло,— каждая страница болезненно, грустно, но как-то сладостно-грустно отзывалась в душе... Наконец прочитал я „Три встречи" и с последней страницей закрыл книгу, задул свечу и вдруг — заплакал... Это было необходимо, чтобы облегчить тяжелое впечатление чтения. Я дал волю слезам и плакал довольно долго, безотчетно, от всего сердца, собственно по одному чувству, без всякой примеси какого-нибудь резонерства» (Добролюбов Н. А. Дневники. 1851—1859/Под ред. и со вступ. статьей Вал. Полянского. М., 1932, с. 221).

Представляет также интерес отзыв Т. Шторма, который 15 сентября 1863 г. писал Л. Пичу: «В „Трех встречах", как ни слабы они по композиции, есть что-то пленительное, главное в них не в событии, о котором повествуется, а в том впечатлении, которое оно производит на рассказчика; настроение, овладевающее им в результате этого события,— вот собственно тема...» (см.: Шульце-Леман К. Тургенев в переписке Теодора Шторма с Людвигом Пичем.— *Лит Насл*, т. 76, с. 582; ср.: Лааге К. Э. Выставка в Хузуме, посвященная Шторму и Тургеневу.— *Т сб*, вып. 3, с. 294).

В позднейшей критической литературе о Тургеневе рассказ «Три встречи» не подвергался обстоятельному изучению и оценке. Первая статья, специально посвященная этому рассказу, появилась только в 1927 г. (Габель М. О. «Три встречи» Тургенева и русская повесть 30—40-х годов XIX века.— Русский романтизм. Сборник статей под ред. А. И. Белецкого. Л., 1927, с. 115—150). М. О. Габель дает здесь подробный анализ стилевых и композиционных приемов в «Трех встречах» и на основе произведенных наблюдений приходит к одностороннему и несколько упрощенному выводу об отказе Тургенева «от принципов натуральной школы» и о его повороте «в сторону русской романтической повести 30-х годов». При этом реалистические элементы в содержании и стиле рассказа оказались вне поля зрения автора статьи.

Двумя годами ранее к «Трем встречам» обратился И. М. Гревс, опубликовавший книгу, в которой он рассматривал образы Италии в творчестве Тургенева (Гревс И. М. Тургенев и Италия. Культурно-исторический этюд. Л., 1925). Не

ставя перед собой задачи всестороннего разбора «Трех встреч», И. М. Гревс рассматривает лишь созданную здесь художником картину Италии и приходит к следующему заключению: «Это подлинная Италия ⟨...⟩ Удивляешься, как смог писатель, после кратковременного, еще однократного пребывания в Италии, так полно схватить, так прочно удержать, так жизненно воспроизвести реальный облик страны в его интимных деталях. Ведь итальянская картина не уступает по силе изображения многим мастерским тургеневским этюдам русской действительности, хотя бы тем, которые тут же, в „Трех встречах", переплетаются с нею» (с. 51—52).

Рассказ «Три встречи» неоднократно переводился при жизни Тургенева на иностранные языки. В 1852 г. немецкий его перевод был издан в Петербурге под заглавием «Drei Begegnungen» (перепечатка из «St.-Petersburger Zeitung», 1852, № 126—131, 18—24 июня) и вскоре вышел отдельным изданием (ценз. разр. 24 июня (6 июля) 1852 г.). Годом позже тот же перевод был напечатан в «Belletristische Blätter aus Russland», 1. Jg. (SPb.), 1853, Abt. I. S. 99—124 (см.: Шульце-Леман К., указ. статья, с. 590). В 1859 г. рассказ был напечатан в рептильной газете «Le Nord», издававшейся на французском языке в Брюсселе и представлявшей интересы русского правительства («Les Trois Rencontres» J. Tourguénev, trad. du russe par Th. Franceschi.— Le Nord, 1859, Nr. 301—302).

Сам Тургенев еще в 1857 г. включал «Три встречи» в план намеченного им совместно с Луи Виардо для издания в Париже второго сборника его повестей и рассказов на французском языке (*1858*, *Scènes*, *II*). Однако в дальнейшем «Три встречи» были заменены в этом сборнике «Поездкой в Полесье». Свое намерение перевести «Три встречи» Тургенев осуществил несколько позднее — этот рассказ, вместе с «Рудиным» и «Дневником лишнего человека», вошел в книгу, изданную в Париже в 1862 г. (см. о ней выше, с. 594).

Из последующих переводов «Трех встреч» можно назвать также: хорватский («Tri susreta» — журнал «Novi Pozor», 1868, u Beču ⟨в Вене⟩, Broj 94, 97, 99—100); чешский («Troje setkání», перевел F. Mach — журнал «Květy», 1870); украинский («Слово», Львов, 1871, № 81—89, 91—95); венгерский («Ország Világ», 1871, N 6—8); польский («Tygodnik Wielkopolski», Познань, 1871); итальянский (вместе с «Бретёром», Милан, 1874 — см. об этом издании выше, с. 568); английский («Three Meetings», перевод Agnes Lazarus, in Lippincott's Monthly Magazine, July 1875); финский (перевод Аурамо, Гельсингфорс, 1883).

Более чем через полвека после создания Тургеневым «Трех встреч» этот рассказ вдохновил польского композитора Мечислава Карловича (1876—1909), задумавшего написать симфоническую поэму «Эпизод на маскараде». В очерке жизни и творчества М. Карловича, написанном И. Бэлзой, об этом замысле сказано: «У нас нет оснований считать рассказ Тургенева сюжетной основой поэмы Карловича, так как она, скорее всего, является эмоциональным раскрытием того человеческого стремления к счастью, которое наполняет этот рассказ Тургенева» (Бэлза Игорь. Мечислав Карлович. М., 1955, с. 152. Подробнее см.: Ступель А. М. «Три встречи». Симфоническая поэ-

ма М. Карловича «Эпизод на маскараде» на сюжет рассказа Тургенева.— *Т сб*, вып. 2, с. 127—133). Законченная после смерти композитора Гжегожем Фительбергом, партитура «Эпизода на маскараде» была впервые издана в 1930 г.

Стр. 217. *Passa que'colli...*— Установить, из какой песни взят эпиграф, не удалось.

...в село Глинное, лежащее в двадцати верстах от моей деревни.— Глинным называлось современное село Крыльцово, находящееся примерно в десяти километрах от Спасского.

Стр. 221. *...уехал из Сорренто, не посетив даже Тассова дома.*— К 1840-м годам дом в Сорренто, в котором родился Торквато Тассо, уже не существовал — вместе с частью берега он обрушился в море. Главной достопримечательностью города был другой дом, в котором поэт жил позднее; фасад этого дома был украшен бюстом Тассо (см.: Бехтеев Александр. Рассказ об Италии. М., 1846, с. 148).

Стр. 222. *Она долго не шевелилась ∽ громким и звенящим голосом воскликнула: «Addio!»* — Ср. в письме Тургенева к В. П. Боткину от 12 (24) апреля 1859 г.: «...на душе вместе с воспоминаниями детства проходило что-то хорошее и глубоко грустное. Сегодня чудесная погода — жарко, тихо, поют птицы, пахнет почками; я раза три прошелся по саду — и чуть не всплакнул. Жизнь пролита до капли, но запах только что опорожненного сосуда еще сильнее, чем когда он был полный. Addio, vita, слышал я раз на Корсо, во время карнавала; молодой женский голос произнес эти слова — и долго звук их звенел у меня в ушах». Здесь Тургенев «прекрасно выразил то душевное состояние, которое способствует пониманию самой природы и происхождения лиризма „Трех встреч", их эмоциональной окрашенности, поэтического подтекста» (см.: Громов В. А. Об идейно-художественной связи повестей И. С. Тургенева 40—50-х годов с «Записками охотника» («Три портрета», «Три встречи»).— Межвузовский тургеневский сборник, Орел, 1963, с. 78—79 (Уч. зап. Орлов. гос. пед. ин-та, т. 17).

Стр. 228. *...с громом и треском вылетит краснобровый черныш...*— Черныш — одно из народных названий полевого тетерева-косача, имеющего черное оперение и красные брови.

Стр. 239. *Я, как Гамлет, вперил взоры свои...*— Имеется в виду трагедия Шекспира «Гамлет, принц датский», акт III, сц. 2.

Стр. 240. *Я печальная картина, Прислоненная к стене.*— Из какого романса взяты эти строки — не установлено.

Стр. 241. *...статуя Галатеи, сходящая живой женщиной с своего пьедестала в глазах замирающего Пигмалиона...*— Согласно древнегреческому мифу, великий ваятель древности, кипрский царь Пигмалион, полюбил созданную им прекрасную статую Галатеи. Снизойдя к его мольбам, Афродита оживила статую (см. поэтическое изложение этого мифа в «Метаморфозах» Овидия, кн. 10).

Стр. 243—244. *...звуки «однообразного и безумного» вальса...*— Эпитеты, заимствованные из «Евгения Онегина» (глава пятая, строфа XLI).

МУМУ

(с. 246)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Совр, 1854, № 3, отд. I, с. 9—36.
Т, *1856*, ч. 2, с. 31—76.
Т, *Соч*, *1860—1861*, т. 2, с. 216—244.
Т, *Соч*, *1865*, ч. 2, с. 363—395.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 2, с. 287—319.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 2, с. 287—318.
Т, *Соч*, *1880*, т. 6, с. 297—329.

Автограф повести не сохранился.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1854, № 3, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 28 февраля 1854 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому этого же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 247, *строка 43:* «на его место в застолице» вместо «на его место на застолице» (по всем другим источникам).

Стр. 248, *строка 8:* «он сам смахивал на степенного гусака» вместо «он смахивал на степенного гусака» (по всем другим источникам).

Стр. 249, *строка 22:* «была эта Татьяна» вместо «это была Татьяна» (по всем другим источникам).

Стр. 252, *строки 3—4:* «белесоватым волосам» вместо «беловатым волосам» (по всем другим источникам).

Стр. 257, *строка 24:* «ждали только слов: „С богом!“» вместо «ждали только слово: „С богом!“» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 258, *строка 19:* «но понемногу справилась» вместо «понемногу справилась» (по всем другим источникам).

Стр. 265, *строка 38:* «будить Гаврилу» вместо «будить Гаврила» (по всем другим источникам).

Стр. 266, *строка 43:* «стояли два других» вместо «стояло два других» (по *Совр*, *Т*, *1856*, *Т*, *Соч*, *1860—1861*).

Стр. 268, *строка 21:* «повторили» вместо «повторяли» (по всем другим источникам).

Стр. 268, *строка 43:* «Мальчишки и все бывшие на дворе» вместо «Все бывшие на дворе мальчишки» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1868—1871*, где в этой фразе выпал союз «и»; в *Т*, *Соч*, *1874* ошибка была исправлена без обращения к предыдущим изданиям и без учета контекста).

Стр. 269, *строка 17:* «лицо свое рукой» вместо «лицо своей рукой» (по всем другим источникам).

Стр. 269, *строка 21:* «заскочил за угол» вместо «вскочил за угол» (по всем другим источникам).

Стр. 271, *строка 32:* «светившие его пути» вместо «светившие его путь» (по всем другим источникам).

Датируется концом апреля — первой половиной мая 1852 г.— временем, когда Тургенев находился под арестом на

съезжей в Петербурге за публикацию в газете «Московские ведомости» статьи о Гоголе.

Свою новую повесть писатель читал в Петербурге, в частности у своего дальнего родственника А. М. Тургенева (см. *Рус Ст*, 1885, № 9, с. 372). Его дочь, О. А. Тургенева в своем «Дневнике» писала: «...И⟨ван⟩ С⟨ергеевич⟩ принес в рукописи свою повесть „Муму"; чтение ее произвело на всех, слушавших его в этот вечер, очень сильное впечатление ⟨. . .⟩ Весь следующий день я была под впечатлением этого бесхитростного рассказа. А сколько в нем глубины, какая чуткость, какое понимание душевных переживаний. Я никогда ничего подобного не встречала у других писателей, даже у моего любимца Диккенса я не знаю вещи, которую могла бы считать равной „Муму". Каким надо быть гуманным, хорошим человеком, чтобы так понять и передать переживания и муки чужой души» (Воспоминания Е. С. Иловайской (Сомовой) о И. С. Тургеневе.— *Т сб*, вып. 4, с. 257—258). Чтение «Муму» состоялось также и в Москве, где Тургенев останавливался ненадолго, проездом в ссылку — из Петербурга в Спасское. Об этом свидетельствует Е. М. Феоктистов, который 12(24) сентября 1852 г. писал Тургеневу из Крыма: «...сделайте одолжение, велите переписать Вашу повесть, которую в последний раз в Москве читали нам у Грановского и потом у Щепкина, и пришлите мне ее сюда. Все здесь живущие жаждут прочесть ее» (*ИРЛИ*, ф. 166, № 1539, л. 47 об.).

6(18) июня 1852 г. Тургенев сообщал С. Т., И. С. и К. С. Аксаковым из Спасского, что для второй книжки «Московского сборника» у него есть «небольшая вещь», написанная «под арестом», которой довольны и его приятели, и он сам. В заключение писатель указывал: «...но, во-1-х, мне кажется, ее не пропустят, во-2-х, не думаете ли Вы, что мне на время надобно помолчать?». Тем не менее рукопись повести была послана И. С. Аксакову, который 4(16) октября 1852 г. писал Тургеневу: «Спасибо вам за „Муму"; я непременно помещу его в „Сборник", если только мне позволено будет издавать „Сборник" и если не воспрещено вовсе печатать ваши сочинения» (*Рус Обозр*, 1894, № 8, с. 475). Однако, как и предвидел И. С. Аксаков, «Московский сборник» (вторая книжка) был запрещен цензурой 3(15) марта 1853 г.

Между тем друзья и знакомые Тургенева проявляли большой интерес к его новому произведению. Не получая списка «Муму», Феоктистов сетовал на это в письме к Тургеневу от 5(17) декабря 1852 г. (*ИРЛИ*, ф. 166, № 1539, л. 51 об.). В ответном письме от 27 декабря 1852 г. (8 января 1853 г.) писатель сообщал Феоктистову: «Копию с „Муму" мне до сих пор Кетчер из Москвы не высылает — но Вы ее получите при первой возможности». И на другой же день Тургенев просил И. С. Аксакова: «...доставьте Кетчеру „Муму" — меня просили переписать ее». Ответ на эту просьбу Тургенева содержится в письме к нему С. Т. Аксакова от 22 января (3 февраля) 1853 г.: «Вашего „Муму" Кетчеру я отдал...» (*Рус Обозр*, 1894, № 9, с. 8). К. Н. Леонтьев также просил Тургенева о списках «Муму» (и «Постоялого двора»), так как 6(18) марта 1853 г. писатель сообщал ему: «...я велю переписать для Вас здесь мои повести, а Кетчеру я — виноват —я об этом не писал». Таким образом, можно думать, что списки «Муму» существовали. Однако ни один из них до сих пор неизвестен.

Говоря о «Муму», В. Н. Житова сообщает: «Весь рассказ Ивана Сергеевича об этих двух несчастных существах не есть вымысел. Вся эта печальная драма произошла на моих глазах...» (*Житова*, с. 76). Она же указывает, что под именем Герасима был выведен принадлежавший В. П. Тургеневой «немой дворник Андрей» (там же, с. 54). По свидетельству Л. Пича, «...в трогательном рассказе о глухонемом ⟨. . .⟩ мы узнаем его ⟨Тургенева⟩ мать в величественной барыне, которая так утонченно умеет мучить своих крепостных» (сб. Иностранная критика о Тургеневе. СПб., 1884, с. 146—147). Одна из родственниц писателя (дочь его дяди — Н. Н. Тургенева) в неопубликованных воспоминаниях также называет в качестве прообраза Герасима крепостного В. П. Тургеневой, который был «дворником в Спасском, возил воду, колол дрова, топил в доме печи». По словам мемуаристки, это был «красавец с русыми волосами и синими глазами, огромного роста и с такой же силой, он поднимал десять пудов» (К о н у с е в и ч Е. Н. Воспоминания.— *ГБЛ*, ф. 306, к. 3, ед. хр. 13). Сведения об Андрее (прототипе Герасима) содержатся и в одной из хозяйственных описей В. П. Тургеневой (1847 г.), хранящейся в музее И. С. Тургенева в Орле. На с. 33 этой описи значится, что «шнурку черного» 20 аршин выдано «дворнику немому на отделку красной рубашки» (сообщил зав. фондами музея А. И. Понятовский). В. Н. Житова пишет, что Андрей после гибели Муму «остался верен своей госпоже, до самой ее смерти служил ей» (там же, с. 80). Сопоставляя это свидетельство с финалом повести, Е. Добин справедливо указал, что Тургенев не воспользовался картиной «примирения», так как ему «ясна была *неправдивость* подобного мирного и благостного конца повести, если смотреть на искусство как на воплощение не случайного, а закономерного» (Д о б и н Е. Жизненный материал и художественный сюжет. Л., 1958, с. 139—140; об этом же см.: К л о ч и х и н а М. М. Жанр и композиция повести «Муму».— Литература в школе. 1958, № 6, с. 19—22).

Существовали также прообразы некоторых других, второстепенных персонажей повести. Так, в «Книге для записывания неисправностей моих людей...», которую в 1846 и 1847 годах вела В. П. Тургенева, имеется запись, подтверждающая, что среди ее слуг действительно был пьяница Капитон: «Капитон вчера явился ко мне, от него так и несет вином, невозможно говорить и приказывать — я промолчала, скучно всё то же повторять» (*ИРЛИ*, Р. II, оп. 1, № 452, л. 17). В. Н. Житова называет в качестве прототипа Дяди Хвоста — буфетчика в Спасском Антона Григорьевича, который был «человек замечательной трусости» (*Житова*, с. 32). А своего сводного брата П. Т. Кудряшова Тургенев изобразил в лице лекаря старой барыни — Харитона (см.: В о л к о в а Т. Н. В. Н. Житова и ее воспоминания.— В кн.: *Житова*, с. 7).

В идейном и в художественном отношении повесть «Муму» тесно связана с «Записками охотника». Но в известной степени это произведение является уже переходным, так как написано в тот период, когда Тургенев стремился отойти от «старой манеры», которая и им самим и друзьями связывалась с его знаменитой книгой. Подобного рода отзывы о «Муму» сохранились в письмах современников Тургенева. Так, например, К. С. Акса-

ков, прочитав эту повесть в рукописи, писал Тургеневу в октябре 1852 г.: «...ваше произведение 〈. . .〉 решительно есть, как говорят, шаг вперед. Вы здесь гораздо более серьезны; мелочные эффекты слов и изображений оставили Вас почти вовсе, и на первом плане — ясный и вместе многозначительный образ Герасима» (*Рус Обозр*, 1894, № 8, с. 482).

«Многозначительность» образа Герасима отмечал и И. С. Аксаков в письме от 4(16) октября 1852 г.: «Мне нет нужды знать: вымысел ли это, или факт, действительно ли существовал дворник Герасим, или нет. Под дворником Герасимом разумеется иное. Это олицетворение русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости, его удаления к себе и в себя, его молчания на все запросы, его нравственных, честных побуждений... Он, разумеется, со временем заговорит, но теперь, конечно, может казаться и немым, и глухим...» (*Рус Обозр*, 1894, № 8, с. 475—476). В ответном письме к И. С. Аксакову от 28 декабря 1852 г. (9 января 1853 г.) Тургенев заметил: «Мысль „Муму" Вами 〈. . .〉 верно схвачена». Как отмечает П. Е. Липатов, хотя Аксаковы в основном правильно оценили повесть Тургенева, тем не менее их суждения были всё-таки односторонними и тенденциозными. Увидев в «Муму» поэтизацию русского народа, что им импонировало как славянофилам, И. С. и К. С. Аксаковы не захотели заметить в этом произведении критики крепостнического строя (см.: Липатов П. Е. «Муму» И. С. Тургенева.— Творчество И. С. Тургенева. Сборник статей. М., 1959, с. 146).

В 1854 г., когда повесть «Муму» появилась в третьей книжке «Современника», антикрепостническая направленность ее обратила на себя внимание чиновника Главного управления цензуры Н. В. Родзянко. 16 марта 1854 г. в рапорте на имя министра народного просвещения он писал: «Рассказ под заглавием „Муму" я нахожу неуместным в печати, потому что в нем представляется пример неблаговидного применения помещичьей власти к крепостным крестьянам 〈. . .〉 Читатель по прочтении этого рассказа непременно исполниться должен сострадания к безвинно утесненному помещичьим своенравием крестьянину 〈. . .〉 Вообще по направлению, а в особенности по изложению рассказа нельзя не заметить, что цель автора состояла в том, чтобы показать, до какой степени бывают безвинно утесняемы крестьяне помещиками своими, терпя единственно от своенравия сих последних и от слепых исполнителей, из крестьян же, барских капризов...» (Оксман Ю. Г. И. С. Тургенев. Исследования и материалы. Одесса, 1921. Вып. 1, с. 52—53). Товарищ министра А. С. Норов согласился с мнением Н. В. Родзянко и 2(14) апреля 1854 г. писал председателю С.-Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусину-Пушкину, что «щекотливое содержание этой повести, а еще более тон, в каком описывается рабская зависимость крепостных людей от прихотей и своенравного произвола помещицы, легко может повести читателей низшего сословия к порицанию существующего в нашем отечестве отношения крепостных людей к своим владельцам, которое как одно из государственных учреждений не должно подлежать осуждению частного лица» (там же, с. 53). 5(17) апреля 1854 г. С.-Петербургский цензурный комитет предписал цензору В. Н. Бекетову, «одобрившему» рассказ, впредь «рассматривать строже представляемые статьи

для журналов и быть вообще осмотрительнее...» (там же, с. 54).

Через два года, когда Тургенев поручил П. В. Анненкову издание своих «Повестей и рассказов», снова возникло дело в связи с повторным уже печатанием «Муму». На этот раз цензор И. А. Гончаров, который знал, что по поводу публикации «Муму» были какие-то затруднения в 1854 г., сообщил о своих сомнениях автору. В результате этого Тургенев 3(15) апреля 1856 г. обратился с ходатайством к товарищу министра народного просвещения и члену Главного управления цензуры П. А. Вяземскому. По-видимому, Вяземский дал какие-то указания Гончарову, который 11(23) апреля 1856 г. в рапорте на имя председателя С.-Петербургского цензурного комитета М. Н. Мусина-Пушкина хотя и писал, что не считает себя «в праве одобрить помянутую повесть к вторичному напечатанию без разрешения начальства», тем не менее далее указывал, что в то же время он не находит «удобным исключить ее из полного собрания сочинений г. Тургенева как уже однажды появившуюся в печати» (Оксман Ю. Г., указ. соч., с. 54). В заключение Гончаров спрашивал разрешения Мусина-Пушкина на вторичное напечатание «Муму» вместе с другими произведениями Тургенева.

Однако Мусин-Пушкин отказался единолично дать такое разрешение и 13(25) апреля 1856 г. в специальном рапорте на имя министра народного просвещения А. С. Норова представил все материалы о вторичном напечатании «Муму» на «благоусмотрение» самого министра (рапорт полностью опубликован в книге: Mazon A. Un maître du roman russe Iwan Gontcharov. Paris, 1914, p. 357—358).

27 апреля (9 мая) 1856 г. Гончаров, который в этот день был в цензурном комитете, сообщил Тургеневу, что никакого решения относительно «Муму» еще нет (см. об этом в письме Тургенева к секретарю канцелярии министра народного просвещения Л. Л. Добровольскому от 27 апреля (9 мая) 1856 г.). Три дня спустя Тургенев, перед отъездом в Спасское, посетил П. А. Вяземского, чтобы «поблагодарить» его за «ходатайство». Не застав Вяземского дома, он в своей записке от 30 апреля (12 мая) 1856 г. сообщал, что хотя дело о разрешении к печати «Муму» «до сих пор не увенчалось полным успехом», тем не менее он надеется, что «в субботу дело это окончится так или иначе».

Приехав в Спасское, Тургенев продолжал беспокоиться по поводу переиздания своей повести. 8(20 мая) 1856 г. он просил Д. Я. Колбасина: «Дайте мне, пожалуйста, знать о „Муму“...» «Жду с нетерпением Вашего извещения об участи „Муму“...»,— писал Тургенев ему же 13(25) мая 1856 г. В это время Тургеневу еще не было известно, что Главное управление цензуры 5(17) мая 1856 г. разрешило переиздание «Муму» на том основании, что запрещение этой повести «могло бы более обратить на нее внимание читающей публики и возбудить неуместные толки, тогда как появление оной в собрании сочинений не произведет уже на читателей того впечатления, какого можно было опасаться от распространения сей повести в журнале, с приманкою новизны» (Оксман Ю. Г., указ. соч., с. 55). Это заключение подсказано было рапортом Гончарова. Узнав о нем, Тургенев писал Д. Я. Колбасину 21 мая (2 июня) 1856 г.: «Очень я рад, что „Муму“, наконец, прошла и печатание начнется».

Но министр народного просвещения А. С. Норов подписал заключение Главного управления цензуры от 5(17) мая 1856 г. о пропуске «Муму» только 31 мая (12 июня). Тургенев узнал об этом от Д. Я. Колбасина, приехавшего к нему в Спасское (см.: *Анненков и его друзья*, с. 570).

В 1854 г., когда «Муму» появилась в «Современнике», критика по-разному восприняла и оценила это произведение. Вполне положительным был отзыв рецензента «Пантеона», благодарившего редакцию за помещение этого «прекрасного рассказа» — «простой истории о любви бедного глухонемого дворника к собачонке, погубленной злою и капризною старухою...» (Пантеон, 1854, т. XIV, март, кн. 3, отд. IV, с. 19).

Критик «Отечественных записок» указывал на «Муму» как «на образец прекрасной отделки задуманной мысли»; находя, что сюжет повести «незначителен», он всё же признавал, что она производит «сильное, потрясающее впечатление», и ставил ее в ряд с лучшими рассказами из «Записок охотника» (*Отеч Зап*, 1854, № 4, отд. IV, с. 90—91).

Как о «неудачном литературном произведении» писал о «Муму» Б. Н. Алмазов, находивший, что если прежние рассказы Тургенева отличались «естественностью и простотой», то в повести «Муму» сюжет «самый изысканный, самый эффектный», ибо «происшествие, в ней рассказанное, решительно выходит из ряда обыкновенных событий человеческой жизни вообще и русской в особенности». По мнению Алмазова, подходившего к оценке «Муму» с антизападнических позиций, повесть Тургенева «принадлежит к числу литературных произведений, наполненных пряными эффектами, которые в таком большом количестве появлялись во Франции...» (*Москв*, 1854, т. III, № 9, май, кн. 1, отд. IV, с. 32—33). Отметив в заключение, что в повести есть «много хороших подробностей», относящихся «к обстановке описываемого события», Алмазов считал, однако, что они не сглаживают того «неприятного впечатления, которое производит сюжет» (там же, с. 35).

После выхода в свет трехтомника «Повести и рассказы И. С. Тургенева» (СПб., 1856) в журналах появилось несколько статей, написанных большей частью критиками либерального или консервативного направлений. В частности, например, А. В. Дружинин в статье второй по поводу «Повестей и рассказов И. С. Тургенева» писал, что «Муму» и «Постоялый двор» — произведения «превосходно рассказанные, украшенные присутствием благородно-поучительной мысли и все-таки представляющие собою интерес умного анекдота, никак не более» (*Б-ка Чт*, 1857, № 3, отд. V, с. 18).

В «Отечественных записках» выступил С. С. Дудышкин, сближавший «Муму» с «Бирюком» и другими рассказами из «Записок охотника», а также с «Бобылем» и «Антоном Горемыкой» Д. В. Григоровича. По мнению Дудышкина, писатели натуральной школы «взяли на себя труд превратить идеи экономические в идеи литературные, явления экономические излагать в форме повестей, романов и драм». В заключение критик писал, что «сделать литературу служительницей исключительно одних специальных общественных вопросов, как в „Записках охотника“ и „Муму“, нельзя» (*Отеч Зап*, 1857, № 4, отд. II, с. 55, 62—63).

С совершенно иных позиций, позиций революционной демократии, подошел к оценке повести А. И. Герцен. В письме к Тургеневу от 2 марта н. ст. 1857 г. он выразил свое впечатление от чтения «Муму»: «На днях я читал вслух „Муму" и разговор барина со слугой и кучером 〈„Разговор на большой дороге"〉 — чудо как хорошо, и особенно „Муму"» (*Герцен*, т. XXVI, с. 78). В декабре того же года в статье «О романе из народной жизни в России (письмо к переводчице „Рыбаков")» Герцен писал о «Муму»: «Тургенев 〈. . .〉 не побоялся заглянуть и в душную каморку дворового, где есть лишь одно утешение — водка. Он описал нам существование этого русского „дяди Тома"[1] с таким художественным мастерством, которое, устояв перед двойною цензурой, заставляет нас содрогаться от ярости при виде этого тяжкого, нечеловеческого страдания...» (там же, т. XIII, с. 177).

Приветствуя обращение Тургенева к изображению народной жизни и развивая мысли, высказанные им некогда в письме 1852 г., К. С. Аксаков в «Обозрении современной литературы» указывал, что «Муму» и «Постоялый двор» знаменуют в творчестве Тургенева «решительный шаг вперед». По утверждению критика, «эти повести выше „Записок охотника", как по более трезвому, более зрелому и более полновесному слову, так и по глубине содержания, особенно вторая. Здесь г. Тургенев относится к народу несравненно с большим сочувствием и пониманием, чем прежде; глубже зачерпнул сочинитель этой живой воды народной. Лицо Герасима в „Муму", лицо Акима в „Постоялом дворе" — это уже типические, глубоко значительные лица, в особенности второе» (*Рус беседа*, 1857, т. I, кн. 5, отд. IV, с. 21).

По количеству переводов на иностранные языки, появившихся при жизни Тургенева, «Муму» занимает первое место среди повестей и рассказов 1840-х — начала 1850-х годов. Уже в 1856 г. в «Revue des Deux Mondes» (1856, t. II, Livraison 1-er Mars) был напечатан под заглавием «Moumounia» несколько сокращенный перевод повести на французский язык, выполненный Шарлем де Сент-Жюльеном; ему же, очевидно, принадлежит и предисловие к повести с кратким очерком биографии Тургенева. Полный авторизованный перевод «Муму» был опубликован через два года в первом французском сборнике повестей и рассказов Тургенева, переведенных Кс. Мармье *(1858, Scènes, I)*. С этого издания был сделан первый немецкий перевод «Муму», осуществленный Матильдой Боденштедт и отредактированный Фр. Боденштедтом (ее мужем), который сверил перевод с русским оригиналом. Этот перевод появился в газете «Frankfurter Museum» (1861, № 201—208) под заглавием «Edelfrau und Knecht». Этот же перевод (с восстановленным авторским заглавием «Mumu») был включен в изданное Фр. Боденштедтом собрание повестей и рассказов Тургенева (Erzählungen von Iwan Turgénjew. Deutsch von Friedrich Bodenstedt. Autorisierte Ausgabe. München, 1864. Bd. I). Об этом см. подробнее: Гранжар А. Письма Ф. Боденштедта (1861—1866); Рапинх Х. Тургенев и Боденштедт.— *Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 303—354. Тогда же в Германии были опубликованы еще два перевода повести: в лейпцигском

[1] «Дядя Том» — главный герой романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

журнале «Russische Revue», издававшемся Вильгельмом Вольфсоном (Bd. I, H. 4, 1863, перев. W. v K.), и в штутгартском журнале «Freya» (1864, перев. М. Гартман).

«Муму» было первым произведением Тургенева, переведенным на венгерский язык («Pesti Napló», 1858, № 85—87).

В 1860—1870-х годах появилось три чешских перевода «Муму» — в журнале «Lumír» (1861, перев. R. K. R.), в журнале «Slavia» (1874, перев. A. Hausgira, под заглавием «Pes něméһo») и в журнале «Koleda» (1877, перев. V. Vitímskí). В 1868 г. в Стокгольме был издан отдельной книгой шведский перевод повести («Mumu». Novell af I. Turgenev. Ofversättning fran franskan af C. J. Backmann. Stockholm, 1868). Первый перевод «Муму» на английский язык появился в США в 1871 г. («Mou-mou». «Lippincott's Monthly Magazin», Philadelphia, 1871, April). В 1876 г., тоже в США, был издан другой перевод («The Living Mummy» — in Scribner's Monthly). В 1878 г. повесть была издана на хорватском языке (вместе с «Дневником лишнего человека» — об этом издании см. выше, на с. 595). В 1879 г. в тартуской газете «Eesti Postimees» был напечатан анонимный перевод «Муму» на эстонский язык (см.: *Орл сб 1960*, с. 541). Несколько позднее появился в отдельном издании латышский перевод повести («Mumu». Sarakstijis kreewu rakstineeks Iwans Turgenjews. Tulkots no Ludwig Heerwagen, weza Gaujenes mahzitaja. Rigâ, 1882).

По свидетельству В. Рольстона, английский философ и публицист Т. Карлейль, который лично был знаком с Тургеневым и переписывался с ним, утверждал, говоря о «Муму»: «Мне кажется, это самая трогательная история, какую мне случалось читать» (Иностранная критика о Тургеневе. СПб., 1884, с. 192; см. также: *Анненков*, с. 379). Позднее (в 1924 г.) Д. Голсуорси в одной из своих статей («Six novelists in profile», т. е. «Силуэты шести романистов») писал, имея в виду «Муму», что «никогда средствами искусства не было создано более волнующего протеста против тиранической жестокости» (G a l s w o r t h y J. Castles in Spain and other screeds. Leipzig, Tauchnitz, s. a., p. 179).

Несомненно, что существует идейная и тематическая близость между рассказами «Муму» и «Мадемуазель Кокотка» Мопассана. Произведение французского писателя, названное также именем собаки, написано под воздействием рассказа Тургенева, хотя каждый из писателей трактует эту тему по-своему (см.: сб. И. С. Тургенев. Материалы и исследования. Орел, 1940, с. 110; К у р о е д о в а Н. Н. И. С. Тургенев и Ги де Мопассан.— Уч. зап. Кустанайск. гос. пед. ин-та. Серия филол., 1959. Т. IV, с. 129).

С т р. 246. *...едва ли не самым исправным тягловым мужиком.*— Тягло — крепостная повинность, которой помещики облагали своих крестьян. За единицу обложения барщиной или оброком принималась условная семья (двое взрослых работников, мужчина и женщина, иногда с прибавлением полуработника — подростка). Тургенев подчеркивает, что Герасим был полноценным работником, несшим все крестьянские повинности.

С т р. 253. *...ведь у него просто Минина и Пожарского рука.*— На памятнике Минину и Пожарскому, поставленном в

Москве на Красной площади в 1826 г. (автор — скульптор И. П. Мартос), Минин изображен с простертой вперед могучей рукой.

Стр. 272. *...к нему на двор вора ôселом не затащить!* — Осел — накидная петля из веревки, аркан (от осилить, совладать, поймать).

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

(с. 273)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, л. 1—41. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*. См.: *Mazon*, p. 55; *T сб*, вып. 2, с. 12—60. Микрофильм — в *ИРЛИ*.

Писарская авторизованная копия, сделанная не ранее второй половины марта 1853 г. для С. Т. Аксакова после его замечаний в письме к Тургеневу от 14(26) марта 1853 г. (см. ниже, с. 613), л. 1—62: *ИРЛИ*, ф. 3, оп. 19, № 64. В текст копии рукой Тургенева внесены исправления, устраняющие ошибки переписчика, а в нескольких случаях изменяющие текст более ранних редакций (см. раздел Варианты в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. V, с. 490—503).

Типографские гранки журнального текста повести с карандашными пометами цензора В. Н. Бекетова, л. 1—6: *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 46, На л. 6 надпись: «Его высокородию г-ну цензору Бекетову „Современник". Из тип⟨ографии⟩ Военно-учебн⟨ых⟩ завед⟨ений⟩». На каждом из шести листов в верхнем правом углу надпись: «Г-ну цензору. Окт⟨ября⟩ 22».

Совр, 1855, № 11, отд. I, с. 1—49.
Т, *1856*, ч. 2, с. 77—154.
Т, *Соч*, *1860—1861*, т. 2, с. 245—294.
Т, *Соч*, *1865*, ч. 2, с. 397—453.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 2, с. 321—376.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 2, с. 319—373.
Т, *Соч*, *1880*, т. 6, с. 331—386.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1855, № 11, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 октября 1855 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому этого же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам текста:

Стр. 273, строка 28: «к которой» вместо «в которой» (по всем другим источникам).

Стр. 273, строки 33—34: «не отпирались» вместо «не обтирались» (по всем другим источникам до *Т*, *Соч*, *1874*, где была допущена буквенная опечатка («не оптирались»), исправленная в *Т*, *Соч*, *1880* без проверки по предыдущим изданиям.

Стр. 277, строка 28: «заморскую сторону» вместо «заморскую страну» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 278, строка 38: «Акимова помещица» вместо «Бывшая Акимова помещица» (по черн. автогр., авториз. копии и типогр. гранкам).

Стр. 279, строки 33—34: «и особенно» вместо «и особенное» (по всем источникам до *Т, Соч, 1860—1861*).

Стр. 283, строка 2: «и глаза ей написал» вместо «и глаза ее написал» (по черн. автогр., авториз. копии и по всем другим печатным источникам).

Стр. 283, строки 5—6: «помычит» вместо «промычит» (по всем другим источникам).

Стр. 285, строка 3: «Вот и я» вместо «Вот я» (по всем другим источникам).

Стр. 285, строка 36: «искушений» вместо «покушений» (по черн. автогр. и авториз. копии).

Стр. 286, строка 16: «Так прошло еще два года» вместо «Так прошло два года» (по всем другим источникам).

Стр. 290, строка 10: «вечерком» вместо «вечером» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 290, строка 31: «Любовь его к Авдотье» вместо «Любовь к Авдотье» (по всем другим источникам).

Стр. 294, строка 12: «Аким Семеныч» вместо «Аким Иваныч» (по черн. автогр., авториз. копии и *Совр*).

Стр. 294, строка 17: «ввезти» вместо «ввести» (по типогр. гранкам, *Совр, Т, 1856* и *Т, Соч, 1860—1861*).

Стр. 296, строка 28: «проговорил он медленно» вместо «проговорил он немедленно» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 296, строка 35: «руки за спину» вместо «руку за спину» (по всем источникам до *Т, Соч, 1874*).

Стр. 297, строка 4: «что вы так стоите» вместо «что вы такое стоите» (по всем источникам до *Т, Соч, 1868—1871*).

Стр. 297, строка 27: «человечка» вместо «человечика» (по авториз. копии и по всем другим печатным источникам).

Стр. *298, строка 5:* «бийца» вместо «убийца» (по всем другим источникам).

Стр. 298, строки 5—6: «тебя пора под начало» вместо «тебя под начало» (по всем другим источникам).

Стр. 298, строка 23: «повалилась прямо лицом в пыль» вместо «повалилась лицом в пыль» (по всем другим источникам).

Стр. 299, строка 7: «заглушали» вместо «заглушили» (по черн. автогр., типогр. гранкам, *Т, Соч, 1868—1871* и *Т, Соч, 1874*).

Стр. 299, строка 35: «крикнул» вместо «кликнул» (по всем другим источникам).

Стр. 300, строка 39: «Мигом» вместо «Могим» (по всем другим источникам).

Стр. 303, строка 23: «попавшийся стул» вместо «попавший стул» (по всем другим источникам).

Работа над «Постоялым двором» была начата 18(30) октября и закончена 14(26) ноября 1852 г. (помета в черновом автографе). В письме к Н. А. Некрасову от 28 октября (9 ноября) 1852 г. Тургенев писал: «...я тебе обещаю одну вещь, которая, я надеюсь, тебе понравится — что такое — не скажу — увидишь — а получишь ты ее, может быть, через месяц». Во второй половине ноября — начале декабря 1852 г. в Спасском была сделана копия «Постоялого двора». Об этом известно из письма Турге-

нева к С. Т. Аксакову от 13(25) декабря 1852 г., в котором сообщалось, что повесть «уже совсем исправлена и списана» и «при первой оказии» будет отправлена в Москву к Н. Х. Кетчеру, который доставит ее «на прочтение» адресату. В конце десятых — начале двадцатых чисел января ст. ст. 1853 г. рукопись повести (беловой автограф или список — неизвестно) была уже в Москве, так как С. Т. Аксаков 22 января (3 февраля) 1853 г. писал Тургеневу, что еще не получил «Постоялого двора» от Кетчера, который «просил отсрочки на неделю» (*Рус Обозр*, 1894, № 9, с. 8). 27 февраля (11 марта) 1853 г. С. Т. Аксаков снова писал Тургеневу: «Увы, и третья попытка достать „Постоялый двор" оказалась безуспешною! „Постоялого двора" нет дома, его переписывают; а как желающих, без сомнения, очень много, то я рискую получить его через год» (там же, с. 19).

Таким образом, можно считать несомненным, что в Москве было изготовлено в конце января — феврале 1853 г. несколько списков повести, восходящих, очевидно, к черновому автографу или к беловому — нам неизвестному. До нас дошли два более ранних списка (*ЦГАЛИ*, ф. 509, оп. 1, № 29 и *ГПБ*, ф. 795, № 21), которые должны быть датированы временем не позднее начала января ст. ст. 1853 г., потому что в них обоих, как и в черновом автографе, имеются слова «к становому». П. В. Анненков в письме от начала января 1853 г. указал Тургеневу на его промах: Акима, арестованного за попытку поджечь постоялый двор, собираются везти «к становому, а рассказ отнесен за 20 лет, когда, кажется, становых не было» (Назарова Л. Н. К истории творчества И. С. Тургенева 50—60-х годов. I. И. С. Тургенев в работе над повестью «Постоялый двор».— *Орл сб, 1960*, с. 137). В ответном письме от 10(22) января 1853 г. Тургенев сообщал Анненкову: «Ошибку о „становом" легко поправить». И действительно, начиная с журнального текста 1855 года, слово «становой» Тургенев заменил словом «исправник».

Авторизованная копия написана не ранее второй половины марта 1853 г., что явствует из письма С. Т. Аксакова к Тургеневу от 14(26) марта этого года. С. Т. Аксаков, который ознакомился с одним из ранних списков «Постоялого двора», сделал Тургеневу несколько замечаний относительно неточного употребления некоторых слов и выражений. Он писал: «„Здесь лежал постоялый двор" — *лежал* не говорится. Потом: „карета, запряженная шестериком кобыл" — помещики никогда не ездили на кобылах в *экипажах*; разве это какая-нибудь местная особенность?» (*Рус Обозр*, *1894*, № 9, с. 32). Учитывая замечания С. Т. Аксакова, Тургенев внес в текст «Постоялого двора» (в частности в авторизованную копию) два исправления: слово «лежал» он заменил словом «стоял», а вместо слова «кобыл» ввел слово «лошадей».

Со списками «Постоялого двора» познакомились многие из друзей Тургенева, в своих письмах к автору высказавшие суждения об этом произведении. Одним из первых прочитал «Постоялый двор» П. В. Анненков, высоко оценивший повесть. В начале января 1853 г. Анненков писал Тургеневу о «Постоялом дворе»: «Это вещь зрелая, обдуманная, спокойно выполненная, и потому весьма замечательная, гораздо более замечательная, чем „Муму", да, по моему мнению, и все прежние Ваши рассказы.

Еще ни в одном из них не было столько *драмы*» (*Т*, ***ПСС и П***, ***Письма***, т. II, с. 468). Сравнивая «Постоялый двор» с «Антоном Горемыкой» Д. В. Григоровича и «Красильниковыми» П. И. Мельникова-Печерского, Анненков подчеркивал, что «род жгучести», свойственный всем этим произведениям, «происходит от самого безобразного начала, от противоречий нестерпимых, нечеловеческих», т. е. противоречий крепостнической действительности. Анненков правильно подметил при этом, что за автора в данном случае работает сама «действительность», ибо миллионы таких же драм «существуют в голове, в воспоминаниях, в наслышке каждого» (*Рус Обозр*, 1894, № 9, с. 34). Считая, что «Постоялый двор» свидетельствует об изменении тургеневской «манеры», Анненков писал далее: «Попадись Вам эта мысль два года назад — вышел бы анекдотец весьма яркий, краску выводящий на лице, оглушительный, действием с апоплексией равняющийся 〈. . .〉 но я думаю, что чем безобразнее основание драмы — тем нужнее для передачи ее осторожность, деликатность приемов» (*Орл сб*, *1960*, с. 136).

«Существенный недостаток» произведения Тургенева заключался, по мнению Анненкова, лишь в том, что автор упустил из виду необходимость в такого рода произведениях «истины математической». В том же письме он указывал Тургеневу: «Вот, например: Аким купил постоялый двор либо на имя г-жи Кунце, либо на собственное свое. В последнем случае г-жа Кунце *не могла* его продать без предварительной *драмы* с Акимом, о чем вы умалчиваете... В первом же случае все документы были в ее руках, она *могла* продать дворик, но это уже не могло быть нечаянностью для Акима 〈. . .〉 Между ними была непременно какая-нибудь предварительная сделка. Вы скажете: на кой чёрт нам знать это? — Нельзя! Из продажи дворика — всё дело вышло, нам надобно знать о нем пообстоятельнее: это дело юридическое. Как снег на голову упала на читателя продажа дворика, а читатель знает, что эти вещи все-таки с плутовством делаются и сопровождаются даже у крепостных людей борьбой, извилинами и кой-каким сопротивлением. Нечаянности тут анахронизм. Избу Акима г-жа Кунце могла снести по одному слову, по купленную землю им и дворик — могла снести, похлопотав однако ж маленько, и эти две *истины* нужно было сказать» (там же, с. 137).

Возражая Анненкову, Тургенев писал ему 10(22) января 1853 г., что крепостной крестьянин «*не имеет* права приобретать собственность иначе, как на имя своего господина». В подтверждение писатель рассказывал о том, что сам он недавно дал доверенность одному «богатому мужику в Тамбове — купить 150 десятин на его деньги», но на имя Тургенева. Далее Тургенев прибавлял, что вся история, рассказанная в повести, «буквально совершилась в 25-и верстах отсюда 〈от Спасского〉 — и „Наум“ жив и процветает до нынешнего дня». Писатель соглашался с Анненковым лишь в том, что «вероятно, такого рода продажи пронюхиваются прежде и против них не принимаются меры — потому что мер никаких принять нельзя,— но делаются своего рода усилья». Тургенев не хотел, по его словам, упоминать об этом, так как «боялся задержать и понапрасну запутать ход драмы». В постскриптуме к этому же письму он, про-

должая спор с Анненковым, писал: «Вы говорите, что если Аким знал, что г-жа К⟨унце⟩ могла продать его двор — то это для него уж не было нечаянностью. В Ярославской губернии нет крестьянина, который бы не владел частичкой земли на имя своего господина (след⟨овательно⟩ ему не принадлежащей),— купцы наши до сих пор пересылают огромные суммы через приказчиков,— без расписки,— но думаете ли Вы, что лишение земли или капитала для них не нечаянность непредвиденная? В этом-то и состоит весь русский chic. О какой-нибудь предварительной сделке — и думать нельзя, и мне кажется, что, если б даже можно было, и тут бы не думали».

Но если у Анненкова возникали какие-то сомнения в отношении юридической основы повести Тургенева, то Кетчер, сделавший приписку в конце цитированного выше письма Анненкова к Тургеневу, соглашаясь с ним «в полнейшей необходимости для подобных произведений истины почти математической», писал далее, что она «впрочем, кажется, соблюдена здесь достаточно» и он «очень доволен» (*ИРЛИ*, ф. 7, ед. хр. 7, л. 11).

Очень сухо отозвался о повести В. П. Боткин. Тургенев был обескуражен его мнением, которое сводилось к тому, что «второстепенные лица удались гораздо лучше лиц переднего плана, хотя написанных и сильными красками. Герой так преувеличен, что сбивается на мелодраматического героя, и вообще вся повесть более походит на эскиз, нежели на дельную картину» (*Боткин и Т*, с. 36—37).

Позже стало более сдержанным и отношение Анненкова к «Постоялому двору». Критик писал Тургеневу в начале марта 1853 г., что из этого «направления» «ничего выйти серьезного не может», ибо «нет почвы сделаться у нас великим *полемическим* писателем, а художественным — само направление не позволяет» (*Орл сб, 1960*, с. 139). Анненкову казалось, что «дядя Том и дядя Аким есть полемика, а не создание»[1]. Опасаясь, чтобы Тургенев не встал на путь создания других, полемических же, т. е. злободневных, социальных произведений, Анненков советовал писателю: «Не обращайтесь Вы с любовью на него ⟨Акима⟩, принимайте похвалы заслуженные, а про себя думайте свою думу» (там же, с. 140).

Как уже упоминалось выше, с большим интересом отнеслись к «Постоялому двору» Аксаковы. В их письмах к Тургеневу содержатся оценки этого произведения в целом, а также отдельных его героев. Внимание И. С. Аксакова привлек образ Акима, о котором он в письме к Тургеневу от 11(23) марта высказал типично славянофильские суждения: «Этот оскорбленный, ограбленный и разоренный Аким, умевший из-под развалин своего земного благосостояния возрасти до такой недосяга-

[1] Сопоставление Акима с героем романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» не раз производилось и в позднейшей русской и зарубежной критике. Так, в частности, американские исследователи Джек Позин (1958) и Альберт Каспин (1965) отмечают бо́льшую социальную остроту «Постоялого двора» по сравнению с произведением американской писательницы. Подробнее см.: Левин Ю. Д. Новейшая англо-американская литература о Тургеневе (1945—1964).— *Лит Насл*, т. 76, с. 527—528.

смой для нас нравственной высоты, заставляет читателя даже стыдиться тех буйных выходок, которые возбуждаются в самом читателе в пользу Акима ⟨. . .⟩ Русский человек остался чистым и святым — и тем самым сильнее обвинил общество, поразил его таким неотразимым обвинением, которое...— Вы думаете погубит общество, низведет на него месть и кару? Нет! — которое, может быть, святостью и правотою своею смирит гордых, исправит злых и спасет общество» (*Рус Обозр*, 1894, № 9, с. 27).

К. С. Аксаков, разделяя мнение брата, также писал Тургеневу 12(24) марта 1853 г., что «Аким, после попытки пожара, это — такое лицо, которое выше несказанно всякого европейца на его месте». В связи с этим тургеневским образом К. С. Аксаков писал далее, что «русский крестьянин есть, в существенных своих проявлениях, действиях и словах» «великий наставник и проповедник истины и добра христианского учения» (*Рус Обозр*, 1894, № 9, с. 29).

Тургенев был явно смущен такого рода интерпретациями своего героя. 2(14) апреля 1853 г. он сообщал Анненкову: «От лица *Акима* — они ⟨Аксаковы⟩ в восторге — и видят в нем... право, я даже сам не знаю что. Это меня конфузит не менее боткинского упрека...». А в письме к самим Аксаковым, написанном в тот же день, Тургенев прямо указывал: «со всем сказанным К⟨онстантином⟩ С⟨ергеевичем⟩ — согласиться мне трудно».

Правильно понял и самую сущность замысла повести и типичность героев «Постоялого двора» С. Т. Аксаков. 10(22) марта 1853 г. он писал Тургеневу, что в его повести — «русские люди, русская драма жизни, некрасивая по внешности, но потрясающая душу, изображенная русским талантом» (*Рус Обозр*, 1894, № 9, с. 26). В следующем письме, от 14(26) марта 1853 г., С. Т. Аксаков подчеркивал жизненность, реальность таких образов, как Аким, Авдотья, Наум, госпожа Кунце и второстепенных персонажей: Кирилловны, дьячка и его жены (там же, с. 31—32). Тургенев был очень доволен этим письмом. Отвечая С. Т. Аксакову 2(14) апреля 1853 г., он писал: «Ваша оценка каждого отдельного лица в „П⟨остоялом⟩ д⟨воре⟩“ ⟨. . .⟩ меня просто возгордила — стало быть, подумал я, я не напутал, коли С⟨ергей⟩ Т⟨имофеевич⟩ так верно понял всё, что я хотел сказать».

Списки «Постоялого двора» Тургенев посылал также другим своим знакомым и друзьям. Е. В. Салиас писала Тургеневу, очевидно, зимой 1853 г.: «Я жду с величайшим нетерпением вашего „Постоялого двора“» (*Орл сб, 1960*, с. 142—143). Несколько позже она снова повторяла свою просьбу: «Пришлите мне *скорее* свои повести — нет одной, хотя другую... Если нет „Муму“, то „Постоялый двор“...» (там же, с. 143). И ей, и Е. М. Феоктистову Тургенев послал список «Постоялого двора» значительно позже. Отзыв Феоктистова об этом произведéнии содержится в его письме к Тургеневу от 15(27) июня 1853 г. В целом корреспондент Тургенева был очень удовлетворен «Постоялым двором». Он считал, что «характеры» вышли здесь «очень определенны, ярки», в изображении их нет «прежних несколько хитростных замашек». По его мнению, Тургенев в «Постоялом дворе» «яснее и прямее прежнего» смотрит на изображаемый им мир. Особенно понравилась Феоктистову Авдотья. «Это лицо удивительно удалось Вам, так что мне кажется нельзя ни при-

бавить, ни убавить ни одной лишней черты»,— писал он Тургеневу, отмечая, что «некоторые сцены,— напр⟨имер⟩, описание первой встречи Авдотьи с Наумом и проведенная ею беспокойная ночь, появление Акима к барыне с объяснением по поводу проданного дома — всё это живо, верно и отлично». Указав затем на недостатки, которые он находил в «Постоялом дворе», Феоктистов в заключение отмечал, что Тургеневу очень опасно продолжать заниматься изображением крестьянского быта, так как он это делает все-таки «не слишком ловко» (там же).

Очень кратко отозвался о повести Н. А. Некрасов, который 17(29) ноября 1858 г. писал Тургеневу: «В Москве я читал твой „Постоялый двор“ — вещь прекрасная, но выполнение слабее, чем в других твоих рассказах,— как-то бледновато, думаю — потому, что ты не имел цели окончательно его отделывать» (*Некрасов*, т. X, с. 198).

Сохранились сведения и о чтении этой повести в Москве у Ховриных. 15(27) февраля 1855 г. Е. А. Ладыженская сообщала Тургеневу: «...Бутовский читал нам сегодня вечером ⟨. . .⟩ Ваш „Постоялый двор“ ⟨. . .⟩ Если Вам это может сделать удовольствие, то я Вам скажу, что Марья Дмитриевна была тронута до слез великодушием Акима в отношении жены. Что касается до Лидии, то она, с надлежащей скромностию, опустила глаза, когда читали встречу в конопляниках ⟨. . .⟩ *Мне же* чрезвычайно понравилось это сочинение, оно мне решительно кажется самым лучшим Вашим произведением» (*Т сб*, вып. 2, с. 367). 27 февраля (11 марта) Ладыженская, возвращаясь к «Постоялому двору», писала Тургеневу: «...я всё в том же восторге, я нахожу, что Вы в нем достигли до высшего драматизма,— сцена, в которой Аким прощает жену, поражает своей строгой красотой. Очень хороша и та, в которой Кирилловна объясняется с Акимом и с барыней. Словом, с самой доброй волей ничего не найдешь критиковать в этом произведении» (там же, с. 369).

18 февраля ст. ст. 1854 г. Тургенев читал «Постоялый двор» в Петербурге у Виельгорских (см.: Долотова Л. М. Тургенев о революционном Париже 1848 г. Из дневниковых записей П. А. Васильчикова, 1853—1854 гг.— *Лит Насл*, т. 76, с. 355).

Один из ранних списков «Постоялого двора» читал А. Ф. Писемский. 29 апреля (11 мая) 1855 г. он писал Тургеневу: «Первое слово о „Постоялом дворе“, который я прочитал и за мысль которого автора надобно расцеловать. Но за выполнение другое дело: характеры задуманы в основании все верно, но в развитии их нет, если можно так выразиться, психологической последовательности. Например, главное лицо: это трудолюбивый мужик, до сорокапятилетнего возраста трудившийся, хлопотавший, даже, вероятно, плутовавший, наконец-то разошелся, и тут начинает *нравственно куражиться*, и действительно самым резким проявлением его *куража* Вами избрана очень ловко его мысль жениться *мужику на горничной девке*. И это сейчас наводит на прекрасную, широкую сцену — объяснение куражливого мужика с барыней, аханье дворни, испуг, раздумыванье о согласии горничной. Обо всем этом у Вас только намекнуто. Сцена любви слишком случайна и коротка, и зачем Вы избрали в соблазнители временно накутившего купца? Всего удобнее для этого поверенные, которые беспрестанно ездят для поверки в кабак и

пристают обыкновенно на постоялых дворах. и обыкновенно составляют предмет соблазна для молодых баб. Впрочем, всё это выкупили этим местом, где она собирается идти к нему, потихоньку от мужа — прекрасно! Сцена, когда узнается его плутливая проделка, драматична, но не знаю, верна ли действительности. Я бы сделал так, что старик кинулся после барыни к становому, тот приехал и прибрал к рукам плута ловко, но барыня, узнав об этом, из корысти приняла его сторону, и они вместе подкупили станового, и затем сцена поджиганья и всё последующее» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 138).

Многие из корреспондентов Тургенева понимали, что «Постоялый двор» является шагом вперед в творчестве писателя. По сравнению с рассказами из «Записок охотника» характеры героев обрисованы в этом произведении более определенно и ярко, каждый из них показан во взаимодействиях с другими персонажами (так, например, характер Акима всесторонне раскрывается в его сценах с женой, дьячком Ефремом, стариком дядей, а также в столкновениях с Наумом, барыней и ее наперсницей Кирилловной). Простота в изображении потрясающей своей жизненностью социальной драмы, спокойная и сдержанная манера рассказа о происходящих событиях взамен некоторой напряженности и натянутости, ощутимой кое-где в рассказах из «Записок охотника», позволяли самому Тургеневу и его литературным советчикам говорить об отходе писателя от «старой манеры». Подробнее об этом см.: Клочихина М. М. Повесть Тургенева «Постоялый двор».— Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина, каф. рус. лит-ры, т. CXV. Вып. 7. Под ред. проф. Ф. М. Головенченко, М., 1957, с. 299—337.

В печати «Постоялый двор» появился значительно позднее — лишь в одиннадцатой (ноябрьской) книжке «Современника» за 1855 год. Сравнение журнального текста с черновым автографом, со списками, хранящимися в *ЦГАЛИ* и *ГПБ*, а также с авторизованной копией позволяет утверждать, что первоначальная редакция повести, с которой знакомились друзья Тургенева в 1853 г., была значительно более острой в социальном отношении. Не случайно С. Т. Аксаков с горечью писал автору 13 (25) ноября 1855 г.: «Не могу утерпеть, чтоб не сказать Вам правду: вы просто срезали меня, напечатав „Постоялый двор“ с такими изменениями, которые уничтожают мысль и, несмотря на переделку или подделку, производят такое смешение в понятиях читателя, что повергают в недоумение бедную его голову...» (*Рус Обозр*, 1894, № 12, с. 573).

В своих примечаниях к повести А. Н. Дубовиков указал на самую существенную из вынужденных уступок Тургенева цензуре: в журнальном тексте повести Аким из крепостного крестьянина, находящегося на оброке, был сделан вольноотпущенным. Постоялый двор он построил на земле, некогда купленной мужем Лизаветы Прохоровны Кунце, а не самим Акимом на имя барыни. В результате этого «сделка барыни с Наумом становилась примером лишь юридической несправедливости, а повесть в целом утрачивала силу протеста против крепостнического произвола» (*Т*, *СС*, т. 5, с. 454). О том, какие изменения пришлось внести Тургеневу в текст повести, свидетельствуют листы

Авдотья, молча прошла мимо. — Вишь, не побилъ, произнесъ про себя старикъ, усмѣхнулся, взъерошилъ бороду и понюхалъ табаку.

Акимъ исполнилъ свое намѣреніе. Лизавета Прохоровна велѣла выдать ему паспортъ и великодушно простила ему оброкъ за три года впередъ. Онъ устроилъ на скоро свои дѣлишки, и нѣсколько дней спустя, послѣ переданнаго нами разговора, зашелъ одѣтый по дорожному, проститься съ своей женой, которая поселилась на время, въ флигелькѣ господскаго дома. Прощаніе ихъ продолжалось не долго.... Тутъ же случившаяся Кириловна присовѣтовала Акиму явиться къ барынѣ; онъ явился къ ней. Лизавета Прохоровна приняла его съ нѣкоторымъ смущеньемъ, но благосклонно допустила его къ рукѣ, и спросила, куда онъ намѣренъ идти? Онъ отвѣчалъ, что пойдетъ сперва въ Кіевъ, а оттуда куда Богъ дастъ. Она похвалила его и отпустила. Съ тѣхъ поръ онъ очень рѣдко показывался домой, хотя никогда не забывалъ принести барынѣ просвиру съ вынутымъ за здравьемъ.... За то вездѣ, когда только стекаются богомольные русскіе люди, можно было увидѣть его исхудавшее и постарѣвшее, но все еще благообразное и стройное лицо, и у рѣки св. Сергія, и у Бѣлыхъ береговъ, и въ Оптиной пустынѣ, и въ отдаленномъ Валаамѣ; вездѣ бывалъ онъ.

Въ нынѣшнемъ году онъ проходилъ мимо васъ, въ рядахъ несмѣтнаго народа, идущаго крестнымъ ходомъ за иконой Богородицы въ Коренную; на слѣдующій годъ, вы заставали его сидящимъ съ котомкой за плечами, вмѣстѣ съ другими странниками, на паперти Николая Чудотворца во Мценскѣ.... въ Москву онъ являлся почти каждую весну....

Изъ края въ край скитался онъ своимъ тихимъ, неторопливымъ, но безостановочнымъ шагомъ — говорятъ, онъ побывалъ въ самомъ Іерусалимѣ.... Онъ казался совершенно спокойнымъ и счастливымъ, и много говорили о его набожности и смиренномудріи тѣ люди, которымъ удавалось съ нимъ бесѣдовать.

А Наумово хозяйство шло между тѣмъ, какъ нельзя лучше. Живо и толково принялся онъ за дѣло, и, какъ говорится, круто пошелъ въ гору. Всѣ въ околоткѣ знали какими средствами досталъ онъ себѣ постоялый дворъ, знали также что Авдотья отдала ему мужнины деньги; никто не любилъ Наума за его холодный и рѣзкій нравъ.... съ укоризной разсказывали про него, будто онъ однажды самому Акиму, попросившему у него подъ окномъ милостыню, отвѣчалъ, что Богъ молъ подастъ, и ничего не вынесъ ему; но всѣ соглашались, что счастливѣй его человѣка не было; хлѣбъ у него родился лучше, чѣмъ у сосѣдей; пчелы роились больше; куры даже

«ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР».

Корректурные гранки «Современника» с карандашными пометами цензора (фрагмент).

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, Ленинград.

корректуры в гранках ноябрьской книжки «Современника» за 1855 г. На всех этих листах имеются карандашные пометы — следы внимательного чтения «Постоялого двора» цензором В. Н. Бекетовым (см.: Назарова Л. Н. «Постоялый двор» И. С. Тургенева. К истории первой публикации повести.— В сб.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М.; Л., 1959, с. 158—165).

В результате цензорской правки «Постоялый двор» был напечатан в «Современнике» со значительными отклонениями от текста 1852 г. и даже от текста, отданного Тургеневым в 1855 г. в редакцию журнала, а затем представленного в цензуру. Некрасову, пожелавшему в конце 1855 г. непременно напечатать «Постоялый двор» в «Современнике», вероятно, пришлось выдержать нелегкую борьбу с цензурой, и в отдельных случаях победа оказалась на его стороне (см. там же, с. 164).

В позднейших прижизненных изданиях, начиная с *Т*, *Соч*, *1860—1861*, Тургенев постепенно восстанавливал первоначальный текст повести, приближаясь к ранним редакциям. В частности, уже в этом издании Аким снова стал именоваться «крестьянином», а не «вольноотпущенным крестьянином», как это было сделано в журнальной редакции «Современника» и в издании 1856 г. В соответствии с этим несколькими строками ниже, где речь шла о том, что Аким основался на большой дороге, с позволения своей «бывшей барыни», слово «бывшей», так же начиная с *Т*, *Соч*, *1860—1861*, было снято.

Однако работа по восстановлению первоначального текста не была доведена Тургеневым до конца. Исключение представляет лишь текст французского авторизованного издания (*1858*, *Scènes*, *II*), в котором писатель, пользуясь черновым автографом или одним из списков 1853 г., в значительной степени восстановил первоначальный текст повести, так как не был стесняем цензурными требованиями. Тургенев воспользовался для перевода не только печатными, но и рукописными источниками, что подтверждается сличением французского перевода с черновым автографом, а также со списками *ЦГАЛИ* и *ГПБ*.

На стр. 8 французского издания напечатано: «La maîtresse d'Akim, Lisaveta Prokhorovna Kuntze...» («Акимова помещица Лизавета Прохоровна Кунце....»). В черновом автографе и в списках *ЦГАЛИ*, *ГПБ* читаем: «Акимова помещица, Лизавета Прохоровна Кунце...» Во всех же прижизненных изданиях: «Бывшая Акимова помещица, Лизавета Прохоровна Кунце...»

На стр. 9 французского издания, где речь идет о том, как Лизавета Прохоровна Кунце управляла своим имением, напечатано: « Elle l'administrait elle-même, et passablement. Ses paysans ne souffraient pas trop, mais il ne leur restait en tout que le plus juste» («Она сама управляла им, и недурно. Ее крестьяне не слишком страдали, но им оставалось только в самый обрез»). В черновом автографе и в списках *ЦГАЛИ*, *ГПБ* читаем: «...сама им управляла и весьма недурно управляла, с своей точки зрения, разумеется; крестьянам ее не то чтобы плохо приходилось, а в обрез,— и очень даже в обрез». Во всех прижизненных изданиях: «сама управляла, и очень недурно управляла».

На стр. 22 французского издания (разговор между Кирилловной и Кунце, во время которого барская фаворитка убеждает

свою госпожу продать постоялый двор Акима) напечатано: «— Son propre argent ! mais d'où l'a-t-il pris? c'est grâce à votre condescendance qu'il l'a gagné. Et vous croyez, madame, qu'après cela il ne lui restera plus d'argent? mais il est plus riche que vous. Je le dis devant Dieu. Et puis d'ailleurs, lui et les autres paysans, ne sont-ils pas assis sur le même sillon? Vous lui avez permis de s'occuper de roulage, et voilà qu'il est devenu un richard, plus riche que les autres. Est-ce que c'est juste?» (— «На свои деньги? Да откуда он взял-то их? Ведь всё по вашей же милости заработал. А вы думаете, сударыня, что после этого у него и не останется больше денег? Да он богаче вас. Ей-богу же. А ведь разве не сидел он на той же полосе, что и другие крестьяне? Вы ему позволили извозом заниматься — вот он и разбогател — пуще всех. Разве это справедливо?»).

В черновом автографе и в списках *ЦГАЛИ*, *ГПБ* читаем: «На свои деньги? Да деньги-то откуда он взял? — Ведь всё по вашей же милости. А вы думаете, сударыня, что у него так и не осталось больше денег? Да он богаче вас, ей-богу-с. А ведь что он, что другие крестьяне, на одной ведь полосе сидели,— всё равно-с. Вы ему позволили извозом заниматься — он и разбогател пуще всех. Разве это справедливо?» Во всех прижизненных изданиях это развернутое возражение Кирилловны дано в иной, сокращенной редакции, а именно: «— На свои деньги? А откуда он эти деньги взял? Не по вашей ли милости? Да он и так столько времени землею пользовался... Ведь всё по вашей же милости. А вы думаете, сударыня, что у него так и не останется больше денег? Да он богаче вас, ей-богу-с»).

На стр. 33 французского издания, в сцене разговора Кирилловны с Акимом после продажи постоялого двора, напечатано: «— Vous un paysan, Akim Séménitch! mais vous êtes un des premiers parmi les gens de service» («— Вы мужик, Аким Семеныч! Да вы один из первых среди дворовых»). В черновом автографе, а также в списках *ЦГАЛИ* и *ГПБ* читаем: «— Какой же вы мужик, Аким Семеныч? Вы и из дворовых у нас, почитай, что первый, что вы это?» Во всех прижизненных изданиях: «— Какой же вы мужик, Аким Семеныч? Вы тот же купец, вас и с дворовым сравнить нельзя, что вы это?»

Далее на той же стр. 33 напечатано: «„— Il parait qu'en effet je suis devenu un homme de service",— se dit Akim en s'arrêtant devant la porte cochère». В черновом автографе и в списках *ЦГАЛИ*, *ГПБ*: «— А знать, я и впрямь дворовым стал,— сказал самому себе Аким, остановившись в раздумье на дворе перед воротами». Во всех прижизненных изданиях: «— А знать, я и впрямь купцом стал.— сказал самому себе Аким, остановившись в раздумье перед воротами.— Хорош купец!»

На стр. 34 французского издания о дьячке Ефреме сказано: «C'était un petit homme tout rabougri, avec le nez pointu, des yeux chafouins et une tresse de cheveux noirs» («Это был маленький тщедушный человек с острым носом, невыразительными глазами и черной косичкой»). В черновом автографе и в списках *ЦГАЛИ*, *ГПБ* читаем: «...маленького сгорбленного человека с вострым носиком, слепыми глазками и черной косичкой». Во всех прижизненных изданиях: «...маленького сгорбленного человечка с вострым носиком и слепыми глазками».

На стр. 55 французского издания напечатано: «Mais Ouliana ne lui montra pas la moindre considération, et le chassa du côté de l'église» («Но Ульяна не проявила к нему ни малейшего уважения и прогнала его в церковь»). В черновом автографе и в списках *ЦГАЛИ*, *ГПБ* читаем: «Но Ульяна Федоровна не уважила его — и прогнала его к обедне». Во всех прижизненных изданиях: «Но Ульяна Федоровна не уважила его и прогнала его с глаз долой».

При появлении в «Современнике» «Постоялый двор» почти не был замечен критикой. Один из положительных отзывов был напечатан без подписи в газете «С.-Петербургские ведомости». Анонимный рецензент (им был, вероятно, Е. Ф. Корш) писал, что в ноябрьской книжке «Современника» «первое место занимает, конечно, новая повесть г. Тургенева „Постоялый двор“». По мнению критика, в этом произведении Тургенев является «таким же мастером в описании быта наших крестьян, какими выказались г. г. Григорович и Потехин ⟨. . .⟩ Содержание „Постоялого двора“ не сложно, но полно драматизма и передано с тем уменьем заинтересовать читателя, которое составляет отличительную черту таланта г. Тургенева».

Пересказав далее содержание, рецензент в заключение писал: «Рассказ передан г. Тургеневым так живо, так увлекательно, что кажется будто видишь перед собой всех действующих лиц этой безыскусственной и трогательной повести, полной чувства и истины» (*СПб Вед*, 1855, № 264, 1 декабря, с. 1415).

Когда же «Постоялый двор» был перепечатан во второй части «Повестей и рассказов И. С. Тургенева» (СПб., 1856), он вызвал, наряду с «Муму», ряд отзывов в печати (А. В. Дружинина, К. С. Аксакова — см. примеч. к «Муму», наст. том, с. 608—609). С. С. Дудышкин в статье второй о «Повестях и рассказах И. С. Тургенева» писал, сопоставляя «Муму» и «Постоялый двор»: «...повинуясь, по-видимому ⟨. . .⟩ теории художественного беспристрастия, г. Тургенев оканчивает свой „Постоялый двор“ уже совсем не так, как „Муму“. Там немой утопил свою собачонку, чтоб она никому не доставалась; здесь старый дворник, желавший поджечь свой двор, умеряет гнев свой и отправляется на богомолье. Здесь уж в раздраженную натуру влит целительный бальзам примирения — конечно, на том основании, что оно так бывает на святой Руси» (*Отеч Зап*, 1857, № 4, отд. II, с. 62).

В 1861 г., после выхода в свет второго тома «Сочинений И. С. Тургенева» (изд. Н. А. Основского), включавшего «Муму» и «Постоялый двор», К. Н. Леонтьев в статье «По поводу рассказов Марка Вовчка» писал: «...реального, правдивого бездна в „Муму“, „Постоялом дворе“, „Певцах“, „Бирюке“, „Лешем“, „Питерщике“ ⟨А. Ф. Писемского⟩, „Деревне“, „Антоне Горемыке“ ⟨Д. В. Григоровича⟩». И далее: «...такие вещи, как „Муму“, „Постоялый двор“ ⟨. . .⟩ всегда будут жить и читаться с наслаждением» (*Отеч Зап*, 1861, № 3, отд. III. с. 11, 13; см. также: Л е о н т ь е в К. Собр. соч. М., 1912. Т. 8, с. 30, 33).

Интересна запись в дневнике Ф. Н. Тургеневой относительно обеда, состоявшегося в Париже у Н. А. Милютина в третью годовщину реформы 19 февраля 1861 г. Обратившись к В. П. Боткину, автор дневника сказала: «Следовало бы выпить за здоровье Ивана Сергеича как автора „Муму“ и „Постоялого двора“».

Через некоторое время Боткин «встал и произнес несколько слов, прося не забыть тех, кто своими сочинениями способствовали распространению идеи освобождения и сочувствия крестьянам». «В первом ряду стоит автор „Записок охотника", предлагаю выпить за его здоровье». По свидетельству Ф. Н. Тургеневой, «все присоединились с жаром» (Тургенев и семья декабриста Н. И. Тургенева. Из дневников Ф. Н. Тургеневой, 1857—1883. Публикация М. П. Султан-Шах.— *Лит Насл*, т. 76, с. 366).

Когда в 1874 г. комиссия Комитета грамотности Московского общества сельского хозяйства задумала включить некоторые произведения Тургенева в специальное «издание для народа», он писал В. С. Кашину (секретарю комиссии) 8(20) марта 1874 г.: «Позволяю себе рекомендовать комиссии „Записки охотника", „Муму" — и особенно „Постоялый двор"». (Записки Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. М., 1960. Вып. 23, с. 259—261).

История переводов «Постоялого двора» на иностранные языки начинается французским переводом, который был осуществлен самим Тургеневым при участии Луи Виардо («L'Auberge de grand chemin» — *1858*, *Scènes*, *II*.— Текст его охарактеризован выше, см. с. 620—622). Следующим по времени был немецкий перевод Фр. Боденштедта, вошедший в первый том подготовленного им мюнхенского издания произведений Тургенева («Das Wirtshaus an der Heerstrasse» — Erzählungen von Iwan Turgénjew. Deutsch von Friedrich Bodenstedt. München, 1864. Bd. I). В 1868 г. новый перевод «Постоялого двора» на немецкий язык был сделан М. Гартманом («Das Gasthaus an der Heerstrasse».— Frankfurter Zeitung, 1868,. 4—20 Februar). В письме к нему от 18 февраля (1 марта) 1868 г. Тургенев писал: «Перевод „Постоялого двора" — мастерское произведение в полном смысле слова». Первый чешский перевод повести появился в 1865 г. («Hostinec u silnice», перевел E. Vávra.— Газета «Literární listy»). Второй был опубликован в 1871 г. («Hostinec zájezdní», перевел F. Mach.— Журнал «Obrazy života»). В 1866 г. «Постоялый двор» был переведен на венгерский язык («Fövárosi Lapok», № 18—25), в 1876 г. на финский (см.: *Орл сб*, *1960*, с. 557). В 1882 г. отдельной книгой был издан эстонский перевод повести («Oömaja. Jutt rahwa elust». Wene keelest F. Ederberg. Tartus).

С т р. 273. *...обильным запасом хорошего овса в подвале...*— И. П. Борисов по этому поводу писал Тургеневу 28 января ст. ст. 1866 г.: «„Овес в *подвале*". В подвалах берегут жидкости, но не хлеб или муку» (*Т сб*, вып. 5, с. 506). Тургенев, который обычно прислушивался к такого рода конкретным замечаниям друзей, на этот раз не принял во внимание сообщенного Борисовым.

С т р. 276. *Этот Аким был смышленый и тороватый мужик...*— Здесь в смысле: расторопный, бойкий.

С т р. 277. *...про степи черкасские* — южноукраинские степи (старинное название украинцев черкасами еще сохранялось в народном языке в первой половине XIX в.).

С т р. 279. *...она происходила от столбовых дворовых...*— Столбовые дворовые (по аналогии с выражением столбовые дворяне) — те, которые уже несколько поколений были дворовыми.

С т р. 280. *...носил* ∽ *выростковые сапоги...* — сапоги тонкой кожи, выделанные из шкуры теленка в возрасте до одного года.

С т р. 290. *...поднимать струшню...* — устраивать склоку, поднимать шум.

С т р. 294. *...лакей* ∽ *дремавший на конике.* — Коник — сундук для сиденья или сна в прихожей барского дома.

С т р. 298. *...бийца...* — драчун, забияка.

С т р. 302. *...осел себе на шею надеть...* — Осел — см. примеч. к с. 272.

С т р. 319. *...и у раки св. Сергия, и у Белых берегов, и в Оптиной пустыне, и в отдаленном Валааме...* — Рака св. Сергия — в Троице-Сергиевской лавре (ныне в г. Загорске, Московской обл.). Белые берега — Белобережский мужской монастырь в 15 верстах от г. Брянска (б. Орловской губ.). Оптина пустынь — монастырь в б. Калужской губ. Валаам — Валаамский монастырь, находившийся на острове Валааме (Ладожское озеро). Хождение Акима по святым местам — пример страннического бегунства из царства зла и насилия. Н. Л. Бродский в книге «Тургенев и русские сектанты» (М., 1922) подробно анализирует образ «бегуна» Касьяна, перекликающийся с образом Акима.

С т р. 319. *...крестным ходом* ∽ *в Коренную...* — Коренная пустынь — монастырь близ Курска. 8 сентября, в церковный праздник, там устраивалась Коренная ярмарка, привлекавшая десятки тысяч крестьян.

ДВА ПРИЯТЕЛЯ

(с. 321)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф, начатый в Спасском 15 октября и законченный там же 17 ноября 1853 г., 89 с. На первой странице — список персонажей, даты и эпиграф. В этой же тетради — тексты «Постоялого двора» и «Якова Пасынкова». Хранится в *Bibl Nat*, *Slave* 87. Описание см.: *Mazon*, p. 55—56.

Черновой автограф (прибавление к повести), датируемый временем не ранее января 1869 г. (см. с. 629—630), два первых листа тетради, состоящей из 8 листов, сшитых вместе (остальные 6 листов — чистые). Хранится в *Bibl Nat*, *Slave* 74. Описание см.: *Mazon*, p. 56.

Беловой автограф (прибавление к повести), датируемый временем не позднее января 1869 г. (см. ниже, с. 630), 3 л. Хранится в *ГИМ*, ф. 440, № 1265.

Совр, 1854, № 1, отд. 1, с. 97—134.
Т, *1856*, ч. 2, с. 167—256.
Т, *Соч*, *1860—1861*, т. 3, с. 57—113.
Т, *Соч*, *1865*, ч. 3, с. 1—65.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 3, с. 1—68.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 3, с. 1—67.
Т, *Соч*, *1880*, т. 6, с. 387—455.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1854, № 1, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 декабря 1853 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к 1-му тому этого же издания, с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 323, строка 4: «два носовых платка» вместо «два носовые платка» (по всем другим источникам).

Стр. 323, строки 9—10: «ничего особенно не любил» вместо «ничего особенного не любил» (по всем другим источникам).

Стр. 329, строка 25: «помолчал» вместо «молчал» (по всем другим источникам)

Стр. 336, строки 10—11: «осклабленным» вместо «осклабенным» (по черн. автогр. и всем изданиям до *Т*, *Соч*, *1868—1871*).

Стр. 351, строки 41—42: «До обеда еще часа полтора» вместо «До обеда часа полтора» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 357, строка 33: «улыбаясь и посматривая на него» вместо «улыбаясь и посматривала на него» (по всем другим источникам).

Стр. 363, строка 8: «хотите ли вы быть моей женой?» вместо «хотите быть моей женой?» (по всем другим источникам).

Стр. 373, строка 1: «в отсутствие его из дому» вместо «в отсутствие из его дому» (по всем другим источникам).

Стр. 375, строка 3: «было очень дерзко» вместо «было дерзко» (по черн. автогр., *Т*, *Соч*, *1868—1871* и *Т*, *Соч*, *1874*).

20 ноября (2 декабря) 1853 г. Тургенев писал П. В. Анненкову: «...я в несколько дней настрочил довольно большую повесть, которую вчера отдал переписать и на следующей неделе пошлю к Вам. Мне кажется, это вышел вздор — и я прошу Вас, если Вы найдете, что не стоит это печатать, бросьте это в огонь, но скажите свое мнение. Вещь эта называется — „Два приятеля“». Несколькими днями позже, 25 ноября (7 декабря) 1853 г., Тургенев сообщал тому же Анненкову, что повесть переписывается и вскоре адресат получит список ее. И снова Тургенев выражал опасение, как бы мнение Анненкова «не ограничилось молчаливым указанием на камин». В заключение писатель повторял: «...эта вещь как-то написалась сама собою, и я, *без шуток*, совершенно не знаю, что это такое?».

Черновой автограф «Двух приятелей» (*Bibl Nat*, Slave 87) находится в той же тетради, где и черновые автографы «Постоялого двора» и «Якова Пасынкова». Автограф занимает л. 1—89. На титульном листе написано заглавие: «Два приятеля (рассказ Ивана Тургенева)», а также зафиксированы даты начала и конца работы над этим произведением: 15 октября и 17 ноября 1853 г. Тут же указано, что повесть написана в Спасском. Ниже записан эпиграф, отсутствующий в печатном тексте:

А. Что вы хотите этим доказать?
Б. Решительно — ничего.
А. А! Ну это другое дело.

(Отрывок из разговора).

Этими словами Тургенев хотел подчеркнуть незначительность содержания «Двух приятелей». Однако впоследствии он снял эпиграф. Это произошло, очевидно, потому, что в произведении был поставлен вопрос о «лишних людях», актуальный для 1850-х годов и представлявший несомненный общественный интерес. Далее, на л. 1, дана расшифровка имен и отчеств некоторых персонажей повести: Б. А. — Борис Андреевич, П. В.— Петр Васильевич, С. П.— Степан Петрович, Э. К. — Эмеренция Калимоновна. В дальнейшем в тексте они часто обозначаются сокращенно, одними инициалами.

Текст автографа отличается большим количеством поправок, которые не вносят, впрочем, как это нередко бывает у Тургенева, каких-либо изменений в композицию, сюжетные положения или в характеристики действующих лиц. Правка в нем в основном стилистическая. Лишь изредка Тургенев производил исправления в тексте, может быть, исходя из соображений цензурного характера. В частности, на л. 47 первоначально была такая фраза: «А исправника, слышали вы, по Аллилуевскому делу под суд велено отдать». Тургенев зачеркнул ее и заменил более нейтральной, вошедшей в окончательный текст: «А слышали вы, сосед ваш, Павел Фомич, двадцать тысяч в карты проиграл?».

На последнем листе автографа стоит подпись: «Иван Тургенев» — и снова, уже более точно, зафиксировано время окончания работы: «17-го ноября 1853-го года. Вторник — 10 часов вечера, в Спасском».

Созданная в период Спасской ссылки, повесть «Два приятеля» основана на тех жизненных впечатлениях, которые писатель получал, живя в Спасском, посещая соседей-помещиков, бывая в Орле. К. Н. Леонтьев, приезжавший к нему в Спасское-Лутовиново в 1852 г., пишет: «В рассказах его ⟨Тургенева⟩ про Орел я помню многое, что отозвалось года через два в повестях его „Два приятеля“ и „Затишье“» (Леонтьев К. Страницы воспоминаний. Пб., 1922, с. 33). В частности, например, прототипом Эмеренции Тиходуевой, столь раздражавшей Вязовнина своей непомерной восторженностью и приторной чувствительностью, была сестра жены управляющего Спасским Н. Н. Тютчева — Констанция Петровна Де-Додт (см.: *Иванов*, с. 166). В письме к П. Виардо от 28 октября, 1, 4 ноября (9, 13, 16 ноября) 1852 г. Тургенев, характеризуя К. П. Де-Додт, писал, что это «молодая особа, очень ограниченная, очень сентиментальная и очень довольная собой».

Повесть «Два приятеля» связана с незаконченным романом «Два поколения». Как и этот роман, она написана в «гоголевской» манере. Первоначально Тургенев собирался дать имя Борис Вязовнин герою романа «Два поколения» (см. примечания к этому роману — наст. изд., Сочинения, т. 5), однако позднее отказался от этого намерения, и Борисом Вязовниным был назван герой повести «Два приятеля».

Список (или беловой автограф) повести «Два приятеля» был привезен Тургеневым в Петербург, где, получив, по-видимому, полное одобрение Анненкова, был отдан в редакцию «Современника», и повесть появилась в январской книжке журнала за 1854 г.

Отклики печати на повесть «Два приятеля» были в общем положительны. «В прозе 1-го № „Современника“ ⟨. . .⟩ „Два приятеля“, повесть И. С. Тургенева. Рассказ этой повести прекрасен»,— сообщалось в газете «С.-Петербургские ведомости» (1854, № 57, 12 марта, с. 261). Критик журнала «Пантеон» указывал, что в этой повести сцены «так верны натуре, так безыскусственны, что она читается с бо́льшим удовольствием, нежели иное более глубокомысленное произведение» (Пантеон, 1854, т. XIV, кн. 3, отд. IV, с. 5). Наиболее подробно рассматривал повесть «Два приятеля» С. С. Дудышкин в статье без подписи, помещенной в «Отечественных записках». Сопоставляя новое произведение Тургенева с «Записками охотника», критик писал: «Повесть „Два приятеля“, которая, может быть, не бросится в глаза яркостью красок, как некоторые рассказы из „Записок охотника“, показывает однако ж, что автор старается выйти из своей прежней манеры создавать типы. Мы с удовольствием указываем на этот шаг вперед» (*Отеч Зап*, 1854, № 3, отд. IV, с. 49). Далее Дудышкин, анализируя образы Вязовнина и Барсукова, подчеркивал, что они «при прежней манере г. Тургенева вышли бы — мы за это ручаемся — эффектнее, больше бы бросались в глаза...» По мнению критика, «Вязовнин принадлежит к числу тех лиц, тех характеров, которые у многих писателей возбуждали охоту изобразить их; на Вязовнина можно смотреть с ходулей и сделать его если не орлом, то орленком; можно смотреть и проще, естественнее, как на него посмотрел г. Тургенев. На Вязовнина можно смотреть и как на фразера, и как на натуру „непризнанную“, слегка разочарованную; можно же просто смотреть, как на доброго, благородного и образованного человека, которому скучно от странного деревенского соседства и который находит единственное средство избавиться от этого соседства — бежать. Других средств в его натуре нет» (там же, с. 50). С. С. Дудышкин считал, что «года три тому назад» Вязовнин вышел бы у Тургенева несколько напоминающим героя повести А. В. Станкевича «Идеалист», помещенной в альманахе «Комета» (1851).

Критик «Москвитянина» Б. Н. Алмазов, отмечая, что в повести «Два приятеля» «достоинств ⟨. . .⟩ много», писал, что ему больше всего «понравился характер Софьи Кирилловны, эмансипированной вдовы» (*Москв*, 1854, т. I, отд. V, с. 47). По мнению Алмазова, «характер Петра Васильевича тоже удался автору», хотя этот персонаж «иногда говорит языком, не совсем ему свойственным». В рецензии отмечалось также, что «Верочка хороша, но не представляет ничего особенно замечательного», а «семейство Тиходуевых изображено очень смешно, хотя и представляет явную пародию на семейство Лариных» (там же, с. 48). Говоря о недостатках повести, Алмазов находил, что главный из них — «неожиданная смерть Бориса Андреевича». Хотя автору явно «нужно было избавиться» от своего героя, рецензент утверждал, что для этого следовало «придумать что-нибудь более вытекающее из хода событий, а не такую случайную развязку» (там же, с. 47). По-видимому, о «Двух приятелях» идет речь и в воспоминаниях одного из современников Тургенева, который пишет: «Он ⟨Тургенев⟩ читал у княгини Мещерской повесть ⟨. . .⟩, кончающуюся внезапной смертью героя. Идя вместе

с ним домой, я спросил Тургенева, почему он так неожиданно прервал свой рассказ, на что Иван Сергеевич отвечал, что он нашел своего героя очень скучным и поэтому покончил так скоро его жизнь» (Б. У. Ф.— И. С. Тургенев в 1839—1882 гг.— *Рус Ст*. 1884, № 5, с. 394). Наконец. Н. А. Васильчиков 11 января 1854 г. записал в своем дневнике: «Последняя повесть Тургенева „Два приятеля", напечатанная в „Современнике", очень мила. Он мне говорил, что он сомневается очень в ее достоинствах» (*Лит Насл*, т. 76, с. 351).

Через год после появления в «Современнике» «Двух приятелей» была опубликована в том же журнале статья П. В. Анненкова «О мысли в произведениях изящной словесности. (Заметки по поводу последних произведений г. г. Тургенева и Л. Н. Т.)». Автор статьи, рассматривая повести «Два приятеля» и «Затишье», замечал, что Тургенев в них «еще занимается типом, весьма хорошо известным в литературе нашей» — типом «лишнего человека». Далее Анненков подчеркивал, что русская литература «постоянно и во всех видах старалась передать нравственную физиономию человека с развитой мыслию, но с неопределенной волей и ничтожным характером, с громкими задачами для жизни и большими требованиями от нее, но с бессилием к исполнению самой малой дозы житейских обязанностей» (*Совр*, 1855, № 1, отд. III, с. 12).

Анализируя повесть «Два приятеля», критик находил, что Вязовнин «хотел бы соединить две противоположные вещи — определенность, благоразумную правильность женатой жизни с колебаниями и порывами человека, отыскивающего себе еще точку опоры ⟨. . .⟩ Он отправляется за границу, думая набрать моральной силы одним процессом движения и перемены мест, и случайно, от неосторожности, погибает на переезде...». В заключение Анненков указывал, что сцены из провинциальной жизни изображены «очень верно» (там же, с. 14, 15).

Выход в свет «Повестей и рассказов И. С. Тургенева» (3 ч., СПб, 1856) вызвал ряд отзывов в печати, касавшихся, в частности, и «Двух приятелей». В статье третьей о названном издании А. В. Дружинин останавливался подробно на этой повести, считая, что именно ею открывается в творчестве Тургенева «целая серия произведений, которую мы можем назвать плодом его зрелого возраста» (*Б-ка Чт*, 1857, № 5, отд. V, с. 3). Противопоставляя Вязовнина героям предшествовавших произведений Тургенева (Колосову, Чулкатурину из «Дневника лишнего человека», герою «Трех встреч»), критик находил, что тот «имеет одно преимущество перед своими старшими товарищами: он *страдает* от своей общественной неопределенности, по мере своих слабых сил *вступает с нею в борьбу*, выдерживает ее худо и за то переносит наказание, законность которого сознает со всею полнотою». Дружинин подчеркивал типичность этого образа: «Вязовнина не выдает нам г. Тургенев за лицо, достойное любви или удивления,— автор только дает нам заметить, что между нами имеется много Вязовниных, что даже всякий из нас носит в себе некоторые начала характера, им обрисованного» (там же, с. 4). В заключение он отрицательно отзывался об окончании повести, где Тургенев, «будто не зная, что делать ⟨. . .⟩ повергает Вязовнина в морские волны, не отступая перед про-

делкой, совершенно недостойной всего рассказа» (там же, с. 14).

Критик «Русской беседы», подходя к оценке «Двух приятелей» со славянофильских позиций, с одобрением писал в своей рецензии, что Тургенев видит выход «в цельности и простоте жизни, которую выражают Верочка и Петр Васильевич» (*Рус беседа*, 1857, т. I, кн. V, отд. IV, с. 21).

Повесть «Два приятеля» занимала в издании «Повестей и рассказов И. С. Тургенева», несомненно, одно из первых мест по общественно-литературному значению. Об этом свидетельствует, помимо журнальных отзывов, и переписка современников Тургенева. Так, Л. Н. Толстой 19 ноября (1 декабря) 1856 г. писал В. В. Арсеньевой о том, что наряду с «Андреем Колосовым» и «Затишьем» он рекомендует ей для прочтения «Двух приятелей» (см.: *Толстой*, т. 60, с. 120). Да и сам Тургенев к этому времени имел достаточно оснований для того, чтобы перестать сомневаться в достоинствах этого произведения. Посылая Е. П. Вяземской «Повести и рассказы», Тургенев писал ей в середине января 1857 г.: «...можете прочесть „Переписку“, „Пасынкова“, „Затишье“ и „2-х приятелей“...».

В критических отзывах о «Двух приятелях» речь шла в основном о Вязовнине, которого обычно справедливо относили к категории «лишних людей». О Крупицыне упомянул Добролюбов, говоря о Берсеневе (из «Накануне»). По мнению критика, «роль его 〈. . .〉 напоминает Крупицына в „Двух приятелях“». Действия последнего таковы же, как и Берсенева, который хотя и сам влюблен в Елену, «становится посредником между ею и Инсаровым 〈. . .〉, великодушно помогает им, отказывается от своего счастья в пользу друга» (*Совр*, 1860, № 3, отд. III, с. 49). Образу Верочки посвящено несколько строк в статье А. О. (А. Н. Острогорского) «По поводу женских характеров в некоторых повестях». Критик писал о состоянии «умственной дремоты, в которую была погружена она до замужества». По его мнению, Верочка «считала умственную жизнь привилегиею известного класса людей и считала ее невозможною для себя, а потому и посторонилась от нее так тщательно» (*Совр*, 1862, № 5, отд. II, с. 33).

При подготовке своих «Сочинений» к новому, третьему изданию (М., 1869), Тургенев, учтя мнения критиков и суждения знакомых, коренным образом переделал рассказ об обстоятельствах смерти Вязовнина. Он сохранил в ней характер случайности, но еще более усилил ее нелепость: гибель от несчастного случая во время плавания на пароходе писатель заменил гибелью в Париже на дуэли с французским офицером из-за случайно встреченной женщины. 13(25) января 1869 г. Тургенев просил П. В. Анненкова: «...прочтите в „Двух приятелях“, как я переделал конец Вязовнина». По-видимому, Анненков длительное время никак не реагировал на эту просьбу Тургенева, так как 20 декабря 1869 г. (1 января 1870 г.) последний снова напоминал ему: «Прочтите в новом моем издании новый конец „Двух приятелей“; Вы, может быть, улыбнетесь».

Черновой автограф прибавления (заключительной главы) к повести «Два приятеля» представляет собой рукопись в два столбца: одна половина листа — основной текст, другая— при-

писка и исправления. Количество различных авторских исправлений в тексте возрастает к концу главы. Особенно много варьируются детали в сцене смерти Вязовнина. Правка носит в основном стилистический характер. На л. 1 вдоль правого поля написан текст предисловия ко второму изданию романа «Дым». В автографе Вязовнин один раз назван ошибочно Литвиновым. Беловой автограф этой главы является наборной рукописью, имеющей лишь очень незначительные отклонения от печатного текста.

Новая редакция рассказа о смерти Вязовнина, введенная в издании 1869 г., не была замечена современной критикой, но вызвала ряд противоречивых суждений в посмертной исследовательской литературе о Тургеневе. Так, В. П. Буренин находил, что новый вариант конца повести свидетельствует о тщательности, с которой Тургенев работал над своими произведениями.

«В прежнем виде,— писал Буренин,— смерть Вязовнина являлась обстоятельством, мало имеющим отношение к смыслу повести: нечаянно упасть с парохода и утонуть может каждый человек, с каким угодно, даже самым сильным характером. Но умереть так, как умирает Вязовнин в позднейшем дополнении к повести, мог только 〈. . .〉 бесхарактерный российский интеллигент и бесцельный скиталец по любезному его сердцу Западу. Нелепая дуэль Вязовнина с каким-то французским забиякой 〈. . .〉 прибавляет новую и чрезвычайно характерную подробность к обрисовке шаткой натуры Вязовнина и художественно доканчивает образ, созданный Тургеневым» (Буренин В. Литературная деятельность Тургенева. СПб, 1884, с. 65, 66).

В повести «Два приятеля» рассказ о дуэли Вязовнина «можно принять за убийственную сатиру над французами, по крайней мере, военного сословия»,— писал Ив. Иванов (*Иванов*, с. 174).

Наконец, А. Мазон высказал мысль о том, что первый вариант окончания «Двух приятелей», «несмотря на то, что здесь введен обыкновенный несчастный случай, не лишен поэзии и своеобразного величия». С точки зрения французского исследователя, Тургенев «заменил романтическую концовку обыденным случаем из отдела происшествий», ибо всегда «писатель-реалист как бы борется с проникшими в его произведения литературными штампами, по его мнению слишком банальными» (Мазон А. Парижские рукописи И. С. Тургенева. М.; Л.: Academia, 1931, с. 37).

Была отмечена критикой и связь некоторых персонажей повести «Два приятеля» с героями других произведений Тургенева. О том, что из Заднепровской «должна в будущем развиться Евдоксия Кукшина» (в «Отцах и детях»),— писал Ив. Иванов (*Иванов*, с. 175; см. также: *Истомин*, с. 107). О «превращении» Карантьева, талантливой натуры, певца и плясуна на зависть всем цыганам, в Веретьева из «Затишья» указал тот же критик (см.: *Иванов*, с. 177).

Повесть «Два приятеля» написана в гоголевской манере — это мнение не раз высказывалось критиками (см.: *Истомин*, с. 107, 117).

Говоря о «гоголевском» начале в «Двух приятелях», не следует забывать о том, что повесть эта — произведение переходное в творчестве Тургенева. Она подготовила появление последующих повестей («Затишье», «Яков Пасынков») и романов (начиная с «Рудина»), в которых гоголевское влияние не выступает столь обнаженно, а, сочетаясь с пушкинским влиянием, образует своеобразный тургеневский стиль.

С т р. 322. *...в каком-то пальто-саке...*— Пальто-сак (сак — мешок, франц. sac) — широкая и длинная мужская одежда для домашнего, неофициального употребления (в отличие от сюртука).

С т р. 323. *...как у турухтана весной...*— Турухтан — болотная птица из отряда куликов; самцы весною имеют на голове «брачное» оперение.

С т р. 324. *...электрический телеграф...*— Точнее — электромагнитный телеграф, изобретенный в 1828—1832 гг. русским ученым П. Л. Шиллингом; стал вводиться в употребление с начала 40-х годов. Следовательно, в эпоху, к которой относится действие «Двух приятелей», электрический телеграф был новинкой (см.: А л е к с е е в М. П. Пушкин и наука его времени.— Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1956. Т. I, с. 52, 55, 57—61).

С т р. 326. *Кухню нам ∽ с рапортом придет.*— По-видимому, это офицерская песня, бытовавшая в кавалерии, где служил Петр Васильич Крупицын, и не зафиксированная в печати. О времени, когда песня была сложена, можно судить по упоминанию в ней имен Анжелики Каталани (1780—1849) — итальянской певицы, выступавшей в Петербурге и в Москве в 1820, 1824, 1825 годах, и Пьера Роде (1774—1830) — известного французского скрипача и композитора, жившего в Петербурге в 1803—1811 гг.

С т р. 328. *...массакового цвета кисет...*— Массака́ — темно-красный, иссиня-малиновый цвет.

С т р. 330. *Ess'bouquet* — ароматическая эссенция.

С т р. 331. *...но с коником...*— Коник — см. примеч. к с. 294.

С т р. 332. *Как уст ∽ ошибки...*— Цитата из «Евгения Онегина» (глава третья, строфа XXVIII).

С т р. 333. *...Марлинский ∽ в немилость?*— Падение авторитета и популярности А. А. Марлинского (Бестужева) началось после выхода в свет статьи Белинского о Полном собрании его сочинений (*Отеч Зап*, 1840, № 2) и особенно с 1842 г., когда появились «Мертвые души». Поэтому вопрос провинциальной читательницы Софьи Кирилловны — из круга, где Марлинского весьма почитали — в середине 1840-х годов, когда происходит действие повести «Два приятеля», был вполне естественным. Ср.: «Литературные и житейские воспоминания» (наст. изд., Сочинения, т. 11).

С т р. 342. *Нельзя ли теперь ∽ или «Сарафанчика»...*— «Соловей» («Соловей мой, соловей, голосистый соловей!») — романс А. А. Алябьева (1787—1851) на слова А. А. Дельвига (1798—1831). Вторая песня, по-видимому,— «Сарафанчик» (1834), на слова А. И. Полежаева (1805—1838); она в свое время обошла

всю Россию, вошла в песенники и в репертуар шарманок. Музыку на эти слова писали А. А. Алябьев, А. Л. Гурилев и другие композиторы. Впрочем, возможно, что речь идет о популярной песне «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», написанной А. Е. Варламовым (1801—1848) на слова Н. Г. Цыганова (1797—1831) (см.: Песни русских поэтов. Л.: Советский писатель, 1936, с. 266, 341, 578, 589), или о песне «Сарафан, мой сарафан» (текст опубликован в «Воронежских губернских ведомостях», 1852, № 35, с. 230).

Шанте...ле «Сарафан»... ∽ с прежней суровостью мать.— Типичность образа Эмеренции (Эмеранс) Тиходуевой была ясна для современников писателя. И. В. Павлов в одном из писем, характеризуя Е. И. Елагину (урожд. Мойер), с иронией писал: «Она, вот видишь, Эмеранс. (Помнишь Эмеранс Шанте ле Сарафан в повести Тургенева „Два приятеля“?) Пленительная, услужливая Эмеранс...» (*Лит Насл*, т. 79, с. 70).

«*Мы две ∽ пониже поклонись...*» — «Мы две цыганки» — название, данное по второму стиху песни из репертуара московских цыган 50-х годов XIX в. (обычно она называлась или по первому стиху — «Мы две девицы чернобровые», или «Цыганки»). Наиболее раннюю публикацию этой песни см.: Песенник, или Собрание избранных песен, романсов и водевильных куплетов. В 3-х ч. СПб., 1855 (ценз. разр.— 1854). Ч. 2, с. 82—83, № 77 (сообщил Б. М. Добровольский). «Скинь-ка шапку...» — из припева к известной цыганской песне, начинающейся словами: «Я цыган-удалец, удалец, молодец»; припев: «Эх-ма, поди прочь, поди прочь — берегись, Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку, да пониже поклонись!» (см.: Добровольский Б. М. «Два приятеля».— *Т сб*, вып. 1, с. 235—236). По мнению А. Н. Дубовикова, песня эта взята из водевиля «Цыганский табор» (музыка В. Самойлова), который исполнялся впервые в 1851 г. (см.: *Т*, *СС*, т. 5, с. 457).

Стр. 346. «*Кругла, красна лицом она...*» — Строка из «Евгения Онегина» (глава третья, строфа V).

Пошел, пошел, Ларюшка! — Измененная цитата из «Евгения Онегина» (глава третья, строфа IV: «Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!»).

Стр. 348. ...*в Белеве ∽ ассигнациями.*— Белев — уездный город Тульской губернии. Речь идет о цене четверти ржи (около 150 кг).

Стр. 352. ...*облый...*— Круглый в значении тучный, тяжелый, грузный (орловско-курский диалект: см. Толковый словарь В. И. Даля). Подробнее см. в лексикологической заметке Т. А. Никоновой: *Т сб*, вып. 5, с. 334—335.

Стр. 353. ...*нельзя хабен зи гевезен...*— Бессмысленное сочетание двух немецких вспомогательных глаголов использовалось в чиновничьей среде по созвучию (хабен — хапать) для иносказательного обозначения взятки.

Стр. 355. ...*сделав с ним маленький шлем...*— Выиграв партию в карты (в вист или другие «коммерческие» игры) таким образом. что противникам дана только одна взятка; при большом шлеме они остаются совсем без взяток. Подробнее см. в лексикологической заметке И. А. Битюговой: *Т сб*, вып. 3, с. 183—185.

Стр. 372. *В одну телегу ∽ трепетную лань...* — Строки из поэмы Пушкина «Полтава» (песнь вторая, раздумья Мазепы о себе и Марии Кочубей).

Стр. 373. *...из Штеттина...* — Морской путь из Петербурга (Кронштадта) в Штеттин — морской порт в Восточной Пруссии, ныне Щецин в Польской Народной Республике — был до постройки Петербургско-Варшавской жел. дороги (1860) наиболее удобным и быстрым путем из России в Западную Европу.

Стр. 374. *...пообедал у Вефура...* — Вефур — известный парижский ресторатор 50—60-х гг. XIX в.

ЗАТИШЬЕ

(с. 380)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Наборная рукопись с авторской пагинацией (1—97; на 97 странице — вставки). Хранится в *ГБЛ*, ф. 306, И. С. Тургенев, картон 1, ед. хр. 2.

Черновой автограф главы IV с авторской пагинацией (1—7 стр.); подшит к наборной рукописи.

Совр, 1854, № 9, отд. I, с. 13—80.
Т, *1856*, ч. 2, с. 257—373.
Т, *Соч*, *1860—1861*, т. 2, с. 295—369.
Т, *Соч*, *1865*, ч. 3, с. 67—151.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 3, с. 69—152.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 3, с. 69—152.
Т, *Соч*, *1880*, т. 7, с. 6—87.
Т, *ПСС*, *1883*, т. 7, с. 1—94.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1854, № 9, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 августа 1854 г.).

Печатается по тексту: *Т*, *ПСС*, *1883*.

Выбор источника определен свидетельством самого Тургенева, что тексты тома VII издания 1883 г. были им просмотрены и исправлены до отправки издателю. Тургенев писал 14 (26) декабря 1882 г. А. В. Топорову: «Вместе с этим письмом отправляется VII (7-й) исправленный том». В текст, взятый в настоящем издании за основу, внесены следующие исправления по другим источникам:

Стр. 382, строки 21—22. ...«хороший знакомый, Бодряков, Иван Ильич» вместо «хороший знакомый, Иван Ильич» (по всем другим источникам).

Стр. 392, строки 41—42: «какой же это ансамбль» вместо «Нет, это мы» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1874*).

Стр. 405, строки 41—42. «Ложась спать, он много думал о ней и о Надежде Алексеевне. Впрочем, он бы, вероятно» вместо «Ложась спать, он бы, вероятно» (по всем другим источникам).

Стр. 413, строка 37: «не должно бы быть» вместо «не должно быть» (но всем другим источникам).

Стр. 424, строки 14—15: ... «человек тоже весьма почтенный» вместо: «человек весьма почтенный» (по всем другим источникам).

Стр. 425, строка 35: «навстречу своему» вместо «навстречу своего» (по всем другим источникам).

Стр. 431, строки 17—18: «то соглашалась, то спорила с ним, притворялась недоверчивой» вместо «то спорила с ним, то притворялась недоверчивой» (по наборной рукописи, *Совр* и *Т, 1856*).

Стр. 445, строка 31: «схватил один багор» вместо «схватил багор» (по всем другим источникам).

«Затишье» написано в январе — июне 1854 г. На рукописи Тургенев указал, что повесть «начата в Петербурге, в понедельник, 25-го января 1854 г., кончена в Петергофской колонии в среду 23-го июня 1854 г.» и что она «писана с большими промежутками». 10 (22) июля 1854 г. И. И. Панаев писал М. Н. Лонгинову: «Возле живет И. С. Тургенев, и мы часто с ним видимся. Третьего дня он прочел свою новую повесть „Затишье", которая очень хороша» (см.: *Сб ПД, 1923*, с. 214).

Можно предположить, что замысел «Затишья» возник у Тургенева значительно раньше его осуществления, и повесть была хорошо им продумана, прежде чем писатель приступил к работе над ней. Этим обстоятельством и объясняется то, что «Затишье» не имеет предварительных черновых рукописей и писарских копий. Первоначальная черновая рукопись повести стала в то же время и наборной. Результаты изучения рукописи «Затишья» впервые были изложены в статье Л. В. Крестовой «И. С. Тургенев в работе над „Затишьем"» (см.: *Сб ГБЛ*, с. 164—170). Л. В. Крестова считает, что рукопись «Затишья» «представляет первоначальную редакцию повести, дважды переработанную затем Тургеневым» (там же, с. 164). С этим утверждением нельзя согласиться, так как на автографе «Затишья» сохранились следы типографской краски и типографские пометы карандашом (ср.: Описание автографов И. С. Тургенева, сост. Р. П. Маториной, в кн.: *Сб ГБЛ*, с. 172—173). Исключение представляет только глава IV, написанная Тургеневым дополнительно для издания «Повестей и рассказов» в 1856 г.

Являясь одновременно и черновой и окончательной, наборной, рукопись «Затишья» позволяет проследить ход работы Тургенева от начальной ее стадии до первопечатного текста. Анализ многочисленных вставок на полях и исправлений в тексте, а также исключенных мест позволяет сделать следующие выводы [1].

Значительной правке подвергались страницы рукописи, посвященные характеристике женских образов, в особенности — главной героини повести Марьи Павловны. Тургенев искал такие художественные детали при изображении внешности героини, которые отражали бы наиболее существенную черту ее внутреннего мира. Так, описывая первое появление Марьи Павловны, Тургенев отбросил несколько вариантов, пока выбрал нужные определения, подчеркивающие суровую естественно-стихийную неподвижность ее души, граничившую почти с «грубостью» и «тупостью» (наст. том, с. 390). В дальнейшем в соответствии с развитием сюжета, двигавшегося к трагической развязке, в портрете героини стали преобладать черты, объективно свидетельствующие

[1] Варианты наборной рукописи и чернового автографа (главы IV) напечатаны: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. VI, с. 412—457.

о ее внутреннем смятении и тревоге (см.: наст. том, с. 442 и др.). В двух местах повести Тургенев намеревался сказать о том, что Марью Павловну любили не только дети, но и прислуга: «Не барышня она была, уверяли девушки, та же наша сестра». Приведенная фраза была вычеркнута в наборной рукописи (*Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. VI, с. 451).

Большое внимание писатель уделил и другому женскому образу повести, Надежде Алексеевне. Образ этот, в начале 1850-х годов новый для творчества Тургенева, впоследствии варьировался в произведениях писателя (ср. Ирину в «Дыме» и Полозову в «Вешних водах»).

Тургенев изменил возраст Надежды Алексеевны, сделав ее старше (24 года исправлено на 27), так как противоречивость ее облика, смесь положительных природных качеств с черствостью и эгоистичностью, могла быть характерна для женщины, уже успевшей пожить в обществе, развратившем ее. Правка страниц рукописи, на которых идет речь о Надежде Алексеевне, сводится главным образом к тому, чтобы сохранить меру как в положительных характеристиках, так и в намеках на проявления отрицательных черт этой героини.

Работа Тургенева над прочими персонажами повести характеризуется стремлением писателя придать каждому из героев индивидуальность, сделать его запоминающимся. Те места рукописи, где шла речь о Егоре Капитоныче, Гавриле Степаныче Акилине и его жене, Бодрякове, Попелене, неоднократно переделывались.

Пейзажи Тургенева, как отмечалось исследователями, отличаются эмоциональной взволнованностью и лиричностью, а также живописностью при точности и лаконичности описаний. Не удивительно поэтому, что в рукописи «Затишья» Тургенев тщательно отделывал каждую картину природы, настойчиво искал соответствия между красками, звуками и линиями, добиваясь наиболее точного художественного образа. Так, значительной правке подвергались описания сада в Ипатовке, ночи, грозы. Тургенев впоследствии вспоминал: «...в „Затишье" в описании сцены свидания мне никак не давалось описание утра. Только сижу я раз в своей комнате за книгой — вдруг точно что-то толкнуло меня — прошептало мне: „*Невинная торжественность утра*". Я вскочил даже: „Вот они, вот они, настоящие слова"» (*Т сб (Пиксанов)*, с. 78—79).

Из правки, систематически проведенной Тургеневым по всей рукописи, необходимо отметить замену французских выражений русскими. В ходе работы над повестью Тургенев изменил фамилии некоторых персонажей. Так, первоначально в рукописи Веретьев носил фамилию Ивин, и Надежда Алексеевна соответственно именовалась Ивиной; вместо Бодрякова (поэта) был назван Кабурдин. Фамилия Помпонский также была найдена Тургеневым не сразу. Первоначально он назвал этого высокопоставленного чиновника Аристопетовым, но потом, очевидно в связи с тем, что фамилия Аристопетов была очень близка по звучанию к фамилии прототипа этого образа Арапетова (см. ниже), Тургенев отбросил ее и испробовал еще два варианта: Олимпийцев и Помповатый, пока не остановился окончательно на фамилии Помпонский. Стихотворение Пушкина «Анчар» первоначально

было названо «Дерево смерти», а цитаты из него менялись дважды.

Следует еще отметить, что, работая над «Затишьем», Тургенев в окончательном тексте определеннее подчеркнул украинское происхождение Марьи Павловны и ее любовь к украинским песням. В связи с этим М. Драгоманов писал: «...Тургенев завел со мною разговор и об Украине и выражал сожаление, что ему не удалось ближе познакомиться с этой страной и населением ее, редкие встречи с которым возбудили в нем горячие симпатии; памятником этих симпатий остаются в его романах: Маша в повести „Затишье" и Михалевич в „Дворянском гнезде"» (Драгоманов М. Воспоминания о знакомстве с И. С. Тургеневым.— В кн.: Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к Герцену. Женева, 1892, с. 223; см. также: Голованова Т. П. Тургенев в кругу петербургских украинцев.— *Т сб*, вып. 5, с. 363—374).

Следующим этапом работы Тургенева над текстом «Затишья», после опубликования повести в 1854 г. в «Современнике», является переработка для издания «Повестей и рассказов» (1856 г.): в этот момент Тургенев вставил в первопечатный текст главу IV (сцена утреннего свидания Маши с Веретьевым; см. с. 416—422).

Появление «Затишья» вызвало критические отклики в периодической печати и ряд высказываний, письменных и устных, в литературных кругах.

Разбору новой повести Тургенева были посвящены статьи и рецензии в «СПб. ведомостях» (1854, № 218, 10 октября), в «Отечественных записках» (1854, № 11, отд. IV, с. 30—33). в «Москвитянине» (1854, № 21, ноябрь, кн. I, отд. IV, с. 33—42), в «Современнике» (1855, № 1, отд. III, с. 1—26) и в «Библиотеке для чтения» (1855. № 1, Журналистика, с. 38—44).

Высоко оценивая «Затишье» в целом, критики, однако, указали на незавершенность образов главных героев повести и на ее композиционную рыхлость. Критик «Современника» П. В. Анненков писал в статье «О мысли в произведениях изящной словесности», имея в виду «Затишье», что Тургенев «еще не вполне дописывает свои лица и образы, отчего им и недостает совершенной очевидности, и слишком много в них предоставлено отгадке читателя» (*Совр*, 1855, № 1. отд. III, с. 20). Критик «молодой редакции» «Москвитянина» Б. Н. Алмазов упрекал Тургенева в том, что все лица в его повести «представляются случайно сошедшимися или насильственно сведенными автором: они не связаны общей идеей произведения» (*Москв*, 1854, № 21, кн. 1, отд. IV, с. 35).

Аналогичные упреки по поводу «Затишья» были сделаны Тургеневу и его знакомыми. Тургенев писал по этому поводу 1(13) ноября 1854 г. И. Ф. Миницкому: «Замечание Ваше насчет „Затишья" совершенно справедливо — и совпадает с тем, что мне сказали Некрасов, Анненков и др. Но, к несчастью, я не умею переделывать. Я по крайней мере рад, что джентльмен мой ⟨Астахов⟩ хотя несколько удался».

В отличие от литературных друзей Тургенева Л. Н. Толстой оценил «Затишье» как читатель весьма высоко. Об этом рассказал в своем дневнике в записи от 14-го июля 1896 г. С. И. Танеев. «После ужина, во время шахматной игры, кончили чтение повести Тургенева „Первая любовь",— вспоминал композитор.—

Когда кто-то упомянул о „Затишье". Л⟨ев⟩ Н⟨иколаевич⟩ сказал. что с этой повестью у него соединено самое приятное воспоминание. В Севастополь ему привез ее знакомый ему доктор ⟨. . .⟩; тогда Л⟨ев⟩ Н⟨иколаевич⟩ не думал о литературе и повестях, и он получил большое удовольствие от чтения». (Из «Дневников» С. И. Танеева. (Дневник за 1896-й год).— В кн.: История русской музыки в исследованиях и материалах. М., 1924. Т. 1, с. 198).

Очевидно, под влиянием критических замечаний, высказанных по поводу «Затишья», Тургенев решил внести в повесть некоторые изменения и дополнить ее. 9(21) августа 1855 г. он писал из Спасского Е. Я. Колбасину: «Пришлите мне, пожалуйста, тот том „Современника", где „Затишье". Мне хочется на досуге приделать сцену между Веретьевым и Машей». К маю 1856 г. основные исправления в тексте «Затишья» были сделаны, но Тургенев просил Д. Я. Колбасина прислать ему прибавленные к повести странички, чтобы внести в них дополнительную правку. Заканчивая подготовку текстов для издания в 1856 г. «Повестей и рассказов», Тургенев 21 мая (2 июня) 1856 г. писал Д. Я. Колбасину: «...Вас прошу сделать мне одолжение и прислать мне, переписав их,— прибавленные странички в „Затишье" и „Пасынкове". Мне кажется, что и там можно кое-что доделать, и притом это будет служить ручательством, что Вы их разобрали». В данном случае Тургенев имеет в виду главу IV повести, где изображена сцена свидания Веретьева и Маши, глубже раскрывающая характеры главных героев и их личные взаимоотношения. Автограф вновь написанной IV главы «Затишья» Тургенев присоединил к основной рукописи повести (см.: *ГБЛ*, ф. 306, И. С. Тургенев, картон 1, ед. хр. 2, л. 52—55, авторская пагинация 1—7), а в издании «Повестей и рассказов» 1856 г. эта глава набиралась, очевидно, по копии, сделанной Д. Я. Колбасиным и выправленной Тургеневым. Текст «Затишья» в издании «Повестей и рассказов» 1856 г. имеет также и другие, менее значительные отличия от текста «Современника» [2].

Существенные дополнения в «Затишье» были сделаны Тургеневым и в третьем издании в 1861 г. Здесь Тургенев дополнил сцену между Веретьевым и Астаховым накануне предполагавшейся дуэли, введя реплики Веретьева, которые подчеркивали его нравственную опустошенность. Особенно важно отметить появившееся здесь впервые замечание Веретьева, касающееся Маши и заранее предвещающее неизбежность трагической развязки ее судьбы. Имея в виду сестру, Веретьев говорит, что ради нее он готов всех других выдать; в издании же 1861 г. добавлено: «...даже тех, которые были бы готовы всем пожертвовать для меня» (наст. том, с. 437).

Все исправления и дополнения, внесенные Тургеневым в текст «Затишья» в издании 1861 г., были им уже ранее осуществлены во французском переводе повести («L'Antchar»), вошедшем в сборник 1858 г. «Scènes de la vie Russe». Кроме того, текст «Затишья» в указанном французском переводе имеет некоторые отли-

---

[2] Варианты прижизненных изданий напечатаны: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. VI, с. 457—460.

чия, никогда не вводившиеся Тургеневым в русские издания повести. Ниже приведены наиболее существенные из них.

В издании *1858*, *Scènes*, *II* Тургенев объединил главы I и II; следовательно, глава IV русского текста соответствует главе III французского перевода и т. д.

1858, *Scènes*, *II*, глава III, с. 120:

После: ...et sa tête tomba sur sa poitrine (и она уронила голову на грудь; ср.: с. 422, строка 3) — *прибавлено:*

Elle se redressa tout à coup, d'une force virile sépara les mains de Vérétieff qui la tenait embrassée, et relevant son écharpe sur sa tête, elle partit en courant.

«Macha! Macha!» s'écria Vérétieff.

Elle était déjà loin.

«Mais elle court elle-même comme un lièvre», pensa-t-il. Et lançant avec dépit sa casquette sur l'herbe foulée:

«Brave fille, dit-il, et comme elle est forte!»

(Она внезапно выпрямилась, с мужской силой разорвала объятия Веретьева и, накинув шарф на голову, убежала.

— Маша! Маша! — закричал Веретьев.

Она была уже далеко.

«Но она сама бежит как заяц»,— подумал он и, с досадой бросив свою фуражку на измятую траву, сказал:

— Славная девушка, и как она сильна!).

1858, *Scènes*, *II*, глава IV, с. 121:

После: Si du moins c'était un bon agronome! disaientils. Mais non (И хотя бы хозяин он был хороший,— рассуждали они. Но нет; ср.: с. 422, строки 29—30) — *прибавлено:* il a certainement trouvé un trésor. Un trésor! pourtant l'explication de sa fortune était bien plus simple. Mais les explications simples ne nous viennent guère à l'esprit, en Russie (он, конечно, нашел клад. Клад! однако же объяснение его состояния было куда проще. Но простые объяснения нам в России никогда не приходят на ум).

1858, *Scènes*, *II*, глава IV, с. 135:

После: Il jeta bas sa redingote (Он сбросил сюртук. Ср.: с. 436, строка 18) — *прибавлено:* se fit un siège d'une pile des «Lois de l'Empire» (устроил себе сидение из стопки «Свода законов»).

1858, *Scènes*, *II*, глава IV, с. 137:

После: mais il finit par s'endormir sur le dos, de la façon la plus innocente (и в конце концов он уснул на спине самым невинным образом. Ср.: с. 438, строки 2—3) — *пропущено*: и долго лежал на спине в ∽ уже упомянутый разговор (см.: с. 438, строки 3—23).

Не исключена возможность, что третье прибавление не внесено Тургеневым в русские издания «Затишья» по цензурным соображениям, но оно весьма существенно для характеристики Веретьева, так как намекает на его пренебрежительное отношение к законам Российской империи.

Помимо указанных дополнений и изменений в тексте французского издания «Затишья», Тургенев, учитывая неосведомленность читателей в русской поэзии, полностью привел текст «Анчара» Пушкина в прозаическом переводе (см.: *1858*, *Scènes*, *II*, с. 99—100), без которого восприятие повести было бы затруднено.

Всё это свидетельствует о том, что работа по подготовке

текстов для французских изданий была процессом творческим. Тургенев вносил поправки, дополнения и изменения, часть которых затем включал и в русские издания, а другую — делал специально для облегчения восприятия того или иного произведения иностранными читателями.

В последующих прижизненных изданиях сочинений Тургенева «Затишье» печаталось с очень незначительными стилистическими поправками.

В 1856 г., после выхода в свет «Повестей и рассказов» Тургенева, появился ряд рецензий на издание в целом, в которых отводилось место и «Затишью». Главное внимание критиков привлекли мужские образы повести — Веретьев и Астахов. Особый интерес к этим героям обусловливался начавшейся в это время полемикой о «лишних людях».

Первым по поводу вновь изданных повестей высказался критик «Отечественных записок» С. С. Дудышкин. В статье «Повести и рассказы И. С. Тургенева», говоря о Веретьеве, Дудышкин в общем повторил свои суждения о нем как о «лишнем человеке», высказанные им на страницах «Отечественных записок» еще в 1854 г. Там он писал: Веретьев «был бы назван непременно гениальною натурою в прежнее время и мог бы очень хорошо рисоваться в повести... Но что будете делать: другие времена — другие нравы. ⟨. . .⟩ мы не верим в способности того человека, который ни в чем не обнаружился, хотя и щедро был наделен природою» (*Отеч Зап*, 1854, № 11, отд. IV, с. 32). В данном случае критик присоединился к мнению Тургенева, который сказал в «Затишье», что «из Веретьевых никогда ничего не выходит» (с. 450).

В статье 1857 г. Дудышкин не только еще раз подчеркнул, что Веретьев «талантливая русская натура, на многое годная и никуда не годная», но и выдвинул свою положительную программу поведения современного общественного деятеля. Он заявил, что современный герой должен подчиняться не страсти, а «долгу, как единственному руководительному началу». Он писал в той же статье: «...жизнь не шутка и не забава, а тяжелый труд ⟨. . .⟩ мы призваны исполнять наш долг, а не любимые мечтания, как бы возвышенны они ни были. Действительно, как только вы прикрепите к почве всех тех людей, которые прежде при первом удобном случае уезжали куда-то, зачем-то, для них должна наступить другая пора: пора деятельности, труда» (*Отеч Зап*, 1857, № 1, отд. II, с. 25).

Таким образом, С. С. Дудышкин требовал, чтобы человек «гармонировал с обстановкою»; он осуждал «лишних людей» и в том числе Веретьева за неспособность к практической деятельности.

А. В. Дружинин в статье «Повести и рассказы И. С. Тургенева» (*Б-ка Чт*, 1857, № 2 и 5) охарактеризовал Веретьева почти так же, как и Дудышкин. Он писал, что Веретьевы «любят прожигать жизнь, думают, что эта любовь избавляет их от всякой ответственности за свои поступки» (там же, № 5, отд. V, с. 19).

Точка зрения Дудышкина на «лишних людей» и, в частности, на Веретьева была подвергнута резкой критике со стороны Чернышевского, который, соглашаясь с тем, что от современного героя нужно требовать прежде всего «практической деятель-

ности», иначе понимал характер этой деятельности (см.: Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской литературной критики. Л., 1973, с. 112). Он писал в № 2 «Современника» за 1857 г.: «Г-н Дудышкин увлекся теориею о необходимости „примирять идеал с его обстановкою“ и мыслью, впрочем прекрасною, о необходимости трудиться». «Что такое значит: „человек должен гармонировать с обстановкою“?» — спрашивал Чернышевский и тут же пояснял точку зрения Дудышкина: «Вот что, если у вас есть тетка или бабушка, держите себя так, чтобы она была вами довольна; если у вас есть начальник, держите себя так, чтобы он отзывался о вас: „славный человек Н. Н.“ 〈. . .〉 Что такое значит: „трудиться“? — трудиться значит быть расторопным чиновником, распорядительным помещиком, значит устраивать свои дела так, чтобы вам было тепло и спокойно, не нарушая, однако же, при этом устроении своих делишек, условия, которые соблюдает всякий порядочный и приличный человек» (*Чернышевский*, т. 4, с. 700).

Д. И. Писарев в статье «Писемский, Тургенев и Гончаров» (1861), не защищая, как и Чернышевский, бездеятельности Веретьева, дал социальное объяснение бесполезности его существования. Он писал, что люди, подобные Веретьеву, «это люди с кипучими силами, с огневым темпераментом, с огромными страстями, с резкими недостатками, но с яркими талантами и с могучими стремлениями. 〈. . .〉 Кабы этим силам да другую сферу — было бы совсем другое дело. Тип широкой натуры, разбрасывающейся в простом народе на сивуху, а в среднем кругу — на шампанское, мог бы переродиться в тип талантливого, живого, веселого работника 〈. . .〉 если жизнь одних вколачивает в могилу, других вгоняет в кабак, третьих превращает в негодяев, то согласитесь, что в этом не виноваты те личности, которые не выносят атмосферы этой жизни» (*Писарев*, т. 1, с. 228—229).

В этой же статье Писарев упрекал Тургенева в «невеликодушном» отношении к Веретьеву, в том, что он смотрит на Веретьева «слишком легко и слишком презрительно». Он писал, что «жертвы нашего собственного тупоумия, нашей собственной инертности имеют право на наше сочувствие или по крайней мере на наше сострадание» (там же).

Критик «Русского слова» Ап. Григорьев считал, что, создавая образ Веретьева, Тургенев стремился «развенчать в этом типе сторону безумной страсти или увлечений и безграничной любви к жизни, соединенных с какою-то отважною беспечностью и верою в минуту» (*Григорьев*, т. 1, с. 321). Однако, по мнению Ап. Григорьева, Веретьев, вопреки замыслу автора, вызывает у читателей симпатию. Его «бесплодное существование точно являлось бесплодным,— писал Ап. Григорьев,— но созданное поэтом лицо, в минуты страстных своих увлечений, увлекало невольно, оставалось обаятельным, не теряло своего колорита» (там же).

Люди типа Веретьева, очевидно, очень часто встречались в русской помещичьей среде. В одном из своих писем к Тургеневу Е. А. Ладыженская — писательница и переводчица, выступавшая в печати под псевдонимом С. Вахновская,— писала: «...я знаю одного человека, деревенского соседа, смесь *Веретьева* с *Гамлетом* Щигровского уезда, но в нем есть еще своя собст-

венная отличительная черта, которая немного сдается на разочарованность байроновского героя; он аффектирует постоянно всевозможные дурные наклонности, как-то: пренебрежение к религии, цинизм, сухость сердца, неуважение к матери. Он говорит, что в женщинах признает *одно тело* и что он не способен на чувство. А между тем это самый впечатлительный и, можно даже сказать, добрый человек, но люди и мужики про него говорят: „Что в таком барине, не греет и не студит!"» (*Т сб*, вып. 2, с. 363—364).

О распространенности в русской действительности героев-неудачников с богатой, художественно одаренной натурой свидетельствует также рассказ Тургенева «Петр Петрович Каратаев» (1847), вошедший в «Записки охотника». Трагическая судьба Каратаева и в особенности сцена его последнего свидания с рассказчиком перекликаются с заключительными страницами «Затишья»: и Каратаев и Веретьев становятся полунищими завсегдатаями трактиров.

В оценке другого мужского образа «Затишья» — Владимира Сергеевича Астахова — критики самых различных общественно-политических лагерей были единодушны. П. В. Анненков писал, что «Астахов весь состоит из одних поползновений к чему-либо и называет себя практическим человеком, прикрывая титлом этим неспособность к пониманию благородного в жизни и мысли» (*Совр*, 1855, № 1, отд. III, с. 15). С Анненковым был согласен и А. В. Дружинин, который писал, что в Астахове отразились «особенности целого класса петербургских юношей, неспособных на жизнь, вследствие самой их жизни, принявшей ложно-практическое направление» (*Б-ка Чт*, 1857, № 5, отд. V, с. 16).

С еще большей резкостью и определенностью охарактеризовал Астахова Чернышевский, назвав его «бездушным пошлецом», «который свою низость и бесчувственность прикрывает европейскими фразами и приличными манерами» (*Чернышевский*, т. 4, с. 699).

В повести «Затишье» Тургенев широко воспользовался теми впечатлениями, которые он накопил, живя в провинции и общаясь с обитателями дворянских усадеб.

В воспоминаниях о Тургеневе Е. М. Гаршин следующим образом передавал слова писателя, сказанные им по этом поводу:

«И в конце концов мастерство художника в этом и состоит, чтобы суметь пронаблюдать явление в жизни и затем уже это действительное явление представить в художественных образах. А выдумывать ничего нельзя, заключил он свою речь.

И ту же самую мысль он стал развивать почти в таких же выражениях в другой раз, когда пришлось цитировать из „Затишья" известную фразу о Матрене Марковне, которая „насчет манер очень строга", причем „чуть что, а уже бирюлевским барышням всё известно"» (Г а р ш и н Е. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе.— *ИВ*, 1883, № 11, с. 384).

Имеется свидетельство современников, что в образе Помпонского Тургенев изобразил Н. П. Арапетова, видного чиновника, окончившего Московский университет одновременно с Герценом и Огаревым. Так, Б. Н. Чичерин в своих воспоминаниях пишет, что Т. Н. Грановский, прочитав повесть «Затишье», сказал: Тургенев «в конце, в виде какого-то господина Помпонского так

очертил Арапетова, что нельзя не узнать» (Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 137 и 135).

Героиня повести Марья Павловна также имела реальный прототип. Об этом пишет Н. А. Островская, которой Тургенев рассказывал, что в «„Затишье“, в лице Маши, представлена им девушка, малороссиянка, которую он знавал в молодости и в которую был немножко даже влюблен.

— И она действительно стихов не любила,— говорил Тургенев.— Я в самом деле однажды прочел ей „Анчара“ и — он произвел впечатление.

— Сюжет, конечно, сочинен? — спросила я.— Она, надеюсь, не утопилась?

— Конечно, нет,— отвечал Иван Сергеевич,— хотя она и была способна на это» (*Т сб (Пиксанов)*, с. 91).

Образ Марьи Павловны привлек к себе внимание критики, которая увидела в нем раскрытие новых для литературы черт характера простой русской женщины. Рецензент «СПб. ведомостей» писал, что Марья Павловна — «это девушка энергическая и благородная, с натурой истинно поэтической». При этом, по мнению рецензента, Тургенев «не польстил этой избранной натуре, не украсил ее совершенствами, чуждыми воспитанницам „Затишья“» (*СПб Вед*, 1854, № 218, 1 октября).

М. В. Авдеев, автор нескольких статей, посвященных анализу женских образов в русской литературе, писал в 1874 г., что «во всей русской литературе мы не встречаем такой цельной, крупной, такой строгой, хоть несколько грубой женщины», как Марья Павловна (см.: Авдеев М. В. Наше общество в героях и героинях литературы. СПб., 1874, с. 215). Авдеев объяснил трагическую гибель Маши тем обстоятельством, что до самого последнего момента жизни ее самосознание не было разбужено. По его мнению, крик о помощи, вырвавшийся из груди Марьи Павловны, является признаком «слишком поздно пробудившегося сознания», которое подсказало ей, что «человек, из-за которого она гибнет, не стоит ее чувства, что самое чувство изменяется, что жизнь хороша, и есть на земле нечто кроме любви, столь же великое и глубокое» (там же, с. 224).

Единственный критик, осудивший образ Марьи Павловны, был критик «Современника» А. Н. Острогорский, который в статье «По поводу женских характеров в некоторых повестях» писал о «крайней бесхарактерности и бесцветности Марьи Павловны» (*Совр*, 1862, № 5, Современное обозрение, с. 20). Острогорский считал, что трагическая развязка отношений Веретьева с Марьей Павловной объясняется тем, что Марья Павловна требовала от Веретьева жертв, «не возбудив к себе уважения» (там же). «Уважение посторонних,— объяснял критик,— возможно только для лиц, уважающих себя, пекущихся о своем нравственном развитии, о выработке характера и убеждений и действующих сообразно с ними до тех пор, пока эти убеждения не будут поколеблены» (там же, с. 14).

Начав свою литературную деятельность как писатель «натуральной школы», Тургенев и в повести «Затишье» продолжал борьбу с ложным романтизмом, воспитывая у читателей способность видеть истинно прекрасное в реальной действительности,

окружающей их. Именно поэтому повесть Тургенева вызвала сопротивление у поклонников и поклонниц «возвышенной» литературы. Е. А. Ладыженская писала по этому поводу Тургеневу: «Хотите выслушать суждение одной провинциальной барыни, сентиментальной вдовы, о „Затишье“? — я ему смеялась от души: Читали ли вы „Затишье“? — спрашиваю я.— Как же, но не имела терпения докончить, я привыкла читать повести с *возвышенным слогом*; вот Марлинского „Фрегат надежды“ — это другое дело. А тут никакого романтизма нет; героиня с красными руками... и какие выражения: „осклабился“,— просто тривиально!» (*Т сб*, вып. 2, с. 361).

Несмотря на то, что «Затишье» еще страдает некоторой рыхлостью композиции, которую отмечали и критики и литературные друзья Тургенева, несмотря на то, что в этой повести еще не выработалась единая манера художественного изображения и первая часть повести напоминает зарисовки с натуры, а вторая зачастую сводится к беглому рассказу о дальнейших событиях,— несмотря на всё это повесть «Затишье» — заметный шаг на пути освоения Тургеневым «новой манеры». Это отмечалось К. К. Истоминым (см.: *Истомин*, с. 109—111); эту же мысль развивал и Б. М. Эйхенбаум, который считал «Затишье» «некоторым итогом по отношению к ряду рассказов и повестей, написанных раньше» (см.: *Т*, *Сочинения*, т. VII, с. 357).

Многоплановая композиция повести, позволившая проследить судьбы героев из разных слоев русского общества, переплетение лирико-психологической и иронической манеры повествования — всё это создавало художественные предпосылки для появления тургеневских романов.

Стр. 380. *...в роброне...*— Старинное женское платье с широкой юбкой на каркасе в виде обруча.

Стр. 381. *...городских котёлок...*— Тульское название кренделей, сваренных в котле.

Стр. 383. *...в «Галатее»...*— Еженедельный журнал литературы, новостей и мод, издававшийся в Москве в 1829—1830 гг. С. Е. Раичем, преподавателем русской словесности Московского университетского пансиона. В журнале принимали участие Пушкин, Вяземский, Баратынский, Тютчев, Шевырев и др. В 1839 г. Раич возобновил журнал под названием «Галатея, журнал наук, искусств, литературы, новостей и мод». В этом виде «Галатея» просуществовала еще один год.

Стр. 386. *...он заслуживал вошедшее недавно в моду название джентльмена.*— Слово «джентльмен» утвердилось в русском языке в начале 1840-х годов для обозначения человека благовоспитанного, порядочного (см. Лексикологические заметки к текстам Тургенева: 23. Джентльмен. М. А.— *Т сб*, вып. 5, с. 343—344).

Стр. 388. *...Дамон и ∽ Пифион...*— Пифагорейцы, жители Сиракуз, прославившиеся своей преданной дружбой. Имя друга Дамона в произведениях мировой и русской литературы неустойчиво: его называют Финтий, Финтиас, Пинтиас и т. д. Именно поэтому Ипатов усомнился в правильности подсказанного ему Иваном Ильичом имени Пифион. (Об этом см.: Алек-

сеев М. П. «Затишье». Дамон и Пифион.— *Т сб*, вып. 1, с. 237—238.)

Стр. 390. *...сравнил бы ее с Церерой или Юноной.*— Церера — римская богиня плодородия; Юнона — римская богиня, покровительница женщин и семейного очага. Сравнивая Машу с этими богинями, Тургенев подчеркивал здоровую красоту и величественность ее облика.

Бобелина — гречанка, видная деятельница в войне против турецкого ига за независимость Греции. Убита в 1828 г.

Стр. 394. *Клеппер* (нем. Klepper — кляча) — старинное название эстонских местных лошадей.

Стр. 396. *Чем Маша не Клеопатра или не Федра?* — Клеопатра — египетская царица (69—30 гг. до н. э.), знаменитая своей красотой; Федра — героиня греческой мифологии. Трагические судьбы обеих послужили основанием для многих драматических произведений (Шекспира, Расина и др.). В данном случае возможна реминисценция из первой главы «Евгения Онегина», строфа XVII: «Освистать Федру, Клеопатру...».

Стр. 409. *«Солнце на закате»* — народная песня на слова поэта-песенника С. Митрофанова (см.: Песни русские известного охотника М., изданные им же, в удовольствие любителей оных. СПб., 1799, с. 36).

...знаменитого Илью...— Илья Осипович Соколов — руководитель цыганского хора, пользовавшегося большой популярностью в 20—40-е годы XIX века (см.: Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., 1887, с. 400—401).

«Ах вы, сени, мои сени» — русская народная песня, ранние варианты которой встречаются в песенниках 1790 и 1791 годов.

Стр. 413. *«На почве чахлой и скупой»...*— Неточная цитата из стихотворения «Анчар» (1828); у Пушкина:

> В пустыне чахлой и скупой,
> На почве, зноем раскаленной...

Датура (Datura), или дурман — ядовитое растение.

Стр. 416. *Что за комиссия ∽ выросшей сестры!*— Перефразировка восклицания Фамусова в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие 1, явл. 10):

> Что за комиссия, создатель,
> Быть взрослой дочери отцом!

Стр. 418. *...из пушкинского Дон-Жуана.*— Трагедия А. С. Пушкина «Каменный гость» (1830), напечатанная посмертно, в 1839 г.,— новинка в то время, когда происходит действие повести.

Стр. 420. *Стоит ли ∽ кажется, обидой...*— Из стихотворения Пушкина «Кто знает край, где небо блещет» (1828); вторая строка процитирована неточно. Нужно: «Пред флорентинскою Кипридой»; напечатано посмертно в 1838 г. в «Современнике».

Стр. 421. *...волоокая Гера...*— Греческая богиня, супруга Зевса (соответствует римской Юноне). Для нее характерны большие на выкате «воловьи» глаза. Волоокой Гера названа и в «Илиаде» Гомера (см. перевод Н. И. Гнедича).

Медея — мифологический образ сильной и страстной женщины, в борьбе за свою любовь не останавливающейся перед преступлением.

Стр. 435. *...покурить наскоро Жукова...*— Речь идет о табаке, вырабатывавшемся на знаменитой в 40-х и 50-х годах XIX века фабрике В. Г. Жукова.

Стр. 436. *Талейран* — французский политический деятель и дипломат (1754—1838), прославившийся проницательностью, хитростью и умением скрывать свои мысли. Имя его стало нарицательным.

Стр. 437. *Оскорблю тебя ∽ и потом хоть через платок.*— Речь идет о том, что Веретьев предложит Стельчинскому дуэль на самых жестких условиях, при которых расстояние между противниками определяется длиной носового платка по диагонали. Так в «Коварстве и любви» Шиллера Фердинанд подает своему сопернику пистолет и, вынимая носовой платок, говорит: «Нате! Держите платок! ⟨. . .⟩ *Гофмаршал*. Через платок? Вы с ума сошли! ⟨. . .⟩ *Фердинанд*. Держи тот конец, тебе говорят! Иначе ты промахнешься, трус!» (1784, д. 4, явл. 3). Дуэль через платок входила в кодекс чести бретерствующих героев псевдоромантического толка вплоть до конца XIX в. Подобного героя Тургенев изобразил в рассказе «Чертопханов и Недопюскин» (1849). Чертопханов кричит своему обидчику: «Стреляться, стреляться, сейчас стреляться через платок» (наст. изд., т. 3, с. 285). В «Братьях Карамазовых» (1880) Федор Павлович, паясничая, угрожает вызвать на дуэль через платок своего сына Митю (см.: *Достоевский*, т. 14, с. 68). Подробно об этой форме дуэли см.: Швейковский П. А. Суд чести и Дуэль в Российской армии. 3-е изд. СПб., 1912, с. 165.

...интимидация...— от *франц.* intimidation (запугивание).

Стр. 438. «*Крамбамбули, отцов наследье*»...— Цитата из немецкой студенческой песни, перевод которой приписывается Н. М. Языкову (см.: Языков Н. М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л.: Academia, 1934, с. 795—796).

Стр. 442. *Пощебелил, да и за щеку...*— По-видимому, орловская поговорка. Смысл глагола «щебелить» раскрыт самим Тургеневым в письме к Я. П. Полонскому от 20 февраля (4 марта) 1868 г. Имея в виду длинноты в романе Гончарова «Обрыв», Тургенев писал: «Так щебелить, и за щеку класть, и опять выкладывать, и опять жевать...».

Во французском переводе (*1858*, *Scènes*, *II*) комментируемая фраза переведена следующим образом: Il fait comme le singe, dit Bodriakof,— la noisette mangée, il a jeté la coquille. (Он поступает как обезьяна,— сказал Бодряков,— съев орех, выбросил скорлупу.)

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

В начале 1850-х годов Тургенев написал ряд статей и рецензий, опубликованных в журнале «Современник», к редакции которого он был особенно близок. Большинство из них являлось откликами на текущие события литературной жизни и в известной степени отражало позицию этого передового органа печати. В то же время некоторые из этих статей имеют существенное значение для понимания собственных литературно-эстетических воззрений Тургенева. Таковы в особенности большая статья о «Племяннице» Е. Тур, в которой Тургенев излагает теорию романа, как она сложилась у него во время работы над первым романом «Два поколения», и статья о комедии А. Н. Островского «Бедная невеста». Во второй из этих статей сформулирован собственный взгляд Тургенева на задачи русской реалистической драматургии и высказано несогласие с «ложно-тонким» психологическим анализом, который, по его мнению, вредил общему благоприятному впечатлению от пьесы Островского в целом.

Статья Тургенева появилась в то время, когда по поводу творчества Островского шла ожесточенная полемика между славянофилами и западниками. Она особенно усилилась после выхода в свет «Бедной невесты» и продолжалась в течение 1850-х годов. Критические замечания Тургенева противостояли «сочинителям московских критик», в первую очередь Ап. Григорьеву, безудержно восхвалявшему «Бедную невесту».

Среди литературно-критических выступлений Тургенева, относящихся к началу пятидесятых годов, значительную роль играют также его статьи и рецензии, которые являются откликами на те или иные из поэтических явлений современности. В частности, когда в 1854 г. в третьей книжке «Современника» было начато печатание новых стихотворений Тютчева, то в четвертой книжке появилась статья Тургенева «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева». В этой статье Тургенев высоко оценивал творчество Тютчева, поэта, «завещанного ⟨...⟩ приветом и одобрением Пушкина». Предисловие к отдельному изданию «Стихотворений Ф. Тютчева», вышедшему в мае 1854 г., также было написано Тургеневым. Интересен и факт публикации Тургеневым в десятой книжке «Современника» за 1854 г. пятнадцати стихотворений другого современника Пушкина — Е. А. Баратынского (публикация сопровождалась письмом Тургенева в редакцию журнала, напечатанным в качестве примечания).

Тургенев, как и вся редакция «Современника», был непримирим по отношению к бездарным эпигонам реакционного ро-

мантизма, остроумно и беспощадно высмеяв их в рецензии на альманах «Поэтические эскизы».

Деятельность Тургенева-критика заслуженно оценили многие из его современников (см. примечания к рецензиям на «Поэтические эскизы» и «Племянницу» — наст. том, с. 653—656 и 656—663). Феоктистов, выражавший, видимо, не только свое мнение, но и суждения московских «западников» (А. Д. Галахова, П. Н. Кудрявцева и др.), писал Тургеневу 18(30) марта 1853 г.: «Я Вам и забыл совсем сказать о Вашей маленькой статейке в „Современнике“ об Аксаковской книге ⟨„Записки ружейного охотника Оренбургской губернии“⟩ — она мала, но прекрасна. Она-то и подожгла меня передать Вам мои догадки об том, что из Вас вышел бы блестящий критик или что-нибудь подобное. Когда вспоминаю статьи ⟨...⟩ об Островского комедии (и это самая лучшая), о „Племяннице“ и вот последняя даже, как бы она ни была мала — я все более и более убеждаюсь в моем мнении» (*ИРЛИ*, ф. 166, № 1539, л. 63—63 об.; см. также: *Назарова*, с. 166). О том, что и сам Тургенев придавал известное значение своим литературно-критическим статьям, написанным в конце 1840-х— начале 1850-х годов, свидетельствует то, что он включил многие из них в первый том издания сочинений 1880 г. 10(22) апреля 1879 г. Тургенев писал В. В. Думнову: «В издание это войдут ⟨...⟩ нигде не напечатанные критические статьи». В письме к нему же от 19 сентября (1 октября) 1879 г. Тургенев посылал «список статей, долженствующих составить I-й том», включив в этот список статьи о «Племяннице» Е. Тур и «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева».

Из переписки Тургенева начала 1850-х годов известно, что замыслы ряда его литературно-критических статей остались или незавершенными, или были реализованы значительно позднее.

Так, 9(21) апреля 1852 г. Тургенев писал И. С. Аксакову о книге его отца «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». «В *июньской* книге „Совр⟨еменника⟩“ будет о ней пространная статья — и в *майской* „Отеч⟨ественных⟩ зап⟨исок⟩“ (эту статью я теперь пишу)». Однако в «Отечественных записках» была напечатана анонимная рецензия, очевидно, другого автора на книгу С. Т. Аксакова. Тем не менее Тургенев не сразу отказался от намерения написать еще одну статью о книге Аксакова. Уже после появления в первой книжке «Современника» за 1853 г. его большой статьи о «Записках ружейного охотника», очень испорченной цензурой, Тургенев 5(17), 9(21) февраля 1853 г. писал С. Т. Аксакову: «В другой моей статье я хотел поговорить подробнее о Вашей книге — и, вероятно, так и сделаю — но, признаюсь, такая ценсура хоть у кого отобьет охоту брать перо в руки». Статья эта, по-видимому, так и не была написана.

О другом нереализованном замысле статьи, связанной с охотничьими интересами Тургенева, известно из его письма к С. Т. Аксакову от 10(22) февраля 1854 г., в котором он сообщал: «...в 3 № „Современника“ будет напечатано письмо мое к Вам, в котором изложится мнение одного здешнего охотника и хорошего моего знакомого, доктора Берса — о разных темных

вопросах, касающихся до прилета и улета дичи. Кажется, его замечания справедливы и во всяком случае могут вызвать ответ с Вашей стороны».

В том же году, 31 марта (12 апреля), Тургенев писал С. Т. Аксакову о том, что он «с наслаждением» перечитал второе издание книги «Записки об уженье рыбы» (1854), и собирается «поговорить о ней в „Современнике“». Эта рецензия также должна быть причислена к неосуществленным литературно-критическим работам писателя.

Из письма Тургенева к Некрасову и Панаеву от 18(30) ноября, 23 ноября (5 декабря) 1852 г. известно, что он собирался написать для «Современника» статьи «О Андрее Шенье и подражателях древним», «О Мерке» и о «Русских романах, повестях и комедиях в прошлом году».

Для того же журнала предназначалась и статья, посвященная поэзии Е. А. Баратынского — о том, что она «почти кончена», Тургенев сообщал Некрасову 15(27) октября 1854 г. Однако до нас эта статья не дошла.

Из писем Е. М. Феоктистова к Тургеневу от 17 сентября ст. ст. 1851 г. и 18 февраля ст. ст. 1853 г. впервые стало известно, что замысел статьи «Гамлет и Дон-Кихот», опубликованной в «Современнике» лишь в 1860 году, относится к началу 1850-х годов (см.: *Назарова*, с. 164).

Не все из литературно-критических статей и рецензий, написанных Тургеневым в начале 1850-х годов, дошли до нас. В частности, на основании письма Е. М. Феоктистова к Тургеневу от 24 марта ст. ст. 1852 г., можно утверждать, что существовало авторское предисловие к первому отдельному изданию «Записок охотника». Текст его, однако, неизвестен (см. там же, с. 165—166) [1].

Статьи, включенные Тургеневым в первый том сочинений 1880 г., печатаются по текстам этого издания с проверкой по первым публикациям. Остальные — по первопечатным текстам.

Перечень статей о литературно-критической деятельности Тургенева см.: наст. изд., т. 1, с. 485—486.

---

[1] В настоящий том не включен ряд статей, где авторство Тургенева недостаточно доказано, хотя они и были иногда подписаны инициалами «Т. Л.» (об этом см. подробно: С т е п а н о в а Г. В., М о с т о в с к а я Н. Н. О приписываемых Тургеневу статьях 50-х годов.— *Т сб*, вып. 3, с. 100—106).

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОПЕРЕ МЕЙЕРБЕРА «ПРОРОК»

(Письмо к редактору)

(с. 455)

Печатается по тексту первой публикации с исправлением явных опечаток.

Впервые опубликовано: *Отеч Зап*, 1850, № 2, отд. VIII, с. 280—283, с подписью: — е — (ценз. разр. 31 января 1850 г.). Перепечатано: *Рус Пропилеи*, с. 114—118.

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. XII, с. 319—324.

Автограф неизвестен.

Написано 9 января н. ст. 1850 г.

Авторство Тургенева устанавливается на основании его писем к А. А. Краевскому. 2(14) апреля 1849 г. Тургенев писал ему из Парижа: «Завтра дают „Пророка“ Мейербеера. Я Вам пошлю отчет для „От⟨ечественных⟩ зап⟨исок⟩“».28 декабря 1849 г. (9 января 1850 г.) Тургенев снова писал ему: «Вот Вам, любезный Краевский, половина моего обещания: письмо о „Пророке“ ⟨...⟩ Не выставляйте даже начальной буквы моего имени под письмом о „Пророке“: на то есть у меня особенные причины». Причиной этой просьбы были опасения Тургенева, что его похвалы по адресу Полины Виардо будут восприняты как бестактность по отношению к артистке и поставят ее в неловкое положение.

Письмо Тургенева об опере «Пророк» является единственной музыкальной рецензией писателя, если не считать отдельных высказываний о музыкальной жизни Петербурга и Берлина в статьях «Современные заметки» и «Письма из Берлина» (наст. изд., т. 1, с. 281 и 291). Письму предшествовало стихотворение Тургенева, посвященное тому же первому выступлению П. Виардо в «Пророке», не предназначавшееся автором для публикации. Текст его, озаглавленный «Et j'errais pesamment!..» («И я тяжко заблуждался!..»), недавно обнаруженный в коллекции Ле Сен (Франция), напечатан А. Звигильским в изд.: Cahiers Ivan Tourguéniev. Pauline Viardot. Maria Malibran. Paris. 1978, Octobre, N 2, p. 121—123.

Премьера оперы «Пророк», состоявшаяся в Париже 16 апреля 1849 г., и последующие ее постановки вызвали исключительный интерес европейской общественности. Этому способствовала прежде всего популярность ее автора Джакомо Мейербера (1791—1864), виднейшего представителя жанра французской «большой оперы». Характерными чертами этого жанра являются монументальность масштабов, трагедийное содержание, сочетание героической патетики с блестящей декоративностью и яркими сценическими эффектами.

К работе над партитурой «Пророка» Мейербер приступил в 1839 г. и в основных чертах закончил ее в ближайшие годы. Премьера долго задерживалась по различным причинам, в частности, из-за революционных событий 1848 года. Между тем слухи о новом произведении знаменитого композитора широко распространялись в странах Европы, придавая ожидавшейся постановке злободневный характер. Интересу к новой опере способствовало также участие в ней известных артистов, в том числе Полины Виардо, для которой композитором была написана одна из главных партий (Фидес). Наконец, значительный интерес вызывал сюжет «Пророка». Автор либретто Эжен Скриб (1791—1861) положил в его основу историю Иоанна Лейденского (ок. 1510—1536), вождя народной секты анабаптистов в Северо-Западной Германии. По профессии портной, Иоанн был ревностным последователем демократических идей великого немецкого революционера эпохи крестьянских войн, Томаса Мюнцера. Примкнув в 1533 г. к анабаптистам, Иоанн возглавил их борьбу с католической церковью. Своими реформами уравнительного характера — конфискацией ценностей для общих нужд, контролем над распределением продуктов и др.— он восстановил против себя имущие слои населения. После долгого героического сопротивления анабаптисты были в 1535 г. разбиты немецкими феодалами, Иоанн был взят в плен и казнен.

В нарушение исторической правды Скриб представил героя оперы слабохарактерным и тщеславным авантюристом. Согласно либретто, молодой крестьянин Иоанн примыкает к восстанию анабаптистов, движимый честолюбивыми мечтами и желанием расправиться с владетельным графом Оберталем, не разрешившим ему жениться на любимой девушке, Берте. Одержав во главе восставших победу, Иоанн коронуется на царство (что является историческим фактом). Перед лицом неизбежного поражения он устраивает роскошное пиршество и взрывает свой дворец, погибая вместе с приближенными (вымышленный эпизод).

Наряду с Иоанном, центральное место в опере занимает вымышленный персонаж — его мать, простая крестьянка Фидес. Ради матери Иоанн без колебаний жертвует невестой. Но после венчания на царство он отказывается перед лицом народа признать Фидес, боясь уронить свое величие «сына господня», царя и пророка. Видную роль в опере играют массы анабаптистов, изображенные драматургом в виде мрачных и жестоких фанатиков.

В рецензии Тургенева отмечено стремление Э. Скриба развенчать личность Иоанна и затушевать революционно-демократический характер анабаптистского движения. При всех допущенных в либретто оперы искажениях исторической правды, самые картины социальной борьбы и появление на сцене восставших народных масс вызывали интерес передовой общественности и, с другой стороны, подозрительное внимание реакционных властей. Так, в России постановку «Пророка» разрешали лишь с цензурными изменениями и под другими названиями — «Осада Гента», «Иоанн Лейденский».

Парижская премьера «Пророка» вызвала широкий отклик в западноевропейской прессе. Крупнейшие музыкальные деятели

и литераторы — Г. Берлиоз, Т. Готье, Ф.-Ж. Фетис единогласно оценили ее как одно из самых значительных художественных явлений своей эпохи. Непосредственно после спектакля Берлиоз писал: «„Пророк“ прошел с великолепным, несравненным успехом. Для этого достаточно было уж одной музыки. Но успеху способствовала также поразительная роскошь постановки, декораций, костюмов, балетных сцен...». Особо отмечая Виардо в роли Фидес, Берлиоз называл ее «одной из величайших артисток в истории музыкального искусства» [1]. Аналогичную оценку дал Г. Флобер. 27 октября 1849 г. он писал матери: «Вчера вечером ⟨. . .⟩ я смотрел в опере „Пророка“. Это великолепно, это подействовало на меня благотворно, я вышел освеженный, восхищенный, полный жизни» [2].

Русская печать откликнулась на постановку «Пророка» немедленно. В июньском номере «Отечественных записок» сообщалось: «Замечательнейшим событием музыкального мира в два последние месяца было, без сомнения, первое представление новой оперы Мейербера „Пророк“»(*Отеч Зап*, 1849, № 6, отд. VIII, с. 294). Музыкальный обозреватель «Библиотеки для чтения» Б. Дамке писал в июльском номере журнала: «Появление Мейерберова „Пророка“ привело всю Европу в какое-то напряженное состояние, беспримерное в истории искусства и тем более замечательное при современном грозном урагане событий» (*Б-ка Чт*, 1849, № 7, отд. VII, с. 94). В дальнейших номерах журнала (№ 9, 10 и 11) Б. Дамке поместил подробный разбор «Пророка»— «с помощью парижских критик» [3], как указывал автор статьи.

Сообщая о парижской премьере, «Современник» подчеркивал актуальное значение новой оперы, выражавшей, по словам журнала, «мысль своего времени» (см.: *Совр*, 1849, № 5, отд. V, с. 147). Живой интерес, проявленный русской печатью к «Пророку», сделал естественным появление специальной статьи Тургенева.

Высокая оценка творчества Мейербера и мнение о важном историческом значении его деятельности, высказанные Тургеневым, разделялись большинством авторитетных музыкальных критиков его времени и остались в основном незыблемыми и в дальнейшем. Через полвека, в 1901 г., Стасов, характеризуя оперы Мейербера, назвал их «вершиной ⟨. . .⟩ развития музыкальной драмы» своего времени и отметил их тесную связь с драматургией французских романтиков В. Гюго, А. де Виньи и др. [4]

Как и Тургенев, большинство критиков и историков музыки отмечают преимущественно драматический характер дарования

---

[1] Berlioz H. Théâtre de l'Opéra.— Journal des Débats politiques et littéraires. Paris, 1849, 20 avril.

[2] Flaubert G. Correspondance. II série. Paris, 1926, p. 95.

[3] Подробная рецензия Ж. Буске появилась тогда же в «Illustration» — см.: Розанов А. Полина Виардо-Гарсиа. Изд. 2-е, дополн. Л., 1973, с. 78, 213.

[4] Стасов В. В. Избранные сочинения в 3-х т. М., 1952. Т. III, с. 681.

Мейербера, сравнительно малые художественные достоинства его лирических сцен, блестящее мастерство его оркестровки.

Давая исключительно высокую оценку опере Мейербера, Тургенев, однако, не отмечает тех существенных недостатков в его творчестве, на которые уже тогда указывалось немногими «ожесточенными противниками его таланта» (об этом вскользь упоминается в «Письме»). К ним принадлежали, в частности, Р. Шуман и Р. Вагнер. При крайне несправедливой и односторонней общей оценке произведений Мейербера, они правильно отмечали его чрезмерное пристрастие к внешним сценическим эффектам, частые нарушения жизненной правды и простоты в его драматургии, стремление приспособиться к вкусам публики европейских столиц, что по существу являлось крайним выражением характерных черт самого жанра «большой оперы».

Эти особенности повели, в частности, к тому, что в дальнейшем, с усилением реалистических тенденций в европейском оперном искусстве (в творчестве русских классиков, Верди, итальянских «вердистов» во главе с Пуччини, Бизе), французская «большая опера» утратила былую ведущую роль на театральной сцене. Утратив прежнее господствующее положение, лучшие произведения Мейербера тем не менее уже более столетия сохраняются в мировом репертуаре, занимая видное место в оперном наследии. «Письмо» Тургенева остается ценным свидетельством чуткого слушателя, отразившего типичные для большинства его современников впечатления от крупнейшего художественного события того времени.

Интерес к «Пророку» не оставлял Тургенева и в дальнейшем. Так, в 1853 г., когда опера была впервые поставлена в Петербурге (с участием П. Виардо), о чем Тургеневу заранее сообщили П. В. Анненков и Д. Я. Колбасин (см.: *Т, ПСС и П, Письма*, т. II, с. 478 и 461), 2(14) февраля Тургенев просил Анненкова прислать свой отзыв на этот спектакль.

В позднейшие годы отношение Тургенева к опере Мейербера, однако, неоднократно менялось, как это видно, например, из письма к Л. Пичу от 15(27) января 1865 г.: «...г-жа Виардо 〈. . .〉 спела „Пророка“ в Карлсруэ (мне страшно не понравилась музыка — но сама она предстала в прежнем величии)».

Стр. 456. *...его произведения, как первые речи Демосфена ∽ отзываются трудом...— Демосфен* (384—322 гг. до н. э.) славился необычайным трудолюбием. Рассказывали, будто в юные годы, занимаясь по ночам, он никогда не гасил лампы. Поэтому шутя говорили, что его речи пахнут лампадным маслом.

Стр. 458. *...явно написанные для «бывшего» Дюпре и ∽ Роже.— Дюпре* Жильбер Луи (1806—1896) — видный французский оперный певец. В 1849 г., незадолго до премьеры «Пророка», он ушел из оперного театра, почему и назван в «Письме» Тургенева «бывшим». В дальнейшем Дюпре занимался преимущественно педагогической деятельностью. *Роже* Гюстав Ипполит (1815—1879) — французский оперный певец, в парижской постановке «Пророка» пел партию Иоанна.

Стр. 459. *...с своей незабвенной сестрой ∽ ни таланта Нурри; г-жа Кастеллан — так себе...*— Сестра Полины Виардо— *Малибран* Мария Фелиситэ (1808—1836), одна из величайших

певиц XIX столетия. Обладательница великолепного голоса (контральто), она с триумфальным успехом выступала на европейских сценах и в Америке. Ее блестящая артистическая карьера была прервана ранней смертью. *Нурри* Адольф (1802—1839)— выдающийся французский оперный певец, первый исполнитель главных ролей в операх Мейербера «Роберт-Дьявол» и «Гугеноты». *Кастеллан* Жанна (1819 — год смерти неизвестен), французская оперная певица; в «Пророке» пела партию Берты, невесты Иоанна.

...с большим успехом ∽ Берлине и Вене.—Первая постановка «Пророка» в Лондоне состоялась 24 июля 1849 г. В Берлине и Вене опера была поставлена в 1850 г.

ПОЭТИЧЕСКИЕ ЭСКИЗЫ. Альманах стихотворений, изданный Я. М. Позняковым и А. П. Пономаревым.

(с. 460)

Печатается по тексту первой публикации с исправлением явных опечаток.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1851, № 3, отд. V, с. 1—12, без подписи (ценз. разр. 28 февраля 1851 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. XII, с. 107—118.

Автограф неизвестен.

Датируется началом 1851 г. по времени появления в печати.

Авторство установлено Н. В. Измайловым, опубликовавшим письмо Тургенева к Е. М. Феоктистову от 2(14) апреля 1851 г., в котором говорится: «Я очень рад, что статейка моя о Познякове понравилась в Москве (здесь она прошла незамеченной).— Ценсура ее сильно изуродовала — а в иных местах опечатки страшные... в одном месте пропущена целая строка» (*Т и круг Совр*, с. 144; там же, на с. 453—459 см. заметку Н. В. Измайлова «Затерянная критическая статья»).

Несмотря на то, что в альманахе были опубликованы большей частью стихотворения мало известных поэтов, он вызвал несколько печатных отзывов, появившихся ранее, нежели статья Тургенева. Анонимный автор «Отечественных записок», подчеркивая, что сейчас «такое время, когда на стихи сильно упала мода», объяснял появление альманаха «не столько охотою некоторых читателей восхищаться 〈. . .〉 звучными рифмами, сколько метроманией самих авторов» (*Отеч Зап*, 1851, № 2, отд. VI, с. 69). Отрицательное отношение проявила к «Поэтическим эскизам» и «Библиотека для чтения». Рецензент ее иронически указывал, что здесь «молодые московские поэты 〈. . .〉, целая плеяда вдохновенных душ, целый рой гармонических надежд, соединились для подания о себе вести России, которая уже отвыкла от стихов» (*Б-ка Чт*, 1851, № 1, отд. VI, с. 138). Наиболее обстоятельным был разбор «Поэтических эскизов», напечатанный в «Москвитянине». «Мы,— говорилось в этом разборе,— не разделяем с петербургскими журналами их неприязненного чувства ко всем нынешним поэтам, хотя и не можем не согласиться с тем, что настоящее время и само по себе не богато поэтическими талантами, и беднее прежнего» (*Москв*, 1851, № 3, февраль, ч. I,

кн. 1, с. 440—441). Далее рецензент положительно оценивал лишь стихотворения Е. П. Ростопчиной, Н. В. Берга, Ф. Б. Миллера и Л. А. Мея. Перечисляя же имена остальных поэтов, он писал об их стихотворениях: «Вообще странны как-то и то незрелы, то переспелы все эти плоды: русские песни, например, не похожи на песни, послания не похожи на послания...» (там же, с. 445). В заключение рецензент писал: «Произносить ли нам приговор над „Поэтическими эскизами"? Нет, мы лучше поступим так: передадим право суда над всеми вышеисчисленными произведениями г. *Новому поэту*,— может быть, и удастся ему как-нибудь наставить на путь истинный молодых жрецов Аполлона...» (там же, с. 448).

Имя Нового поэта (сатирический образ, созданный Панаевым и Некрасовым) было названо здесь не случайно. Дискредитация эпигонской поэзии, которую можно было постоянно встретить на страницах «Современника» в конце 1840-х и начале 1850-х годов, сводилась к тому, что в журнале систематически печатались пародии на произведения поэтов-эпигонов и дилетантов или просто цитировались образцы такого рода стихотворной продукции. Они сопровождались краткими ироническими замечаниями; но даже и без всякого комментария многие из подобных творений производили комическое впечатление. Вызов, сделанный «Москвитянином», был принят не Новым поэтом, а Тургеневым, в те годы ближайшим сотрудником «Современника».

Статья Тургенева о сборнике «Поэтические эскизы», написанная в период оскудения русской поэзии, которое началось после гибели Лермонтова и продолжалось до середины 50-х годов, и связанная с выступлениями всего редакционного коллектива «Современника», была направлена против безыдейной поэзии эпигонов романтического стиля 1830-х годов. Она произвела сильное впечатление в Москве. Интересное описание чтения этой статьи в одном из московских литературных салонов содержится в письме Феоктистова к Тургеневу от 17(29) марта 1851 г.: «Как будто великолепная статья о Познякове могла обмануть кого-нибудь! Как будто достаточно не подписать своего имени, чтобы публика не увидала руки мастера! Вот как было дело: опять в прошедший четверг собрались те же лица, „так называемые умные люди" у Галахова. Опять разговор касался „науки и жизни" — как вдруг кто-то взял „Современник" и стал читать статью о гениальном Познякове. На 5-й строке у всех вырвалось восклицание: „это он!" Дальнейшее чтение не обмануло нас. Статья произвела *фурор*. Сам Кудрявцев подпрыгивал от восторга на своем стуле. Право, никто не ожидал, чтобы можно было, по поводу Познякова, написать статью с таким тонким остроумием, живостью и, как выразился Кудрявцев, с таким „отличным умом". Но так как в этой же статье говорится неуважительно об гр. Растопчиной, то положено было не говорить никому, что статья принадлежит Вам — об этом знают немногие из кружка» (*Назарова*, с. 163).

На следующий день, 18(30) марта 1851 г., Феоктистов снова сообщал Тургеневу: «Статья Ваша (?) о Познякове была вчера прочитана два раза у графини ⟨Е. В. Салиас⟩ и всем ужасно понравилась. Все хохотали, от души» (*ИРЛИ*, ф. 166, ед. хр. 1539, л. 12). Сама Е. В. Салиас писала Тургеневу во второй по-

ловине марта 1851 г., что «статья о Познякове затейлива» (*ИРЛИ*, 5850. XXXб. 140, л. 7). А рецензент «Отечественных записок», делая обзор № 1—3 «Современника» за 1851 г., отметил, что «в Библиографии замечательна статья о „Поэтических эскизах“ (№ 3)» (*Отеч Зап*, 1851, № 4, отд. VI, с. 109).

Критикуя стихотворения, помещенные в альманахе «Поэтические эскизы», Тургенев не сделал исключения и для некоторых довольно известных поэтов и переводчиков. Так, например, «плохи» были, с его точки зрения, напечатанные здесь стихотворения Сушкова, Ростопчиной, Берга, Миллера.

Сушков Николай Васильевич (1796—1871) — консервативный драматург и поэт, который начал печататься с 1815 г.; позже (в 1851, 1852 и 1854 гг.) издал три литературных альманаха «Раут». *Ростопчина* Евдокия Петровна, урожд. Сушкова (1811—1858) — писательница, первый сборник стихотворений которой вышел в 1841 г. Белинский в статье, посвященной этому сборнику, не отказывая стихотворениям Ростопчиной в «поэтической прелести», в то же время сетовал на исключительное служение ее «богу салонов». на «светскость» (*Белинский*, т. V, с. 457, 458). Тургенев осуждал стихотворение Ростопчиной «Ты не люби его» за псевдоромантический эпигонский образ героя, о котором поэтесса писала, что порой «в свете вдруг ему и пусто и темно». *Берг* Николай Васильевич (1823—1884) — поэт и переводчик (в частности, славянских поэтов; в молодости переводил также Байрона, Шиллера и Гёте), сотрудник «Москвитянина» и позже «Современника», «Отечественных записок». В альманахе «Поэтические эскизы» было напечатано четыре его стихотворения. Три из них (упомянутый Тургеневым «Ренегат», а также «Аюдаг» и «Сон») являлись переводами из А. Мицкевича, имя которого было тогда под запретом и потому не было названо в альманахе. *Миллер* Федор Богданович (1818—1881) — поэт-переводчик с немецкого. В 1849 г. в Москве вышел сборник его стихотворных переводов (из Гейне, Шиллера, Гёте и др.).

Творчество остальных участников альманаха «Поэтические эскизы» — Соловьева, Соколова, Котельникова, В. И. Р., Андреева, Пономарева, Познякова, Прот...ова и других — Тургенев беспощадно высмеивал.

Соловьев Сергей Петрович (1817—1879) — поэт, драматург-переводчик и режиссер московских театров; его стихотворения конца 1840-х — начала 1850-х годов были написаны в псевдофольклорном стиле. *Соколов* Н. С.— водевилист и поэт 1830—1840-х годов, о котором неоднократно нелестно отзывался Белинский (см.: *Белинский*, т. V, с. 607; т. VI, с. 208, 373, 395). Впрочем, одно из стихотворений Соколова — «Он» («Кипел, горел пожар московский») — стало песней, бытующей в народе до настоящего времени (см.: Розанов И. Литературные репутации. М., 1928, с. 108—112). *Котельников* М. И.— малоизвестный поэт и переводчик. Под инициалами В. Р. (а не В. И. Р., как не совсем точно указал в своей рецензии Тургенев) выступал в те годы *Родиславский* Владимир Иванович (1828—1885) — драматический писатель, поэт и переводчик, впоследствии (в 1870 г.) основатель (вместе с А. Н. Островским) Общества русских драматических писателей. *Андреев* Александр Николаевич (1830—1891) — поэт, драматург и переводчик. Весьма слабыми в худо-

жественном отношении были и стихотворения обоих издателей альманаха — Я. М. *Познякова* и А. П. *Пономарева* (умер в 1883 г.). Стихотворений Прот...ва,— *Протопопов* Николай Порфирьевич (1814—1867), поэт и переводчик, печатавшийся в «Одесском альманахе на 1839 год» (Одесса, 1839) и в «Одесском альманахе на 1840 год» (Одесса, 1840), а также в «Метеоре» (СПб., 1845),— в «Поэтических эскизах» напечатано не было. По-видимому, Тургенев, читая отзыв на альманах, помещенный в «Москвитянине», повторил ошибку рецензента этого журнала, который, перечисляя фамилии поэтов-участников «Поэтических эскизов»,— также назвал Прот...ова (см.: *Москв*, 1851, № 3, февраль, кн. 1, с. 445).

Стр. 461. *...как какой-нибудь лазарони...*— Лазарони — босяк, нищий (итал., неаполитанский диалект).

Стр. 462. *...Бахчисарая, воспетого Пушкиным...*— Тургенев имеет в виду поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1823) и его же стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца» (1824).

Стр. 465. *...от г. Верстовского...*— *Верстовский* Алексей Николаевич (1799—1862) — композитор и театральный деятель, автор опер, музыки к водевилям, песен, баллад, романсов.

Стр. 466. *Мейербера и Россини судят не по сорока мелодиям ∽ по «Севильскому цирюльнику»...*— *Мейербер* (см. о нем с. 649—653) в 1840 г. издал в Париже 24 романса и в 1842 г. в Италии 16 романсов. «Гугеноты» (1836) — опера Мейербера. *Россини* Джоакино Антонио (1792—1868) написал в 1830-х годах ряд романсов под названием «Музыкальные вечера».

Стр. 472. *...бравурной арии Рубини.*— *Рубини* (Rubini) Джованни Батиста (1795—1854) — знаменитый итальянский тенор, неоднократно выступавший в Париже, Лондоне и Берлине. В Петербург приезжал на гастроли в 1843 и 1844 годах.

«ПЛЕМЯННИЦА». Роман, соч. Евгении Тур.

(с. 473)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Совр, 1852, № 1, отд. III, с. 1—14.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 308—327.

Автограф неизвестен.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1852, № 1, с подписью: «И. Т.» (ценз. разр. 31 декабря 1851 г.).

Печатается по тексту *Т*, *Соч*, *1880* с учетом списка опечаток, приложенного к этому же тому, и с устранением явных опечаток, не замеченных Тургеневым, а также со следующими исправлениями по первопечатному тексту:

Стр. 477, строка 34: «романов, которые» вместо «романов, которых».

Стр. 482, строка 29: «Неволин» вместо «Невалин».

Стр. 483, строка 9: «нам не неприятно», вместо «нам неприятно».

Стр. 484, строка 40: «о котором» вместо «о которых».

Автор романа «Племянница» (М., 1851) — графиня Салиас де Турнемир Елизавета Васильевна, урожденная Сухово-Кобылина (1815—1892), писательница и публицистка, выступавшая под псевдонимом «Евгения Тур», сестра драматурга А. В. Сухово-Кобылина. Ее первые произведения (повесть «Ошибка», роман «Племянница» и др.), относящиеся к концу 1840-х — началу 1850-х годов, имели успех у читателей и вызвали ряд положительных отзывов в печати.

Бывая в Москве, Тургенев посещал общественно-литературный салон Е. В. Салиас, где встречался с Т. Н. Грановским, П. Н. Кудрявцевым, А. Д. Галаховым, Е. М. Феоктистовым и др. В этот период московские представители прогрессивного западничества возлагали большие надежды на литературно-критическую деятельность Тургенева. С Е. В. Салиас он деятельно переписывался, особенно в период Спасской ссылки (1852—1853 гг.). Об этом свидетельствуют письма Салиас к Тургеневу (всего сохранилось тринадцать писем за 1851—1861 гг.). Из писем к ней Тургенева известно лишь одно, относящееся к концу 1852 г. В 1860 г. Салиас приняла участие в полемике вокруг «Накануне», выступив со статьей «Несколько слов по поводу статьи „Русской женщины". Е. Н. Стахова» (*Моск Вед*, 1860, № 85, 17 апреля, с. 665—667). В дальнейшем жизненные и литературные пути Тургенева и Е. В. Салиас разошлись. В 1862 г. она напечатала статью о романе Тургенева «Отцы и дети» («Несколько беглых заметок после чтения романа И. С. Тургенева „Отцы и дети"»— *Сев Пчела*, 1862, № 91 и 92, 4 и 5 апреля), в которой критически оценивала образ Базарова и писала: «Лучшие исключения из старого поколения он воплотил в отцах, а самые уродливые — в сыновьях, в детях». Салиас послужила Тургеневу прототипом двух персонажей его романов (Суханчиковой в «Дыме» и Хавронии Прыщовой в «Нови» — см.: *Т*, *Сочинения*, т. XII, комментарий Ю. Г. Оксмана, с. 513—514).

Основные положения статьи Тургенева о романе «Племянница» связаны с литературно-эстетическими позициями Тургенева в конце 1840-х — начале 1850-х годов. Кроме того, эту статью следует рассматривать в связи с работой Тургенева над его первым романом «Два поколения» (см.: наст. изд., т. 5). В статье о «Племяннице» он по существу изложил свою теорию романа, высказался по поводу будущего развития этого жанра в России, где, по его мнению, возможны лишь романы сандовского и диккенсовского типа, т. е. романы с социальной проблематикой и социальными типами.

Что же касается «Племянницы», то Тургенев судил об этом романе довольно строго, тон его статьи местами был ироническим и снисходительным. Потому-то в письме к Феоктистову 29 декабря 1851 г. (10 января 1852 г.) Тургенев писал: «Не знаю, что-то скажет графиня... Кажется, она будет довольна, хотя я не мог не взглянуть иронически на этих двух господ Плетменевых и Ильнеевых» [1]. А В. П. Боткин 7(19) января 1852 г. сообщал Тургеневу из Москвы, что автор «Племянницы» «заранее робеет», но что пора, наконец, говорить о Е. В. Салиас откровен-

---

[1] Имена героев романа Тургенев иронически приводит здесь в измененном виде.

ню, что «эту откровенность она может выдержать и даже должна, что курители фимиама могут только вредить ей...» (*Боткин и Т*, с. 10).

Статья Тургенева о романе «Племянница» вызвала в Москве много толков; прежде всего на нее откликнулись те из знакомых писателя, которые были близки к Салиас. Е. М. Феоктистов 14(26) января 1852 г. писал Тургеневу, что его статья «сверху донизу писана ужасно умно», что недостатки романа взяты «очень верно и ловко развиты блестящим образом». Тем не менее Феоктистов сетовал, что Тургенев, сосредоточившись на критике, не обратил такого же внимания на достоинства романа. В заключение Феоктистов снова подчеркивал, что он прочел статью Тургенева «с увлечением» и что такое же положительное мнение о ней сложилось у Т. Н. Грановского и А. Д. Галахова. В письме от 28 января (9 февраля) 1852 г. Феоктистов еще раз подтвердил свою положительную оценку статьи Тургенева (см.: *Назарова*, с. 165). О том, что «все, не принадлежащие к маленькому приходу графини, решительно восхищаются» статьею Тургенева, сообщал автору и В. П. Боткин 16(28) января 1852 г. (*Боткин и Т*, с. 12).

Одобрительными были также отзывы представителей славянофильских кругов. В частности, К. С. Аксаков писал Тургеневу: «Я собирался еще поблагодарить Вас за прекрасный разбор романа Тур; по-моему, он всё еще снисходителен. В особенности благодарен я Вам за то место, где Вы говорите о невольном сочувствии авторши к светскому князю» (*Рус Обозр*, 1894, № 8, с. 473). А В. П. Боткин сообщал Тургеневу 5(17) марта 1852 г.: «На днях у Черкасского (Владимира) слышал от Кошелева самые восторженные хвалы твоей статье о романе „Племянница" — да, эта статья удивительно удалась тебе — все от нее просто в восхищении — и называют образцовою» (*Боткин и Т*, с. 27).

Автор романа — Е. В. Салиас была весьма недовольна статьей Тургенева, о чем сообщал, в частности, Е. М. Феоктистов в своих письмах к Тургеневу от 14(26) января и 28 января (9 февраля) 1852 г. В последнем Феоктистов писал: «Я Вам скажу главный ее ⟨Е. В. Салиас⟩ grief [2], который питает против Вашей критики не она одна, но и другие, одинаково с нею думающие: нападают на несколько *покровительственный* тон, которым как будто бы пропитана вся статья» (см.: *Назарова*, с. 165). Желая уничтожить некоторую холодность, возникшую между нею и Тургеневым вследствие появления статьи, Салиас писала ему 18 февраля ст. ст. 1852 г.: «Я слышала от Каткова, что Вам неприятно то впечатление, которое произвела на меня Ваша критика. На это я скажу Вам одно: пора и Вам и мне забыть ее. Ужели мы станем разыгрывать Монтекки и Капулетти (Ваше любимое выражение) из-за журнальной статьи...» (*Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. II, с. 426—427).

Осуществить свое намерение — «забыть» о критическом разборе Тургеневым ее романа «Племянница» — Е. В. Салиас, однако, не смогла. Об этом свидетельствует ее письмо к Тургеневу от 5(17) апреля 1853 г., в котором она сообщала: «Я окончила 2 часть моего романа ⟨„Три поры"⟩ и надеюсь, что этот роман бу-

---

[2] Grief — обида, неудовольствие (*франц.*).

дет без страшных длиннот „Племянницы“ и не в 4 томах. Вы видите, что я исправляюсь, и хотя я женщина, мне болтать делается страшно». В заключение Салиас высказывала сожаление, что Тургенев далеко от нее, ибо у него «самое верное артистическое чувство». Когда же в процессе работы над этим романом она «однажды выбилась из сил» («никак не могла сладить с сценами»), то, по ее признанию, собиралась даже послать свою рукопись Тургеневу на суд (*ИРЛИ*, ф. 166, ед. хр. 1539, л. 68—68 об., и 5850. XXXб. 140, л. 17).

Статья Тургенева о романе «Племянница» была не первым печатным отзывом об этом произведении. Ей предшествовали две анонимные заметки, напечатанные в ноябрьской и декабрьской книжках «Современника». В одной из них говорилось о «Племяннице», первая часть которой «возбудила такой живой интерес», и о том, что в журнале будет подробно рассказано «об этом замечательном литературном явлении» (*Совр*, 1851, № 11, отд. VI, с. 91). Вторая заметка явилась краткой рецензией на роман Е. Тур, причем снова высказывалось намерение редакции «ближе познакомить читателей с „Племянницею“, посвятив в следующей книжке ⟨. . .⟩ особую статью» разбору этого произведения (*Совр*, 1851, № 12, отд. IV, с. 45). Обе эти анонимные заметки напечатаны были, очевидно, не без ведома Тургенева (см.: Громов В. А. К истории статьи Тургенева о романе Евгении Тур «Племянница».— *Т сб*, вып. 3, с. 53—56). В дальнейшем и сам роман и статья о нем Тургенева вызвали ряд откликов в журналах. В некоторых из них содержались полемические замечания в адрес Тургенева. Так, например, рецензент «Отечественных записок», цитируя статью Тургенева (хотя и не называя его), оспаривал мнение писателя о том, что «роман в четырех частях может написать в наше время только женщина» и что при этом «он непременно должен быть наполнен „болтовнею“» (*Отеч Зап*, 1852, № 2, отд. VI, с. 32). Этот критик, не соглашаясь с Тургеневым, стремился доказать, что «четыре части „Племянницы“ совершенно оправдываются общим планом действия и его расположения» (там же, с. 33).

Ап. Григорьев, разбирая в «Москвитянине» первую книжку «Современника» за 1852 г., подробно остановился на статье Тургенева о «Племяннице», считая, что она отличается «явным желанием рецензента сказать правду, как он ее разумеет». Возражения с его стороны вызвали, во-первых, «неясно» изложенное разделение талантов на субъективные и объективные, во-вторых, «деление публики на критиков и читателей», в-третьих, утверждение Тургенева, что «Евгения Тур — русская женщина». Критик-славянофил, считая, что эта писательница — «женщина умная, талантливая», тем не менее писал далее: «... мы имеем об русской женщине такое представление, которое с образом Евгении Тур никак не вяжется». В заключение Ап. Григорьев высказывал мнение, что рецензия Тургенева на «Племянницу» «отличается некоторой бесцеремонностью в тоне, которой можно бы было избежать без вреда истине» (*Москв*, 1852, № 3, февраль, кн. 1, с. 87—88). Однако авторы большинства журнальных рецензий во многом солидаризировались с тем, что уже высказал Тургенев. Даже спустя два года, когда новый роман Е. Тур («Три поры») получил отрицательную оценку «Современника»,

рецензент «Отечественных записок», защищая это произведение, ссылался на статью Тургенева о «Племяннице», приведя большой отрывок из нее (*Отеч Зап*, 1854, № 6, отд. IV, с. 159). Таким образом, эта статья Тургенева была весьма заметным фактом в русской критике начала 1850-х годов.

Когда Тургенев начал подготовлять к печати первый том издания 1880 г.,он включил в него статью о романе Е. Тур. 25 августа (6 сентября) 1879 г. Тургенев писал А. В. Топорову: «Что же касается до статьи о „Племяннице“, хотя я имею ее в рукописи. но цензура из нее столько тогда выкинула, что будет забавно отметить похеренные места кавычками. Это можно будет сделать, только сравнив оба текста. И потому велите и ее списать и выслать». Топоров исполнил просьбу Тургенева. Благодаря этому писатель имел возможность сравнить текст журнальной публикации с имевшейся у него рукописью, ныне неизвестной. В результате в первом томе сочинений издания 1880 г. напечатан был текст, который существенно отличался от первой публикации.

Однако, по-видимому, лишь один отрывок, начиная от слов: «Эти романы у нас...» и кончая словами: «эпическая, а мы говорим о романах», заключенный Тургеневым в кавычки, был изъят из журнального текста по требованию цензора. Тургенев восстановил его по рукописи.

Исправления, внесенные писателем в текст статьи о «Племяннице», большей частью были связаны с изменением его отношения к роману Е. Тур, о котором в 1879 г. писатель склонен был судить гораздо более строго, нежели в начале 1850-х годов. К такому выводу приводит сравнение отдельных мест журнальной публикации и текста, напечатанного в первом томе сочинений издания 1880 г.

В некоторых случаях Тургенев вносил в текст дополнения, что было вызвано разного рода причинами. В частности, на с. 473, говоря о недавнем прошлом отечественной критики (т. е. о деятельности В. Г. Белинского), когда существовало разделение «пишущих людей», Тургенев подчеркивал, что в этой «классификации» было «гораздо более молодости воззрения, более веры в искусство и его деятелей...», чем ныне (в журнальном тексте отсутствовала вторая часть фразы, начиная со слов «более веры...». Введением ее в текст Тургенев уточнил и углубил характеристику взглядов Белинского). Подобного рода уточнения сделаны были писателем и в других местах. Наконец, местами правка, произведенная Тургеневым, носила чисто стилистический характер.

Стр. 473. *Было время ∽ таланта и, наконец, даже гения.*— О соотношении гения, таланта и гениального таланта постоянно писал В. Г. Белинский, в частности в 1846 г. в статьях: «Мысли и заметки о русской литературе» и «О жизни и сочинениях Кольцова» (см.: *Белинский*, т. 9, с. 454, 526, 528, 775).

Стр. 476. *...уже теперь не живая, г-жа Ган ∽ пагубной витиеватости.*—Ган Елена Андреевна, рожденная Фадеева (псевдоним Зенеида Р-ва, 1814—1842),— писательница, в произведениях которой содержался протест против униженного положения женщин в семье и обществе. Белинский называл Е. А. Ган, имея в виду ее повести «Напрасный дар» и «Любонька» (*Отеч*

Зап, 1842), «даровитою писательницею» (*Белинский*, т. 6, с. 537). Однако позднее в большой статье «Сочинения Зенеиды Р-вой» (1843) Белинский отмечал, что «главный и существенный недостаток» ее произведений — «отсутствие иронии и юмора и присутствие какого-то провинциального идеализма à la Марлинский» (*Белинский*, т. 7, с. 670). Точка зрения Тургенева на творчество Е. А. Ган, таким образом, близка к тому, что писал о нем Белинский.

Все помнят впечатление, произведенное «Ошибкой» ∾ мысли этого произведения)... — Повести «Ошибка» и «Долг» были напечатаны в «Современнике» (1849, № 10, отд. I, с. 137—284; 1850, № 11, отд. I, с. 5—60). «Антонина», эпизод из романа «Племянница», появился в учено-литературном альманахе Н. М. Щепкина «Комета» (М., 1851, с. 257—426), где были опубликованы и «сцены из светской жизни» под названием «Первое апреля» (с. 5—85). Повесть «Две сестры» напечатали «Отечественные записки» (1851, № 2, отд. I, с. 16—292). *Ложной* Тургенев считал основную мысль этой повести — отказ старшей сестры (Елены) от любимого ею и любящего ее человека ради младшей сестры (Иды), в свою очередь полюбившей его же.

Стр. 477. *...благородным мужеством души ∾ не впавшей в болезненную грусть.* — Речь идет о героине повести «Ошибка», Ольге, простой и скромной девушке, которая, поняв, что ее жених, принадлежащий к светскому обществу, разлюбил ее, находит в себе достаточно сил для того, чтобы с достоинством отказаться от него и не пасть духом.

Романы «à la Dumas» ∾ не все факты что-нибудь значат. — Еще Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» писал: «Многие берутся за роман Дюма, как за сказку, вперед зная, что это такое, читают его с тем, чтобы развлечь себя на время чтения небывалыми приключениями, а потом и забыть их навсегда» (*Белинский*, т. 10, с. 286). Эта точка зрения на романы французского писателя была близка и Тургеневу. Н. В. Щербань вспоминает, что «всякий роман с несколько сложной интригой — казался ему ⟨Тургеневу⟩ „дюмасовщиной“» (*Рус Вестн*, 1890, № 8, с. 15).

Стр. 478. *Строки, отмеченные кавычками ∾ неблаговоление к Гоголю.* — Сведения о вмешательстве цензуры в текст статьи о «Племяннице» Е. Тур содержатся также в письмах Тургенева к И. С. Аксакову от 31 декабря 1851 г. (12 января 1852 г.) и к К. Н. Леонтьеву от 2(14) февраля 1852 г. Цензор, о котором идет речь,— М. Н. Мусин-Пушкин, который в это время был попечителем Петербургского учебного округа и председателем Петербургского цензурного комитета.

...не следовало бы пропускать в печать ∾ И гороху не нашел! — Не совсем точная цитата из шуточной оперетты-водевиля в одном действии «Комедия с дядюшкой» П. И. Григорьева 1-го (см.: Репертуар и пантеон, 1846, кн. 11, с. 294—323). У Григорьева (явл. IV, с. 303):

По *Гороховой* он шел,
А гороху не нашел!

С т р. 479. *...с легкой руки Ральфа в «Индиане» . . .*— Ральф Браун — один из главных героев романа Жорж Санд «Индиана» (1832).

С т р. 480—481. *Особенно туманна середина этой первой части ⟨...⟩ Ильменева и Плетнеева...*— В. П. Боткин писал Тургеневу 16(28) января 1852 г. (см.: *Боткин и Т*, с. 12—13), что подозревает участие Тургенева в сочинении «Литературного маскарада накануне нового (1852) года (Заметки Нового поэта)», опубликованного в «Современнике» (1852, № 1, отд. VI, с. 153—173). Н. В. Измайлов, комментируя это письмо Боткина к Тургеневу, высказал предположение, что «Тургеневу в „Литературном маскараде“ принадлежат строки о романе Е. В. Салиас» (*Боткин и Т*, с. 286), имея в виду следующий отрывок из «Литературного маскарада...»: «Все заинтересовались участью *Племянницы...* и очень досадовали, что какие-то господа Ильменев и Плетнеев беспрестанно заслоняли ее собой от зрителей, не давали ей действовать и приставали к ней с длинными и вовсе не занимательными разговорами» (*Совр*, 1852, № 1, отд. VI, с. 163).

С т р. 483. *В нем опять выразился общий тип ⟨...⟩ тип Тамарина.*— Тамарин — герой одноименного романа М. В. Авдеева. Повести, его составившие, сначала печатались в «Современнике»; это — «Варенька» (1849, № 9), «Записки Тамарина» (1850, № 1 и 2) и «Иванов» (1851, № 9). В 1852 г. роман Авдеева вышел в свет отдельным изданием (см. о нем в статье Н. Г. Чернышевского «Роман и повести М. Авдеева» — *Совр*, 1854, № 2, отд. IV, с. 39—53; *Чернышевский*, т. 2, с. 210—221).

С т р. 485. *Вспомним, между прочим, Джорджа Седлея и Осборна ⟨...⟩ у Жорж Санда и проч.*— Джорджу Осборну с его эгоизмом, тупостью и тщеславием, готовому изменить горячо любящей его жене Эмилии в первый же месяц после свадьбы, противопоставлен в романе Теккерея «Ярмарка тщеславия» (1847—1848) не Джозеф Седли, ошибочно названный здесь Тургеневым,— он является братом Эмилии,— а беззаветно преданный ей Уильям Доббин. В романе Жорж Санд «Леон Леони» (1835) также изображены антиподы: Леон Леони, легкомысленный красавец, не способный на серьезное и глубокое чувство к героине, и Генрие, самоотверженно любящий ее.

С т р. 486. *Эти страницы ⟨...⟩ останутся в русской литературе.*— У Тургенева в истории Сусанны («Несчастная», 1869) есть черты, которые напоминают историю Антонины Бертини, рассказанную в романе «Племянница» Е. Тур. «Антонина» ⟨эпизод из «Племянницы»⟩ могла оказать «известную помощь Тургеневу в постройке действия „Несчастной“, в разработке характеров действующих лиц» (см.: Б е л е ц к и й А. Тургенев и русские писательницы 30—60-х годов.— В кн.: Творческий путь Тургенева. Сборник статей под ред. Н. Л. Бродского. Пг., 1923, с. 154—156).

...вспомним аббата Прево ⟨...⟩ «Павла и Виргинию».— «Histoire de Manon Lescaut» («История Манон Леско», 1731) — часть романа аббата Прево (д'Экзиль Антуан Франсуа, 1697—1763) «Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde». («Манон Леско» составляет два заключительных тома — 7 и 8 этого романа и имеет самостоятельное значение.) Бернарден де Сен-Пьер Жак Анри (1737—1814) — французский

писатель, роман которого «Поль и Виргиния» (1787) пользовался большой популярностью.

Стр. 489. *...веет «Собранием образцовых сочинений»...* — Тургенев имеет в виду «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в прозе», изданное Обществом любителей отечественной словесности. Ч. 1—6, СПб., 1815—1817 (издание второе— 1822—1824). В «Собрании образцовых русских сочинений...», выдержанном в традициях теории классицизма, были напечатаны произведения Феофана Прокоповича, митрополита Филарета, М. В. Ломоносова, М. М. Хераскова, А. С. Кайсарова, М. Т. Каченовского, Д. В. Фонвизина, А. А. Шишкова и др. Из писателей начала XIX века в это издание были включены лишь Н. М. Карамзин и В. А. Жуковский.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НОВОЙ КОМЕДИИ г. ОСТРОВСКОГО «БЕДНАЯ НЕВЕСТА»

(с. 491)

Печатается по тексту: *Т*, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 282—292.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1852, № 3, отд. III, с. 1—9, с подписью «И. Т.» В оглавлении — «И. С. Т.» (ценз. разр. 29 февраля 1852).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Соч*, *1880*.

Автограф неизвестен.

В издании 1880 г. статья ошибочно датирована 1851 годом. Она, очевидно, была написана Тургеневым в 20-х числах февраля 1852 г., не ранее 19 февраля (ценз. разрешение № 4 «Москвитянина», содержащего комедию Островского «Бедная невеста») и не позже 29 февраля (ценз. разрешение кн. 3 «Современника»). Ознакомиться с пьесой Островского во время своего приезда в Москву в первой половине ноября 1851 г. Тургенев не мог. Первые чтения «Бедной невесты» состоялись в Москве лишь в конце ноября — начале декабря в узком кругу друзей драматурга — членов «молодой редакции» «Москвитянина», а затем в декабре 1851 г. в салоне Е. П. Ростопчиной (Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1897. Т. XI, с. 392—393).

Публикация в «Москвитянине» 1850 г. первой комедии Островского «Свои люди — сочтемся!» произвела большое впечатление на Тургенева. Прежде чем пьеса была напечатана, ее автор и актер П. М. Садовский выступали с чтением комедии в литературных салонах Москвы. Одно из чтений состоялось в доме В. П. Боткина. О пьесе Островского и ее успехе Тургенев, находившийся в Париже, мог узнать прежде ее появления в печати от Герцена. Около 17 марта 1850 г. Герцен получил от Грановского письмо с характеристикой политической ситуации в России и рассказом о комедии Островского, ее содержании и значении. 23 марта 1850 г. Герцен сообщал Г. Гервегу, что читал письма Огарева из России вместе с И. С. Тургеневым (*Герцен*, т. XXIII, с. 323).

Очевидно, и полученное Герценом около этого времени письмо Грановского оказалось в поле зрения Тургенева.

Комедия «Свои люди — сочтемся!» была воспринята литераторами разных направлений как сенсация, начало поприща нового крупного писателя и даже признак того, что «у нас рождается своя театральная литература» (слова Е. П. Ростопчиной. См.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. XI, с. 69). П. А. Плетнев, отмечая в письме к Жуковскому, что «род и характер этой пьесы относится к гоголевским», подчеркивал: «Но тут нет подражания...» (Плетнев П. А. Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. 3, с. 641).

Тургенев тоже воспринял «Свои люди — сочтемся!» как оригинальное произведение гоголевского направления. Впоследствии. в «Литературных и житейских воспоминаниях», говоря о появившихся после смерти Белинского, но близких по своему духу устремлениям великого критика авторах, Тургенев писал: «Как бы порадовался он ⟨Белинский⟩ поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского», а в письме к А. Ф. Писемскому от 9 (21 ноября) 1869 пояснял, что, говоря о силе Островского, он относил это определение к нему как «творцу „Своих людей“ и др.».

В начале 1850-х годов творчество Островского становилось предметом оживленных споров. После первых лет «затишья», наступившего в литературе в 1848 году, поиски путей дальнейшего развития реалистического искусства в начале 50-х годов приняли хотя и заглушенный цензурным террором, но явный характер. Борьба между сторонниками и противниками гоголевского направления, «натуральной школы», самое название которой подверглось запрету, возобновилась, становясь основным содержанием литературных споров. Кружок молодой редакции «Москвитянина» выдвигал Островского в качестве главы нового направления, долженствующего сменить гоголевское. 5 марта 1852 г. Боткин сообщал Тургеневу: «...слышно, что Григорьев „утратил последнюю каплю рассудка, оставшуюся у него“,— восторгаясь чтением сего произведения ⟨„Бедной невесты“⟩, в котором усматривает — целые миры» (*Боткин и Тургенев*, с. 26). В четвертой статье своего обзора «Русская литература в 1851 году» (*Москв*, 1852, № 4) Ап. Григорьев писал: «От кого именно ждем мы этого нового слова, мы имеем право сказать уже прямо в настоящую минуту: „Бедная невеста“ предстоит суду публики, и смешно было бы нам... отрицаться от того, что в этом новом произведении автора комедии „Свои люди — сочтемся“ мы видим новые надежды для искусства» (Ап. Григорьев. Полное собр. соч. под редакцией Вас. Спиридонова. Пг.. 1918. Т. 1, с. 140).

Оценка Тургеневым «Бедной невесты» во многом определялась стремлением противопоставить свое отношение к этому произведению неумеренным восторгам Ап. Григорьева. В начале статьи Тургенев прямо мотивирует обращение к творчеству Островского необходимостью выразить свое отношение к «писателю. так высоко поставленному сочинителями московских критик».

Тургенев давал понять, что Островский переживает творческий кризис, что его вторая большая пьеса, «Бедная невеста». слабее первой, «Свои люди — сочтемся!», и что не дифирамбы. а деловая критика может оказать положительное воздействие на становление его дарования. Полемически прозвучали в статье Тургенева утверждение, что высшие достижения творчества

Островского непосредственно связаны с влиянием Гоголя, и намек на то, что комедия Островского не свободна от прямого подражания Гоголю. В статье Тургенева выражена мысль о том, что отход от гоголевских традиций приводит Островского не к открытию нового принципа, «нового слова», составляющего эпоху в искусстве, а к снижению художественных достоинств и общественного значения его произведений. Полемична была последняя фраза статьи, в которой Тургенев утверждал, что творчество Островского не внушает больших надежд. Эту фразу, как бы отвечающую на торжественные пророчества «Москвитянина», Тургенев снял при подготовке статьи для Собрания сочинений 1880 года, отметив в подстрочном примечании: «...А. Н. Островский посрамил мои опасения и более нежели оправдал мои надежды». Критикуя «Бедную невесту» Островского и отказываясь видеть в его творчестве «новое слово», дающее основание противопоставить его всей предшествовавшей и современной литературе, Тургенев относился к Островскому как к соратнику по борьбе за реалистическую драматургию. Его беспокоило, как воспримет Островский последнюю фразу статьи, и Боткин своеобразно успокаивал его: «Твое письмо касательно окончания — я просил довести до сведения Островского; что до меня, я рад такому неожиданному концу — он исправляет отчасти сладковатый тон статьи». «На статейке лежит тон какого-то сдерживаемого поклонения»,— упрекал он своего корреспондента и убеждал его: «...если б ты взял другой тон,— она вышла бы несравненно лучше» (*Боткин и Тургенев*, с. 28—29). Боткин считал главной задачей в критике Островского посрамление его апологета — Ап. Григорьева, и на этом пути он не останавливался перед тем, чтобы в крайне резких тонах отозваться о комедии, которую сам он расценивал как «произведение, достойное уважения» (там же, с. 25). Тургенев же, с самого начала своей критической деятельности выступивший как соратник Белинского в борьбе за реализм литературы, в данном случае стремился прежде всего дать полезные советы талантливому драматургу и сделать это в такой форме, чтобы Островский захотел и смог ими воспользоваться. Не случайно Островский учел ряд замечаний Тургенева в 1858 году при подготовке первого собрания своих сочинений. Он значительно сократил текст комедии, выбросил ряд повторявшихся в репликах действующих лиц фраз, уничтожил некоторые длинноты в действии I (явл. 13) и в действии V (явл. 9 и 11), заменил разговор двух свах «голосом из толпы», как бы учитывая замечание Тургенева о сходстве этих свах со свахой из «Женитьбы» Гоголя, снял резонерское признание Марьи Андреевны в 5 явлении V действия.

Многие высказанные Тургеневым частные замечания были поддержаны критиком «Отечественных записок» (1852, № 4, отдел VI, с. 125 и 129, автор — А. Д. Галахов; см.: Егоров Б. Ф. Ошибочно приписанные С. С. Дудышкину статьи.— Уч. зап. Тартуского университета. 1962, вып. 119, с. 230) и А. В. Дружининым в «Библиотеке для чтения» (1852, № 4, Смесь, с. 206, 209—210). Однако ни критик «Отечественных записок», ни Дружинин не поддержали важного положения статьи Тургенева о том, что сильные стороны пьесы Островского «Бедная невеста» связаны с гоголевским влиянием, что Островский является писателем гоголевского направления и может

оправдать надежды, которые возлагаются на его талант, только двигаясь по этому пути. Статья была заказана Галахову А. А. Краевским с явным намерением противопоставить ее отзыву Тургенева о «Бедной невесте». Торопя Галахова, Краевский писал ему 13 марта 1852 г.: «Бога ради, шлите скорее разбор „Бедной невесты". Разбором Тургенева я совсем недоволен; спорил с ним до слез и с некоторых пунктов сбил его. Он отзывается тем, что его просили написать в „Соврем⟨енник⟩", что все будут знать имя автора статьи, пишущего также в драматическом роде; след⟨овательно⟩, ему должно быть деликатным. Но это не оправдание. По-моему, вся пьеса — ряд сцен, из которых иные очень хороши, напр⟨имер⟩, первое признание в любви простой, полуобразованной девушки мещанского круга (тут есть что-то свежее, первобытное); в целом пьеса нуль; характеров нет, идеи тоже. „Своим людям" она совсем чужая, чуть ли не справедливы слухи о непринадлежности „Своих людей" Островскому. Ваш Григорьев (он решительно timbré ⟨тронутый⟩) уже воспел оду новой комедии, другие, вероятно, подтянут... Шлите же скорее» (*ИРЛИ*, ф. 119, № 62; сообщено Е. В. Свиясовым).

Таким образом Краевский сам засвидетельствовал, что был в числе лиц, пытавшихся воздействовать на Тургенева, заставить его резко выступить против Островского. Резкость тона, которой требовал редактор «Отечественных записок», неуважительное отношение к таланту автора «Бедной невесты» дали себя знать в статье Галахова.

Если Тургенев призывал автора «Бедной невесты» усовершенствовать свое мастерство и развивать творческие принципы, воплотившиеся в комедии «Свои люди — сочтемся!», то Дружинин советовал молодому драматургу порвать с традицией сатирической общественной драматургии и отразить в своем творчестве положительные начала современной жизни. Таким образом, Дружинин сближался с А. Григорьевым в тенденции противопоставлять Островского натуральной школе. Этим объясняется скрытый выпад против Тургенева, который содержался в XXIX письме Иногороднего подписчика. Заявляя здесь, что «в Петербурге о нем ⟨об Островском⟩ отозвались тем же тоном, как отозвались недавно о г-же Тур, авторе романа „Племянница"»[1], Дружинин явно намекал на Тургенева, который незадолго до того, в январском номере «Современника» за 1852 г., опубликовал рецензию на этот роман. Рецензия Тургенева, объективно определявшая скромные размеры дарования писательницы, творчество которой весьма высоко оценивалось рядом критиков, была воспринята и самой Евг. Тур (Е. В. Салиас де Турнемир) и некоторыми близкими к ней литераторами (П. Н. Кудрявцевым, М. Н. Катковым и др.) как резкая и высокомерная.

А. Григорьев одобрил это место XXIX письма Иногороднего подписчика и процитировал его в статье «Русская изящная литература в 1852 году». В этой статье он выразил согласие с одним из важных положений критического отзыва Тургенева о «Бедной невесте» — с утверждением, что героиня пьесы Островского — Марья Андреевна недостаточно определена как характер,

---

[1] Дружинин А. В. Собр. соч. СПб., 1865. Т. 6, с. 636.

что она «скорее положение, чем лицо» (Григорьев Ап. Полн. собр. соч. Пгр., 1918. Т. 1, с. 162). Вместе с тем, критик «Москвитянина» наносил «ответный удар» Тургеневу, отрицательно отозвавшись в своем обзоре о ряде его произведений и противопоставив Островского как выразителя здорового мироощущения, ясного и правильного отношения к действительности Тургеневу, представляющему, как утверждает А. Григорьев, «болезненное» обличительное направление литературы и искажающему действительность в угоду предвзятой мысли.

Статья «И. Т.» неоднократно упоминалась в полемике, развернувшейся вокруг «Бедной невесты» и значения творчества Островского в 1852 году (см.: Муратова К. Д. Библиография литературы об А. Н. Островском. 1847—1917. Л., 1974, с. 7—8).

Стр. 491. *...о первой, известной комедии г. Островского не было сказано ни слова.*— Комедия Островского «Свои люди — сочтемся!» (*Москв*, 1850, № 6) была рассмотрена «комитетом 2 апреля 1848 г.», осуществлявшим негласный надзор за книгопечатанием. Николай I после ознакомления с докладом комитета 31 марта 1850 г. написал: «Совершенно справедливо, напрасно печатано, играть же запретить...» (см.: Лакшин В. Александр Николаевич Островский. М.: Искусство, 1976, с. 120—122). Вскоре за автором был установлен негласный полицейский надзор (см.: Охременко-Назарова В. Новое о великом русском драматурге.— Огонек, 1950, № 37, с. 28). Поэтому критическое рассмотрение пьесы в журнале было невозможно.

Стр. 492. *...образ, взятый художником из недр действительности, выходит из рук его типом ∽ нарицательным именем.*— Взгляд Тургенева на природу типических образов и их значение в литературе во многом совпадает с воззрениями Белинского по этому вопросу (см.: *Белинский*, т. V, с. 319).

Стр. 493. *«Как я рада! ∽ Владимир!»* — Цитата из действия III, явл. 5.

Стр. 495. *Деннер* Бальтазар (1685—1749) — немецкий художник, портретный живописец. Отличался мелочной отделкой каждой детали. Несколько портретов стариков и старух работы Деннера находились в Эрмитаже, в Петербурге.

...некоторым нашим критикам, которые считают долгом начать каждую свою статью ab ovo ∽ чтобы не сбиться с дороги.— Тургенев намекает здесь на Ап. Григорьева, который начинал обычно статьи обширным изложением теоретических основ своей критики. После рассуждений общего характера, содержавшихся в первой и второй статьях обзора «Русская литература в 1851 году», Ап. Григорьев начинал третью статью этого цикла словами: «В прошедшей статье мы определили *ближайшую* исходную историческую точку современного состояния словесности — ближайшую, говорим мы, ибо, чтобы определить первоначальную, надобно было бы вести речь от яиц Леды». Слова «от яиц Леды» полностью совпадают с выражением «ab ovo», употребленным Тургеневым.

Стр. 496. *«Да ты выслушай ∽ материя».*— Цитата из действия III, явл. 5. В собрании сочинений А. Н. Островского 1859 г. реплика Марьи Андреевны была изменена.

Весь третий акт...— У Тургенева ошибочно вместо «третий» — «второй» и далее вместо «Четвертый акт» — «Третий акт».

Лампа Демосфена.— Объяснение см.: наст. том, с. 652. Тургенев правильно отметил, что в пьесе «Бедная невеста» отразилась некоторая связанность молодого автора, не уверенного в себе и работавшего с усилием. Островский сам впоследствии сознавался, что «Бедная невеста» стоила ему огромного труда и что осуществление этого большого и сложного замысла казалось ему подчас непосильной задачей (см. Островский А. Н. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. XV, с. 127).

Стр. 497. «*Страстность души* ∾ *употребление*».— Цитата из действия V, явл. 5. Эти слова Марьи Андреевны были исключены Островским из текста в издании его сочинений 1859 г.

Это — уловка Скриба, особенно в его либреттах...— Огюстен Эжен Скриб был составителем либретто многих опер Галеви, Доницетти, Обера и особенно Мейербера, постоянным либреттистом которого он являлся. В корреспонденции об опере Мейербера «Пророк» Тургенев подверг резкой критике либретто Скриба (наст. том, с. 456—457). 13 (25) декабря 1847 г. Тургенев писал П. Виардо с горькой иронией, что современные зрители, мечтающие об общественной комедии, «обречены Скрибу навеки».

...«*волнистая линия красоты*», *о которой говорил Гогарт.*— Согласно эстетической теории известного английского художника Вильяма Хогарта (1697—1764), волнистая линия «в большей мере создает красоту, чем любая» (Хогарт В. Анализ красоты. Л.; М.: Искусство, 1958, с. 163). Вместе с тем, среди волнообразных декоративных линий, по мнению Хогарта, «лишь одна точная линия» соответствует эстетическому идеалу. Ее он назвал «линией красоты» (там же, с. 171). Теория Хогарта неоднократно рассматривалась в русских и западных эстетиках (см.: там же, с. 87—116, статья М. П. Алексеева «Вильям Хогарт и его „Анализ красоты“»). В лекциях по эстетике Гегеля, которые несомненно были известны Тургеневу, дано краткое изложение теории линий Хогарта (Hegel. Werke. B. 10, T. 1, Vorlesungen über die Aesthetik. Berlin, 1835, S. 180).

«*Он ушел* ∾ *любит ли он меня!*» — Цитата из действия II, явл. 8.

Стр. 499. ...*неудачные этюды...*— «Утро молодого человека» (*Москв*, 1850, № 22) и «Неожиданный случай» («Комета», М., 1851). Сцены эти, появившиеся после комедии «Свои люди — сочтемся!», разочаровали почитателей таланта Островского и вызвали отрицательные или весьма сдержанные отзывы критики, а также пародии (см.: *Совр*, 1851, № 5, отдел III, с. 15, 17—18; № 6, отдел VI, с. 142—153; № 7, Совр. заметки, с. 35—37; № 10, Совр. заметки, с. 5—7; *Отеч Зап*, 1851, № 5, отдел V, с. 5—8).

⟨О «ЗАПИСКАХ РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА» С. Т. АКСАКОВА⟩

(с. 500)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1852, № 4, отд. VI, с. 325—331, без подписи (ценз. разр. 6 апреля 1852 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. XII, с. 143—150.

Автограф неизвестен.

Авторство устанавливается на основании письма Тургенева к И. С. Аксакову от 9 (21) апреля 1852 г., в котором он сообщал: «Сегодня появился № „Современника“ с небольшой моей статейкой о книге С⟨ергея⟩ Т⟨имофеевича⟩ ⟨. . .⟩ и с большими выписками из нее. В „Критику“ это не успело уже попасть и помещено в „Литературных новостях“».

Датируется концом марта 1852 г. на основании письма Тургенева к И. С. Аксакову от 20 марта (1 апреля), в котором содержалась просьба о скорейшей отправке к нему «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова с тем, чтобы «рецензия могла поспеть в апрельскую книжку» «Современника», а также с учетом даты цензурного разрешения этой книжки журнала.

Тургенев одним из первых оценил по достоинству «Записки ружейного охотника». Из писем С. Т. Аксакова к сыну Ивану от начала января 1851 г. известно, что Тургенев неоднократно присутствовал на чтении отрывков из этой книги. Так, 2 (14) января 1851 г. С. Т. Аксаков писал: «Когда появились „Записки охотника“ Тургенева, я подумал, как бы мне приятно было прочесть ему мои Записки! Мое несбыточное желание исполнилось: ему прочли несколько отрывков, и они были вполне оценены им. Ему захотелось еще послушать, и завтра вечером Константин прочтет ему еще несколько отрывков. Первым слушаньем я был очень доволен» (*Рус Мысль*, 1915, № 8, с. 126). 31 декабря 1851 г. (12 января 1852 г.) Тургенев писал И. С. Аксакову: «Сергею Тимофеевичу скажите, чтобы он непременно печатал свою книгу — а уж рецензию на нее напишу я — этого удовольствия я никому другому не уступлю — для такого праздника я свой литературный пост нарушу с радостью!» А 2 (14) февраля 1852 г., т. е. более чем за месяц до выхода в свет «Записок ружейного охотника», Тургенев в письме к автору замечал: «...Ваши „Записки“ будут дороги не для одних охотников; всякому человеку, не лишенному поэтического чутья — они доставят истинное наслажденье; и потому я готов отвечать за успех их — и литературный, и материальный. А для меня — повторяю — написать им разбор — будет просто праздник».

Предвидения Тургенева оказались справедливыми: «Записки ружейного охотника» действительно имели большой успех, о чем свидетельствуют отзывы критики. Это «книга ⟨. . .⟩ интересная для всех»,— отмечалось в *Отеч Зап* (1852, № 5, Библиографическая хроника, с. 26). Ее «охотник прочтет от первой страницы до последней с пользою и наслаждением, не охотник прочтет с увлечением, как роман»,— писал другой рецензент (Труды имп. Вольного экономического общества, 1852, т. 2, № 5, Библиография, с. 52). В «Московских ведомостях» ему вторил В. Журавлев, утверждая, что «по этой части лучше и занимательнее ничего не читывал...» (1852, № 99, 16 августа, с. 1028).

Заметка Тургенева о «Записках ружейного охотника», в которой приведен ряд выдержек из книги С. Т. Аксакова, явилась как бы наброском будущей большой статьи (наст. том, с. 500).

Это подтверждается тем, что приведенные в данной заметке отрывки из «Записок ружейного охотника» «служат иллюстрацией к положениям второй статьи» Тургенева о той же книге (В о й т о л о в с к а я Э. Л. И. С. Тургенев о С. Т. Аксакове.— Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, каф. рус. лит-ры. Л., 1958, Т. 170, с. 122).

С т р. 500. *...мы уже обязаны* ∽ *об уженье.*—«Записки об уженье рыбы» С. Т. Аксакова, вышедшие в Москве в начале 1847 г. Книга вызвала ряд положительных отзывов в печати (см.: *Совр*, 1847, № 6, отд. III, с. 113—114; Финский вестник, 1847, № 6, отд. V, с. 1—4). Уже в 1854 г. вышло второе ее издание.

Мы предоставим себе удовольствие ∽ *об этом сочинении...*— Тургенев писал И. С. Аксакову 9 (21) апреля 1852 г., восхищаясь книгой его отца, что «в *июньской* книге „Совр⟨еменника⟩“ будет о ней пространная статья...». Однако свое обещание Тургенев выполнил значительно позже, напечатав статью лишь в № 1 «Современника» за 1853 год (отд. III, с. 33—44; см.: наст. том, с. 509).

...не смешивать ее ∽ *появившимися в последнее время.*— Это мнение Тургенева поддержал В. Журавлев, который писал, что до выхода в свет книги С. Т. Аксакова «...в нашей литературе появлялись только какие-то жалкие, несвязные и безграмотные компиляции под названием егерских книг» (*Моск Вед*, 1852, № 99, 16 августа, с. 1028). Вероятно, и Тургенев, и Журавлев противопоставляли «Запискам ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова издания, подобные, например, книге Патфайндера «Егерские записки, или Начертание, как находить дичь, в каких местах, в какое время года и различные способы стрелять птиц и зверей...» (2 части, М., 1851), вызвавшей ряд отрицательных рецензий в журналах.

С т р. 501. «*Иногда река на большое пространство* ∽ *косые тени свои на поверхность реки*».— Тургенев приводит отрывок из книги С. Т. Аксакова (разряд II, глава «Воды», с. 152—153).

С т р. 501—502. «*Иногда на таких горных родниках* ∽ *чистою и холодною*».— Отрывок из той же главы, с. 147—149. Цитируя, Тургенев выпустил две фразы на с. 148 (после слов: «дополняет ее»): «Но какие же паровые машины втягивают водяные жилы на горные высоты, тогда как вода, по свойству своему, занимает самое низкое место на земной поверхности? Удовлетворительно не объясняет этого явления и современная наука».

С т р. 503. «*На ветвях дерев* ∽ *прошлогодними листьями*».— См.: разряд IV, глава «Лес», с. 334—335.

С т р. 503—504. «*Сначала опаленные степи и поля* ∽ *в Оренбургской губернии в продолжение мая...*» — См.: разряд III, глава «Степь», с. 235—236.

С т р. 504. «*Осенью ковылистые степи* ∽ *полакомиться свежею травкою*».— См.: разряд III, глава «Степь», с. 237—238.

С т р. 505—506. «*Наконец подросли, выровнялись, поднялись гусята* ∽ *пруда, на котором проводит день...*» — См.: разряд II, глава «Гусь», с. 168—170.

С т р. 506—507. «*В исходе марта начнет сильно пригревать солнышко* ∽ *против косачей*».— См.: разряд IV, глава «Тетерев», с. 353—355.

С т р. 506. ...*«вдали тетеревов глухое токованье»*...— Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Евгению. Жизнь Званская» (у Державина — «тетеревей»).

С т р. 507—508. *«Серая куропатка, по моему мнению ∽ беганья по грязи и снегу...»* — См.: разряд III, глава «Куропатка полевая, или серая», с. 283—284. При цитировании этого отрывка Тургенев выпустил две фразы на с. 283 (после слов: «во всех своих движениях!»): «Как жирна и вкусна бывает осенью и зимою! Даже летом исхудалая матка от яиц или детей не совсем теряет сочность, мягкость и приятность вкуса».

«ЗАПИСКИ РУЖЕЙНОГО ОХОТНИКА ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ». С. А—ВА

(с. 509)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Автограф двух отрывков текста статьи, исключенных цензурой и приведенных Тургеневым в письме к С. Т. Аксакову от 5, 9 (17, 21) февраля 1853 г.— *ИРЛИ*, ф. 3, оп. 13, № 70, л. 10—10 об.

Совр, 1853, № 1, отд. III — Критика, с. 33—34, с пропусками цензурного происхождения.

Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 293—307.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1853, № 1, с подписью: И. Т.— и датой «Октябрь — ноябрь 1852» (ценз. разр. 31 декабря 1852 г.).

Печатается по тексту: *Т*, *Соч*, *1880*.

Датируется октябрем — первой половиной декабря 1852 г. на основании переписки Тургенева. 17 (29) октября 1852 г. он писал С. Т. Аксакову, что рецензию на его книгу «только что кончил» и отправляет «с нынешней почтой в Петербург». Однако рецензия не была послана, что явствует из письма Некрасова к Тургеневу от 21 октября ст. ст. 1852 г., в котором тот требовал: «Присылай свою статью о книге Аксакова» (*Некрасов*, т. X, с. 179). Оправдываясь перед Некрасовым, Тургенев в письме к нему от 18 и 23 ноября (30 ноября и 5 декабря) 1852 г. ссылался на отсутствие в Спасском-Лутовинове переписчика и обещал, что рецензия будет в редакции «Современника» непременно «к 15-му декабрю».

Однако продолжительное время Тургенев не осуществлял своего намерения. Лишь 16 (28) декабря 1852 г. он писал Некрасову: «Посылаю тебе 〈. . .〉 давно обещанную мною статью о книге Аксакова. Кажется, самая придирчивая цензура в ней не может найти ничего непозволительного — и если что-нибудь в ней будет вычеркивать, то значит — дело не в статье, а в имени. Прошу не выставлять под ней ничего, кроме букв И. Т.».

Можно думать, что задержка с отправлением в редакцию «Современника» рецензии была вызвана тем, что Тургенев писал ее с оглядкой на цензуру. А начав переписывать ее в первой половине декабря 1852 г., писатель, естественно, творчески перерабатывал то, что было написано им ранее, т. е. в октябре того же года.

Занятый подготовкой к печати первой книжки «Современни-

ка», Некрасов лишь 20 января ст. ст. 1853 г. отвечал Тургеневу: «Прежде всего спасибо тебе за твою статью, которую я нашел легкою и живою, насколько подобает статейке такого рода, а другие находят даже прекрасною во всех отношениях, выражаясь так, что-де за что Тургенев ни возьмется, непременно выйдет отличная вещь,— и это многие» (*Некрасов*, т. X, с. 187). Сам же Тургенев отзывался об этом своем труде в письме к П. В. Анненкову от 10 (22) января 1853 г. следующим образом: «Кроме двух-трех мыслей о природе и манерах ее описывать, в этой статье для Вас, кажется, не будет ничего занимательного».

Книгу С. Т. Аксакова Тургенев ценил за правдивый показ русской природы. В этом отношении позднее (в 1854 г.) с ним оказался солидарным Н. Г. Чернышевский, который в статье «Журналистика» писал: «Что за мастерство описаний, что за любовь к описываемому и какое знание жизни птиц! Г-н Аксаков обессмертил их своими рассказами!» (*Чернышевский*, т. 14, дополнительный, с. 25).

Но по своему содержанию, по кругу вопросов, затронутых Тургеневым, его статья выходила далеко за рамки оценки книги С. Т. Аксакова, что было замечено еще современниками писателя. В частности, об этом писали Тургеневу С. Т. и К. С. Аксаковы. Первый из них, по его словам, прочел рецензию Тургенева на «Записки ружейного охотника» «с истинным наслаждением». Тем не менее в конце января 1853 г. С. Т. Аксаков упрекал своего рецензента: «Ваше письмо к издателю „Современника“ — не критика на мою книгу, а прекрасная статья по поводу моей книги. Впрочем, я очень понимаю, что, удержав характер критики, статья Ваша вышла бы, может быть, не так интересна и несколько суха». В заключение С. Т. Аксаков писал: «...я ожидал менее похвал, но зато ожидал беспристрастного суда и справедливых осуждений; я надеялся более серьезного тона, особенно в отношении к языку и слогу» (*Рус Обозр*, 1894, № 9, с. 11). С С. Т. Аксаковым был солидарен и К. С. Аксаков. 30 января ст. ст. 1853 г. он писал Тургеневу: «Много хорошего в Вашей статье ⟨. . .⟩, но собственно о книге можно было бы сказать больше — не в смысле похвалы, а в смысле определительной оценки...» (там же, с. 17). Отвечая С. Т. Аксакову 5 и 9 (17 и 21) февраля 1853 г., Тургенев писал: «Я очень понимаю, почему Вы не совсем довольны моей статьей — я увлекся несколько в сторону от Вашей книги — но я не предвидел, что цензура так немилосердно поступит со мной. Не упоминаю уже о множестве отдельных мест, ослабленных и выкинутых ею: посылаю Вам целые полторы страницы, вычеркнутые — после слов: „рассуждениями по их поводу“ — на стр. 39 ⟨. . .⟩ Что г-н цензор подозревал в этом отрывке — пантеизм, что ли, или вообще мое имя на него подействовало — не знаю».

В печати статья Тургенева была встречена положительными отзывами. Так, например, рецензент «Москвитянина», считая, что эта статья «очень занимательна», приводил большой отрывок из нее и в заключение писал: «Всё это прекрасно! Но как всё это попало в рецензию на книгу об охоте? В странное время мы живем! Развертываешь статью об охоте — и находишь прекрасные эстетические положения; заглянешь в статью о поэзии — там вам ничего и не напомнит об эстетике» (*Москв*, 1853, № 4, февраль, кн. 2, отд. V, с. 227 и 229).

С т р. 509. *В течение нынешнего лета вы не однажды напоминали мне, любезный Н⟨иколай⟩ А⟨лексеевич⟩...*— Письма Некрасова к Тургеневу за июнь — август 1852 г. в печати неизвестны.

...говоря словами русской песни, кутит, мутит, в глаза несет...— См., например, следующую запись народной песни:

На улице то дождь, то снег,
То дождь, то снег, то вьялица,
То вьялица-метелица;
Кутит-мутит, в глаза несет.

(Соболевский А. И.
Великорусские народные песни.
СПб., 1896. Т. II, с. 530, № 624).

...«волшебницы»-зимы...— Имеется в виду заключительный стих строфы XXIX, седьмой главы «Евгения Онегина»: «Идет волшебница зима».

...осень ⟨...⟩ с ее «пышным увяданьем»...— См. стихотворение Пушкина «Осень» (1833), строфу VII: «Люблю я пышное природы увяданье».

С т р. 510. *Небольшие неверности, недомолвки ⟨...⟩ статье, подписанной буквами В. В.*— Речь идет о рецензии Н. Н. Воронцова-Вельяминова, напечатанной в «Москвитянине» (1852, № 8, апрель, кн. 2, отд. V, с. 106—120) за подписью «В. В.»

...рассказов о подмосковной охоте...— Воронцову-Вельяминову принадлежит ряд очерков об охоте, печатавшихся в «Москвитянине» 1852—1853 гг., в частности: «Подмосковная охота. Жуковские канавы» (*Москв*, 1852, № 3, февраль, кн. 1, отд. VIII, с. 56—64); «Подмосковная охота. Мытищи» (там же, 1852, № 1, январь, кн. 1, отд. VIII, с. 1—11), «Подмосковная охота. Кузнец Мишка» (там же, 1852, № 6, март, кн. 2, отд. VIII, с. 43—54).

...исправить особым объявлением, напечатанным в «Московских ведомостях».— Отвечая на рецензию, посвященную разбору «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» и помещенную в *Моск Вед*, № 99 от 16 августа 1852 г., с. 1028—1029, С. Т. Аксаков писал: «Благодаря почтеннейшего г. Журавлева вообще за лестные отзывы и в особенности за совершенно справедливое замечание насчет меры заряда, я спешу сознаться, что это не опечатка и не описка, а непростительный недосмотр, недомолвка с моей стороны. Должно было сказать на стр. 18-й моих „Записок“, что показанный мною заряд пригоден только для ружей малопультных...» (там же, 1852, № 108, 6 сентября, с. 1120).

«Записки оренбургского охотника» не книга вроде «Chasseur au chien d'arrêt» Эльзеара Блаза ⟨...⟩ для французской охоты.— *Блаз* Э. (Blaze Elzéar, 1786—1848). Аналогичный отзыв Тургенева о книге Э. Блаза, впервые вышедшей в 1836 г., см.: письмо к С. Т. Аксакову от 17 (29) октября 1852 г.

...не могут служить полным руководством для начинающего охотника ⟨...⟩ на каждой почти странице...— Ср. с письмом к С. Т. Аксакову от 17 (29) октября 1852 г.

«Я думал сначала ⟨...⟩ в настоящем, современном положении».— Цитата из вступления к книге, с. 9.

Стр. 511. *Английские ружья Мантона ∽ даже Лепажей...* — *Ментон* Ж. (Joseph Manton) — один из известных и старейших ружейников Англии. *Мортимер* (Mortimer) — английский ружейник; его ружья во множестве ввозились в Россию в 1830—1840-х годах. *Пордей* Д. (Purday) — английский ружейник. *Моргенрот* (Morgenrot) — немецкий ружейник; *Штарбус* (Starbus) — шведский ружейник (см.: Романов С. И. Охотничий словарь. М., 1876. Вып. 1, с. 191—192, 202—203 и М., 1877, Вып. 2, с. 382—383).

...но если не наши тульские ∽ стоят, конечно, выше их.— В 50-х годах XIX в. лучшими тульскими ружейниками считались Петр Гольтяков и его сын Иван (см.: Природа и охота, 1881, т. I, февраль, с. 3). Беккер и Рушер в Варшаве — «известные ружейники, изделия которых впервые появились на 1-й Мануфактурной выставке в Москве в 1835 г. На второй же выставке в 1843 г. они обратили на себя всеобщее внимание охотников и были раскуплены нарасхват» (Романов С. И. Охотничий словарь. М., 1876. Вып. 1, с. 20).

...должно ли почитать ∽ (à la Robert или Lefaucheux)... — *Лефоше* — известный французский ружейник, изобретатель оружия, заряжающегося с казенной части.

...книги «Hygiène des chasseurs»...— Точное название этой книги: Guide et Hygiène des chasseurs par M. le comte de Langel avec des additions de mm. Delbarre et J. de Fontenelle. Paris, s. a.

Что же касается до пистонов ∽ он отдает им полную справедливость...— Тургенев имеет в виду следующее место из книги С. Т. Аксакова: «Должно предполагать, что из ружей с пистонами можно бить гоголей успешнее: ибо нет искр от огнива, нет вспышки пороха и выстрел пистонных ружей гораздо быстрее. Проверить это предположение на опыте мне не удалось; впоследствии я слышал, что мое мнение совершенно оправдалось на деле» (разряд II, глава «Гоголь», с. 223).

Стр. 512. *...о французских граненых, с буквою G (Gevelot).*— Речь идет о французской фабрике Жевело.

Это чрезвычайно удобно ∽ как Паскалева тачка.— Джироламо Бенцони в своей «Истории Нового мира» (Венеция, 1565) подробно рассказывает анекдот о Колумбе, который посрамил испанцев, показав за ужином у кардинала Мендосы, как можно поставить яйцо на его острый конец. На этот сюжет имеется гравюра Хогарта (см.: Алексеев М. П. Вильям Хогарт и его «Анализ красоты».— В кн.: Хогарт В. Анализ красоты. Л.; М., 1958, с. 46). О том, что Паскаль изобрел тачку, см. в письме Тургенева к Некрасову от 16 (28) декабря 1852 г.

...г. А—в не одобрял парфорсов ∽ господствовала в то время.— В главе «Легавая собака» (с. 26) С. Т. Аксаков пишет: «Тонкость обоняния, чутье — врожденное, наследственное качество легавых собак. Никакой дрессировкой ⟨. . .⟩ нельзя дать его ⟨. . .⟩ Обучение легавых собак или дрессирование посредством *парфорса*, то есть ошейника с острыми спицами, совсем не нужно, если не требовать от собаки разных штук, вовсе до охоты не касающихся, и если иметь терпение самому заняться ее ученьем».

Стр. 514. *Не говоря уже о библейском Немвроде...*— Речь идет о Нимвроде — легендарном основателе Вавилона, строителе Ниневии. В связи с тем, что в библейской «Книге бытия»

сказано, что он был «сильный зверолов перед Господом», в западноевропейских языках и литературах имя Нимврода стало синонимом отважного, неутомимого, ловкого охотника (см.: Алексеев М. П. Заглавие «Записки охотника».— *Т сб*, вып. 5, с. 213—214).

Подле него ∽ *из несокрушимого железа.*— Отрывок из 11-й песни «Одиссеи» Гомера, по-видимому, в собственном переводе Тургенева.

Стр. 515. *Мономах в завещании* ∽ *битв с турами и медведями...*— Тургенев имеет в виду «Поучение Владимира Мономаха» (см.: Полное собрание русских летописей. Лаврентьевская и Троицкая летописи. СПб., 1846. Т. 1, с. 104).

...Алексей Михайлович ∽ *Сокольничия пути...*— В сноске Тургенев указывает сокращенное название издания, в котором был опубликован впервые «Урядник» Алексея Михайловича. Имеется в виду книга: «Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российские касающихся» Н. Новикова. 2-е изд. М., 1788. Ч. III, с. 430—432.

...менее известны его письма ∽ *свои «выезды».*— Речь идет о «Письмах царя Алексея Михайловича к стольнику Матюшкину», опубликованных в издании: «Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи археографическою экспедициею имп. Академии наук». 1645—1700. СПб., 1836. Т. IV, с. 139—141.

...с этим же ружьем пойдет он караулить медведя на «овсах»...— Впоследствии сам Тургенев собирался написать для «Охотничьего сборника», задуманного С. Т. Аксаковым, «рассказ о стрельбе мужиками медведей на овсах в Полесье», о чем сообщал ему 23, 24 апреля (5, 6 мая) 1853 г. Значительно позже он обработал этот сюжет и в качестве одного из второстепенных эпизодов ввел в свою повесть «Поездка в Полесье» (1857).

Стр. 516. *...«и весь невредимый хохочет утес»...*— Цитата из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Утес» (1835).

Главным образцом поэзии ∽ *автора вместо природы...*— В сборнике «Les Orientales» (1829) В. Гюго создал живописные картины Востока. Художественный стиль Гюго был совершенно чужд Тургеневу, воспринимался им уже в 40-х годах как архаизм.

Стр. 516—517. Весь отрывок, начиная от слов: «*Между тем такого рода воззрение...*» и кончая словами: «*Она беспрестанно строит и беспрестанно разрушает!..*», был выпущен при первой публикации по требованию цензуры.

Стр. 517. «*Природа проводит бездны* ∽ *и беспрестанно разрушает...*» — Цитаты из фрагмента Гёте «Природа» («Die Natur», 1782 или 1783 — см.: Goethe's nachgelassene Werke. Stuttgart und Tübingen, 1833. Bd. X, S. 6—7, 3—4) даны в переводе самого Тургенева и не совпадают с текстом перевода Герцена, который был дан последним в виде приложения ко второму из его «Писем об изучении природы» (см.: *Герцен*, т. III, с. 123—138, 138—141).

Стр. 518. *Автор перенес в изображение этой птицы* ∽ *мы говорили выше и т. д. и т. д.*— Этот отрывок был исключен при первой публикации статьи в «Современнике» по требованию цензуры (см. письмо Тургенева к С. Т. Аксакову от 5,9 (17, 21) февраля 1853 г.).

Я вовсе не намерен сравнивать его с Бюффоном ∽ которым они посвящены.— Противник риторической фразеологии, Тургенев, по-видимому, пародирует следующую фразу Бюффона: «Из всех четвероногих, усмиренных человеком, самое величественное есть лошадь» («Бюффон для юношества, или Сокращенная история трех царств природы», сочиненная Петром Бланшардом. М., 1814. Т. I, с. 117—118).

...легче сказать горам, что они «побеги праха к небесам», утесу — что он «хохочет», молнии — что она «фосфорическая змея»...— Первая цитата (не совсем точная) — из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Горные выси» (1837). Вторая — из его стихотворения «Утес». Третья (неточная) — из того же стихотворения (у Бенедиктова: «огненный змей»).

Покойный Одюбон ∽ от нее в умиление.— Тургенев имеет в виду труд американского орнитолога Д. Одюбона «Birds of America» («Птицы Америки»). Первое издание этой книги вышло в Лондоне в 1828—1839 гг.; во втором, вышедшем в Нью-Йорке в 1839—1844 гг., было 448 таблиц с 1065 зарисовками всех видов птиц американского материка.

С т р. 519. *...наука их в последнее время ∽ Шеллинг вскружил головы в начале нынешнего столетия.*— В России против одного из немногих последователей натурфилософской школы Шеллинга — Д. М. Велланского (1774—1847) — выступил А. М. Филомафитский (1807—1849), профессор Московского университета. В трехтомном учебнике «Физиология, изданная для руководства своих слушателей» (1836—1840) Филомафитский резко критиковал путь умозрительного исследования, считая опыт единственным правильным путем познания природы. По-видимому, Тургенев имеет в виду этого ученого и его единомышленников.

...(некоторые отрывки были помещены в апрельской книжке «Современника»).— См.: наст. том, с. 500—508.

Бывают тонко развитые ∽ и слова их душисты.— Речь идет о Ф. И. Тютчеве и А. А. Фете, которые названы дальше (см. с. 521—522). К такого же рода творческим натурам Тургенев причислял и себя. Сообщая, что в первой книжке «Современника» появится данная статья, Тургенев писал 28 декабря 1852 (9 января 1853 г.) И. С. Аксакову: «Там есть несколько мыслей о том, как описывают природу, где я себя не щажу» (ответ Аксакова см.: *Рус Обозр*, 1894, № 9, с. 8, 9).

С т р. 520. *Подойдите, сэр ∽ глядеть не стану.*— Отрывок из действия IV (сц. 6-я) трагедии Шекспира «Король Лир», повидимому, в собственном переводе.

С т р. 521. *Пушкин заслуживает название древнего ∽ за спокойную грацию античной силы.*— О замысле такого рода статьи известно также из письма к Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву от 18 и 23 ноября (30 ноября и 5 декабря) 1852 г., в котором Тургенев сообщал: «...сверх того, я для вас готовлю две статьи: „О Андрее Шенье и подражателях древним“ и „О Мерке“...» Статьи эти, однако, написаны не были. Тургенев имеет в виду, что, начиная с 1840-х годов, в русской литературе было много попыток возрождения «антологического» жанра (А. Н. Майков, Н. Ф. Щербина и др.). Когда в 1850-х годах в русской критике образовалась группа сторонников «искусства для искусства», она стремилась поднять на щит именно этих поэтов. Отрицательный отзыв

Тургенева о Щербине (в связи с его антологическими произведениями) см. в письме к Некрасову от 28 октября (9 ноября) 1852 г.

...счастливые, вкрадчивые стихи <...> Тютчева или Фета найдут отголосок в нашем сердце. — Об отношении Тургенева к творчеству Тютчева и Фета см. в статье «Несколько слов о поэзии Тютчева» и примечаниях к ней (наст. том, с. 524—528).

Стр. 522. *...до другого письма...* — Этого «письма», т. е. второй статьи о книге Аксакова, Тургенев не написал. См. о том же в письме к Некрасову от 16(28) декабря 1852 г.

...которого вдохновит поэзия охоты! — Имеется в виду опера Вебера «Оберон» (1826), написанная на сюжет одноименной поэмы-сказки Виланда.

«Паче же почитайте сию книгу <...> кручины и печали всякие». — Цитата из «Древней российской вивлиофики...», изданной Н. Новиковым. Изд. 2-е. М., 1788. Ч. III, с. 431, 432.

Стр. 522. *...«Записок ружейного охотника» готовится другое издание...* — Издание второе, «несколько исправленное и пополненное», вышло в том же 1852 г. (ценз. разр. 27 сентября).

«СЛОБОЖАНЕ». Малороссийские рассказы Григория Данилевского

(с. 523)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1854, № 1, отд. IV, с. 32, без подписи (ценз. разр. 31 декабря 1853 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, Сочинения*, т. XII, с. 163.

Автограф неизвестен.

Авторство устанавливается на основании свидетельства А. Н. Пыпина, который указывает, что в первой книжке «Современника» за 1854 год «находится рецензия Тургенева, без подписи, не вошедшая в собрание его сочинений, о книжке Григория Данилевского: „Слобожане, Малороссийские рассказы. СПб., 1853“ (несколько строк)» (Пыпин А. Н. Н. А. Некрасов. СПб., 1905, с. 235, примеч. 2).

По мнению М. К. Клемана, ничем не подтвержденному, «небольшой вещью», о которой Тургенев упоминал в письмах к Панаеву и Некрасову от 16 (28) октября и к Анненкову от 6 (18) октября, 2 (14) ноября и 20 ноября (2 декабря) 1853 г., была рецензия на «Слобожан» Данилевского (см.: *Клеман, Летопись*, с. 70).

Автор «Слобожан» — Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — писатель, творчество которого постоянно встречало отрицательную оценку в прогрессивной критике 1850—1860-х годов (Некрасов, Чернышевский, Салтыков-Щедрин и др.). Тургенев познакомился с Данилевским в начале 1850-х годов. Позднее в «Литературных и житейских воспоминаниях» (глава «Гоголь») он дал презрительно-ироническую зарисовку молодого Данилевского. Подробно о взаимоотношениях Тургенева и Данилевского см. в комментарии Ю. Г. Оксмана (*Т, Сочинения*, т. XII, с. 522—523).

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СТИХОТВОРЕНИЯХ Ф. И. ТЮТЧЕВА

(с. 524)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Совр, 1854, № 4, отд. III, с. 23—26.
Т, *Соч*, *1880*, т. 1, с. 328—332.
Автограф неизвестен.
Впервые опубликовано: *Совр*, 1854, № 4, с подписью: И. Т., в оглавлении — И. С. Т. (ценз. разр. 31 марта 1854 г.).
Печатается по тексту: *Т*, *Соч*, *1880*.

«О Тютчеве *не* спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии»,— утверждал Тургенев в письме к А. А. Фету 27 декабря 1858 г. (8 января 1859 г.). Эти слова определяют его отношение к поэзии Тютчева на всем протяжении жизненного и творческого пути писателя. Для Тургенева Тютчев всегда был поэтом не только чувства, но и мысли, «мудрецом» (письмо к Фету от 16 (28) июля 1860 г.), поэтом со «светлым и чутким умом» (письмо к Я. П. Полонскому от 21 февраля (5 марта) 1873 г.). Отрицательно относясь к славянофильству, Тургенев в письме к Фету от 21 августа (2 сентября) 1873 г., глубоко сожалея о смерти Тютчева, отмечал, что поэт «был славянофил — но не в своих стихах». По мнению Тургенева, убежденного западника, в Тютчеве «самая сущная его суть ⟨. . .⟩ — это западная, сродни Гёте...» (*Фет*, ч. II, с. 278).

Как в произведениях Тургенева («Фауст», 1856; «Воспоминания о Белинском», 1869), так и в его письмах часто цитируются строки из стихотворений Тютчева, которые писатель хорошо знал и любил (см., например, письма к Фету от 16 (28) июля и 3 (15) октября 1860 г., письмо к В. В. Стасову от 6 (18) августа 1875 г.; письмо к Ж. А. Полонской от 2 (14) декабря 1882 г.).

Статья Тургенева о стихотворениях Тютчева отражала общее отношение редакции «Современника» к творчеству поэта. Еще в 1850 г. Некрасов напечатал обширную статью «Русские второстепенные поэты» (*Совр*, 1850, № 1), посвященную в основном поэзии Тютчева и содержавшую очень высокую оценку ее. В 1854 г. в третьей книжке журнала были напечатаны 92 стихотворения поэта; в пятой — появилось еще 19 стихотворений. В мае 1854 г. вышло первое отдельное издание стихотворений Тютчева, инициатором и редактором которого был Тургенев [1].

В связи с публикацией стихотворений Тютчева в «Современнике» Фет свидетельствует, что они были встречены «в нашем кругу со всем восторгом, которого заслуживало это капитальное явление» (*Фет*, ч. 1, с. 134). Свидетельство Фета о том, что писатели, близкие к «Современнику», увлекались поэзией Тютчева, подтверждается и следующими словами Л. Н. Толстого, записанными А. В. Жиркевичем: «Когда-то Тургенев, Некрасов и компания

---

[1] О работе Тургенева как редактора стихотворений Тютчева см.: Благой Д. Д. Тургенев — редактор Тютчева.— В кн.: *Т и его время*, с. 142—163. Ср.: Пигарев К. В. Судьба литературного наследства Ф. И. Тютчева.— *Лит Насл*, т. 19—21, с. 371—418.

едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1960. Т. 1, с. 484).

Появление в приложении к третьей книжке «Современника» за 1854 год девяноста двух стихотворений Тютчева вызвало ряд откликов в печати. Весьма критически было оценено творчество Тютчева рецензентом «Пантеона», писавшим, что среди напечатанных в «Современнике» стихотворений поэта есть «десятка два хороших, десятка два посредственных, остальные очень плохи» (Пантеон, 1854, т. XIV, кн. 3, отд. IV, с. 17). По предположению К.В. Пигарева, появление этого «неблагоприятного отзыва», возможно, и побудило Тургенева выступить со статьей (см.: Пигарев К. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 140). В следующей книжке «Пантеона» был дан отрицательный отзыв о статье Тургенева, которая, по мнению анонимного рецензента, «заключает в себе много странного, ошибочного и изысканного». Недовольный тем, что Тургенев слишком «высоко» оценивает Тютчева, рецензент утверждал, что «критика не далась И. С. Т., и он напрасно оставил для нее род произведений, в которых он так велик» (Пантеон, 1854, т. XIV, кн. 4, отд. V, с. 31).

Стр. 524. *Вот почему мы не могли ∽ завещанного нам приветом и одобрением Пушкина — Ф. И. Тютчева.* — В приложении к мартовской книжке «Современника» за 1854 г. были напечатаны 92 стихотворения Тютчева. Впервые поэзия Тютчева получила признание еще в 1836 г., когда копии его стихотворений через посредничество П. А. Вяземского и В. А. Жуковского были переданы Пушкину. «Еще живы свидетели того изумления и восторга, с каким Пушкин встретил неожиданное появление этих стихотворений, исполненных глубины мыслей, яркости красок, новости и силы языка», — вспоминал П. А. Плетнев (Уч. зап. Второго отделения имп. Академии наук. СПб., 1859. Кн. V, с. LVII). Об этом же писал и Ю. Ф. Самарин: «Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидал собрание рукописное его ⟨Тютчева⟩ стихов. Он носился с ними целую неделю...» (Звенья, М.; Л., 1933. Кн. 2, с. 259). В «Современнике» (1836, т. III и IV) было помещено 24 стихотворения Тютчева под общим заглавием: «Стихотворения, присланные из Германии», с подписью «Ф. Т.» После смерти Пушкина и вплоть до 1840 г. стихотворения Тютчева продолжали публиковаться в «Современнике», причем «за немногими исключениями, это были стихи, отобранные, по-видимому, еще самим Пушкиным» (см. статью К. В. Пигарева в кн.: Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М., 1957, с. 7).

...на пленительную, хотя несколько однообразную, грацию Фета... — Фет сблизился с рядом петербургских писателей, в особенности с Тургеневым, в 1853 г. С этих пор в течение многих лет стихотворения Фета до появления их в печати передавались на суд Тургенева, который был первым литературным советником и руководителем поэта. С 1854 г. стихотворения Фета стали систематически появляться в «Современнике», а в 1855 г. при участии Тургенева и других сотрудников этого журнала было подготов-

лено к печати собрание стихотворений Фета, вышедшее в свет в 1856 г.[2].

В эти годы Тургенев высоко ценил поэзию Фета. В статье «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии. С. А — ва» имя Фета было названо им рядом с именем Тютчева (наст. том, с. 521). Строки из стихотворений Фета цитировались Тургеневым и в художественных произведениях («Гамлет Щигровского уезда», 1849; «Переписка», 1854).

...энергическую ∽ страстность Некрасова... — Стихотворения Некрасова в конце 1840-х и на всем протяжении 1850-х годов вызывали интерес Тургенева не только присущими им чисто поэтическими достоинствами, но и благодаря своей отчетливо выраженной социальной направленности. Это подтверждается письмами Тургенева к самому Некрасову. «Стихи твои к *** — просто пушкински хороши — я их тотчас на память выучил»,— пишет Тургенев автору 10 (22) июля 1855 г. о стихотворении «Давно отвергнутый тобою». Сравнения стихов Некрасова с пушкинскими (высшая похвала в устах Тургенева) встречаются и в других его письмах. Так, 18 и 23 ноября (30 ноября и 6 декабря) 1852 г., анализируя первоначальный текст стихотворения Некрасова «Муза», Тургенев пишет автору (и И. И. Панаеву): «...первые 12 стихов отличны и напоминают пушкинскую фактуру». Когда вышло в свет собрание стихотворений поэта, Тургенев в письме к Е. Я. Колбасину от 14 (26) декабря 1856 г. снова подчеркивал социальную значимость его творчества: «А Некрасова стихотворения, собранные в один фокус,— жгутся»[3].

...на правильную, иногда холодную живопись Майкова... — Поэзия А. Н. Майкова, первый сборник стихотворений которого вышел в Петербурге в 1842 г., по-видимому, оставляла Тургенева довольно равнодушным. Ни цитат из стихотворений Майкова, ни отзывов о его творчестве в письмах Тургенева 1850-х годов не найти. Мнение о поэзии Майкова, выраженное в статье Тургенева, близко к тому, что писал о нем В. Г. Белинский (см.: *Белинский*, т. 10, с. 83).

Стр. 525. *...они все кажутся написанными ∽ хотел Гёте...* — Тургенев имеет в виду следующую мысль Гёте, приведенную в книге И.-П. Эккермана «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» (запись 18 сентября 1823 г.): «Все мои стихи — „стихи по поводу“ (на случай), они навеяны действительностью, в ней имеют почву и основание».

---

[2] Никольский Ю. Материалы по Фету. 1. Исправления Тургеневым фетовских «Стихотворений», 1850 г. (Русская мысль, София, 1921, август-сентябрь, с. 211—227, октябрь — декабрь, с. 245—263); Благой Д. Из прошлого русской литературы. Тургенев — редактор Фета (Печать и революция, 1923, кн. 3, с. 45—64); Бухштаб Б. Судьба литературного наследства А. А. Фета (*Лит Насл*, т. 22—24, с. 561—600).

[3] Об отношении Тургенева к поэзии Некрасова см.: Скворцов Б. И. С. Тургенев о современных ему поэтах.— Уч. зап. Казанского гос. ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина. 1929, кн. 2, с. 389—392; Евгеньев-Максимов В. Жизнь и деятельность Н. А. Некрасова. М.; Л., 1950. Т. II, с. 329.

Стр. 526. *...по прекрасному выражению Вовенарга...— Вовенарг* (Vauvenargues) Люк Клапье (1715—1747) — знаменитый французский моралист, автор труда «Paradoxes, mélés de Réflexions et de Maximes» (1746). Тургенев приводит изречение XXV из второй книги этого произведения.

...соорудить пятиактную фантазию по поводу какого-нибудь итальянского живописца ∽ *третьестепенных галерей...*— Имеются в виду «Джулио Мости», драматическая фантазия в стихах Н. В. Кукольника, в четырех частях с интермедией, написанная в 1832—1833 гг., и его же драматическая фантазия в стихах «Доменикино», в двух частях. В обоих произведениях главными героями являются итальянские художники. О резко отрицательном отношении Тургенева к драматургии Кукольника см. также в его статье «Генерал-поручик Паткуль» (наст. изд., Сочинения, т. 1, с. 251—276).

...никто теперь не воспоет ∽ *сверхъестественных кудрей какой-нибудь девы...*— Намек на В. Г. Бенедиктова и его стихотворение «Кудри» (1836).

Стр. 527. *Стихотворения г. Тютчева, почерпнутые им не из собственного родника, как-то «Наполеон»* ∽ *нравятся менее.*— Тургенев имеет в виду строки 6—13 этого стихотворения, навеянные характеристикой Наполеона в публицистических очерках Г. Гейне «Französische Zustände» («Французские дела»), где говорится, что Бонапарт был гением, у которого «в голове гнездились орлы вдохновения, между тем как в сердце его извивались змеи расчета». (Статья вторая, с датой 19 января 1832 г.)

Стр. 528. *...такие стихотворения, каковы — Пошли господь свою отраду...*— Речь идет о стихотворении Тютчева «В июле 1850 года», впервые опубликованном в «Современнике» (1854, № 3, с. 33—34).

...по выражению одного поэта...— Кому принадлежат приведенные слова — не установлено.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ К «СТИХОТВОРЕНИЯМ Ф. ТЮТЧЕВА»⟩

(с. 529)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано в книге: Тютчев Ф. Стихотворения. СПб., 1854. Перепечатано М. К. Клеманом (И. С. Тургенев. Материалы и исследования. Орел, 1940, с. 12).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. V, с. 428.

Автограф неизвестен.

Датируется маем 1854 г. на основании пометы в первой публикации.

Принадлежность предисловия Тургеневу определяется свидетельством И. С. Аксакова, который в «Приложении» к статье «Ф. И. Тютчев. (Биографический очерк)» указывает, что в 1854 г. вышло первое собрание стихотворений поэта с «предисловием, написанным И. С. Тургеневым от имени редакции „Современника“...» (*Рус Арх*, 1874, № 10, стлб. 400). Справедливость утверждения И. С. Аксакова подкрепляется, во-первых, тем, что

Тургенев был инициатором издания «Стихотворений Ф. Тютчева», СПб., 1854, и ранее опубликовал в «Современнике» (1854, № 4) статью «Несколько слов о стихотворениях Тютчева» (см.: наст. том, с. 524); во-вторых, тем, что именно в этот период (1854—1855 годы) Тургенев был особенно близок к редакции «Современника» и, следовательно, мог выступать от ее имени. Не случайно Некрасов, собираясь ехать за границу, писал Л. Н. Толстому 17 января ст. ст. 1855 г.: «...Тургенев займет мою роль в редакции „Современника" — по крайней мере, до той поры, пока это ему не надоест» (*Некрасов*, т. X, с. 271).

Стр. 529. *...те стихотворения, которые принадлежат к самой первой эпохе деятельности поэта...*— Речь идет о стихотворениях Тютчева двадцатых годов, которые впервые были опубликованы в альманахах: «Северная лира» на 1827 год («Слезы», «С чужой стороны. Из Гейне», «В альбом друзьям. Из Байрона», «Саконтала. Из Гёте») и «Урания» на 1826 год («Проблеск», «Песнь скандинавских воинов»), а также в журнале «Галатея», 1829 г. («Могила Наполеона», «Cache-Cache», «Видение») и 1830 г. («Утро в горах», «Как океан объемлет шар земной», «Приветствие духа», «Друг, откройся предо мною»).

⟨СТИХОТВОРЕНИЯ БАРАТЫНСКОГО⟩

(с. 530)

Печатается по тексту первой публикации.

Впервые опубликовано: *Совр*, 1854, № 10, отд. 1, с. 147—148, в качестве примечания к публикации «XV стихотворений Е. А. Баратынского», с подписью «Ив. Тургенев» (ценз. разр. 30 сентября 1854 г.).

В собрание сочинений впервые включено в издании: *Т*, *Сочинения*, т. XII, с. 275—276.

Автограф — *ГИМ*, отдел письменных источников, «Чертковская коллекция», ф. 445, ед. хр. 196, л. 164—165.

Датируется 12 (24) сентября 1854 г. на основании пометы в первой публикации.

Тексту Тургенева в журнале предшествуют следующие строки: «Редакция „Современника" получила эти стихотворения от Ив. Серг. Тургенева при следующем письме».

Обстоятельства, при которых рукописи Баратынского оказались у Тургенева, рассказаны им в письме к С. Т. Аксакову от 31 мая (12 июня) 1854 г.: «...я познакомился со вдовою Баратынского ⟨. . .⟩ — и она мне вручила альбом, куда она вписала всё, что осталось от ее мужа, письма и пр.». Однако, по-видимому, Тургенев представил в редакцию «Современника» большее количество стихотворений, нежели это явствует из печатного текста. В автографе заметки Тургенева названы еще два стихотворения Баратынского: «Когда дитя и страсти и сомненья» и «Спасибо злобе хлопотливой», не опубликованные в журнале (см.: Б л и н ч е в с к а я М. Я. ⟨Стихотворения Баратынского⟩.— *Т сб*, вып. 1, с. 239).

Об интересе Тургенева к творчеству Баратынского, о его заботах, связанных с тем, чтобы текст стихотворений поэта был

напечатан исправно, свидетельствует письмо к Анненкову от 18 (30) октября 1854 г., в котором Тургенев писал: «...не забудьте попросить Некрасова в следующем № „Совр⟨еменника⟩“ — поправить следующую опечатку: на стр. 153-й, на 6-й строке сверху, в стихотворении Баратынского — вм.: бессмыслии — читай: безмыслии. Пожалуйста, не забудьте этого — это важно». Опечатку в тексте стихотворения «Дядьке итальянцу», на которую указал Тургенев, редакция исправила (см.: *Совр*, 1854, № 11, отд. V, с. 115).

С т р. 530. *Большая часть из них* ∽ *в первый раз.*— Стихотворение Баратынского «Когда твой голос, о поэт», озаглавленное Тургеневым «На смерть Лермонтова» (см.: *Совр*, 1854, № 10, отд. I, с. 147—148), в действительности уже было ранее опубликовано П. А. Плетневым в «Современнике» (1843, т. XXII, с. 354) под авторским названием. Текст этого стихотворения Баратынского, в котором «довольно верно выразились все особенности его музы», Тургенев послал С. Т. Аксакову в письме от 31 мая (12 июня) 1854 г. Впервые были опубликованы Тургеневым в десятой книжке «Современника» за 1854 год следующие стихотворения Баратынского: «К. . .» («Нежданное родство с тобой даруя»), «Небо Италии, небо Торквата», «Н. Е. Б.» («Двойною прелестью опасна») и «В руках у этого педанта».

...образ одного из лучших и благороднейших деятелей лучшей эпохи нашей литературы.— Более развернутый отзыв о Баратынском содержится в письме Тургенева к С. Т. Аксакову от 31 мая (12 июня) 1854 г.: «Баратынский не поэт в единственно истинном, в пушкинском смысле — но нельзя не уважать его благородную художническую честность, его постоянное бескорыстное стремление к высшим целям поэзии и жизни ⟨. . .⟩ Отголосок великой нашей классической эпохи слышится в форме стиха Баратынского».

...вместе с небольшой вступительной статьей ∽ *в ваш журнал...*— О том, что Тургенев собирался написать такого рода статью, известно также из его писем к С. Т. Аксакову от 31 мая (12 июня) 1854 г. и Некрасову от 15 (27) октября 1854 г. Тем не менее статья Тургенева о Баратынском в печати не появилась.

Нас, русских, часто и справедливо упрекали ∽ *стала заметна перемена к лучшему...*— Тургенев имеет в виду, в частности, то обстоятельство, что в «Современнике» были опубликованы статьи В. П. Гаевского о Дельвиге (1853, № 2 и 5; 1854, № 1 и 9). «Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина» составили первый том «Сочинений Пушкина» под редакцией П. В. Анненкова (ценз. разр. 22 октября 1854 г.).

НЕЗАВЕРШЕННОЕ

СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ ДУБКОВ И МОИ С НИМ РАЗГОВОРЫ

(с. 533)

Печатается по черновому автографу, единственному источнику текста.

Черновой автограф — отрывок, без даты, 3 лл. (на лицевой стороне первого листа, под заглавием, Тургеневым нарисован карикатурный портрет Дубкова и набросана биографическая канва его жизни; на втором листе — незаконченный текст отрывка). Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 3; описание см.: *Mazon*, с. 55; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 141.

Впервые опубликовано: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 22—24.

В собрание сочинений включено впервые в изд.: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. XIII, с. 315—318.

Набросок был сделан Тургеневым, по всей вероятности, в первой половине 1840-х годов. Такое предположение позволяют высказать как последняя хронологическая запись в «биографической канве» Дубкова («Поселяется в уездном городе в 1840, где живет до сих пор»), так и юмористическая гоголевская манера, в которой написан отрывок. К 1841—1842 годам относится пора личного знакомства Тургенева с Гоголем (см. очерк «Гоголь» в «Литературных и житейских воспоминаниях» — наст. изд., т. 11) и период наиболее сильной зависимости молодого Тургенева от прозы Гоголя. В июне 1842 г. Тургеневым был написан шуточный фантастический шарж «Похождения подпоручика Бубнова», напоминающий повести Гоголя «Нос» и «Записки сумасшедшего» (см.: наст. изд., т. 1, с. 558).

Отрывок «Степан Семенович Дубков и мои с ним разговоры» построен в форме диалога между рассказчиком и героем, отставным исправником, провинциальным «скептиком». Колоритная речь Степана Семеновича, его примитивные грубо-материальные суждения, полуиронические интонации в обращенных к нему репликах собеседника — все эти художественные приемы способствовали созданию персонажа, напоминающего гоголевские типы, в частности Коробочку и Собакевича.

Замысел не был реализован Тургеневым до конца. Однако позднее в творчестве Тургенева 50-х годов встречается образ, в котором писатель психологически развивает ряд черт того же типа. Африкан Семенович Пигасов, один из персонажей «Рудина» (1856), «взъерошенный и седой» господин, «с смуглым лицом и беглыми черными глазками», превосходящий Дубкова образованием и потерпевший неудачу на научном и житейском поприще, также озлоблен «противу всего и всех»; «всё его существо,— отмечает автор,— казалось пропитанным желчью» (наст. изд., т. 5). Он, подобно Дубкову, отрицает значение философии и каких-либо

общественных идеалов, противопоставляя им узкий практицизм и голые факты (там же). Дубков оттеняет свое презрение к серьезным рассуждениям подчеркнуто архаической окраской произносимых им слов; «Ф⟨анаберик⟩а-с.— повторил он, возвысив голос.— Всё, что вы изволили говорить-с, фанаберика-с. Это всё философия-с...» К подобной же форме выражения своего отношения к философии прибегает и Пигасов, который по поводу ожидаемого приезда барона с научной статьей иронизирует: «Он, говорят, великий философ: так Гегелем и брызжет» (там же). Наконец, диалог между Пигасовым и появившимся в гостиной Ласунской Рудиным напоминает беседу Дубкова с рассказчиком: та же вражда к «убеждениям», то же отрицание необходимости верить во что-либо, кроме вульгарно-материалистических истин, и такая же бравада собственным эгоизмом.

Конечно, в портрете Степана Семеновича Дубкова преобладают сатирические краски, образ же «скептика» в первом романе Тургенева богаче индивидуализирован и предстает перед читателем в различных жизненных аспектах.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

НЕЗАВЕРШЕННОЕ

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
М. П. АЛЕКСЕЕВ (главный редактор),
В. Н. БАСКАКОВ (зам. главного редактора),
А. С. БУШМИН, Н. В. ИЗМАЙЛОВ, Н. С. НИКИТИНА

Тексты подготовили и примечания составили:
И. А. Битюгова, А. Н. Дубовиков, Е. Н. Дунаева, Е. И. Кийко, Л. М. Лотман, Л. Н. Назарова, А. М. Ступель

Редакторы четвертого тома
А. Н. Дубовиков и *Л. Н. Назарова*

*

Редактор издательства *М. Б. Покровская*
Оформление художника *М. В. Большакова*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Н. П. Кузнецова*
Корректоры *В. А. Бобров, О. В. Лаврова, В. Г. Петрова*

ИБ № 18498

Сдано в набор 10.08.79.
Подписано к печати 04.02.80.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура обыкновенная.
Печать высокая.
Усл. печ. л. 36,2. Уч.-изд. л. 39,7.
Тираж 400 000 экз. Тип. зак. № 511.
Цена 4 р. 30 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28